

1 $\frac{02 - 23}{24 - 5}$ ИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ГЛУХОЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

ИНСТИТУТ
СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ВСТРЕЧИ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА

в сопоставительном
лингвокультурном
аспекте



МОСКВА
КОНТРОЛЬНЫЕ НАУКИ ИЗ
2002

УДК 80/81
ББК 81
В 85



2002074782

Рецензенты:

доктор филологических наук В.А. ВИНОГРАДОВ
доктор филологических наук А.И. НОВИКОВ

Редакция:

М.Б. ЕШИЧ, А.Ф. ЖУРАЛЕВ, Я. КОРЖЕНСКИЙ,
Г.П. НЕЩИМЕНКО (отв. редактор), Е.Ф. ТАРАСОВ

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
2002

Встречи этнических культур в зеркале языка: (в сопоставительном лингвокультурном аспекте) / Науч. совет. по истории мировой культуры. – М.: Наука, 2002. – 478 с.

ISBN 5-02-022654-8

В монографии рассмотрены остройшие проблемы межэтнических культурных, языковых контактов, взаимодействие различных видов культур внутри этноса и за его пределами. Особое внимание удалено культурно-языковой интерференции (на примере заимствования). Работа выполнена на интердисциплинарной основе.

Для историков, этнографов, лингвистов, философов, социологов, широкого круга читателей, интересующихся проблемами языка, этноса, культурным диалогом, взаимодействием этносов.

ТП-2002-1-№ 11

ISBN 5-02-022654-8

© Российская академия наук, 2002

© Издательство “Наука”, оформление, 2002

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Предлагаемая вниманию читателю книга* выполняется в рамках долгосрочной международной целевой программы, в задачи которой входит изучение взаимоотношений между феноменами “язык”, “культура”, “этнос”. Данная глобальная проблема решается на **интердисциплинарной, комплексной основе**, с применением таких универсальных методов как системно-функциональный подход, использование достижений теории коммуникации, сопоставительного метода и т.д.

Интердисциплинарный подход – характерная особенность всех исследований, проводимых по данной научной программе. Это проявляется, в частности, при определении круга рассматриваемых вопросов, в числе которых широко представлены “стыковые” проблемы, находящиеся на пересечении различных научных дисциплин, что само по себе предполагает применение комплексной исследовательской методики. Интердисциплинарным является и состав международного авторского коллектива проекта, включающий лингвистов, социо- и психолингвистов, этнолингвистов, культурологов, социологов, этнологов, театроведов, фольклористов и т.д. из научных и научно-педагогических центров России, Чехии, Словакии, Белоруссии. В проекте участвуют видные отечественные и зарубежные ученые, известные широким кругом научной общественности не только своими трудами, но и способностью по-новому взглянуть на исследуемую проблематику, что, разумеется, не исключает различия в интерпретации тех или иных вопросов.

Координирующие функции в работе над проектом выполняют Институт славяноведения РАН и Институт чешского языка Чешской АН (при активном участии Института языкоznания

* Работа выполнена благодаря исследовательскому гранту РГНФ (№ 99-04-00093а).

РАН). Важной особенностью целевой программы является плодотворное использование теоретико-методологических принципов не только различных научных дисциплин, но и – в силу того, что это проект международный – различных национальных научных школ. Существенно и то, что, помимо собственно исследовательских задач, она выполняет важные координирующие функции. Нельзя не отметить, что современное состояние исследований в данной области характеризуется отсутствием интеграции усилий исследователей, работающих разрозненно, в рамках отдельных дисциплин.

Выполнение программы входит в число приоритетных направлений в деятельности Научного Совета по истории мировой культуры РАН (секция “Культура стран Восточной Европы”).

Работа над международной программой ведется поэтапно, причем на каждом исследовательском цикле общая глобальная проблема поворачивается под новым ракурсом, выбор которого определяется как современным состоянием науки, так и актуальными потребностями общества. Тем самым в поле зрения авторского коллектива находятся остроактуальные проблемы большого теоретического и практического значения, полемика по которым развертывается на специализированных Круглых столах, проводимых в начале каждого этапа исследования.

В рамках международного проекта были подготовлены и при поддержке Научного Совета по истории мировой культуры РАН опубликованы две коллективные монографии: “Язык – Культура – Этнос” (Москва, 1994 г.) и “Язык как средство трансляции культуры” (Москва, 2000 г.). В первой из них акцент делался на разработке теоретических и методологических вопросов изучения феноменов “язык” и “культура”, их функциональном взаимодействии в ходе исторической эволюции этноса, роли языка как фактора этносоциального развития, его функционировании в разных этносоциальных и социокоммуникативных ситуациях. Особое значение придавалось анализу языковой ситуации политических государств, а также возможных путей решения национально-языковых конфликтов, определению направленности стратегии и тактики в области языковой и национально-культурной политики. Во второй монографии исследовались вопросы, касающиеся роли языка в качестве средства распространения культуры при диахронической (межгенерационной) и синхрон-

ной трансляции духовных ценностей, осуществляющей как внутри социума, так и за его пределами. В обеих монографиях уделяется внимание значимости языка как средства этнической самоидентификации.

Монография “Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном лингвокультурном аспекте)” представляет собой третий этап реализации долгосрочной международной научной программы. В ней рассматривается широкий спектр вопросов, приобретающих ныне особую остроту. Речь идет о межэтнических культурно-языковых контактах, о взаимодействии различных типов культур и форм существования языка внутри этноса. Предметом изучения являются и чешско- словацкие, чешско-немецкие, словацко-венгерские, русско-польские культурные взаимосвязи. Важное место занимает и исследование межэтнических культурных взаимосвязей внутри России и за ее пределами.

Большое внимание уделяется изучению культурно-языковой интерференции и, в частности, проблеме заимствований как проявления межкультурных и межъязыковых контактов, их бытования и адаптации в воспринимающем языке, последствиях усиленного притока заимствований из генетически неродственных языков (ныне прежде всего англизмов) для внутриструктурного развития языка-реципиента. Все эти проблемы приобретают особую значимость в условиях международной культурно-экономической интеграции, создания надгосударственных образований, выбора языка международного общения, распределения коммуникативных функций между международными и автохтонными языками в рамках внутриэтнического языкового пространства и т.п.

Важно подчеркнуть, что в данной монографии затрагивается проблема изменения сущности современных интеграционных процессов: из региональных (образование полиглоссических государств) они все более приобретают глобальный характер, охватывая мировое пространство.

Именно этот ракурс исследования, судя по всему, будет преобладать на следующем этапе работы над международной целевой программой, посвященной проблеме “Этноязыковые и этнокультурные проблемы в контексте процессов глобализации и этнодифференциации современного мира”.

Композиция настоящего труда определяется избранными ракурсами рассмотрения общей проблемы, стоявшей перед авторским коллективом. В число этих ракурсов входят как теоретико-методологические вопросы взаимодействия культур и языков, так и различные аспекты диалога культур. В составе последнего представлены такие самостоятельные подразделы, как этнолингвистический; лингвистический; культурологический и исторический. Некоторые из поставленных вопросов в силу своей сложности до сих пор еще не получили однозначного и непротиворечивого решения в науке, являясь дискуссионными. Это заметно, например, в статьях, затрагивающих проблему функциональной дифференциации чешского языка. Тем не менее мы предоставляем всем авторам право высказать свою позицию, безотносительно к тому, совпадает ли она с точкой зрения членов редакции или же – нет.

Нам доставляет удовлетворение, что по всему спектру рассматриваемых вопросов имели возможность высказаться не только коллеги из ближнего и дальнего зарубежья, но и из таких крупнейших центров России, как Санкт-Петербург и Екатеринбург. Хотелось бы надеяться, что в дальнейшем географический диапазон участников международного проекта будет еще более широким, а объединяющие нас всех узы коллегиальности и взаимной толерантности – еще более прочными во благо общего дела.

I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР И ЯЗЫКОВ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

М.Б. Ешич

(Россия)

ЭТНИЧНОСТЬ И ЭТНОС

(Термины, понятия, реалии; некоторые теоретические
проблемы межэтнических отношений
в полиэтнических государствах и современном мире)

ЭТНОС И ЭТНИЧНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ И В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ПОРОГЕ XXI СТОЛЕТИЯ

В настоящее время считается, что в мире существует около 3000, а по некоторым подсчетам и до 5000 этносов. Ныне существующие этносы отличаются друг от друга не только по языку, особенностям культуры и традиций, по характеру и уровню общественно-го развития, но и по своей численности, типу расселения, по статусу в полиэтнических сообществах, в которые они включены либо целиком, либо частично. Все разнообразные этносы, существующие на земном шаре в конце XX – начале XXI в., живут компактно или разбросанно на территориях около 200 государств. Таким образом, современный мир и практически все существующие в нем государства **полиэтничны**. Полиэтничность современного человечества и существующих государств, различия между этносами, касающиеся их общего положения и статуса в отдельных государствах и в мировом сообществе, неодинаковость потенциальных возможностей реализации их участия в развитии человечества – все это являлось и продолжает быть в той или иной степени причиной возникновения многих проблем, сложных конфликтных ситуаций, а вместе с тем многих бед и тяжких трагедий как в жизни огромного числа этнических сообществ и самих государств, так и в индивидуальной жизни миллионов и миллионов людей. Только за годы, истекшие после окончания второй мировой войны, имели место многочисленные внутригосударственные и межгосударственные этнические конфликты, пылали пожары десятков локально-этнических войн, в которых погиб-

ло (по далеко не полным данным) более 30 миллионов людей, миллионы были ранены и умерли от голода и других последствий этих войн. Фактически весь XX век ознаменовался бесчисленными конфликтами и войнами, в том числе и двумя мировыми, в которых **этничность и этнос как реалии** играли колоссальную роль.

Следует отметить также и то, что практически **все этнические проблемы**, возникавшие в XX в. (а также и многие из тех, что существовали раньше) перекочевали в новое столетие, не получив удовлетворительного решения, вызывая снова все более обостряющиеся конфликты в тех или иных государствах, в отдельных регионах, провоцируя возникновение новых кровопролитных войн с многочисленными человеческими жертвами и колоссальными материальными и моральными потерями. Не будет преувеличением сказать, что современное человечество буквально обливается кровью и задыхается под тяжестью нерешенных проблем, связанных с развитием этносов и их культур, с межэтническими отношениями внутри отдельных государств и во многих регионах мира.

В XX в., на основе огромных достижений в области науки и техники, возникла объективная возможность начала нового витка модернизации общественной жизни и связанного с ним процесса все более масштабной интеграции – формирование крупных межгосударственных и трансэтнических функциональных систем в экономической, политической, культурной и других сферах. Эти процессы уже в истекшем столетии стали фактически необратимыми и несомненно продолжатся с еще большей интенсивностью и во все более расширяющихся масштабах в наступившем XXI в. Данные процессы как таковые вызывают целый ряд сложных проблем, касающихся этничности как реалии и развития многочисленных этносов во всех регионах мира и практически во всех современных государствах.

Для решения проблем модернизации, а также проблем, связанных с бытием этносов и их взаимоотношениями на рубеже XX и XXI в., важно получить **научно обоснованные ответы**, в том числе на следующие вопросы.

1. Каким образом в современных процессах глобальной **модернизационной интеграции** можно обеспечить людским индивидам любой этнической принадлежности в любом месте обитания полноценное современное культурно-цивилизационное развитие и соответствующее качество жизни, не уничтожая их **этнические корни**, их “**этничность**”?

2. Каким образом, какими мерами и методами должна осуществляться модернизация жизни и жизнедеятельности этносов любой численности и уровня культурно-цивилизационного развития, чтобы при этом не уничтожить **существующее культурное разнообразие**.

зие человечества, не уничтожить созданные многочисленными этносами фонды оригинальных культурных ценностей?

3. Что необходимо сделать для того, чтобы переход к современному образу и качеству жизни любого этнического сообщества протекал **максимально безболезненно**, без внутренних и внешних конфликтов и связанных с этим каких-либо трагических последствий?

4. Как добиться того, чтобы результаты действительного прогресса в развитии науки, техники, в организации экономических систем и совокупной общественной жизни людей стали достоянием всего человечества, **всех этносов**, проживающих в первом веке нового тысячелетия на Земле, а не только какой-то группы стран и народов, и каких-то сравнительно небольших по численности привилегированных социальных слоев?

Научно обоснованные теоретические и практически реализуемые ответы на эти вопросы еще предстоит выработать, учитывая при этом весь горький опыт человечества прошлых (и особенно только что окончившегося) веков.

Как никогда раньше перед наукой, а точнее говоря, перед целым рядом научных дисциплин (этнологией, этнографией, языкоизнанием, общей историей и историей культуры, религиоведением, социологией, политологией и др.) стоят неотложные задачи огромного не только научного, но и непосредственно практического, жизненного значения: **выработать научно обоснованные** (а не произвольно импровизированные, диктуемые теми или иными конъюнктурными соображениями) **концепции для решения стратегических и текущих проблем современного развития этносов и межэтнических отношений**, концепций, которые могли бы стать основой для оптимальных решений этих вопросов на всех уровнях – от локально-государственных и региональных до уровня всего мирового сообщества. Очевидно, при этом придется исходить и из осознания того неоспоримого факта, что и теперь, в начале XXI в., а также в обозримом будущем, в жизни индивидов, в жизни народов мира, в развитии человечества в целом, наряду со всеми другими факторами, по-прежнему будут играть колossalную роль и такие (существовавшие в прошлом и продолжающие свое существование ныне) реалии:

1) **этносы как своеобразные исторически сложившиеся сообщества, объединяющие определенные множества людей на основе их языкового и социокультурного родства**, независимо от того, живут ли они компактно на какой-то территории или разбросанно на разных территориях, в том числе и на территориях различных государств;

2) **государства, как особые исторические сообщества людей, проживающих на определенной территории и подчиняющихся системам власти, установленной на данной территории**;

3) **полиэтничность** практически всех современных государств, которая, судя по всему, будет еще более увеличиваться в силу происходящих миграционных и интеграционных процессов.

В любом научном исследовании большое значение имеет отработка понятийно-терминологического инструментария. Без этого ни одна наука и ни одно научное исследование, в любой области изучения действительности, не могут рассчитывать на серьезный успех. Между тем нынешнее состояние терминологического и понятийно-аппарата, используемого в освещении проблем, связанных с этносами, их жизнью и их развитием, оставляет, мягко говоря, желать лучшего.

Нетрудно заметить, что в научных трудах, в официальных документах, а тем более в повседневном общении людей, в журналистике, в публицистике такие часто употребляемые слова-термины, как “этнос”, “этничность”, “нация”, “национальность”, “национальное государство”, “национальный интерес”, “национальный вопрос” интерпретируются по-разному. Общеизвестно, что любой слово-термин относится к какому-то определенному понятию, а понятие, как правило, к определенной реалии. Когда термины (например, слово-термин “этнос”, или слово-термин “нация”) имеют ряд отличающихся друг от друга значений, они фактически через понятия соотносятся с различными фрагментами действительности и становятся термином-именем различных объектов познания. Это приводит к тому, что люди, высказываясь об одном и том же, в действительности говорят как бы на разных языках. Вследствие разнозначного употребления одних и тех же слов-терминов часто возникают большие недоразумения и малопродуктивные дискуссии между партнерами в диалогах. Нередко в официальных государственных и межгосударственных документах и даже в законодательных актах используются многозначные термины, что приводит к негативным последствиям в политической и правовой жизни.

В науке все это создает большие неудобства, препятствуя проведению как эмпирических, так и теоретических исследований. Особенно это проявляется при обозначении и ограничении “зон исследования” какой-то части реальности, при определении таксона реалий, которые надлежит исследовать для выработки удовлетворительного решения той или иной научной проблемы. И то и другое имеет первостепенное значение для реализации важнейшего научного принципа – принципа логической безупречности и достаточной фактической фундированности, эмпирической проверяемости выдвигаемых концепций и теорий.

Как известно, **научное понятие** представляет собой определенный набор достоверной, научными методами и процедурами созданной и проверяемой информации об изучаемых объектах, информа-

ции о различных качественных, количественных, структурных, функциональных и других существенных параметрах объекта, обозначающих его среди других объектов и делающих его отдельным объектом познания. Что касается **научного термина**, то он представляет собой словесный **знак-имя** понятия, при помощи которого в людской памяти фиксируется определенное научное понятие (его объем и содержание). При помощи научных терминов осуществляется **номинация** и тем самым знаковое обоснение данного понятия от других. Научные термины, как и любые слова-имена, функционируют как средства **номинации и знаковой фиксации** понятий и только через понятие, а не непосредственно, как иногда полагают, термины выступают как **обозначения** (денотаты) реалий, к которым они относятся.

Идеальным научным **понятийно-терминологическим** аппаратом любой научной дисциплины был бы тот, в котором **каждой изучаемой реалии** как таковой соответствует **одно** понятие (набор достоверной информации о существенных характеристиках и связях изучаемого объекта), а **каждое** понятие имеет в качестве своего имени и имени реалии (к которой он относится) **один** словесный знак-термин. Но очень часто по различным причинам так не бывает. Во многих случаях один и тот же термин служит именем различных понятий, или, наоборот, одно и то же понятие обозначается несколькими терминами. Как и почему это происходит – вопрос особый. Но и то, и другое, как известно, создает немалые неудобства в научно-исследовательской работе и научном мышлении вообще. Сказанное характерно и для научных исследований об этносах и реалиях, связанных с ними.

Не вдаваясь ни в исторический разбор возникновения вышеназванных понятий, ни в этимологию терминов, ни в детальное критико-полемическое рассмотрение существующих ныне в науке концепций этноса и этничности, равно как и существующих теоретических подходов к разработке этой проблематики, мы попытаемся внести и обосновать ряд уточнений в определения данных понятий, что позволит упорядочить используемый понятийно-терминологический аппарат. Будут сформулированы также некоторые соображения об альтернативных путях решения ряда актуальных и по сути своей фундаментальных (не только научных, но и политических) проблем, связанных с современным развитием этносов и межэтнических отношений. Эти соображения и выводы являются результатом изучения обширного эмпирического материала о современных этнических проблемах в различных странах и регионах мира и прежде всего в России и странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Автор отнюдь не претендует на абсолютную бесспорность высказываемой позиции. Дискуссии по поводу теоретических проб-

лем этнологии будут продолжаться и далее, хотя далеко не во всех дискуссиях рождается истина. У автора нет ни иллюзии о том, что ответственные государственные и политические деятели вдруг перестанут руководствоваться при решении острых этнических проблем прежде всего соображениями сиюминутной выгоды, что они станут с большим вниманием относиться к рекомендациям ученых, будут подходить к этим проблемам и их решению с точки зрения объективной науки и истины. Но, несмотря на все это, автор считает, что предлагаемые ниже ответы на некоторые спорные вопросы могут, по крайней мере, послужить материалом для размышления.

О ПОНЯТИИ “ЭТНОС”. ЭТНОС КАК РЕАЛИЯ

В связи с определением понятия “этнос” возникает довольно много вопросов: прежде всего вопрос о том, что такое этнос как некая реалия в жизни людей? И что это за реалия по своей сути: биоантропологическая, био-социальная, социокультурная, культурно-цивилизационная? Этнос – это сами люди (определенные множества людей) или какие-то своеобразные свойства каких-то групп и множеств людей? Всегда ли, на протяжении существования вида гомосапиенс, этнос существовал как реалия в жизни этого вида живых существ на Земле, или же он возник на каком-то этапе исторического развития человечества? Происходят ли в ходе исторического развития какие-либо изменения этносов как реалий или же различные исторические типы этносов и этнос как таковой представляет собой нечто неизменное, а любая историческая типология этносов является неуместной? Какова роль этносов в прошлом и каковы их функции ныне? Чем обусловлена устойчивость этносов как реалий в жизни людей на протяжении многих тысячелетий?

В зависимости от того, какие ответы давались на эти вопросы, создавался тот либо иной набор информации, который составляет содержание понятия “этнос” и показывает, к каким реалиям действительности относится выработанное понятие как инструмент познания. В современной науке имеется множество определений понятия “этнос”, основывающихся на различных определениях (“признаках”). Все эти определения можно по их исходным концепциям разделить на две категории:

а) определения, выработанные на базе концепций, в которых этнос видится как некое множество людей, объединенных общностью происхождения, судьбы, языка, культуры, традиций, менталитета, наличием у них этнического самосознания и этонима, а также общностью территории и хозяйственной жизни. Иными словами, в этой категории определений (не во всем совпадающих по своим формул-

лировкам и не всегда содержащих полный набор указанных существенных признаков) этнос характеризуется как **антропо-биогенетическая, социокультурная и территориально-экономическая реалия**;

б) определения, в которых этносы рассматриваются как некие множества (то есть большие или меньшие группы) людей, для которых – независимо от того, на какой территории они находятся, живут ли компактно или дисперсно – характерна **социокультурная родственность** (общий язык, культура, традиции, самосознание, этнотип). В этой категории определений территория и хозяйственная жизнь не входят в число определителей этноса как такового, хотя и не отрицается их значение для жизни людей, входящих в состав этносов, для жизни любого этноса как такового. Согласно этим концепциям, территория и экономика, являясь непременным общим условием жизни людей, не представляют собой “существенные признаки” этноса как такового, потому что, как показывают факты, индивиды и группы индивидов, принадлежащие какому-то этносу, могут быть разбросаны по разным территориям и могут на этих территориях заниматься типологически весьма различными видами хозяйственной деятельности, не теряя при этом своей **этнической общности**.

Кроме этих, наиболее часто встречающихся типов определения понятия “этнос”, в соответствии с которыми этносы фигурируют как некие реальные множества (“общности”), исторически возникающие в ту или иную эпоху, видоизменяющиеся из эпохи в эпоху, в научном обиходе имеют место и определения, в которых этносы рассматриваются не как обособленные своими специфическими этническими характеристиками **исторически сложившиеся** группы людей, а как нечто, что можно произвольно, по желанию “создать”, умело применяя технологии навязывания каким-то группам людей определенных ценностей, символов, значений, в результате чего эти группы превращаются в “заданные” этносы.

Наиболее приемлемым, адекватным, а, значит, и оптимальным по своей инструментальной эффективности представляется следующее определение этноса:

Этнос – это компактная или дисперсная, исторически сложившаяся и меняющаяся группа (множество) людей, живущих в определенных (также исторически меняющихся) сообществах, группа людей, обладающих сознанием своей исторически существующей общности, хранящих и использующих в своей актуальной жизнедеятельности определенный, общий для них естественный язык, те или иные комплексы культуры, а также традиции поведения и образа жизни, сформированные в их сообществах в прошлом. Короче говоря, этнос как реалия в жизни человечества – это некоторое множество людей, обладающих неким набором общих для них характеристи-

стик, обособляющих их среди других людских индивидов и других групп людей, чьи характеристики того же типа отличаются по своим конкретным параметрам.

В количественном отношении в состав этноса входят **все людские индивиды**, которые независимо от места проживания имеют некоторый набор общих для них **этнических** характеристик и которые в большинстве случаев осознают себя членами данного этноса. Таким образом, какая-то группа (множество) людей обособляется **как этнос** тогда, когда в процессе исторического развития она по каким-то реальным причинам приобретает определенный **набор этнических характеристик**, вырабатывает осознание своей **этнической общности** и своей этнической неодинаковости по сравнению с другими людскими группами.

Понятие “этнос” – это не есть некий произвольный “конструкт” человеческого ума. Это понятие представляет собой определенный набор существенной информации о некоторой совокупности реалий, относящихся к жизни существовавших и существующих конкретных людских индивидов и их сообществ. Все эти реалии доступны эмпирическому исследованию. Такими реалиями являются:

- **демографический корпус этноса**, то есть совокупность реальных людских индивидов, признающих свою принадлежность к какому-то этносу и обладающие этническими характеристиками данного этноса (язык, этнические комплексы культуры, этнические традиции и элементы этнического образа жизни, этническое самосознание, этноним);

- **структуры демографического корпуса этноса: возрастная** (возрастно-поколенческая), **социальная**, **рурально-урбанская**, **деятельностная**, **образовательная**, **конфессиональная**, **общекультурная**;

- **язык этноса** – общий для членов этноса (в том числе и литературный, диалекты, говоры);

- **система этнической культуры** в первобытных монодиэтнических коллективах и **этнические культурные комплексы**, обслуживающие любой конкретный этнос в той или иной исторический период, когда этнос инкорпорирован в полигэтнические сообщества, комплексы, которые так или иначе включены в общую систему культуры, обслуживающую это сообщество;

- **этническое сознание и самосознание**, их содержание и структура в различные периоды существования и развития этноса;

- **монодиэтнические сообщества, различные по типу** в разные исторические эпохи;

- **внутриэтнические и межэтнические связи** и отношения в различные периоды существования и развития того или иного этноса, в различные эпохи и периоды экономического, социального, политического и культурного развития человечества;

– этнические ситуации и межэтнические отношения в полиэтнических государствах прошлого и настоящего.

Итак, этнические индивиды в своей совокупной численности составляют реальный демографический корпус этноса, его живое материальное “тело”. Это всегда существующая реалия со временем появления вида гомо сапиенс. Популяция вида гомо сапиенс во все времена была разбита на какое-то множество людских коллективов, то есть групп-этносов. Численность индивидов в этих группах, так же как и численность самих групп-этносов, в ходе исторического развития не является одинаковой.

Понятие “демографический корпус этноса” – это прежде всего статистическое (математическое) понятие, содержащее информацию о том, что некая группа людей определенной численности входит в состав некоего этноса в том случае, если они сами себя считают и признают таковыми и – соответственно именуют себя. Понятие “демографический корпус этноса” представляет собой важный и весьма продуктивный понятийный (и терминологический) инструмент научного мышления при решении целого ряда существенных теоретических и практических проблем, связанных с жизнью и историей любого этноса. Любой этнос в процессе своего исторического существования и развития меняет численность своего демографического корпуса. Эти изменения имеют первостепенное значение как для уменьшения или увеличения жизненного потенциала этноса, так и для регулирования его взаимоотношений с окружающей природой и с другими этносами. Любой численно определенный демографический корпус какого-либо этноса имеет в любом отрезке времени своего существования ту или иную возрастную (возрастно-поколенческую) структуру, ту или иную структуру социальной (статусной и др.) дифференциации, ту или иную структуру образованности и т.д. Демографические корпусы этносов, равно как и их разнообразные статистические структуры, изменчивы во времени. Их эмпирическое статистическое исследование – важнейшая часть научного познания этносов, познания динамики их развития, а также причин, обуславливающих эти изменения.

Индивиды, осознающие и признающие свою принадлежность к какому-то этносу, могут жить совместно в одной компактной группе, представляющей собой организованную целостность. Это – этническое (моноэтническое) сообщество. Любая совместная жизнедеятельность какого-либо множества людей по объективной необходимости предполагает систему организации этой коллективной жизни. Коллектив некоего множества этнических индивидов и система организации их совместной жизнедеятельности и есть не что иное, как общественная система (общество) данного этноса, сфор-

мировавшаяся в тех или иных исторических условиях места их обитания и меняющаяся в ходе исторического развития.

Изначально, как это неопровержимо установлено многочисленными научными исследованиями, люди жили в определенных группах, коллективно обеспечивая свою жизнь и выращивание производимого потомства. Первобытные людские коллективы и связи между индивидами формировались, как известно, на основе **отношений в процессе добывания** (производства) необходимых средств жизни, на основе **кровного родства**. Эти группы индивидов, объединенные в организованные коллективы для обеспечения собственной жизни и продолжения себя в потомстве, представляли собой не просто **сообщества живых существ** (каковыми они в определенном смысле действительно и были), но и **первобытную общественную систему, первобытное общество**, и т.е. специфическую **людскую** (характерную для вида гомо сапиенс) систему организации совместной жизни и жизнедеятельности.

Если коллектив **родственных** (т.е. этнических) индивидов формируется как исторически определенная социальная система, необходимая для осуществления всей совокупности разнообразных видов деятельности по тотальному обеспечению жизни членов коллектива, то, в таком случае имеется полное **совпадение демографического корпуса этноса, этнического сообщества** (объединения индивида), а также этнической общественной системы (особо организованного коллектива) как определенных реалий действительности. В этом случае все три понятия – **демографический корпус этноса, этническое сообщество, этническая общественная система** – каждое в отдельности и все вместе полностью охватывают одну и ту же группу людей, всех индивидов, составляющих данный конкретный **этнос** и входящих в их сформированное **этническое сообщество**, которое и есть в данном случае не что иное, как **их общественная система**.

Этнос как совокупность людских индивидов, имеющих одни и те же этнические характеристики, этническое сообщество как определенный человеческий коллектив, этническое общество как организация совместной жизни – все это было слито воедино в рамках **многоэтнического единства**. Сказанное относится ко всем первобытным этническим коллективам (сообществам): и к тем, которые давно исчезли, и к тем, которые в силу тех или иных причин сохранились и в более поздние эпохи развития человечества, вплоть до нашего времени.

Означает ли это, что понятие “этнос” не применимо, когда речь идет об изучении и научном описании первобытных людских коллективов, что более правомерно и более обоснованно оперировать в научном обиходе одним только понятием “общество” (“первобытное общество” или “первобытный социальный организм”)? Нет, не означает. Дело в том, что **первобытные людские коллективы имели**

и все характеристики этноса как своеобразной реалии: **общий язык, осознание своей общности, общие комплексы культуры, общие традиции поведения и образа жизни**. Этот факт вынуждены признать даже те ученые, которые оспаривают правомерность рассмотрения первобытных коллективов (социальных организмов) как **первобытные этносы**, относя появление этносов как особых групп людей (с этническими характеристиками), к более поздним эпохам исторического развития человечества.

Следовательно, **моноэтничным** был **каждый конкретный коллектив людей** той первобытной эпохи, а также **каждый коллектив** этого типа, сохранившийся в последующих эпохах (вплоть до нашего времени). Такой коллектив, стихийно (“естественному путем”) сформировавшийся для совместной жизнедеятельности и биологического воспроизведения, был **моноэтничным**, а не безэтничным, как утверждают некоторые ученые. Эти коллективы были не просто этническими “общностями”, но одновременно и организованными **многопоколенческими** коллективами, т.е. этническими (моноэтническими) обществами (социальными системами, или социальными организмами). Функции общества как системы и функции этноса в таких коллективах совпадают. И тем не менее, отрицать наличие “этничности” в первобытных общественных системах (“организмах”) вряд ли возможно. Это эмпирически изучаемая реалия.

В ходе исторического развития моноэтнизм как принцип коллективной жизни и деятельности людских индивидов и групп претерпел большие изменения. Постепенно, вследствие ряда причин, первобытные этнические сообщества людей в различных регионах преобразовывались сначала в протогосударственные, а затем в государственные, с иным типом организации коллективной жизнедеятельности, иной социальной структурой, иной системой управления и с **неоднородным** этническим составом. И соответственно этому, кроме слов-имен существующих этносов (**этнонимов**), появляются и слова-имена государственных сообществ – **этатонимы**, при помощи которых осуществляется идентификация и самоидентификация как индивидов, так и этих сообществ.

Этнонимы и **этатонимы** могут совпадать или не совпадать, но в полиглазнических государственных сообществах **этатоним** как такой никогда не может служить инструментом этнической самоидентификации и этнической идентификации **всех** их граждан (подданных) такого государства. Поскольку этничность индивида не ликвидируется как реалия самим фактом их включения в то или иное государственное сообщество, самоидентификация индивидов и их этнических групп становится намного сложнее. Этническая самоидентификация и идентификация неминуемо соприкасаются и так или иначе переплетаются с идентификацией по принадлежности к како-

му-то государству, а эта последняя терминологически обозначается по этатониму (“швейцарец”, “россиянин”, “американец” и т.п.). Еще сложнее обстоит дело, когда этноним и этатоним совпадают, т.е. когда полиэтническому государству придается характер моноэтнического, в соответствии с названием (этнонимом) доминирующего (“титульного”) этноса или того этноса, к которому принадлежит государственная правящая верхушка. Как в прошлом, так и теперь отождествление какого-либо этатонима полиэтнического государства с этнонимом одного из этносов, который входит (или входил) в состав его населения, является довольно часто причиной серьезных недоразумений и в науке, и в политике, и в повседневной жизни людей.

В науке пока недостаточно освещен вопрос о том, какие функции реально выполняет этнос в жизни людей вообще, а какие в те или иные эпохи развития человечества и отдельных сообществ. Не решен и вопрос о функциях этноса в личностном развитии конкретных людских индивидов. Не разработана и историческая типология **комплексов** этих функций применительно к человечеству в целом и к отдельным людским сообществам в ту или иную эпоху. Вместе с тем, как показывает эмпирическое исследование данной проблемы, эти функции (как в отдельности, так и в комплексе) менялись из эпохи в эпоху, приобретали свою “историческую форму”.

В науке отсутствуют обстоятельные теоретические разработки проблем типологии **современных этносов и этнических сообществ**, так же как и их функций в жизни людей нашего времени, людей, осуществляющих свою жизнедеятельность далеко не в одинаковых экономических, социальных, политических и культурных условиях. Подобная типология крайне необходима для решения многих научных и практических проблем, связанных с определением перспектив развития человечества, отдельных народов и их государств, с разработкой множества текущих проблем их жизни.

Изначально комплекс функций этноса как компактного демографического корпуса, составляющего **единое сообщество** (моноэтническую **социальную систему**), очевидно, состоял в следующем:

- а) в обеспечении объединения индивидов по принципу **родственности** в организованный жизнеспособный коллектив (**интеграционная функция этноса**);
- б) в обеспечении коммуникации между индивидами, входящими в сообщество, через стихийное формирование “**родного**” языка общения между ними – так называемого естественного языка этноса (**коммуникационная функция**);
- в) в обеспечении организационного структурирования этнических коллективов на основе **родственных связей** и регулирования

отношений между людьми в их коллективной жизни (**организационно-регулирующая функция**);

г) в обеспечении выработки, хранения и передачи из поколения в поколение информации об окружающем мире и о самих себе, в обеспечении эмоционального и интеллектуального развития людских индивидов (**культурно-творческая и культурно-воспитательная функция**);

д) в обеспечении безопасности членов этноса как состоящих в родстве друг с другом, так и коллектива в целом перед любыми угрозами (**защитная функция**);

е) в обеспечении биологического воспроизведения людских индивидов и их сообществ (функция **сохранения рода и вида** как такового или **биорепродуктивная функция**);

ж) в обеспечении возможности самоидентификации индивидов и их сообществ, необходимой в противоречивых жизненных ситуациях, для отличия “своих” (“родных”) и “чужих” (“инородных”) (**идентификационная функция**).

Поскольку в первобытных,monoэтнических по своему составу, людских коллективах фактически не существует разница между этносом как коллективом (“этническим сообществом”) и обществом как системой организации совместной жизни и деятельности некоторого множества людских индивидов, то и их функции в это время полностью совпадают. Это характерно не только для эпохи, когда на земном шаре существовали одни лишь первобытные людские коллективы, но и для последующих эпох, когда коллективы подобного исторического типа продолжали существовать.

Современная наука располагает большим количеством эмпирических фактов, свидетельствующих об исторических изменениях функций этноса в коллективной жизни людей. Изменения функций этноса из эпохи в эпоху происходили в связи с появлением, помимо этнических, также и других видов людских сообществ, принявших на себя частично или полностью некоторые первобытные функции этноса-сообщества (этноса-“социального организма” или этноса-“социальной системы”). Это происходило также и в связи с этнодемографическими процессами, которые существенно меняли из эпохи в эпоху как общую численность этносов, так и группирование индивидов в те или иные коллективы. Сами этносы как определенные реалии в силу многих причин тоже менялись по основным параметрам (социальная и другие структуры его демографического корпуса, язык, культура, традиции, образ и качество жизни), что приводило к сменам **исторических типов этносов**, к сменам **исторического типа** их функций. В силу целого ряда причин эти изменения в разных регионах происходили не одинаково и не в одно и то же время. Вследствие этого в одну и ту же эпоху на земном шаре существовали

(равно, как теперь) различные по историческому типу этносы, с различными историческими типами функций. С появлением в коллективной жизни людей и других, кроме этноса, видов человеческих сообществ, инкорпорирующих в себе этнические функции (ср., появление государств надэтнических религиозных организаций и т.д.), определенные функции этноса, полностью или частично, становились функциями неэтнических сообществ. Защитная и организационно-регулирующая функции, изначально присущие этносу, стали преимущественно функциями государства, соответствующих его органов. Так, просветительско-воспитательную функцию, так же как и ряд других культурных функций, во многом брали на себя и века-ми стремились монополизировать те или иные религиозные сообщества, а потом и государство. Но тем не менее этнос, изменяясь из эпохи в эпоху, продолжал существовать как таковой, как данность и реалия в жизни людей, сохраняя за собой, хотя и в измененном виде, интеграционную, коммуникативную, идентификационную, в значительной мере культурно-творческую, воспитательную функции, чем и объясняется историческая устойчивость этноса как такового. В разные эпохи и у разных исторических типов этносов их функции сочетались между собой по-разному и по-разному соотносились с функциями других людских сообществ, в которые этносы были так или иначе инкорпорированы. Научное изучение этих исторических реалий безусловно способствует углубленному исследованию как истории отдельных народов, так и глобальной истории человечества.

В современных мировых процессах модернизации и глобализации, процессах весьма сложных и противоречивых и по содержанию, и по способам и методам реализации, а также по целям, которые стремятся достичь отдельные государства, отдельные народы, их социальные и этнические верхушки (“элиты”), проблема функционирования этносов приобретает новые аспекты. Каковы это аспекты и каково их значение? Науке это еще предстоит изучить. Однако следует отметить, что в современной общественной жизни, в политической борьбе в различных странах довольно отчетливо можно наблюдать два влиятельных направления в поисках решения этой важной и отнюдь не простой проблемы. Одно из них характерно для некоторых этносепаратистских движений, которые, разрабатывая планы “национального возрождения”, выдвигают лозунг “возвращения к этническим корням”, утверждая, что именно полная этническая и этно-религиозная “коренизация” жизни и жизнедеятельности этносов, полное возвращение к тому образу жизни, который был у далеких предков и есть путь сохранения и выживания этносов в современных условиях. Эти идеи поддерживаются и разрабатываются немалым числом ученых, обсуждаются на научных форумах, деба-

тируются в парламентах и разного рода международных организациях вплоть до ООН. Другое направление имеет прямо противоположный характер. Оно основывается на идеях об абсолютной модернизации всего человечества, всех этносов, существующих в наше время, и полного отказа от “традиционной культуры” и “традиционных” форм образа жизни, которые рассматриваются как совершенно несовместимые с “индустриальной цивилизацией” и свойственным ей образом жизни. Кроме этих, прямо противоположных направлений, существуют и промежуточные (“компромиссные”) направления, ориентированные либо на ту или иную частичную модернизацию данного этноса, при безусловной сохранности его “коренной этничности”, либо на то, чтобы при осуществлении модернизации в ее современном виде и объеме, были сохранены те или иные элементы древней этничности и “традиционной культуры”, в той мере, в которой они не мешают модернизации и процессам глобализации.

Все эти разнообразные идеологемы, как крайние, так и умеренные, имеют своих сторонников практически во всех этносах нашего времени и поддерживаются людьми и социальными слоями в зависимости от того, как они их связывают со своими текущими и долгосрочными интересами.

О ПОНЯТИИ “ЭТНИЧНОСТЬ”

(Этническое сознание, этническая идентификация
и самоидентификация)

“Этничность” – это набор определенных характеристик людей и индивидов и их групп, их сообществ, набор характеристик, дающий возможность определять, “кто есть кто”, то есть позволяет на основе реально существующих показателей выявить принадлежность индивидов, их групп и сообществ к тому или иному этносу, а также возможность любой “этнической самоидентификации” индивидов и каких-то множеств людей.

Если исходить из указанного выше определения того, что есть этнос как реалия, то тогда этничность индивидов и групп определяется такими показателями:

- их владением **языком этноса** и признанием его в качестве “родного”, умением использовать его в общении;
- их усвоением каких-то **комплексов культуры** этноса, к которому они принадлежат, и умением использовать эти комплексы в повседневной жизнедеятельности;
- их использованием (и сохранением) **традиций поведения и образа жизни** этноса, к которому они принадлежат;

— их **самосознанием** принадлежности к какому-то этносу, имеющему определенный этнический номинал.

В соответствии с этим **этничность** какой-нибудь людской группы или организованного **коллектива** определяется реальным наличием у них:

1) **общего языка** в качестве родного, используемого в общении между членами группы или коллектива;

2) некоторых специфических **комплексов культуры**, выработанных и вырабатываемых в лоне этноса, используемых, хранимых и передаваемых из поколения в поколение в рамках данной группы или коллектива;

3) некоторых специфических **традиций поведения и образа жизни**, сформированных в рамках данного этноса, используемых и передаваемых в том или ином виде из поколения в поколение;

4) **индивидуального и коллективного самосознания принадлежности к данному этносу** и соответствующего этнического номинала.

Все эти “элементы этничности” (набор элементов: язык, комплексы культуры, традиции поведения и образ жизни, самосознание, этнический номинал) имеют **общественно-исторический и культурно-исторический**, то есть социокультурный, а вовсе не биогенетический характер. Каждый из этих элементов исторически меняется, однако общая схема набора “элементов этничности” всегда остается. Следовательно, со временем первобытных видов этнических сообществ до нашего времени этничность как таковая, как набор определенных видов характеристик, свойственных конкретным группам людей и индивидам, **структурно не меняется**. Все характеристики антропо-биологического плана, которые в древнейшие времена тоже в какой-то степени могли служить признаком этнической принадлежности как индивидов, так и их сообществ, на более поздних этапах исторического развития все больше ограничиваются ролью определителя не этнической, а расовой принадлежности, поскольку люди с подобными характеристиками могут принадлежать к весьма различающимся между собой этносам. Один и тот же набор расовых характеристик в конкретном виде может быть общим для нескольких этносов. Один и тот же конкретный набор “элементов этничности” характеризует **только один этнос** даже тогда, когда тот или иной элемент из этого комплекса является общим для нескольких этносов (например, язык).

Условием существования этноса как реалии является наличие какого-то множества людей, которые в ходе их продолжительной коллективной жизни в том или ином сообществе, приобрели конкретный набор социокультурных характеристик (общий язык, определенные специфические комплексы культуры, традиции поведения и образа жизни), которые в своей совокупности и образуют этническую общность.

ность как таковую. И наоборот: условием образования этничности, а значит, и самих этносов, является **продолжительная, из поколения в поколение, совместная жизнь** некоего множества людских индивидов, их коллективная жизнедеятельность. Именно в совместной жизни, продолжающейся длительное время, у людских коллективов из поколения в поколение вырабатывается общий для данного множества индивидов язык (общая система знаков), без которого невозможно было бы общаться и осуществлять совместные действия по жизнеобеспечению. В продолжительной совместной жизни групп людских индивидов вырабатываются и комплексы культуры, и традиции поведения и образа жизни, характерные именно для данного множества людей, так же как и осознание ими своей общности как общности **родственных** людей. Сформировавшаяся этничность передается из поколения в поколение в течение веков и тысячелетий, хотя сообщества, в которых она возникла и оформилась, менялись и преобразовывались. При этом сама этничность постоянно видоизменяется при сохранении изначальной ("коренной") основы, созданной прежними поколениями. Каждое новое поколение людей, обустраивая свою жизнь, вносит в нее новые социокультурные элементы большей либо меньшей значимости. Но со множествами людей – носителями определенной этничности – в ходе их исторического развития неизбежно или в результате стечения обстоятельств происходят события и процессы, вызывающие изменения в их коллективной жизни, изменения, которые сказываются и на самой их этничности. Эти множества могли по каким-то причинам разделиться на несколько этнически родственных множеств людей, которые со временем могли превратиться в отличающиеся друг от друга новые этносы, находящиеся в различных сообществах, или вновь объединяющиеся в каком-либо моноэтническом либо полигэтническом сообществе.

Переход от первобытных людских сообществ к образованию протогосударственных и государственных сообществ привел не только к тому, что ряд функций первобытных этносов становятся полностью или частично функциями людских сообществ нового исторического типа и прежде всего государства и его органов. В новых условиях коллективной жизни внутри самих этносов происходят большие изменения. Они социально дифференцируются: в них образуются господствующие ("элитные") и подчиненные (простонародные) группы, различающиеся по их роли в органах власти (в системе управления государством), по их статусу в коллективной (общественной) жизни, по их имущественному положению. Если до этой дифференциации статус индивида в коллективе определялся его персональными свойствами (ум, физическая сила, доблесть), то в новых условиях решающими определятелями ста-

туса индивида становятся принадлежность или непринадлежность к “элите”, значимость поста в системе власти, величины частной собственности. Этнические верхушки (“элиты”), узурпировавшие власть в рамках своих этносов, в дальнейшем распространяли ее и на другие этносы, на все этнические группы, которые так или иначе оказывались на территории их государств. Государства становились полиэтническими по составу населения, а власть оставалась, как правило, в руках “элиты” одного этноса, по этониму которого обычно называлось и государство (т.е. определялся этатоним). Традиция, когда полиэтническому государству давалось моноэтническое имя, приобрела широкое распространение в истории человечества, сохраняется она во многих случаях и поныне. В истории отдельных этносов встречаются в связи с этим поразительные, порой парадоксальные факты. На берегах Волги некогда существовало своеобразное государственное сообщество тюркского этноса поволжских булгар. В свое время его захватили монголо-татары, создав в Поволжье “свое” татарское государство, в котором большинство населения составляли покоренные булгары. Правящая татарская верхушка, давшая новому полиэтническому поволжскому государству название по этониму своего этноса, ассимилировалась, влилась в булгарский этнос так же, как и та часть татарского этноса, которая участвовала в покорении булгар и поселилась на завоеванной территории. Название поволжского государства (этатоним) обозначалось этонимом правящей верхушки завоевателей – “татары”. Этот этоним стал также этонимом и основной массы населения, которое по этническим характеристикам (язык, культура, традиции, образ жизни) оставалось прежним, то есть тюркско-булгарским. Поволжские булгары стали по **названию** поволжскими татарами. Одновременно подобный процесс происходил и на Балканах, где поселилась вторая часть поволжских булгар, покинувшая Поволжье под натиском хазар. Они подчинили своей власти часть балканских славян и основали на Балканах полиэтническое государство – булгарское царство, власть в котором находилась в руках этнической верхушки булгар. В дальнейшем булгары славянлизировались. Впрочем, этоним “болгары” стал использоваться для обеих слившихся этнических групп населения этого государства. Булгары как тюркский этнос на Балканах исчезли, а этоним и этатоним остались. Это не единственный случай такого типа в истории людских сообществ.

В реальной жизни людей этничность имеет целый ряд проявлений и, следовательно, различные аспекты исследований, среди которых особый научный и практический интерес представляют:

1. “Этничность” как реалия в жизни людских **коллективов** (тех или иных групп индивидов **микро-, мезо- и макроуровней**).

2. “Этничность” как реалия **жизни индивида** (осознание и признание своей принадлежности к какому-то этносу; элементы индивидуальной культуры, менталитета, стиля поведения).

3. “Этничность” как реалия **системы культуры** какого-то сообщества, характерная для того или иного времени.

4. “Этничность” как реалия **в жизни государства** (демографические, политические, социальные, культурные, идеологические аспекты).

Каждый из этих аспектов “этничности” требует особых (как по характеру, так и по методике) эмпирических и теоретических исследований, которые могут проводиться либо дифференцированно, либо в комплексе системных исследований возникновения и развития различных конкретных этносов или других людских сообществ.

Нередко в научной литературе, когда речь идет об индивидах, о людских группах и сообществах, в том числе и о государствах, можно встретить термины “степень этничности” и “уровень этничности”. Эти термины, каждый в отдельности, используются неоднозначно, что, естественно, само по себе неизбежно приводит к логической некорректности научного мышления и научных дискуссий. Но дело не только в этом. Возникает вопрос: насколько вообще научно корректно и продуктивно оперировать понятиями, призванными определять “степень” и уровень “этничности”? Можно ли этничность как реалию градуировать по степеням и уровням? Чем можно определить, что один индивид “этничнее” другого, что одна группа людей, или людское сообщество, или государство “этничнее” другого и при помощи каких измерителей это можно сделать?

Осознание общности с кем-то и своего отличия всегда присутствует у людей как элемент их сознания и самосознания. Но не всякое такое сознание является **этническим сознанием** и самосознанием. Каждый человеческий индивид обладает неким **общим** сознанием того, кто он такой, каким считает самого себя, к какому коллективу принадлежит, чем этот коллектив отличается от других и т.д. Такое общее сознание, общие представления о себе и о других служат основой **общей индивидуальной и коллективной самоидентификации** людей.

В этой **общей самоидентификации** людей, осуществляющейся по многим параметрам, может присутствовать идентификация по этническим параметрам, отвечающая на вопрос: “к какому этносу я принадлежу”? Это осознание людьми своей принадлежности к определенному этносу и есть **этническое сознание**. Оно не является простым самопричислением индивида или группы людей к какому-то этносу. Этническое сознание имеет **целый ряд компонентов**, среди которых важнейшими являются:

1) **понимание и осознание** своего **родства** с каким-то множеством людей по ряду параметров – по общности языка, по образу жиз-

ни или некоторым элементам образа жизни, по общности тех или иных специфических комплексов культуры (фольклор, мифология, религия, нормы поведения), по своеобразным традициям в быту и семье, по “историческим корням” и исторической памяти;

2) **понимание и осознание общности положения и судьбы** какого-то множества **этнически родственных** людей среди других иноэтнических групп, **связи собственных интересов и собственной судьбы** (в прошлом, настоящем и будущем) с интересами и судьбой данного этнического множества;

3) **осознание и чувство солидарности** с определенным множеством **этнически родственных** людей в их колективных и индивидуальных жизненных стремлениях, в тех или иных конкретных действиях.

Такая структура этнического сознания зародилась и формировалась в длительном процессе развития первобытных родо-общинных коллективов, которые были **кровно-родственными** коллективами людей. Оно формировалось под влиянием реальных условий жизни этнических индивидов и групп, инкорпорированных в те или иные моноэтнические сообщества, образование которых по объективной естественной необходимости базировалось на **кровно-родственных** связях индивидов. В дальнейшем, по мере естественного роста количества индивидов в первобытных родо-общинных коллективах, по мере их диффузии и расселения в новые местности в поисках необходимых ресурсов, изначальные кровно-родственные связи размывались и менялись, а при образовании государственных и других неэтнических сообществ они переставали быть основой объединения больших групп людей. Однако **этническое родство** как феномен в жизни людей сохранялось и сохраняет до сих пор свою значимость, выражаясь прежде всего в языке и элементах традиционно-культурной родственности (в обычаях, фольклоре, мифологии и прочее). И хотя в этом феномене родственности центр тяжести в ходе исторического развития переместился с **кровно-родственных** связей между людьми на **языково-культурные** связи, этническая родственность сохраняет свое значение в жизни людей и содержит огромный **интеграционный потенциал**. Этот потенциал, заложенный в сознании того или иного множества людей, может и нередко бывает использован как на благо, так и во вред самих этнических индивидов и этносов, к которым они принадлежат. История человечества, так же как и его современная жизнь, дают многочисленные доказательства этого.

Этническая самоидентификация индивидов и их различных сообществ, осуществляемая на основе сформированного этнического сознания и самосознания, всегда определенным образом (иногда

весьма противоречиво) бывает связана с общим сознанием людей. Под влиянием **доминант** общего сознания (например, мифологии, религии, науки) в существующих людских коллективах в ту или иную эпоху формируется **исторический тип** как этнического сознания, так и этнической самоидентификации индивида и их сообществ.

Но кроме **этнической самоидентификации**, когда индивиды или этносы определяют себя (“кто мы такие в смысле нашей этничности и чем отличаемся от других?”), исходя из собственных представлений о себе, существует и их **этническая идентификация** со стороны **других индивидов** и людских групп по определенным **реалиям “этничности”** (реальным фактам: язык, культура, традиции и пр.), реалиям, позволяющим установить принадлежность идентифицируемых людей к тому или иному этносу, причем независимо от того, осознают ли и в какой мере свою этничность и обособленность данные индивиды и группы.

Этнос и этничность – это не только сфера сознания (самопознания), но и совершенно определенная, эмпирически изучаемая и познаваемая **реалия** реального мира людей. Принадлежность к кому-то этносу и этничность можно не только узнать (и осознать) у самого себя, но и распознать также у других. Осознавая самого (самых) себя, можно в то же время осознать (определить) и свое место среди “других”, в чем-то отличающихся, а в чем-то и похожих людей. Может, конечно, что какой-то индивид родился и живет в среде некоего этноса, говорит на языке этноса, придерживается культурных ценностей данного этноса, но не обладает ясным этническим сознанием, сознанием того, что такое его **этнос** среди других этносов и чем он от них отличается. Это, однако, не означает, что он не является **объективно** индивидом определенной этничности, хотя сам он это не осознает в полной мере. Его этническую принадлежность “другие” также могут распознать и осмысливать как на уровне обыденного сознания, так и на уровне научного познания. Этническое самосознание индивида (а также групп людей), их **этническая самоидентификация**, с одной стороны, и **научное познание, научная идентификация** тех же этносов и индивидов – с другой, это, разумеется, вещи разные. Путать и подменять эти понятия, естественно, не следует. Научное познание со всей серьезностью принимает во внимание и изучает наличие этническое самосознание индивидов и их групп, однако для выработки **научно достоверной идентификации** того или иного этноса этого недостаточно.

Этническое сознание, благодаря которому и на основе которого осуществляется **этническая самоидентификация**, а в значительной степени также и **научная идентификация** этносов и индивидов,

занимает далеко не всегда доминирующее место в совокупном общественном (ориентированном на коллектив) сознании людей. До-минировало оно, очевидно, и у первобытных этносов и первобытных догосударственных сообществ. Люди, жившие в первобытных (сначала небольших по численности) коллективах (родовых, родообщинных), постоянно, практически ежедневно ощущали и осознавали реальность **родственных связей** с другими людьми, с которыми они общались **на родном языке**, повседневно ощущали и осознавали неразрывность **своих жизненных интересов и своей судьбы** с судьбой и интересами той группы, в которой они появились на свет и жили. Тогда этническая самоидентификация фактически была если не единственной, то безусловно решающей самоидентификацией индивидов и их сообществ. Но с формированием **государственных сообществ**, с появлением классовой (имущественной, статусной, культурной и прочей) дифференциации индивидов и групп индивидов в этих сообществах их общее и этническое самосознание усложнились. В них появились новые компоненты: государственное самосознание, кастовое или классовое самосознание, религиозное, имперское и т.д. Эти компоненты могли в определенных ситуациях отодвинуть на задний план этническое самосознание (то есть **сознание принадлежности к какому-то этносу как таковому**) и занять до-минирующее место в сознании индивидов и их групп, а могли, и это случалось и нередко случается, стать составной частью этнического самосознания. Разумеется, формирование соотношения между собственно этническим и другими видами самосознания как у отдельных индивидов, так и у тех или иных социальных групп в различных конкретных ситуациях происходит по-разному и эти соотношения также меняются по-разному в конкретных исторических ситуациях. Так было в прошлом. Так происходит и теперь. Все зависит от силы традиции и понимания людьми – индивидами и группами, собственных интересов (сиюминутных, краткосрочных и долгосрочных).

Этническое самосознание при определенных условиях может быть и бывает одной из движущих сил активности индивидов и множества людей в направлении либо к **этноцентризму** (этнический эгоизм, а также изоляционизм или же, наоборот, гегемонизм по отношению к другим этносам), нередко связанному с противостоянием и конфликтами с другими этносами, либо **этнокоэкзистенциализму** (ориентации на мирное сосуществование этносов на базе их взаимо-выгодного сотрудничества и стремления избегать межэтнических конфликтов в процессах преодоления тех или иных возникающих противоречий).

РАЗВИТИЕ ЭТНОСОВ И ЭТНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Существует неоспоримый факт: от питекантропа до гомо сапиенса, от первобытного гомо сапиенса до человека современной индустриальной цивилизации человечество, люди, населявшие и населяющие различные регионы земного шара, сообщества людей, их образ и качество жизни в течение многих тысячелетий постоянно, причем существенно, менялись.

Что собой представляют изменения людских индивидов на протяжении их жизни, **людских сообществ и человечества в целом** на протяжении всего времени их существования? Являются ли они:

а) просто цепью смены каких-то разнообразных состояний без какой-либо взаимной причинной связи и упорядоченной последовательности, такой смены, когда новые состояния не обусловливаются предыдущими и не являются их “фазами”, “ступенями”, “стадиями”?

б) цепью изменяющихся состояний, строго последовательно возникающих друг за другом как обязательная смена стадий на некоем “магистральном пути истории”, где “развитие” идет “по линии прогресса” от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному, от простого к все более сложному”?

в) цепью сменяющихся состояний во времени и пространстве по кружной или полукружной линии постоянного повторения?

В науке собрано огромное количество неопровергимых доказательств того, что изменения людей и их сообществ, имевшие место как в одно и то же, так и в разное время в разных регионах и местностях Земного шара, происходили **неодинаково** как по направлению, так и по темпам. Несмотря на неравномерность и разную направленность изменения людей и их конкретных сообществ, происходящих в хронологически сменяющие друг друга эпохи истории существования вида гомо сапиенс, в целом этот вид живых существ претерпел колоссальную эволюцию. Люди первобытных эпох существенно отличались от людей, живущих в современную индустриальную эпоху. Нетрудно заметить существенные изменения людей, их менталитета и образа жизни по истечении нескольких столетий и даже нескольких десятилетий. Непрекращающиеся перемены в жизни людей, изменение их сообществ, персональные изменения самих людских индивидов – это факты, которые трудно не видеть повседневно, даже невооруженным глазом.

Через какие изменения проходили этносы как определенные группы (множества) людей с набором общих этнических характеристик? Что является основной причиной этих изменений, наблюдавшихся в течение веков и тысячелетий?

Конкретные этносы возникали, формировались, существовали определенное время, нередко столетия, а потом исчезали, либо трансформируясь в другие этносы, либо вымирая вследствие какой-то катастрофы, либо в результате истребления другими этносами. Менялись не только этносы – исторически сложившиеся группы людей определенной этничности, но и сама этничность как реалия, то есть те специфические характеристики, общие для группы людей, составляющих этнос: их язык, специфические комплексы их культуры, традиции поведения и образа жизни. Изменения этносов – это прежде всего суть изменения самих человеческих индивидов, их социокультурных характеристик, их демографических параметров, их социальной организации и стратификации, образа их жизни. Все то, что происходило и происходит с реальными этносами, и есть действительная **этническая история человечества**, составная часть общей истории человечества, истории существования и развития вида гомо сапиенс.

Общая история человечества как реалия – это все то, то происходило и происходит с видом гомо сапиенс, со всей популяцией людей и всеми их сообществами во всех регионах Земного шара как на отдельных больших или меньших временных отрезках (эрах, эпохах, периодах), так и на протяжении всего астрономического времени их существования¹.

Иными словами, изучение истории человечества – это прежде всего изучение того, как во времени и пространстве **менялись и меняются сами люди**, какие изменения происходили в способах их адаптации с окружающей природой, в их **образе жизни** в меняющихся (также во времени и пространстве) коллективах, в рамках кото-

¹ В исторической науке сложилась прочная традиция рассматривать историю человечества как историю конкретных обществ (общественных систем, "социальных организмов", государственных образований). В соответствии с этой традицией "первичными субъектами истории" считаются не людские индивиды, а их конкретные общества (или сообщества). Между тем историю творят **людские индивиды**, объединенные в те или иные сообщества. Именно они – так или иначе сгруппированные индивиды – являются, как по отдельности, так и в совокупности **действительными субъектами истории** в любых "конкретных обществах", и человечество в целом. Каждый индивид своей деятельностью по обеспечению собственной жизни и жизни коллективов всех уровней, членом которых он является, вносит определенный вклад в творение истории. История не развивается сама по себе. Ее творят **конкретные люди, человеческие индивиды**, в меру своих субъективных способностей и реальных объективных возможностей. Традиция рассматривать субъектами истории государства и их правителей восходит к Геродоту. Источником сведений, необходимых для реконструкции прошлого, могут служить **свидетельства** о деятельности людей прошедших времен: материальные остатки их самих и продуктов их физического и умственного труда, сохранившиеся документы и воспоминания.

рых они действуют и воспроизводятся как живые существа определенного биологического вида на Земле.

Изменения **отдельных человеческих индивидов** как материальных объектов “живой природы” происходят на всем протяжении их индивидуального **биогенетически** определенного времени существования. Эти изменения касаются каждого индивида, который по **антропобиогенетической программе** проходит обязательно (если, разумеется, этому не помешают случайные обстоятельства) от начала до конца своего существования **три основных этапа биологического развития**: этап **градации** (восходящего развития), этап **кульминации** (наиболее полноценного развития), этап **деградации** (нисходящего развития). Но людские индивиды развиваются не только как **биоматериальные объекты** природы. Они развиваются еще и как **социокультурные существа**, как члены людских коллективов, в которых они живут. Это развитие людских индивидов происходит в соответствии с **социокультурной программой**, выработанной и реализуемой в людском сообществе данного места и времени, в сообществе, в котором данный конкретный индивид живет и осуществляет свою жизнедеятельность. Социокультурное развитие индивида определяется как этапами его собственного биологического развития, так и социокультурным развитием его коллектива (сообщества). Коллективы, в которых живут людские индивиды, имеют различные уровни: **микро-** (семья, ближайшие соседи, трудовой коллектив), **мезо**- (население деревни, города, области) и **макроуровень** (население государства). К тому же, все существовавшие и существующие коллективы имеют и свою этническую определенность – они либо моноэтничны либо полиэтничны на любом из уровней. Это существенный фактор в социокультурном и этнокультурном развитии любого человеческого индивида. От того, какова **этничность** и какова **этническая ситуация** в конкретных коллективах, в которых индивидам приходится жить, осуществлять свою повседневную жизнедеятельность и воспроизводить себя в потомстве, во многом зависит и то, как и в каком направлении происходит формирование его этнокультурных характеристик, то есть и его **этничности как таковой и исторического типа** его **индивидуальной этничности**. В процессах биогенетического развития индивидов и **биогенетического наследования** в течение длительных отрезков времени, охватывающих жизненные периоды многих поколений, формируются определенные **биоантропологические типы** людей (**человеческие расы**). В процессах социокультурного развития людских индивидов и **социокультурного наследования** формируются **персональные характеристики** индивидов и **исторические социокультурные типы** людей как таковых и как **этнических индивидов**, формируются конкретные этносы как некоторые множества людей с набором определенных этнокультурных ха-

рактеристик. Нет никаких убедительных доказательств того, что этнокультурное наследование у людей осуществляется посредством механизмов биогенетического наследования. Этничность как таковая – продукт социокультурного наследования в конкретных исторически сложившихся коллективах, в конкретной **этнической человеческой среде** (моно- или полигатнической по своему составу).

Важную роль в исторических процессах развития человечества играют происходящие во времени **изменения поколений людей**, то есть групп индивидов, родившихся в один и тот же промежуток времени в том же самом или ином сообществе или во всех одновременно существующих сообществах земного шара. Каждое людское поколение проходит, как и индивиды, его составляющие, свой жизненный путь **биологического и социокультурного** развития от появления на арене истории человечества и до своего ухода из жизни. В истории человечества поколения идут одно за другим, сменяя друг друга и наследуя друг от друга:

- а) биологические гены;
- б) материальные блага (унаследованные из прошлого или жеими самими создаваемые);
- в) объективированные культурные ценности (из прошлого или же вновь созданные) – знания всех видов, произведения искусства, символика и другие знаковые системы, включая и язык, а также традиции поведения образа жизни.

Развитие вида гомо сапиенс, развитие всех людских сообществ происходит путем **смены поколений** индивидов, характерных для тех или иных сообществ этого вида живых существ. История человечества это и есть **история смены людских поколений**. Смена поколений обеспечивает само существование вида гомо сапиенс как такового и преемственность в развитии всех людских сообществ, моноэтнических и полигатнических, в развитии этносов как таковых. Смена поколений **всегда** происходит в многопоколенных людских коллективах, в которых тоже **всегда одновременно** существуют поколения людей в возрасте **восходящего развития**, поколения людей в возрасте **кульминационного развития** и поколения людей в возрасте **деградационного развития**. Это не только обеспечивает преемственность в развитии человечества, но и накладывает свой отпечаток на развитие индивидов в каждую эпоху и в любом человеческом сообществе и на развитие самих людских сообществ. Упускать эти аспекты в исторических исследованиях непозволительно. В ходе исторического развития человечества происходит постоянная и сложная **интерференция линий** индивидуального и поколенческого развития людей с линиями развития их информационной и технической вооруженности, способами их деятельности, с линиями развития систем организации их совместной жизни. Все эти линии переплетаются и

влияют друг на друга, сливаясь в некий целостный комплекс, который всегда имеет ту или иную **конкретную специфику** в зависимости от условий, места и времени. Это есть **реальность истории человечества**, которая является объектом научного исторического исследования, осуществляемого множеством научных дисциплин, в том числе и тех, которые изучают этническую проблематику.

История человечества не сводится только к истории людских индивидов и их поколений. Люди всегда жили в коллективах, в рамках которых происходило их индивидуальное и поколенческое развитие, в которых они осуществляли всю свою жизнедеятельность. На протяжении многих тысячелетий существования вида гомо сапиенс происходили и непрерывные изменения людских коллективов от самых первобытных до современных. Огромное значение для жизни людей, для их индивидуального развития и развития их сообществ имела и всегда имеет географическая среда их обитания, ее климатические условия и природные ресурсы жизнеобеспечения. Многие общечеловеческие черты людей и специфические этнические характеристики индивидов и человеческих сообществ формировались на протяжении веков в зависимости от условий природно-географической среды их обитания, изменения самой этой среды (в силу либо стихийных факторов, как следствие человеческой деятельности) или ее смены и перехода в другую.

Общая (тотальная) история человечества – это совокупный процесс становления и развития индивидов вида гомо сапиенс и самого этого вида, процессы изменения популяции людей и их расселения и передвижения по регионам Земного шара, процессы возникновения и эволюции разнообразных человеческих сообществ, их взаимоотношений, процессы изменения способов деятельности людей, их информационной и технической вооруженности, их менталитета, образа и качества их жизни.

Само собой разумеется, что в этой глобальной *реальной* истории человечества в качестве ее составных частей и как особые объекты научных исследований присутствуют истории отдельных конкретных человеческих сообществ – этнических, государственных, религиозных, и отдельных фрагментов и сторон “человеческой деятельности”: экономика, политика, войны, культура и прочее. Но во всех случаях это составляет суть *истории людей* и того или иного вида их жизнедеятельности во времени и пространстве.

На протяжении тысячелетий люди пытались выяснить, что собственно вызывает и чем регулируются непрерывные изменения в их жизни и в сообществах, в которых они осуществляют свою жизнедеятельность – этнических, социальных, государственных. На этот вопрос давались ответы: а) мифологические, б) теологические, в) научные.

В **мифологических и теологических** ответах в качестве решающего фактора – **причины причин**, как появления людей на Земле и образования этносов и людских сообществ (этнических и других), так и всех последующих перемен, происходящих в жизни и жизнедеятельности людей, выдвигалось действие сверхъестественных сил: а) мистической судьбы, б) пророчества, в) воли богов или какого-то одного бога (“единственного”).

Сами люди, согласно концепциям этого типа, являются только послушными или непослушными **исполнителями** чужой (“высшей”) воли, за что были и бывают вознаграждены (если смиренno исполнили указания “свыше”) либо жестоко наказаны и осуждены на страдания (если не выполняли того, что им указывали высшие силы). Из всего этого складывалась история человечества: из действий людей в соответствии или в несоответствии с указаниями судьбы, пророчества или богов, в совокупности с последствиями этих действий в качестве награды или наказания для людей.

В **научных** ответах на вопросы о причинах изменений в жизни людей в их сообществах и изменений самих сообществ из эпохи в эпоху, а также о движущих силах этих изменений, находят свое отражение различные концепции и подходы, нередко прямо противоположные. Все зависит от исходной парадигмы той или иной исторической школы. Как известно, в науке с давнейших пор существуют и противоборствуют две концепции, два подхода при решении вопроса о причинах и движущих силах исторического развития человечества в целом и конкретных людских сообществ:

а) **объективно-факторная** концепция (в двух вариантах: **монофакторная** и **полифакторная**), согласно которой историческое развитие людских коллективов и самих индивидов определяют объективные факторы, объективные обстоятельства и объективные закономерности существования их самих и окружающего их материального мира;

б) **субъективно-волюнтаристская** концепция, которая объясняет причины исторических перемен в жизни людей, в возникновении, развитии и исчезновении тех или иных человеческих сообществ, как моноэтнических, так и полиглоссических, в том числе и самих этносов исключительно “субъективными факторами”, т.е. деятельностью людей, которые, руководствуясь своими интересами, реализуют какие-то свои – индивидуальные либо коллективные замыслы, планы, программы. При этом они могут исходить как из рациональных соображений, так и из своих увлечений, страстей, своего эмоционально-психического состояния.

Исследовательская практика показала, что если последовательно придерживаться той либо другой из этих концепций, многие из важнейших событий в истории человечества не получают и не могут

получить достоверное объяснение и научное описание. Дело в том, что в каждой из названных концепций упускаются из вида те или иные весьма существенные моменты в жизни и жизнедеятельности людей.

Вся человеческая жизнедеятельность (т.е. вся человеческая жизнь) базируется на двух противоречивых принципах: а) коллективизма; б) индивидуализма.

Человеческий индивид, как и любое другое живое существо, в силу инстинкта самосохранения, заложенного изначально в его материальной конституции, является “принципиальным” индивидуалистом. В силу действия того же инстинкта, как бы это ни казалось парадоксальным, он в то же время не может не быть “принципиальным” коллективистом.

Тот факт, что существование людей (как индивидов, так и вида в целом) зиждется на двух противоположных принципах, представляет собой объективную реальность, отрицать которую попросту невозможно. Сам этот факт является результатом длительной эволюции людей как вида живых существ, от первобытных гомонидов до первобытных сапиентов и от них до современного человека индустриальной эпохи. Причина этого заключается в **самой материальности их существования**. Вряд ли можно отрицать, что люди, как и любые другие живые существа на Земле, представляют собой, хотя и своеобразные, но все же материальные объекты, являющиеся частью материального мира как такового. Из этого следует, что и на людские индивиды и на их существование распространяется действие общих законов материального мира. Кроме того, каждый человеческий индивид, как и любая особь других видов живых существ, представляет собой определенную биологическую систему, имеющую свою структуру, свою энергетику и способы обмена веществ и энергии с окружающим материальным миром, свою био-материальную динамику существования и развития от зародыша до смерти. Вполне естественно, что общие закономерности существования биологических систем распространяются и на существование людских индивидов. Именно общие закономерности существования мира материальных объектов природы обусловливают многое из того, что происходит с людьми и что делают сами люди.

Человек является “по своей природе” индивидуалистом именно потому, что он представляет собой отдельную материальную биологическую систему, которая может существовать и воспроизводить себя в потомстве на основе законов природы, на основе фундаментальных принципов образования и существования любых материальных природных объектов и в первую очередь **принципа самосохранения** (сохранения содержащейся в нем материи и энергии, со-

хранения своей внутренней структуры и функционального взаимодействия частей). Это и есть важнейший фактор, порождающий индивидуалистический эгоцентризм в психике и действиях человеческих индивидов, причина причин эгоизма как такового у всех живых существ на Земле, в том числе и у людей. Индивидуализм (эгоцентризм) – это атрибут естественной природы людей как живых существ, проявляющийся в инстинкте самосохранения, в стремлении людских индивидов обеспечить сохранение своей жизни и удовлетворение своих экзистенциальных жизненных интересов, что и отражает соответствующие действия, направленные на это¹.

Одновременно с этим в ходе эволюции людей как вида живых существ, формировалась их видовая особенность: человеческий индивид может выживать (самосохраняться) и продолжать себя в потомстве, только находясь в организованном коллективе, сообществе с другими индивидами своего вида, иными словами, **его естественные эгоцентрические (эгоистические) ориентированные основные потребности реализуемы только в коллективах**. Людские индивиды в силу своих естественных видовых особенностей обречены на коллективную жизнь, иначе им не выжить самим и не обеспечить продолжение существования самого вида гомо сапиенс, то есть продолжение себя в потомстве. Необходимость совместного выживания, производства и выращивания потомства породила у людей стремление к **коллективизму как жизненному принципу**. Этот принцип означает, что любой индивид, стремясь обеспечить собственную жизнь, продолжить себя в потомстве, должен, хочется ему этого или нет, проявлять заботу и прилагать усилия для обеспечения нормального и безопасного существования и развития микро-, мезо- и макроколлективов, в которых он живет. Все, что человек делает как индивид и как член коллектива подобных ему индивидов, связано с психическими процедурами мотивации, выбора и принятия решения. Эти психические процедуры предваряют и так или иначе определяют все действия людей и их поведение во всех возникающих жизненных ситуациях, и, следовательно, всю совокупность жизнедеятельности индивидов и их сообществ. А это значит, что люди всегда, отвечая и реагируя на различные вызовы, **сами творят свою историю**. Их “творение истории” – это не что иное как “творение” собственной жизни, постоянное – ежедневное, ежечасное – обеспечение экзистенции индивидов и их воспроизведения в рамках определенных

¹ Это понятие индивидуализма как свойства всех живых существ, включая и людей, нельзя смешивать с понятием индивидуализма как **определенной идеологии**, отрицающей существование и даже возможность существования у людей каких-либо других стремлений и стимулов деятельности, кроме сугубо личных интересов.

коллективов либо таковых, какими они являются, либо изменяя их частично или коренным образом.

Впрочем, творения людьми своей жизни и процессы изменений и смен самих систем организации коллективной жизни людей только субъективными факторами вряд ли возможно. Точно так же невозможно дать достоверно обоснованное научное описание изменения людей и их сообществ лишь при учете одних объективных факторов и закономерностей.

Неэффективность как объективно-факторной, так и субъективно-волюнтаристской концепций в качестве *отдельно взятых* исходных парадигм при исследовании причин и движущих сил истории человечества проистекает из их однобокости.

Объективно-факторная концепция (во всех своих разновидностях) пренебрегает и фактически сводит к нулю значение самой **целенаправленной** субъективной по своей природе деятельности людских индивидов (в отдельности и как коллектиvos). Если же значение “субъективных факторов” в истории признается, то это рассматривается как “случайность”, через которую все же проявляется “объективная закономерность”. Исходя из этого, сторонники данной концепции выдвигают в качестве главного, а иногда даже и единственного требования, чтобы историческая наука “раскрывала” и “объясняла” объективные закономерности исторических процессов и событий, в то время как субъективные действия людей интерпретировались бы как сугубо **конкретные реализации** той или иной объективной закономерности. На основе объективно-факторной концепции вырабатывались теории разных **линейных** процессов исторического развития человечества: **циклических, стреловидных, поступательно стадиальных** (от “низшего к высшему” или “от простого к сложному и к еще более сложному”). Однако при таком “подходе” остается неясным: что собственно движет самими людскими индивидами, что их побуждает действовать в русле той или иной “объективной закономерности”, а не иначе. Впрочем, без реальных действий реальных людей, а значит без их воли, сознания, планов, желаний, страстей никакие закономерности исторического развития человечества не реализовывались и не реализуются.

Субъективно-волюнтаристская концепция, рассматривающая именно **субъективно-людские факторы** (личные интересы, желания, намерения, страсти, идеалы) в качестве причины и движущей силы всех исторических перемен, оставляет, в свою очередь, без убедительного научного объяснения факты “исторических неудач” в реализации многих намерений, планов, стремлений индивидов и их сообществ. Объяснить это одними только субъективными ошибками действующих лиц далеко не всегда возможно. Очевидно, что тут дело в чем-то другом.

Люди и их сообщества существуют и меняются, находясь не в вакууме, а всегда в какой-то реальной среде – природной и искусственной (созданной ими самими и предшествующими поколениями). В любой реальной среде, окружающей людей и их сообщество, существуют всегда разнородные и разнодействующие факторы: в микросреде – одни, в мезосреде – другие, в макросреде – третьи. С такой многоуровневой и противоречивой конкретной исторической средой люди и их сообщества находятся в непрекращающихся контактах, взаимодействиях. **Все**, что происходит с людьми, происходит в условиях взаимодействия с окружающей их средой, в какой-то мере обуславливается ею. Тем самым **абсолютный волонтеризм** в действиях по обеспечению своей жизни невозможен. Никакие, в том числе и самые привлекательные замыслы, планы, идеалы, не могут быть осуществлены без использования **благоприятных** и преодоления **неблагоприятных** влияний окружающей среды. Для использования благоприятных и преодоления неблагоприятных факторов недостаточно иметь намерения, планы и желание (обладать “пассивностью”). Нужно, во-первых, чтобы сама цель была реально достижимой в данной имеющейся налицо реальной ситуации, и во-вторых, чтобы действующие люди непременно обладали не только осознанием цели и желанием ее достичь, но и располагали нужными для этого знаниями, умением, техническими средствами и технологиями, то есть имели необходимые для этого культурно-цивилизационные предпосылки.

Таким образом, “творение” людьми собственной истории обуславливается и своеобразно детерминируется как **объективными**, так и **субъективными** факторами (комплексом факторов), имеющиеся в наличии в данное время, на данном месте. **Причиной** и движущей силой всей деятельности людей и их групп (сообществ любого вида, численности и организации) всегда были и остаются **фундаментальные жизненные интересы** людских индивидов. К числу таких интересов относятся:

- **экзистенциальные** (интересы сохранения и продолжения собственной жизни);
- **статусные** (интересы обеспечения определенного места и роли в коллективе);
- **биорепродуктивные** (интересы людей в воспроизведстве себя в потомстве);
- **футуральные** (интересы обеспечения собственного будущего и будущего своего потомства).

Движущими силами “творения” людьми собственной жизни, а значит и “творения истории человечества” как таковой, являются именно **фундаментальные жизненные интересы**, имеющие в конкретных условиях места и времени конкретное проявление и кон-

крайние способы реализации. Но свою жизнь и свою историю в одно и то же время люди могут творить по-разному. Это зависит не только от объективных условий места и времени, которые сами по себе, как правило, полигативны, но и от того, как сами действующие люди понимают, в чем в **данный момент** состоят их текущие и общие жизненные интересы, что надо делать, чтобы добиться их оптимальной реализации, что надо предпринять, чтобы устранить в сложившейся ситуации неблагоприятствующие факторы и использовать благоприятствующие, какие средства являются наиболее эффективными для достижения намеченной цели.

Поскольку люди живут в коллективах и могут обеспечить реализацию своих жизненных интересов и самореализоваться (как биологически, так и социокультурно) только в рамках определенных сообществ, то для них существование определенных сообществ имеет первостепенное значение. Сохранение либо изменение (революционное или реформаторское) того или иного сообщества приобретает в определенные исторические периоды, характер **приоритетных жизненных интересов людей, живущих в данный период**. Интересы людей, связанные с бытием тех или иных сообществ (этнических, государственных, религиозных и т.д.), выступают в сознании людей в форме «объективированных» интересов какого-то конкретного сообщества, существующего в данном времени и пространстве (такого-то этноса, такого-то государства, такой-то религиозной или другой организации). Так формируются у людей представления об этнических, государственных и любых других корпоративных интересах, для удовлетворения которых требуются усилия как индивидов в отдельности, так и их коллективов.

Этнические интересы – это интересы этноса как определенного множества людей, то есть **этнически обособленной группы индивидов**. Этнические индивиды как живые существа, как особи вида homo sapiens (осуществляющие свою жизнедеятельность в коллективах) всегда и в любых ситуациях имеют свои общечеловеческие **фундаментальные жизненные интересы** (экзистенциальные, статусные, биорепродуктивные, футуральные). Но, наряду с фундаментальными общечеловеческими интересами, у конкретных этнических индивидов имеются и интересы, связанные с **бытием этноса** как такового и с **бытием их самих** именно как **этнических индивидов**. Этнические интересы возникают и существуют на основе общечеловеческих фундаментальных жизненных интересов, представляя собой их конкретное проявление в той или иной реальной исторической ситуации, в которой находятся этнические индивиды и их этносы. Но, хотя этнические интересы неотделимы от фундаментальных жизненных интересов людей, они несводимы к последним. Попытки их отождествить, равно как и их оторвать друг от друга – не только

недопустимая логическо-познавательная ошибка. Если это происходит в переломные, в том числе и кризисные моменты, когда определяются судьбы, намечаются и выбираются пути дальнейшего развития этносов, когда формулируются цели и задачи этнических движений, подобные ошибки могут превратиться в настоящие человеческие трагедии.

Если этнические интересы осознаются неким множеством людей как важнейшие жизненные интересы данного периода, тогда они становятся движущей силой развития этносов и этнических сообществ как таковых, и тем самым одним из факторов “творения человеческой истории” в целом.

Поскольку реальные ситуации, в которых людям приходится жить и осуществлять свою жизнедеятельность, всегда содержат в себе множество разнообразных явлений, связей, противоречивых тенденций, и поскольку действия людей по обеспечению сиюминутных и долгосрочных жизненных интересов связаны и с тем, как они осознают свои интересы и как они подготовлены и техническо-технологически вооружены для действия, то в любое время перед людьми возникают **несколько возможностей решения имеющихся жизненных проблем**, в том числе и **этнических**. Следовательно, “творение” людьми их истории не безальтернативно, а во всякой ситуации потенциально имеется некоторое детерминированное число альтернатив. Выбор одного из возможных вариантов творения своей жизни и истории далеко не всегда означает выбор оптимума. “Колесо истории” людидвигают по какому-то одному из нескольких возможных в данной ситуации путей, перспективному или тупиковому, ведущему вперед или возвращающемуся назад, связанному с большими трудностями и жертвами или минимизирующему трудности и количество жертв. И те, и другие пути развития “выбирались” людскими индивидами и их сообществами неоднократно на протяжении всего существования человечества. История человечества знает также и множество случаев более или менее длительных застоев и топтания на месте. Все это могло иметь и по сей день имеет место в разных точках, в разных регионах земного шара. Абсолютно безальтернативного, однонаправленного, одинаково обязательного для всех пути развития (так называемого “естественного пути”, или “исторического императива”) история не знала в прошлом и не знает в настоящем. Точно так же ни в прошлом, ни в настоящем нет **абсолютного прогресса** в развитии людей и их сообществ. И прогресс, и регресс присутствовали во **всех эпохах** истории человечества, идя или друг за другом, или рука об руку. Прогресс как таковой не был и не является единственной и однозначной характеристикой совокупного исторического развития человечества. Что касается выбора людьми своего жизненного пути, то он далеко не всегда являлся и является

результатом свободного волеизъявления людей, выбирающих на основе своей собственной оценки все “за” и “против”. Он может быть обусловлен и давлением извне, в том числе и с применением средств насилия. При этом надо иметь в виду, что понятия **абсолютный прогресс и глобальный прогресс** в развитии человечества – это вещи разные. Абсолютный прогресс представляет собой непрерывное и одновременно **восходящее, равномерное и безальтернативное** развитие всего человечества, всех без исключения сообществ людей по некоему “магистральному пути”. Такого прогресса человечество не знало и нет серьезных доказательств, что он в принципе возможен. Однако относительный, **неравномерный, полигипертетнический и асинхронный** прогресс тех или иных частей человечества возможен. Он реально происходит в силу действия как объективных, так и субъективных факторов, в определенное время в том или ином регионе земного шара. Так, одни человеческие сообщества (организованные коллективы каких-то множеств индивидов) могут переживать периоды своего прогресса, в то время как другие – находиться в состоянии застоя или регресса.

Таким образом, на каждом отрезке астрономического времени, в рамках которого происходит творение людьми своей жизни и своей истории, человечество представляет собой сложную картину **одновременных разнонаправленных** процессов, разнонаправленных путей развития человеческих сообществ и самих людских индивидов, при наличии некоей совокупности **доминирующих** процессов, определяющих “историческое лицо” данного времени, **доминанту развития** в ту или иную эпоху или период развития какого-то отдельного региона или человечества в целом. И эта **доминанта развития** отнюдь не обязательно должна быть “на линии” какого-то общего прогресса, являясь очередным, обязательным этапом или стадией на пути к какой-то “конечной цели” или “бесконечного развития” в одном единственном направлении. Может быть и наоборот, когда доминанта развития находится на линии регресса, в зависимости от того, какие социальные или этносоциальные силы (и в чьих интересах) определяют эту доминанту развития. Доминанты развития в ту или иную историческую эпоху также небезальтернативны и вовсе необязательно их смены находятся на одной только прогрессивной линии поступательного развития (на “магистральном пути”).

История человечества сама по себе **не имеет никакой цели**, заранее кем-то поставленной или чем-то фатально объективно обусловленной, в том числе у истории нет и “**обязательной конечной цели**”. Цель ставят себе сами люди, придавая смысл своей жизнедеятельности: обеспечение в любых условиях среды, необходимой и достаточной для реализации своих фундаментальных жизненных интересов – экзистенциальных, биорепродуктивных, статусных, футуральных, а

также и сопутствующих им преходящих личных и коллективных интересов, включая возникающие в данных конкретных условиях текущие и стратегические этнические интересы. История всегда двигалась и движется к **временным** (краткосрочным или долгосрочным) целям, которые из поколения в поколение определяют **люди** и их **сообщества** на основе верно или неверно понятых своих жизненных интересов и верной или неверной оценки возможности их реализации в существующих условиях, в данной конкретной окружающей среде. Если говорить об “императиве” в исторических изменениях человечества, то это был и остается **императив интересов людей** и их организованных групп, и прежде всего **фундаментальных интересов** самосохранения и продолжения себя в потомстве, что в конечном итоге означает сохранение и продолжение существования вида гомо сапиенс. Все это относится и к истории этносов, в изменении которой основными движущими силами являются фундаментальные жизненные интересы действующих людских индивидов и возникающие в той или иной ситуации их этнические интересы.

На начальных этапах развития вида гомо сапиенс этносы как небольшие группы людских индивидов обоих полов, изначально объединенных **кровнородственными связями**, представляли собой продолжение досапиентных био-социальных сообществ и являлись изначальными, первобытными системами организации индивидуальной и коллективной жизни людей. Их основная функция, как уже говорилось, состояла в том, чтобы обеспечивать добычу необходимых для существования материальных средств, защиту от внешних опасностей, получение и выращивание способного к жизни потомства (индивидуальное и видовое биологическое воспроизводство). Это были **первобытные этносы** или, в известном смысле, **праэтносы**, в которых при решающей роли биогенетических и биопропродуктивных связей в деле объединения людских индивидов для совместной жизни, постепенно возникали, развивались и оформлялись социокультурные связи (язык, обычаи, традиции, символы, нормы поведения т.д.), роль которых постоянно возрастала.

В дальнейшем по мере роста численности популяции вида в целом и численного роста первобытных этнических сообществ, увеличения объема коллективного жизненного опыта, знаний об окружающем мире, совершенствования технических средств и технологических приемов индивидуальной и совместной деятельности, происходили изменения в формах коллективной жизни и жизнедеятельности людей. На основе развивающихся первобытных этносов и их более развитых исторических типов появились и иные виды сообществ людей как систем организации их коллективной жизни – протогосударственные сообщества, государственные и другие. Эти сообщества, формировавшиеся не на основе кровнородных связей, а на иных

принципах, взяли на себя, полностью или частично, некоторые функции первобытных этносов в организации индивидуальной и коллективной жизни людей: организационно-управленческую, защитную – **практически целиком**, а культурную, интеграционную, идентификационную и другие **частично**. В ходе исторических процессов с появлением и развитием иных, более сложных по сравнению с первобытными обществами систем организации совместной жизни и деятельности людей, этносы и этничность не исчезали как реалия в жизни людей и их коллектиvos, а видоизменялись: этносы – по численности, по структуре, по функциям в жизни людей, этничность – по объему и содержанию ее этнокультурных параметров (те или иные изменения в специфических для данного этноса культурных комплексов, изменения в языке, в традициях поведения, в символике и прочее). В различные эпохи многие этнические сообщества и конкретные этносы исчезали и вместо них образовывались другие. Но **этничность как реалия**, как комплекс некоторых специфических характеристик больших или меньших исторически сложившихся групп людей продолжает существовать и по сей день. Этносы как определенные группы людей с определенными этническими характеристиками, несмотря на все исторические изменения таких групп и изменения общественных и государственных систем, в которые они тем или иным образом инкорпорированы, существовали тысячелетиями, существуют ныне и будут еще существовать по крайней мере в обозримом будущем. И это, разумеется, имеет свои реальные причины, изначально заложенные в самой сущности коллективной и индивидуальной жизни людей.

Современная сложная картина этничности населения Земного шара, наличие нескольких тысяч различных по численности, по типу и уровню исторического культурно-цивилизационного развития этносов, так же как и то, что все эти этносы находятся целиком или частями в составе определенных, ныне существующих государственных сообществ, – все это обуславливает неодинаковость функций этноса как по отношению к индивидам, которые входят в его состав, так и по отношению к государственным сообществам, в состав которых так или иначе входят сами этносы.

Наука пока не исследовала в необходимом объеме и не разработала **типологию функций** различных по типу современных этносов в различных условиях тех государств нашего времени, в которых они находятся либо целиком, либо какими-то частями. Не выработаны ни теоретические обоснования функций этнических меньшинств в полиглоссических государствах, ни типология этих функций. А без такой типологии невозможно выработать научно-обоснованные решения проблем существования и развития этносов, как в отдельных государствах, так и в масштабе всего современного человечества.

В современной науке делалось немало попыток выработать общие схемы поступательного, стадиального развития этноса как определенной реалии, проходящей через различные исторические эпохи. Предпринимались также и попытки выявить закономерности стадиального развития конкретных этносов, просуществовавших сотни, а то и тысячи лет, и претерпевших за время своего существования многие, притом немалые изменения, но не утратившие при этом свою специфическую этническуюность. Спорным и еще нерешенным является вопрос о том, имеют ли изменения этноса как реалии в жизни людей вообще и каждого конкретного этноса некую **общую** и **обязательную** для всех объективную этноисторическую направленность (этнически “исторический императив”) и если имеют, то какова эта направленность и каковы ее причины.

Наука также пока не выявила **объективные критерии** определения того, что в происходивших изменениях, касающихся как людей, так и их сообществ, в том числе и этносов как реалий, является показателем или комплексом показателей действительного и **однозначного прогресса** или **регресса** на том или ином отрезке времени. Как известно, в научном обиходе имеют хождение различные показатели прогресса в развитии людей и их сообществ, в развитии человечества в целом. Среди них чаще встречаются следующие:

- уровень развития производительных сил общества и соответствие этому уровню состояния и характера производственных отношений в обществе;
- уровень и тип вооруженности людей техническими средствами и технологиями для материально производственной и других видов деятельности;
- количество производимых материальных средств, необходимых в среднем для жизни одного человека;
- количество потребляемых в среднем продуктов одним человеком;
- количество создаваемых, аккумулируемых и находящихся в обществе материальных и духовных благ, то есть общий объем общественного богатства;
- усложненность системы организации коллективной жизни людей и тип системы управления обществом;
- ширина рамок инициативы и непринужденного действия индивида в общественном коллективе, то есть то, что обыкновенно обозначается терминами “права и свобода человека”, или “права и свобода личности”, или “автономность индивида”.

Все перечисленные показатели, используемые (нередко по отдельности) в качестве **общих, глобальных** критериев прогресса в развитии людей и их сообществ, даже человечества в целом, при ближайшем рассмотрении оказываются **парциальными** показателя-

ми прогресса или, говоря иначе, они суть показатели парциального прогресса. Каждый из них своим поступательным позитивным развитием способствует прогрессу в развитии той или иной сферы коллективной жизни людей, той или иной области жизни индивидов и, как правило, не всего демографического корпуса данного сообщества, а только какой-то меньшей части его, причем не всех сообществ, составляющих в данный момент человечество, а только некоторых из них. Каждому парциальному прогрессу, в силу его **парциальности**, неизбежно сопутствуют **стагнации** или **ретресси** (там, где прогресс не проявился). Это приводит к разного рода дисбалансам в коллективной жизни людей, дисбалансам, которые могут иметь и катастрофические последствия.

Подлинные глобальные показатели (критерии) действительного прогресса в развитии, как отдельных людских сообществ, так и человечества в целом состоят:

- в **поступательном** (вовсе не обязательно в равной мере) **улучшении совокупности жизненных условий**, необходимых для всего демографического корпуса данного сообщества и всей наличной популяции людей, составляющей в данный период “человечество в целом”, а не только отдельных слоев и прослоек того или иного общества, не только отдельных государств и этносов. **Критерий действительного глобального прогресса в этом отношении** определяется тем, какое в среднем улучшение жизни по основным параметрам получили все члены конкретного сообщества и вся популяция людей на Земле. Соответственно, какое число людей получило минимальное, а какое максимальное улучшение, каково соотношение между этими показателями и в какую сторону оно меняется;

- в **поступательном** (тоже не обязательно одинаковом) улучшении **качества жизни** совокупной массы людей в отдельных сообществах и человечества в целом. **Критерием действительного глобального прогресса** является степень действительного улучшения качества жизни всех членов конкретного сообщества и всей популяции людей на Земле, какое число людей получили минимальное, а какое максимальное улучшение качества жизни, каково соотношение этих показателей и в какую сторону оно меняется;

- в **поступательной гуманизации** взаимоотношений людских сообществ, взаимоотношений индивидов в сообществах и самих индивидов в процессе их совместной жизни и жизнедеятельности. **Критерий действительного глобального прогресса** заключается в том, в какой степени уменьшилась роль насилия в жизни людей в конкретных сообществах и на всем земном шаре.

Общий, глобальный прогресс человечества за всю прошедшую историю осуществлялся сложно и противоречиво, через разнообразные **парциальные прогрессы**, которые очень часто были связаны с

громадными жертвами, касающимися прежде всего людей с низким социальным и этническим статусом. Десятками тысячелетий он осуществлялся медленными темпами, асинхронно и неравномерно в разных регионах земного шара и в разных локальностях одного и того же региона. Парциальный прогресс приобретал значение общечеловеческого только в тех случаях, когда в тех или иных достижениях в какой-то из областей человеческой деятельности, имевших место на группово-локальном уровне, раскрывались и раскрываются общие потенции и природно-генетически заложенные возможности всех людей как индивидов одного из видов живых существ на Земле. Иными словами, парциальный прогресс становится общечеловеческим тогда, когда то, что было изобретено индивидами в каком-то локальном людском коллективе, при определенных условиях, можно было изобрести (и очень часто изобреталось и изобретается) в другом. Глобальная общечеловеческая **значимость технических и технологических изобретений** состоит как в том, что в них реализуются общие для людей (как вида живых существ) потенции познания окружающего мира и адаптирования его к своим жизненным потребностям, так и в том, чтобы это шло на благо всей популяции людей на Земле, если не сразу, то в обозримой перспективе. За последние тысячелетия так называемый “общий прогресс в жизни человечества”, **практически был прогрессом для меньшинства** человечества и осуществлялся не только за счет достижений в области знания и умений, совершенствования технических средств и технологий, но и в немалой степени за счет ограбления и эксплуатации этим меньшинством **большой части человечества**. Так происходит и сейчас. Именно поэтому **общим критерием прогрессивности** конкретных событий, процессов и любых действий людей и достигнутых ими результатов является не только их парциальная прогрессивность сама по себе, а прежде всего их потенциальная и реальная **значимость в деле реализации глобального прогресса в развитии человечества в целом**: улучшения условий жизни всей популяции людей на Земле, улучшения качества жизни всех живущих людских индивидов, гуманизации межчеловеческих отношений и самих людских индивидов. При этом всегда в качестве важнейшего критерия остается целесообразность каждого шага по пути прогресса в любой области человеческой жизнедеятельности (“творения людьми собственной истории”) – его **соизмеримость** с сопутствующими ему негативными последствиями и с теми страданиями и жертвами, которые могут встретиться на этом пути. Если относительный глобальный прогресс всегда можно превратить в абсолютный, то в конкретных ситуациях следует добиваться того, чтобы в данной ситуации он стал **оптимальным по реализации его достижений** в направлении улучшения жизненных условий сначала **абсолютного большинства** людей.

шинства, а в дальнейшей перспективе и всех людей. Все это имеет прямое отношение и к процессам развития этносов как определенной реалии в жизни людей на всем протяжении истории. Возникновение, формирование, развитие и исчезновение конкретных этносов всегда происходит в определенных исторически складывающихся жизненных ситуациях – локальных, региональных, глобальных. На каждом из этих пространственно-географических уровней жизненные ситуации людей и их коллективов (сообществ) складывались всегда, на протяжении всей истории вида гомо сапиенс, неодинаково, неравномерно и противоречиво. Им сопутствовали тенденции и факторы, как благоприятствующие, так и неблагоприятствующие для развития тех или иных конкретных этносов. Но, несмотря на огромное разнообразие жизненных ситуаций в разных местностях и регионах Земного шара, в истории человечества в целом имеются по меньшей мере три различные по длительности **глобально-исторические эпохи**, отличающиеся друг от друга по типу жизненных ситуаций и по образу жизни людей:

1) **эпоха первобытности** (или **первобытных видов культуры и цивилизации²** социально не дифференцированных людских сообществ), от появления вида гомо сапиенса как такового и первонаучальных людских коллективов до возникновения протогосударственных и государственных сообществ людей, – данная эпоха длилась до возникновения в отдельных регионах городов и городского об раза жизни;

2) **доиндустриальная эпоха** развития человечества, эпоха возникновения и существования разнообразных, социально дифферен-

² Под “культурой” здесь понимается развивающаяся система выработки людьми необходимой информации об окружающем их мире и их самих в нем, хранения этой информации и передачи ее (друг другу и из поколения в поколение, от сообщества к сообществу и из эпохи в эпоху) с целью сделать человеческих индивидов и их коллективы способными:

1) осуществлять нужную им для поддержания жизни постоянную коадаптацию с природой в условиях ее постоянных изменений, а также изменений самих людей и их коллективов, изменений их жизненных потребностей;

2) организовать добычу и производство материальных средств жизни;

3) обеспечить самозащиту от опасностей и угрозы существованию;

4) регулировать свои взаимоотношения и совместную жизнедеятельность в сообществах, в которых приходится жить;

5) передавать не только с помощью естественных генетико-биологических способов и каналов, но и при помощи искусственно созданных технологий и технических средств накапливаемый **жизненный опыт** индивидам подрастающих поколений, формируя их так или иначе в личностном плане;

6) решать проблемы воспроизведения себя в потомстве и демографического воспроизведения своих сообществ (микро-, мезо- и макроуровней), что, в сущности, есть не что иное как сохранение и продолжение вида гомо сапиенс.

цированных протогосударственных, государственных сообществ во многих регионах Земного шара, эпоха **первоначальной и доиндустриальной урбанизации**, имевшей место во многих странах, эпоха формирования и развития во многих регионах **руральных и урбанных систем культуры и цивилизации**³ с обусловленными ими и характерными для данного времени видами образа жизни;

3) **индустриальная эпоха** развития человечества, эпоха возникновения и развития индустриализации, индустриальной урбанизации, массовой деаграризации населения и соответствующих всему этому **индустриальных систем культур и цивилизации**, сначала в отдельных странах и регионах Земного шара, с последующим охватом все большего числа стран и народов, с отчетливо выраженной тенденцией приобрести глобальный масштаб и стать доминирующей формой жизнедеятельности людей на всей планете.

Каждая из этих **глобально-исторических эпох** порождала особые жизненные ситуации для людей, определяя возникновение и развитие особых **исторических типов этноса**, наиболее характерных для данной эпохи. Однако, в силу действия многих и разнообразных факторов, смена исторических типов этносов происходила весьма неравномерно и асинхронно. Поэтому в каждую историческую эпоху, в каждый исторический период развития человечества на Земле одновременно существовали (равно, как и ныне), находясь в тех или иных контактах и взаимодействиях, как этносы, возникшие в данную эпоху, так и исторические типы этносов, сформированные в предшествующие эпохи и периоды. Отсюда проистекали и проистекают многие, очень сложные проблемы развития многочисленных (и разных по историческому типу) существующих этносов, проблемы поиска наиболее благоприятных моделей их взаимоотношений и взаимодействий.

ТЕРМИН “ЭТНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ” И ЕГО СМЫСЛ

(К вопросу о “территориализации” этносов
и о территории как “существенном признаке” этноса)

Термин “этническая территория” широко используется в науке, публицистике, политических и юридических документах. Как и многие другие термины, связанные с проблемами этносов, этот термин

³ Термином “**цивилизация**” здесь обозначается исторически складывающаяся системная совокупность необходимых видов и форм деятельности, осуществляемых на основе достигнутых знаний и умений, изобретенных технических средств и технологий, благодаря которой обеспечивается функционирование любой общественной системы в целом, а тем самым и определенный образ и качество жизни людей в сообществах, которые формируются в то или иное время на какой-то территории земного шара.

тоже неоднозначен. Неудобства, связанные с его использованием, возникают из-за того, что он обозначает два существенно различающихся понятия: понятие территории как *месте обитания* этноса и понятие территории как “*этнической*” *собственности* этноса. Обычно при употреблении термина “*этническая территория*” происходит смешение этих двух понятий, т.е. как бы подразумевается, что территория, где в какое-то время обитал определенный этнос или где он обитает в настоящее время, и есть его *территория-собственность*, его “*законная*” “*этническая территория*”. При этом делается упор на следующий постулат: “раз на такой-то территории жил или живет такой-то этнос, то эта территория принадлежала и должна принадлежать ему в качестве коллективной “*этнической собственности*” данного этноса. Между тем этот довод, который многим представляется “*незыблемым*”, на самом деле не выдерживает критики ни с научно-исторической, ни с юридической точки зрения. Даже из повседневной житейской практики знаем, что участок земли (территория), на котором кто-то живет, то есть территория обитания кого-то (индивида или группы людей), далеко не всегда и отнюдь не обязательно является “*территорией-собственностью*” проживающих на ней людей. “*Территория обитания*” и “*территория-собственность*” – не тождественные понятия, их недопустимо отождествлять, объединяя безоговорочно в понятие “*этническая территория*”.

Можно предположить, что применительно к древнейшим временам, когда этносы не были многочисленными, а пространства, где они могли жить, были не очень заселенными, та территория, на которой осуществлял свою жизнедеятельность тот или иной этнос, являлась этнической, т.е. “*моноэтническая*” территория обитания какого-то одного этноса на определенном отрезке времени. Но в ходе истории на одной и той же территории, в одно и то же или разное время, кратковременно или надолго, поселялись разные этносы. Они то сменяли друг друга, то устраивали на них так или иначе совместную жизнь. Так, территории, пригодные для обитания людей, становились “*полиэтническими*”. Поэтому представляется некорректным (за редкими исключениями) пользоваться понятием (и термином) “*этническая территория*” не только в смысле “*моноэтническая территория-собственность*”, но и в смысле “*моноэтническая территория обитания*”. Причем это правомерно как в отношении современности, так и в историческом аспекте. И еще один немаловажный момент, который никак не следует упускать из виду. Любая “*территория-собственность*”, каких бы размеров она ни была, всегда имеет свои строго обозначенные границы, четко отделяющие ее от других территорий и ее владельцев и пользователей. Безграничных “*территорий-собственостей*” не бывает. “*Этническая территория*”,

если бы она являлась территорией-собственностью какого-то этноса (рода, племени...), должна была бы также иметь свои более или менее четко очерченные “**этнотерриториальные**” границы, **отделяющие** каждый этнос от всех других. Иначе говоря, границы, разделяющие две территории, должны тем самым быть границами, отделяющими один этнос от другого. Так всегда бывает с любыми государственными границами, четко отделяющими людей, живущих с одной их стороны как граждан одного государства, от людей по ту сторону границы как граждан другого, чужого государства. Если нет этих границ – нет и разделения людей по государственной принадлежности. Между тем, то, что обособляет один этнос среди других, то, что **действительно разграничивало и разграничивает** один этнос от другого (“своих” от “чужих”), – это не суть **территориальные границы**, а **границы родственных связей и характеристик этнической родственности** определенного множества людей, независимо от того, на какой территории они расселены и как расселены: компактно или дисперсно, с одной или обеих сторон границ каких-то соседних государств.

Еще более некорректным является употребление понятия (и термина) “**этническая территория**” в смысле принадлежности какой-то территории тому или иному этносу как **моноэтнической собственности**. Причем это делается либо на том основании, что этот этнос в данный момент составляет большинство ее населения, либо на основе “**исторического права**”, то есть “**исконной принадлежности**” данной территории данному этносу. Это некорректно потому, что территория может принадлежать как **собственность только государству**, которое имеет определенные, так или иначе международно признанные границы. В те времена, когда не было государств как особой формы людских сообществ и этносы еще жили по преимуществу кочевой жизнью, никакие территории фактически, а тем более юридически, этносы не закрепляли за собой и не могли закреплять как свою неотъемлемую собственность. Если они какую-то территорию и считали “**своей**”, то это носило временный характер, то есть до тех пор, пока ресурсы материальных благ, нужных для жизни, не были исчерпаны, а климатические условия оставались более или менее благоприятными. Первобытные этносы мигрировали с места на место в поисках жизненных ресурсов, необходимых для себя и для скота (если таковой имелся), и переходили в другие регионы, если в данной местности или регионе ресурсов становилось недостаточно. В более поздние времена, когда формировались государства на определенных территориях, они уже по населению были полиэтническими, хотя в них и доминировал какой-то один этнос и его властная элита. ТERRитория фактически принадлежала не этносу как таковому, а, как правило, **полиэтническому государству**, ко-

торое находилось в руках правящей социальной и этнократической верхушки. Именно правящая верхушка этноса, а не этнос как таковой, могла распоряжаться территорией государства, прежде всего в соответствии со своими групповыми или династическими интересами, хотя эти эгоистические интересы и выдавались нередко за общеэтнические. Членам этноса и этническим общинам давались земельные участки различных размеров в пользование на определенных условиях (дань, аренда и т.д.), но не как **территориальная этническая собственность**. Тот или иной этнос, входящий в состав государства, мог в определенной ситуации иметь какие-то преимущества в использовании земли и ее ресурсов по сравнению с другими этносами, находящимися на **государственной территории**, но это происходило в рамках установленного государственного порядка, т.е. он не владел ими “безраздельно” как “этнической собственностью”. И прежде, и теперь существовали и существуют не “этнические”, а государственные территории. Ссылки на “историческую этничность” и вообще на любую “моноэтничность” какой-то территории при решении как внутригосударственных, так и межгосударственных территориальных проблем, лишены основания. Представления же об “этничности” территорий и “этнических территориях-собственности” являются мифом и укоренившимся в сознании многих людей предрассудком. Следовательно, претензии тех или иных государств или “национальных” движений на владение какими-то территориями или на их приобретение на основе их мифической “этничности” не имеют под собой никакой реальной почвы, во многих случаях они являются результатом не только заблуждений, но и изощренной демагогии и средством манипуляции.

Этносы как компактные или дисперсные демографические корпусы, разумеется, всегда живут на каких-то территориях (в “местах обитания”). Но эти территории в древние, догосударственные времена, были “ничейными”. Ими и их ресурсами определенные этносы могли пользоваться, пока это было им выгодно, и уходить с них, когда доступные ресурсы исчерпывались. После возникновения государств, территории на которых образовывались государства, становились государственными, а не этническими территориями. Даже создаваемые в новейшее время в некоторых государствах **этнические резервации** не делают эти территории “этническими”. Они и дальше остаются территориями данного государства, входят в его состав.

И тем не менее, нередко в научных трудах и официальных документах можно встретить, наряду с термином “этническая территория”, и термин “исконная этническая территория”. В таком словосочетании этот термин получает смысл: “территория, которая испо-
кон веков принадлежит такому-то этносу”. Правомерность сущест-

вования и использования этого термина обосновывается ссылкой на тот факт, что предки того или иного ныне существующего этноса “испокон веков” или “веками” жили на такой то территории. О логических и фактических ошибках такого рода утверждений уже говорилось. То, что этносы как определенные компактные или дисперсные группы людских индивидов обитают в течение более или менее длительного времени на каком-то территориальном пространстве отнюдь не значит, что эти территории были собственностю этносов, были “моноэтнанизованы” и что особым идентифицирующим “признаком” является какая-то их “исконная (историческая) этничность”. Точно также территория как место обитания людей и их этнических сообществ никогда не была, не есть и не может быть **одним из “существенных признаков”** ни этноса вообще, ни какого-либо конкретного этноса, как это иногда трактуется. Этнос может сменить территорию обитания, может расселиться на нескольких территориях и при такой дисперсности сохранить свою этничность, сохранить себя как этнос; он может также, обитая на одной и той же территории, в силу определенных причин трансформироваться в другой этнос или в несколько этносов.

Целостная территория любого государства всегда являлась **собственностью только государственного сообщества**. И как таковая она – один из **обязательных атрибутов государства**. Государства без территории как его собственности не бывает. Теряя свою территорию, государство попросту перестает существовать. Если же какой-нибудь этнос переселится с традиционной территории обитания на какую-то другую, причем если он и не поселится компактно, а расселится на нескольких не традиционных для него территориях, то он тем самым не перестает быть данным этносом.

Некоторые этноцентристски и этносепаратистски ориентированные движения выдвигают и в своих программных заявлениях отстаивают лозунг: “Каждому этносу свое государство, а каждому этническому государству – моноэтническую территорию”. Мы являемся свидетелями того, как такие идеи становятся во многих случаях основой этнической (национальной) политики государств, при этом намечается тенденция придания им статуса основополагающих концепций для решения этнических проблем во всем мире. Выдвижение подобных лозунгов как программных требований всегда означало и означает, что этнократическая верхушка, стремившаяся захватить или захватившая власть в каком-то государственном сообществе, хочет под прикрытием этой идеологемы обеспечить себе безраздельное право распоряжаться территорией и ее природными ресурсами в собственных интересах и в интересах определенных иностранных государств, которые обычно в таких случаях разными средствами способствуют разжиганию этносепаратизма в отде-

ляющихся “национальных государствах” и захвату власти теми или иными сепаратистскими группировками. За примерами не надо идти далеко.

Все попытки благополучного решения этнических проблем путем обязательного создания для каждого этноса сепаратных “этно-государственных территорий” неминуемо терпели крах. А произошло это (и дальше будет происходить) потому, что решение этнических проблем всегда заключалось не в “территориальном самоопределении” этносов, а в обеспечении **прежде всего и безусловно фундаментальных жизненных интересов** людей, составляющих тот или иной этнос на любой территории, где они живут.

Жизнь со всей очевидностью показала, что нет более **бесперспективной** и более **преступной** против человечности идеологии и политики, чем проповеди и попытки реализации идеи: **каждому этносу выделить “его” “этническую территорию”** (“искованную” или теперь обозначенную), чтобы он там формировал **свое** моноэтническое (“национальное”) государство. Такая идеология и политика уже принесли миллионам людей неимоверные страдания и бесчисленные жертвы. Невозможно себе представить, каким образом сегодня удалось бы разделить Земной шар, на котором в наше время уже живет более шести миллиардов человек, на три или пять тысяч обособленных “этнических” территорий и на каждой из них создать отдельное полноценное и жизнеспособное **моноэтническое** государство, которому фактически и юридически принадлежала бы выделенная территория, на которую в свою очередь следует переселить всех людей, принадлежащих определенному этносу. Это очень опасная, вернее сказать, гибельная утопия. Попытки реализации подобных утопий кроме кровавых войн, колоссальных разрушений, невиданных страданий и многомиллионных человеческих жертв ничего иного принести не могут. Об этом свидетельствуют не только многочисленные примеры таких попыток в прошлом, равно, как и все нынешние попытки их реализации, осуществляемые пусть даже на региональных уровнях (например, в 90-е годы XX в. в Югославии, на Балканах или же в первом десятилетии XXI в., на Ближнем Востоке и т.д.).

Только **идеология и политика мирного сосуществования этносов на всех территориях их обитания**, идеология и политика взаимо-выгодного сотрудничества этносов, где и как бы они ни расселялись, представляет собой реальный путь решения этнических внутригосударственных и межгосударственных проблем современности. Так же дело будет состоять и в дальнейшем.

Для выработки такой идеологии необходимо в каждом государстве и в масштабе “мирового сообщества”, во-первых, категорически отказаться от концепции, согласно которой территория рассматривается не как место обитания этноса, а как его атрибут (“сущно-

стный признак”); во-вторых, следует также отказаться от любых попыток придать какой-либо территории особый статус “этничности” в качестве ее непременного признака и на базе этого строить государственную внутреннюю и внешнюю политику.

Фундаментальные жизненные интересы этносов, то есть интересы тех множеств людей, из которых они состоят, не может обеспечивать “этническая государственность” как таковая, сколь привлекательным бы это ни было для сторонников и лидеров многих современных этноцентристских и этносепаратистских движений. Фундаментальные, а вместе с ними и конкретные текущие интересы этносов как таковых (право на сохранение и использование родного языка, на сохранение своего имени, своих культурных ценностей и т.д.) в ситуации современного мира может и должна обеспечивать **полиэтническая государственность**, основанная на принципах **этнического коэкзистенциализма** и мирного взаимовыгодного сотрудничества этносов.

Достижение мирного сосуществования этносов на любом локальном государственном уровне – задача неимоверно трудна, для ее практического решения необходимо будет приложить огромные и длительные усилия. Добиться того, чтобы этносы перестали враждовать и конфликтовать друг с другом, в принципе возможно, поскольку всем людям, а значит и всем этническим индивидам, свойственно стремление к самосохранению и продолжению себя в потомстве. Для этого требуется, разумеется, обеспечить мирную и стабильную повседневную жизнь. Такая жизнь может быть реально обеспечена только в условиях **мирной коэкзистенции** этносов и их **взаимовыгодного сотрудничества** на всех территориях обитания. Примеров взаимовыгодного мирного сотрудничества этносов имелось немало в истории человечества, имеются они и в современном мире. Практика подобной совместной жизни этносов и их мирного сотрудничества должна стать **фактом повседневной жизни всего человечества**.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ “НАЦИЯ” “НАЦИОНАЛЬНОСТЬ”, “НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО”, РЕАЛИИ (к вопросу о “государственности этносов” и “этничности государств”)

“Нация” – это понятие этнологическое или политологическое? Вопрос вполне уместен и неизбежен. Неизбежен потому, что в современной науке существуют два основных “подхода” к определению понятия “национация”: “этнический” и “гражданско-государственный”.

Согласно первому, нация – это или этнос вообще (любой этнос в любую историческую эпоху), или этническое явление, возникшее в эпоху зарождения и развития капитализма в качестве высшей степени в линейной эволюции этнических сообществ, последнего звена в цепи эволюции этноса как реального явления от его первоначального звена – рода до племени, от племени до союза племен, от союза племен до народности и, наконец, от народности до нации. Иными словами, согласно данной концепции нация, – это либо **любой этнос**, либо **этнос новейшей, индустриальной эпохи** развития человечества.

Сторонники второго, “гражданско-государственного” подхода в определении понятия “нация”, тоже считают, что нация представляет собой историческое явление, возникшее в новую эпоху истории человечества. Однако они связывают формирование нации не с исторической эволюцией этноса как такового, а с развитием другого вида людских сообществ – с развитием государства. Нация для них – не этнос, а **государство**. Формирование государства новой эпохи и добровольное или вынужденное согласие его жителей считать себя **гражданами** (подданными) этого государства, согласно данной концепции, являются **факторами**, определяющими образование и существование наций. Следовательно, данная концепция переносит понятие “**нация**” из понятийно-терминологического аппарата этнологии и этнографии в понятийно-терминологический арсенал другой дисциплины – политологии. Термин “нация” в данном случае обозначает не **этническую реалию**, или какой-то этап в ее историческом развитии, а совсем другую по своей сути и роли реалию в жизни людей – реалию **политическую**.

Таким образом, в результате выработки различных определений понятия “нация”, или, точнее говоря, выработки **двух понятий**, двух, на самом деле отличающихся друг от друга реалий. Термин “нация”, обозначающий оба понятия, приобретает **двусмысленность** – соответственно и все производные от него термины, такие, например, как “национальность”, “национальный интерес”, “национальная культура” и прочие.

Наличие двух подходов в определении понятия “нация” и существенные различия в самих определениях неминуемо повлекли за собой потребность уточнения целого ряда понятий, касающихся существования и развития двух различных реалий новейшей, индустриальной эпохи в истории человечества: нового исторического типа этноса, обозначаемого термином “нация”, и нового типа государства, обозначаемого тем же термином “нация”. Совершенно очевидной становится необходимость устранения существующей двусмыслинности терминов, связанных с номинацией многих реалий в области развития **современных этносов** и **современного** развития госу-

дарств, устранения ненужного дублирования терминов при номинации одних и тех же понятий и реалий, к которым они относятся, или номинация нескольких понятий одним и тем же термином. Так, например, если нация представляет собой этнос, то тогда понятия “этничность”, “моноэтнический”, “полиэтнический” тождественны понятиям “национальность”, “мононациональный”, “полинациональный”. Но если нация представляет собой не этнос, а государство, то тогда, естественно, понятия “этничность” и “национальность” никак не могут быть тождественными, так же, как в этом случае не могут быть тождественными понятия “моноэтнический” и “мононациональный”, “полиэтнический” и “полинациональный”. Между тем имеется немало текстов, в том числе и научных, в которых эти понятия употребляются как в одном, так и в другом значении.

Все это не так уж безобидно, как может показаться на первый взгляд. За терминами стоят понятия, за понятиями – реалии общественной жизни и ее сложные проблемы. Термин “нация” и неоднозначность интерпретации нации как реалии фигурируют в сознании людей и используются ими не только в научных трактатах, в журналистских публикациях, но и в повседневной жизни, даже в бытовых взаимоотношениях между индивидами. Во многих случаях это оказывает существенное, а нередко и роковое влияние на мотивацию их действий и поведения. Понятия и термин “нация” и производные от них понятия и термины являются понятийно-терминологическим инструментарием при формулировании важнейших государственных политических решений и официальных государственных и международных правовых документов, имеющих огромное значение для жизни миллионов людей. Естественно возникает вопрос: правомерно ли с точки зрения научной логики использовать в научных исследованиях и в официальных документах термин с двумя значениями, не уточняющий, для какого понятия этот термин является термином-именем: для *этноса* (этнического сообщества “эпохи капитализма” или всех эпох) или для *государства* (политического сообщества той же эпохи или даже всех эпох)? С точки зрения *научной логики* – это недопустимо. Но с точки зрения политических или других интересов каких-то общественных сил – это может оказаться весьма выгодным.

В науке не только высказывались соображения по поводу необходимости уточнения понятийно-терминологического инструментария, связанного с данной проблематикой, но и делались попытки отыскать нужное решение вопроса, к какой реалии и к какому понятию должен относиться термин *нация*. Для того, чтобы избежать подобной двусмысленности и связанных с нею кривотолков, иногда выдвигаются предложения просто не использовать термин “нация” как в случаях, когда речь идет об этносе, так и тогда, когда имеют-

ся в виду современные индустриально развитые государства. Подобным призывам, впрочем, мало кто следует, даже сами их авторы. И это имеет свои причины. Дело не только в прочности привычки неоднозначного использования термина "нация" в науке и в повседневном общении, но прежде всего в том, что сам отказ от употребления данного термина не снимает важные проблемы, касающиеся соотношений понятий "этнос" и "государство", и самих реалий, к которым они относятся.

В связи с этим следует обратить внимание еще и на то немаловажное обстоятельство, что и сам термин "государство" употребляется также неоднозначно.

Одно значение: государство – это некая **населенная людьми территория** с определенной системой власти и определенным местом и статусом в той или иной региональной и в мировой системе государств (государство в подобном понимании зачастую обозначается термином "страна", или "родина", или "отчество").

Второе значение: государство – это **сообщество людских индивидов**, проживающих на определенной территории и признающих себя гражданами данного государства, подчиняющихся имеющейся там власти (понятое в таком смысле государство как раз и обозначается термином "нация").

Третье значение: государство – это **система органов власти**, осуществляющая управление людьми на какой-то территории, система, стоящая над населением, над людскими индивидами и их сообществами любого характера (этническими, религиозными, социальными, культурными и другими). При подобном понимании государство можно обозначить термином "власть" или просто "государство", т.е. некая отчужденная от людей машина.

Нетрудно заметить, во-первых, что все три названные значения относятся к **одной и той же реалии** – государству как таковому, и, во-вторых, что во всех трех значениях термина "государство" акценты расставлены по-разному. Так или иначе, во всех них присутствуют **три основные составные части содержания понятия**, обозначаемого этим термином: (1) **территория**, (2) **население** (граждане, подданные), (3) **система власти**. И, действительно, никакое государство не может ни возникнуть, ни существовать без наличия этих трех системообразующих составных частей: без территории, без населения (моноэтничного или полиэтничного), без системы власти. Следовательно, **государство в полном значении слова – есть система власти, которая осуществляет управление людьми, населяющими определенную территорию**, или, что одно и то же: **государство – это некая ограниченная территория с определенной системой власти**.

Все это с полной очевидностью показывает, что **государство и этнос – какого бы исторического типа они ни были – как определен-**

ные интегрированные множества людей представляют всегда собой две совершенно разные реалии в историческом развитии человечества и в повседневной жизни людских индивидов. Несмотря на то, что эти реалии взаимосвязаны и находятся в функциональном взаимодействии, они разнятся по ряду существенных параметров: по способам их формирования, по типу интеграции и интеграционных факторов, по территориальной локации. В то время как этносы **стихийно складывались** в течение длительного времени совместной жизни **многих поколений** определенных множеств людей, **государства** целенаправленно **создавались** определенными группами лиц, выделившимися в виде особой социальной прослойки с особым статусом в рамках этносов или других множеств людей. Государства как реалии образовывались путем захвата власти какой-то группой людей, располагающих необходимыми материальными средствами, и имеющими влияние на население определенной территории, независимо от того, являлись ли они этнически “родственными” или “чужими”. Этот захват власти, который в каждом конкретном случае имеет свои объективные детерминанты (в частности, обострение внутренних и внешних противоречий в людских коллективах), всегда протекал и протекает в несравнимо более коротком времени, чем любой процесс формирования этносов. Государство (как определенная власть над населением какой-то территории) может быть создано, разрушено и вновь создано в течение жизни одного поколения людей. Формирование любого этноса, как свидетельствуют исторические факты, происходит в течение совместной жизни многих сменяющих друг друга поколений определенного множества людей. “Сконструировать” этнос по воле и желанию какой-то узкой, пусть самой могущественной и влиятельной, социальной верхушки невозможно. В отличие от государства, которое действительно можно (удачно или неудачно) конструировать, что и делалось на протяжении всей истории человечества, этносы могут только стихийно, долговременно складываться в тех или иных (благоприятных или не очень благоприятных) условиях, в которых находится и осуществляется свою жизнедеятельность данное множество людей. И если в жизни этносов главным интеграционным фактором является **этническая родственность** (сначала преимущественно кровнородовая, а в дальнейшем в основном социокультурная), то в государстве как определенном сообществе, в качестве главного интегратора выступает **аппарат власти**, прежде всего **как аппарат принуждения** (в начале вооруженные отряды-дружины, а потом армия, полиция, суд, администрация), подчиняющийся правящим слоям и прослойкам данного сообщества и охраняющий в первую очередь их интересы. И наконец, еще одно существенное различие между этносом и государством, о котором уже говорилось: этнос может существовать как

компактно, так и дисперсно на разных территориях, не теряя своей этничности. Территория как собственность не есть атрибут этноса. Государство всегда имеет строго ограниченную, свою собственную территорию, потеря которой означает гибель данного государства как такового.

Итак, государство по своей сути – это вовсе не коллектиив индивидов, объединенных по принципу **родственности**, как это характерно для этноса и сугубо этнических сообществ. Государство – это коллектив людей, объединенных по принципу **подчинения (добровольного или по принуждению)** какой-то системе власти, установленной над населением определенной территории с четко обозначенными границами. Это население может состоять либо из людей, этнически родственных (принадлежащих к одному этносу или к нескольким родственным этносам), либо из групп индивидов совершенно разной этничности, но признающих, добровольно или по принуждению, власть и “законный порядок” того государства, в котором они живут. В связи с этим возникают вопросы, касающиеся общих проблем взаимоотношений и взаимодействия этноса и государства как таковых, и функционального взаимодействия исторических типов государств современной эпохи и существующих ныне исторических типов этносов, что имеет прямое отношение к проблемам существования “этносов-наций” и “государств-наций” и так называемых “национальных государств”.

В случае, когда население этнически однородное (или близкородственное по языковым и социокультурным параметрам), государство может быть определено по всем правилам логики и с учетом наличных реалий как “**моноэтническое государство**”. Его можно было бы определить и как “мононациональное государство”, если само понятие “нация” отождествить с понятием “этнос” (либо с понятием “этнос вообще”, либо с понятием “этнос новейшего времени”). В таком случае термин “моноэтническое государство” и термин “мононациональное государство” представляли бы собой синонимы, что для научного понятийно-терминологического аппарата является ненужным излишеством, хотя многие эти термины именно так воспринимают и используют. Это может не нарушить законы логического мышления тогда, когда речь идет о государствах, в которых население на самом деле является полностью этнически однородным. Но, как показывает статистика, таких государств в наше время практически нет. Это значит, что в тех случаях, когда население какого-то государства является этнически неоднородным, такое государство можно определить только как “**полиэтническое**” (или “**полинациональное**”), если исходить из упомянутого отождествления понятий “этнос” и “нация”). В современных научных трудах, в юридических актах, не говоря уже о публицистике и высказываниях по-

литиков, встречаются суждения о том, что такие-то государства (скажем Россия, США, Испания и т.д.) являются “полиэтническими” и “мононациональными”, или “полиэтническими национальными государствами”. Подобные термины используют и сторонники “гражданской концепции” определения понятия “нация”. Для них любое (по крайней мере, любое современное) государство, независимо от этнического состава его населения, представляет собой “нацию” или, “национальное государство”. И если существование терминов-синонимов “нация” и “государство” с языковой и формально логической точки зрения еще допустимо как обозначение чисто мыслительных конструктов (люди делают допущение что понятие “нация” и понятие “государство” тождественны, хотя и обозначены двумя словами-знаками), то термин “национальное государство” нельзя считать приемлемым. Этот термин, состоящий из двух слов – либо неуклюзий плеоназм (наподобие “масло масленое”), когда государство отождествляется снацией, а нация – с государством, либо при помощи этой неуклюжей языково-логической конструкции стремится подчеркнуть монистичность и полную внутреннюю интегрированность “гражданского” государства-нации. Иными словами, речь идет о гражданско-политической интегрированности населения, какой бы этничности оно ни было, при этом не учитываются этническая принадлежность граждан, их этническая самоидентификация и идентификация. Теоретики, придерживающиеся концепции “нации-государства”, пытаются доказать, что непременной составляющей процессов модернизации, развертывающихся в индустриальную эпоху, является, наряду с ликвидацией “традиционных”, т.е. доиндустриальных, общественных систем и “традиционных” типов государственного строя, наряду с конструированием “гражданского общества” и “гражданского государства-нации” и ликвидация “традиционной этничности”, то есть ее существенных элементов: этнического языка, традиционной этнической культуры, ценностей, символов, этнического самосознания и идентификации. Для этой цели используются соответствующие этнонимы (граждане государства России не будут самоидентифицироваться как русские, белорусы, украинцы, татары, чуваши и т.д., а только как “россияне” – “граждане России”). Таким образом, процесс “строительства нации-государства” включает в себя, как неизбежную и обязательную составляющую **деэтничацию** (добровольную или принудительную) этносов, входящих в состав такого государства. Между тем, реальные факты свидетельствуют о другом, о полиэтничности всех ныне существующих государств.

Во всех современных “модернизированных”, или иначе говоря, “цивилизованных” государствах Запада, приводимых в качестве эталона строительства “государства-нации”, за несколько столетий их

строительства как модернизированных государств, не удалось ликвидировать их полиэтничность, существующие этнические традиции, традиционные этнические идентификации и самоидентификации. Невзирая на декларирование равенства политических прав граждан, независимо от их этнической принадлежности, социального статуса и имущественного положения, на официальное признание за ними "полноправного гражданства", не удалось полностью интегрировать население страны в единое не-этническое (надэтническое) целое и ликвидировать "традиционные", этнические характеристики различных групп населения, этническую идентификацию индивидов. К тому же все существующие "цивилизованные государства" (а этим термином, как правило, обозначаются наиболее развитые индустриальные страны), ныне раздираются острыми экономическими, социальными, политическими, этническими и культурными противоречиями. Последние нередко приводят к ожесточенным конфликтам и кровопролитным столкновениям конфликтующих сторон (ср.: современная Англия со своим "ирландским синдромом", Испания, США и прочие). Наличие этнических противоречий и конфликтов в, казалось бы, полностью внутренне интегрированных "цивилизованных" гражданских государствах нельзя ни скрыть, ни опровергнуть – они постоянно дают о себе знать. И с этим вынуждены считаться правящие круги, пытаясь найти пути стабилизации и дополнительных "интегрирующих государство факторов". Факт этнической неинтегрированности полиэтнических "цивилизованных" государств Запада, так же как и тот факт, что сама по себе модернизация не в состоянии разрешить существующие в мире этнические ("национальные") вопросы, констатируют и многие ученые.

Поскольку, как показывают эмпирические исследования, понятие "нация-государство" оказалось не адекватным реалиям современных "цивилизованных государств", ряд ученых пытаются внести уточнения в существующее определение или выработать на той же исходной парадигме новое определение, которое было бы более приближено к реальности. Так, в научном обиходе появились термин и понятие "национальное государство". Согласно имеющимся определениям и обоснованиям, "национальное государство", то есть современное развитое "цивилизованное государство" является "национальным" не потому, что в нем "гражданственность" снимает этничность как таковую, а потому, что модернизация общественной жизни меняет характер и роль этничности, хотя в государстве гражданами являются индивиды различной этнической принадлежности, тем не менее, существует доминирующий, "государствообразующий" модернизированный этнос, который как исторически, так и де факто имеет право считать данное государство своим "национальным" государством и выступать в нем с особым статусом "титульно-

го этноса". Что касается индивидов, граждан данного государства, то они по **своему статусу** фактически, а нередко юридически, разделяются на людей, принадлежащих к доминирующему "титульному" этносу, на людей, принадлежащих к не доминирующим, различным по численности и историческом типу этносам, на людей, принадлежащих к "этническим группам" (этноменьшинствам), т.е. диаспорам этносов, основная часть которых находится вне пределов государства. Кстати, подобное разделение граждан полиэтнических государств представлено не только в многочисленных юридических актах локального государственного значения, но и в международных документах, в том числе и в документах ООН.

В научной литературе, не говоря уже об идеологизированной публицистике, можно встретить тезис о том, что если в каком-то государстве "иноэтническое население" не превышает 10% (по некоторым источникам – 30%) всего населения, то такое государство можно считать "национальным". В современном мире действительно существует немало государств, в которых демографический корпус какого-то этноса составляет до 90 и более процентов его населения. Но этот количественный фактор только в известном смысле определяет **характер его полиэтничности**, не снимая саму проблему как таковую ни в одном из подобных государств, не говоря уже о тех, где разница между "титульным" и "не титульными" этносами является менее значительной.

Следует обратить внимание и на соотношение двух понятий и терминов: понятие (и термин) "население" и понятие (и словосочетание) "демографический корпус этноса". В обоих случаях речь идет о некотором множестве индивидов, то есть оба понятия являются статистико-математическими. Население – это то множество людских индивидов, которые проживают на территории какого-то государства и считаются юридически гражданами ("поданными") этого государства. "Демографический корпус этноса" – это совокупность индивидов, обладающих определенными этническими характеристиками и, как правило, самосознанием своей принадлежности к кому-то этносу. В том случае, когда население какого-то государства **моноэтнично**, эти два понятия совпадают, однако, как известно, современные государства, за редким исключением, в той или иной степени являются полиэтничными. Характер и степень этой полиэтничности зависит от **количественного соотношения** численности демографических корпусов этносов и этнических групп, **удельного их веса населения, родственности и неродственности**, сходства и различий в **культурно-цивилизационном уровне** населяющих территорию государства этносов и этнических групп, **типа их расселения** на государственной территории, **традиции взаимоотношений** между этносами-соседями.

Термин и понятие “национальное государство” по идеи должны были бы снять внутреннюю противоречивость и явную неадекватность концепции “нации-государства” как монолитного, полностью интегрированного по принципу гражданственности “цивилизованного государства”, однако, этого не получилось. Более того, введение в науку термина “национальное государство” в значении “государство титульного этноса” только увеличивает понятийно-терминологическую путаницу. Термины “нация-государство” и “национальное государство” по-прежнему продолжают употребляться как термины-синонимы, поскольку ими обозначаются, хотя и на различных основаниях, понятия об одних и тех же реалиях. Этот факт не единожды отмечался в научных дискуссиях.

Таким образом, использование термина “нация” в качестве синонима политологического термина “государство”, даже при уточнении, что речь идет о “современном” государстве, о “государстве новейшей эпохи”, о “национальном государстве”, вряд ли можно считать научно оправданным и плодотворным. Использование в науке терминов-синонимов крайне нежелательно. Если они, к тому же, как термин “нация”, употребляются с разным значением в различных научных дисциплинах (ср.: “нация-этнос”, “нация-государство” в этнологии и политологии), тогда возникает немалая терминологическая и понятийная путаница. В этом можно легко убедиться и при анализе целого ряда терминов и понятий, являющихся производными от понятия “нация”, таких, как “национальная политика”, “национальный вопрос”, “национализм”. Двусмысленность понятия “нация” породила и двусмысленность этих понятий. Когда эти термины и понятия встречаются в текстах научных трудов или официальных документов, далеко не всегда ясно, обозначает ли термин “национальная политика” политику “государства-нации” (“национального-государства”) в какой-то области человеческой жизнедеятельности, или же этим термином обозначается любая политика, касающаяся “этносов-наций” или вообще этносов и этнических групп. А ведь это совершенно **разные** реалии. Точно так же обстоит дело и с термином “национальный вопрос”, который из-за двусмысленности понятия “нация” можно истолковать и как вопрос о каком-то реально существующем государстве (его целостности, суверенитете, судьбе), и как вопрос о бытии какого-то этноса (о проблемах его существования и развития, его взаимоотношениях с другими этносами в полигэтнических государствах). Столь же двусмысленным является и термин “национализм”.

Двусмысленность понятий “нация”, “национальный интерес”, “национальный вопрос”, “национальная территория” (и им подобных), позволяет совершить во многих случаях циничные и глубоко преступные манипуляции и в политике, и в юридической сфере, и в

массовой пропаганде, формируется ложное сознание у миллионов людей. На основе таким образом формируемого ложного сознания, искусственно создаваемой понятийной неразберихи по поводу реалий этноса, нации, государства происходит идентификация и самоидентификация индивидов и их сообществ, разжигаются чувства этнической (“национальной”) нетерпимости. Последствия общеизвестны. Их можно наблюдать практически на всех континентах. Особенно часто и бесцеремонно эти манипуляции затрагивают историческую память индивидов и целых этносов. Знание и понимание того, что происходило в прошлом с тем или иным этносом и каковыми были его взаимоотношения и взаимодействия с другим этносами имеет, как известно, колоссальное значение для самосознания и этнической самоидентификации как любого этноса в целом, так и каждого индивида. История любых взаимодействующих в то или иное время этносов всегда, в силу конкретных обстоятельств, была далеко не простой: в ней имели место как совпадение, так и столкновение интересов, как мирное и взаимовыгодное сотрудничество, так обостренные конфликты и кровопролитные войны. Воспоминания обо всем этом так или иначе сохранялись в индивидуальной и коллективной памяти людей, передавались и передаются из поколения в поколение в каком-то актуальном осмыслении, с идеологически направленной интерпретацией. Нет и не может быть этноса без “исторической памяти”. Народ без исторической памяти – это дезинтегрированное множество индивидов, представляющих идеальный объект для всяческих манипуляций. Народ же, в сознании которого доминирует “злая историческая память” о взаимоотношениях с этносами, с которыми он сталкивался в прошлом и по необходимости продолжает и дальше контактировать, – это народ, обреченный на вечные конфликты и войны, что отнюдь не благоприятствует его собственному прогрессу и процветанию. Народ с ложной исторической памятью – это народ, который уже стал жертвой преступной манипуляции, он превращен в орудие для достижения целей, не имеющих ничего общего с его действительными жизненными интересами. Ни злая, ни извращенная (ложная) историческая память никогда не способствовали и не могут способствовать нормальному развитию какого-либо этноса, даже тогда, когда казалось или кажется, что он идет в гору и добивается успехов. Для нормальной жизни народов, их прогресса и процветания нужно, как это становится все более очевидным, **мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество**. Для этого, кроме всего прочего, необходима добрая историческая память, которая означает не отказ от своего прошлого, а отказ от любой **мифологизированной, идеологизированной и политизированной** актуализации памяти о зле, имевшем место в прошлом, ради совершения и оправдания зла, делаемого на этнической основе в на-

стоящем и ради подготовки новых подобных злодеяний в будущем. Подмена понятия (и термина) “государство” понятием (и термином) “нация” нередко является результатом стремления правящих кругов тех или иных государств **замаскировать** этническую неоднородность населения и наличие внутри государства проблем межэтнических отношений, или при помощи “интегрирующего” термина “нация” затушевывать в сознании граждан социальную дифференциацию и социальную несправедливость в государстве. Отождествление понятий “нация” и “государство” характерно и для многих **этно-сепаратистских** и **этно-гегемонистских** движений и их программ урегулирования межэтнических противоречий и общих этнических взаимоотношений.

Вопрос об использовании термина и понятия “нация” в этнологических и этнографических исследованиях остается пока открытым. Термин “нация” мог бы оставаться словом-именем при обозначении современных (модернизированных) этносов, то есть больших групп людей (компактных или дисперсных), которые в эпоху индустриальной цивилизации, пройдя путь индустриализации и урбанизации, существенно изменили образ и качество жизни, но при этом сохранили в каком-то новом виде свою этничность (этническое самосознание, “родной” язык этноса, какие-то комплексы культуры и традиции, этноним). Иными словами, термин “нация” мог бы быть использован в науке как термин-имя особого **исторического типа** этносов, формирующихся в условиях индустриализации и урбанизации. Но в таком случае необходимо по-новому, логически корректно определить **объем и содержание** самого понятия “нация” как нового **исторического типа** этноса и выявить **исторический тип** его “этничности”. Те определения понятия “нация” как “этноса новейшей эпохи”, которые иногда используются в науке, не содержат ясных указаний о существенных характеристиках именно **индустриализованного и урбанизированного** этноса, в отличие от этносов неиндустриализованных и неурбанизированных. Попытка объяснить особенности нового (индустриально-урбанного) исторического типа этноса одной только изменившейся социальной структурой (в частности, попытка И. Сталина в его теории “буржуазных” и “социалистических” наций) оказалась недостаточной, хотя новый тип социальной дифференциации и новый тип социальной структуры действительно существенно отличает индустриализованный этнос от неиндустриализованного.

Изменения, которые происходят в этносах в период их индустриализации, охватывают, хотя и в не одинаковой степени, буквально все стороны индивидуальной и коллективной жизни людей, они представляют собой модернизацию образа и качества жизни этноса, изменение его культурного и цивилизационного облика, а не только

изменение одной лишь социальной структуры и смену господствующей социальной группы (класса) в системе общества. В чем состоят эти изменения, какие именно **этнические характеристики** рожнят людей современного индустриализированного и урбанизированного этноса, каковы вообще естественные реальные функции современного этноса в жизни современных людей? На эти вопросы наука пока не дала обоснованных ответов. Необходимость в них более, чем назрела. Этничность, несмотря на все интеграционные и глобализационные процессы современного мира, все еще сохраняется в жизни людей и, судя по всему, надолго сохранится, во всяком случае, в исторически обозреваемое время.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОИСКИ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ (“НАЦИОНАЛЬНЫХ”) ПРОБЛЕМ

В течение XX в. многочисленные этнические проблемы в разных регионах мира решались – концептуально и практически – в контексте происходящих политических, социально-экономических и социокультурных процессов, а также в русле подготовки и проведения двух мировых войн и попыток наладить после них какие-то “мировые порядки” и глобальные системы организации межгосударственных отношений во всемирном масштабе (Лига Наций, ООН). Как в выдвигавшихся концепциях, так и в реализовавшихся конкретных “моделях” решения этнических проблем (чаще всего обозначаемых термином “национальные вопросы”) отчетливо проявлялись, да и теперь продолжают проявляться различные тенденции:

- **тенденция этноцентризма** (от умеренной в той или иной степени терпимости и готовности к мирному сосуществованию до проявлений экстремистского этносепаратизма и ксенофобии);
- **тенденция этнического нигилизма** (от идеологии космополитизма до теорий отмирания этносов и полного исчезновения этничности в жизни людей и государств);
- **тенденция безоговорочного и полного этнического гегемонизма** тех или иных “избранных” (согласно различным идеологемам: “избранных” богом, “расово-генетической природой”, или просто самоизбранных на базе своей военно-экономической и политической мощи) этносов над другими обрекаемыми либо на ассимиляцию, либо на вымирание или просто физическое уничтожение;
- **тенденция государственного этнического коэкзистенциализма** (либо на принципах политического и юридического равноправия, либо на основах сохранения доминирующей роли “титульного этноса”).

В попытках практической реализации выдвигаемых концепций в XX в. разрабатывались так или иначе реализовывались и продолжают реализовываться следующие “модели” решения сложных этнических (“национальных” вопросов в Европе и на других континентах.

а) **Вильсоновско-версальская модель**, предусматривающая применение принципа “национально-территориального самоопределения и государственного суверенитета” этносов, создание единых “национальных государств”, либо абсолютно моноэтнических, что практически нигде не удается осуществить без применения геноцида, либо полиэтнических при доминирующей роли в государстве “тизульного этноса”.

б) **Американская модель**, предусматривающая двоякое решение “этно-национальных” проблем в “национальном государстве (“государстве-нации”) с полиэтническим населением (конкретно в США): по отношению к этносам коренного туземного населения страны – **этно-территориальный изоляционизм** (этнические резервации), постепенная “культурная интеграция”; по отношению к разноэтничным иммигрантам – их **территориальное рассеивание и полная языко-культурная ассимиляция** при помощи англоязычного “образовательного котла”.

в) **Советская модель** решения “национального вопроса”, предусматривающая (исходя из концепции о территории и экономике как тоже “существенных признаках нации”) **национально-территориальный федерализм и территориальный автономизм этносов**, осуществление “культурной революции”, то есть модернизации культурной жизни всех этносов, составляющих население страны, на единой идеологической основе (идее социализма и пролетарского интернационализма) и постепенная их интеграция в процессе развития моноидеологической “социалистической культуры”, при том или ином сохранении этнических (“национальных”) “форм культуры” (языка, элементов фольклора, обычая, традиций).

г) **Постсоветские (“постсоциалистические”) модели** решения этнических проблем (“национальных вопросов”) на территории бывшего СССР, в России и в бывших “странах социализма” в Центральной и Юго-Восточной Европе характеризуют доминирующие тенденции **этносепаратизма** и разнообразные попытки реализации идеологем этнического и этнотERRиториального государственного суверенитета либо путем образования “национальных государств” или по меньшей мере “суверенных национальных автономий” на так называемых “исконно этнических территориях”, либо путем своеобразных комбинаций неполного этнотERRиториального сепаратизма и этносепаратистской “национальной культурной автономии”. При этом проявляются противоречивые тенденции: в одних случаях это

форсирование этнической “коренизации”, нацеленной на возвращение к исконным ценностям и традициям” своих этносов; в других – декларации о “твердом намерении” безоговорочно “включиться в современные цивилизационные процессы”.

д) **Регионально-интеграционная и глобально-интеграционная модели решения этнических и этногосударственных проблем** в руссле начавшихся **глобализационных процессов** под эгидой правящих кругов наиболее развитых промышленных стран мира. Регионально-интеграционная модель начала разрабатываться и в каких-то аспектах реализовываться с конца XX в. в Западной Европе как один из вариантов решения “национально-государственных” (экономических, политических и социальных) и “национальных” (то есть государственных) этно-культурных проблем в рамках общего процесса научно-технической революции и экономической “глобализации”. Современные “интеграционные” модели решения межэтнических и межгосударственных проблем разрабатываются и реализуются под непосредственным руководством правителей небольшого числа крупных промышленных стран с явной направленностью на обеспечение экономических, политических и военных “глобальных интересов” богатейших слоев и прослоек этих стран, стремящихся поставить под свой контроль все мировые экономические ресурсы, включая источники сырья, производственные мощности, рынки, финансы, потенциалы физического и умственного труда. Исходной теоретической основой этого типа моделей является, во-первых, концепция о разделении мира на “цивилизованные” и “нецивилизованные” государства (“нации”), на “передовые”, “цивилизованные” и “отсталые, нецивилизованные” этносы; и, во-вторых, идеологема об объективной необходимости и оправданности регионального и глобального экономического, политического и культурного гегемонизма развитых этносов и стран (“наций”) над неразвитыми, или наиболее развитого этноса или страны над всеми остальными.

Одновременно с этим делаются попытки выработать модели региональной и глобальной интеграции, основывающиеся на отрицании как коллективного гегемонизма “наиболее, развитых” стран, так и одиночной гегемонии в мире какой-нибудь из них (например, модель “многополюсного мира”, модели региональной интеграции “Евро-Азии”, Африки и др.). Теоретические основы этих интеграционных моделей пока не только во многом неопределены, но и весьма противоречивы. В них так или иначе находят свое выражение все основные тенденции поиска решений этнических проблем. На выработку концепций этого типа интеграционных моделей сильное влияние оказывают переплетающиеся между собой, весьма различные интересы – экономические, политические, этнические,

культурные, религиозные. Основную характеристику и в то же время уязвимость составляет то, что при разработке принципов экономической и государственно-политической интеграции стран (“наций”) не сформулированы четкие принципы и не определены конкретные пути преодоления имеющихся этнических противостояний, этносепаратистских конфликтов и обеспечения всем этносам улучшения жизненных условий, удовлетворения их этнокультурных потребностей в рамках общих интеграционных процессов в полигэтнических государствах, в регионах и во всем мире.

Пока еще ни в научном, ни в политическом сознании не стала общепризнанной истина, подтвержденная многочисленными фактами прошлого и настоящего, истина о том, что фундаментальные жизненные интересы индивидов, составляющих тот или иной этнос, не обеспечивает сама по себе “этническая” (то есть моноэтническая) государственность. В ситуации современного мира фундаментальные интересы людей любой этнической принадлежности (экзистенциальные, биорепродуктивные, статусные, футуральные), а вместе с ними и этнические интересы, как общие, связанные с бытием и судьбами этносов, так и текущие (забота о сохранении и использовании родного языка, о сохранении своего имени, определенных этнических комплексов культуры, обычая, традиций и др.) может и должна обеспечивать модернизированная полигэтническая государственность, основанная не на принципах этносепаратизма (каждому этносу его отдельную “этническую территорию”, а на принципах **этнического коэкзистенциализма** и мирного взаимовыгодного сотрудничества этносов на всех территориях их обитания в любых государствах.

Обеспечить условия для мирного сосуществования этносов даже на локальном государственном уровне (особенно в некоторых современных полигэтнических государствах) – задача, неимоверно трудная. Она требует огромных усилий не только по улучшению общих материальных и социальных условий жизни людей, но и по преодолению негативных настроений в межэтнических отношениях отдаленного и не столь давнего прошлого, по освобождению сознания людей от многих “исторических мифов” и “злой исторической памяти”. Еще труднее этого достичь на уровне целых регионов и в мировом масштабе.

Но, как уже говорилось, имеется немало серьезных оснований считать, что эта задача **в принципе осуществима**. Для того, чтобы **этнокоэкзистенциальная модель** решения этнических (внутри государственных и межгосударственных) проблем стала реальной, потребуется многое. Для обеспечения мирного, без военных конфликтов, сосуществования этнических сообществ, для спокойной жизни индивидов любой этнической принадлежности, в любом месте

их обитания в наше время необходимо определить пути решения и реализации многочисленных и многообразных связанных с этой проблемой задач – политических, социально-экономических, культурных, образовательно-воспитательных и др., нужны большая перестройка нынешних экономических структур, и особенно, существенные изменения в сфере культуры и образования. А для этого, помимо выработки и принятия соответствующих международных юридических актов, необходимо будет в каждом полиэтническом государстве разработать не только соответствующие **конституционные основы**, но и принять конкретные **законы о мирном сосуществовании этносов, их взаимовыгодном сотрудничестве, религиозной и другой этнокультурной толерантности**, необходимо создать соответствующие государственные и общественные структуры, которые будут обеспечивать выполнение таких законов. Во всем этом, несомненно, огромная роль принадлежит науке и ученым, которые могут и должны обеспечивать как разработку теоретических вопросов существования этносов и их развития в наступившем XXI в., так и конкретную вариационную реализацию этой модели применительно к специфическим условиям того или иного государства, того или иного региона, той или иной группы этносов-соседей.

Реализация этнокоэкзистенциальной модели продлится, вероятно, не одно десятилетие, а может быть, и не одно столетие. Она потребует огромного труда и усилий многих поколений людей. Но именно на достижение мирной совместной жизни этносов, на всех территориях их обитания, их взаимовыгодное сотрудничество, а не на территориальный сепаратизм, культурную изоляцию должен быть направлен **общий курс любой государственной и всей мировой политики по решению существующих и возникающих этнических проблем**. Иначе неизбежны бесконечные конфликты и все более кровопролитные войны.

ЛИТЕРАТУРА

- Бромлей Ю.В.* Очерки теории этноса. М., 1983.
- Гумилев Л.Н.* Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990.
- Коротеева В.В.* Теория национализма в зарубежных социальных науках. М., 1999.
- Козлов В.И.* Этнос, нация, национализм: сущность и проблематика. М., 1999.
- Национальная политика России: история и современность. М., 1997.
- Рыбаков С.Е.* Философия этноса. М., 2001.
- Семенов Ю.В.* Философия истории. М., 1999.
- Сталин И.В.* Марксизм и национальный вопрос. Соч. Т. 2.
- Томилов Н.А.* Проблемы этнической истории. Томск, 1993.
- Тойнби А.Дж.* Постижение истории. Сборник. М., 1991.

- Тышков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Соч. Т. 20.
Этнос и этнические процессы. М., 1993.
Этнос в доклассовом обществе. М., 1982.
Этнические процессы в современном мире. М., 1987.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

Я. Корженский

(Чехия)

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК КАК ЯЗЫК НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Как известно, чешский язык является языком национальным. Следует, однако, знать и то, что взаимоотношения языка и нации есть сложный, изменчивый процесс, поскольку речь идет о соотнесении самосознания членов нации с определенными языковыми средствами, т.е. о некотором осознании национального языка. Из этого следует:

- Формирование осознания национального языка представляет собой исторически многосторонне обусловленный процесс, связанный с этническими корнями государства, с процессом формирования нации, с условиями конституирования письменного языка как объединяющего фактора. В ходе истории может происходить как укрепление, так и ослабление этих тенденций, могут наблюдаться сложные качественные изменения. Национальный язык, таким образом, ни в коем случае не является чем-то стоящим “над” историческим процессом или же “до” него.
- Формирование осознания национального языка является исторически изменчивой величиной, которая может выходить за государственные границы или же, напротив, “не заполнять” полностью пространство полиэтнических государств.
- На формирование осознания национального языка оказывает существенное влияние функциональное присутствие этнически (генетически) неродственных языков, находящихся на территории государства. В определенные периоды этот факт может ослаблять, в других – напротив, укреплять формирование осознания национального языка (немецкий язык в чешской национальной среде).
- И на современном состоянии развития осознания национального языка оказывается действие этнических и социальных факторов

исторического характера и только лишь детальное изучение взаимосвязи дивергентности и конвергентности этнических и социально-функциональных тенденций может способствовать углубленному познанию национального языка. Национальный язык это скорее всего тяготение к единству, а отнюдь не изначально существующее единство, склонное к дифференциации или же находящееся в состоянии дифференциации.

- При определенных исторических обстоятельствах образуется устный культурный язык с различной степенью полноты функционального спектра речевых деятельности (общественно значимая коммуникация в области культуры, образования, государственного управления и т.д.), который является предварительной ступенью развития литературного языка. Это явление характерно для самого древнего периода в развитии истории культуры.
- Литературный язык представляет собой исторически обусловленное явление, которое при максимальном его участии в речевом функциональном спектре (см. далее) выполняет роль важнейшего интегрирующего фактора в развитии национального языка.
- Литературный язык является прежде всего ступенью развития письменного языка, выполняющего с разной степенью полноты спектр функций в области культуры, науки, государственного управления и т.п.

РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПЕКТР ОБЩНОСТИ

Любая этническая общность, национальная или же государственная, ведет полнокровную жизнь во всех сферах своего существования: экономической, общественной, политической, культурной. Как уже было сказано, вся эта многообразная деятельность реализуется или же сопровождается речевой деятельностью независимо от того, имеется ли в виду очень сложный, многослойный процесс письменной и устной коммуникации в условиях современной национальной и государственной общности или же, напротив, речь идет только об устной коммуникации этнической общности, находящейся в начале исторического развития. И в том, и в другом случае имеется в виду целостный для данной ступени общественного, экономического и духовного развития комплекс коммуникативной деятельности.

В языковом отношении интересно установить, обеспечивают ли речевые средства полный функционально-речевой спектр общности, причем неважно, идет ли речь об этнических языках с низкой степенью дифференциированности либо, напротив, о разных национальных или же государственных языках. Важно проследить, как “делят” между собой эти языки отдельные типы коммуникативных

ситуаций. Это разделение может носить различный характер: общность может сохранять единство в отношении средств письменного, особенно официального общения и быть дифференцированной в сфере устных высказываний. Дифференциация может носить преимущественно территориальный, "горизонтальный" характер или же, наоборот могут наблюдаться значительные различия в отдельных типах коммуникативных ситуаций в пределах того же самого региона. Могут быть различия между социальными группами; в определенных коммуникативных ситуациях общность может "призывать на помощь" другой национальный или даже государственный язык. Данная функционально-языковая дифференциация может быть очень переменчива, причем это происходит скорее стихийно и не совсем осознанно, вместе с тем она может быть и юридически закреплена. Тот факт, что определенный набор средств естественного языка "обеспечивает" все или только некоторые коммуникативные ситуации данной общности, равно как и факт, что положение данного языка в этом отношении с течением времени может меняться, имеет огромное влияние на его грамматические и коммуникативные функции. Это особенно важно для национального и государственного языка, поскольку многие проблемы, связанные с его функционированием, например, на современном этапе, коренятся и обусловливаются именно этими взаимосвязями. Немалую роль играет и то, как складываются отношения между данным национальным и государственным языком и языками того же статуса ближайшего географического и политического окружения.

Сохраняющаяся территориальная дифференциация чешского языка, проявляющаяся прежде всего в сфере устной коммуникации, обусловлена исходной этнической дифференциацией славян, которая в ходе последующего развития могла как усиливаться, так и при определенных обстоятельствах ослабевать. Для осознания чешского языка как языка национального имело немалое значение также наличие относительно ранней письменной коммуникации на чешском языке, датируемой началом XIV века. Уровень этой коммуникации позволяет предполагать существование предшествующей традиции культурной устной коммуникации. В этой связи нельзя не упомянуть и о значении старославянского языка как наиболее древнего письменного языка славян на территории современного чешского государства.

Для коммуникативной истории чешского языка как языка национального и государственного с учетом глубокой исторической перспективы важны следующие основные параметры:

– В течение всего периода постепенного формирования чешской нации, помимо чешского языка, в функционально-речевом спектре государственной общности принимали участие и другие языки:

с одной стороны, это были языки международного общения, литературы, литургии и т.д. (на раннем периоде непродолжительное время эти функции выполнял старославянский язык; в течение длительного периода – латынь); с другой стороны, иные этнические национальные языки (прежде всего немецкий язык). Однако это могли быть и другие европейские языки, поскольку Прага, особенно в некоторые исторические периоды, была важным государственным, политическим, культурным и вообще духовным центром.

- Положение чешского языка в рамках функционально-речевого спектра государственных общностей, находившихся на соответствующей территории, в ходе исторического развития существенно менялось, что обусловливалось изменением положения чешского этноса, занимаемого им в отдельные исторические периоды развития государственных образований Центральной Европы. Периоды, когда чешский язык в этом отношении играл исключительно важную, порой даже решающую роль, чередовались с периодами, когда его функциональное использование ограничивалось повседневным общением тех слоев населения, социальная значимость которых и степень участия в государственной жизни были незначительными. Это обстоятельство оказывало и продолжает оказывать значительное влияние не только на функционирование чешского языка в коммуникации, но и во многом на его грамматическое развитие и характер.
- На формирование осознания чешского языка как языка национального имело существенное влияние функциональное присутствие генетически и типологически относительно далекого немецкого языка, которое в отдельные исторические периоды было весьма значимым. Именно с учетом этого в сознании и языковом самосознании коммуникантовировалось оценочное, порой даже критическое отношение к характеру и значимости коммуникации на чешском языке. Большинство чехов воспринимает чешский язык не как некую автоматически существующую реальность, а как нечто, чему следует индивидуально или же совместно уделять внимание, чему нужно в определенном смысле постоянно учиться.
- Учитывая отмеченную выше изменчивость положения чешского языка в функционально-речевом спектре соответствующих государственных общностей (определенный период чешский язык в очень ограниченной степени использовался лишь в письменных текстах), наш национальный язык стал предметом культтивирования, постоянного внимания, объектом теоретического изучения. Это внимание сосредоточивалось прежде всего на культурном письменном чешском языке, теоретическое осмысление которого привело к формированию понятия “литературный чешский язык”

(spisovná čeština. – Прим. пер.). Речь идет о функциональном образовании, с ориентацией на который осуществляется структурация чешского языка в отдельные периоды его функционального развития.

- Под влиянием периода, когда чешский язык в функциональном отношении был вытеснен из сферы государственного управления, официальной коммуникации, из области высшего образования, общественной коммуникации высших слоев, характерной особенностью не только теории чешского языка, но и современного речевого сознания и самосознания коммуникантов стало ощущение недостаточной стабильности устного языка, предназначенного прежде всего для официального, полуофициального и общественного общения. В этом смысле можно говорить о некоем комплексе дефицитности, преодоление которого в области теории ведет к дискуссиям и спорам.

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

Характерной особенностью языков является наличие у них отчетливой социальной дифференциации. Чтобы понять, как обстоит в этом отношении дело с чешским языком, необходимо учесть следующее:

- Важно проследить, каких способов и средств выражения названная социально обусловленная дифференциация касается. Это могут быть средства фонетические, морфологические, лексические, синтаксико-морфологические, а также структурации высказывания. Во внимание могут принять и текстовые, стилистические и стилеобразующие особенности.
- Социальные дифференции в какой-то степени могут быть связаны с отношениями, существующими между письменной и устной коммуникацией. Так, например, только некоторые социальные группы принимают участие в письменной коммуникации. Впрочем, это может обуславливаться не столько социальными факторами в истинном смысле слова, сколько ориентацией профессиональной.
- Во внимание могут быть принятые наиболее очевидные, социально мотивированные различия в сфере письменной коммуникации.
- Подобные отличия могут быть установлены и в устной коммуникации.
- Социально обусловленные различия могут быть взаимосвязаны с территориальной спецификой средств и способов выражения. Если это так, то они по-разному могут проявляться в письменной и устной коммуникации.

С учетом названных критерииов может быть осуществлена, разумеется, лишь в общих чертах, социальная структурация современной чешской общности, включая и ее эволюцию. Современная чешская общность складывалась, начиная с периода национального возрождения, вплоть до конца XIX в. Ее формирование схематически может быть представлено следующим образом:

- Исходная ситуация обусловливалаась существованием, с одной стороны, чешского по своей национальной принадлежности крестьянства (и вообще сельского населения); с другой стороны, менее значимых групп населения прежде всего больших городов, отличающихся в той или иной степени двуязычием.
- Формирование современной чешской национальной общности было мотивировано и динамизировано притоком сельских жителей в города в результате отмены крепостничества, барщинной зависимости, развития промышленности и торговли. В этом процессе, вполне естественно, принимало участие население с чешским (прежде всего в отношении языка) самосознанием, оказывавшее влияние на индифферентное как в экономическом, так и национальном отношении ненемецкое исконное городское население.
- Национальное самоопределение, самоидентификация, выражаемые вначале посредством прежде всего языковых средств, способствовали тому, что теоретическое и в особенности практическое коммуникативное культтивирование чешского языка становится делом общественного престижа. Это означает, что постепенно вновь расширяется набор типов коммуникативных ситуаций, в которых используется чешский язык. Процесс развивается в направлении “проникновения” чешского языка в полуофициальное и официальное общение в наиболее важных сферах: управление, наука, общая и специальная культура.
- В коммуникацию на чешском языке вовлекалась и часть немногочисленной аристократии, которая в силу территориальной принадлежности ощущала свою причастность к чехам, хотя по своей национальной принадлежности исконно была космополитической.
- Все сказанное касается прежде всего письменного языка, именно здесь имеются наибольшие достижения. Этого нельзя сказать об устных высказываниях, уровень которых в целом, несомненно, отстает. В этом причина сохраняющейся зависимости используемого в обществе устного чешского языка от письменных высказываний. Учитывая, что письменный чешский язык был конституирован в новое время, причем при его кодификации намеренно исходили из старой нормы, не соответствовавшей тогдашнему чешеско- му языку повседневного общения, возникало (и возникает) постоянное чувство общенациональной “ущербности” литературного устного чешского языка. Таким образом, возникает напряжен-

ность между теорией, с одной стороны, и речевой практикой – с другой. Следствием этого была и завышенная оценка значимости формальных факторов (фонетических и морфологических); требование общетерриториального единства этих показателей ставилось выше качества устных высказываний в целом, включая и все остальные компоненты языковой системы.

Можно предложить следующую интерпретацию проблемы социальной обусловленности дифференциации чешского языка: если понимать под социальной дифференциацией прежде всего долговременную, стабильную принадлежность инвидуумов и их семей к определенным социальным группам, различающимся своими имущественными показателями, различием в образе жизни и связанными с этим возможностями получения образования и профессионального использования, тогда современное чешское общество, в особенности чешская национальная общность в том виде, в котором она формировалась после 1945 г., не создавали соответствующих условий для отчетливой, социально обусловленной дифференциации средств выражения.

Следует задуматься и над тем, насколько историческое стремление к формированию (стабилизации, культивированию) литературного чешского языка, в особенности устного, обусловливалось социальной дифференциацией современного чешского общества, то есть действительно ли и какие социальные группы были исключительными, преобладающими, привилегированными носителями и создателями полноценного развития чешского языка в направлении к конституированию, кодификации в особенности литературного устного языка.

При ответе на этот вопрос будем учитывать специфику процесса постепенного формирования чешского общества нового времени. – Рассматривая под этим углом зрения эволюцию чешского общества, можно заключить, что возникновение чешского мещанства (ремесленники, посредники, средние и высшие предприниматели, позже торговцы, финансисты) и формирующейся по мере его поступательного развития интеллигенции было обусловлено континуальной дифференциацией исконного крестьянства и исконного чешского городского населения. Важной составляющей этого процесса была постоянная двусторонняя взаимосвязь с сельским населением и городским пролетариатом, также претерпевающими социальную дифференциацию. Проще говоря, для чешского общества было типичным, что внутрисемейные взаимосвязи в широком смысле слова зачастую не совпадали с социальными различиями – в силу сказанного внутрисемейная ситуация в этом отношении была скорее переменчивой, чем долговременно стабильной. Принимая это во внимание, вряд ли можно ожидать, что чешский

язык нового времени в его обработанной форме станет исключительной собственностью каких-то отдельных социальных групп. Проявившиеся тенденции к социальной замкнутости оказались слишком запоздалыми (конец XIX в.; межвоенный период дифференциации мелких и средних предпринимательских слоев и возникновения финансово-предпринимательской олигархии), к тому же он шел параллельно с развитой фазой развития прежде всего письменного чешского языка, что это уже не могло серьезно повлиять на ситуацию. Таким образом, нет оснований говорить о наличии отчетливых предпосылок формирования “классового языка”.

- Постепенно достигаемый хороший уровень общего и традиционно хороший уровень среднего образования, его “филологическая” ориентация (т.е. акцент на предметах, связанных с языком и литературой), ранняя и более поздняя культурно-просветительская традиция рабочего движения и т.д., относительно большое влияние формирующейся чешской литературы и прессы – все это привело к значительному, по крайней мере пассивному участию пользователей в письменном чешском языке, расширяло возможности формирования и культивирования устного чешского языка (ср. уже упоминавшаяся кружковая деятельность, заседания и собрания политических организаций, деятельность таких организаций, как “Сокол”, любительский театр и пр.).
- Что касается семьи, особенно, когда речь идет о более широких семейных узах и взаимоотношениях, то для нашей национальной общности была характерна относительно большая степень социальной проницаемости этих уз в том смысле, что в социальном плане семьи были внутренне дифференциированы. Соответственно и внутри семьи отмечалось разнообразие социальной принадлежности ее членов. Напомним в этой связи о процессе формирования чешской интеллигенции из рядов крестьянства, рабочих и преимущественно мелких предпринимателей и, напротив, обратный процесс “пролетаризации” в период экономической депрессии.
- Подобная социальная взаимосвязь и проницаемость характерна и для размещения населения. Сказанное отчетливо прослеживается в малых и средних населенных пунктах и только лишь применительно к крупным и самым крупным из них можно говорить о возникновении устойчивых социальных поселений (кварталы вил, доходных домов, населяемых чиновничеством, государственными служащими, мелкими предпринимателями, с одной стороны, и промышленным пролетариатом – с другой), однако это относится уже к концу XIX в., а также к межвоенному периоду.

Приведенная выше характеристика социальных предпосылок формирования и функционирования современного чешского языка,

с преимущественным акцентом на проблемах устного чешского языка, касается периода от начала национального возрождения до 1945 г. Следует, однако, остановиться на особенностях последнего пятидесятилетия.

Данный период отмечен полным разрушением первоначальной социальной структуры общества, когда происходили искусственно направляемые, взаимно проницаемые социальные "трансфузии", которые в наших условиях приводили к дальнейшей ликвидации предпосылок, необходимых для формирования "классово" обособленных языков. Указанная ситуация характеризуется следующими факторами:

- Численность пассивных пользователей письменного чешского языка (включая устно произносимые письменные тексты) еще более расширяется, чему немало способствовали бесчисленные формы дальнейшего, практически "пожизненного" повышения квалификации как профессиональной, так и политической. Возрастает и количество активных "пожизненных" пользователей письменного чешского языка, в особенности людей, у которых создание письменных текстов приобретает профессиональный или же полупрофессиональный характер. Происходит значительное (несколько раз) изменение и расширение групп людей, активно пользующихся письменным языком. В определенные периоды отмечается пополнение, нередко повторное, соответствующих общественных групп за счет притока людей, не имеющих традиционно предполагаемого уровня образования и т.д. (публистика, наука, культура для широких слоев населения, юриспруденция, государственное управление, система политической власти). В этих условиях письменный чешский язык претерпевает значительную стандартизацию, унифицируется в пользу текстовых моделей, образцов, схем "текстовых панелей", исключающих вариативность. Это означает, что возникает большое количество образцов текстов, связанных с обширной административной, производственной или же политической деятельностью, появляется огромное множество разнообразнейших директив, программ, формуляров, позволяющих относительно большому количеству людей активно освоить за непродолжительное время определенные стандартизованные письменные тексты. Подобные тенденции проявляются и в журналистике, что ведет к убыванию разнообразия ее форм и т.д. Возникают образцы и схемы текстов, легко осваиваемых, однако находящихся в очевидном противоречии с классическими ценностными представлениями о творческом разнообразии, выразительном богатстве и индивидуальности письменных текстов в целом ряде типов коммуникативных ситуаций. Этому способствует и намеренный отказ от индивидуальных личностных различий между

людьми, занимающимися публичной деятельностью, независимо от того, являются ли они публицистами, учеными, политиками, руководящими работниками и пр. Идеал единства мыслей и чувств должен предполагать и “единство” способов их выражения, что особенно характерно для политиков и журналистов. Целенаправленно уменьшается и количество публичных устных выступлений, не подготовленных заранее в письменном виде и под.

- С другой стороны, существенно возрастает число активных участников коммуникативных ситуаций, основывающихся на спонтанной устной речевой деятельности в полуофициальном и официальном общении. Впрочем, и здесь, вероятно, еще заметнее происходит стандартизация и унификация, в том числе и под влиянием тезиса о “единстве мышления”, “автоцензуры” индивидуальных личностных отличий. Конкретно это проявляется в увеличении численности людей, способных к разговорной, литературной коммуникации, однако на практике в сознании людей это, по-видимому, все больше ограничивает ценностные критерии разговорной литературности фонетическими и морфологическими признаками, частотностью и употребительностью текстовых образцов, “панелей”, содержащих вполне определенные наборы международных слов, профессионализмов и пр., остальные же языковые средства в этом смысле отходят на задний план.
- В принципе не изменились и методы языкового обучения и языкового воспитания, по-прежнему ставившие своей целью обучить всех умению пользоваться литературными разговорными средствами как универсальными в коммуникативном отношении.

ТИПЫ КОММУНИКАТИВНЫХ СИТУАЦИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

Выше мы уже говорили о том, что в современном чешском языке социальная дифференциация носителей языка не оказывает существенного влияния на различие способов выражения, гораздо более значимым является различие коммуникативных отношений и коммуникативных ситуаций. Утверждая это, мы понимали под социальной принадлежностью долговременную, передающуюся из поколения в поколение социальную взаимосвязь индивидуумов, семей, а отнюдь не их социально-групповую принадлежность в виде профессиональных отношений, обусловленных общими интересами, культурными или же спортивными, возрастную принадлежность и т.д. Речь идет о социально-групповой принадлежности, которая по сравнению с рассмотренным выше типом социальной принадлежности является гораздо более кратковременной. Примечательно, что

один и тот же индивидуум одновременно может входить более, чем в одну социальную группу. Характерно и то, – а для нас это особенно существенно, – что принадлежность к подобным социальным группам всегда определяется каким-то видом деятельности, т.е. имеет явно деятельностный характер, причем проявляется в совершенно определенной, как правило, совместной деятельности. Все эти процессы, в различной степени реализуются или же хотя бы сопровождаются вербальной коммуникацией, так что с коммуникативной, языковой точки зрения они имеют характер коммуникативных, речевых отношений, т.е. речь идет о коммуникативных ситуациях. Доминантой, однако, является именно их деятельностный характер, их определенная, конкретная ситуативность. Мы сочли целесообразным упомянуть об этом виде принадлежности индивидуума (профессиональной, по интересам, генерационной) именно здесь, так как предметом нашего внимания являются различия в способах выражения, мотивированных различными коммуникативными ситуациями. Иначе говоря, применительно к современному чешскому языку не следует говорить, например, о языке интеллигентии, имеющей высшее образование, языке предпринимателей, языке земледельцев, или же рабочих как о специфическом функциональном языке, употребляемом этими носителями всегда и при всех обстоятельствах, без учета конкретных коммуникативных ситуаций. Таким образом, речь может быть охарактеризована лишь с учетом отдельных конкретных коммуникативных ситуаций и лишь на этой основе могут быть выявлены обобщенные, типизированные ситуации, в которых те или иные индивидуумы принимают участие не только в различные периоды своей жизни, но и даже в течение одного и того же дня. При этом они не только используют общепринятые для этих ситуаций способы выражения, но и совместно участвуют в их формировании.

Количество языковых ситуаций огромно, сказанное распространяется и на их речевые особенности, поэтому отнюдь нелегко точно и наглядно охарактеризовать отдельные их типы и классы. Представляется, впрочем, возможным назвать определенные критерии, позволяющие продемонстрировать существенные речевые особенности отдельных типов коммуникативных ситуаций и отношений.

В течение всей своей жизни любой индивидуум проходит через ряд жизненных ситуаций. Это прежде всего ситуации, касающиеся в равной степени более или менее каждого: речь идет о социальной, коммуникативной ситуации, связанной с детством, семейной жизнью, школой, подготовкой к трудовой деятельности в период взросления, а также трудовой и семейной жизнью во взрослом состоянии. В течение жизни количество подобных ситуаций постоянно увели-

чивается, некоторые из них отмечаются в более или менее постоянной обстановке как географической, так и с точки зрения социального, человеческого окружения. Для многих людей именно эта ось имеет основополагающее значение и в аспекте предпосылок и потребностей в сфере речевой коммуникации. В течение всей своей жизни эти люди не покидали место, где они родились, поэтому их коммуникативная ситуация и отношения являются стабильными, общение происходит в среде родственников, соседей, людей, которых они длительное время лично знают.

Наличие подобной стабильной, постоянной коммуникативной среды для индивидуума, особенно для женщин, было характерно в прежние времена. Мужчины меняли эту среду, как правило, только по мере накопления профессионального опыта, а также в связи с военной службой, однако и эта смена среды приводила, хотя и к расширению спектра коммуникативных ситуаций, однако в целом они по-прежнему менялись не слишком сильно, оставаясь стабильными. Это означало, что для многих людей предпосылки успешной речевой коммуникации сводились к овладению повседневными и профессиональными средствами выражения в постоянном регионе, относящимися к спонтанной устной коммуникации. Письменные высказывания, напротив, были редкостью; с многоязычной коммуникацией люди сталкивались только в связи с военной службой, "профессиональными путешествиями", с так называемыми странствованиями. Изменение коммуникативных ситуаций происходило редко и, как правило, очень постепенно. Впрочем, и тогда различия обусловливались прежде всего профессионально: чаще переезжали с места на место семьи учителей, государственных чиновников, профессиональных военных. Контакт с письменным языком также в основном был обусловлен профессиональными занятиями, а до этого – в период профессиональной подготовки – характером и степенью школьного образования. В остальном для большинства людей контакт с письменным языком в виде книг был минимальный, он ограничивался относительно небольшим объемом литературы (основная религиозная литература, так называемое народное чтение, учебники, определенный круг национальной классической художественной литературы). Социальные и коммуникативные роли большинства людей были, таким образом, немногочисленны, стабильны, очень постоянны. Поэтому и условия коммуникативной успешности отнюдь не были сколько-нибудь сложными, поскольку это предполагало освоение определенного локального и этнического набора средств, использование которых было почти что ритуальным в силу стабильности коммуникативных отношений и ситуаций. Характерным было также то, что зачастую и овладение вторым языком, например, немецким, ограничивалось лишь знанием местного диалек-

та или же группы диалектов и, как правило, не означало знание этого языка в письменной форме, ни пассивное, ни тем более активное.

Развитие цивилизации в XIX–XX вв. внесло, разумеется, в эту ситуацию множество существенных изменений:

- Первую группу изменений представляет значительное территориальное перемещение населения, говорящего по-чешски, из сельской местности в города. Это было сопряжено в основном со стремительной переменой привычной коммуникативной среды, однако в условиях 19 в. сказанное означало для индивидуума возникновение хотя и нового, но тем не менее быстро стабилизирующегося спектра коммуникативных отношений. Для большинства населения это предполагало пассивное и в известной степени активное осознание дифференцированности средств выражения в рамках национального языка (и тем самым осознание существования национального языка), пассивное и одновременно активное осознание роли другого языка, что опять-таки укрепляло отношение к своему нациальному языку.
- Другая группа изменений связана со значительным развитием всеобщего школьного образования, которое с учетом “филологической” ориентации обучения в чешских школах придавало большое значение овладению, активному и пассивному, письменной формой языка. Именно этим и обуславливается отождествление национального языка с его письменной, литературной формой.
- Третья, чрезвычайно важная группа изменений обусловлена развитием того, что принято называть средствами массовой коммуникации, – имеется в виду существование и влияние газет, журналов, позже радио, телевидения, еще позже других медиальных средств. Следует отметить особую значимость таких средств связи, как телефон, позже факс, электронная почта, коммуникативные сети. Все это ведет к возникновению совершенно новых коммуникативных ситуаций. Постепенно становится неактуальным утверждение о том, что подавляющее большинство участников коммуникации играет лишь пассивную роль в этом процессе (упомянем в этой связи ставшую ныне столь модной фактическую dialogизацию радиовещания посредством прямого телефонного контакта). В речевом отношении новейшие медиальные средства еще больше укрепляют осознание различия, разнообразия, богатства потребностей, средств и возможностей национального языка. Вначале это касается его письменной формы, позднее в связи с развитием радио и телевидения сказанное затрагивает и дифференциацию средств устного языка, особенно в официальном и полуофициальном общении. В совершенно новом свете предстают отношения и пропорции письменной и устной речи в связи с использованием факса, электронной почты и сетевой коммуникации. Задачей бу-

дущих исследований является детальное изучение особенностей коммуникации посредством факса, электронной почты или же сетей, в том числе и через призму специфики письменного и устного языка. Расшатываются старые и формируются новые оценочные критерии, прежде всего при пассивной оценке качества и уровня публичных выступлений, официальной и полуофициальной коммуникации. Для большинства людей это отнюдь не означает, что подобные претензии они распространяют и на свои собственные выступления в сфере полуофициального и официального, публичного общения.

– Четвертая группа изменений обусловлена все возрастающим территориальным перемещением индивидуума, связанным как с его профессиональной деятельностью, так и с путешествиями. Все большее количество людей перемещается не только внутри национальной языковой территории, но и в регионах, отличающихся использованием иных языков, или же смешанных в языковом отношении. С коммуникативной точки зрения это означает появление не стандартных для человека коммуникативных ситуаций, менее известных или же полностью неизвестных. Их новизна по-разному проявляется в содержательно-тематическом аспекте, в появлении менее привычных социально-коммуникативных отношений, в структуре и иерархии коммуникативных ролей, в способе их распределения между индивидуумами. В результате этого индивидуум часто оказывается, одноразово или же кратковременно, в коммуникативных ситуациях, которые ему, хотя и хорошо известны, однако роли в них уже заняты чужими, не знакомыми ему людьми, либо в ситуациях, ему полностью не известных. Именно в этих случаях предъявляются особые требования к коммуникативно-речевым предпосылкам, поскольку именно здесь (с учетом и фактической специфики) особенно важна способность индивидуума проявить восприимчивость к коммуникативной среде, распознать ее речевые особенности, характеристики, т.е. речь идет о способности применить не только пассивно, но и активно выражительные возможности национального языка. Если же общение происходит в иноязычной или же полиязычной среде, то это предполагает владение и другими языками.

Остановимся вначале на типе ситуаций основных, стандартных. Именно здесь достаточно заметна граница между коммуникацией внутрисемейной, дружеской, между людьми, связанными родственными узами или же близких в возрастном отношении, с одной стороны, и коммуникацией официальной и полуофициальной, – с другой. Коммуникация неофициальная, т.е. характерная для первого случая, основывается на использовании средств диалектных или же наддиалектных, нередко здесь применяются средства, характерные для об-

щения исключительно в семейной обстановке, или же, напротив, присущие профессиональному общению или же общению по интересам и пр. Конечно, и здесь можно проследить зависимость использования выразительных средств от темы и содержания разговора. Случается, что при решении в семейном, дружеском кругу какой-то серьезной проблемы, при обсуждении серьезных политических или же общественных вопросов (нередко под впечатлением от прочитанных книг, газет, при совместном слушании радио или же телевидения) характер используемых языковых средств меняется более или же менее значительно в сторону литературности.

Сложнее обстоит дело в официальной или же полуофициальной коммуникации: например, разговор в школе между учителем и учеником может происходить с преимущественным использованием литературных средств. Впрочем, это последовательно соблюдается только во время уроков; в остальных случаях (общение учителя и ученика во время перемен, за пределами школы, при неофициальном решении учебных или же воспитательных вопросов и пр.) картина уже совершенно другая. Здесь нередко сознательно выходят за границы официальности, стремясь проявить дружескую близость и расположение. В некоторых ситуациях намерение проявить свою неофициальность, продемонстрировать личную близость между учителем и учеником может вести к вытеснению литературных средств даже в процессе обучения. Точно так же обстоит дело на самых различных рабочих совещаниях, особенно менее масштабных, в группах, собирающихся ежедневно или же длительное время, на заседаниях муниципальных органов, когда, не взирая на официальный характер общения, редко используется преимущественно литературный язык, чаще же преобладают признаки областного или местного языка. Во всех этих случаях над официальным характером общения доминирует личная близость людей. Впрочем, по мере возрастания серьезности обсуждаемой темы, например, при решении какого-то редко обсуждаемого вопроса или особенно важной проблемы характер используемых языковых средств меняется. Здесь важно подчеркнуть, что колебание между литературностью и нелитературностью в любом типе коммуникативных ситуаций не обязательно свидетельствует о незнании литературной нормы, оно может быть тесно связано с общим характером, ходом, содержанием коммуникативного события, т.е. имеет характер осознанного выбора. Нельзя, однако, игнорировать тот факт, что провести границу между осознанным выбором лица, владеющего литературной нормой (пусть даже в стандартизованном, суженном виде), и невладением литературной нормой можно лишь в ходе обширных и сложных социолингвистических исследований.

Особого внимания заслуживают коммуникативные ситуации, являющиеся, по мнению индивидуума, чрезвычайными, нестандартными. Типологически их великое множество, поэтому приведем некоторые наиболее характерные примеры.

Примером коммуникативной ситуации, которая близка индивидууму по своей структуре, однако отличается использованием в известных ему ролях новых, незнакомых ему людей, является переход ученика в новую школу или же в другой класс. В речевом отношении мы имеем в виду приход ученика из небольшого поселка в ляшской области в пражскую школу. Совершенно очевидно, что в его высказываниях официального характера, т.е. на уроках, проявятся фонетические отличия, несвойственные новой среде (например, краткое произнесение долгих в литературном языке гласных или же иное расположение долгих гласных в некоторых словах, иное качество произнесения некоторых звуков, иные интонационные особенности и т.п.). Со своей стороны, он сам обратит внимание на то, что новые учителя и одноклассники широко произносят гласные, ему будет казаться, что они говорят *ved'* вм. *vid'* (контактная частица, сигнализирующая конец реплики в спонтанном диалоге повседневной речи); *peníza* вм. *peníze*; *samet* (типа ткани) вм. *samit*, вытекающего из контекста (политическая, дипломатическая встреча на высшем уровне) и т.п. Во внеурочное время он обнаружит и другие фонетические отличия, сказывающиеся и на морфологии, например, *dlouhej* вм. *dlouhý* или же чисто морфологические отличия типа *jít s knihama* вм. *s kníhami* и т.д. Если же новый ученик происходит, например, из моравско-словацкого края, то в повседневном неофициальном общении он будет говорить как бы более “литературно”, ему трудно будет произнести *dlouhej*, *vokno*, *skočit někam rovnyta nohama* и т.д., он будет обращаться к однокласснику, например, *Miloši* вм. *Miloši* и пр. В этой связи заслуживают особого внимания два момента: во-первых, указанные интонационные, фонетические, морфологические, лексические (в меньшей степени синтаксические) отличия всегда бросаются в глаза, однако сами по себе они еще не говорят о сниженных речевых способностях, точно так же, как строгое соблюдение литературной нормы еще не означает более высокий уровень владения языком. Во-вторых, тот, кто в новой обстановке выделяется в речевом отношении из общей среды, со временем, как правило, сам избавляется от наиболее маркантных черт или же, по крайней мере, снизит их частотность. Это естественное желание не выделяться на общем фоне и составляет основную суть процесса стирания диалектных отличий, процесса, который обусловливается действием множества факторов (например, влиянием письменного языка, устного языка радио и телевидения) – в нашем же случае – прежде всего миграцией людей в пределах национальной языковой территории.

Приведем более сложный пример – коммуникативной ситуации, являющейся для индивидуума новой во всех отношениях. Скажем, в пределах нашей национальной языковой территории он попадает в иную речевую среду, встречаясь с новыми, незнакомыми людьми, к тому же происходящими из разных регионов. Иными словами, он оказывается в не типичной для него коммуникативной ситуации, выступая в новой, непривычной роли. Возникновению подобных ситуаций способствуют произошедшие в чешской национальной общности резкие социальные перемены. Так, коммуникант из какого-нибудь моравского края приезжает на переговоры в столицу или же наоборот предприниматель из западной Чехии участвует в подобных переговорах в Брно, Остраве или же Оломоуце. Именно в такой, новой и необычной во всех отношениях коммуникативной ситуации выявляется, насколько важным, практическим, функциональным является хороший уровень индивидуального владения литературным языком, разумеется, наряду с необходимыми профессиональными знаниями, деловой готовностью вести подобные переговоры. В указанных ситуациях речь идет уже не только о том, что использование литературного языка подчеркивает важность, официальный характер переговоров, оно сигнализирует и факт наличия, пусть даже временного, дистанции между собеседниками, которые, не зная друг друга, для достижения деловой цели должны вступить в тесный контакт друг с другом. Литературный язык здесь выступает в качестве нейтрального, интегрирующего средства, превращая случайную или же только что образующуюся группу людей, объединенных общими интересами, в социально взаимодействующий коллектив. В подобных ситуациях, когда индивидуум является "новым человеком" в уже сложившихся отношениях или же в отношениях, только что складывающихся, чрезвычайно важно продемонстрировать свою речевую компетенцию, хороший уровень речевого общения, способность адекватного использования речевых средств. Устранить из своей речи все слишком броское, разнющееся и в определенном смысле провоцирующее, вести себе в речевом отношении доброжелательно, но вместе с тем и активно, высказываться не только точно и удачно, но и так, чтобы способ подачи мыслей не отвлекал внимание от деловой стороны. Конечно, это не означает, что в соответствующей ситуации возбраняется использование местных речевых особенностей, например, при неформальном общении с друзьями, с родственниками в нашем родном крае, что мы должны судорожно цепляться лишь за один единственный набор языковых средств во всех коммуникативных ситуациях, в том числе и полностью отличающихся друг от друга.

ГЕНЕРАЦИОННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

Характерной особенностью любого молодого поколения является то, что оно отличается от поколения своих родителей не только образом мыслей, восприятием, культурными интересами, одеждой, но также и речевым поведением. Это заметно не только по содержательной, тематической стороне высказывания, но также по осознанному или же полуосознанному стремлению выделяться, в том числе и в использовании средств выражения как таковых. Сказанное, разумеется, отнюдь не означает, что в течение многих десятилетий существует нечто такое, что можно было бы определить как язык молодежи, язык взрослых людей и язык старшего поколения, т.е. такие неизменные вехи, через которые постепенно проходят все возрастные группы. Молодое поколение формирует свой, "поколенческий" способ выражения, свой способ речи, который всегда, причем во многом по-новому отличается от речи старших поколений и в особенности от речи родителей. Удается также установить определенные параметры этих отличий, характерных не только для словарного состава, но и для фонетики, морфологии, синтаксиса, имеется специфика и в отношении к другим языкам, длительное время использующимся на национальной языковой территории, а также к языкам иностранным. Для молодежи характерно тонкое понимание творческих возможностей языка, языковой игры. С этим связано и использование комбинаций языковых средств, включающих элементы различной территориальной и стилистической принадлежности. Обращает на себя также внимание цитатное и парафразовое употребление средств выражения (как правило, целых конструкций), типичных для языка родителей, для официальных высказываний, при этом предметом иронии является не только их содержание, но и речевые особенности другого поколения. Эта оппозиция проявляется очень отчетливо. Так, на смену поколению, любившему щеголять включениями из идиома *obecná čeština* (обиходно-разговорная речь Праги и всей Чехии. – *Прим. пер.*) в интеллектуальное, профессиональное и даже научное общение (это было особенно характерно для Чехии 60-х годов), пришла генерация, которая не только в упомянутых ситуациях, но даже в повседневном общении стремится говорить литературно, даже книжно. Точно также поколение, избегавшее смешения в рамках одной и той же коммуникативной ситуации литературных (вплоть до сугубо книжных, характерных для письменных высказываний) и типично разговорных примет, заимствованных из идиома *obecná čeština* или вообще наддиалектных образований, сменило поколение, тяготеющее к языковой игре, контра-

стному употреблению весьма отличающихся друг от друга средств выражения, причем не только в рамках одного и того же коммуникативного события, но зачастую и в одном и том же высказывании. Вполне естественно, что типичная речь молодежи одной и той же генерации не является полностью единой, отмечаются довольно значительные отличия в речи молодых людей, принадлежащих к различным социальным группам (группы по интересам, по профессиональному общности и т.д.). Наличие интереса к исследованию генерационных речевых особенностей подтверждает и проводившееся никогда изучение так наз. студенческого жаргона.

Рассмотрим поближе, как и в чем проявляются эти генерационные речевые отличия. Больше всего обращает на себя внимание, как правило, специфика словаря, типичного для школы, для обучения. Сопоставительный анализ результатов проводившегося ранее исследования языка студенческой молодежи с языком молодежи современной говорит о том, что каждое последующее поколение по-своему использует словообразовательные, лексические средства, создавая свои более или менее отличающиеся средства выражения. Что касается фонетики, то региональное, в частности, среднечешское, "пражское", широкое произношение гласных, наиболее характерно именно для молодежи. Выразительной генерационной приметой могут становиться региональные фонетические и морфологические черты, которым отдает предпочтение молодежь и за пределами исходного региона. Именно через речь молодежи фонетические и морфологические особенности языка обесцнá čeština проникают и в другие регионы. Сочетание морфологических и синтаксических средств (например, различных соединительных слов) в рамках одного и того же высказывания контрастно противопоставляет средства явно литературные и заимствованные из языка обесцнá čeština или же из диалектов (ср.: *Když jsme tam byli přišli, setkali jsme se tam s náramně velkejma blbci* и т.д.). Что касается общего строения устного высказывания, то для молодежи характерно часто варьируемое, высокочастотное (буквально чрезмерное) употребление различного рода контактных слов, как, например, справедливо осуждаемое *vole* или же *vid'* и пр. О том, что упомянутое слишком часто употребляемое *vole* стало, собственно, какой-то нефункциональной контактной частицей свидетельствуют высказывания типа *Hele vole já ti teda řeknu vole, že si vůl*, где только последний экземпляр выполняет функцию оценки адресата высказывания. Этот пример, так же, как и высказывание *Vid', my sme tam teda přišli vid' a koukáme, von tam eště není, von je řákej divnej, vid'*? с очевидностью говорит о том, что подобные выражения не имеют ничего общего с настоящим языковым творчеством и пониманием богатства выразительных возможностей чешского языка.

Характерным является и отношение молодежи к другому языку (т.е. к этнически, национально иному языку, который на протяжении длительного времени, наряду с чешским языком, используется на соответствующей государственной территории). Это отношение может быть двояким. С одной стороны, другой или же чужой язык может отвергаться, причем это делается либо путем иронического использования его средств, либо, наоборот, тем, что говорящий избегает употреблять даже международные слова, возможно, происходящие из отвергаемого языка; с другой стороны, напротив, некоторое, хотя бы частичное знание этого языка может быть престижным. Отрицание какого-то языка, как правило, бывает реакцией на его официальное насаждение (отношение к немецкому языку с 1939, а в известной степени уже после 1918, по 1945 год; или же отношение к русскому языку в некоторые периоды после пятидесятых годов). Престижность иностранного языка может основываться на том, что он связан с некоторыми сферами интересов молодежи или же имеет мировую значимость (ср. роль английского языка в изучении и использовании электроники, вычислительной техники, некоторых видов музыки и пр.). Разумеется отношение к иностранным языкам не определяется лишь генерационно, однако у молодежи это особенно заметно.

Творческий характер речи молодежи и наличие определенной межгенерационной напряженности, проявляющийся в специфике использования средств выражения, является важным движущим и динамизирующим фактором развития устного чешского языка.

Отчетливо выраженная речевая специфика присуща и коммуникативным ситуациям, в основе которых находится определенная профессиональная деятельность. Имеется в виду большое разнообразие коммуникативных отношений, характерных для трудового процесса. Сходные явления наблюдаются и в среде людей, объединенных общностью интересов (культурных, в сфере коллекционирования, спорта и т.д.). Поскольку, как правило, речь идет о коммуникативных ситуациях, чужих официальности, их основу составляют средства, извлеченные из феномена обеспа *cestina* или же из интердиалектов и диалектов. Однако зачастую, наряду с профессиональными терминами, четко определяемыми и интерпретируемыми в специальных справочниках, встречаются и слова, которые не входят в состав терминологических систем литературного языка, не используются в специальной литературе, учебниках и пр., однако употребляются в повседневном общении. В связи с тем, что речь идет о явлении, ранее весьма распространенном, языкознание занималось их исследованием в рамках так называемых сленгов. Впрочем, начиная с 50-х годов, в результате последовательного применения специальной терминологии в сфере производственного обуче-

ния сленговая лексика стала употребляться гораздо реже, чем в прошлом. Ныне она, наряду со специальной терминологией, сигнализирует профессиональную сопричастность определенных групп людей, в том числе и по интересам. Сленговая лексика используется скорее всего именно по этой причине, а не потому, что коммуниканты не владеют профессиональной терминологией. Следует также учитывать, что в трудовых, профессиональных коллективах, объединениях по интересам коммуникация осуществляется среди людей, знающих друг друга, т.е. она носит неофициальный характер, благоприятствующий использованию сленговых слов. Учитывая, что после 1990 г. масштабы производственного обучения сузились, можно ожидать определенную экспансию сленговых профессионализмов.

Из анализа лексики интенсивно развивающихся или же вновь возникающих профессиональных либо научных отраслей видно, что между нелитературной специальной лексикой (профессионализмы) и литературной специальной терминологией не только отсутствует строгая граница, но и существуют живые взаимосвязи. Многие термины первоначально возникают как сленговые профессионализмы просто потому, что в процессе трудовой деятельности необходимо незамедлительно обозначить новые понятия, предметы, изделия, с тем, чтобы о них вообще можно было говорить. Если подобные, зачастую спонтанные, стихийные наименования соответствовали принципам развития словарного состава чешского языка, они входили в состав специальных терминов. Впрочем, бывает и так, что соответствующий термин и сленговое обозначение хотя бы какое-то время сосуществуют вместе. Терминологические, литературные наименования обычно представляют собой многословные обозначения, т.е. являются некими эксплицитными дескрипциями; лексика же нелитературной профессиональной речи чаще образуется с использованием префиксов и суффиксов, причем зачастую отнюдь не литературных. Сленговые профессионализмы нередко возникают под влиянием других языков. В прошлом это было особенно характерно для сленгов ремесленников или же, например, для театрального сленга, где ощутимо было влияние немецкого языка. В ту пору для достижения практических целей коммуникации это было целесообразно и функционально, так как в течение столетий население, говорящее по-чешски, осуществляло свои трудовые, профессиональные контакты с миром именно с помощью немецкого языка. Использование подобной сленговой лексики облегчало межъязыковое и международное взаимопонимание. Однако, начиная с периода национального возрождения, когда стала постепенно восстанавливаться полнота коммуникативных функций чешского языка формирование научной, специальной терминологии вполне закономерно

вошло в число важнейших задач. В результате постепенного распространения чешской литературной специальной терминологии все более усиливался контраст между терминологией и сленговыми профессионализмами, сохранявшими свою зависимость от немецкого языка. Думается, что только в результате отдаления от немецкого языка после второй мировой войны литературная терминология закрепилась и в сфере повседневной профессиональной коммуникации. Между тем во вновь возникающих и быстро развивающихся современных научных и производственных отраслях отдается предпочтение понятийно-терминологическому аппарату английского языка как наиболее значимого языка международного общения. В результате этого в таких дисциплинах как вычислительная техника появляются профессионализмы, заимствованные или же калькированные из английского языка; то же самое наблюдается и в других областях, например, в таких музыкальных жанрах, которым отдает предпочтение молодежь. Совершенно очевидно, что сказанное выше о взаимоотношении сленга, терминологии и профессиональной речи в полной мере распространяется и на такие профессиональные сферы как экономика, менеджмент, маркетинг, финансы, таможенная служба и пр. Содержательная перестройка, обусловленная радикальным переходом в зону “евроамериканского” политico-экономического влияния, еще более усиливается легислативным воздействием, стимулирующим приспособливание к нормам европейских структур. Сказанное не только выдвигает требование овладеть динамичной терминологической системой, но и делает необходимым систематический тренинг комплексного процесса соответствующей профессиональной коммуникации. Для последнего характерно следующее: 1) заимствование терминологии, имеющей характер так называемых европеизмов (номинации преимущественно латинского или же греческого происхождения, заимствуемые главным образом через английский язык), которые в особенности по своим морфологическим и словообразовательным свойствам “ведут” себя как прежние профессионализмы, возникшие под влиянием немецкого языка; 2) образование новых терминологических систем, основывающихся на тех же принципах и максимально сохраняющих международный характер понятийно-терминологических систем. При этом, однако, в них в достаточной степени учитывается уже упоминавшаяся выше морфологическая и словообразовательная специфика чешского языка; 3) приведение в соответствие внутринациональной и международной профессиональной коммуникации с тем, чтобы все более частое переключение на международную профессиональную коммуникацию осуществлялось полностью автоматически. При разработке учебных программ это предполагает максимальное сочетание профессионального обучения, коммуникативной профес-

сиональной подготовки на чешском языке и изучение иностранных языков, прежде всего английского. Иными словами, необходимо осваивать коммуникативную профессиональную подготовку.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ

Глубина и характер дифференциации, основывающейся на различии коммуникативных отношений и ситуаций, довольно велика. Первооснову этих различий в современном чешском языке составляет отношение между ее устной и письменной реализацией. Различия в средствах выражения письменного языка во многом имеют иной характер, чем ситуационно обусловленные отличия в спонтанных устных высказываниях. Существующие в письменном языке различия теоретически относительно хорошо изучены и описаны, особенно результивными являются стилистические и текстологические исследования. Различия, обусловленные спецификой коммуникативных ситуаций и отношений в спонтанной устной коммуникации, до сих пор изучены меньше, что обусловлено традиционно меньшим вниманием к устному языку.

Другая причина ситуационно обусловленных отличий в способах выражения заключается в сохранении их территориальной дифференциации, причем в устной коммуникации по сравнению с письменной это выражено сильнее, с максимальным использованием территориальных отличий.

МОТИВИРОВКА ВЫБОРА РАЗЛИЧНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СРЕДСТВ, “CODE-SWITCHING”, КОММУНИКАТИВНАЯ УСПЕШНОСТЬ, ПРЕСТИЖНОСТЬ, КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ, КОММУНИКАТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ

В ходе предшествующего изложения мы показали, что дифференциация современного чешского языка основывается не только на социальных различиях, сколько на отдельных типах коммуникативных отношений и ситуаций, при этом проблема дифференциации способов и средств выражения нами была рассмотрена в общем аспекте. Ниже мы проанализируем эти вопросы с позиций носителя языка. Прежде всего нас будет интересовать мотивация выбора одного из потенциально возможных средств выражения; критерий, с учетом которых в отдельных конкретных коммуникативных ситуациях осуществляется выбор; характер и сущность так называемого переключения кода или же смешения кодов в современном чешском языке; взаимосвязь между выбором альтернативных способов и средств выражений и общей коммуникативной успешностью инди-

видуума; проблема престижности отдельных способов выражения как в целом, так и с учетом отдельных типов коммуникативных ситуаций; наконец это будут и вопросы субъективных и объективных препятствий, обусловленных недостаточной подготовленностью индивидуума к общению в данной коммуникативной ситуации.

Современный чешский язык располагает большим количеством альтернативных наборов средств выражения, тесно связанных с отдельными ситуациями, в которых проходит общение. Это означает, что совершенное владение функциональными выразительными и коммуникативными особенностями варьирующихся средств, безупречное знание того, каким образом в данной социальной среде, в данной коммуникативной ситуации, в данном месте национальной языковой территории соответствующие языковые средства воздействуют на партнера коммуникации, могут служить основанием для того, чтобы индивидуум в самых различных ситуациях был адекватным, понятным в языковом отношении, т.е. чтобы он воспринимался как “правильный человек на правильном месте”. Сказанное отнюдь не означает некую пассивную речевую приспособляемость индивидуума, не лишает его возможности сохранять своеобразие, свою речевую индивидуальность в том случае, когда это идет на пользу его коммуникативным намерениям. Индивидуум, хорошо подготовленный в этом отношении, не будет провоцировать окружение отличием фонетических или же морфологических средств или же чрезмерным употреблением региональных лексических особенностей, иностранных слов, интернационализмов, профессионализмов и пр. Иными словами, он всегда будет готов к ситуационно обусловленному общению.

Носители современного чешского языка отличаются друг от друга тем, насколько они умеют пользоваться тонкими различиями в способах выражения. У профессионально не подготовленных лиц это зависит прежде всего от врожденных или же приобретенных в семье навыков, от степени их собственной мобильности в рамках национальной языковой территории. К сожалению, школа этому вопросу не уделяет достаточного внимания, в ее задачи входит прежде всего подготовка к литературной письменной коммуникации, а теперь также во все большей степени – подготовка к литературной устной, т.е. более или менее подготовленной коммуникации. В результате этого в подавляющем большинстве коммуникативных ситуаций повседневного общения, т.е. в коммуникации неофициальной, индивидуум может опереться лишь на тот опыт и те предпосылки, о которых мы уже говорили выше. Многие носители национального языка по большей части пассивно относятся к богатству возможностей речевой дифференциации, т.е. они улавливают это у других индивидуумов, высказывают критические замечания или же

просто это спонтанно регистрируют, однако лиц, активно владеющих всем этим богатством чешского языка, гораздо меньше. Именно это обстоятельство и может повлечь за собой возникновение языковых барьеров, а также чувства языковой ущербности.

В связи с выбором различных языковых способов и наборов средств выражения в литературе говорится о так называемом "codeswitsching", т.е. переключении кодов, увязывая это с отдельными коммуникативными ситуациями. Речь идет о понятиях, заимствованных из кибернетических основ общей теории социальной и вербальной коммуникации. При этом исходят из предпосылки, что национальный язык представляет собой некоторое множество субязыков, по отношению к которым может быть использовано понятие "функциональный язык" (в традициях классической пражской школы), предполагающее существование соответствующей функциональной речи. В соответствии с используемым нами понятийно-терминологическим аппаратом это в целом соответствует речевым особенностям типизированных ситуаций и отношений. Применительно к литературной письменной коммуникации речь в этом случае может идти о так называемых функциональных стилях и соответствующих им наборах стилеобразующих средств. Нередко под этим имеются в виду полные, более или менее альтернативные наборы средств выражения. Думается, что этот подход для ситуации современного чешского языка – не самый удачный. Чешский язык следует рассматривать (оставляя пока в стороне оппозицию литературность–нелитературность–письменность–устность) как богатый исторически сложившийся набор альтернативных средств, по своей природе прежде всего фонетических, а в связи с этим и морфологических, и лексических. Наряду с этим, необходимо говорить и о большом количестве вариантовых, альтернативных синтаксических и текстообразующих средств, существование которых обусловлено значительной дистанцией между письменным литературным и устным (литературным и нелитературным) чешским языком. Как уже говорилось, в рамках типов коммуникативных ситуаций все это богатство в разной степени используется отдельными коммуникантами. Это использование в известной мере регулируется весьма динамичными коммуникативными нормами, которые хотя в целом и описаны, однако во всех деталях до сих пор недостаточно описаны и изучены. Таким образом, нужно иметь в виду, с одной стороны, определенное множество потенциальных наборов средств выражения, отдельных наборов средств и прежде всего отдельные варьирующиеся средства выражения; с другой – типы коммуникативных ситуаций. Иными словами, речь идет (пока без учета оппозиций письменность–устность и литературность–нелитературность) о вариантовых средствах выражения, классах, которые в сущности могут быть ин-

терпретированы с помощью традиционного разграничения уровней языковой системы. В рамках каждого из этих классов параллельно существуют определенные средства выражения, которые могут соотноситься в принципе с тем же самым сегментом реальности, с теми же самыми содержательно-семантическими значениями. Степень вероятности их употребления обусловливается отношением индивидуума к коммуникативной ситуации, а также теми возможностями, которыми он располагает, чтобы быть коммуникативно успешным. Под коммуникативной успешностью следует понимать соотношение между целями и намерениями, с которыми индивидуум вступает в соответствующие коммуникативные отношения, протеканием коммуникативного акта (особенно, когда речь идет о выборе вариантовых средств), а также результатами коммуникативного процесса. Иначе говоря, это степень выполнения намерения индивидуума. В современном чешском языке в результате относительно хорошего знания (зачастую скорее интуитивного, чем теоретического) вариантовых языковых возможностей индивидуум выбирает способы и средства выражения с учетом ситуации и свойств остальных участников коммуникации. С этим связан и вопрос о престижности выбора языковых средств: было бы заблуждением автоматически считать, что, средства, квалифицированные как литературные, являются престижными и что сниженная степень активного владения ими столь же автоматически должна стать источником коммуникативного дефицита, способствуя возникновению коммуникативного барьера. В современном чешском языке способы выражения, классы средств выражений следует оценивать не абсолютно, а всегда с учетом указанных выше взаимосвязей.

Ниже мы остановимся на анализе графических текстов, которые с учетом коммуникативных условий их возникновения можно определить как тексты письменные. К числу письменных текстов может быть отнесено написанное от руки частное письмо, равно как и текст с микропроектора, воспроизводимый по телевидению журналистом, ведущим передачу. Вместе с тем в наших условиях письменным текстом является далеко не всякая графическая запись речевого высказывания, возникшего в результате спонтанной речевой деятельности. Таким образом, для того, чтобы в каждом конкретном случае определить, идет ли речь о письменном или устном чешском языке, решающее значение имеют коммуникативные обстоятельства, при которых этот текст возник, а не только способ фиксации его или же воспроизведения. Помимо общераспространенных особенностей и отличий, существующих между устным и письменным языком, которые касаются прежде всего синтаксиса и текста, а также, вполне естественно, особенностей графической и звуковой реализации речи, современные отношения между устным и письменным чешским язы-

ком отражают и специфику исторических условий, в которых длительное время развивался чешский язык. Различия проявляются в особенности в объеме, структуре и вообще в характере коммуникативных функций письменного и устного чешского языка. С учетом глубокой временной перспективы можно сказать следующее:

- Начиная со второй половины семнадцатого и в течение всего восемнадцатого века происходило значительное сужение сферы функционирования устного чешского языка. Чешский язык использовался прежде всего в качестве языка повседневного общения главным образом сельским населением, а также социально менее значимыми слоями городского населения. Постепенно происходило существенное сужение сферы его употребления во внутреннем и внешнем делопроизводстве, в среднем и высшем образовании, не использовался он в качестве устного языка науки; аристократия вообще не употребляла его ни в повседневном, ни в других видах общения; в общественной коммуникации от него отходило и мещанство. В течение XIX в. произошел важный поворот к лучшему, который постепенно привел к тому, что в XX столетии, особенно во второй его половине, устный чешский язык стал использоваться во всех сферах общественной, экономической жизни, государственного управления, науки, стал он и языком переговоров и пр. В качестве устного языка чешский язык стал обладать полной шкалой коммуникативных функций, причем происходило дальнейшее развитие средств его выражения, прежде всего под влиянием письменного языка.
- С течением времени произошло существенное изменение условий функционирования письменного чешского языка. В упомянутый выше период (т.е., начиная со второй половины семнадцатого, и в течение всего восемнадцатого века) письменный чешский язык был вытеснен из области государственного и общественного управления, он стал меньше использоваться в культуре и искусстве. Начиная с конца XVIII в., функциональный подъем чешского языка первоначально затронул прежде всего письменный чешский язык. В то время как в области государственного и общественно-го управления чешский язык хотя бы имел определенную, пусть и ограниченную преемственность развития, в художественной литературе, науке и просвещении чешский язык как бы создавался заново. С опорой на предшествующие функции формировался письменный чешский язык в сфере образования, просвещения и т.д. Это был процесс систематически направляемый, особенно в первой половине XIX в. В течение XIX в. и прежде всего в XX в. письменный чешский язык стал использоваться и используется поныне во всех общественных функциях. Это язык с богатой стилистической дифференциацией, которому традиционно уделяется большое

внимание как со стороны теории и практики языковой культуры, так и со стороны систематического языкового обучения.

- Современное отношение между устным и письменным языком обусловливается тем, что устный чешский язык в течение определенного времени использовался в качестве языка повседневного устного общения лишь некоторыми слоями общества, причем у отдельных лиц и даже социальных групп отсутствовал необходимый контакт с современным письменным чешским языком, который во временных отношениях развивался параллельно. Тем самым отсутствовала коррекция со стороны более или менее унифицированного письменного языка общенациональной значимости. В свою очередь это создавало для устного языка более чем благоприятные условия для сохранения территориальных отличий, для этнически обусловленного развития в области фонетики, морфологии, словарного состава. В течение XIX в. устный чешский язык развивался континуально, попутно в его недрах выкристаллизовался новый облик устного чешского языка официального и полуофициального общения, т.е. устный чешский язык науки, культуры, просвещения и пр., находившийся под влиянием письменного языка. В результате целенаправленной творческой деятельности письменный чешский язык был конституирован на основе языкового состояния более раннего периода (XVI–XVII столетий). При этом во многом не учитывались некоторые тенденции развития в области фонетики и морфологии, которые полностью проявились еще ранее в устном чешском языке, а в известной степени и в языке письменном. Тем самым была создана в значительной степени архаизированная основа письменного чешского языка нового времени. Нарождающаяся чешская художественная литература и поэзия привносили в письменный язык элементы современного устного чешского языка. Это приводило к возникновению довольно сложных процессов взаимного сближения, затронувшего, впрочем, прежде всего словарный состав. Что касается морфологии, то здесь это проявилось лишь в возникновении целого ряда вариативных морфологических явлений (так называемая расщепленность чешской морфологии). Современное состояние отношений между письменным и устным чешским языком, невзирая на всю свою динамичность, в основном является устойчивым. Устный чешский язык в результате действия территориальных и этнических факторов характеризуется значительной дифференцированностью, особенно в области морфологии и фонетики, что активно используется в качестве дистинктивного средства при разграничении различных коммуникативных отношений и ситуаций. Благодаря этим своим свойствам устный чешский язык стимулирует в морфологии письменного чешского языка тенденции к ее вариативности.

– Между письменным и устным чешским языком имеются различия, которые можно было бы назвать онтогенетическими. Мы имеем в виду то, как носители национального языка осваивают устный язык и как письменный. Развитие речевых способностей и навыков в сфере устного общения происходит прежде всего спонтанно, в семье, а также в социальных микроструктурах детства и созревания. Письменным же языком, напротив, индивидуум овладевает в результате систематического воздействия школы, которая в чешских условиях уделяет значительное внимание постепенному освоению письменного языка, прежде всего его орфографии, грамматических особенностей, культивирования навыков построения текста. Различие в освоении письменных и устных способностей и навыков не может не сказываться на усилении уже упоминавшихся структурных отличий. Традиционно меньше внимания уделяет школа овладению специфической устной формой чешского языка, предназначенной для официального и полуофициального общения. Именно эта разновидность чешского языка испытывает на себе значительное интервенционное, регулирующее воздействие, именно ее морфологические и синтактические структуры находятся под большим влиянием письменного чешского языка.

Как в письменной, так и устной коммуникации, в меру своей профессиональной принадлежности, участвуют все слои национальной общности. В начальной и средней школе подготовка к письменной коммуникации была единой или же во всяком случае не слишком дифференциированной. Драматические изменения в структуре общества, произошедшие в 50-е годы (например, формирование новой интеллигенции рабоче-крестьянского происхождения, создание армейского офицерского корпуса на основе тех же социальных слоев, значительные перемены в области высшего и низшего государственного и общественного управления, направление целых социальных групп из среды старого чиновничества в сферу производства и т.д.), точно так же как и драматическая социальная перестройка в 90-е годы – все это приводило к тому, что на протяжении жизни целые социальные группы не единожды были вынуждены менять степень активности своего отношения к письменной коммуникации, т.е. или усиливать его, или, наоборот, снижать. Что касается пассивного контакта с письменной коммуникацией, то масштабы его являются весьма значительными, чему немало способствует длительный, до сих пор сохраняющийся высокий уровень традиционной грамотности, о каких-либо явных социальных ограничениях здесь вряд ли можно говорить. Участие относительно большого количества людей на различных ступенях общественного и государственного управления, характерное для 50–80-х годов, точно так же, как и значительные изменения в этом направлении, произошедшие в 90-х го-

дах – все это способствовало тому, что значительный процент людей различной социальной и профессиональной принадлежности в течении своей жизни испытывали потребность в письменной и официальной устной коммуникации. Именно это имели в виду авторы теоретических концепций 30-х годов, призывающие к осуществлению так называемой демократизации языка, прежде всего именно языка письменного. Против этого обычно выдвигалось возражение, что расширение активного участия в письменной коммуникации есть явление нежелательное, существовали опасения, что это приведет к обеднению, унификации некоторых текстовых типов, к тому, что процессы автоматизации и стандартизации письменного языка негативно скажутся на процессах индивидуального речевого творчества. Объективности ради следует рассматривать эти процессы, насколько возможно, в самом широком контексте цивилизационных процессов, с детальным учетом различных типов письменных текстов.

ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАММАТИЧЕСКИХ ОТЛИЧИЙ МЕЖДУ ПИСЬМЕННЫМ И УСТНЫМ ЧЕШСКИМ ЯЗЫКОМ

Невзирая на исключительную важность взаимоотношений между современным письменным и устным чешским языком в аспекте функционального членения национального языка, решение этой проблемы является делом не из легких. Поэтому в рамках этой статьи мы сможем лишь схематически – с использованием традиционного уровневого подхода к языку – назвать те сферы, которых эта дифференциация прежде всего касается, а также те причины, которые обусловили ее появление.

Что касается фонетики, то здесь указанная дифференциация является следствием наличия оппозиции между графематикой и фонематикой. Письменный чешский язык представляет собой литературный язык, поэтому его графический облик четко предопределен системой графем с присущей ей долговременной стабильностью, а также системой развивающихся орфографических кодификаторов. Устный язык, напротив, располагает богатым спектром возможностей реализации фонетических, в первую очередь вокальных средств. Данный спектр, чисто теоретически, может быть интерпретирован с учетом принципа дифференциации фонем и реализующих их вариантов, используемых в том числе и за пределами контекстуальной обусловленности. Под этим углом зрения они могут разграничиваться как на территориальные, т.е. диалектологические, так и на индивидуальные, т.е. идиолектические. Территориальные различия обусловливаются не только неравномерностью эволюции системы вокализма в различных частях чешской языковой территории

(ср. различная степень проведения или же непроведения фонетических изменений), но и наличием территориальной дифференциации в артикуляционной базе в рамках вокальной субсистемы. Таким образом, можно говорить не только о дифференциации, фиксируемой на разных фазах эволюции фонетической системы, но и о дифференциации произносительных норм, обусловленной территориально. С учетом этих обстоятельств можно рассматривать литературную произносительную норму как объект динамично развивающейся кодификации. В отличие от кодификации графической, целенаправленно проводимой через школу и культурно-языковые институты, она несомненно является гораздо более лабильной, допускающей упоминавшийся выше плюрализм фонетических особенностей устного языка. Соответственно меньшим является и субъективное осознание обязательности этой кодификации носителями языка по сравнению с отношением к графемному кодификату (правописанию). По понятным причинам это отражается и на вариативности идиолектической (индивидуальные приметы речи человека), более терпимом отношении к индивидуальным отклонениям и пр. Что касается формально-морфологических различий между устным и письменным чешским языком, то здесь отметим следующее. В морфологии в полной мере проявляются выше приведенные фонетические дифференции, обусловленные различием в протекании и степени реализации соответствующих изменений. Речь идет о территориальных, диалектологически обусловленных дифференциях, являющихся основной дистинктивной приметой отдельных диалектов и интердиалектов. В письменном (т.е. литературном) чешском языке набор подобных форм не только кодифицируется, но и соблюдается. Помимо этого, допустимы вариантные падежные окончания у существительных различных типов склонения. Они мотивируются эволюцией системы склонения, взаимовлиянием типов склонения в процессе ее перестройки по признаку рода, а не по виду основы. В устном чешском языке используется аналогичный кодифицированный набор форм, что и в чешском языке письменном (имеется в виду разговорный литературный, т.е. устный литературный чешский язык), разумеется, с включением уже упомянутых диалектных и интердиалектных форм. Наличие напряженности между литературным кодификатом и плюрализмом территориальных морфологических отличий, равно как и факт длительного и систематического использования нелитературных средств в сфере официальной и полуофициальной коммуникации, особенно в разных регионах и некоторых типах коммуникативных отношений, служит предметом теоретических дискуссий, целью которых является сближение коммуникативной реальности и кодификации именно в области официального и полуофициального общения.

Синтаксические и текстовые дифференции обусловлены общеизвестными различиями в синтаксисе письменного и устного языка. Сказанное действительно лишь в том случае, если устными мы считаем исключительно спонтанные, без предварительной письменной подготовки коммуникаты. В синтаксическом отношении эти высказывания в принципе сходны с высказываниями официальными и полуофициальными, с высказываниями обычного, повседневного общения, особенно общения диалогического. Монологическая официальная коммуникация (если она вообще соответствует приведенному выше критерию устности), наряду с типичными чертами устного синтаксиса (специфические сигналы: анафорические и катафорические ссылки, особые средства спрямлений, так называемые анахорефы, контаминации, сложная, непрозрачная структура сложных предложений, отступления и пр.), включает и многочисленные признаки синтаксиса письменного. Поэтому в отличие от синтаксиса диалогических устных высказываний синтаксис устный проще моделировать на фоне синтаксиса письменной коммуникации. Следует, однако, отметить, что данный интерпретационный теоретический фундамент еще очень часто используется и при изучении диалогической устной коммуникации, где его применение является не адекватным. Лишь в небольшой степени поддаются выявлению синтаксические особенности, обусловленные региональными, диалектными различиями, ср., например, функционально активное, хотя и не соответствующее литературной морфологической кодификации деепричастие и пр. Множество существенных отличий можно обнаружить в типах высказываний и текстов, относящихся к этикетным коммуникативным актам.

ПИСЬМЕННЫЙ И УСТНЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК И ПОНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

Рассмотрим соотношение понятий “литературный чешский язык” и “письменная и устная коммуникация”.

Понятие литературного чешского языка включает в себя не только область письменной коммуникации, но также и область коммуникации устной, имеющей характер официальный, полуофициальный и публичный, общественный. Для обозначения устного чешского языка, имеющего подобные функциональные характеристики, был введен термин “*hovorová čeština*” (в русской лингвистической литературе его аналогом является понятие разговорного литературного чешского языка. – Прим. пер.). Таким образом, понятие литературного чешского языка идет как бы поперек оппозиции “письменность–устность”.

Письменный литературный чешский язык является языком зрелым, полностью развитым, соответствующим всем потребностям

современной письменной коммуникации. Его грамматическая структура отличается гибкой стабильностью, наличием большого количества вариантовых средств, особенно в области морфологии, а также структуры предложения и его синтаксиса. Все эти качества принимаются во внимание при дифференциации отдельных стилей, типов текстов, связанных с различными коммуникативными отношениями в сфере письменной коммуникации. В течение последних пятидесяти лет не удается зафиксировать какие-то значительные, мотивированные имманентными закономерностями самой языковой системы грамматические изменения или хотя бы тенденций к ним. Заслуживает, впрочем, внимания факт функционального вытеснения деепричастных конструкций, предпосылки которого сформировались уже на более раннем этапе. В области морфологии можно говорить о гибкой стабильности в использовании вариантовых средств, не слишком поддающейся воздействию кодификации. Что касается частеречных форм и основанных на них синтаксических конструкциях, то здесь заметна тенденция к номинализации. Это особенно характерно для научного и специального стиля, для журналистики, для административного стиля, где возрастают использование имен существительных, прилагательных, существительных со значением действия. В этих же стилях отмечаются проявления тенденции аналитической передачи глагольных значений. Так, вместо полносемантических глаголов используются конструкции с глаголом *byť* или же *mít* или же с каким-то другим глаголом широкого, категориального значения + номинативное выражение значения действия. Данные тенденции, как правило, определяются как проявления так называемой интеллектуализации языка. Впрочем, здесь можно усматривать и влияние других языков, в особенности английского языка. Сколько бы то ни было значительные изменения не наблюдаются ни в сфере использования формальных приемов словообразования, ни в оценке степени литературности деривационных средств. В области специальной терминологии заметны тенденции мультивербализации, когда единое понятийное содержание передается словосочетанием. Впрочем, реализации этой тенденции препятствует терминологическая кодификация, отдающая предпочтение заимствованным обозначениям, главным образом однословным, пришедшими прежде всего из английского языка. Что касается проникновения и заимствования слов из других языков, то здесь естественно оказывается большое влияние весьма переменчивой международной и общественной ситуации. После 1945 г. в течение некоторого времени заметно было стремление ограничить использование лексических средств, заимствованных из немецкого языка или же посредством немецкого языка. Однако поскольку уже в период с 1918 по 1939 г. чешский язык во многом был независим от немецкого языка, то это

уже не играло сколько-нибудь существенной роли. Начиная с 50-х годов, считалось значительным также влияние русского языка, особенно это ощущалось в политологии, идеологии, журналистике, экономических дисциплинах, однако со временем и здесь положение стабилизировалось. В результате изменения международной и общественной ситуации часть языковых средств, особенно лексических, вновь отошла на задний план. Как уже отмечалось по другому поводу, начиная с 90-х годов, усилилось влияние английского языка, что, впрочем, в различной степени наблюдалось и ранее. Вначале это проявлялось в некоторых сферах интересов или же культуры (популярная музыка), способствовало этому развитие вычислительной техники и вычислительных технологий. В сфере специальной терминологии из упомянутой области значительные проявления интернационализации прослеживались уже в 80-е годы. Примечательно, что если в других видах специальной номенклатуры, напротив, всегда преобладало стремление создать стабильную чешскую специальную терминологию как для специальной литературы, так и для практики обучения, то в упомянутой выше сфере отечественная, т.е. чешская, терминология не образуется, а используются преимущественно английские термины с минимальной, зачастую не слишком удачной морфологической модификацией. После 1989 г. подобная тенденция заметна и в других областях, например, экономической теории и практики, в известной степени в государственном управлении, особенно когда это связано с драматическими изменениями в праве собственности; отмечается это и в политологии, а также соответствующих областях журналистики. Подобное влияние особенно бросается в глаза во вновь развивающейся рекламной деятельности. Сказанное распространяется и на экономическую коммуникации в широком смысле слова, включая маркетинг и рекламу. Дело не ограничивается лишь словарным составом и терминологией, где упоминавшаяся выше тенденция к аналитизму и мультивербизации в чешской специальной терминологии уравновешивается частым использованием однословных заимствованных терминов. Данные процессы и тенденции затрагивают и официальную, а также полуофициальную устную коммуникацию. В письменной коммуникации наблюдается, наряду с этим, и проникновение синтаксических конструкций и определенных основных компонентов текстовых типов. Если бы эта тенденция носила долговременный характер, то мы были бы вправе ожидать существенных изменений в самой грамматической системе. Впрочем, подобные изменения не наблюдались в предшествующем периоде, проходившем под влиянием русского языка.

В центре внимания современной чешской богемистики, особенно начиная с 30-х годов, находилась теория литературного языка.

Прежде всего это касалось систематического изучения грамматической системы чешского языка с учетом традиций пражского лингвистического структурализма, причем акцент ставился главным образом на письменном литературном языке. Исследование структуры нелитературного чешского языка проводилось и интерпретировалось также на фоне письменной литературной коммуникации. Теория и практика языковой культуры также ставила своей целью культтивирование и кодификацию письменной литературной коммуникации. Систематическое изучение специфики устной коммуникации началось лишь недавно. Развернувшаяся по этому поводу дискуссия вначале носила по преимуществу теоретический характер, причем главное внимание уделялось устной форме литературного чешского языка. Уточним, что литературной считалась кодифицированная форма устного чешского языка, предназначавшаяся в функциональном отношении для сферы официальной коммуникации. Характер и статус этого образования по-прежнему остается яблоком раздора для тех, кто занимается теорией чешского языка как национального, прежде всего теорией литературности. Полемика по этим вопросам носит чрезвычайно сложный и запутанный характер, тем не менее можно следующим образом обобщить суть дела. Речь шла и продолжает идти о следующих концепциях:

- Литературный язык рассматривается как основа теории чешского языка как национального. Соответственно оппозиция “литературность–нелитературность” играет доминирующую роль по отношению к оппозиции “устность–письменность”. Нелитературные формы интерпретируются на фоне письменного литературного языка. Литературный чешский язык как целое, т.е. в своей письменной и устной реализации, квалифицируется как интегрирующий фактор национального языка, как престижное образование, на котором сосредоточено все внимание, т.е. его следует исследовать и культтивировать, а также кодифицировать. Разговорный литературный чешский язык (*hovorová čeština*. – *Прим. пер.*) является предметом предпочтительного теоретического и практического внимания, при этом полагают, что в развитии устной коммуникации именно этот феномен сыграет интегрирующую роль. Высказывается предположение о том, что процессы стирания и интеграции диалектов будут развиваться в пользу устной литературности. Таким образом, предполагают, что со временем устный литературный чешский язык преодолеет не только территориальные различия, но и дифференции между отдельными типами коммуникативных отношений и ситуаций. В пользу этой точки зрения привлекаются аргументы общественного, цивилизационного и культурного характера. В их числе называется: все возрастающая миграция населения; отсутствие рельефной социаль-

ной дифференциации национальной общности до 80-х годов; значительная размытость границ между социальными группами; не-последнюю роль играли и средства массовой коммуникации, ориентированные в речевом отношении прежде всего на литературную коммуникацию. В духе этой концепции постулировалось, что национальный язык и язык вообще является интерсубъектным феноменом, т.е. преобладал подход прежде всего социологический и социолингвистический.

- В соответствии с другой точкой зрения литературный язык также является главной ценностью национального языка. Деятельность по теоретическому и аналитическому изучению, а также культивированию и кодификации также направлена на литературный чешский язык, однако равнозначное внимание оказывается устной и письменной формам литературного языка. Основным объектом языкового воспитания все в большей степени становится индивидуум, определенные социальные группы, прежде всего интеллигенция и так называемое высшее общество. Устный литературный чешский язык рассматривается как настоящая необходимость, как неотъемлемая характеристика определенных социальных групп, как предпосылка их процветания, материального и духовного. Отсюда и стремление к культивированному разговору на чешском языке и, соответственно, ощущение определенной ущербности, связанной с отсутствующей преемственностью в использовании культивированного, общественного, коллоквиального чешского языка. Это, конечно, не означает недооценку значимости культивированного устного чешского языка широкого функционального использования, т.е. устного чешского языка науки, образования и просвещения. Если при предыдущем подходе функциональное использование и последующее развитие разговорного литературного чешского языка понимается прежде всего как результат его демократизации, т.е. в известной степени как результат встречного движения письменной литературности и высказываний повседневного общения (с одной стороны, литературный язык как бы “открывает объятия” перед реальным состоянием устной коммуникации; с другой, – и повседневная коммуникация приспосабливается к коммуникации литературной), то при втором подходе речь идет о некоем высшем идеале речевой устной и письменной коммуникации на чешском языке, т.е. сближение и интеграция с остальными, нелитературными формами национального языка не предусматривается. Иными словами, этот подход ориентирован на индивидуума, тяготея скорее к психолингвистике, чем к социолингвистике.
- Третья концепция основывается прежде всего на критическом анализе некоторых бесспорных фактов развития современного чеш-

ского языка, особенно последних пятидесяти лет. Оценивая реальное состояние коммуникации, она отмечает наличие значительной дистанции между письменным и устным чешским языком, обусловленной прежде всего историческими, социальными и политическими причинами. Она акцентирует, что феномен "*hovorová čeština*" имеет характер дезидерата, конструкта. Привлекая в качестве аргумента результаты современных социолингвистических и психолингвистически ориентированных исследований устной коммуникации, эта концепция отмечает, что реальное состояние официальной, полуофициальной и общественной коммуникации, коммуникации в области науки и высшего образования, особенно в некоторых ее сферах, весьма отличается от существующих представлений о разговорном литературном чешском языке. Сторонники третьей концепции критикуют первую концепцию прежде всего за ее чуждый реальности интеграционный оптимизм, в основе которого находится завышение значимости теоретического представления о литературной устной коммуникации. Они констатируют, что если приверженцы первого подхода хотят отстоять привилегированную позицию разговорной литературности в связке "официальная коммуникация – *hovorová čeština*", то им придется постепенно допустить в нее целый ряд нелитературных черт: в соответствии с терминами "демократизация" и "интеграция" это означает что придется признать очевидное влияние нелитературного чешского языка на разговорную литературную форму, а отнюдь не наоборот. Из всего этого возникает коллизия: термин "*hovorová čeština*" остается всего лишь термином, его же первичное понятийное содержание исчезает. Преимущество подхода заключается в бесспорном превосходстве эмпирического реализма над теоретизирующими умозаключениями. Серьезный недостаток третьей концепции заключается, впрочем, в том, что ее противники называют "прагоцентризмом", т.е. она не уделяет достаточного внимания существенным различиям в территориальной ситуации, особенно когда речь идет о дистанции между общенациональной и гомогенной письменной литературностью и реальным состоянием устной коммуникации в разных регионах национальной территории. Степень восприятия разговорного литературного чешского языка как дезидерата и конструкта в Чехии, особенно в Праге, гораздо выше, чем в некоторых областях Моравии, где это ощущение является настолько незначительным, что практически может не приниматься во внимание. Радикальной разновидностью третьей концепции является стремление продвинуть образование "*obecná čeština*", до сих пор являющуюся нелитературным образованием, на позиции нейтрального средства официальной, особенно полуофициальной и публичной коммуникации. В качества аргумента

приводятся факты экспансии этого вида устной коммуникации, например, в некоторых областях науки, заметное усиление тенденции использования идиомы “*obecná čeština*” на радио и телевидении, особенно в некоторых коммерческих программах, на неофициальном телевидении, в речи ведущих, дикторов и пр.

Анализ изложенных выше теоретических концепций бесспорно говорит о существовании серьезных отличий между современной письменной и устной коммуникацией на чешском языке: письменная коммуникация в полном объеме сохраняет литературный характер, ей присуща богатая вариативность, затрагивающая не только морфологию и словарный состав, но и предложений, а также внешний, надфразовый синтаксис, типологию текстовых структур – все это полностью используется в рамках дифференциации коммуникативных отношений, используется в стилистических целях, в типологии текста. В этом своем виде письменный чешский язык адекватно воспринимается на всей национально-языковой территории. Положение разговорного литературного чешского языка как средства литературной устной коммуникации, напротив, существенно отличается. Ее функциональная принадлежность к отдельным типам коммуникативных отношений в социолингвистическом и психолингвистическом отношении по-разному ощущается и воспринимается в различных регионах национально-языковой территории. Вопрос о ее функциональной уместности в официальной и полуофициальной коммуникации, о ее отношении к таким характеристикам как личная близость, социальное равенство или же неравенство коммуникантов и пр., решается дифференцированно, причем как индивидуально, так и прежде всего территориально. Совершенно ясно, что здесь не может быть принято какое-то прямолинейное решение ни в пользу интеграционной функции разговорной литературности, ни в пользу феномена “*obecná čeština*”. Это состояние гибкой стабильности, основывающееся на вышеупомянутых историко-эволюционных факторах, действие которых стимулируется прежде всего обстоятельствами территориальными, индивидуальными, генерационными. Обращает на себя внимание тот факт, что оценка функциональных свойств и характеристики феномена “*hovorová čeština*”, равно как и отдельных интердиалектов, особенно феномена “*obecná čeština*”, у разных поколений может быть прямо противоположной. Использование того или иного способа выражения применительно к тем или другим коммуникативным ситуациям постепенно может стать фактором, объединяющим как социально, так и генерационно. Характерно также, что в рамках отдельных высказываний индивидуумов в зависимости от самых различных коммуникативных моментов может наблюдаться частое “переключение кода”: это может восприниматься как проявление неуверенности, неумения пользо-

ваться разговорным литературным чешским языком, как признак недостаточно высокой языковой культуры. На самом же деле это характерный, постоянный, хотя и очень динамичный признак устного чешского языка.

ЛИТЕРАТУРА

- Нецименко Г.П.* Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // *Specimina philologiae slavicae*. B. 121. Verlag "Otto Sagner". München. 1999.
- Barnet V.* Vztah komunikativní sféry a různorodosti jazyka v slovanských jazycích // *Slavia*. 46. 1966.
- Barnet V.* Diferenciace národního jazyka a sociální komunikace // *Govornite formi i slovenské literaturní jazyci*. Skopje, 1973.
- Bělič J.* Sedm kapitol o češtině. Praha, 1955.
- Bělič J.* Ke zkoumání městské mluvy // *Slavica Pragensia*. 4. 1963.
- Bělič J.* Ne plně spisovná a nespisovná celonárodní slovní zásoba // *Slovo a slovesnost*. 25. 1964.
- Bělič J., Havránek B., Jedlička A.* Problematika obecné češtiny a jejího poměru k jazyku spisovnému // *Slovo a slovesnost*. 23. 1962.
- Daneš F.* Dialektické tendence ve vývoji spisovných jazyků (Příspěvek sociolinguistický) // In: Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Praze. Praha, 1968.
- Hausenblas K.* K pojetí "současného jazyka" // *Slovo a slovesnost*. 29. 1968.
- Hausenblas K.* K základním pojmem v oblasti řečové komunikace. *Slavica Pragensia*. 15. 1973.
- Havránek B.* Vývoj spisovného jazyka českého. In: Československá vlastivěda. II. Praha, 1936.
- Havránek B.* Studie o spisovném jazyce. Praha, 1936.
- Hoffmannová J.* Modelování textových typů ve vztahu ke komunikačním procesům // *Slovo a slovesnost*. 48. 1987.
- Chloupek J.* O sociálním a územním rozvršení češtiny // *Naše řeč*. 52. 1969.
- Jaklová A.* Interdisciplinární výzkum řečové činnosti mládeže // *České Budějovice*, 1987.
- Janoušek J.* Společna činnost a komunikace. Praha, 1984.
- Jedlička A.* Vztah vývoje spisovného jazyka k vývoji společnosti // *Problémy marxistické jazykovědy*. Praha, 1962.
- Jedlička A.* Problematika mluveného jazyka v poměru k jazyku psanému // *Govornite formi i slovenské literaturní jazyci*. Skopje, 1973.
- Jedlička A.* Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1978.
- Kořenský J.* Poznámky k cílům, předpokladům a obsahům regulativních činností zaměřených na společenské fungování národního jazyka // *Jazyková politika a jazyková kultura*. Bratislava, 1986.
- Kořenský J.* Aktuální metody výzkumu mluvy obyvatel měst // *Sociolinguistik*. 6. Warszawa 1987.
- Kořenský J.* Zur Frage der Festsetzung von Kriterien der gesellschaftlichen Bedeutung der Sprechprozesse // *Linguistica XVIII*. Praha, 1989.
- Kořenský J.* Poznámky k otázce zkoumání řečové činnosti // *Dynamické tendencie v jazykové komunikaci*. Bratislava, 1990.
- Kořenský J.* Komunikace a čeština. Praha, 1992.

Kořenský J. Sociálně-historické podmínky vývoje češtiny jako národního jazyka // Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy śródkowej i wschodniej. Opole, 1993.

Kořenský J. Vztah jazykové praxe a jazykového zákonodárství v podmírkách proměn státnosti na českém území // Kopitarjev zbornik. Ljubljana, 1996.

Kořenský J. Individuální a sociální v komunikaci (osobnost a sociální role) // Socio-lingvistická a psycholinguistické aspekty jazykovej komunikácie. I. Banská Bystrica, 1996.

Koževníková K. O podstatě hovorovosti // Studia Slavica Pragensia. Praha, 1973.

Krčmová M. Běžně mluvený jazyk v Brně. Brno, 1981.

Lamser V. Komunikace a společnost. Praha, 1969.

Nebeská I. Komunikační aktivity jedince // Československá rusistika. 35. 1990.

Nebeská I. Jazyk, norma, spisovnost. Praha, 1996.

Sgall P. Znovu o obecné češtině. Slovo a slovesnost. 23. 1962.

Sgall P., Trnková A. K metodám zkoumání běžně mluvené češtiny // Naše řeč. 46. 1963.

Sgall P. K některým otázkám naší jazykové kultury // Slovo a slovesnost. 42. 1981.

Sgall P., Hronek J. Čeština bez příkrovu. Praha, 1992.

Starý Z. Ve jménu funkce a intervence. Praha, 1995.

Stich A. A co jazyk? // Přítomnost. 1991. Č. 7.

Spisovnost a nespisovnost dnes / Ed. R. Šrámek. Brno, 1996.

Writing vs. Speaking, Language, Text, Discourse, Communication / Ed. S. Čmejková, F. Daneš, E. Havlová. Tübingen, 1994.

Перевод: Г. Нецименко

E.Ф. Тарасов

(Россия)

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА

Не вызывает сомнения тот факт, что существование любой этнической культуры неизбежно происходит в условиях контакта этноса-носителя культуры с другими этносами. Этот контакт – прямой или опосредованный другими культурами – посредниками приводит к культурному обмену. Феномен культурного обмена известен давно и исследуется этнографами, археологами, историками, культурологами и лингвистами. Последние анализируют чаще всего заимствования слов из одного языка в другой, т.е. анализируют отражение в языке процессов культурного обмена между этносами.

Попытаемся хотя бы схематически обрисовать объект и предмет нашего исследования.

Объектом является процесс культурного обмена между различными этносами или частями этноса, в котором этнические культуры выступают одновременно или в разные эпохи в роли культуры-доно-

ра и в роли культуры-реципиента. Методологическую схему анализа диалога культур попытался сформировать Ю.М. Лотман в работе “Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении” [Лотман 1989, 227–336]. Схема культурного диалога Ю.М. Лотмана в кратком изложении состоит в следующем.

Развитие этнической культуры есть непременное сочетание внутренних механизмов развития и внешних “влияний”. Первой чертой культурного диалога является перемежающаяся активность его участников, но и роль донора, и роль реципиента предполагает активность. Вторая черта культурного диалога состоит в выработке общего языка (в широком семиотическом значении понятия “язык”). Выработка общего языка общения проходит через несколько этапов: на первом этапе заимствуются тексты (в широком семиотическом смысле) на чужом языке (т.е. заимствования пока не подвергаются адаптации), затем чужой язык и правила порождения текстов усваиваются и создаются по этим правилам новые и, наконец, заимствованное трансформируется “на основе семиотического субстрата принимающего”, чужое становится своим, трансформируясь и часто коренным образом меняя свой облик” [Там же, 228].

Следует добавить еще две типологические черты культурного диалога, указанные Ю.М. Лотманом: нарастание неприязни к культуре-донору из-за навязывания ею позиции доминирования, которая вызывает обострение борьбы культуры-реципиента за свою духовную независимость; отношение партнерства в диалоге асимметрично: культура-донор, навязывая позицию доминирования молодой (в какой-то деятельности) культуре, постепенно теряет эту позицию и теперь культура-реципиент претендует на свою “древность” и доминирование.

Для понимания механизма культурного диалога необходимо составить представление о том, что передается и что принимается при взаимодействии культур. Формирование этого представления, в свою очередь, требует ответа на вопрос, что имеет каждая культура-донор для передачи культуре-реципиенту.

Ответ на этот вопрос обусловлен той концепцией культуры, которую избирает исследователь культурного диалога.

“Культура – загадочный и сложный феномен, приковывающий к себе внимание ученых на протяжении почти двух столетий”, – пишет Ю.М. Резник [2001, 198]. Сейчас сформировались по крайней мере три подхода к анализу культуры: философский, антропологический, социологический, которые Ю.М. Резник противопоставляет интегралистскому подходу.

В рамках философского подхода культура определяется как “система воспроизведения и развития человека как субъекта деятельности”, антропология видит в культуре “систему артефактов, знаний и

верований”, социологи рассматривают культуру как систему ценностей и норм, опосредующих взаимодействие людей” [Резник 2001, вып. 7, 178].

Все подходы к анализу культуры, делая акцент на ее отдельных сторонах: на идеях и их материальном воплощении в деятельности членов общества, в которой творится бытие человека (философский подход); на артефактах, верованиях и обычаях, которые обеспечивают адаптацию и воспроизведение уклада людей (антропологический подход); на ценностях, нормах, значениях культурных предметов, позволяющих поддерживать социальные образцы общества (социологический подход) исходят из того, что культура самым интимным способом связана с деятельностью людей [Там же, 178].

Действительно, инвариантная часть определения культуры в рамках всех подходов – это все-таки указание на то, что культура – специфический человеческий способ жизнедеятельности людей.

Интегралистский подход к изучению культуры, формируемый Ю.М. Резником, главную функцию культуры усматривает в воспроизведстве и обновлении самой деятельности. Отсюда недалеко до вывода о том, что объектом донорства и рецепции в диалоге культур могут быть только элементы деятельности. Действительно, даже беглый анализ показывает, что объектами культурного диалога бывают культурные предметы (артефакты), идеи (знания) и деятельность (не только новые для культуры-рецептора, но и новые способы осуществления старых деятельности).

В постсоветской России при формировании законодательного органа, названного Государственной думой, была заимствована идея демократического законодательного органа, технология его функционирования (деятельности), а также и слово “парламент”, правда, тотчас же адаптированное и приспособленное к патриотическим и антizападным настроениям путем интерпретации его при помощи знаний, ассоциированных со словом “дума” как наименованием законодательного органа начала ХХ в.

Эпоха Петра I, прежде всего его реформы государственные и культурные, отразившиеся в словарном составе русского языка XVIII в., демонстрирует культурные заимствования всех элементов деятельности: культурных предметов, способов осуществления (технологий) деятельности и идей (знаний).

Таким образом, понятие деятельности, исчерпывающее понятие культуры, очерчивает круг объектов диалога культур, ограничивая их элементами деятельности.

Теперь нужно решить еще две проблемы: это проблема субъектов диалога культур и проблема производства новых знаний, сопровождающего процессы рецепции всех объектов этого диалога.

Носителем культуры является весь этнос (нация) в целом, в этом качестве этнос является носителем так называемых этноидентифицирующих признаков: общности языка, общности материальной, духовной деятельности, обычаяев, нравов и психических характеристик. Но этнос состоит из социальных групп, являющихся носителями субкультур, между которыми осуществляется такой же диалог, как и между этносами в качестве носителей этнических культур. Этот диалог субкультур осуществляется как внутри одной этнической культуры, так между субкультурами принадлежащими к разным этническим культурам.

Как показывает предварительный анализ, объектом диалога субкультур являются знания, идеи, представления, сопровождаемые переходом в литературный язык профессионализмов, жаргонизмов и аргоизмов.

И наконец, самая главная проблема – это производство новых знаний, при помощи которых происходит адаптация новых, заимствованных идей, это тот процесс, который выше описан Ю.М. Лотманом.

Обратимся к проблеме культурного диалога между субкультурами. Лингвистические рефлексы такого диалога в русской культуре зафиксированы, достаточно подробно описаны и осмыслены лингвистами [Земская 1996; Ермакова и др., 1999; Елистратов 2000 и др.]. Исследователи отмечают интенсификацию притока в литературный язык просторечных и жаргонных слов на рубеже 90-х годов ХХ в. Е.В. Какорина в статье “Трансформация лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет)” пишет: “Особенностью взаимодействия литературный язык – просторечие – жargon на рубеже 90-х годов можно считать интенсивность этого взаимодействия, а также выдвижение новых центров экспансии – низовой культуры, молодежной контркультуры, уголовной субкультуры” [Земская 1996, 79].

Современный этап вульгаризации лексического состава русского литературного языка рассматривается как один из этапов варваризации русского литературного языка, которых В.С. Елистратов [2000, 609] усматривает четыре: первая варваризация пушкинско-карамзинская, привела к формированию литературного языка; вторая варваризация связана с разночинным арго; третья варваризация падает на советскую эпоху и четвертая варваризация, начавшись со второй половины 80-х годов продолжается по сей день. Автор полагает, что история литературных языков представляет ряд таких варваризаций, сопровождающихся пересмотром норм. С этим можно согласиться, но для нашего рассмотрения проблемы диалога субкультур в рамках одной этнической культуры важна другая мысль В.С. Елистратова о том, что эти варваризации совпадают с переходными, смутными эпохами.

Исследователи российского кризиса, в частности А.Г. Здравомыслов, показывают, что разрушение прежних ценностных структур, служивших жизненными ориентирами, сопровождается иррационализацией поведения на всех уровнях общественной жизни. Иррационализация объяснения действительности является следствием наличия в массовом сознании этноса различных, несовпадающих жизненных мотиваций, столкновение которых создает возможность приписывания разных смыслов одному и тому же социальному феномену [Здравомыслов 1999, 59–60].

А.Г. Здравомыслов указывает также, что глубинный конфликт между рациональными и иррациональными объяснениями социальной действительности, присущий российскому кризису, объясняется также тем, что в мотивацию деятельности и политического поведения вводятся новые мотивы, ранее вытесненные из сознания [Здравомыслов 1999, 59–64].

Для объяснения беспримерного беззакония в социальной жизни, установившегося в России, особенно после событий 1993 г., не было привычных образов сознания, поэтому они заимствовались из представлений криминальной среды: беспредельщина, беспредел. 1. Беззаконие, самоуправство, произвол. 2. То же, что беспредельщик в значении вор, не принадлежащий ни к какой воровской группе. 3. Группировка заключенных блатных не придерживающаяся воровского закона [Балдаев и др., 1992, 27]. Нет ничего удивительного в том, что это представление заимствовалось вместе со словом, обладающим прозрачной внутренней формой, облегчающей его включение в процесс осмысливания социальной жизни. Количество фактов жизни российского общества, которые могли быть осмыслены при помощи знаний, ассоциированных со словом “беспредел”, было так велико, что произошло стремительное расширение значения слова:

“беспредел”:

1. Нарушение моральных, правовых, экономических законов, осознанное как система жизненных принципов и возведенное в устойчивую модель поведения какой-либо социальной группы.

2. Нарушение конкретных договоренностей, норм и запретов общественного поведения, часто сознательное и/или демонстративное.

3. Произвол, беззаконие.

4. Формы физической агрессии, насилие, убийство” [Земская 1996, 84].

Аналогичная фиксация значений слова “беспредел” осуществлялась в “Большом словаре русского жаргона” В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной [Санкт-Петербург. “Норинт”. 2001, 60].

Мы отказываемся от дальнейшего анализа отдельных переходов слов в литературный язык из жаргонов субкультур, это не наша

задача, тем более, что эти факты уже привлекли внимание лингвистов и уже описаны, – в пользу утверждения мысли о неязыковых причинах этих переходов. Обзор статей, трактующих приток в литературный язык жаргонизмов или оживление историзмов и архаизмов, показывает, что обсуждаются не собственно языковые факты, а факты сознания, овнешняемые словами. Приведенная выше фиксация в статье Е.В. Какориной образов сознания, ассоциированных со словом “беспредел”, ясно показывает, что значения этого слова – это результат осмысливания реальной российской социальной жизни при помощи знаний, заимствованных из языкового сознания членов криминального мира.

В крайней форме эта мысль звучит так: переход жаргонизмов и арготизмов в литературный язык или в другой жargon – это только внешние рефлексы заимствований знаний (образов сознания) из одной субкультуры в другую. Нас не должен вводить в заблуждение тот факт, что заимствование этих знаний сопровождается заимствованием слов – реально знания “передаются” при помощи высказываний (текстов), обслуживающих диалог между субкультурами.

Заимствование слов из этнической культуры в другую (или из субкультуры в другую субкультуру) – это только указание на начало длительного периода формирования знаний, ассоциированных с заимствованным словом, в культуре-реципиенте.

Итак, вернемся к объектам диалога культур, в этом диалоге передаются и заимствуются культурные предметы (артефакты), деятельности и способы их совершения, и идеи (знания). Строго говоря, культурные предметы заимствуются вместе со знаниями о том, как эти предметы или потребляются, или распредмечиваются, а деятельности заимствуются в виде образцов, например, вместе с орудием, при помощи которого можно осуществлять эту деятельность, или, например, вместе с человеком, обладающим способностью к ее осуществлению (так называемая утечка мозгов).

Если с объектом чужой культуры заимствуется из чужого языка также и слово, то с появлением этого заимствования в языке-реципиенте начинается его новая жизнь, которая в первую очередь обусловлена развитием значения.

Здесь заманчиво провести параллель между развитием слова у ребенка: это развитие определяется как речевым общением ребенка (он усваивает речевые и неречевые контексты употребления нового слова), так и его деятельностью (в игровой и неигровой активности ребенок вырабатывает знания, которые входят в развивающееся значение слова). Очевидно, что при развитии значения заимствованного слова имеет значение степень прозрачности внутренней формы слова. При заимствовании артефактов из одной субкультуры в другую в рамках одной культуры большую роль в приобретении за-

имствованным словом новых значений играет прозрачность его внутренней формы для его новых носителей. Попытаемся показать это на примере развития таких употребительных жаргонизмов как “деловой” и “крутой”.

“Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона” Д.С. Балдаева, В.К. Белко, И.М. Исупова [М., 1992] дает такие значения этих слов: деловой – то же, что блатной; блатняк – 1. То же, что блатарь. 2. Человек, имеющий отношение к воровской среде. Блатарь – вор, вор в законе. Следовательно, значение “деловой” в криминальной субкультуре – “вор, человек имеющий отношение к воровской среде”.

Крутой – 1. Авторитетный заключенный-рецидивист (из воров). 2. Дерзкий, наглый, не дающий себя в обиду человек. 3. Вооруженный грабитель, рэкетир.

“Большой словарь русского жаргона” В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной у слова “деловой” фиксирует уже четыре значения:

1. Человек, принадлежащий к преступному миру. Угол.
2. Вор, которому можно доверять. Угол. Одобр.

3. Панк, преуспевающий в торговле наркотиками и панковскими атрибутами. Панк (из речи панков).

4. Человек излишне самоуверенный, грубо-напористый, слишком активный. Мол. Ирон.

Тот же словарь для слова “крутой” фиксирует уже 8 значений:

1. Авторитетный заключенный-рецидивист. Угол (из речи уголовников).

2. Вооруженный грабитель, рэкетир. Угол.

3. Преуспевающий, удачливый, респектабельный (часто связанный с криминальными структурами). Мол. (из общемолодежного жаргона). Одобр. (одобрительное).

4. Впечатляющий, яркий, оригинальный. Мол. Одобр.

5. Отличный, прекрасный, заслуживающий одобрения. Мол. Одобр.

6. Неординарный, переходящий границы нормы в чем-л. Мол.

7. Очень сильный (о высшей степени проявления признака). Мол.

8. Сложный, напряженный, неприятный (о ситуации). Мол.

Исследователи языка современной русской прессы, одного из мощнейших каналов формирования общественного сознания сегодняшней России [Ермакова 1996, 32–65; Какорина 1996, 67–88; Костомаров 1971; Шмелев 1977 и др.], указывают на усиление процессов метафоризации языка прессы перестроичного времени. Это естественно, т.к. появление в общественной жизни большого количества социальных феноменов, требующих не только наименования их при помощи старых, наличных языковых средств, но и осмыслиения, т.е. порождения из старых знаний знаний новых.

Стремительный процесс приобретения новых, преимущественно метафорических значений у слов “деловой” и “кругой” в современном русском языке поддерживается прозрачностью внутренней формы этих слов: моя собственная разговорная практика слушателя профанной речи показывает, что многие русские не знают связи этих слов с криминальным миром и ориентируются на прозрачную и умопостижимую внутреннюю форму слова.

Несколько иначе обстоит дело с жизнью иноязычного слова. Напомним, что мы исходим из посылки, что языковое обслуживание диалога культур это только рефлексы этого диалога: иноязычные слова появляются или не появляются в языке носителей культуры-реципиента только потому, что к этому вынуждают экстралингвистические причины – заимствование культурного предмета, действия (способа осуществления действия) или идей (знаний). На этот процесс заимствования и жизни иноязычного слова в чужой культуре уже налагаются собственно языковые (системные) ограничения.

Анализируя причины иноязычного заимствования Л.П. Крысин [1996, 146–155] показывает экстралингвистические причины (обусловленные диалогом культур) и собственно лингвистические причины-ограничения, накладываемые системой языка:

- потребность в наименовании новой вещи, нового явления (которая сформировалась как переживание нужды в новом слове);
- необходимость разграничить содержательно близкие, но все же различающиеся понятия (к этому вынуждают новые заимствованные знания из культуры-донора);
- необходимость специализации понятий – в той или иной сфере, для тех или иных целей (это также следствие появления новых заимствованных знаний);
- тенденция к соответственно нерасчлененности, цельности обозначения понятия с нерасчленимостью обозначающего, например, снайпер (вместо “меткий стрелок”), стайер (вместо “бегун на длинные дистанции”), (это следствие появления новых знаний, совпадающих со старыми знаниями).

Кроме того, Л.П. Крысин совершенно справедливо указывает на социально-психологические причины и факторы заимствования: иноязычное слово воспринимается как более престижное по сравнению с исконным (это косвенное влияние факта культурного диалога, в ходе которого, как правило, заимствуются предметы, качество которых превосходит качество местных предметов).

Таким образом, причины иноязычного заимствования, как показал Л.П. Крысин – это преимущественно экстралингвистические причины, признание экстралингвистического характера этих причин побуждают нас искать объяснение в характере заимствованных знаний и во взаимодействии их со знаниями собственными.

Поясним эту мысль. Строго говоря, знания (содержания, информация) не передаются, не транслируются, а воссоздаются каждый раз, когда воспринимается передаваемый (займствуемый) и, следовательно, предъявляемый для воспринимания текст (совокупность тел знаков). Поэтому, кстати говоря, так быстро и существенно были переосмыслены воспринятые из языка воров слова “деловой” и “крутой”: понимание и постижение значений этих слов происходило как формирование представлений (из знаний реципиентов) о знаниях носителей этой криминальной культуры.

Построение знаний о “займствованных” чужих культурных знаниях процесс неоднократный, он длится столько же, сколько живет заимствованное слово в чужой культуре.

Жизнь заимствованного слова сложна, многообразна и подвержена влиянию многих факторов. В огрубленном виде их можно свести к следующему.

В период рецепции культурного предмета, деятельности или идеи (знания) происходит формирование из старых наличных знаний носителей культуры-реципиента нового знания о заимствованных культурных феноменах, ассоциированных с заимствованными или с имеющимися уже словами. Далее начинается развитие этого вновь созданного знания, которое зависит, как мы уже упоминали, 1) от предметной и умственной деятельности, в которую это знание включается и, следовательно, расширяется; 2) от речевого общения, в ходе которого это знание “передается” от одного поколения к другому, от одной социальной группы к другой (например, от создателей знания к профанам в ходе обучения, просвещения и т.п.).

Жизнь заимствованных культурных феноменов в чужой культуре-реципиенте можно показать на примере мистико-аскетической традиции Православия, известной как исихастская традиция духовной практики, зародившейся в форме классической аскетики и мистики раннехристианского монашества IV–VIII вв., возрожденной в Византии в XIII–XIV вв. и затем возрожденной уже в России в XIX–XX вв. Это удобно сделать на примере исихастской духовной практики, т.к. она достаточно подробно описана в работах С.С. Хоружего, собранных в его книге “О старом и новом” [Санкт-Петербург. “Алетейя”, 2000]. Для нашего исследования мы воспользовались анализом исихастской духовной практики, проведенной С.С. Хоружим в работах “Что такое православная мысль”, “Исихазм в Византии и России: исторические связи, антропологические проблемы”, “Исихазм как пространство философии”.

Итак, исихазм как школа духовной практики, возникшая в IV в., была связана с позднеантичными школами, аскетизмом стоиков и мистикой неоплатонизма. “Стржнем и главным содержанием ду-

ховной практики стала школа молитвы, в которой связь человека и Бога развивалась как сфера личного и диалогического общения. Мистический путь (подвиг) структурировался как иерархия форм или ступеней молитвенного Богообщения, которое, развиваясь и углубляясь, трансформирует человека и все полнее приобщает его к Божественной Жизни” [Хоружий 2000, 263–264].

Главной целью молитвенной практики исихаста является превращение человеческой природы в природу Божественную, что выражается содержанием понятия обожения: приобретение человеком качеств, присущих Богу. В целом же молитвенная практика исихаста есть своеобразная технология формирования сознания человека.

Из анализа истории исихазма еще в Византии как стране-доноре, сделанного С.С. Хоружим, следует, что знания и молитвенная практика исихазма развивается путем концептуального самоуяснения и самовыражения [Хоружий 2000, 266]. Это саморазвитие произошло путем привлечения знаний, ассоциированных с понятием энергии: “борьба со страстями есть искусство управления множеством всех энергий человека, молитвенное делание означает собирание этих энергий в единое устремление к Богу, а синергия и Обожение представляют собою не что иное, как соединение энергий человека и Божественной энергии, благодати” [Там же, 266].

Это достаточно банальный для работы человеческого сознания способ расширения наличного знания: в процессе смыслового восприятия слова, т.е. в конструирование содержания слова, включаются новые знания. Но лингвисты при описании изменения значения слова делают акцент на процессе его употребления, переводя весь процесс из онтологии функционирования сознания, в онтологию употребления слова.

Проникновение (займствование) исихазма в Россию в XIX в. С.С. Хоружий называет возрождением исихазма: “Практика Иисусовой молитвы во всех ее аспектах, включая соматику, получила новое углубление, тонкую систематизацию и проникновенное изложение у свв. Игнатия Брянчинина и особенно Феофана Затворника, а уже в нашем веке у св. Силуана Афонского и его ученика архим. Софрония ... Но самое значительное и новое для традиции связано было... с раскрытием универсального существа исихазма. Возникли новые формы, посредством которых исихазм выходит за пределы монашеской среды. Тут было старчество с его знаменитым очагом в Оптиной, концепция “монастыря в миру”, идущая от славянофилов, развитие техники непрестанной молитвы, позволившее сочетать ее с мирскими занятиями и мн. др.” [Там же, 266–267].

В случае с практикой исихазма уже в русском православии мы имеем дело с заимствованием не отдельного слова, а целой системы

представлений о жизни человека, воплощенной в достаточно стройной понятийной системе заимствованных богословских терминов. Развитие содержания этой системы представлений произошло под влиянием опосредованного текстами общения российских богословов с византийскими основателями исихазма и под влиянием практической жизнедеятельности прежде всего оптинских старцев. Но развитие и расширение содержания исихазма в России, т.е. расширение знаний, при помощи которых происходило умопостижение представлений об исихастской молитвенной практике, если доверять утверждениям С.С. Хоружего, а не доверять ему нет оснований, связано с беспрецедентной широтой распространения его “как в сфере народной религиозности, так и в сфере культуры (хотя и в меньшем масштабе)” [Там же, с. 267].

Постараемся еще раз вернуться к нашим исходным постулатам. Диалог культур – это непременный аспект существования этнических культур. Интенсификация этого диалога, получившего в наше время наименование глобализации, вынуждает нас обратить более пристальное внимание не только на саму рецепцию культурных предметов и деятельности, не только на заимствование слов, сопровождающее эту рецепцию, но и в первую очередь на взаимодействие этнических (национальных) образов сознания коммуникаторов – участников межкультурного общения.

Диалог культур малопродуктивно анализировать в рамках онтологии употребления заимствованных слов, так как исследование совпадения и специфики этнических сознаний в межкультурном общении уходит на периферию, а они-то и являются наиболее привлекательным объектом при анализе диалога культур. Анализ взаимодействия этнических (национальных) сознаний участников межкультурного общения должен занять ключевое место при научном рассмотрении диалога культур.

ЛИТЕРАТУРА

Лотман Ю.М. Проблема византийского влияния на русскую культуру в типологическом освещении // Византия и Русь / Отв. ред. Г.К. Вагнер. М.: Наука, 1989.

Резник Ю.М. Культура как предмет изучения // Личность, культура, общество. Т. III, вып. 7 и 8. М., 2001.

Земская – Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Отв. ред. Е.А. Земская. М.: Языки русской культуры, 1996.

Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались. М.: Азбуковник, 1999.

Елистратов В.С. Словарь русского арго (материалы 1980–1990-х гг.). М.: Русские словари, 2000.

Здравомыслов А.Г. Социология российского кризиса. М.: Наука, 1999.

Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов И.М. Словарь тюремно-лагерно-бланто-

го жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы). М.: Края Москвы, 1992.

Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб.: Норинт, 2001.

Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике // Русский язык конца XX столетия.

Какорина Е.В. Трансформация лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет) // Русский язык конца XX столетия.

Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1977.

Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика: Уч. пособие для студ. пед. ин-тов. М., 1977.

Хоружий С.С. О старом и новом. СПб.: Алетейя, 2000.

Г.П. Нещименко

(Россия)

ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ И ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ЯЗЫКЕ-РЕЦИПИЕНТЕ

Проблема заимствований относится к числу остро дебатируемых вопросов, актуальность которых напрямую связана с возрастанием осознания этноидентифицирующей роли родного языка (по принципу “свой–чужой”)¹. Чаще всего предметом дискуссии являются три вопроса: а) допустимая степень открытости для заимствований внутриэтнического языкового пространства; б) коммуникативная и лингвистическая мотивированность притока заимствований; в) источник пополнения заимствований, т.е. конкретный язык-донор. В определенные периоды жизни социума некоторые из этих вопросов могут выходить на первый план, приобретая особую значимость. В ходе последующего изложения мы постараемся в какой-то мере затронуть названные аспекты проблемы, оперируя в основном материалом русского и чешского языков новейшего времени.

¹ Традиционно к заимствованиям причисляют факты **межъязыкового взаимодействия**, т.е. проблема рассматривается в **интерлингвальном** аспекте. Именно этот ракурс представлен и в настоящей статье. Вместе с тем методически корректным, очевидно, был бы расширительный подход, допускающий отнесение к заимствованиям также фактов **интраплингвального** взаимодействия, т.е. результатов внутренней интерференции между различными формами существования **одного и того же** этнического языка (ср., например, включение в литературный язык сленгизмов, диалектизмов, элементов просторечья и пр.).

Предварительно, хотя бы контурно, обозначим нашу позицию:

1. Появление заимствований в языке – факт неизбежный, так как любая этническая общность, сколь развитой она бы ни была, не может полноценно существовать, тем более длительное время, в условиях культурноязыковой изоляции и соответственно полной языковой “стерильности”. Политика “языкового протекционизма”, обусловленная желанием обходиться исключительно ресурсами родного языка, культивируя его самодостаточность, по своей сути утопична и лишена исторической перспективы, поскольку номинационные возможности любого, даже самого обработанного и полифункционального языка, не могут быть безграничными, в них есть лакуны, заполняемые именно заимствованиями. Так, именно заимствования делают возможным аутентичное воспроизведение иного, не характерного для данного социума образа жизни с присущими ему специфическими реалиями, в том числе и самыми экзотичными; ср.: *zakázaly čínské úřady vylepování jakýchkoliv plakátů (ta-c'-pao)*. Rpr 1979; *Dnes lámaismus (forma buddhismu) téměř zaniká. Palác bogdégégena, hlavy církve, slouží jako muzeum. Mongolský chléb – talch. Nechybí ani proslulý mongolský kumys*. Vl 1981; *Všude samí muži, většina v bílých dišdaších, tak se říká jakési dlouhé hedvábné košili se širokými rukávy. Zahalené ženy v abajích, zpív mezzinu*. Vl 1981; “Žili jsme tu bez problémů, Šiktarové (Albánci z Kosova, pozn. redakce) všechno změnili”. LN 17.03.01, инт., рп.

2. Под влиянием языков, с которыми язык-реципиент находится в контакте, прямом или опосредованном, происходит не только пополнение, “подпитка” лексического инвентаря, изменения касаются и других уровней языковой системы, причем характер этих изменений во многом определяется типологическими параметрами взаимодействующих языков. Заимствования из близкородственных языков более органично входят в структуру воспринимающего языка, они как бы “растворяются” в нем, получая порой новое мотивационное “прочтение”, с опорой на новые, благоприобретенные словообразственные взаимосвязи. При контакте генетически не родственных языков, усложняется не только процедура освоения заимствований, могут затрагиваться и привычные внутриязыковые закономерности и пропорции. Так, на словообразовательном уровне это может приводить к значительному возрастанию удельного веса непроизводных, т.е. не мотивированных, слов², появлению не типичных

² Примечательно, что по данным, приводимым в монографии А. Загродниковой, в языке польской прессы начала 80-х годов на 2.500 новых слов приходится 72% словообразовательных дериватов и около 15% немотивированных слов, т.е. в пять раз меньше (Zagrodnikowa 1982, 243). Думается, что сейчас это соотношение существенно изменилось в результате притока заимствованных лексем, большую часть которых составляют непроизводные лексемы с не прозрачным для носителей языка-рецептора внутренним строением.

для языка-реципиента способов и схем словообразования. Наличие специфических комбинаторных ситуаций в исходе ряда заимствований, являющихся не привычными для артикуляционного аппарата носителей воспринимающего языка, не только создает произносительные трудности, но и может препятствовать присоединению словоизменительных и словообразовательных формантов и т.п.

3. В адаптации заимствований любого генезиса, как правило, участвуют продуктивные форманты языка-реципиента, в силу чего исследователь получает возможность наблюдать в рамках синхронного среза языковые тенденции, которые в иных условиях могут быть выявлены лишь в ходе трудоемкого анализа материала, иногда и с привлечением данных диахронии. Ценные сведения могут быть получены и при изучении конкуренции между отечественными и заимствованными формантами. Ср., например, пересечение заимствованного *-man* и освоенного *-ista* у одной и той же производящей основы (*jazzman* и *jazzista*) или же адаптацию в разговорной речи заимствованного *video* как *видак*, *видик*, активное использование суффикса *-щик* у заимствованных основ (причем иногда здесь также наблюдается конкуренция формантов; ср.: *рекламист* и *рекламщик*; *синхронист* и *синхронщик*; *комьютерист* и *комьютерщик* и пр.).

4. Переизбыток заимствований, тем более при наличии эквивалентных обозначений родного языка, зачастую воспринимается отрицательно не только потому, что речь идет о “вторжении” иной культурно-языковой стихии в живую ткань языка-реципиента, в его структуру и функционирование. Не менее важным является и потенциально возможное возникновение коммуникативного дискомфорта³, поскольку для адекватного восприятия передаваемой информации адресат должен обладать соответствующим уровнем языковой (а также культурной) компетенции, иначе затрудняется выполнение языком своей важнейшей функции – служить средством общеэтнической коммуникации. Введение же в текст разъясняющих комментариев делает его менее компактным⁴, что противоречит тенденции

³ Ср. по этому поводу: «ведущие политических и особенно экономических программ, увлекаясь супертерминами и упиваясь собственной осведомленностью, напрочь забывают о тех, ради кого, собственно, снимаются передачи. То есть – о зрителях. ... А ведь молодой российской журналистике ныне свойственно напускать туманных терминов, хвастаться всякими непонятными выражениями, запутывая и запугивая своих зрителей и читателей. (“Читаю профессора Сорбонны Андрея Синявского – ну все понимаю! Читаю студентку второго курса журналистики Н. – ну ни хрена не понимаю!” – жаловался кто-то из моих умных знакомых»). НГ 8-д/2000, зам., ар.

⁴ Ср.: *Правящие круги США начнут планомерное свертывание своего присутствия в различных частях планеты. В Вашингтоне это называется dis-engagement*. НГ 6/2001, ст., ар.; на кухню рекламы, где рождается *креатив* (на

языковой экономии, а также замедляет скорость распространения информации. В преобладающих ныне устных СМИ пространные комментарии вообще невозможны, в результате чего от информационного потока либо практически “отрезаются” большие пласти населения, не обладающие соответствующей языковой, а также культурной компетенцией, либо информация воспринимается ими искаженно.

5. Проблема заимствований сложна и многоаспектна, она включает в себя собственно лингвистическую, социолингвистическую и психолингвистическую составляющие. Несомненным является и очевидное наличие политической составляющей, влияющей, к сожалению, на направленность языковой политики. Вместе с тем последняя, по нашему мнению, прежде всего должна была бы заниматься оптимизацией языкового обеспечения социума с учетом меняющихся коммуникативных, а отнюдь не политических обстоятельств. На деле же приток или отток и даже “изгнание” тех или иных заимствований далеко не всегда обусловливаются языковыми факторами (например, появлением конкурентоспособного отечественного эквивалента) или реально существующими коммуникативными и лингвокультурными потребностями, сколько добровольными или же вынужденными политическими предпочтениями, в том числе и этноязыковым антагонизмом. Так, в различные периоды жизни чешского социума “изгоями” становились то германизмы, то русизмы. Сходная подоплека предопределяет, например, замену богемизмов или же псевдобогемизмов (грань между теми и другими довольно размыта) в словацком литературном языке, вытеснение сербизмов из хорватского языка и, наконец, русизмов из целого ряда литературных языков постсоветского пространства и т.п.⁵ Приток заим-

обычном человеческом языке – светлые идеи), допустили непрофессионалов. НГ 36/2001, зам., ар.; педикулез (вишвостъ то-есть) в два раза выросла за год. НГ 7/2000, оч., ар.; Будешь делать Facepainting. Ну, морды им разрисовывать. НГ 23/2001, оч., рп. Иногда автор, наряду с заимствованием, предлагает русский эквивалент (порой “домороценный”): наиболее отвечает российскому умострою (или, как модно говорить, менталиитету). НГ 2/2000, ст., ар.; сочли сей факт нонсенсом, либо недоразумением. Местная газета “Сокольники. Восточный округ” март 1999, зам., ар.

⁵ Несмотря на многочисленные, притом беспощадные уроки истории, именно язык чаще всего становится орудием господствующей политической доктрины, жертвой некомпетентного вмешательства, нередко он используется как средство этнической ассимиляции, селекции населения по национально-языковому признаку в сфере образования, трудоустройства и т.п. Причем не только политики, но и некоторые лингвисты в угоду тем или иным pragmatischen целям произвольно манипулируют функциональным диапазоном литературного языка и т.п. В период существования СССР языковеды из ряда национальных республик при анкетировании нередко намеренно завышали данные об уровне

ствований может стимулироваться и определенными модными веяниями⁶.

6. Поскольку ситуация с заимствованиями является результирующей комплекса весьма динамичных факторов как экстраглавистических, так и собственнолингвистических, универсальное, устраивающее всех решение проблемы вряд ли возможно. Впрочем, если бы такое решение и было найдено, оно вряд ли могло бы быть равнообязательным на всем коммуникативном пространстве, обслуживаемом данным этническим языком. Скорее всего оно могло бы соблюдаться при так называемом **регулируемом** речевом поведении, предполагающем использование литературного идиома (высшие коммуникативные функции). В коммуникативном ареале **нерегулируемого** (или же с ослабленной регулируемостью) речевого поведения, характерного для непринужденного повседневного общения (по поводу оппозиции “регулируемое – нерегулируемое речевое поведение” см.: Нещименко 1999), императивные предписания, как правило, не действуют, решающую роль здесь играет ощущение коммуникативной комфортности. Иными словами, если в литературном языке приток заимствований более или менее поддается целенаправленному регулированию, то в разговорном языке процесс этноязыковой интерференции протекает спонтанно и стихийно.

* * *

В нашем исследовании мы в основном будем оперировать материалом второй половины XX–начала XXI в. Выбор именно этого периода для рассмотрения стоящих перед нами задач чрезвычайно важен как в силу его ярко выраженной динамики, так и несом-

владения русским языком нерусским населением, представляли русский язык как “второй родной язык”. Это, впрочем, не мешало им впоследствии говорить о подавлении национального языка. Соответственно в перестроочный и постперестроочный период в сепаратистских целях, невзирая на отсутствие стабильных терминологических систем, сознательно завышался уровень культивированности местного языка, форсировалось введение региональных языков в систему образования на правах языка обучения, в том числе и в высшей школе.

6 Ср.: *Случай пощеголять новомодными словечками типа “толлинг” и “диверсификация” представился*. НГ 22/2001, зам., ар. Приведем также пример из молодежного сленга (МК 19.02.1997, речь как героя интервью, так и журналиста): *Зато теперь все они в заднице, а вы, презираемые синтезаторщики, ох как на всех отыгрались. “Лунная соната” от “DM” выходит лишь на сингле: ты не один такой умный понял, что рейв, данс-культура может собрать ци-переглобальные деньги. Но ты первый, записывающий дейбл такой музыки. Ты – в рейверском пуховике ди-джея, который взял на себя роль такого гуру некоторых персонажей в ди-джейской тусовке... пишут миксы с пластинок... рейовать надо дозированно, строго по рецепту.*

ненной противоречивости. Сочетание этих двух признаков создает особую напряженность, проявляющуюся на всем пространстве функционирования этнического языка, т.е. как при обеспечении высших коммуникативных функций, так и при непринужденном повседневном общении. Напряженность характерна и для межъязыковых отношений.

Рассмотрим ниже обе названные особенности:

A. Динамичность исследуемого периода.

Повышенная динамичность данного периода обусловлена действием ряда экстраконцептуальных факторов, существенно повлиявших, в том числе и на языковое развитие. Среди них можно назвать:

а) огромные достижения научно-технической революции, которые не только повлекли за собой информационный “взрыв”, но и придали новую масштабность интеграционным процессам. Так, впервые они приобрели не локальный или же региональный характер (мы имеем в виду образование полиглоссических государственных формирований), а стали **глобальными**, охватывающими мировое пространство в целом. Важнейшую роль в этом процессе сыграли электронные средства общения, первоначально использовавшиеся главным образом в коммуникации **массовой, публичной** (радио, телевидение и пр.), а впоследствии и **интерперсональной**. Появление новых каналов коммуникативной связи увеличило и качественно обогатило поток передаваемой информации, при этом возросли не только диапазон ее распространения, но и скорость прохождения, т.е. изменились привычные временные и пространственные параметры.

б) усиленную внутриэтническую и межэтническую миграцию населения, вызванную не только спецификой профессиональных занятий, потребностями получения образования, смешанными браками, туризмом и пр., но прежде всего региональными и глобальными конфликтами. Все это способствовало развитию межъязыковой интерференции.

в) стремительные, притом масштабные, социально-политические и экономические изменения в бывших странах социалистического содружества повлекли за собой на рубеже 80-х и 90-х годов резкую смену не только экономической и социально-политической ориентации, но и терминологической номенклатуры. Так, на этапе социалистического строительства приоритетную роль играли **русскоязычные** и преемственные к ним социально-политические и экономические терминосистемы; в новейший период – терминология **англоязычная**, связанная с капиталистическими взаимоотношениями⁷.

⁷ В истории этих стран смена терминологии ранее уже происходила: в России после 1917 г. и в Чехословакии – после 1948 г., однако в рассматриваемый нами период это произошло буквально “в одночасье”.

Усиливая межъязыковую интерференцию, названные выше факторы ставили язык в жесткие условия необходимости оперативной переработки и трансляции огромного, стремительно расширяющегося и изменяющегося информационного массива. Потребность в новых номинациях, столь остро проявляющаяся на этом историческом рубеже, удовлетворяется за счет мобилизации как **внутриязыковых** ресурсов, так и ресурсов **внешних** – мы имеем в виду интенсивный приток заимствований, прежде всего англизмов, позволяющих заполнить возникающие номинационные лакуны. Заметим, что к этому времени английский язык уже имел устойчивую репутацию языка международного общения, он располагал обширными терминологическими системами в новых отраслях науки и культуры, политики, общественной жизни и т.д.

Возникновение всемирной, преимущественно англоязычной, информационной сети всемерно способствовало укреплению приоритетного положения английского языка, массированному притоку англоязычных заимствований, стремительному возрастанию их удельного веса, а также частотности употребления во внутриэтнической вербальной коммуникации.

Характеризуя данный период, нельзя не отметить одно, чрезвычайно важное, на наш взгляд, обстоятельство: темп изменения экстралингвистических обстоятельств по своей стремительности **превышает** темп эволюции языковой системы в целом, ее внутренних закономерностей. Последние в своих основных параметрах меняются **континуально**. Это обеспечивает взаимопонимание в рамках синхронной общеэтнической вербальной коммуникации, а также генерационную преемственность в восприятии духовных ценностей, в том числе и созданных предшествующими поколениями. Сказанное отнюдь не означает, что все уровни языковой системы развиваются с одинаковой скоростью. Так, лексический уровень, непосредственно связанный с внеязыковой реальностью, более мобилен, чем, например, уровень словаобразовательный, а тем более фонетический, графический и пр. Не случайно вмешательство в наиболее стабильные зоны языковой системы, как правило, встречает сопротивление носителей языка. Общеизвестной является, например, болезненная реакция на орфографические реформы, что обусловлено как определенной консервативностью навыков правописания, так и сопутствующим этим реформам значительным материальным затратам. К еще более существенным последствиям ведет кардинальное изменение графической системы языка, поскольку в этом случае по сути “неграмотными” становятся существующие в рамках современного общества поколения, приобщенные к иной письменной традиции. В связи со сказанным изменение графической системы допустимо лишь в исключительных случаях, при-

чем при наличии четкой коммуникативно-языковой, а отнюдь не политической мотивации⁸.

Не справляясь с массированным притоком заимствований, языко-реципиент зачастую вынужден прибегать к их “цитатному” воспроизведению, без соответствующей адаптации; ср.: *Tři účastníci nakonec informace redakce potvrdili, i když tzv. off record.* Týden, 5.02.2001, комментарий редакции; *přesto mi vadí kaňka na image časopisu.* Там же, письмо читателя; *po shlédnutí talk show Občan Kraus OK.* Там же, письмо читателя; *odpůrce politiky appeasementu.* Tvorba, 1988; Stanul před soudem za on-line krádež. LN 17.03.2001 (о хакерах); *Sexline chce rozšířit své služby a proto přijme hétery, erosenky, společnice a to i z řad lesbických žen pro erotické služby.* Annonce. Kontakt, 1991, г. 2-А; ср. русск.: для поп-музыки большие характерно состояние feel good – ощущение, что все клево. НГ 1/2001, инт.; никто не извинился за устроенную в центре столицы practical joke. Более того, они, видимо, вошли во вкус. НГ 82/2001, ст., ар. (ирония) и т.п.

Проблема “чужеродности” заимствований, впрочем, обычно успешно решается: они либо вытесняются из употребления отечественными эквивалентами, либо, напротив, осваиваются принимающим языком, “втягиваются” в его систему с помощью соответствующего адаптивного механизма (усечение части основы, присоединение суффикса и т.п.). Наконец, заимствования могут переосмысляться (ср. народная этимология, языковая игра и пр. – см. ниже).

Б. Противоречивость исследуемого периода.

По мере ускорения процесса интеграции и глобализации мирового пространства этноязыковые конфликты, вопреки ожиданиям, не только не ослабевают, но зачастую усиливаются (причем нередко яблоком раздора становится именно усиливающийся приток заимствований).

Причина этой напряженности, на наш взгляд, заключается в столкновении двух **противоположных** тенденций:

⁸ Приведем в качестве иллюстрации эволюцию графической системы азербайджанского этноса, у которого до 1923 г. использовалось весьма сложное арабское письмо; после 1923 г. был введен созданный советскими учеными латинизированный алфавит, более приспособленный к фонетической специфике азербайджанского языка, что облегчало получение образования населением; с 1939 г. – с целью создания единого культурно-политического государственного пространства в рамках СССР вместо латиницы стала использоваться кириллица (так же, как и латиница, она была адаптирована с учетом специфики автохтонного языка). В настоящее время принято решение о возвращении к латинизированному алфавиту. Подобные трансформации создают значительные проблемы для населения, получившего образование на кириллице, затрудняя ему доступ к культурным ценностям, создававшимся в течение последних шестидесяти лет на основе кириллического письма.

а) тенденции к этноязыковой унификации, сопутствующей интеграционным процессам;

б) тенденции к сохранению этноязыкового своеобразия, поскольку далеко не всякий социум готов “пожертвовать” во имя идеи интеграции своими исконными культурными традициями, языковым своеобразием, этническим самосознанием, т.е. тем, что имеет для него непреходящее значение, является самоценным.

Напряженность усиливает и тревога за судьбу родного языка, опасения, не будут ли нарушены его внутренние закономерности, не ограничится ли сфера использования “малых” языков (а в их числе находятся и языки с давними культурными традициями) лишь “камерным” межличностным общением, не окажутся ли подавленными творческие потенции этнического языка, наконец, не будет ли он сам, а соответственно и пользующийся им социум оттеснены на периферию современной цивилизации.

Опасения эти, на наш взгляд, отнюдь не беспочвенны. Так, время от времени раздаются голоса о целесообразности введения национально-английского двуязычия, при котором наиболее репрезентативные функции будет выполнять английский язык. Соответственно, очевидно, под эгидой английского языка будет проводиться и унификация терминологических номенклатур, хотя, не совсем ясно, как это можно осуществить применительно к языкам, имеющим иную типологическую принадлежность, чем английский язык или, скажем, немецкий. В этой же связи напомним о насаждении гегемонии английского языка в США и соответственно об ограничении сферы использования языков этнических меньшинств (ср. также конфликтную ситуацию, возникшую в 2001 г. в Германии, в связи с ограничением использования лужицкого языка в сфере обучения).

Не можем не отметить, что подобная направленность унификационного процесса находит порой поддержку не только у определенной части прагматически настроенной интеллигенции, но и – что особенно важно – у некоторых слоев молодежи, полагающих, что в интегрированном, глобализованном мире ее шансы на обеспеченное будущее существенно возрастут. В этом отношении показательны результаты социолингвистического исследования, проведенного чешскими учеными Фр. Данешом и С. Чмейрковой. Так, при выявлении отношения пятнадцатилетних чешских учащихся к национальной идее и идее гражданственности были зафиксированы весьма полярные оценки: от патриотической (“*Для меня как для чеха чешский язык значит очень много, это родной язык*”) до полностью индифферентной, граничащей с языковым нигилизмом (“*Для меня чешский язык не означает почти ничего. Для меня неважно, какой я национальности, важно лишь, чтобы я принадлежал к людям, ко всему миру. Я полностью согласен с образованием единого*”).

европейского государства, с использованием единого языка”) (Данеш, Чмейркова, 1994, 34–37).

Идея вербальной интеграции в рамках новых надгосударственных образований типа Объединенной Европы с единым экономическим и социально-политическим пространством, на наш взгляд, не так уж неуязвима, невзирая на, очевидно, вполне искренние заверения о соблюдении прав всех языков, в том числе и самых “малых”. Как нам кажется, на практике это может привести со временем к возникновению остройших этнических и этноязыковых конфликтов, ко взаимному отторжению этносов. Фактов подобного рода в недавней истории было немало. Достаточно привести в качестве примера Габсбургскую монархию и Австро-Венгрию (1868–1918 гг.), где государствообразующим, в сущности надэтническим языком был немецкий, используемый в сфере государственного управления и официального общения, в то время как региональные этнические языки имели ограниченную сферу употребления и использовались в повседневном общиходе, а также на низших уровнях местного делового общения (см. по этому поводу: Домашнев 1994; Нещименко 1994). Как неприемлемое и дискриминационное оценивает языковое право австро-венгерского государственного союза Я. Корженский (см.: Корженский 2000), отмечая, что практически речь шла о легализации гегемонии немецкого языка на всей чешской и моравской территории. Не оказались удачными и попытки создания надэтнической государственности с единым чехословацким языком. Сильнейшие сепаратистские тенденции проявились на всем постсоветском пространстве после распада СССР, то же произошло и после распада Югославии и т.п. Характерно, что принятие в субъектах Российской Федерации постперестроечного периода языковых законов порой лишь обострило межъязыковые и межэтнические взаимоотношения, особенно между титульными этносами и остальными этносами, проживающими на данной территории. Нередко титульные этносы, даже если они и представлены меньшинством населения, пытаются узурпировать позиции в образовании, официальной коммуникации и пр.

Существование в рамках единой государственности языков с разной степенью длительности культурной традиции, разумеется, создает экстремальные условия для развития автохтонного языка, увеличивая опасность его ассимиляции. Нередко это может даже приводить к острой конкуренции, как это было, например, вплоть до 1918 г. в сфере образования между немецким и чешским или же словацким и венгерским языками. Вместе с тем, исходя из опыта национально-языкового строительства в СССР, следует признать, что воздействие иноязыковых “катализаторов”, соседство с более сильным партнером нередко стимулирует функциональное выравнива-

ние более слабого языкового партнера, способствуя ускоренному формированию в нем “культурного” слоя.

Понимая условность проводимых выше параллелей с процессами современного мира, нельзя тем не менее не отметить, что при определении стратегии в сфере языковой политики вряд ли правомерно ставить во главу угла лишь интересы форсированной интеграции окружающего мира, т.е. в сущности внешние факторы. Недооценка специфики конкретных языковых ситуаций, их соотнесенности друг с другом, игнорирование таких важных факторов как этноязыковой патриотизм, этноязыковое своеобразие со временем может привести не только к ошибочной расстановке приоритетов, но и к серьезным осложнениям в межэтнических и межъязыковых отношениях.

* * *

Ниже речь пойдет о некоторых вопросах, касающихся генезиса заимствований, их функционирования в системе этнической вербальной коммуникации.

Появление заимствований чаще всего обусловливается **межэтническим** культурноязыковым взаимодействием, однако в определенных ситуациях очагом влияния могут служить “мертвые” языки, т.е. непосредственно не связанные с каким-то конкретным, живущим в данную эпоху этносом. Так, на формирование конфессиональной терминологии в странах Slavia Orthodoxa оказывал влияние старославянский язык; в свою очередь в Западной и Центральной Европе научная терминология несет на себе печать длительной культурной традиции использования латыни в качестве международного языка науки и образования.

Зоны межъязыкового и межкультурного сближения этносов с течением времени варьируются, поэтому диахроническое сопоставление пластов заимствований может быть полезным для своеобразного “карографирования” этнического языкового пространства с целью выявления в нем очагов культурноязыковой и социальнополитической иррадиации. Вплоть до конца XVIII в. в составе заимствований в чешском языке вне всякого сомнения преобладали германизмы (довольно много их и в современной обиходно-бытовой речи)⁹.

⁹ Ср. выборочные примеры: *On už folr není u ajznbónu?* 1979 J. Frais. Šibík-A; *ajznbón s praporkem*. 1978 V. Dušek. Tuláci-A (в данных контекстах *ajznbón* используется в двух значениях: первичном – ‘железная дорога’ и вторичном – ‘железнодорожник’); *podobně jako to činili v zašlých dobách u pochodujičích vojáků šrittmachři* (z německého *Schrittmacher*), *česky bychom řekli “kráčeči”*. 1978 Veda a technika mládeži-A; *jezdil balkancukem*. 1976. V. Hrabal. Postřížiny-A; *Plná továrna werkschutzzáků a nacistů*. 1976. Tvorba, N 7-A; *Sloužil potom na konci války u lufišuci*. Mladý hlasatel 5/1990-A; *umíš řečtit po rakousku*. J. Frais. Narozeniny-A (cp.

Ситуация существенно меняется в первой половине XIX в., когда Й. Юнгманом и его соратниками была предложена программа лексического возрождения и обогащения чешского языка. Одним из тезисов программы был дифференцированный подход при выборе источника заимствований. Так, при формировании научной терминологии, помимо использования ресурсов родного языка, предпочтение отдавалось заимствованиям из славянских языков (в этот период в научный обиход вошло около 800 научных терминов, половина из которых сохранилась и поныне). Впрочем, к использованию заимствований Й. Юнгман рекомендовал прибегать лишь тогда, когда оказывались исчерпанными внутренние резервы самого чешского языка¹⁰. Использование некоторых русизмов в качестве поэтических синонимов способствовало конституированию поэтического стиля в чешском литературном языке; ср. синонимичные пары *jaro* – *yesna*, *podzim* – *jesen*, *děvče* – *děva*, *krk* – *šíje* (см.: Liličová 1974). После 1989 г. приток русизмов существенно сократился.

В настоящее время мощным потоком во все языки, в том числе и славянские, вливаются англизмы. Этот факт убедительно подтверждают новейшие словари (ср.: Akademický slovník cizích slov 1995; Nová slova v češtině. Slovník neologismů 1998).

По нашему мнению, целесообразно разграничивать два основных вида этноязыкового взаимодействия: **контактный** и **дистантный** (строгая граница между ними, впрочем, отсутствует, поэтому в опре-

русск.: почти в совершенстве шпрахающий на доице. МК 3.03. 2001, ст., ар.); *Přilákalo do restaurace stálé štamgasty. Ten její šamstr je ale podezřelejší; malá fiatka Šajnila světlometry. To bych byl hlučný, abych si takovej kauf nechal ujít.* HS 3.06.1982, рассказ., ар.; *Je to "fúška".* VI 7/1982, оч., ар.; *Pořád jím něco nebude recht.* VI 43/1981, оч., ар.; *až si každý zabral ten flícek.* VI 8/1981, фел., ар.; *Každý mařínfíra.* 1983 Rpr., N 286, HS-48-A; *kdyby totiž své befely myslel vážně.* 1991. *Živnostenské noviny*, N 7-A; *s témito vánočními vinži.* Rpr., 9.01.1981, зам., ар.; *zase ho to táhlo do abtajluňku pro matky s dětmi.* 1974. *Cesta-A; žádný knajpy.* 1980. M. Švandrlík. Doktor-A; *ráno a večer apely, což bylo scítání všech všeňkyň.* VI. 30/1982, оч., ар.; *Marie Nedbalová, "ausleandr" v rajchu.* VI 31/1982, оч., ар.; *o brutálních zásazích sicherheitsdienstu.* Rpr., 06.03.1985, зам., ар.; *jednomu bývalému "gastarabajíru".* VI 41/1983, оч., ар. и мн. др. Ср. также услышанный нами непринужденный разговор (2001 г.), в котором в речи одного и того же лица варьируются германизм и его чешский аналог: *To je echt. Ano je to pravý* (о экспонате выставки). Как мы видим, среди германизмов в большом количестве представлена лексика, относящаяся к периоду второй мировой войны.

¹⁰ “Просмотрите, продумайте, изучите все богатства вашей речи, все то, что сохранилось в милом, чистом цветении в книгах и в народе. Берегите все это, как золото, сделайте это единой сокровищницей народной. Если же вам че-го-нибудь будет недоставать, без сомнения возьмите у своих братьев-славян”. (J. Jungmann 1948, 55; перевод наш. – Г.Н.).

деленных случаях можно говорить о смешанном контактно-дистантном взаимодействии).

Контактное взаимодействие появляется уже на ранних этапах жизни социума (например, в период колонизации чешских земель немецкими поселенцами), причем вначале оно отмечается при межличностном, прежде всего непринужденном повседневном общении. Впрочем, параллельно с этим наблюдается и взаимодействие в сфере культурных традиций, трудовых навыков (например, деятельность ремесленников) и пр. Обычно этот вид этноязыкового взаимодействия отмечается при пограничном или же островном проживании этносов, проживании носителей различных языков в рамках одной и той же государственности или же в сопредельных государствах, при смешанных браках, миграции, обусловленной теми или иными причинами и т.д.

Иллюстрацией последнего могут служить, например, данные о проникновении богемизмов в немецкий язык Австрии (через посредство венской городской речи) (Домашнев 1994). Как отмечает ученый, в первые десятилетия существования Австро-Венгрии (после 1868 г.) наблюдался настолько большой приток чешских переселенцев, что Вена после Праги была вторым по численности чешского населения городом в стране (в современной Вене около четверти фамилий жителей имеют чешское происхождение). Славянские переселенцы занимались в основном ремеслами, производством и сбытом продуктов сельского хозяйства, торговлей, работали они и в сфере обслуживания (портные, продавцы, официанты, кучера и т.д.). Со ссылкой на австрийских исследователей А.И. Домашнев приводит богемизмы, зафиксированные в обиходной речи Вены: *schetzkojedno* ‘alles eins; einerlei’ – чешск. *všecko jedno*; *Feschak* ‘модник’ – чешск. *fešák*; *Drahanek* ‘Liebling’ – чешск. *drahánek*; *drahoušek*; *Klapschi* ‘kleiner Junge, Bursche’ – чешск. *chlapec*; *Topánk’n* ‘ботинки’ – чешск. *topánky*; *Gatscherln* ‘утенок’ (деминутив *Gatscherl*) – чешск. *káče* и др. Приводятся и заимствованные из чешского языка названия некоторых кулинарных изделий: *Goladschn* ‘ватрушка’ – чешск. *koláč*; *Bowidl* ‘сливовый мусс’ – чешск. *povidla*; *Wuchteln* ‘пампушки, пирожки со сладкой начинкой’ – чешск. *buchta*; *Dopfnhaluschka* ‘галушки с творогом’ – чешск. *haluška* и пр.

Результатом контактного взаимодействия являются многочисленные богемизмы в словацкой речи и соответственно словакизмы в речи чешской. Учитывая большую близость обоих языков, обычно говорят о наличии пассивного (а иногда и активного) билингвизма. Ср. использование словакизмов в чешском тексте: *Po velkém škemrání dostał dovolenku z vojny o den dřív. Vl 52/1981, расск., ap.; byl na trídenní dovolence a dnes ráno odejel zpátky na frontu. 1977. S. Kaš. Aeskulap-A; Smetanova kvarteto odcestovalo na “rozlúckové” turné po*

Švýcarsku. Rpr 1988, оч., ар. и др.¹¹ Свободно чередуются оба языка в речи одного и того же персонажа рассказа (Vl 50/1981): “Á, naša bílá paní!” vykřikl chraplavý hlas. – “Čo stojíte? Chod’te se zohriat’. Chybá vám voláčo? Víte, jak vás od té doby voláme? Naše bílá paní” (нами специально выделены словацкие языковые приметы. – Г.Н.). Чешский эквивалент этого высказывания выглядел бы следующим образом: “Á, naše bílá paní!” vykřikl chraplavý hlas. – “Co stojíte? Pojd’te se zahřát. Chybí vám něco? Víte, jak vám od té doby říkáme? Naše bílá paní”.

Дистантное культурноязыковое взаимодействие является опосредованным, оно предполагает приобщение к той или иной культурноязыковой традиции через книги, СМИ, систему образования, ныне Интернет и пр. (т.е. непосредственный контакт здесь может отсутствовать). В качестве примера дистантного взаимодействия можно назвать освоение новейших достижений в области информатики, вычислительной техники, компьютерного общения и пр. с помощью практического овладения англоязычной терминологической номенклатуры (см.: Hlavenka a kol. 1997; Veštát, Jimel, Strnad 1993; Борковский 1989). Впрочем, с течением времени в воспринимающем языке формируются и свои собственные терминологические аналоги. При весьма беглом сравнении терминологической номенклатуры компьютерной лингвистики в русском и чешском языках можно заключить, что в чешском языке, несмотря на широкое использование англоязычных заимствований, удельный вес последних все же несколько ниже, чем в русском (немалую роль в этом играет и то, что чешский язык в ряду славянских языков отличается исключительно высокой деривационной активностью): *computer* – компьютер – počítac; *driver* – драйвер – ovladač; *file* – файл – soubor; *frame* – фрейм – rámc; *printer* – принтер – tiskárna; *dot matrix printer* – матричный принтер – jehličková tiskárna; *ink-jet printer* – струйный принтер – inkoustová tiskárna / tryskova tiskarna; *user* – пользователь – uživatel; *save* – спасти, сохранить – uložit, zapsat) и мн.др. Многочисленны и кальки с английского¹²: *backward recovery* ‘zpětné obnovení’; *backward search* ‘zpětné hledání’; *bar code reader* ‘čtečka

¹¹ Словацкое *dovolenka* ‘отпуск’, очевидно, предпочтительнее чешского *dovolená* (субстантивированное прилагательное), так как допускает дальнейшее развертывание деривационной цепочки; ср. *dovolenář* ‘отпускник’ (1975. P. Prouza. Požar v krabici, 132-A). Аналогичным образом мы бы мотивировали предпочтительность заимствования *fotbal* (*fotbalový*, *fotbalista*) перед собственным чешским *kopaná*, исключающим появление других дериватов.

¹² Возможность интерпретации калькирования как “распредмечивания” заимствований обсуждалась на Круглом столе, проводившемся в 1999 г., в связи с работой над данной коллективной монографией.

čárových kódů; *shadow memory* ‘stínová paměť’; *setting* ‘nastavení’; *serial interface* ‘sériové rozhraní’; *singlle board computer* ‘jednodeskový počítač’; *sandbox* ‘krabice z píska’; *search and replace* ‘hledat a naházet’; *search key* ‘prohledávací klíč’; *soft return* ‘měkký konec řádku’; *equipment* ‘vybavení’ и др.

В языке компьютерного общения частотность использования заимствований, в том числе и не адаптированных, особенно велика, что, впрочем, не препятствует взаимопониманию пользователей сети, имеющих сходный уровень профессиональных знаний (ср. общение так называемых системных операторов)¹³. Проиллюстрируем сказанное на текстах: *Вот это правда: Такие штуки с некоторыми драйверами приключаются. Виноват скорее всего разработчик данного драйвера. С другой стороны, если девайс идет с заводскими установками, то драйвер его задетектит, а если у юзера хватило ума эти установки поменять – то скорее всего это как минимум адвансед юзер. Правда бывает новая модель девайса // Еще раз повторю – когда яставил WC с CD, я выбрал правильный образ первого диска – с поддержкой Panasonic CD-ROM. У меня адрес контроллера был 320, а осевый драйвер по умолчанию ищет этот CD на адресе 230, и поиска контроллера на других адресах не делает. Я, конечно, не буду вспоминать про то, что linux ищет этот контроллер примерно на 10 адресах. // Я не буду конечно вспоминать, что к линуксу надо выбрать дискету из 40! Потом сделать еще 2 непонятно зачем, и после этого он встает только с харда, сидюка или локалки. Фря же почему-то грузится с одного флопаря и позволяет мне поставить по PPP. // Кстати, если в винь95 сделать “залигниться другим юзером”, то нюхает ничуть не меньше, впрочем как и doc. NT и пр. (орфография оригинала нами сохранена).* Как видим, здесь используются как официальные термины, так и их сленговые эквиваленты, демонстрирующие фонетическую, морфологическую, словообразовательную и пр. адаптацию заимствований. Довольно часто здесь наблюдаются случаи “языковой игры”. Так, для обозначения *motherboard* ‘материнская плата’ в русском компьютерном сленге используются *мамка*, *материнка*, т.е. привлекаются лексико-семантические ассоциации родного языка. Красноречивы и некоторые расшифровки из Нетликбез (<http://gaze->

¹³ Для непосвященных смысл терминов может разъясняться: *hackování* (nezákonné nabourávání uzavřených informačních obvodů). журнал Euro, 12/1999. Ср. также словарные комментарии: *hack* (*hakovat, též hacking*); *hacker* ‘osoba zabývající se hakováním’ (Hlavenka a kol. 1997); в сходном значении используется и *cracker* (Ruští *crackeři*. LN 17.03.2001); “Ruská hackerská scéna je neuvěřitelně dokonalá” říká analytik bezpečnostní firmy LN 17.03.2000; *Povzbuzovali nás, abychom se snažili hacknout americký software*. LN 17.03.2001 и пр.

ta-net.spb.ru/likbez/likbez1.html), а также в Computer Slang Dictionary (<http://www.listsoft.ru/programs/pr970.htm>): *e-mail* ‘электронная почта, в народе мыло, реже емеля’; *послать e-mail* ‘кинуть мыло’. Ср. также “сионист” – это программист, пишущий на языке С; “паквильянт” – соответственно на Паскале; “астматик” – на ассемблере. Как отмечается в Computer Slang Dictionary, абсолютное большинство сленговых терминов представляют собой “руссифицированный английский”. Большой интерес представляет адаптация заимствований, втягиваемых в систему словообразования и словоизменения соответствующих языков: *odentrovat* ‘нажать клавишу enter’; *kliknout* ‘to click’, русск. *кликать* ‘щелкать мышью’; аббревиатура *URL* “универсал ресурс локатор” передается как *урл, урла, урло*; чешск. *mailnout* / русск. *э mailнуть, майлануть* (ср. из электронного письма: *Ne mogla by Tu mne majlanuj*) и пр.¹⁴

Вряд ли нужно специально доказывать, что усиленный приток заимствований из какого-то конкретного языка одновременно означает и усиление влияния определенной культуры, в том числе и политической.

Взаимоотношения между чешским и русским этносами носят характер смешанных **контактно-дистантных** отношений, поскольку здесь имеется не только достаточно тесное и длительное взаимодействие культурных традиций (после II мировой войны добавилось и экономическое и социально-политическое сотрудничество), но и обширные личные контакты.

После 1989 г., как уже отмечалось, значительный пласт русизмов вышел из употребления. Прежде всего это касалось утратившей актуальность специальной терминологии (экономической, общественно-политической и пр.) типа *rozpis plánu* – *разбивка плана*, *vstřícný plán* – *встречный план*, *převoditelný rubl* – *переводимый рубль*, *kolektivní dodací smlouva* – *коллективный подряд*, *chozrasčot* – *хозрасчет*, *brigádní forma organizace práce* – *бригадная форма организации труда*, *perestrojka* – *перестройка*, *glasnost* – *гласность* (ср.: *Slovem, které udělalo ve všech jazycích světa stejně závratnou kariéru jako slovo perestrojka je slovo glasnost*. 1989. Svob. *slovo*, 1.-A).

¹⁴ Ср. также контексты: *побродил по “Виртуальным Сусам”* (www.susi.ru). НГ 3/2000, ст., ар.; *Мы общались через Интернет с помощью программы Ай-си-кью*. Здесь своя грамматика, свои шутки, свой стиль. Когда общаемся по “аське”, меньше всего думаешь о строчных и прописных буквах. НГ 3/2000, ст. ар.; *Домашний такой, очаровательный У него с друзьями как-то не очень сложилось, все большие “чатилися”... Забыв компьютер и верных чатовских друзей...* НГ 57/2000, оч., ар. Ср. также сленговые образования: *скачать из Интернета* ‘скопировать, переписать’; *Судя по скáчке с Интернета*. Эхо 2001, инт., рп. (ср. чешск. *stáhnout z Internetu* ‘скачать из Интернета’; *Já ti vyjedu z počítače; vytisknu* ‘распечатую’).

В силу своей структурной и фонетической близости русизмы настолько быстро осваивались, что многие из них стали восприниматься как собственочешские, во всяком случае не как “чужеродные” – мы имеем в виду не только такие слова, как *pětiletka*, *bleskovka*, но и *náštěnka*, *obezlička*, *nedodělky*, *svodky*, *ochranka* “телохранители” (с семантическим сдвигом по сравнению с русским языком, где данное слово означало “политический сыск”), *čistka*, *gramotnost* (*počítáčová gramotnost*), *bezprizornost*, *běženci* и пр. В некоторых случаях освоение сопровождалось меной суффикса, например, *kampanovitost* – кампанейщина; *šturmovština* > *šturmovaní* – штурмовища; *samizdatový sborník* TV 1997; Ze *samizdatových manuskriptů*. 1976 Rpr, N 60-A (впрочем, параллельно могут использоваться как *samizdatový*, так и *samizdatovský* – последнее ближе к русскому оригиналу). Некоторые русизмы получают в чешском языке новые значения; ср.: *Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová* (dríve ODA, nyní *bezpartijní*). Metro 2.06.1998; já sem ted' *bezpartijní*. TV 1997, гость передачи; *počítáčová gramotnost*. Радио и TV 1997; *počítáčova kriminalita* и пр.

По нашим наблюдениям, относящимся к концу 80-х – 90-м годам, русизмы нередко встречаются в чешских устных СМИ, причем в речи как ведущих передач, так и их гостей любого возраста. Характерно, что это происходит не только при обозначении русских реалий (*ušanka* TV 1998; v *zemljanách*, čili v *těpluškách*, jak ríkali *vagóny*. Радио 1998), но и в других ситуациях; ср.: *pokud sme byli tehdy nevýjezdnymi*. Радио 1997, вед.; *chaty, dače*. Радио 1997, вед. (ср. в речи моих знакомых из Брно: *dnes jedeme na kolchoz*, т.е. на дачу); *celé ty roky se dělá obezlička*. TV 1997, вед.; *máme možnost číst různé svodky*. Радио 1990, вед.; *masivní čistka* na základě dlouhodobých šetření. TV 1997; *ruskojazyčné obyvatelstvo*. Радио, 1996 (сейчас используется и калька *rusky mluvící*). Зафиксирован нами даже русский фразеологизм “козел отпущения”, правда в речи бывшего импресарио С. Рихтера в Праге: já sem byl takovej *kozel otpuštění*. TV 1997. Отмечаются русизмы и в повседневной речи; ср. услышанное нами в речи молодого человека на автобусной остановке (1997 г.) *garmoška* для обозначения сдвоенного автобуса или же: *dva dny nazad*; on je ted' *vysoký činovník* (из разговора в ресторане), 1998. Примечательно, что русизмы легко подвергаются универбизации, что является дополнительным подтверждением их адаптации в чешской речи; ср.: *měl otištěný rozhovor v Nězavisimce*. 2001 г. (о “Независимой газете”); *Vrabka* (об университете на Воробьевых горах в Москве) или же из электронных писем: *Strašně bych se chtěl podívat do Balšáku*; *A bude v té době nějaké baletní představení v Balšáku?* (о Большом театре) и пр. В русском языке подобные универбы не встречаются.

Случаи чешско-русской языковой интерференции участились в результате туристических поездок. Именно тогда вошли в русский обиход, а позднее и в торгово-промышленную терминологию существительные *колготки*, *ветровка*, причем первое из них функционирует в русском языке не только с грамматической ошибкой, но и с измененным значением: чешское *kalhotky* означает ‘дамские трусики’, в то время как русскому *колготки* в смысловом отношении соответствует чешское *ripčoschové kalhoty* (универб *ripčoscháče*), т.е. в буквальном переводе ‘чулочные брюки’.

Примеры чешско-русской бытовой языковой интерференции имеются в тексте статьи-интервью с молодым футбольным болельщиком из России, угодившим за дебош во время матча в пражскую тюрьму Панкрац (“Репортаж с мячом на шее”. НГ 10/2001). Герой интервью бравирует своей “бывалостью”, а также “знанием” чешского языка, приобретенным им в столь неординарных условиях: “*Ну и у меня была статья (в Чехии она называется “параграф”); “в б.15. так называемый рапорт. Это когда дверь в камеру открывается и капитан-выхователь с помощником стоят в дверях и смотрят, все ли одеты”*; “*Потом крышу (т.е. голову. – Г.Н.) начало рвать капитально, в основном из-за элементарной тоски по русской речи*"; “*хавчик заметно улучшился. В обед подлевка с мясом, кнедлики с говядиной*”; “*попал он сюда за выди-рачку*” (вымогательство – по-чешски “*выдирачка*”). Ср. также оценку текста объявления в камере: “*все напечатано русскими буквами, но половина – это нормальные русские слова, а половина либо исковерканы, либо чешские*”: “*не можно рушить электроватую проводку на целе (“цела” – камера)*” или “*Заказано (“заказано” – запрещено) критиковать из окон цели*” или “*Не можно днем возлежать на постелли под декой (“дека” – одеяло)*”. Приведем пример модного ныне “аутентичного” воспроизведения иностранной речи (в данном случае “чешской”) в детективе П. Дацковой (“Никто не заплачет”, Москва 2001 г.), в котором автор пытается продемонстрировать свою языковую эрудицию, вкладывая в уста чехов следующие высказывания: “*Пшичка станичка Инвалидовна*”; “*Пшичка станичка Карлштейн*” (с. 4; 440) (вм.: *Příští stanice*) или же: “*Проминто просим, пани*” (с. 9) (вм. *Protiňte*) и пр.

В различные исторические периоды жизни этнической общности отношение к иноязычным “пришельцам”, как уже отмечалось, могло кардинально меняться, причем от полного их неприятия и даже острокизма вплоть до индифферентности. Ранее это обычно объяснялось уровнем культивированности и полифункциональности литературного языка данного этноса: чем прочнее были позиции литературного языка, тем более терпимым становилось и отношение

к заимствованиям и наоборот: чем в более угрожаемом состоянии он находился, тем более негативным было отношение к заимствованиям, тем более прямолинейной становилась защита от инвазии других языков.

Опыт последних десятилетий XX в. эту закономерность, однако, корректирует. Так, на исходе столетия в активную борьбу с наплывом англизмов включились именно государства, обладающие развитыми, функционально дифференцированными литературными языками с длительной культурной традицией, т.е. с языками, казалось бы, не находящимися в угрожаемом положении. Мы имеем в виду Францию, Германию, Польшу, некоторые скандинавские страны, принявшие соответствующие языковые законы.

На функционирование заимствований влияет и характер коммуникативных намерений, которые предполагается реализовать в тексте. С учетом этого целесообразно разграничить две неравноценные по своей значимости группы коммуникаторов: первые из них, хотя бы подспудно, допускают возможность их востребования **внешнеческим** адресатом; другие ориентированы прежде всего на **внутриэтническую** коммуникацию.

В первом случае использование заимствований и прежде всего международной терминологии делает тексты более доступными для внешнего пользователя, способствует преодолению внутриэтнической замкнутости, облегчая интеграцию этноса в современное мировое информационное пространство. Вместе с тем имеется и оборотная сторона, когда, например, русский текст по своей стилистике приобретает характер по сути “макаронический”, т.е. отражает прямое влияние английского языка. Это особенно заметно в изданиях, ориентированных в том числе и на западного читателя – мы имеем в виду, в частности, рекламный журнал Аэрофлота, многие материалы которого сопровождаются параллельным английским текстом. Авторы этих статей зачастую копируют буквально английские конструкции, не утруждая себя поисками приемлемого русского эквивалента. В результате этого многие статьи этого издания, хотя, очевидно, и написаны русскими авторами, производят впечатление русского подстрочника к английскому оригиналу. Ср.: (заголовок статьи) *Некурящие рейсы Аэрофлота* (вм. *Рейсы для некурящих*); впрочем, далее в тексте все же используются кавычки: *Авиакомпания “Аэрофлот – Российские международные авиалинии” с 15 мая 1998 г. ввела “некурящие рейсы”. Статус “non-smoking flight” присвоен 13 рейсам* (журнал “Аэрофлот”, июль 1998).

Во втором случае главная цель – **внутриэтническая** массовая коммуникация, ориентированная прежде всего на носителя и пользователя родного языка. Мы имеем в виду СМИ, в первую очередь

устные, рассчитанные на массовую языковую компетенцию, поэтому переизбыток в них заимствований, особенно неосвоенных, может привести к серьезным коммуникативным помехам.

Доминирование аудиовизуальных СМИ, являющееся универсальной тенденцией мирового масштаба, сопряжено с выдвижением на первый план устной вербальной коммуникации. Специфика последней заключается в установлении **сиюминутного, одномоментного** коммуникативного контакта с адресатом, т.е. информация, заложенная в устном тексте, должна быть воспринята сразу, “с ходу” (исключение составляет лишь повторное воспроизведение устного текста в записи). Письменный текст, напротив, может быть востребован **повторно**, например, для лучшего понимания его смысла. В силу этого узус устных СМИ должен быть максимально сближен с узусом предполагаемого адресата, с его языковой компетенцией. Без этого сообщаемая информация либо утрачивается, либо доходит до адресата со значительными потерями и искажениями, т.е. коммуникативное намерение не осуществляется. Это означает, что какие бы то ни было речевые “изыски” (в полной мере это относится и к чрезмерному употреблению заимствований, чем, кстати, весьма грешит современная публицистика) в устных медиальных средствах попросту не уместны. Тот факт, что многие заимствования воспринимаются именно “наслух” (при нечеткой артикуляции звуков), подтверждают типично “слуховые” ошибки: устойчивое произношение дивидентов вм. дивидендов; просторечное освоение заимствования (страховой) полюс вм. (страховой) по-лис; презумность невиновности вм. презумпция невиновности; постановление дезавулирует вм. дезавуирует; тем на тем вм. тем а тем; константирировать вм. констатировать; лазарь вм. лазер; тусовать карты вм. тасовать (в последнем случае, очевидно, сказывается ошибочная мотивация через популярное ныне *tusovka* ‘компания, сбороище’); смешение лексем иммигрант и эмигрант и др. Не случайно опытные ведущие радио- и телепередач стараются “урезонить” своих собеседников, злоупотребляющих заимствованиями; ср. диалог между ведущей передачи на “Эхо Москвы” (14.10.2001) и молодым театральным режиссером (речь идет о его впечатлениях об итальянском театре): Он: *Может быть, я из всего этого извлекаю слишком сакральные парадигмы.* Она: *Нельзя ли как-то попроще для наших слушателей?* Он (после некоторого замешательства): *Ну, может быть, я не все понимаю в этом.*

Нежелательным является и использование заимствований с не характерным для русского языка скоплением согласных в исходе слова: на фестивале не было никакого экина. Эхо 2000, кинорец, кор. (речь идет о боевике; кстати говоря, в чешском языке в этом

случае используется *akční film*)¹⁵; *Фильм в стиле "экши"*. Эхо 2001, кинорец., кор.

Для полноценного функционирования заимствований в языке-реципиенте они должны быть включены в его систему, причем как словоизменительную, так и в дальнейшем словообразовательную. Нестандартные комбинаторные ситуации, возникающие на стыке заимствованных основ и флексий, суффиксов языка-реципиента, обычно решаются с помощью соответствующего адаптивного механизма. По отношению к близкородственным языкам эта процедура существенно упрощается.

Освоение заимствований – процесс постепенный. При их включении в текст они могут воспроизводиться: а) в графической системе оригинала: *Представляют собой оригинальную смесь этнического "haute couture" и немного кичевого гротеска*. НГ 23/2001, рец., ар.; *ministr vnitra a pražský leader lidovců Cyril Svoboda; pražský volební leader US Vladimír Mlynář*. Metro 22.06.1998, ар., зам.; *Boutique v Praze. Večerní Praha*, 1988; *vidíme tendenci jekéhosi revivalu hippies*. Tvorba, 1989-А; б) посредством транслитерации: *Воркотню бизнесмени от кутюр*. НГ 19/2001, расск., ар.; в) с помощью фонетической транскрипции: *Jak lze vysvětlit fakt, že se měsíce hledal lídr čtyřkoalice*. LN 2.04.2001, инт.; *stovky butiků*. Tvorba 26/1988-А; *každému obchůdku se sed' u nás říká butyk*. 1989, HS-А и т.п.¹⁶

В зависимости от строения контактной зоны основы¹⁷ присоединение словоизменительных флексий может происходить либо без особых проблем (был в Нью-Йорке *dishwasher'ом* – посуду мыл у итальянца. НГ 23/2001, оч., ар.; *Autor se nedal svést k lacinému psychologickému happyendu*. Naše řeč 2/1981; *Никаких хенни-эндов*. НГ 24/2001, оч., ар.; *dělničtí lídří*. 1983. J. Procházka. Lišky, 105-А (типичное для чешского языка чередование конечного согласного не в счет); мы громко заявляем: мы воюем с враждебным нам и преступным этносом, с уберменшами кавказской национальности. НГ 2/2000, фел, ар. и пр), либо с соответствующей структурной адаптацией финального сегмента основы. Так, у несклоняемого существ-

¹⁵ Кстати, смысл данного заимствования нуждается в уточнении; ср.: *Нужен был "экшин"*. Андрей Киевинов (кстати, сам автор многочисленных детективов. – Г.Н.) как-то спросил: *Экшин – это когда стреляют?* НГ 10/2000, рец., рп. Альтернативой может служить описательное обозначение: *Сейчас это будет большая акционная программа от полутора до трех часов ежемесячно*. НГ 2/2000, инт. о ТВ, рп. Русским эквивалентом могло бы быть и "боевик" (ср. в разговорной речи молодого человека: *боевичный автор*, т.е. 'автор боевиков').

¹⁶ Кстати говоря, в склонении слова *бутик* в русском языке допускается немало ошибок – мы имеем в виду, в частности, перенос ударения на флексию: *бути́къ, бути́кáх, бути́кáм, бути́кáми* и пр.

¹⁷ Понятие "контактной зоны" нами освещается и практически используется в целом ряде наших работ – назовем лишь Нещименко 1980.

вительного skinheads отбрасывается вторая половина слова, у *hyppies* – усекается финаль и наращивается суффикс: *Mluvčí pražské policie sdělil, že zásah byl namířen zejména proti militantnímu křídlu hnutí skinheads ...* „Ano, chodí sem řada *skinů*, ale jsou to ti, co jsou proti fašismu“. LN 05.1996, рп. и ар.; *Hipíci se stálým zaměstnáním a s píchačkou v kapse*. Kmen, 1988-А; ср. присоединение суффикса с чисто структурной функцией к несклоняемому *taxis*: *Jsou tam mimořádně levná a bezpečná taxi, a tak jsem se mohla po večeři vydat do "města" a zpátky i při skromných finančních prostředcích se vrátit taxíkem*. Metro 22.06.1998, письмо читателя.

Как уже отмечалось, сложности возникают с лексемами со скоплением согласных в финали основы. В этом случае единое решение отсутствует, так как либо используется вставной гласный, что меняет фонетический облик слова (*Целый год крутится колесо по про-моушену фильмов, претендующих на мировой прокат*. НГ 29/1999, инт., рп.), либо лексема становится несклоняемой: *делают себе про-моушн*. НГ 30/1999, рец., ар.; *телепередача по HTB-интернейшнл получила широкий отклик*. НГ 10/2001, зам., ар. *Нужен был "экин"*; *Экин – это когда стреляют?* НГ 10/2000, рец., рп.; *Фильм в стиле "экин"*. Эхо 2001, кинорец., кор. Заметим, что у короткосложных слов типа *экин* использование вставной гласной является нежелательным, поскольку слишком сильно меняет облик лексемы, затрудняя ее "опознание". Думается, что проблемы возникнут и с адаптацией заимствованного *euro*, особенно учитывая грядущее повышение частотности его употребления как основной европейской денежной единицы: *Propustit na kauci ve výši šest miliónů eur*. LN 17.03.2001.

Наконец на более поздней стадии освоения заимствования полностью вводятся в систему словоизменения, словообразования и пр. Ср.: *И платиц я ваших кутюрных не надену*. НГ 24/2001, рец., ар.; *с большими имиджевыми потерями для Лужкова и Примакова*. НГ 49/1999, ст., ар.; *Blitzkriegová varianta*. 1979. Práce, XXXV, č. 287-А; *projevem antiestablišmentového postoje*. LN 7/1990 и пр.

Пожалуй, наиболее красноречивым является освоение в русском языке заимствованной аббревиатуры PR (паблик рилейнз), которое в своем развернутом виде также заканчивается артикуляционно не удобным сочетанием согласных *рилейнз*. Возможно, поэтому в дальнейшем в качестве производящей основы стало использоваться *пиар*. Ср.: *Современные законы рекламных кампаний и "пиара"* (PR – паблик рилейнз). АиФ, 16/1999, зам., ар. В русском языке эта аббревиатура полифункциональна, она может использоваться как самостоятельное слово (*даже знающим, как надо делать PR*. НГ 23/1999, оч., ар.), как составная часть сложного слова (*PR-агентства*. НГ 23/1999, оч., ар.; *Знаменитый PR-центр*. НГ 23/1999, оч., ар.), как производящая основа (*Дамы в вечерних ту-*

алетах и знатные *PR-мены* обицались. АиФ, 6/1999, зам., ар.; Купим опытного *PR-щика*... За дорого! НГ 25/2001, реклама. Кстати, чаще всего используется пиарщик, встречается также пиаровец и даже пиаровщики. НТВ-Новости 2001, рп.). Употребительными являются прилагательные пиаровский, пиарный (ср.: пиаровская мощь “Героя дня без галстука”. НГ 23/1999, рец., ар.; Не по каким-то *пиарным* надобностям. НГ 25/2001, инт., от редакции), глаголы (В выборах-99 в Госдуму Лисовский *пиарил* на Отчество. НГ 6-д/2000, ст., ар.; с поездкой Путина *перепиарили*. НТВ-Итоги. 2000, вед.).

Адаптацию заимствования можно проиллюстрировать на примере английского *racketeer*, вошедшего в обиход в начале 90-х годов в связи с развитием рыночных полукриминальных отношений: (*рэкетёр*) *Рэкетёры* трясли подпольных миллионеров, как орехи осенью. Правда 23.01.1988, очерк о мафии в Узбекистане; (*рэкетист*) – зафиксировано нами в публичном выступлении предпринимателя А. Тарасова в Московском Доме ученых, конец 80-х годов; (*рэкетмен*) – в речи ведущего программы “600 секунд” Ленинградского ТВ; (*рэкетир*) *Новое поколение рэкетиров* не сравнить с их предшественниками. Огонек 19/1988 – в тексте данной статьи это слово в подобной огласовке употребляется последовательно, равно как и вообще в современной русской речи. Как мы видим, процесс адаптации заимствований протекает довольно “мучительно”. NSČ приводит чешские аналоги *reket* и *reketýr*, отмечая при этом, что это уже вторичное заимствование, поскольку еще в довоенный период, т.е. до второй мировой войны, с тем же значением употреблялись *raketýr* / *raketýř*. Впрочем, по нашим наблюдениям, в чешском чаще используется эквивалент *vydírač* – см. выше цитату из интервью с болельщиком: попал он сюда за “*выдирачку*” (вымогательство – по-чешски “*выдирачка*”).

Адаптированное в языке-реципиенте заимствование нередко используется, наряду с отечественным аналогом. Причем, здесь могут наблюдаться разные ситуации: а) практически полная эквивалентность: *Při jerevanské sluneční elektrárně bylo vytvořeno středisko RVHP pro výzkum solární energie, kde se připravují projekty optimálního uyužití sluneční energie.* Vl 43/1982, оч., ар.; *Pro biolokaci je nejrozšířenější termín proutkářství.* Z. Rejdák. Průvodce po psychotronice-A; *Pro biotelegnozí* se v literatuře užívá také termín: *jasnovidnost, jasnoušení.* Ibid.; Любое профессиональное издание в мире, получающее львиную долю информации за счет *внештатников*, так называемых *стрингеров*¹⁸. НГ 6/2001, ст., ар.; *S rozvojem kosmické techniky se rychle rozvíjelo*

¹⁸ Ср. разговор двух ведущих передачи о культуре речи на “Эхо Москвы” (28.10.2001): У нас на радиостанции часто говорят: сегодня я *стрингую*. Отмечено также название газеты “Стрингер”.

i družicové spojení. Nový druh spojení s využitím umělých družic Země. Tak vznikla před deseti lety mezinárodní organizace kosmických spojů Intersputnik. Činnost Intersputniku řídí Rada. Rpr 7.10.1981, оч., ар. (в данном случае заимствование *sputnik* как бы “застыло” в названии учреждения; б) наличие стилистической окраски (в данном случае ирония): *фейсы томных красавиц и толстых спонсоров не вытесняли из крохотного зеркального театра сада “Эрмитаж” лица*, более обремененные интеллектом. НГ 2/2000, рец.; в) различие сферы использования: (заимствование – германизм – используется в разговорной речи; отечественное слово – в литературной) *Pan Novotný se rozječel: “Cože? Vyrovnanej!! Na to může přijít jen ženská! Kdo jakživ viděl, aby na fotbal chodili vyrovnaný lidí? Copak nějaké vyravnanej chlap může pomoci svýmu manšaftu?... Když mužstva vyklusala na travnatou plochu...* VL 46/1983, фел., рп, ар.; “*Tupozraké levé oko, ploché nohy, c.d. klasifikace*”, огласил Кефалин подле правды помалу a rozvážně, jak měl ve zvyku. – “A ták” řekl desátník trochu zklamaně, “já už se těšil na kdovíjak skandální historku a ty na mne vylezeš s platfusem!” . M. Švandrlík. Černí baroni, с. 26. Praha, 1990.

До сих пор наше внимание в основном было сосредоточено на тех аспектах функционирования заимствований в языке-реципиенте, которые как бы лежат на **поверхностном** уровне. Сказанное отнюдь не снижает значимости этого ракурса, поскольку речь идет о социально важных проблемах внутриэтнической коммуникации, потенциальной возможности возникновения коммуникативных барьеров, а также о функционировании этнического языка в условиях интегрированного мирового пространства.

Ниже в поле нашего зрения будут находиться прежде всего **глубинные** закономерности языка-реципиента. Мы постараемся показать влияние массированного притока англизмов (некоторые из них имеют высокую частотность употребления) на **внутрисистемные** закономерности принимающего языка. Сразу же оговоримся, что, насколько нам известно, в славистике данная проблема под подобным углом зрения специально не разрабатывалась. В рамках данной статьи мы также не можем претендовать на ее исчерпывающее освещение, поскольку для этого необходимо детальное изучение большого языкового материала. Остановимся поэтому лишь на некоторых фрагментарных наблюдениях.

Прежде всего подчеркнем, что в зоне языкового взаимодействия находятся языки с **разными типологическими параметрами**: в отличие от большинства славянских языков (за исключением болгарского), относящихся к **синтетическому классификационному типу**, английский принадлежит к языкам **аналитическим**. Сказанное, разумеется, не исключает возможности появления в славянских языках признаков аналитизма, агглютинации или даже инкорпорации (по

поводу последнего см. Нещименко 1971). Отличия могут наблюдаться в степени синтетичности тех или иных славянских языков. Так, например, в некоторых отношениях чешский язык более “синтетичен”, чем русский, особенно если учесть удельный вес использования деривации, склоняемость заимствованных слов (*ехать на метро – jet metrem*), предпочтительность препозитивных согласованных определений и пр.

Так или иначе, различия между английским и большинством славянских языков проявляются на таких языковых уровнях как словообразование, словоизменение, номинативные и синтаксические схемы, просодические особенности, построение текста и пр. Примечательно, что в числе специфических особенностей динамики узуса публичной коммуникации на чешском языке после ноябрьских событий 1989 г. Й. Крауз называет использование непривычных произносительных норм и интонационных моделей, заимствованных из английского языка. В качестве одной из причин этого явления ученый называет влияние телевизионной программы CNN, а также дикции западных диско-диджеев (Kraus 1996:5). Нечто подобное можно наблюдать и у ведущих российских молодежных радиостанций.

Столь “плотное” взаимодействие с английским языком не может не затронуть в той или иной мере внутренние пропорции языка-реципиента. Отметим лишь некоторые, существенные, на наш взгляд, явления:

1. Стремительное возрастание удельного веса непроизводных (“этикеточных”) слов, не имеющих в языке-реципиенте структурных и семантических ассоциаций. Не случайно именно эта лексика чаще всего становится объектом “языковой игры”, “одомашнивания”, обыгрывания некоей, в реальности не существующей внутренней формы. Разумеется, в любом языке всегда имеется пласт непроизводных слов, утративших в ходе исторического развития свою словообразовательную мотивацию и ставших в силу этого непрозрачными как в структурном, так и в семантическом отношении. Их численность в истории языка обычно стихийно регулируется путем некоей “ротации”: некоторая часть полностью выходит из употребления; другая – по разным причинам обретает новую жизнь. Так, исконные деминутивы, некогда утратившие уменьшительное значение, могут переосмысляться, превращаясь на фоне современных деминутивов, в аугментативы (ср. в чешском непроизводные *zvon*, *květ* обозначают соответственно ‘большой колокол’, ‘большой цветок’, *struk* в русской детской речи ситуативно означает ‘большой стручок’ и пр.). Можно привести и чешское *lem*, которое, хотя и было вытеснено из деминутивной цепочки [*lem*] > *límeček*, однако приобрело новое значение ‘край, кайма’ и пр.

Пропорциональная представленность производных и непроизводных лексем в составе производящих основ является важным показателем словообразовательной продуктивности формантов. Так, возрастание доли непроизводных слов и соответственно уменьшение доли слов производных – один из симптомов снижения деривационной активности форманта, его оттеснения на периферию словообразовательной системы. И, напротив, увеличение удельного веса производных основ говорит о возрастании деривационной активности за счет более или менее регулярного “рекрутирования” новых лексических пополнений.

Вряд ли можно отрицать, что для носителей языка-реципиента основная масса заимствований функционирует как непроизводные слова; ср., например, *aids*, *džiu-džitsu*, *karate*, *kung-fu*, *show*, *girl*, *show-girl*, *lobby*, *barbie*, *hippies*, *skinheads*, *aikidó*, *airbridge*, *VIP*, *hi-fi*; *толлинг*, *гуру*, *прайм*, *сингл*, *ди-джей*, *джакузи* и огромное, все более разрастающееся множество им подобных слов.

2. Многие из заимствований являются несклоняемыми, особенно в литературном языке, что весьма существенно для чешского языка, где в отличие от русского языка заимствования чаще всего склоняются (ср. чешск.: *naučit džudu*, *aikidu*; ср. русск. *научить дзюдо* и пр.). Это не может не служить источником дискомфорта, особенно в отношении часто употребляемых слов. Так, например, на чешском ТВ (клуб “Netopýr”, 1999 г.) спонтанная дискуссия возникла по поводу того, можно ли склонять *NATO* (*vstup do NATO* // *vstup do NATA*). Итоговый вывод дискуссии: к литературной норме ближе несклоняемый вариант *členství v NATO*, хотя возможно и *jednání s NATem*. У ряда заимствований затруднительно определить их родовую принадлежность, что также является дополнительным препятствием при их адаптации в языке-реципиенте¹⁹.

3. Как уже отмечалось, некоторые англоязычные заимствования имеют не типичную для славянских языков комбинаторику исхода основы, однако применение для “разрежения” скопления согласных стандартных для славянских языков морфонологических процедур, например, использование вставных гласных, не всегда представляется возможным; ср.: русск. *паблик-рилейшнз*, *HTB-интернейшнл*, *экин*, *промоушн* / *промоушн*. Не случайно в чешском языке в подобных случаях отдается предпочтение цитатному воспроизведению заимствований; ср. (NSČ) *promotion* [*promoušn*]: *sehnat peníze na masivní promotion*; *promotion probíhala v závěru roku*; *Řekové*

¹⁹ Так, в передаче о культуре речи на “Эхо Москвы” (1999 г.) ведущие не могли с уверенностью ответить на вопрос, к какому роду можно отнести *джакузи*. Впрочем, разговорная речь, особенно сленг, довольно вольно обращается с заимствованиями; ср. *какая гирлá!*

nedokázali udělat šampionátu dostatečné promotion (неклоняемое; женского и среднего рода); *public relations* [publik rilejšns] *moderní metody politického public relations*; *odborník na public relations*; *co jsou public relations*; *vedoucí public relations* automobilky (м.р, мн.ч.). Как уже говорилось, проблемным является алломорф род.п. мн.ч. от *euro* (*Propustit na kauci ve výši šest miliónů eur*. LN 17.03.2001).

4. В силу типологической специфики английского и славянских языков значительные различия выявляются в сфере словообразования. Под влиянием английского языка в славянских языках начинают распространяться не свойственные им препозиционные структуры типа *бизнес-виза*; *бизнес-тур*; *бизнес-отношения*; *секс-торговля*; *плей-лист*; *Интернет-адрес*; *Интернет-вещание*; *Интернет-стилистика*; *Интернет-диверсия*; *Интернет-провокация*, конструкции с начальной аббревиатурой *VIP-персона*; *VIP-орган*; *VIP-спуск*; *VIP-гость*; ср. чешск. *byznyscentrum*; *Hi-fi studio*; *hi-fi technika*; *LP desky*; *NC středisko*; *RH paprsky*. Приведем некоторые контексты: *v případě rapsodií a dalších skladeb jde o live-nahrávky z veřejných koncertů*. 1983. Rpr., N 224-A; *Hraje hi-fi souprava na plný výkon high-fidelity elektroakustické zařízení s velmi věrnou reprodukcí zvuku*. 1975. K. Hvžd'ala. Dnes ráno poprvé, 268-A; *Barevná televize, vyspělá akustická hi-fi technika, disco zařízení*. 1982 Průmyslový design, 1-A; *s "disco" keckami*. Vl 12/1981, оч., ар.; *Это бизнес-отношения и я ни разу не видел, чтоб кто-нибудь из звезд сорвал контракт*. НГ 29/1999, инт., рп.; *оформил бизнес-визу*. НГ 15/1999, оч., ар.; *по словам координатора программы "Секс-торговля женщинами"*. АиФ 18/1999, зам., ар.; песни Игоря Крутого практически отсутствуют в *плей-листиах*. АиФ 18/1999, оч., ар.; *Один из интернет-провокаторов вписал в гостевую книгу интернет-издания сообщения*. НГ, 13/1999, оч., ар. и множество им подобных²⁰.

5. Под влиянием английского языка в славянских языках появляются непривычные деривационные цепочки типа: все наши *имиджмейкеры*, *клипмейкеры*, *њьюсмейкеры*, *депутато-* и *президентомейкеры*. НГ 37/1999, ст., ар. (ср. шутливую интерпретацию семантики имиджмейкер в реплике ведущего "Эхо Москвы": *имиджмейкер это мордодел*); *скандалмейкер*, журнал "Бизнес-реклама" 1999; ср. также: *Нетрудно будет понять лишившихся рабо-*

²⁰ Несогласованные препозиционные определения (чаще заимствованного происхождения) распространены чаще всего в чешском молодежном сленге; ср.: *tam sedí s nábl pitivem*. 1975. J. Loukotková. Odměna, 11-A; *Když říkám, že bychom chtěli napsat o nefér okolnostech kolem propouštění*. Fórum, 1990-A; *Nudi pláž* (подпись под фото). Stadion 30/1988-A; *Táta mu prý najde prima flek*. Vl 30/1981, письмо; *Dáme si bezva večeři*. Vl 52/1981, рассказ., рп.; *tady pracuje fajn lidé*. Vl 50/1984, письмо; *V sexi tričku*. Rpr. 74/1982, фель., ар.

ты риэлтеров, дилеров и маркетологов. НГ 25/1999, оч., ар.²¹ Лексемы типа *manager, dealer, imagemaker* и под. встречаются и в чешском языке.

6. Влияние английского языка можно усматривать в активизации некоторых, ранее уже использовавшихся префиксов типа *супер-, гипер-*. Ср.: *Суперрейтинговой* советской классики. НГ 1/2000, рец., ар.; *каштаны стали суперсумасшедшей* аллеей. НГ 25/2001, оч., ар.; *супертрадиционный фильм*. НГ 22/2001, зам., ар.; *передача супердешевая*. НГ 2/2000, инт., рп.; *супердорогое жилье; супердорогая квартира*. НГ 47/1999, инт., рп.; “Звезда” обязана иметь *супервнешность*. Кпр 10.11.1989, инт.; *Суперблеф* Лукойл-а. НГ 48/1999, зам., ар.; *поколение суперспортсменов*. АиФ 18/1999, зам., ар.; *На реформирование энергетического супермонополиста*. НГ 10/2001, ст., ар.; *во всех валютных супергостиницах*. НГ 47/1999, инт. рп.²²; *с гиперизлишком* шуб, что делать. НГ 1997, зам., ар.; *Гиперкультивый фильм*. Эхо 2001, вед.; *внешность приобретает фундаментальное, гипердовлеющее значение*. Мир за неделю 13/1999, инт.. рп.; *Во всем мире люди отдают предпочтение гипермаркетам*. АиФ, зам., ар. и пр.

В отличие от префиксов заимствованные суффиксы (за исключением тех, которые прочно “прижились” в языке типа *-ист* и пр.) обычно используются лишь с устойчивым типом основ: *прозаикесса, критикесса*. ЛГ, 1985; *редактрица* (*Никаких возражений редактрица не принимала*. МК 12.10.1999, ст., ар.); *клоунесса (клоунесса, эпатирующая публику в антрепризных спектаклях*. НГ 49-д/1999, инт., ар. – впрочем, в подзаголовке уточнено: *женщина-клоун*); *инспектрица* *магазина*. НГ 1/2000, рец., ар. (ср. также чешск. *Vdovapiratessa vedla tužív "podnik" dokonce lépe než původní majitel*.

²¹ Ср. ироническую оценку языка современной русской публицистики: “Мы – носители русского языка – бережно его храним. Чтоб ни одно иностранное слово не внедрилось. Не дай Бог! Только понятие о “русском и могучем” у нас довольно расплывчатое. “Киллер” и “дилер”, “брокер” и “диггер”, “лейбл”, “шоп”, “паблик рилейшнз”, “сэконд-хэнд”, “уик-энд”... “герлы” и “бои”, “леди” и “джентельмены”! Это наш язык. Мы так общаемся. Вряд ли через сто лет кто-то вспомнит, что слова эти иностранного происхождения. Лингвисты спорят о степени засорения национального языка, но, кажется, надовести дебаты о засорении национального сознания”. НГ 6/1998.

²² Небезынтересны и факты автономного использования формантов, их превращения в самостоятельные (или же полусамостоятельные) слова; ср.: *Интересная съемка, ироничный текст – вся аппаратная вслух комментирует: хорошо, супер!* Хвалить коллег – это здорово, это *супер*. НГ 19/2001, оч., рп.; ср. также чешское (из электронного письма молодого человека): *no, bylo to super* (2000 г.); *Jinak ta práce je dosí super* (2001 г.). Окказионально *super-* используется как прилагательное: *superovní* (ср. также *extrovní*). Мы сердечно благодарим К. Маркову за предоставленный чешский материал.

HS 10/1969, оч., ар.). Ср. ироническое использование заимствования: Бизнесвумен лишилась “*БМВ*” прямо в своем гараже. МК 2001, 3.03, хроника. В этом же ряду можно привести и Чичиковгейт. НГ 3/1999, рец. (с открытым рядом фамилий-основ).

Таким образом, длительные и интенсивные контакты языков с различной типологической характеристикой не могут не влиять на внутриструктурное развитие языка-реципиента, на его внутренние пропорции. Другое дело, насколько масштабным и устойчивым может оказаться это влияние.

Учитывая различие внутриструктурных закономерностей взаимодействующих языков, проблематичной, на наш взгляд, является реализация намечаемой унификации терминологических систем, поскольку в славянских языках предпочтение отдается деривации, а в английском, немецком – препозиционным структурам и, в частности, словосложению.

Тем не менее мы не склонны слишком драматизировать разрушительные последствия инвазии англизмов, поскольку свои коррективы вносит разговорный язык, являющийся живительным источником развития любого языка. Это проявляется, в частности, в присоединении к заимствованным основам наиболее продуктивных суффиксов языка-реципиента (изучение процесса адаптации заимствований имеет поэтому для дериватолога особую ценность). Так, особую активность в освоении заимствований, как уже говорилось, проявляет суффикс *-щик*; ср.: *компьютерщик*; *синтезаторщик*; *рокенрольщик* (вм. более раннего *рокенроллер*); “*спрейщик*”. Он рисует космические пейзажи вредными распылителями. НГ 25/2001, оч., ар.; *Журнал для хайфайщиков*, как они сами себя называют. Эхо 1999, рп.; *рекламищик*, потесняющее в повседневной речи более официальное *рекламист* (красноречив диалог двух специалистов в области рекламного бизнеса – “Эхо Москвы” 2001, в котором один из приглашенных некоторое время колеблется, как представить самого себя: *не знаю, как правильно сказать: рекламищик или же рекламист*, в дальнейшем в основном употребляется *рекламищик*). Ср. приводимые выше *пиарщик*, *пиаровщик* и пр.

Симптоматичным является возрастание продуктивности феминного суффикса *-ш(a)*, обычно использовавшегося в разговорной речи, причем чаще всего для образования обозначений женщин-жен. Ныне он довольно часто вступает в конкуренцию с наиболее продуктивным суффиксом *-к(a)*. Ср. комбинацию с заимствованными основами: *магша* (о женщина-маге). МК, 16.09.2000, зам., ар.; у чеченцев есть русские женщины-снайперы. Так что теперь есть и наши снайперши. Эхо 2000, обзор прессы, рп.; *молодая дизайнерша*. Эхо 2000, обзор моды, ар.; *интервьюерша* НГ 4/2000, рец., ар.; *девушка-*

боксерша. Эхо 2000, информация, ар.; от негреющего камина до дикторши "Новостей культуры". НГ 45/1999, рец, ар.; Это депутат (или депутатша?) Госдумы. НГ 39/1998, оч., ар.; дискжокейша на ТВ показывает жевательную резинку. НГ 24/1998, рец., ар.; Одна из оппонентши, чрезвычайно лояльно настроенная к соискателю. НГ 6-д/2000, ст., ар.; как называет Полина меценатшу Олимпиаду. НГ 2-д/2000, инт., ар.; А кем была Туманова? Подругой маклерши? НГ 44-д/1999, оч., ар.; киллерша-биатлонистка НГ 29/2000, рец., ар.; Последняя из могиканши МК 10.09.2000.

У основ со скоплением согласных в исходе используется суффикс -ин(я), имеющий начальный вокал: наша патриархия (об эстрадной певице А. Пугачевой). Эхо 1999, вед.; портрет монархини. НТВ-Итоги 2000, кор.; олигархия (об И. Хакамаде). Газета "Версия" 2000, шутл., ст., ар.; ср. чешск. *lidr – lidryňě*.

В целом у чешских феминативов неуязвимыми остаются позиции -ka, в том числе и у заимствованных основ: *designérka*. Tvorba 1988; *Jedna z třiceti barrandovských skriptek*. Vl 12/1966, оч., ар; *Pracuj jako operátorky, manipulátorky, mazačky výhybek, signalistky*. 1981. Práce, N 96-A; *Věče Komárkové, rešeršerce, dvacet šest*. Vl 50/1967, оч., ар. и мн.др.

В этой связи не можем не отметить, что контакты с близкородственными языками могут стимулировать деривационную активность некоторых суффиксов языка-реципиента. Так, влияние словацкого языка можно усматривать в некоторой поддержке позиций чешского феминного суффикса -ička, кстати очень продуктивного у деминутивов: (ср. дублеты *archeoložka* – *archeologička*, чешские словари приводят лишь *archeoložka*) *Archeologický ústav Slovenské akademie věd v Nitře uskutečňuje za dozoru archeologičky Z. Šuhajíkové vukopávky*. 1961. Rpr, г. 41, N 226-A (пример касается словацких реалий. – Г.Н.); *vystudované na archeologičky*. Karel Kapoun. Básen o velkém svědectví. 1961. Liter. nov., 32-A (впрочем, наряду с этим, встречается: *Energická archeoložka Kostelníková*. Kultura, 1957, 36-A); *Denní porada se dostává do proudu. Účast: psychiatrička MUDr Eva Blažková*. Vl 29/1983, оч., ар. Возможно, сюда относится и *lesbička* (от *lesba*): "Byli to jen Turci, židé a komunisté. A *lesbičky*," dodal jeden na omluvu. HS 10/1985, оч., рп. В разговорной речи нами было зафиксировано *bohemistička* (*jste jako bohemistička* 1986) вм. обычного *bohemistka*, а также приведенное выше *psychiatrička*.

В заключение мы хотели бы еще раз подчеркнуть исключительную значимость детального, притом сопоставительного изучения заимствований для понимания как специфики межъязыкового и межкультурного взаимодействия, так и для раскрытия глубинных языковых процессов.

ЛИТЕРАТУРА

- Данеш Фр., Чмейркова С.* Экология языка малого народа // Язык–культура–этнос. М., 1994.
- Борковский А.Б.* Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями). (Около 6 000 терминов.) Изд. 2. М., 1989.
- Домашнев А.И.* Языковая ситуация в странах немецкой речи // Язык–культура–этнос. М., 1994.
- Корженский Я.* Развитие языкового права в современной Чешской республике (период последних десятилетий) // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000.
- Нещименко Г.П.* О понятии вставной морфемы // Исследования по славянскому языкознанию. М. 1971.
- Нещименко Галина П.* очерк деминутивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII–середина XX вв.). Academia. Praha, 1980.
- Нещименко Г.П.* Язык и культура в истории этноса // Язык–культура–этнос. М., 1994.
- Нещименко Г.П.* Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // Specimina philologiae slavicae. Band 121. Verlag "Otto Sagner". München, 1999.
- Akademický slovník čízích slov. Kolektív autorů pod vedením V. Petráčkové a J. Krause. Academia. I–II. Praha, 1995.
- Hlavenka J. a kolektiv. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací (5500 pojmu z oblasti výpočetní techniky a komunikací, přes 7000 křížových vazeb, výklad anglických i českých odborných pojmu). Praha, 1997 (III vydání).
- Jungmann J. Slovo k statečnému a blafovzdělanému Bohemariusovi. // Boj o obrození národa. Praha, 1948.
- Kraus J. Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení // Naše řeč, 1996, šeš. 1.
- Liličová G. Ruské lexikální prvky v českém básnickém jazyce počátku XIX st. // Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Praha, 1974.
- Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Academia. Praha, 1998.
- Veřtát S., Jimel J., Strnad M. Encyklopédie o počítacích. Praha, 1993.
- Vondrák V. Vývoj současného spisovného jazyka. Brno, 1926.

Принятые сокращения

A	– Архив Института чешского языка Чешской АН	Rpr	– “Rudé právo”
АиФ	– “Аргументы и факты”	VI	– “Vlasta”
Кпр	– “Комсомольская правда”	ар.	– авторская речь
ЛГ	– “Литературная газета”	вед.	– ведущий; чеш. moderátor
МК	– “Московский комсомолец”	зам.	– заметка
НГ	– “Новая газета”	инт.	– интервью
Эхо	– радиостанция “Эхо Москвы”	кор.	– корреспондент
HS	– “Haló Sobota”	расск.	– рассказ
LN	– “Lidové noviny”	рец.	– рецензия
NSČ	– Nová slova v češtině. Slovník neologismů.	рп.	– речь персонажа
		ст.	– статья
		фел.	– фельетон

H.B. Уфимцева

(Россия)

КУЛЬТУРА И ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЯ

На важность национальных (этнических, в нашей терминологии) корней в жизни человека указывали многие русские философы начала XX в. (см., например, работы Бердяева, Ильина, Трубецкого). По мнению Н.А. Бердяева [1990], вне национальности, понимаемой как индивидуальное бытие, невозможно существование человечества. И именно через национальную индивидуальность каждый отдельный человек входит в человечество, он входит в него как национальный человек. А И. Ильин так определяет духовное единство народа: “Это есть единство, возникшее из инстинктивного подобия, общения и взаимодействия людей в их обращении к Богу, к данной от Бога внешней природе и друг к другу. Это единство вырабатывается исторически, в борьбе с природой, в создании единой духовной культуры и в самообороне от вторгающихся нарушителей... Каждый народ призван к тому, чтобы принять свою народную и историческую “данность” и духовно проработать ее, одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в своем, своеобразном национально-историческом акте. Это его неотъемлемое, естественное, священное право; и в то же время это его историческая, общечеловеческая и, что самое важное, религиозная обязанность. Он не имеет духовного права отказаться от этой обязанности и от этого призыва. А раз отказавшись – он духовно разложится и погибнет; он исторически сойдет с лица земли” [Ильин 1993, 232–233]. Законом человеческой природы и культуры И.А. Ильин признает то, что “все великое может быть сказано человеком или народом только по-своему и все гениальное рождается именно в лоне национального опыта, духа и уклада. Денационализуясь, человек теряет доступ к глубочайшим колодцам духа и к священным огням жизни; ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны: в них заложены и живут целые века всенародного труда, страдания, борьбы, созерцания, молитвы и мысли” [Там же, 236]. И еще одну важную для нас мысль И.А. Ильина хочется процитировать: “Мы установили уже, что национальность человека определяется не произволом, а укладом его инстинкта и его творческого акта, укладом его бессознательного (выделено нами. – H.U.) и, больше всего, укладом его бессознательной духовности. Покажи мне, как ты веруешь и молишься, как проявляются у тебя доброта, геройство, чувство чести и долга; как ты поешь, пляшишь и читаешь стихи; что ты называешь “знать” и “понимать”, как

ты любишь свою семью; кто твои любимые вожди, гении и пророки, – скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын; и все это зависит не от твоего сознательного произвола, а от духовного уклада твоего бессознательного” [Там же, 237]. Итак, главное, чем определяется этничность (или национальность по Бердяеву и Ильину) – это уклад бессознательного.

Естественная жизнь всякой самобытной культуры заключается в постоянном создании новых форм для выражения своего духа. Еще А.С. Хомяков утверждал, что формы, заимствованные извне, не могут служить выражению духа своей культуры, и “всякая духовная личность народа может выразиться только в формах, созданных ею самой” [Хомяков 1994, 456]. Культура, по С.Н. Трубецкому [1995], – это исторически непрерывно меняющийся продукт коллективного творчества прошлых и современных поколений. Для нормального развития культуры необходим общий запас культурных ценностей, инвентарь культуры, который должен транслироваться следующим поколениям через традицию.

Носителем традиции является этнос, а сама традиция рассматривается как комплекс культурных парадигм [Лурье 1997]. Понятие традиции, в свою очередь, связывается с представлением о культурном ядре (“центральной зоне культуры”), относящемуся к коллективному бессознательному. Именно это культурное ядро определяет предел допустимых для данной культуры изменений, переход же через эту грань приводит к разрушению самой культуры. И именно наличие этого ядра обеспечивает согласованность поведения всех членов данного этноса в определенных, являющихся знаковыми для данной культуры, ситуациях.

Этническая культура, понимаемая как исторически выработанный способ деятельности, предполагает, что всем явлениям культуры присуща общая функция – служить средством человеческой деятельности. Следовательно, быть культурным – значит уметь пользоваться множеством вещей, владеть системой средств, благодаря которой осуществляется коллективная и индивидуальная деятельность (Э.С. Маркарян). В понятие “способ деятельности” включаются не только умения и навыки, но и весь спектр объективных средств осуществления активности людей. Его элементами являются вне-биологически выработанные средства, с помощью которых действия людей стимулируются, программируются, воспроизводятся [Лурье 1997].

Чем обуславливается неповторимость, непохожесть этнических культур? Можно вслед за Э.С. Маркаряном считать, что эта неповторимость есть результат особой, свойственной лишь данной культуре системы организации элементов опыта, которые сами по себе не всегда являются уникальными и повторяются во множестве

культур [Маркарян 1969, 68]. Если перевести это высказывание на язык психологии, то придется согласиться с А.А. Леонтьевым, что “в основе мировидения и мировосприятия каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда этнически обусловлено, видение мира одним народом нельзя простым “перекодированием” перевести на язык культуры другого народа” [Леонтьев 1993, 20].

Имя, которое дается образу сознания (а одна из функций культуры как раз в том и состоит, что культура дает особое имя всем предметам и явлениям своего “культурного космоса”), есть живое имя, ибо оно вырастает из действия и несет в себе его скрытую энергию (потенциальную модель культурного действия). По мнению С.В. Лурье, именно так этнос адаптируется к реальному миру. Таким способом как бы задается та система координат, в которой будет действовать в мире представитель данной этнической культуры, формируется образ мира, который является “основополагающей компонентой культуры этноса” [Лурье 1997, 221]. Однако в светлое поле сознания каждого носителя данной культуры попадают лишь отдельные фрагменты цельного образа мира, осознается скорее ее наличие и целостность. В процессе развития этноса образ мира может меняться, но неизменными остаются принадлежащие коллективному бессознательному структурообразующие элементы этнического бессознательного – этнические константы, которые представляют собой “бессознательные комплексы, складывающиеся в процессе адаптации человеческого коллектива (этноса) к окружающей природно-социальной среде и выполняющие в этнической культуре роль основных механизмов, ответственных за психологическую адаптацию этноса к окружающей среде... Система этнических констант и является той призмой, сквозь которую человек смотрит на мир” [Лурье 1997, 228].

В процессе социализации происходит “присвоение” этой системы этнических констант, что и обуславливает этничность сознания человека.

Образ мира как основополагающая компонента культуры и является объектом нашего исследования, а его предметом становится сознание носителей той или иной этнической культуры, которое в силу своей недоступности прямому изучению может изучаться только через различные формы своего ощущения. Одной из таких форм является языковое сознание – опосредованный языком образ мира той или иной культуры, т.е. “совокупность перцептивных, концептуальных и процедурных знаний носителя культуры об объектах реального мира [Тарасов 1996, 7]. Образ сознания, ассоциированный со словом – это одна из многих попыток описать знания, используя-

мые коммуникантами при производстве и восприятии речевых сообщений. А имя (слово, тело знака) – это та культурная рамка, которая накладывается на индивидуальный опыт каждого человека, прошедшего социализацию в определенной культуре. “Назвать” – значит приписать определенное значение, а приписать определенное значение, значит, понять, включить в свое сознание.

Именно ориентация на поведение, общение, культуру привели Л.С. Выготского к мысли, что сознание созидается посредством орудий и других экстрацеребральных “инструментов” и прежде всего знаков, а ключом к пониманию природы человеческого сознания являются мышление и речь.

По словам М.Г. Ярошевского, Выготский “смог прозреть в не-психологическом объекте – слове – глубинные слои душевной жизни личности, ее незримую динамику” [Ярошевский 1993, 34]. Для Выготского значение слова представляет собой единство общения и обобщения, а это означает, что, с одной стороны, слово существует в реальном процессе общения, в системе “я и другой”, а, с другой стороны, “внутренняя сторона слова, его значение выступает как психологический эквивалент обобщения в качестве неотчуждаемого от субъекта умственного образа” [Там же, 35]. Из такой трактовки значения как основной составляющей сознания и вытекает представление о том, что значение развивается и проходит в онтогенезе определенные стадии своего развития, а в основе усвоения и “приисвоения” значения лежит принцип интериоризации.

Объектом же интериоризации выступает инструментальный акт, «т.е. опосредованная культурным знаком психическая функция, являющаяся “по происхождению” внешней, данной в системе реального общения и лишь вторично “переместившаяся” в личное, скрытое от других людей сознание» [Там же, 70]. Отсюда следует, что сознание человека – это явление интерпсихическое, существующее вне индивида в форме знаков и значений. Культурное развитие сознания начинается с момента рождения ребенка и совершается не по биологическим законам, а под действием системы обучения, исторических и культурно обусловленной. Признавая за сознанием системное строение, Л.С. Выготский видел единственный плодотворный путь его изучения в “семическом анализе”, цель которого – раскрыть структуру значений и смыслов.

Представитель того или иного этноса воспринимает любой предмет не только в его пространственных измерениях и во времени, но и в его значении, а значения концентрируют в себе внутрисистемные связи объективного мира. В значениях в отличие от личностного смысла, фиксируется некий культурный стереотип, инвариантный образ данного фрагмента мира, присущего тому или иному этносу. Культурные стереотипы усваиваются в про-

Таблица 1. Ядро языкового сознания русских (первые 30 слов)

Ранг	Ассоциат	I этап РАС (1988–1991)			II этап РАС (1992–1995)			III этап РАС (1995–1997)			Сводные данные по трем этапам		
		Кол-во вызв. Его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. Его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. Его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. Его стим.		
1	человек	382	1	человек	408	1	человек	614	1	человек	1404		
2	дом	359	2	большой	264	2	дом	270	2	дом	864		
3	нет	330	3	жизнь	264	3	большой	229	3	жизнь	711		
4	хорошо	286	4	дом	235	4	плохо	221	4	плохо	691		
5	жизнь	252	5	нет	233	5,5	дурак	213	5	большой	694		
6	плохо	249	6	хорошо	231	5,5	жизнь	213	6	хорошо	677		
7	друг	238	7	плохо	221	7	деньги	211	7	нет	667		
8	много	212	8,5	деньги	199	8	мужчина	189	8	деньги	587		
9	все	192	8,5	дурак	199	9	хорошо	160	9,5	друг	565		
10	большой	191	10	друг	173	10	друг	154	9,5	дурак	565		
11	дело	185	11	вода	154	11,5	вода	149	12	лес	438		
12	деньги	177	12	есть	146	11,5	красивый	149	12	мужчина	438		
13	быстро	172	13	хороший	145	13,5	лес	148	12	хороший	438		
14	стол	171	16	пумать	142	13,5	мужик	148	14	день	436		
15	день	170	16	жить	142	15	день	147	15	много	429		

I этап РАС (1988–1991)				II этап РАС (1992–1995)				III этап РАС (1995–1997)				Сводные данные по трем этапам			
Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. Его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. Его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. Его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. Его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. Его стим.	
16	радость	168	16	идти	142	16	смерть	145	16	любовь	428				
17	мир	165	16	любовь	142	17	ребенок	142	17	работа	426				
18	ребенок	160	16	работа	142	18	работа	140	18	вода	420				
19	разговор	159	19	говорить	139	19	любовь	138	19	ребенок	413				
20	думать	158	20	все	138	20,5	парень	137	21,5	радость	404				
21	лес	157	21	красивый	137	20,5	хороший	137	21,5	все	404				
22,5	время	156	22	радость	134	22	грязь	132	22	дело	390				
22,5	хороший	156	24	дорога	133	23	война	128	23,5	плохой	378				
24	дурак	153	24	лес	133	24	машинка	126	23,5	смерть	378				
25,5	говорить	149	24	смерть	133	25,5	левушка	124	25	быстро	371				
25,5	мужчина	149	26	мой	130	25,5	плохой	124	26	стол	369				
27	любовь	148	27	плохой	127	27	мальчик	120	27	парень	368				
28	долго	145	28,5	много	120	28	страх	117	28	дорога	361				
29	работа	144	28,5	я	120	29	красный	116	29	мир	360				
30	свет	137	30	день	119	30	дерево	113	30	говорить	355				

цессе социализации. В силу этого культура не может быть отвлеченно-человеческой, она всегда конкретно-человеческая, т.е. этническая.

Константность восприятия на уровне культуры как системы сознания, связанной с определенным этносом, обеспечивается именно культурными стереотипами сознания, т.е. парадигмами образов сознания, которые понимаются как способы восприятия и которые накапливаются в виде репертуара структурированных контекстов (схем, фреймов). Так, например, Н.И. Жинкин понимал образ сознания именно как образ восприятия. “Но ведь образ – это не предмет распознавания, а способ восприятия. Образ Кассиопеи создан в восприятии и памяти, а на небесном своде имеются лишь дискретные звезды...” [Жинкин 1982, 52]. Наше восприятие обусловлено опытом, образованием, языком, культурой. При определенных обстоятельствах (в том числе, и когда речь идет о представителях разных этносов культур) одни и те же стимулы могут привести к различным ощущениям, а различные – к одинаковым. Нет и не может быть нейтрального языка наблюдений, который строился бы только по “отпечаткам” на органах чувств. Современная научная картина мира более не предполагает, что материальный мир можно описать однозначно объективно, как это было у Декарта. По Н. Бору и В. Гейзенбергу [Bohr 1934; Heisenberg 1971], реальность конструируется ментальными актами и зависит от того, что и как мы выбираем для наблюдений.

Культура это и то, что вносит в личность смысл, значение. Следовательно, культуру можно понимать и как систему сознания, связанную с определенным этносом как коллективной личностью.

Возможность создания ассоциативного словаря любого языка основывается на психологическом представлении о связях единиц сознания в психике человека. В качестве единиц сознания могут фигурировать образы восприятия, представления, понятия, эмоции, чувства. Для построения ассоциативного словаря существенно, что получаемые в эксперименте ассоциации в ответах испытуемых обозначаются словом.

С точки зрения психолингвистической технологии Ассоциативный словарь возникает в результате анализа и обобщения материалов свободного ассоциативного эксперимента и содержит данные как о прямых (от стимула к реакции), так и об обратных (от реакции к стимулу) связях между словами, в обоих случаях сопровождаемые количественными показателями, которые позволяют судить о силе этих связей. Применение специальных программ, предназначенных для машинной обработки материалов Ассоциативного словаря, позволяет выявить наиболее вероятные прямые и обратные связи между словами, а также установить силу такой связи и судить о близости

*Таблица 2. Ядро языкового сознания русских
(первые 30 слов)*

САС (1999–2000)

САНРЯ (1968–72)

Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. его стим.
1	жизнь	54	1	человек	75
2	человек	53	2	хорошо	69
3	любовь	52	3	дом	65
4	радость	49	4	друг	51
5	дом	48	5	дело	46
6	хорошо	47	6,5	быстро	45
7	друг	46	6,5	книга	45
8	нет	44	8	хороший	43
9	счастье	40	9,5	нет	42
10,5	есть	37	9,5	жизнь	42
10,5	свет	37	11	стол	39
12,5	плохо	36	12,5	день	38
12,5	я	36	12,5	большой	38
14,5	деньги	34	14	много	36
14,5	большой	34	15	работа	34
16,5	ребенок	33	16	город	33
16,5	мир	33	19	вечер	32
19	добро	29	19	деньги	32
19	жить	29	19	кино	32
19	красивый	29	19	долго	32
21,5	смерть	28	19	плохо	32
21,5	сила	28	22	свет	31
23,5	сильный	27	24,5	хорошая	29
23,5	всегда	27	24,5	дорога	29
25,5	много	26	24,5	ребенок	29
25,5	все	26	24,5	что-то	29
27	любить	25	28,5	время	28
28	время	24	28,5	урок	28
29,5	зло	23	28,5	товарищ	28
29,5	умный	23	28,5	тетрадь	28

значений слов, рассматриваемых как максимально близкие, если они связаны с одним и тем же набором слов и силы этих связей равны.

Основным инструментом построения любого ассоциативного словаря является широко используемая в психологии и психолингвистике методика свободного ассоциативного эксперимента. С помощью этой методики можно судить об особенностях функционирования языкового сознания человека и способах построения речевого высказывания, обычно не осознаваемых носителями языка и не выявляемых другими способами исследования.

Материалы свободного ассоциативного эксперимента дают возможность получить информацию относительно психологических эквивалентов “семантических полей” и вскрыть объективно существующие в психике носителя языка семантические связи слов.

Еще одно преимущество изучения ассоциативных реакций заключается в том, что эти материалы можно рассматривать как специфичный для данной культуры и языка “ассоциативный профиль” образов сознания, которые интегрируют в себе умственные и чувственные знания, которыми обладает конкретный этнос.

Одним из способов изучения системности образа мира по материалам массового ассоциативного эксперимента является выявление ядра языкового сознания, т.е. тех единиц семантической сети, которые имеют наибольшее число связей с другими единицами данной семантической сети (представленной в виде Обратного ассоциативного словаря, см., например, т.т. 2, 4, 6 РАС).

Как мы видим, системность языкового сознания русских, вскрытая по результатам массовых ассоциативных экспериментов, остается достаточно стабильной.

Совпадения в ядре языкового сознания русских по данным САНРЯ и РАС (сводные данные):

Первые 10 слов – совпадают 6 (человек, хорошо, дом, друг, нет, жизнь)

Первые 20 слов – совпадают 12 (+хороший, день, большой, много, работа, деньги)

Первые 30 слов – совпадают 18 (60%) (+дело, быстро, стол, плохо, дорога, ребенок)

Совпадения в ядре языкового сознания русских по данным САНРЯ и первого этапа РАС:

Первые 10 слов – совпадают 6 (человек, хорошо, дом, друг, нет, жизнь)

Первые 20 слов – совпадают 12 (+дело, быстро, стол, день, большой, много)

Первые 30 слов – совпадают 19 (63,3%) (+время, ребенок, свет, плохо, долго, работа, хороший)

Совпадения в ядре языкового сознания русских по данным САНРЯ и САС:

Первые 10 слов – совпадают 6 (человек, хорошо, дом, друг, нет, жизнь)

Первые 20 слов – совпадают 8 (+большой, деньги)

Первые 30 слов – совпадают 13 (43,3%) (+много, плохо, свет, ребенок, время).

Совпадения в ядре языкового сознания по данным РАС (сводные данные) и САС:

Первые 10 слов – совпадают 6 (человек, жизнь, дом, хорошо, друг, нет).

Первые 20 слов – совпадают 12 (+любовь, радость, плохо, деньги, большой, ребенок)

Первые 30 слов – совпадают 17 (56,6%) (+мир, смерть, много, все, день).

Таким образом, мы видим, что центральными для языкового сознания русских (начиная, по крайней мере, с 60-х годов XX века)

являются такие понятия, как человек, дом, жизнь, хорошо, друг, нет.

Данные раннего онтогенеза также показывают, что “ЧЕЛОВЕК, ДОМ, ХОРОШО, БОЛЬШОЙ, ГОВОРИТЬ, а также негатор НЕ (в РАС маркирован как НЕТ) являются смысловыми доминантами русской языковой личности... эти доминанты действуют в семантической системе ребенка с трехлетнего возраста” [Соколова 1998, 17]. А к шести годам к ним добавляется ДРУГ.

Материалы свободных ассоциативных экспериментов позволяют не только вскрыть стабильность структуры языкового сознания и, тем самым, ее определенную соотнесенность со структурой этнических констант, но и проследить за теми изменениями, которые в ней произошли. В качестве материала для анализа были взяты ассоциативные поля 196 существительных, прилагательных и глаголов, использовавшихся в качестве слов-стимулов в Словаре ассоциативных норм русского языка (САНРЯ) [под ред. А.А. Леонтьева, М.: МГУ, 1977] и в Русском ассоциативном словаре (РАС) [Ю.Н. Каракулов и др. т. 1. М., 1994]. Оба словаря являются результатом обработки материалов массового ассоциативного эксперимента – так называемого свободного ассоциативного эксперимента с регистрацией первичного ответа. Для САНРЯ материалы собирались в течение 1969–1972 г.г., а для РАС – в течение 1988–1991 г.г.

За двадцать лет произошло весьма существенное снижение уровня стереотипности реакций – в среднем на 12%. При этом первые три наиболее частотные в РАС реакции примерно в 60 % случаев совпадают с первыми наиболее частотными реакциями в САНРЯ. Есть и случаи их полного совпадения, как для стимулов ГАЗЕТА, ДЕВОЧКА, ЗДОРОВЬЕ.

По материалам САНРЯ, три самые частые реакции составляют 37,1% от общего числа реакций, а по материалам РАС, уже всего 29,2%. При этом интересно отметить, что для американцев три самые частые реакции составляют 59% от общего числа ответов, для французов – 37% и для немцев – 38,6% (данные А.А. Залевской).

Качественная структура языкового сознания русских также претерпела весьма существенные изменения. Сознание русских из “монологического” стало “полилогом”, в нем обнаруживается множественность подходов, позиций, оценок, что создает основу для обмена разным содержанием и служит залогом, по М.М. Бахтину, возможностей развития, создания нового содержания.

А теперь, когда мы убедились, что системность языкового сознания, которая вскрывается при анализе материалов массового свободного ассоциативного эксперимента с русскими испытуемыми, является достаточно стабильной и, тем самым, можно предположить, – связана с системой этнических констант, попробуем сравнить полученные для русских данные с данными для трех славянских народов (белорусов, болгар и украинцев) (по материалам САС) (см. табл. 3)

Опираясь на данные, приведенные в табл. 3, можно посмотреть имеются ли совпадения в ядре языкового сознания четырех обследованных выборок испытуемых. Так, совпадающими во всех четырех списках являются следующие слова: ЖИЗНЬ, ЧЕЛОВЕК, ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, ХОРОШО, ДРУГ, СЧАСТЬЕ, ПЛОХО, ДЕНЬГИ, БОЛЬШОЙ – всего 10 (33,3%) (здесь и далее дается русский перевод). Если же мы возьмем только первые 10 слов ядра языкового сознания, то среди них совпадающими для всех четырех выборок будут шесть слов: ЖИЗНЬ, ЧЕЛОВЕК, ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, ДРУГ, СЧАСТЬЕ, т.е. 60%. Для белорусов же, русских и украинцев совпадений еще больше: ЖИЗНЬ, ЧЕЛОВЕК, ДОМ, ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, ХОРОШО, ДРУГ, СЧАСТЬЕ – всего 8 слов – 80%.

В ядре языкового сознания белорусов и русских совпадают, кроме того: ДОМ, КРАСИВЫЙ, ДОБРО, МНОГО, ВРЕМЯ – всего 15 слов (50%). В ядре языкового сознания белорусов и болгар к десяти общим для всех добавляются: МНОГО, МУЖЧИНА, НАДЕЖДА, ЖЕНЩИНА, КРАСОТА – всего 15 слов (50%).

В ядре языкового сознания белорусов и украинцев кроме общих для всех 10 слов совпадают еще: РАБОТА (бел. ПРАЦА – укр. РОБОТА, ПРАЦЯ), ХОРОШИЙ, МУЖЧИНА, НАДЕЖДА, ЖЕНЩИНА, КРАСИВЫЙ, ДЕВУШКА, КРАСОТА, ДОМ – всего 19 (63,3%) (для белорусов) и 20 (для украинцев) (66,7%).

В ядре языкового сознания болгар и русских кроме указанных 10 общих слов совпадающими являются: РЕБЕНОК, СМЕРТЬ, СИЛА, НЕТ, МИР, Я, ВСЕГДА, МНОГО, ВСЕ – всего 19 слов (63,3%).

В ядре языкового сознания болгар и украинцев кроме 10 общих для всех слов совпадают: СИЛА, ЖЕНЩИНА, РЕБЕНОК, МУЖЧИНА, КРАСОТА, СМЕРТЬ, НАДЕЖДА, ДЕНЬГИ – всего 18 слов (60%).

Таблица 3. Ядро языкового сознания (первые 30 слов)

	Русские	Белорусы	Болгары	Украинцы
1	Жизнь (362) 54	чалавек (1392) 65	живот (415) 75	Життя (317) 62
2	Человек (1244) 53	жыццё (404) 65	човек (927) 66	Людина (139) 43
3	Дом (514) 48	радость (330) 53	любов (331) 55	Радість (260) 42
4	Любовь (253) 48	дом (504) 50	приятел (397) 52	Друг (136) 36
5	Радость (248) 48	дапамога (113) 50	много (345) 50	Добре (90) 35
6	Хорошо (384) 46	добра (255) 48	сила (182) 50	Дім (281) 35
7	Друг (365) 45	каханне (303) 44	щастие (375) 49	Любов (109) 34
8	Счастье (334) 40	гроши (450) 42	жена (280) 48	Щастя (277) 32
9	Нет (102) 40	щасце (342) 42	радост (202) 46	Спокой (68) 32
10	Есть (334) 37	събар (313) 42	дете (253) 40	Гроші (186) 30
11	Плохо (329) 35	любоў (109) 42	обич (200) 39	Чоловік (453) 29
12	Свет (175) 35	маці (586) 41	няма (185) 39	Кохання (93) 29
13	Деньги (341) 34	праца (234) 40	болка (100) 39	Розум (135) 27
14	Большой (333) 34	добры (262) 39	мъж (323) 38	Гарний (103) 26
15	Ребенок (240) 33	мужчына (216) 33	яз (109) 37	Надя (53) 26
16	Мир (151) 33	наidзя (125) 33	голям (308) 37	Смерть (154) 25
17	Я (100) 33	жанчына (225) 32	красота (164) 36	сила (115) 25
18	Добро (250) 29	час (174) 32	смърт (313) 36	Робота (100) 25

	Русские	Белорусы	Болгары	Украинцы
19	Жить	(184) 29	съм'я	(193) 31
20	Красивый	(135) 29	прыгожи	(270) 30
21	Смерть	(365) 27	дрэнна	(205) 30
22	Сила	(99) 27	дзяўчына	(195) 30
23	Всегда	(82) 27	люзі	(160) 30
24	Сильный	(279) 26	спакой	(64) 30
25	Много	(186) 26	башка	(131) 29
26	Все	(120) 26	душа	(81) 29
27	Зло	(347) 23	вялік	(286) 29
28	Любить	(160) 23	дабро	(256) 29
29	Время	(144) 23	многа	(138) 29
30	День	(285) 22	прыгажаць	(154) 29
			хубово	(155) 35
			надежда	(124) 34
			пари	(314) 34
			мъка	(111) 34
			винаги	(161) 33
			всичко	(155) 33
			път	(128) 33
			страх	(83) 33
			искам	(86) 32
			лошо	(162) 32
			свят	(117) 31
			мисъл	(78) 31
			Дитина	(81) 25
			Світ	(80) 25
			Великий	(241) 24
			Погано	(83) 24
			Краса	(69) 24
			Товарищ	(73) 24
			Зло	(209) 21
			Жінка	(71) 21
			Світло	(84) 20
			Добрий	(83) 20
			Праця	(68) 20
			Дівчина	(52) 20

Примечание. В скобках указана абсолютная частота встречаемости данного слова в качестве реакции на все слова стимульного списка. Рядом указано количество разных слов-стимулов, реакций на которые является данное слово.

В ядре языкового сознания украинцев и русских дополнительно совпадают: ДОМ, РЕБЕНОК, КРАСИВЫЙ, СМЕРТЬ, СИЛА, СВЕТ, ЗЛО – всего 17 слов (56,6%). Эти данные можно представить в виде следующей таблицы (см. табл. 4).

Таблица 4

	Болгары	Русские	Украинцы
Белорусы	53,3%	50%	63,3%–66,7%
Болгары		63,3%	60%
Русские			56,6%

Как мы видим, наибольший процент пересечений в исследуемом нами фрагменте ядра языкового сознания наблюдается у белорусов и украинцев, затем – у болгар и русских, далее идут болгары и украинцы, русские и украинцы, белорусы и болгары. Меньше всего совпадений у белорусов и русских.

Попробуем проанализировать содержание ассоциативных полей слов, входящих в ядро сознания всех четырех выборок испытуемых. Начнем со слова ЧЕЛОВЕК (см. табл. 5).

Таблица 5

ЧАЛАВЕК белорусский		ЧОВЕК болгарский		ЧЕЛОВЕК русский		ЛЮДИНА украинский	
добры	34	животно	35	животное	23	розумна	22
мужчына	28	същество	28	умный	21	добра	20
жывёла	26	маймуна	23	хороший	20	гарна	10
разумны	25	добръ	21	обезъяна	19	тварина	12
істота	23	мъж	19	друг	17	істота	11
розум	18	личност	13	существо	17	життя	10
жыщцё	15	приятел	11	разумный	14	звір	9
звер	14	хора	9	зверь	12	особистість	8
асоба	13	голям	7	мужчина	12	розум	7
я	13	душа	7	жизнь	11	чесна	7

Как мы видим, среди самых частотных реакций на слово-стимул ЧЕЛОВЕК во всех четырех ассоциативных полях присутствует соотнесение человека с животным, с (живым) существом, зверем (у болгар эта реакция также присутствует, но с частотой 5) и, прежде всего с обезьянкой (у болгарских испытуемых реакция мална (обезъ-

яна) имеет частоту 11, а у украинских испытуемых эта реакция как бы “рассыпается” на три: *мавна* (мартышка) 3, *макака* 1 и *обізяна* 1, но продолжает быть, как и во всех остальных группах испытуемых самым “упоминаемым” животным), он *хороший, умный* и это, прежде всего *мужчина и личность* (у русских испытуемых эта реакция имеет частоту 8), а также *друг* (у белорусских испытуемых эта реакция имеет частоту 8, а у украинских – 4). И отличительным признаком ЧЕЛОВЕКА является *ум (разум)*.

Необходимо отметить, что в ассоциативном поле слова-стимула ЧЕЛОВЕК в 1 томе “Русского ассоциативного словаря” [М., 1994] (далее РАС), материалы для которого собирались в 1988–1991 гг., почти отсутствуют такие реакции, как *личность* и *мужчина* (из 542 испытуемых эти реакции дали только 4). За десять прошедших лет мы имеем в этом плане весьма существенные изменения в сознании русских, которые отразились в ответах наших испытуемых: реакция *мужчина* вошла в число первых десяти наиболее частотных реакций на стимул ЧЕЛОВЕК, а частота реакции *личность* удвоилась. Единичной является в ассоциативном поле слова-стимула ЧЕЛОВЕК у русских испытуемых по материалам РАС и реакция *женщина*. Посмотрим, как обстоит дело в материалах наших экспериментов. Так, у испытуемых-белорусов на слово-стимул ЧЕЛОВЕК реакция *мужчина* появляется 28 раз, а реакция *жанчина* только 3 раза; у испытуемых-болгар реакция *мъж* встречается 19 раз, а реакция *жена* – 5; у испытуемых-русских реакция *мужчина* имеет частоту 12, а реакция *женщина* вообще отсутствует; у испытуемых-украинцев реакция *чоловік* появилась 5 раз, а реакция *жінка* – 1 раз. Как мы видим, испытуемые всех четырех выборок интуитивно склонны представлять человека скорее как мужчину, чем как женщину, и особенно ярко это проявляется у белорусов.

Мы видим, что и реакция *я* на слово-стимул ЧЕЛОВЕК только у белорусов вошла в число десяти наиболее частых (у болгар ее частота равна 5, у русских – 3, у украинцев она вообще отсутствует).

Всем четырем группам испытуемых ЧЕЛОВЕК представляется скорее хорошим, чем плохим:

- белорусы – *добры* 34 / *дрэнны* 1,
- болгары – *добър* 21 / *лоши* (плохой) 4,
- русские – *хороший* 20 / *плохой* 2,
- украинцы – *добра* 20 / *погана* 2.

И скорее другом, чем врагом:

- белорусы – *сябар* 8 / *вораг* 1;
- болгары – *приятел* 11 / *враг* 3;
- русские – *друг* 17 / *враг* 4;
- украинцы – *друг* 4 / *ворог* 3.

Отмеченная нами [Уфимцева 1996] свойственная русским своеобразная планетарность мышления, выразившаяся в том, что человек соотносится с такими понятиями, как земля, космос, вселенная, оказалась устойчивой характеристикой ассоциативного поведения русских испытуемых и через 10 лет: по-прежнему с ЧЕЛОВЕКОМ ассоциируется *вселенная, земля, цивилизация, мир*. Однако эта особенность свойственна и всем остальным группам наших испытуемых. Так, белорусы ассоциируют ЧЕЛОВЕКА с *землей, миром, планетой, обществом*; болгары – с *землей, эволюцией, космосом, обществом, человечеством, вселенной*; украинцы – с *вселенной, землей, космосом, обществом*. И все группы испытуемых устойчиво связывают человека с жизнью.

Наряду с отмечаемым в ассоциативном поле слова-стимула ЧЕЛОВЕК у всех четырех групп испытуемых представлении о человеке как о социальном животном, у них присутствует и представление о человеке как о творении Божием: у белорусов об этом свидетельствуют такие реакции, как *душа 2, Бог 2, Божие стварение 1*; у болгар – *душа 7, Бог 3, създание 2, Адам 1, творение 1, тленность 1*; у русских – *Бог 3, душа 1, тайна 1, творение 1*, а у украинцев – *Бог 1, Ісус Христос 1, Адам 1, дитя Боже 1, створіння 3, творіння Бога 1*. Необходимо отметить, что среди реакций на стимул ЧЕЛОВЕК в РАС у русских испытуемых встречается один раз только слово *Бог*.

Естественно встает вопрос, являются ли выявленные особенности структуры языкового сознания четырех славянских народов универсалиями, или они являются следствием близости языков и культур.

Воспользуемся для этого, во-первых, материалами “The Associative Thesaurus of English” [Kiss & all. 1972], а также материалами свободного ассоциативного эксперимента, проведенного с носителями вьетнамской культуры на том же списке слов-стимулов, что и в экспериментах с носителями славянских языков.

Начнем с анализа сходств и различий в ядре языкового сознания вьетнамцев и носителей четырех славянских культур. Необходимо указать, что ядро языкового сознания вьетнамцев получено в результате обработки материалов свободного ассоциативного эксперимента со 108 испытуемыми, что значительно меньше нашей выборки испытуемых, и требует дальнейшего уточнения.

*Таблица 6. Совпадение в ядре языкового сознания
(данные в % по первым 30 словам)*

	Белорусы	Болгары	Русские	Украинцы
Вьетнамцы	43,3%	33,3%	43,3%	43,3%

Как мы видим, совпадений в ядре языкового сознания между носителями вьетнамской культуры и четырех славянских значительно меньше, чем между самими носителями славянских культур. Отметим также, что и в центре языкового сознания вьетнамских испытуемых стоит слово *жизнь*.

И ЧЕЛОВЕКА вьетнамские испытуемые прежде всего ассоциируют с *жизнью* (18), и, как указывает Нгуен Тхи Хыонг [2000], отличительной особенностью языкового сознания вьетнамцев является представление о человеке в составе толпы, человек не мыслится как личность, а как некое множество (*друзья, дети, много людей, человечество*).

В центре языкового сознания англичан стоят два слова: *me* (1087), *man* (1071). Центральная позиция “Я” в языковом сознании англичан резко отличает их и от четырех групп славянских испытуемых, и от вьетнамцев. Для англичан *man* прежде всего связан с *woman* (66). *Man* – это *boy* 2, *child* 1, *creation* 1, *father* 1, *eater* 1, и ему приписываются такие качества, как *strong* 3, *alive* 1, *fat* 1, он также соотносится с *ape* 1 и с *mankind* 1. Признаками ЧЕЛОВЕКА (мужчины) для англичан являются *beauty*, *power*, *sex*, но возможна и такая характеристика, как *nonsense*.

Если же мы сравним ядро языкового сознания русских по данным РАС и ядро языкового сознания по данным “The Associative Thesaurus of English”, то увидим, что процент совпадений составляет всего 42,6% (из 75 слов совпадают 32), а структура ядер принципиально различна (см. табл. 7).

Наши данные, таким образом, подтверждают представление, что, в основе каждой культуры лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Инвариант “образа мира” обусловлен лежащими в его основе социально выработанными опорами (прежде всего значениями) и, в свою очередь, может быть единым для всего социума (социально-культурной общности, этноса) или для определенной группы (социально-культурной) внутри данного этноса [Леонтьев, 1993]. За словом родного языка, которым ребенок овладевает в онтогенезе, стоит целостный образ сознания, состоящий из двух слоев: бытийного (включающего биодинамическую ткань живого движения и действия и чувственный образ) и рефлексивного (включающего значение и смысл) [Зинченко 1991]. За телом знака (словом в его звуковой или графической материальности) стоит живая клеточка образа мира конкретной культуры. Системность же значений есть отражение системности самой культуры, той структуры космоса (образа мира), которая в ней сформирована.

Займствование из одной культуры в другую некоторого культурного явления оказывается возможным лишь на уровне рефлек-

Таблица 7. Ядро языкового сознания англичан¹

Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. его стим.	Ранг	Ассоциат	Кол-во вызв. его стим.
1	me	1087	26	nice	483	51	dead	371
2	man	1071	27	red	477	52	ship	369
3	good	881	28	now	461	53	music	363
4	sex	847	29	hard	451	54	noise	360
5	no	805	30	white	450	55	cold	352
6	money	750	31	woman	445	56.5	women	351
7	yes	743	32	bed	432	56.5	you	351
8	nothing	713	33	school	431	58	men	345
9	work	686	34	help	427	59	happy	340
10	food	676	35	pain	426	60	drink	339
11	water	669	36	sea	425	61	head	337
12	people	664	37	dog	419	62	hair	336
13	time	630	38	never	415	63	great	333
14	life	629	39	of	413	64	tree	332
15	love	622	40	old	402	65	church	331
16	bad	615	41	book	401	66	fear	330
17	girl	581	42	paper	399	67	boy	328
18	up	565	43	down	398	68	horse	326
19	car	550	44	green	395	69	it	322
20	black	549	45	in	388	70.5	war	321
21	what	545	46	person	387	70.5	word	321
22	house	539	47.5	fir	37	72	fool	316
23	out	535	47.5	to	37	73	friend	311
24	death	518	49	rubbish	374	74	fat	309
25	home	501	50	light	373	75	fun	306

сивного слоя сознания (то знание, которое осознается), бытийный же слой сознания заимствованию не поддается. Таким образом, сформировавшийся в культуре-реципиенте образ сознания будет обречен на ущербность и длительное “врастание” в культуру, в результате которого в культуре-реципиенте будет сформирован свой бытийный слой сознания, отличающийся от бытийного слоя сознания культуры-донора. Да и рефлексивный слой вряд ли будет скопирован полностью.

¹ Данные приводятся по работе А.А. Залевской [Залевская, 1981]. Ранги ассоциатам приписаны нами.

Второй же причиной того, что заимствование (предмет или явление) никогда не получит в культуре-реципиенте того значения, которое оно имело в культуре-доноре, кроется в том, что, заимствуя некоторое явление, мы не можем заимствовать его системные признаки, т.е. его место и роль в культуре-доноре. Именно в силу этого прав Н.С. Трубецкой, который утверждал, что собственный вклад в культуру должен намного превосходить объем заимствований. Только в этом случае культура останется живым творческим инструментом развития этноса.

ЛИТЕРАТУРА

- Бердяев Н.А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
- Выготский Л.С.* Мышление и речь// Выготский Л.С. Собр. соч., М., 1982. Т. 2. С. 5–361.
- Жинкин Н.И.* Речь как проводник информации. М., 1982.
- Залевская А.А.* О комплексном подходе к исследованию закономерностей функционирования языкового механизма человека // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981. С. 28–44.
- Зинченко В.П.* Проблема “образующих” сознание в деятельностной теории психики// Вестник МГУ. Серия 14. Психология. 1988. Т. 3. С. 25–34.
- Ильин И.А.* Путь духовного обновления // Путь к очевидности. М., 1993. С. 134–289.
- Леонтьев А.А.* Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М., 1993.
- Лурье С.В.* Историческая этнология. М., 1997.
- Маркарян Е.С.* Очерки теории культуры. Ереван, 1969.
- Нгуен Тхи Хыонг.* Мир в образах сознания вьетнамцев // Языковое сознание и образ мира. М., 2000.
- РАС – Русский ассоциативный словарь / Сост. Ю.Н. Карапулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова. Т. 1–6. М., 1994–1998.
- САНРЯ – Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А.А. Леонтьева. М., 1977.
- САС – Славянский ассоциативный словарь. Рукопись.
- Тарасов Е.Ф.* Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996. С. 7–22.
- Трубецкой Н.С.* История. Культура. Язык. М., 1995.
- Уфимцева Н.В.* Русские: опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996. С. 139–162.
- Уфимцева Н.В.* Этнический характер, образ себя и языковое сознание русских // Языковое сознание: формирование и функционирование. М., 1998. С. 135–170.
- Хомяков А.С.* О старом и новом // А.С.Хомяков. Соч. в 2-х томах. Т. 1. М., 1994. С. 456–470.
- Bohr N.* Atomic physics and human knowledge. N.Y., 1934.
- Heisenberg W.* Physic and beyond: Encounters and conversations. N.Y., 1971
- Kiss G., Armstrong C., Milroy R.* The Associative Thesaurus of English. Edinburg, 1972.

Л.П.Крысин

(Россия)

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОСТЕРЕОТИПОВ (постановка проблемы)

В данной статье *этностереотип* понимается как **стандартное представление, имеющееся у большинства людей, составляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в другой или в собственный этнос** (естественно, возможны и другие толкования этого термина)¹.

В современной этнографии, культурологии и социальной психологии тема этностереотипов весьма популярна. Однако в лингвистике она изучена недостаточно. Одна из первоначальных задач такого изучения – отделить лингвистический аспект темы от всех остальных, понять, что в этой проблематике заведомо не относится к компетенции языковедов. Например, вопрос о том, насколько соответствует тот или иной стереотип реальным свойствам представителей данного этноса, находится, по-видимому, вне сферы лингвистики и ее интересов.

В чем состоит лингвистический аспект изучения этностереотипов? Прояснению ответа на этот вопрос, возможно, поможет рассмотрение двух связанных друг с другом подходов.

Во-первых, важно понять, какие сферы жизни того или иного народа, личностные свойства людей, составляющих его, их интеллектуальные, психические, антропологические особенности становятся объектами оценки. Очевидно, что это разного рода *оценки*, то, что “не похоже”, что *выделяет* данную национальную культуру среди других. Повторяемость отрицательных или положительных оценок, их массовость (среди представителей данного этноса) и устойчивость во времени – условие формирования этностереотипов. Объектами оценки, в частности, могут быть национальные традиции и обычаи, модели повседневного поведения, чер-

¹ Как кажется, понятие этностереотипа перекликается с понятием *коннотации*, которое определяется как стандартная, устойчивая ассоциация, которую вызывает в языковом сознании носителей языка употребление того или иного слова в данном значении (напр., употребление слова *осел* в его прямом значении у носителей русского языка вызывает ассоциацию с такими свойствами, как тупость и упрямство); определение понятия *коннотация* и типологию коннотативных смыслов см. в [Иорданская, Мельчук, 1980; Апресян 1995].

ты национального характера, особенности анатомии, физических движений, походки, речи и многое другое. Ср. стереотипное представление о грузинах, запечатленное в современных русских анекдотах: «Это человек заметный, шумный, пестро, часто безвкусно, но всегда “богато” одетый. Больше всего на свете грузин озабочен тем, что у него чего-то нет, он очень любит прихвастинуть, показать свое реальное или мнимое богатство... Грузины в русских анекдотах – люди гостеприимные, любящие компанию, застолье, тосты; щедрые, иногда слишком щедрые... Грузины преувеличенно мужественны, но при этом отношение к женщине у них “восточное”, как к низшему существу...» [Шмелева, Шмелев 1999, 163].

Во-вторых, необходимо выделить языковые единицы – слова, фразеологизмы, синтаксические конструкции, которые можно интерпретировать как средства обозначения этнических стереотипов.

Это могут быть:

– слова, в свернутой форме содержащие в своих значениях оценку свойств типичного представителя другого этноса; таково, напр., жаргонное чурка – о жителе Средней Азии; в основе лежит представление о нем как о непонятливом и даже тупом, хотя в действительности он просто плохо понимает русский язык; значение просторечного глагола *выцыганиТЬ* ‘получить что-либо у другого лица в результате настойчивых, надоедливых просьб’ основывается на пресуппозиции, согласно которой цыгане умеют добиваться своего именно путем таких просьб; диалектно-просторечное *жидЫТЬСЯ* ‘скупиться, жадничать’, образованное от существительного *жид* в его бранном значении ‘скупой, как скупы все евреи’, и др.;

– атрибутивные словосочетания, где определение – прилагательное, образованное от этнонима, а определяемое – имя какого-либо свойства человека: *американская деловитость, английская чопорность, с немецкой аккуратностью (дотошностью), русский размах* и т.п.;

– генитивные словосочетания, где в позиции подчиненного генитива – этноним, а в позиции синтаксического хозяина – имя какого-либо человеческого свойства: *Он добивается своего с упорством китайца*;

– сравнительные обороты: *точен, как немец; холоден, как англичанин; молчалив, как финн* и т.п.; интересно изучить разное лексическое “наполнение” этой сравнительной конструкции: первый компарат – имя свойства, второй компарат – этноним (ср. работы Ю.А. Сорокина – напр. [Сорокин 1977]); для выявления национально обусловленных различий в такого рода сравнительных конструкциях возможен (и он реально применяется) устный опрос или письменное анкетирование информантов;

- фразеологизмы: *уйти по-английски*; ср. в английском языке выражение *French leave* ‘ход без прощания’ (буквально: ‘ход по-французски’) – см. [НБАРС-1, 818];
- пословицы, поговорки, включающие этнонимы и эксплицитно или имплицитно указывающие на какие-либо свойства представителей соответствующей национальности: *Что русскому хорошо, немцу – смерть; Незваный гость хуже татарина* и под.

Материал для лингвистического анализа этностереотипов могут давать анекдоты, которые часто эксплуатируют расхожие представления о том или ином этносе или какой-либо его группе в качестве сюжетообразующих компонентов; ср., например, анекдоты о габровцах, построенные на представлении о жителях этого болгарского города как о необычайно скупых и экономных людях. Задача лингвистического анализа – выявить способы и средства, которыми передается информация об этих свойствах габровцев. Интересен также вопрос о характерных приметах речи представителей того или иного этноса – типа обращения *кацо* у грузин – героев анекдотов, *однако* – у чукчей, грассирующего [р] и частицы *таки* – в анекдотах про евреев и т.п. (см. об этом [Шмелева, Шмелев 1999]).

Для языкового выражения этностереотипов характерны **обобщение и гиперболизация** тех или иных свойств. Этой цели служат, в частности, кванторные слова типа: все (*Все чехи любят пиво; Все русские бабы – толстые*), всегда (*Немец всегда пунктуален*), никогда (*Англичане никогда не поступаются вековыми традициями ради сомнительных новшеств современной цивилизации*), каждый (*Каждый азиат – многоженец; У каждого американца есть автомобиль, а то и два*), любой (*У бразильцев любой ребенок играет в футбол лучше нашего мастера*)² и т.п.

Интересны также модальные наречия типа *просто, прямо, прямо-таки*, усилительные частицы типа *даже*, оценочные прилагательные *настоящий, истинный, подлинный* и нек. др., которые употребляются в контексте сравнения свойств того или иного лица со свойствами представителя ‘эталонного’ в этом отношении этноса: *Ну и аккуратист! Просто немец какой-то (прямо настоящий немец)!; Ты прямо цыган: умеешь выпрашивывать, что тебе надо; Тут даже финн разговорится* (имеется в виду ситуация, когда способен разговориться и тот, кто обычно молчит) и т.п.

Заслуживают исследовательского внимания случаи переносного употребления некоторых этнонимов (или слов, обозначающих представителей какой-либо расы): например, слово *negr* в русской разговорной речи употребляется в значении ‘человек, который тяжело и не имея никаких прав работает на другого’ (*Нашел себе негра*).

² О гиперbole в русской разговорной речи см. [Крысин, 1988].

*gra: ишачь на него, а он будет деньги ограбить!*³). Переносные значения имеют и некоторые прилагательные, образованные либо от этнонимов, либо от имен стран и материков; ср.: *азиат* в значении ‘некультурный, грубый человек’, *азиатский* ‘дикий, грубый’⁴ (ср. также производное *азиатчина*), употребление слов *африканский*, *китайский* в составе устойчивых оборотов *африканские страсти*, *китайская грамота*, *китайские церемонии* и нек. др. В основе подобных переносных употреблений, как это вполне очевидно, – определенные представления об эмоциональном мире, о характере менталитета или культурных традициях тех или иных народов.

Следующий шаг на пути лингвистического анализа этностереотипов – установление того, каким образом отображаются стереотипные представления об этносе в значениях языковых единиц.

Если это слова, то естественно задаться вопросом: в какой части лексического значения помещается эта информация – в ассерции, в пресуппозиции или в оценочной части? Ответ на этот вопрос можно получить, лишь истолковав значения имен этностереотипов, а также выявив коннотации, которыми сопровождается у говорящих – представителей данной этнической общности употребление языковых единиц, так или иначе связанных с представлениями о другом этносе, – например, таких этнонимов, как *француз*, *немец*, *англичанин*, *чукча*, *еврей*, *татарин* и т.п., кличек и прозвищ (часто обидного, иногда – шутливого характера), которые даются представителям тех или иных этносов: напр., *макаронники* – об итальянцах, *чернота*, *чернорожие*, *черножопые* – о жителях Кавказа на неисконных (преимущественно российских) территориях их проживания, *саранча* – о китайцах, незаконно проникающих на территорию Дальнего Востока и юго-восточной Сибири, и др.

Такого рода коннотации могут быть обусловлены не только этнически, но и социально: внутри одного этноса употребление одних

³ Это значение слова *negr* в русском языке сравнительно новое. Ни в словаре под ред. Д.Н. Ушакова, ни в более поздних Большом и Малом академическом словарях, “Словаре русского языка” С.И. Ожегова оно не зафиксировано. По-видимому, первая его регистрация – в [Ожегов, Шведова, 1992], где оно приведено с пометой “перен.”; в [Крысин, 1998] оно снабжено, кроме того, пометой “разг.”.

⁴ В словаре под ред. Д.Н. Ушакова это значение указано как устаревшее, а слово *азиат* в значении ‘некультурный, грубый человек’ снабжено таким комментарием: “возникло на почве высокомерно-пренебрежительного отношения европейцев к колониальным народам” [Ушаков, 1935, 18]. Такое осмысление слов *азиат*, *азиатский* не уникально для русского языка: ср., напр., английское существительное *Asianic* ‘азиат’, которое в [НБАРС-1, 148] сопровождается пометой: “часто пренебр[ежительно]”; в американском сленге употребительно прилагательное *Asianic* в значении ‘дикий, необузданный, эксцентричный’ [APCSC, 15].

и тех же этнонимов нередко сопровождается разными дополнительными смыслами. Отсюда – мостик к еще одной теме, связанной с данной: *социальные стереотипы, или социо-стереотипы*, и лингвистический аспект их изучения.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян Ю.Д. Коннотация как часть pragматики слова // Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 2. М., 1995. С. 156–177.
- APCASC – Англо-русский словарь американского сленга / Пер. и сост. Т. Ротенберг и В. Иванова. М., 1994.
- Иорданская Л.Н., Мельчук И.А. Коннотация в лингвистической семантике // Wiener slawistischer Almanach. Wien, 1980. В. 6. С. 191–210.
- Крысин Л.П. Гипербола в русской разговорной речи // Проблемы структурной лингвистики. 1984. М., 1988.
- Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
- НБАРС-1 – Новый большой англо-русский словарь. Тт. 1 – 3. Под общим руководством Э.М. Медниковой и Ю.Д. Апресяна. Т. 1. М., 1993.
- Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992.
- Сорокин Ю.А. Роль этнопсихолингвистических факторов в процессе перевода // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. С. 166–174.
- Толковый словарь русского языка. Т. 1–4 / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1.
- Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. “Неисконная русская речь” в восприятии русских // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. М., 1999. С. 162–169.

В. Крупа, С. Ондрейович

(Словакия)

ЯЗЫК

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

*Nyelvbenél a nemzet
(Народ живет в своем языке)*

Венгерская пословица

Эта статья – непосредственная реакция на полемическую статью, опубликованную на венгерском языке под названием *Nyelvészek a nyeltörvényről* (*Magyar tudomány*, 9, 1997, с. 1070–1076) группой венгерских лингвистов. Авторы прислали эту статью в Институт языкоznания им. Л. Штура (в английском варианте, под названием *Linguists on the Language Law*) с предложением открытой дискуссии о

языковой политике. Оба варианта, венгерский и английский, подписали *Csilla Bartha, Jeff Harlig, Aleksandr Jarovinskij, Ilona Kassai, Csaba Pléh, Zita Réger, Andrea Agnes Reményi*. Следует добавить, что речь идет о полемической статье, которой свойственны типичные особенности и крайности полемики: подчас авторы борются не столько с фактами, сколько со своим представлением о них. При этом это представление зачастую связано не только с недостаточным знанием соответствующих фактов и обстоятельств – определенную роль тут играют также побуждения и соображения, не очевидные с первого взгляда для непосвященного читателя.

По мнению наших авторов, применение закона о языке может повлечь за собой нарушение как общих, так и языковых прав человека, и попытка законодательно повлиять на языковое поведение человека ни к чему хорошему привести не может. Однако такое мнение представляется нам странным: неужели сейчас, в эпоху, когда звучат призывы к построению правового государства и законодательному управлению обществом, законные меры не должны затронуть такое ключевое общественно-культурное явление, как язык?

По мнению авторов, закон о языке отражает отношение к двуязычию как к явлению периферийному, несистемному и переходному, которое следовало бы устраниТЬ законным путем. Однако к такому выводу можно прийти, только если абстрагироваться от законных мер, связанных с использованием у нас языков национальных меньшинств и в первую очередь с формами просвещения для национальных меньшинств в Словакии. Например, в США меньшинства борются за то, чтобы добиться хотя бы двуязычного образования, а в школах для национальных меньшинств в Венгрии язык меньшинства преподается как иностранный.

Нельзя также полностью согласиться с тем, что наш закон по-разному расценивает различные языки (имеется в виду соотношение словацкого языка и языков меньшинств). Действительно, словацкий язык получил статус государственного, но не более того. Всем нам хорошо известно, что в Словакии существует не только венгерское национальное меньшинство, но и другие – в таком случае, язык каждого из них должен был бы функционировать на уровне государственного? Где найти столько чиновников, которые владели бы наряду со словацким также венгерским, немецким, русинским, украинским, цыганским и т.д.? Даже если допустить, что в большинстве случаев в каждой области было бы достаточно владеть лишь некоторыми из названных языков, все равно на практике нечто подобное представляется нам трудноосуществимым, так что здесь венгерские авторы несколько увлекаются. То же, как нам кажется, можно сказать и об их утверждении, что язык никак принципиально не связан с национальным самосознанием.

Критическое отношение вызывает также упоминание о некоторых штрафах, а то и уголовном преследовании за “неправильный словацкий язык”, которые якобы грозят тем, кто недостаточно владеет литературным языком, будь то представители национальных меньшинств или же словаки, говорящие только на диалекте. В своей статье мы подробно рассмотрим эти, и многие другие наши возражения.

Среди специалистов по типологии и классификации языков сейчас распространено мнение, что в настоящее время в мире существует от четырех до пяти тысяч языков. Еще в недавнем прошлом это число было значительно большим, поскольку по разным причинам исчезло много языков, многие продолжают исчезать и сейчас. Процесс исчезновения языков продолжается во всех частях Нового света, а также в Африке, Австралии, Океании и в Азии. Постепенное вымирание языков на всех континентах заставляет лингвистов размышлять о вопросах языковых прав, языкового планирования и языковой политики.

Большая часть лингвистов придерживается мнения, что различные языки в принципе равнозначны, если, конечно же, понимать равнозначность языков как их коммуникационную адекватность по отношению к нуждам соответствующих языковых сообществ, включая способность всех языков приспособливаться к постоянно меняющимся языковым требованиям (несмотря на их существенно различающиеся типологические особенности). Однако общепринятый тезис о структурном и эволюционном равноправии языков еще не означает, что равны и те условия, в которых функционируют эти языки сейчас. Каждый язык, являясь составной частью определенной природной, экономической, социальной и культурной среды, в то же время открыт для влияния извне. Все языки формировались в специфических условиях в соответствии с потребностями тех сообществ, которые ими пользуются. Это же полностью относится к языкам, которые развиваются достаточно медленно, стабильно и в стабильных условиях. В XX в. условия существования многих языковых сообществ изменились намного быстрее, чем раньше, что вело к ускорению темпа языковых изменений, в особенности в области лексики, синтаксиса и стилистики. Под влиянием процессов глобализации эти сообщества все активнее включаются в общемировое экономическое, техническое, политическое и в какой-то степени культурное сообщество. Этот процесс, известный также под названием модернизации, сыграл особенно важную роль для неевропейских народов, которые в интересах собственного политического и культурного выживания были вынуждены принять стандарты евроамериканской цивилизации (прежде всего технические и экономические).

Теоретически кажется очевидным, что все языки способны развиваться и адаптироваться, однако, если говорить об их будущем, нельзя обойти два принципиальных вопроса: а) в самом ли деле общественная практика при любых обстоятельствах поддерживает расширение спектра употребления всех языков? б) возможно ли осуществить подобное расширение в относительно краткие сроки без существенных осложнений в коммуникации? Дело в том, что ответы на эти вопросы не обязательно во всех случаях будут положительными. Общеизвестен пример турецкого языка времен революции 1918–1923 гг., когда туристы решили очистить его от арабских и персидских заимствований, заменив их образованными от турецких корней неологизмами. Радикальный пуританский дух в свое время сыграл важную роль также в немецком, чешском и венгерском языках. Поэтому, когда авторы статьи «Лингвисты о “Законе о языке”» обвиняют словаков в пуританстве, создается неверное впечатление, что этим грешат одни словаки. Между тем на самом деле словацкий язык заимствует интернационализмы охотно и в большом количестве. В повседневном употреблении такие слова, как *republika, univerzita, revolúcia, disproporcia, disciplína, dirigovať*, для которых в венгерском языке существуют собственные неологизмы: *köztársaság, egyetem, forradalom, aránytalanság, fegyelmet, vezényel*, которые, по всей вероятности, возникли не сами по себе. В словацком языке тенденции пуританства имели разграничительный характер и были направлены прежде всего против экспансии чешского языка как доминирующего языка в бывшей Чехословакии. Но в настоящее время словацкий язык не чинит ни законодательных, ни иных препятствий заимствованию интернационализмов (в основном греческого и латинского происхождения), которые не только продолжают обогащать литературный язык и терминологию, но все чаще встречаются в речи многих людей, конечно, образованных. Заимствование интернационализмов в словацкий язык шло и продолжает идти очень быстрыми темпами благодаря их высокому престижу, а также фонологической и фонотактической близости греческого и латыни к словацкому языку.

В последние десятилетия в наш язык, также как во многие другие, в большом количестве проникают английские слова, которые благодаря своей необычной фонетической форме часто становятся модными выражениями или профессионализмами или даже терминологическим сленгом. Со временем и их графическая запись, и их произношение, как правило, приспособляются к особенностям словацкого языка. Таким образом снимается противоречие между письменной формой и произношением, типичное для английского языка, но нехарактерное для словацкого. Ситуацию часто усложняют необычные для словацкого окончания существительных, в ре-

зультате чего они становятся несклоняемыми (*meny, šou, loby*), но, несмотря на это, язык их усваивает.

Таким образом, заимствование слов – вполне естественный процесс, при котором по возможности соблюдаются закономерности фонетики словацкого языка как языка воспринимающего. Говорящие на словацком языке (равно как и на других) люди оказались бы в весьма сложной ситуации, если бы проявили ограниченность, препятствуя проникновению в свой язык заимствований – это могло бы замедлить или даже парализовать его адаптационные механизмы. Но то же самое произошло бы и в противоположном случае, так как нерегулированный приток иностранных слов значительно повысил бы возможность осложнений в коммуникации. Такой коммуникационный коллапс угрожал индонезийскому языку в конце 70-х – начале 80-х гг., когда индонезийские средства массовой информации до такой степени затопили поток английских слов, выражений и целых фраз, что широкая общественность почти не понимала газетного языка. Нечто подобное происходило в Турции после младотурецкой революции, только в этом случае нормальному ходу коммуникации препятствовал крайний пуританство.

Таким образом, функционированию языка в обществе мешают обе крайности. Неконтролируемый приток иностранных элементов, часто употребляемых в форме цитирования, при определенных обстоятельствах считается одним из признаков возможной смерти языка. Все сказанное ставит под сомнение утверждение венгерских авторов о том, что “попытка законодательно повлиять на языковое поведение человека ни к чему хорошему привести не может” (с. 1068). Строго говоря, в современных языках идея абсолютной саморегуляции – такая же фикция, как и в экономике и во всех системах, где участвуют мыслящие существа. Представляется, что совершенно спонтанное развитие языка все больше становится делом прошлого, в современном же обществе возрастает роль регулирования. Было бы довольно странно, если бы какие-то языки избегли этой тенденции. Естественно, регулирование языка включает в себя не только юридические меры. Наряду с ними или вместо них применяются также иные средства, менее заметные, но отнюдь не менее серьезно влияющие на направление развития языка. О них авторы статьи «Лингвисты о “Законе о языке”» умалчивают по соображениям, известным им одним. Напомним, что пишет об этих механизмах Э. Хауген, пользующийся огромным авторитетом в области планирования языка и языковой политики: “В широком смысле слова планирование языка может быть *открытым* или *закрытым*, а также *официальным* или *частным*... Открытые правила может подготовить и пропагандировать официальная организация, например, правительство, церковь, школа, причем цер-

ковь и школа могут находиться под контролем правительства” (*Linguistic pluralism as a goal of National policy. Language and Society*, 1969. S. 66). Следует заметить, что мнение Хаугена тем ценнее, что его высказывает норвежец, т.е. представитель малой нации, оказавшейся в прошлом под иностранным гнетом. Далее автор говорит: “Когда читаешь о развитии английского и подобных ему языков, возникает иллюзия, что они просто “росли”; однако это заблуждение. В действительности осуществлялось частное или скрытое регулирование языковых процессов, следы которого может обнаружить лишь очень дотошный исследователь, если будет их специально искать. Скрытые правила иногда строже, чем явные, поскольку их использует на практике все общество: оно наказывает за их несоблюдение неприятием и награждает – принимая. Открытые же правила скорее напоминают письменные законы, за нарушение которых в худшем случае лишь слегка пожурят” (Haugen. Op. cit.).

Кроме того, в этой связи нельзя забывать о различии, зачастую возникающем между законом и его практическим применением. Венгерский закон о языке от 1868 г. (в частности XLIV) допускал возможность введения в школах языков различных национальностей и народностей страны. Тем не менее к 1875 г. правительство в Будапеште ликвидировало все три (!!!) словацкие гимназии, и в течение тридцати лет после 1867 г. на словацком языке перестали преподавать в государственных школах.

В качестве примера открытой языковой политики Э. Хауген приводит ситуацию в России перед 1917 г., а также в Испании и Франции. Англичане, в свою очередь, безусловно предпочитали скрытую и на первый взгляд либеральную альтернативу. По выражению С.Б. Хит, “англичане считали язык показателем происхождения, образования, общественного статуса и развитого языкового сознания” (*Colonial Language Status Achievement: Mexico, Peru and the United States*. Toronto, 1974. S. 9). Э. Хауген так высказался об этих ее словах: “Я бы выразился менее утихо: для англичанина язык – это знак его статуса, а сам факт, что он пользуется этим языком, демонстрирует его превосходство над другими, более низкосортными нациями, не имеющими законов... Англичане не вели открытой языковой политики, придерживаясь чисто практической точки зрения, что всем остальным следовало бы самим понять, как выгодно владеть английским. Тот же, кто этого не поймет – дурак или варвар... И хотя никого не бросили в тюрьму за плохое владение языком, виновные часто оказывались исключенными из общества, что могло привести к потере работы или ограничению сферы деятельности...” (Haugen. Op. cit.). Связь между языком и общественным расслоением была в Англии столь сильна, что Б. Бернштейну трудно было бы

отыскать в Европе более подходящую арену для своей социолингвистической теории.

Может встать вопрос, почему мы так пространно цитируем работу Э. Хаугена? Однако достаточно вспомнить, что до 1918 г. словацкий язык считался в тогдашней Австро-Венгрии второсортным и постепенно исчезал из общественной жизни, в то время как венгерский был во всей империи доминантным. Очевидно, в Австро-Венгрии до конца первой мировой войны использовались закрытые методы языковой политики наряду с открытым законодательством, которое в теории было значительно более широкомасштабным, чем на деле. Отношение правительства, парламента и официозной идеологии к невенгерским нациям осталось суровым. Распространенность таких пословиц, как *Magyar ember hat Courage / Német ember Hundsrott, Bagage* (У венгра есть кураж, а немец – сволочь), *Adjón Isten a mint volt / Hogy szolgáljon a Magyarnak mint a német mint a tót* (Дай Бог, пусть венграм служат немец и словак), *Tót nem ember* (Словак не человек), подтверждает, что распространявшаяся идеологическая фикция о превосходстве венгров как господствующего народа (*uralkodó, nemzet*) была составной частью социальной атмосферы тех лет, когда проявление пренебрежения к невенграм могло сыграть дополнительную психологическую роль в языковой ассимиляции словаков и других невенгров, проводившейся в духе официальной политики. Последняя из упомянутых поговорок (*Tót nem ember*) была также использована в качестве названия статьи за подписью Emod в журнале *Szazadunk* (roc. IV, с. 84, 18. октября 1841), где критиковался автор романа *Bendeguz*. Презрительное отношение к словам проявилось также в большом словаре венгерского языка (*A magyar nyelv teljes szótára*. Budapest, 1873), автором которого был М. Баллаги. В статье *Tót* (т.е. словак) среди других приведены и такие примеры: *Búszul mint a tót kurvaanya után* (Скучет как словак по курве-матери), *Mindenéböl kifosztották, mint tótot az emberségből* (Его лишили всего, как словаика – человеческого облика), *Semmi sem lett belőle, mint a tót fiából* (Ничего из него не вышло, как из сына словаика), *Tót szégyenli nevét* (Словак стыдится своего имени), *Tót nem ember, hanem tót* (Словак – не человек, а словак) (2. zv., s. 653).

Предыдущие строки имели своей целью указать на тот факт, что: (1) в инструментарий языковой политики входят как скрытые, так и открытые средства; (2) при оценке и того, и другого типа этих средств необходимо учитывать также методы их применения. В связи с этим упомянем хотя бы коротко о тех типах языковых ситуаций, в которых законные меры оказывают более успешное воздействие на язык, чем закрытые.

После того, как бывшие колонии обрели политическую независимость, резко расширился диапазон их функций. С такой же функ-

циональной экспансии неизбежно столкнулись и языки тех неевропейских стран, которые не были колонизованы. Причины этих перемен были очевидны. Языки всех неевропейских стран должны были справиться с массированным воздействием западной цивилизации. Оно влекло за собой расширение словарного запаса (в особенности терминологии), синтаксических средств, стандартизацию и устранение глубоких противоречий между литературным и разговорным языком. Вплоть до начала XX в. во многих азиатских странах литературный язык был доступен лишь узкому кругу образованных и обеспеченных людей, разговорный же язык не был стандартизирован, или же там прошел лишь процесс стихийной кодификации.

На территории современной Малайзии правительство Федерализованных Малайских штатов уже в 1904 г. организовало специальную комиссию, уполномочив ее решать языковые вопросы. В 1950 г. в Сингапуре возникла Лига малайского языка (*Lembaga Bahasa Melayu*), а в 1956 г. Совет по языку и литературе (*Dewan dan Pustaka*) в Куала-Лумпуре был переподчинен Министерству просвещения. Деятельность этого совета была связана в основном с вопросами терминологии. После обретения Малайзией независимости в 1957 г. малайский язык был провозглашен государственным (*bahasa kebangsaan* – калька с английского *national language*) при условии, что закон об этом вступит в силу после переходного десятилетнего периода; так и произошло в 1967 г. Очевидно, эта отсрочка мотивировалась тем, что малайский язык был родным меньше чем для половины жителей страны.

В Республике Индонезия уже с 50-х годов проводилась политика централизации и координации всех мероприятий, связанных с языком. По принятой в 1950 г. конституции индонезийский язык является государственным языком всей страны. При этом Народное учредительное собрание в 1955–1959 гг. приняло решение о том, что полную ответственность за развитие индонезийского языка берет на себя государство. В 1952 г. по указу правительства был создан Институт языка и культуры (*Lembaga Bahasa dan Budaya*), который в 1975 г. заменил Центр развития языка (*Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*). Кроме того, в 1972 г. возник Семинар по индонезийскому и малайзийскому языкам (*Majelis Bahasa Indonesia – Malasia*). Он был призван следить за объединением этих языков, которые, в сущности, были разновидностями одного и того же языка. Индонезийский язык как язык общегосударственной коммуникации поддерживает элиту страны, его принимает большинство населения. Сколько-нибудь серьезной оппозиции против объединяющей роли индонезийского языка практически нет.

В Японии существует еще более длительная традиция воздействия на развитие языка. Еще в 1889–1891 гг. по указанию Министер-

ства просвещения был составлен и издан первый современный словарь японского языка *Genkai*. В 1902–1913 гг. Правительственная комиссия по литературному языку (*Kokugo Cōsa linkai*) обсуждала будущие языковые реформы. В 1934 г. Министерство просвещения учредило Совет по государственному языку (*Kokugo Ŝingikai*), который до сих пор действует в качестве совещательного органа при правительстве в области языка и образования. После второй мировой войны (в 1946, 1948, 1959, 1960 и 1981 гг.) правительство инициировало несколько реформ письменности и иероглифов. Для дальнейшего развития и модернизации японского языка эти меры были необходимы.

В отличие от мнения, высказанного в статье венгерских лингвистов, мы убеждены, что этническое самосознание весьма тесно связано с языком. Очень авторитетное и во многих отношениях примечательное пятитомное издание *Language Reform. History and Future* (Hamburg 1983) вышло с весьма примечательным эпиграфом *Nyelvében él a nemzet* (народ живет в своем языке), который и мы избрали эпиграфом для нашей статьи. Большинство авторов этого разностороннего произведения придерживается той точки зрения, что языковое сознание – важная часть этнического самосознания. Авторы рассматриваемой статьи упоминают о том, что Ференц Лист считался венгром, несмотря на незнание венгерского языка, но вряд ли можно согласиться, что этот аргумент убедительно опровергает важность языка в этнической идентичности. Мы полагаем, что значение языка для этнического самосознания может колебаться в пределах определенного диапазона. Можно даже условно выделить “языковые” и “неязыковые” нации (ср. S. Ondrejovič. Zur Abgrenzung ethnischer Identität in der Kommunikation // Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch. Opladen, 1996), однако как венгры, так и словаки относятся к первой категории. На свете очень мало наций, которые смогли сохранить свое этническое самосознание, утратив язык. Самое известное исключение, по крайней мере в Европе – это, конечно же, ирландцы. Евреи, лишившись на многие века собственного языка, тем не менее добились благодаря благоприятным обстоятельствам исключительных успехов в деле возрождения иврита во вновь созданном государстве Израиль.

Язык не поддается чисто лингвистической дефиниции – он является орудием коммуникации и как таковой тесно связан с обществом, его организацией и политикой, равно как с этнической компонентой и культурой. Развитие языка – тоже не чисто лингвистический вопрос. В конце концов, бесперебойное функционирование общественных и государственных органов управления, образования, армии, экономики, средств массовой информации и всех остальных сторон жизни общества зависит от состояния языка, языковой поли-

тики и планирования. Р. Вардхай (Introduction to Sociolinguistics. Oxford, 1988. S. 335) полагает, что языковое планирование стало составной частью государственного строительства, и тенденция к синонимии слов *государство* и *нация* проявляются в современном мире все отчетливее. По его мнению, языковое планирование играет исключительно важную роль в Норвегии, Бельгии, Канаде, Индии, а также в Индонезии, Израиле, Финляндии, Турции, Пакистане и Папуа-Новой Гвинеи (Wardhaugh. Op. cit. S. 336, 343). Кстати, вопросы языковой политики привлекают все большее внимание и в США (Там же. S. 367–348).

Положение словацкого языка и нескольких других европейских языков тех наций, что совсем недавно обрели независимость, в некоторой степени напоминает ту ситуацию, в которой несколько раньше оказались уже упомянутые азиатские языки. Диапазон их функций неожиданно резко расширился, при этом возросла и необходимость в разработке профессиональной терминологии. Поэтому эти языки и их положение следует рассматривать в ином свете, чем уже давно кодифицированные официальные языки прежних многонациональных государств, к которым относятся и бывший Советский Союз, Югославия, а до 1918 г. – и Австро-Венгрия. Учитывая далекодующие последствия изменений в окружающей обстановке, языки впервые возникших государств требуют повышенного внимания квалифицированных и компетентных профессионалов самого высокого уровня. Было бы более чем наивно полагаться на саморегуляцию языка. Конкретные языки существуют в конкретных обстоятельствах, и потому неудивительно, что их развитие зачастую нуждается в определенном вмешательстве. Примечательный успех с внедрением иврита в Израиле и не менее примечательная неудача при аналогичной попытке с ирландским языком в Ирландии – самые убедительные аргументы в пользу целенаправленной и компетентной языковой политики и планирования. Этим должны заниматься специалисты в области культуры и общественные деятели, при этом квалифицированные лингвисты не должны позволить оттеснить себя от этого процесса, оставаясь в роли пассивных наблюдателей или комментаторов – потому, кроме всего прочего, что никакой закон не бывает совершенным, но всегда будет нуждаться в определенных модификациях¹.

¹ Что касается закона о языке в Словацкой республике, в дискуссию о нем включилось большое число авторов. К сожалению, среди них мало профессионалов – преобладают публицисты и дилетанты. Между тем, для того, чтобы в дальнейшем этот закон мог как можно лучше выполнять свое предназначение, он уже на данном этапе заслуживает внимательного отношения специалистов по конституционному праву, лингвистов и юристов. Нам представляется, что

Дилетанты нередко делают неквалифицированные замечания в адрес словацкого языка, упрекая его в "искусственности". В гиперболизированной и несколько шутливой форме это представлено в эссе М. Кусы "Откуда я – да отсюда, я словак по рождению" (*Skadial' som, stadiel' som, slovenského rodu som*, in: M. Kusý: Eseje. Bratislava, 1992). Но на самом деле все литературные языки в той или иной степени "искусственны", поскольку в их формировании принимают активное участие специалисты – или под патронатом правительства, как в Индонезии, или же без его явного участия, как в США. Во всяком случае, в основе литературного языка всегда лежит тот или иной местный диалект, в случае словацкого языка – так называемый центральнословацкий интердиалект. Однако национальный язык, конечно же, более широкое понятие, чем язык литературный, и он включает в себя все территориальные и социальные диалекты, которые и далее продолжают служить потенциальными источниками его последующего развития. Литературный же язык – это в то же время некий идеал, и образование, театр, литература и масс-медиа могут и должны помогать тем, кто говорит на данном языке, приблизиться в своей речевой практике к этому идеалу. Представление о том, что людям, неспособным достичь этого идеала, грозит наказание, ошибочно и противоречит целям конструктивного закона о языке.

У критиков словацкого закона о языке вызывает негативные ассоциации термин *государственный язык*, а также его тяжеловесный и не совсем адекватный английский эквивалент "*state language*". Учитывая сложившуюся в настоящий момент ситуацию, более точным эквивалентом был бы термин "*национальный язык*" и соответствующие ему эквиваленты, напр., во французском и индонезийском языках. В свою очередь, японский язык использует термин "*koku-go*", который можно перевести как "*язык страны*", т.е. государственный язык. Не следует драматизировать вопрос, кто принимает решение о том, владеет ли иноязычный субъект словацким языком лишь в той степени, чтобы язык нацименьшинства мог использоваться без нарушения закона. Решающую роль тут играет возможность или невозможность успешной коммуникации. Однако нельзя не согласиться с венгерскими авторами в том, что в этом смысле наша языковая ситуация обследована недостаточно хорошо. Диалектоло-

следовало бы вернуться к тому, что в этом законе имеются два слоя: с одной стороны, это закон об употреблении языков, на что государство имеет не только право, но и обязано этим заниматься (включая четкие рекомендации об употреблении языков нацименьшинств), а с другой стороны – стремление поднять при помощи этого закона общий уровень языковой культуры. Здесь мы не можем разделить оптимизм авторов закона. Из последних статей на эту тему укажем на книгу Я. Финды (*J. Findra. Jazyk, reč, človek*. Bratislava 1998, в особенностях на главу *Zákon jazyka a jazykový zákon*).

гические исследования ориентированы у нас исключительно на территориальные сельские говоры, а социолингвистические, от которых мы более всего могли бы этого ожидать, пока не стали в Словакии традиционными. Подробное изучение языковой ситуации в Словакии было проведено более 30 лет назад под руководством Эугена Паулини. В настоящее время идет подготовка к продолжению подобного сплошного обследования, который затрагивал бы не только меру владения литературным языком, но и вообще настоящей жизни словацкого национального языка, не исключая также язык наших городов.

Проблематика языковой политики в отношении нацменьшинств в законодательном аспекте часто преподносится в упрощенном виде и с другой точки зрения. Дело в том, что недостаточно одобрить либеральный закон, предоставляющий меньшинствам обширные права – это следует сделать тогда, когда эти меньшинства живы и нуждаются в таких законах. Между тем в некоторых странах практика языковой политики была такова, что вела к умерщвлению языков нацменьшинств или же к ослаблению национального самосознания меньшинств, и только после этого были приняты соответствующие изменения в законе. Меньшинство должно было бы получить от правительства различные права раньше, чем оно утратит свой язык или идентичность. В противном случае такие права служат лишь украшением законодательства данной страны, да и то лишь в глазах тех, кто недостаточно информирован о прискорбной исторической реальности, точнее говоря, прискорбной с точки зрения данного меньшинства.

Я. Качала

(Словакия)

СЛОВАЦКИЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТАХ

Произношение каждого поколения оставляет свой след, но сам язык – словно море, он всегда верен себе самому.

Ладислав Ганус, 1997

Язык и культуру связывают сложные взаимоотношения. С одной стороны, сам язык – это результат культурного воздействия, культурных устремлений, с другой – он является объектом культурного воздействия и многогранным средством, орудием культуры, как в индивидуальном, так и в коллективном (этническом) и обще-

человеческом (глобальном) масштабе. Для естественных языков наиболее важным является именно коллективный (этнический) масштаб: дело в том, что естественные языки, функционируют не как некая абстрактно-общщенная форма, но как созданный и постоянно создаваемый объект, который постоянно развивает некое сообщество, отличающееся от других аналогичных сообществ, в частности, именно языком. Это весьма важно для сути языка: именно поэтому язык (и культура) представляют собой важнейший фактор для идентификации национальных сообществ. Поэтому язык, равно как и культура, не только открыт для контактов с другими аналогичными языками и культурами, но также является стабилизирующим элементом в (национальном) сообществе. Сообщество, создающее и развивающее язык, создающее культурные ценности, посредством своего языка и этих ценностей идентифицирует прежде всего себя в оркестре других языков и культур (или же языков и культур иных сообществ). Таким образом, соотношение истории и развития – это, в сущности, борьба двух противоположных сил: утверждения самоидентичности данного сообщества и нарушения этой идентичности под воздействием внешних воздействий и влияний. Эти внешние силы зачастую находят внутри данного сообщества союзников, являющихся носителями иных языков и культур. В то время как утверждение самоидентичности постоянно проявляется в непрерывном развитии языка и культуры вообще, нарушение идентичности обычно проявляется в дискретных переломах, разрывах, которым подвергаются язык и культура в данном этническом сообществе. Разумеется, здесь мы намерено упрощаем ситуацию, и схему развития следовало бы дополнить, указав на факт внутреннего членения языка и культуры в данном этническом сообществе; это означает, что мы предполагаем также существование противоречий и их разрешение в рамках языка и культуры одного этнического сообщества. Кроме того, необходимо также считаться и с тем, что в языке и культуре существуют имманентные силы, сами по себе ведущие к последовательным переменам в этих феноменах.

Важной чертой культуры и явлений культуры следует считать их преемственность, обусловленную самой сутью культуры и самых глубинных духовных источников ее носителей; для этих источников характерна высокая интенсивность, инерционность, а также устойчивость по отношению к различным внешним воздействиям, прежде всего отрицательным. Весьма убедительным доказательством подобной преемственности и непрерывности линии развития является сам язык, которому, несмотря на постоянные внутренние и внешние изменения, присуща тенденция к сохранению собственной идентичности и своеобразия.

Когда мы говорим о контактах языков и культур, то имеем в виду также и то, что контакт – это всегда встреча как минимум двух партнеров. При контакте культур или явлений культуры мы в оптимальном случае говорим о партнерстве, партнерских отношениях встречающихся носителей культуры (или явлений культуры). При такого рода партнерских отношениях одна сторона отдает, а другая – воспринимает культурные ценности, и это ведет к взаимному обогащению партнеров, к улучшению и повышению уровня их жизни, причем богаче становится не только принимающий, но и дающий. Конечно, нередки также случаи насилиственного “экспорта” культуры и явлений культуры, прежде всего на межэтническом уровне, который может вызывать ответную защитную реакцию, а в случае длительного и интенсивного давления – привести к утрате культурного, языкового и этнического своеобразия у части членов данного сообщества, а в крайнем случае – во всем сообществе.

Упомянутые многосторонние и тесные отношения между языком и культурой, а также наш интерес к особой важности культуры и явлений культуры для жизни данного сообщества позволяют нам опираться в данной статье на следующий тезис: контакт культур всегда одновременно обозначает контакт языков, и наоборот: контакт языков несет с собой и контакт культур.

Мы проиллюстрируем эти теоретические посылки как данными из истории словацкого национального языка, так и из его настоящего. Изучение истории и современного состояния словацкого языка дает много убедительных примеров, иллюстрирующих упомянутые тезисы, можно даже сказать, что именно исторические и современные сведения о словацком языке в значительной степени обусловили формулировку упомянутых теоретических постулатов.

Интерпретируя языковые контакты на уровне культуры, мы также имели в виду, что предметом нашей интерпретации является язык и культура маленькой нации. Поэтому естественно, что в позиции представителей этой нации наряду с открытостью по отношению к иноэтническим культурным ценностям и языковым элементам заметна также некоторая предубежденность, связанная с ощущением угрозы со стороны более сильного партнера или же потребности защитить свое достояние. Особенно чутко на это реагирует язык. Подобная реакция со стороны “меньшего” партнера представляется нам вполне естественной, мы не видим в ней так наз. “оборончества” (т.е. защиты собственных интересов в негативном смысле, напр. за счет изоляции от культурных тенденций данной эпохи).

Рассматривая места взаимопроникновения культуры и языка, мы обнаруживаем, что надо исходить из того, что язык – это система систем, или же система подсистем, из дифференцированности этих подсистем и из неодинаковой доступности отдельных языковых

подсистем по отношению ко внеязыковым влияниям и импульсам. Некоторые частные языковые системы отличаются не только большой устойчивостью не только по отношению к упомянутым внеязыковым импульсам и влияниям, но и по отношению к собственным языковым и внутриязыковым тенденциям развития и изменениям. Такой характер носят прежде всего фонологическая и грамматическая системы, очень глубоко заложенные как в языке, так и в языковом подсознании. У носителя языка (мы имеем в виду родной язык) эти системы проявляют такую устойчивость, что при устном общении этот носитель переносит их также в систему другого, чужого языка, которым он овладевает или же уже овладел; конечно, это происходит неосознанно и неорганично. Наиболее открытой для внеязыковых культурных воздействий и изменений вообще является такая система, элементы которой несут больше всего информации, а именно лексическая система. Поэтому именно на уровне лексики наиболее надежно проявляются иноязычные культурные влияния и воздействия, так что в своем исследовании мы будем опираться именно на лексическую систему.

Вообще говоря, межэтнические культурные контакты, повлиявшие и продолжающие влиять на словацкий язык, и в прошлом и в настоящем были очень широки. В истории словацкого языка они имели различную интенсивность, продолжительность и действенность, сопровождая развитие словацкого языка с древнейших времен до наших дней. Ни в коем случае нельзя говорить о культурной и языковой изоляции словацкой этнической группы – наоборот, учитывая ее географическое положение в Центральной Европе и бурную историю хотя бы на протяжении последнего тысячелетия, говорить скорее следует о многочисленных культурных воздействиях, связанных с различными историческими процессами, позволяющими назвать словацкую территорию перекрестком культур. Дело в том, что межэтнические культурные контакты сопровождали населяющих нашу территорию западных славян с самого момента их прихода на эту территорию в конце V – начале VI в., они же стали постоянной составляющей их жизни на всем протяжении их дальнейшей истории. Таким образом, наши предки жили в постоянном контакте с представителями иных этнических групп, причем эти контакты были предопределены уже самим местом, на котором они осели – в среднем течении Дуная, у Карпатских гор, в самом сердце Европы.

Некоторые культурные течения и воздействия нашли свое отражение в словацком обществе, его истории и языке. Здесь можно назвать прежде всего византийскую миссию солунских братьев св. Константина и Мефодия, связанную с распространением византийского обряда христианства на старославянском языке – первом

литературном славянском языке, с необыкновенным размахом литературной и иной культуры и продолжавшей ее позднее своеобразной кирилло-мефодиевской традицией и ее по сей день не ослабевающим влиянием (проявившемся, в частности, в том, что преамбула основного закона, т.е. Конституции Словацкой республики от 1 сентября 1992 г., содержит ссылку на эту традицию). Столь же неизменна культурная ориентация на Рим как на центр христианского учения и света, на христианство римского обряда, на латинский язык как язык католического богослужения, церкви, религиозной, научной и иной литературы, а также язык государственной администрации и управления. Подобный характер носили и отношения с чешской этнической группой, вековые взаимные культурные и иные контакты представителей двух этих этнических групп, опирающиеся на близость языков, культур, а также на длительный опыт совместной жизни в одном государстве.

Кроме культурных контактов, связанных с контактами этнических групп, следует также принять во внимание различные культурные, духовные, идеальные и цивилизационные течения, не связанные непосредственно с культурой конкретной этнической группы. К таким течениям мы относим в первую очередь христианство и религию вместе с духовной и просветительской деятельностью церкви; особенно важен при этом тот факт, что их воздействие было длительным, непрерывным и интенсивным. Далее, сюда же относится проходившая с середины XIII в. немецкая колонизация, связанная в первую очередь с основанием городов, развитием городской жизни, ее организации, с развитием ремесел, торговли, горного дела и переработкой руды. Для сельского населения Словакии важную роль сыграла валашская колонизация (XV в.). Ее носителями первоначально были румыны, однако по мере их продвижения на запад Словакии (и далее за ее рубежи) этнический состав колонистов менялся: валашская колонизация оказывала цивилизующее и культурное воздействие при развитии овцеводства, переработке молока и производстве молочных продуктов. С валашской колонизацией связана специфическая сельскохозяйственная терминология, прочно вошедшая в лексический состав словацкого языка. Немецкая колонизация и связанный с нею контакт с немецким языком, валашская колонизация, а также контакт центральнословацких диалектов с диалектами украинского и польского типа вкупе с падением Великой Моравии и вхождением территории словацкой этнической группы в состав Венгерской империи и связанный с этим контакт словацкого языка с венгерским – вот те три главных исторических события, которые Йозеф Штольц в своей “Словацкой диалектологии” (*Slovenská dialektológia*, 1994, s. 17) называл наиболее существенными для развития словацких диалектов.

Сюда же можно отнести и такие явления, как последствия Реформации и контрреформации, а также связанная с ними церковно-религиозная дифференциация словацкого общества в XVI–XVII в. На уровне языка это непосредственно проявилось в том, что приверженцы словацкой евангелической церкви избрали в качестве культового, литературного, а позднее и разговорного языка чешский, конечно, в той или иной степени словакизированный. Это вело, с одной стороны, к усилению тенденций словакизации и складыванию культурных языковых форм на словацкой основе, а с другой – для части словацких евангеликов стало плодородной почвой, на которой возникло представление о языковом, а позднее – и национальном единстве словаков и чехов. У словацких католиков, напротив, чешский язык в качестве письменной формы литературного языка словацкой нации сильно словакизируется, что, в свою очередь, ведет к образованию и развитию предлитературных культурных форм словацкого языка, особенно в западнословацких культурных и экономических центрах Словакии, где формировался культурный западнословацкий язык – будущая основа для кодификации Бернолаком литературного языка на словацкой народной основе.

К этой же группе можно причислить также идеально-художественное движение, связанное со становлением в литературе романтизма, привнесшего в литературную культуру ориентацию на народные основы языка. Блестящие литературные произведения, созданные в этом стиле на словацком языке, на практике подтвердили художественную свободу творцов не только в выборе тематики, но и в способе ее воплощения на новом литературном языке, опирающемся на культурный словацкий язык центральнословацкого типа. Среди внутриэтнических цивилизационных движений этого времени необходимо упомянуть так наз. “дротарство” (деятельность бродячих ремесленников, чинящих при помощи проволоки битую глиняную посуду), его возникновение и развитие в Словакии в XIX в. и постепенное исчезновение в первой половине XX в.; местное словацкое население, особенно на западной территории, нашло в дротарстве поддержку своей предпринимательской деятельности и возможность трудоустройства, а язык обогатился специальной технической терминологией.

Далее мы подробно рассмотрим проблемы прошлого, в частности, предыдущего тысячелетия, и в особенности ситуацию в настоящем, прежде всего во второй половине XX в. Анализируя ситуацию в прошлом, мы будем продвигаться последовательно; при разборе существующей ситуации мы исходим из того, что современное языковое состояние представляет собой результат исторических процессов прошлого, а в области общенародной формы народного языка всего общества сказываются результаты сознательного научного

регулирования этой формы, т.е. литературного языка, и сознательного вмешательства лингвистов в его развитие. Урегулированность, кодифицированность и нормированность литературного языка представляются нам естественными и необходимыми, в какой-то степени – неизбежными атрибутами общего для всего общества и нации средства коммуникации; ведь именно эта форма народного языка благодаря своей общественной значимости и престижности является предметом не только систематического научного изучения и описания, но и целенаправленного регулирования на базе постижения законов языкового развития и потребностей общества, а также научной кодификации.

Говоря о первоначальной фазе формирования словацкого языка, необходимо проследить связь языка наших предков со старославянским языком – первым литературным языком славян, ставшим благодаря деятельности солунских братьев Константина и Мефодия и благоприятному отношению папского престола официально признанным литургическим языком не только в Великой Моравии, но и в международном масштабе. Для словацкого общества первой половины IX в. свойствен достаточно высокий уровень общественного развития, проявлявшийся в надплеменном характере общественных отношений и складывании соответствующих государственных формаций, т.е. княжеств с последующим объединением этих княжеств в государственные образования более высокого уровня (начало 30-х годов IX в.). В области языка с этим связано употребление и развитие соответствующей терминологии из области государственной организации, производства, военного дела, торговли, отношений с иными государственными формациями и т.п., равно как употребление соответствующих синтаксических форм, формул и стилистических элементов. Важным культурологическим фактором этого периода было распространение у нас христианства еще в кирилло-мефодиевскую эпоху. Как нам известно из описания в “Житии Мефодия” миссии князя Ростислава при дворе византийского императора Михаила III, еще до прихода св. Константина и Мефодия на нашей территории уже действовали три миссии – из Италии, Греции и Германии; кроме того, предполагается, что в последние десятилетия XVIII в. здесь также действовала ирландско-шотландская миссия кельтского происхождения (см. Е. Pauliny, 1983, с. 21). Распространение христианства предполагало существование на родном словацком языке текстов основных молитв, богослужебных формул Символа веры и многие другие. По мнению Э. Паулини, «Символ веры и молитва “Отче наш” были переведены на язык наших предков первыми. Языковые факты говорят о том, что перевод был сделан с латыни и является, таким образом, результатом деятельности еще итальянской миссии» (Там же, с. 21). Это подтверждается не только

христианской терминологией, которая по возвращении в 863 г. византийской миссии в Моравию была заимствована и попала в старославянские тексты, но также целыми пассажами из старославянских памятников, свидетельствующими (уже в старославянском переводе) о существовании в докирилломефодиевской Великоморавской империи языка делового общения и об общем уровне развития здешней культуры. Как видно, словацкое общество не только было хорошо подготовлено к встрече с византийской миссией, что позволило ему в полной мере воспринять оплодотворяющее воздействие этой миссии – более того, оно, в свою очередь, оказалось способным привнести в ее деятельность что-то свое, выраждающее собственные потребности этого общества. Если исходить из общепринятого мнения о том, что византийская миссия принесла на территорию у карпатской дуги литературный язык южнославянского типа (на основе македонского диалекта греческой Солуни) и первый славянский язык в письменной форме, встретив здесь духовно и культурно подготовленную среду, то можно сказать, что общий вклад наших словацких предков в старославянскую культуру, связанную с деятельностью солунских братьев св. Константина и Мефодия на нашей территории, и в особенности в старославянский язык как первый славянский литературный язык – очень велик. Не следует забывать, что именно на нашей территории старославянский язык сложился в качестве литературного, здесь он использовался на практике в самых разнообразных коммуникационных ситуациях, именно здесь прошли проверку его качества и возможности в соревновании с самыми развитыми европейскими языками. Поэтому мы считаем, что вполне обоснованно можно оценивать пространство старославянской культуры и в особенности старославянского языка в том виде, в каком они существовали во второй половине IX в. на территории между Дунаем и Татрами, как общее византийско-южнославянско-словацкое пространство, где в плодотворном и действенном симбиозе существовали и функционировали рядом друг с другом как привнесенные элементы византийско-славянской культуры, так и элементы местной моравско-словацкой культуры.

О прочных языковых корнях старославянской культуры в Словакии свидетельствуют некоторые названия, которые, несмотря на бурные исторические события и общую неблагоприятную обстановку, смогли на протяжении целого тысячелетия сохранить свою идентичность и продолжают жить в словацком языке до наших дней с древнейших (зачастую еще кирилло-мефодиевских) времен. Сюда мы относим прежде всего терминологические выражения из области христианства, например: *zákon, pravda, ponosa, kajat' sa, odpušť', hriech, duch, svätý* (исходно в значении “сильный, священный”), *spasit', veriť', mičenik*. Часть таких названий возникла путем калькиро-

вания, в основном с латыни, напр. *vsemoħuci* (лат. *omnipotens*), *milosrd-ný* (лат. *misericors*), другие заимствовались из латыни, реже из греческого, чаще всего через посредство немецкого, например: *omša, párež, biskup, mnich, žalm*.

В нашей ситуации латынь можно рассматривать как отражение в языке универсального христианства, религии и католической церкви, в течение долгих веков она была также языком престижной религиозной, научной и художественной литературы, языком просвещения и образованности, который поддерживался не только высшим духовным и властным авторитетом (т.е. авторитетом церкви), но и авторитетом верховного правителя, т.е. короля, и всего государства, государственных органов и государственной администрации. Столь широкий духовный, культурный и общественный диапазон сделал латынь высокопрестижным и при этом надэтническим языком, служившим не только неисчерпаемым источником необходимых названий в самых различных областях жизни и труда в духовной и практической области, но также моделью для того, как следует формулировать мысли (в особенности сложные) и вообще высказываться культурно, даже возвыщенно. “Просвещенное” латинское предложение надолго стало образцом построения предложения в области религиозной литературы, а также для административно-правовых текстов, официальных документов, писем и, наконец, беллетристических текстов. Характерно, что в период национального возрождения, когда и “высокая” литература обращалась к читателю из народа, возвращаясь к своим глубинным, т.е. народным, истокам, подобная жесткая конструкция предложения, опирающаяся на латинские образцы, стала восприниматься как препятствие для повседневного, обычного выражения и обращения к широким слоям населения, на которые новое поколение просветителей сознательно ориентировалось, стремясь завоевать их поддержку. Именно эпоха многосторонней плодотворной деятельности штурковского поколения была в то же время эпохой ломки латинско-гуманистических оков и схем построения словацкого предложения не только в области художественной литературы высокого уровня и набирающей силу публистики, но прежде всего в научном стиле и “возвышенном” ораторском стиле. Наиболее отчетливо следы латыни обнаруживаются в области лексики вообще и профессиональной терминологии, в частности. О масштабах и глубине этого источника словацкой лексики свидетельствует в первую очередь то, что латинские слова и выражения не остались только на просвещенной “поверхности” словацкой лексики и ее употребления – они проникли в разговорный язык, став достоянием широких слоев словацкой общественности. Об этом свидетельствуют следующие слова, обозначающие предметы, явления и понятия ежедневного употребления, напр.:

bacil, ceruza, ceruzka, centrum, deputácia, fakl'a, faktus, figúra, figura, gaválier, golier, grád, granát, kapela, kapucňa, kapitola, capitula, kalamár, kombinácia, koruna, kalendár, litera, lazaret, misia, misie, mizéria, mizerný, molestovať, nervozita, nervózny, škala, škatul'a, škrupul'a, škrupulant, triumf, vakácie (zastar. – prazdniny), vagabund, vízia, vizionár и многие другие, далее такие названия растений, как *angelika, bazalka, dália, kamikly, majorán, muškát, primula, primulka, šalvia, tymian, valeriana, veronika* и т.п. Латынь (а также греческий) постоянно предоставляет основы для образования новых слов, особенно терминов, носящих характер интернационализмов, в результате чего лексика словацкого языка постоянно интернационализируется. Широкое заимствование латинских слов в словацкий и их фонетическое, морфологическое и орфографическое приспособление к нашему языку было также обусловлено тем, что в старой Венгрии латынь очень долго оставалась официальным государственным языком: как следует из статьи К. Бузашши (1991, с. 93), Х. Хаарман в своей работе 1975 г. доказал, что в этой функции латынь дольше всего удерживала свои позиции именно в Венгрии – официально вплоть до заключения соглашения об объединении Австрии и Венгрии в единое государство в 1867 г. Однако фактически уже с начала XIX в. официальным языком во многих областях Венгрии становится венгерский. В названной выше работе К. Бузашши обоснованно подчеркивает большое значение латыни в развитии словацкого языка: "...важная роль латыни... в истории словацкого языка как национального была одним из факторов, повлиявшим на то, что словацкий является относительно открытым для интернационализации языком".

Контакты словацкого с венгерским языком были также обусловлены богатыми вековыми контактами этих двух этнических сообществ – словацкого и венгерского, и длительным взаимным обменом культурными ценностями. Решающую роль в этом смысле сыграл тот факт, что они длительное время жили в одном государстве. Впрочем, на их совместную жизнь значительное влияние оказывал тот факт, что словаки и венгры занимали в Венгерском государстве неравноправное положение. Хотя в целом словацкая этническая группа сильно повлияла на построение нового государства (об этом, кроме всего прочего, свидетельствует необыкновенно многочисленная терминологическая лексика – административно-правовая, государственная, христианско-религиозная, сельскохозяйственная, семейная и т.д., заимствованная из словацкого в венгерский язык), доминирующей была венгерская этническая группа, которой принадлежала власть в государстве. В конце концов политическое преобладание венгров в многонациональном венгерском государстве достигло кульминации в XIX и позднее в XX в., вылившись в жестокую мадьяризацию всех прочих наций, включая словацкую. Последствия

первой мировой войны означали, в частности, отказ от политики дальнейшей мадьяризации народов Центральной Европы, связанной с подавлением их национальной жизни, закрытием их культурных организаций и школ и оттеснения их национальных языков на периферию. Распад Австро-Венгерской монархии был единственно возможным естественным исходом подобной политики. Выдвижение принципа о праве наций на самоопределение повлекло за собой возникновение новых государств, построенных на национальном принципе, остающемся по-прежнему плодотворным.

Займствование в венгерский язык многих словацких (или славянских) слов было и остается важным не только в плане сравнения того уровня, которого достигли в своем развитии эти этнические группы, но и с точки зрения более пристального изучения как отдельных явлений, так и общей картины словацкого языка в тот момент, когда венгерский язык занимствовал те или иные слова из словацкого. Обратный процесс, т.е. заимствование слов из венгерского в словацкий, был практически ничтожен. Примечательны, хотя и легко объяснимы случаи повторного вхождения в словацкий язык лексических элементов, которые ранее сами были заимствованы венгерским из словацкого; например, слово *gospodъ*, континуантом которого является современная словацкая форма *hospodar*, было заимствовано венгерским языком, а затем снова вошло из него в словацкий в форме *gazda*, причем в ней сохранился начальный согласный *g*, а значение частично изменилось. Примечательно, что несмотря на двукратный процесс заимствования, в который было вовлечено это слово, и достаточно большой временной интервал, в самом значении этого слова проявилась высокая степень устойчивости и стабильности. Вероятно, это можно объяснить фактом неизменности называемого объекта, т.е. денотата.

Малое количество заимствований из венгерского в словацкий, безусловно, влияли не только упомянутые различия в достигнутом уровне развития, но и внутриязыковые предпосылки – типологическое своеобразие венгерского, который находится в Центральной Европе в изолированном положении, в отличие от словацкого и других славянских и неславянских языков, многочисленность которых сама по себе служит им защитой от иноязычных влияний. С другой стороны, длительные контакты словацкой этнической группы с венгерской, их культур и достижений цивилизации, обусловленные в первую очередь жизнью в общем государстве, позволяют возникнуть некоторым параллельным или общим явлениям, в частности, в языке, конкретно – в лексике, и на этом основании можно говорить о существовании определенных макроареалов. Я. Горецки в своей работе “*Odraz kultúrnych prvkov v slovnej zásobe slovenčiny, češtiny a mad'arčiny*” от 1998 г. обнаруживает определенные черты

подобного словацко-венгерского ареала, в особенности при сопоставлении с аналогичным чешско-немецким ареалом.

Культурные, религиозные, торговые и иные контакты словацкой этнической группы с чешской также имеют очень давнюю историю. Важным фактором в этих контактах было общее славянское происхождение чехов и словаков, их родственность, близость и понятность их языков, а также географическое соседство обоих этнических групп в Центральной Европе; наконец, на некоторых этапах их развития – жизнь в одном государстве. Именно эти обстоятельства привели к тому, что уже с начала XIV в. можно отметить проникновение чешского языка в Словакию. В то время его носителями были священники, а также торговцы и переселенцы. Эксклюзивность латыни в качестве официального государственного и религиозного языка, языка религиозной и научной литературы, также привели к тому, что начиная с XV в. чешский язык, понятный, хорошо разработанный, становится для словацкой нации письменным языком. Как пишет Э. Паулини (*Dejiny spisovnej slovenčiny..., 1983, s. 79*), “хотя чешский язык, с одной стороны, воспринимался словаками как письменная культурная форма словацкого языка, в то же время его воспринимали как язык, отличный от словацкого. Причиной тому был прежде всего тот факт, что в устном общении общество пользовалось словацкими диалектами (в наддиалектной функции стал активно употребляться центральнословацкий диалект). Это же повлияло и на проникновение в письменный чешский язык словацанизмов”. Таким образом, чешский язык, с одной стороны, выступал в роли местного литературного языка, а с другой – поддерживал процесс формирования литературного словацкого языка как культурной формы коммуникации всего общества, опирающейся на местную, словацкую основу. Поэтому и усиление позиций чешского языка в XVI в., когда он начал выступать в роли культового языка у представителей словацкой евангелической церкви, и позднее, в эпоху рекатолизации в XVII в., носило временный характер. С одной стороны, в евангелической литературе не прекращались процессы словакизации языка, причем увеличивался разрыв между “словакским” чешским языком и чешским языком в самой Чехии; с другой стороны, на другом конце национального спектра – в среде словацких католиков – шел естественный процесс “созревания” наддиалектной культурной формы национального языка, завершившийся возникновением культурных форм на базе национального словацкого языка. В связи с ростом значения культурных и хозяйственных центров в Западной Словакии культурный западнословацкий язык в XVI–XVII вв. набирает силу, что приводит в последней трети XVIII в. к первой кодификации словацкого национального языка А. Бернолаком (в его кодификационном труде 1787 г.). В но-

вой культурно-политической ситуации эта линия ведет к тому, что в сороковые годы XIX в. в среде молодых образованных евангеликов на базе культурного центральнословацкого диалекта формируется штурновский словацкий язык, который в 1843 г. по решению трех лидеров национально-политического движения – Л. Штура, Й.М. Гурбана и М.М. Ходжи и был провозглашен литературным словацким языком.

Этот шаг ознаменовал окончательный отказ от тезиса о языковом и национальном единстве словаков и чехов. Однако в новой ситуации этот тезис снова возник и продолжал возникать, став в конце концов способом выхода из тяжелой ситуации, сложившейся при усилении мадьяризации после австро-венгерского соглашения в 1867 г. и принятия в 1868 г. закона о национальностях, а также позднее, в двадцатые годы XX в., уже в условиях Чехословацкой республики. В обоих случаях речь шла о “предложении” некоторых чешских деятелей культуры не развивать профессиональный стиль в словацком языке, употребляя в этой функции литературный чешский язык, в то время уже достаточно разработанный для этих целей. В дальнейшем современная теория чехословакизма использовала в этом смысле идеологическое представление о сближении чешского и словацкого языка, которое активно муссировалось в сорокие и частично восьмидесятие годы; на практике это означало политическую поддержку общих языковых элементов чешского и словацкого языков, идеи центральной координации профессиональной лексики и употребления литературного словацкого языка прежде всего в художественной литературе и связанных с ней жанрах.

Несмотря на все эти перипетии, многосторонние культурные контакты чешской и словацкой наций обогатили словацкий язык, в первую очередь литературный, в особенности элементы ее словарного запаса, а также некоторые морфологические средства, в основном в области профессиональной лексики. Так было прежде всего на протяжении двух последних столетий – в период стремительного развития литературного словацкого языка после кодификации Л. Штура, а также после возникновения в 1918 г. Чехословацкой республики, когда в новой политической и культурной ситуации литературный словацкий язык наряду с чешским неожиданно стал играть роль государственного языка и ему пришлось исполнять все многочисленные функции, связанные со столь престижным общественным положением.

После второй мировой войны обязательная ориентация Чехословацкого государства на бывший Советский союз принесла с собой и богатство контактов с русской культурой (впрочем, и без того имеющих длительные и богатые традиции), в области языка конта-

кты словацкого и русского языков привели к словацко-русской языковой интерференции. Интенсивный обмен культурными ценностями, взаимное знакомство с этими ценностями (упомянем хотя бы необыкновенно многочисленную переводную литературу с русского на словацкий, послужившую импульсом для развития словацкого), безусловно, принесли много положительного. Однаковая идеино-политическая ориентация этих стран повлекла заимствование словацким из русского лексических средств в первую очередь из области государственной, политической и общественной жизни, права, экономики и организации труда. Из числа иных языковых явлений следует отметить, например, влияние русского языка или переводов с него на оживление использования деепричастных оборотов в некоторых словацких текстах. Однако в целом русский язык не оказал значительного воздействия на словацкий.

Зато гораздо заметнее те следы, которые оставляет в нашем языке английский. Очевидно, что исходно его влияние опирается на внеязыковые факторы цивилизационного (научно-технического, экономического, торгового и военно-оборонного) и общекультурологического порядка. Этот контакт часто рассматривается как одностороннее давление со стороны более сильного партнера, но следует также видеть и причину подобной открытости словацкого для восприятия разнообразных внешних импульсов. Дело здесь в слабости и неразвитости культурного самосознания отдельных личностей или групп словацкого национального общества, причем эти личности и группы немногочисленны, но обладают влиянием и определяют идеиную ориентацию средств массовой информации, решают вопросы рекламы; сюда могут также относиться государственные чиновники, предприниматели, менеджеры, часто выступающие в средствах массовой информации, имеющие возможность влиять на взгляды и образ мыслей других представителей общества. Здесь наблюдается примечательный парадокс: с одной стороны, в электронных масс-медиа, в разного рода прессе, в рекламе, названиях предприятий, фирм, магазинов, в названиях теле- и радиопрограмм и т.д. слушателям, зрителям и потребителям предлагается непомерное количество английских слов, выражений и даже целых фраз; с другой стороны, такой подход отнюдь не встречает понимания у упомянутых слушателей, зрителей и потребителей – наоборот, вызывает всеобщее осуждение и критику. Между тем авторы этих невразумительных публицистических и рекламных текстов, названий и т.п. ведут себя так, словно критика эта не имеет к ним ни малейшего отношения; критическое отношение широкой общественности, опирающееся также на мнение специалистов из области психологии, журналистики и рекламы, не встречает у них никакого отклика, и уж тем более положительного.

Таким образом, упомянутые лексические англицизмы воздействуют на культурных пользователей литературного словацкого языка прежде всего тем огромным и неконтролируемым количеством, в котором они встречаются в отдельных выступлениях. Однако наряду с этим сейчас в сознание людей во все растущих масштабах вносятся также грамматические англицизмы, атакующие самую прочную систему нашего языка – грамматическую. Мы имеем здесь в виду сочетания типа *Globtel správy*, *Figaro lotéria*, *Figaro čokoláda*, *Papier centrum*, *Bonsaj centrum*, *Senior klub*, *Traditional klub*, *Kanoé klub*, *Devín banka*, *Mat' o bar*, где в позиции перед занимающим более высокое положение существительным стоит несклоняемое слово, неспособное выражать свою с ним синтаксическую согласованность; совершенно очевидно, что речь идет о чуждой, английской модели словосочетания: в английском языке сам порядок слов указывает на то, какой частью речи является слово, стоящее перед главным, и в какой синтаксической связи они находятся. То есть тут мы наблюдаем явное типологическое различие между словацким и английским языками, и тем, кто придумывает подобные выражения, следовало бы понимать это. В конце концов, приведенные выражения можно было бы привести в соответствие с системой словацкого языка путем достаточно простой операции – изменяя порядок слов, например: *Centrum papiera*, *Banka Devín*, *čokoláda Figaro*, или же делая несклоняемое слово именем прилагательным, например *Globtelové správy*, *Bonsajové centrum*, *Mat' ov bar*. Однако, судя по всему, никто из компетентных лиц не собирается этого делать – ими скорее руководит в чем-то снобистское стремление создать нечто исключительное, эксклюзивное, такое, какого здесь раньше не бывало. И в этом случае мы имеем дело с результатами или проявлениями культурных контактов, однако они не обогащают язык, а лишь нетворчески подражают иностранным образцам. Но это уже второстепенная сфера культуры и межэтнических культурных контактов.

Л. Ганус в своем эссе “Человек и культура” (1997, с. 194) пишет, что “язык интенсивнее всего выражает дух общества, в обобщающем синтезе его настоящего и прошлого”; верно и то, что, хотя язык живет в определенном обществе, чутко воспринимая его импульсы и по-своему на них реагируя, именно поэтому так важно, чтобы этот язык, как вершинное проявление культурного творчества национального сообщества и уникальный культурный феномен, сохранился во всем своем своеобразии, неповторимым образом обогащая культурные завоевания человечества. И происходить это должно не в изоляции, а в живом и плодотворном сотрудничестве с другими языками. Так язык постоянно подтверждает свою неповторимость.

ЛИТЕРАТУРА

- Buzássyová K.* Opaková internacionalizácia a problém identifikácie morfolo-gických a lexikálnych jednotiek // Jazykovedný časopis. 42. 1991. S. 89–104. C. 2.
- Hanus L.* Človek a kultúra. Filozofická esej. Bratislava, LUC 1997.
- Horecký J.* Odraz kultúrnych prvkov v slovnej zásobe slovenčiny, češtiny a maďarčiny // Slovenčina v kontaktoch (a konfliktoch) s inými jazykmi. Sociolinguistica Slovaca. 4. Zost. S. Ondrejovič. Bratislava; Veda, vydavatel'stvo SAV, 1998.
- Pauliny E.* Dějiny spisovnéj slovenciny od začiatkov po súčasnosť'. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo 1983.
- Štolc J.* Slovenská dialektológia. Bratislava: Veda, vydavatel'stvo SAV, 1994.

А. И. Домашнев, М. Буюклян

(Россия, Армения)

ВЛИЯНИЕ НА ОСТРОВНОЙ ЯЗЫК (ДИАЛЕКТ) ИНОНАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА ОКРУЖЕНИЯ

На протяжении всей своей истории люди постоянно вступали в разнообразные культурно-языковые отношения со своими близкими соседями и дальними народами, всегда находя способы и формы их установления. Свидетельством этому может служить археологическая находка 1975 г., когда в Эбле (Сирия) при раскопках были обнаружены около 3000 вокабул, написанных на глиняных дощечках в квазиалфавитной последовательности на шумерском, как полагают, единственном несемитском языке этих мест (шумеры или шумерийцы, населявшие процветающее Южное Двуречье в Месопотамии, ныне на территории Ирака), и эблайтском языке (язык Эблы, на территории нынешней Сирии) и снабженных указаниями о том, как их произносить. С этого времени (2600–2500 лет до нашего летоисчисления), как подчеркивает В. Фойгт, можно говорить о появлении подобия первых двуязычных словарей, с помощью которых купцы, миссионеры, завоеватели и повелители могли общаться с чужими им людьми или добиваться своих целей (Voigt 1981, 24). Подобные факты со всей очевидностью подтверждают мысль о том, что культурно-языковые контакты и влияния имели место на протяжении всей истории человечества.

Культурно-языковые контакты и взаимовлияния происходят, как известно, различными путями (заимствования из одного языка в другой вместе с предметами и явлениями, отношения с инонациональными соседями на общей или на раздельных территориях), но степень устойчивости таких влияний зависит от характера существующих между ними социально-политических отношений.

Говоря об области распространения немецкого языка в целом, германисты предлагают исходить из того, что имеются территории, где он закрепился исторически и на которых существуют современные государства его основного распространения. С точки зрения этого факта, что немецкий язык компактно распространен также в некоторых других странах, предлагается рассматривать территорию немецкоязычных государств “ядром” (*Kerngebiet*), тогда как районы распространения немецкого языка, находящиеся в составе других государств, но расположенные контактно по отношению к немецкоязычным странам (Эльзас, Лотарингия – Франция, “Южный Тироль” – Италия, некоторые районы Бельгии), следует, по мнению авторов, называть маргинальными, “окраинными” областями (*Randbezirk* – Moser 1963, 58) немецкого языка – (*Randdeutsch*). Что касается дистантно расположенных немецкоязычных районов, то они должны называться трансплантированными языковыми сообществами, находящимися внутри (*inmitten*) инонационального (иноязычного) большинства в качестве “анклавов” или “поселенческих колоний” (*Siedlungskolonien*) (Löffler 1985, 69), которые со временем В.М. Жирмунского обычно называются диалектными островами.

Особые условия для развития культурно-языковых контактов существуют в так называемых языковых или диалектных “островах”, т.е. в таких этнических группах, которые проживают компактно в инонациональном (иноязычном) окружении. Говоря об этом, известный германист П. Визингер подчеркивал, что под языковым островом понимается точечно (*punktuell*) или ареально бытующий относительно небольшой языковой коллектив сношений (“*Verkehrsgemeinschaft*” – Bach 1950) в границах другой, более крупной, иноязычной территории (Wiesinger 1983, 901. См. также: Domaschnew 1994a). Известно, что языковой остров обычно понимается не только сугубо лингвистически, но и как обобщенное понятие в отношении всех жизненных проявлений сообщества людей, пребывающих в границах данной (“островной”) территории (Huttereg 1982, 178). В этом смысле немецкий германист Г. Протце интерпретировал языковые острова в качестве частей (*Reste*), отделенных от своей основной компактной языковой территории чужим (*fremd*) языком и культурой, которые в этих условиях в языковом и культурном отношении часто “ведут интересную самостоятельную жизнь” (*interessantes Eigenleben*), имеющую мало общего как со своей языковой родиной (*Mutterland*), так и со своим иноязычным окружением (Protze 1969, 595). Однако в последнем случае, по мере развития всесторонних отношений со своим новым окружением, по мере врастания жителей этих “островов” в социальные, экономические и культурные отношения принявшей их страны, в их жизни и языке постепенно происходят изменения, заметные для любого

наблюдателя и исследователя (См. об этом: Domaschnew 1994b, 323–328).

Не останавливаясь здесь на часто неизбежных процессах смешения различных диалектов, оказавшихся в одном общем регионе, что приводит к образованию своеобразных койне или диалектов выравнивания (*Ausgleichsdialekte*), поскольку эта проблематика не связана с избранной темой, отметим, что первоначально любые “внешние” контакты поселенцев происходили лишь спорадически и не оказывали заметного влияния на их жизнь и язык. Тем более, что переселение немцев в Россию первоначально происходило особенно интенсивно в эпоху царствования Екатерины II, т.е. в период, когда многие переселенцы привозили с собой не только свой диалект, но и в разной степени уже владели литературным или общим языком (*Gemeinsprache*), что, безусловно, способствовало сохранению и поддержанию в новых условиях родного диалекта и речи на литературном языке. Так, говоря о поселениях меннонитов на Юге России (ныне – Украина) в районе реки Молочной и на прибрежных землях по Днепру (Хортица), В. Петерс отмечал, что в каждой деревне имелась своя школа, где дети обучались на немецком языке, а в более крупных селениях существовали школы по типу гимназий для девочек и мальчиков раздельно. Продолжить свое производственное образование или получить профессиональную подготовку они могли в Киеве, Санкт-Петербурге, а также в Германии или Швейцарии. В этот период немецко-русские языковые влияния оставались довольно слабыми, однако все стало в этом смысле меняться после того, как в конце 19 в. русский язык был введен в обучение в качестве второго языка (Peters 1992, 132). Аналогичное развитие было и в немецких колониях на Волге, где, как известно, проживало около одной трети всех немцев в России, а в начале 20-х годов была образована Автономная республика немцев Поволжья, ставшая центром притяжения немцев различных районов страны, так как здесь появились центры подготовки кадров этнических немцев на родном языке (педагогический институт, техникумы, профессиональные училища), а также сложилась база книгопечатания, издания школьных учебников на немецком языке и др. Однако, несмотря на такие условия, родной диалект и литературный язык стали испытывать на себе все более заметное влияние русского языка, так как социально-экономическая и культурно-политическая сферы жизни людей не могли ограничиваться рамками семьи или этнической общины. При этом следует подчеркнуть, что на “островных” территориях как в дореволюционной России, так и в послеоктябрьский период, вплоть до 1941 г., основным средством языкового общения в семье и в повседневном привычном окружении оставался диалект (Маныкин 1992, 10), испытывавший по понятным причинам на себе влияние до-

минириующего русского языка, владение которым становилось со временем для многих этнических немцев все более актуальным. Своеобразными посредниками такого проникновения русского языка в речевую структуру основной массы этнических немцев были, как отмечает один из первых исследователей этих вопросов из числа этнических немцев Ф.П. Шиллер, учителя, агрономы, сельские писари, врачи и другие представители местной интеллигенции, тогда как многие крестьяне заимствовали необходимые слова от своих русских соседей. С началом войны в 1914 г. влияние русского языка резко возросло, так как были введены разного рода ограничения на издание и распространение прессы на немецком языке, и даже письма солдаты из числа этнических немцев, служивших как граждане России в армии, должны были писать своим родным на русском языке (Шиллер 1929). Именно от солдат, приезжавших в отпуск в свои семьи, местные жители впервые услышали и узнали многие русские слова, касавшиеся не только жизни и быта солдат на фронте, но названий различных предметов и явлений, ранее им не известных. В первую очередь это были слова, связанные со службой в армии, армейским бытом и отношениями. Так, в их речь вошли воинские должностные названия: *bolgovnik* (“полковник”), *borućik* (“поручик”), *rodner* (“ротный”, “командир роты”), а также слова, как: *časovoj* (“часовой”), *dnevalnyj* (“дневальный”), *sabasner* (“запасной”, “солдат запаса”, “резерв”). Среди других слов обращают на себя внимание такие, как: *pulemot* (“пулемёт”), *okope* (“окопы”), *nastublene* (“наступление”), *odstublene* (“отступление”), *basitse* (“позиция” во время боя, на линии фронта), *bazilke* (“посылка”), *svidetelstve* (“свидетельство”, “документ”), *snak* (“знак отличия”, “награда”).

И в самих колониях в этот период стали появляться различные заимствованные слова. К ним, в частности, можно отнести слово *belebiledniker* (“белобилетник”, “лицо, получившее освобождение от воинской службы”), *semehne boleshenje* (“семейное положение”), *bosobje* (“пособие”, “материальная помощь”), а при повседневном общении со своими русскими соседями колонистами были усвоены такие слова, как *lafke* (“лавка”, “магазин”), *sashigalke* (“зажигалка”) и др.

В своей работе Ф.П. Шиллер отмечает, что в период Гражданской войны и в первые годы после Октября в немецкой речи колонистов появились новые слова из русского языка, отражающие различные явления этого периода. Он приводит, в частности, такие слова, как *dobrovolner* (“доброволец”), *oblave* (“облава”), *nalot* (“налёт”), *proderad* (“продотряд”), а в 20–30е годы в языковой обиход вошли такие слова, как *delegadke* (“делегатка”), *sajaflenje* (“заявление”), *slushbe* (“служба”), *sopranje* (“собрание”). Таким образом, мы можем видеть, что влияние русского языка на язык этнических немцев,

ставших неотъемлемой частью народа нашей страны, всегда тесно увязывалось с потребностями повседневного общения и в целях номинации предметов и явлений, общих для всех совместно проживающих в том или ином крае людей.

Уже в 20-е годы один из первых исследователей диалектов немцев Поволжья Г. Дингес, говоря о лексических влияниях русского языка на немецкий язык колонистов, выделял 4 группы таких слов. Прежде всего он отмечал лексику, относящуюся, по его определению, к сфере официальной, общегосударственной жизни, независимо от того, к какой этнической группе относится говорящий. К таким словам, по его мнению, следует отнести, например, *ruvl* (“рубль”), *gobig* (“копейка”), *odgridge* (“открытка”, “почтовая открытка”), *ubrave* (“управа”, “администрация”), *globodea* (“хлопотать о чем-либо или о ком-либо”), *stantsija* (“станция”), *sabastovke* (“забастовка”). Ко второй группе Г. Дингес относил слова из области торговли, промышленности и др.: *savot* (“ завод”), *brus* (“брус”, “пиломатериал”), *baberos* (“папирозы”), *gnobge* (“канцелярская кнопка”), *resinge* (“резинка”), *glugvene* (“клюквенный морс”) и др. В третью группу он включает слова, которые, по его мнению, связаны с местной жизнью и реалиями края, непосредственно характеризующими и быт самих немецких поселенцев. К ним он относит слово *kudr* (“хутор”), *semlenke* (“землянка”), *blodnik* (“плотник”), *jasl* (“ясли для корыта скота”), *ambar* (“амбар”), *banje* (“баня”), *petschenje* (“печенье”), *galatsch* (“калач”), *birok* (“пирог”), *kadlede* (“котлета”), *gulitsch* (“кулич”), *bodnos* (“поднос”), *gruschke* (“кружка”), *rugenoinik* (“рукомойник”), *barovik* (“паровик”, “паровой котел”), *bristan* (“пристань”) и др. Примечательно, что нередко те или иные слова из русского языка вовлекались в немецкую речь из соображений налаживания языкового общения, так как на самом деле в их языке имелись свои названия для данных предметов или явлений. Так, русскоязычное “кулич” для немцев всегда будет менее “близким” словом, чем собственно немецкое название *Osterkuchen* (“пасхальный пирог”), однако употребление русского слова (*gulitsch*), очевидно, облегчало языковой контакт со своими соседями.

Четвертую группу русских заимствованных слов в языке немецких поселенцев Г. Дингес определяет в качестве группы лексики, наиболее тесно связанной с жизнью и бытом русского населения своего окружения. К ним он относит такие слова, как *barischne* (“барышня”), *snagome* (“знакомый”), *baske* (“пасха”), *barischnik* (“барышник”), *schaige* (“шайка”, “шайка разбойников”), *schulik* (“жулик”) и др.

Представленная здесь первая попытка Г. Дингеса классифицировать заимствованную немецкими поселенцами русскую лексику, при всех ее явных условностях, заслуживает всяческого внимания,

так как представляет собой редкое свидетельство исследовательской работы, начатой в те далекие годы, а главное – сохранила для нас уникальный материал, о котором мы сегодня ничего более не смогли бы узнать (Дингес 1925, 14).

Дело в том, что начатая Г. Дингесом в Поволжье, а В.М. Жирмунским в Ленинграде масштабная работа по изучению немецких островных говоров в нашей стране, в 30-е годы была по не зависящим от них самих причинам практически прекращена (Domashnew 1995, 76), а после начала войны все немецкоязычное население в 1941 г. было административно выслано из европейской части страны, что привело к полному разрушению существовавших долгие годы устойчивых межнациональных групп общения со сложившимися языковыми отношениями и для этнических немцев с участием русского языка.

В новых местах своего проживания этнические немцы оказались либо в условиях нового диалектного смешения, либо разрозненными группами среди других национальных групп (русские, украинцы, казахи и др.), что, безусловно, приводило к дальнейшему “свертыванию” сферы использования родного диалекта, к усилению проникновения в него инонационального, как правило, русского языкового материала. В этом отношении в особо сложной ситуации находились немцы, оказавшиеся в городках и поселках городского типа, работая в производственных коллективах и проживая разрозненно среди местного населения. Именно в этот период стал наблюдаться постепенный, но неуклонный “отход” этнических немцев от постоянного использования родного диалекта, что приводило в конечном счете к полной утрате владения им. Этому способствовали также различные демографические процессы: увеличение межнациональных браков, миграция в структуру населения городов и др. Показательны в этом смысле официальные данные о межнациональных браках, из которых можно сделать вывод, что этнические немцы чаще, чем представители других национальностей страны, вступали в такие браки. Так, по данным 80-х годов, которые были приведены в “Учительской газете” (от 16. 11. 1989 г.), около 33,4% украинских мужчин вступали в брак с женщиной другой национальности, у татар этот процент составлял цифру 40,9%, у евреев – 58,3%, тогда как из числа немецких мужчин 67,6% вступали в брак с женщинами других национальностей. Примерно так же обстоит дело с межнациональными браками с позиции женщин: 64,6% немецких женщин вступали в брак с мужчинами другой национальности (См. об этом: Domashnew 1994b, 324). В несколько более лучшем положении оказались этнические немцы, проживавшие компактно еще с дооценных времен в Сибири, в Алтайском крае или Казахстане. Так, на Алтае, несмотря на массовый отъезд немцев на свою историче-

скую родину, который в последние годы заметно сократился, и в настоящее время сохранились деревни, основное население которых все еще составляют этнические немцы. Интенсивные лингвистические экспедиции германистов из Барнаульского университета (Л.И. Москалюк, Ю.В. Серых и др.) показывают, что местные немецкие диалекты активно используются жителями этих сел и деревень и, независимо от степени влияния на них русского языка, сохраняют все системные свойства (фонемный состав, грамматический строй, основной вокабуляр), хотя русское культурно-языковое влияние в современных условиях продолжает усиливаться (Ср.: Москалюк 1983). Об этом же говорит и казахский германист С. Исабеков, который родился и провел детские годы в селе, в котором значительную часть населения составляли этнические немцы. Благодаря постоянному общению со своими немецкими сверстниками он овладел местным немецким диалектом и, возможно, это привело его позднее на студенческую скамью факультета немецкого языка Института иностранных языков в Алма-Ате. Позднее, став уже преподавателем этого вуза, он писал, что русские заимствованные слова постепенно, но прочно входят в лексическую систему такого диалекта, потому что, как правило, ими называются новые реалии и понятия, для которых нет немецких соответствий. В одной из своих работ он приводит примеры русских слов, с помощью которых в диалекте образуются устойчивые словосочетания: *if Pensija gea* (“выходить на пенсию”), *den Propusk vorzeiga* (“предъявить пропуск”), *po blatu kriega* (“получить по блату”), *ei langi Otschered nach Defizit abste-ha* (“отстоять длинную очередь за дефицитом”). Ср. также другие русские заимствованные слова, вошедшие в состав лексики местного диалекта: *otmetschaja* (“отмечаться”), *der Predzedatel' tut dich raus-rufa* (“председатель вызывает тебя”) и др. (Isabekov 1990, 183–184).

Определенная часть таких заимствований, являющихся подтверждением культурно-языковых влияний русского языка на немецкие островные диалекты, прочно входит в систему языка и нередко воспринимается последующими поколениями носителей данного диалекта в качестве слов родного языка. Редким, но, безусловно, убедительным подтверждением такого положения является статья, которую опубликовал в 1957 г. немецкий лингвист Т. Копп (Thomas Kopp) в журнале “*Muttersprache*”, выехавший из Германии в Аргентину, чтобы стать там преподавателем немецкого языка в одной из немецких колоний в пустыне Пампа. Выбор на него пал, в частности, потому, что он является выходцем из рейнско-франкской области Германии, откуда родом, как ему сообщили, были и те немцы, к которым он ехал в Аргентину. По приезде ему был оказан хороший прием и за чашкой чая (“*Mate*” – испанское название парагвайского чая) и рюмкой местной водки из сахарного тростника (“*Kaña*”),

в ожидании главного блюда – мяса на шампурах (“Asado”), мужчины стали рассказывать гостю на рейнско-франкском наречии о своей родине, где была их колыбель (“Wiege”) – о России! Выяснилось, что перед ним были немцы, которые во времена Екатерины II переехали из Германии в Россию, жили долгие годы на Волге и только в начале 20 в. оказались в Аргентине. Т. Копп еще в самом начале заметил, что кроме ряда слов из испанского языка, которые им были нужны для номинации новых для себя реалий, эти немцы употребляли многие непонятные для него слова, да и сама их речь, ее интонационный рисунок как-то отличались от диалекта самого Т. Коппа. Это он особенно остро почувствовал, когда слушал их песни, которые известны и в его краях в Германии. Они пели эти немецкие песни как-то очень протяжно, с резким подъемом интонации в конце куплета или строфы. Думая об этом, Т. Копп предположил, что эти черты у них возникли под влиянием пения местных жителей на Волге: казалось, говорил Т. Копп, все это они “подслушали” в песнях волжских татар или волгарей, проплывавших на своих лодках или баржах мимо поселений немецких колонистов. Прожив в Аргентине уже более 50 лет, они продолжали считать Россию своей родиной: Т. Копп обратил внимание на то, что говоря “у нас” (*bei uns*), они имели в виду не Германию, а Россию, между тем как их язык, их песни оставались немецкими (Копп 1957, 369).

Безусловно, за прошедшие годы компактного проживания в Аргентине язык немецких колонистов пополнился рядом слов из испанского языка, к которым прежде всего относятся названия предметов и явлений новой действительности, либо названия предметов первой необходимости, которые они узнали от своих аргентинских соседей. Так, вместо немецкого слова *Bleistift* (“карандаш”) немецкие колонисты употребляют испанское *lapiz*, а вместо немецкого *Spitze* (“острие”, “острый конец”) используется испанское *punta*. Таким образом, немецкое предложение “*Mein Bleistift hat keine Spitze*” (“мой карандаш не имеет острия”, “мой карандаш тупой”) нередко может иметь, как отмечает Томас Копп, следующий вид: *Mai Lapiz hot koi Punta net*. Вместо немецкого *Mütze* (“шапка”) здесь встречается испанское *Gorre*: *Habt ihr koi Gorre bai aich?* (“у вас нет шапки?”). Ср. также испанское *cosecha* (“урожай”) вместо немецкого *Ernte*: *Wie war die Coseche?* (“Какой был урожай?”). Все эти и другие испанские слова в речи немецких колонистов, проживших в аргентинской пустыне Пампа целые десятилетия, представляются обычными заимствованиями, результатом неизбежных влияний доминирующего языка. Интерес вызывает как раз другое – столь длительное сохранение русских слов в речи людей, два поколения которых никогда не были в России, но усвоили такие слова из уст представителей старшего поколения. Более того, есть свидетельства того, что эти немцы вос-

принимают подобную лексику в качестве слов немецкого языка. Т. Копп в своей статье отмечает, что его собеседник, называя предмет одежды, подчеркивал: “Deutsch sagt man dafur *Pintschak*” (“по-немецки это называется пиджаком”; “пинжал”). При этом данное слово имеет и уменьшительную форму с соответствующим немецким суффиксом: *Pintschäkelche* (“пиджачок”). Среди других русских слов, воспринимаемых колонистами в качестве слов родного языка, автор называет, в частности, такие как: *Kartus* (“картуз”), *Pomaschnik* (“бумажник”, “кошелек”), *Kawak* (“кабак”), *Nuschnik* (“нужник”, “уборная”), *Schomodant* (“чемодан”), *Kutschai* (“качели”), *Druschke* (“дружок”, “приятель”). При этом некоторые из таких русских слов (*kawak*) используются, как отмечает Т. Копп, в услышанных им немецких песнях колонистов, появившихся у них, очевидно, еще в России (Корр 1957, 377–378).

Приведенный выше материал показывает, что заимствованные однажды слова могут настолько прочно войти в систему языка, что для их дальнейшего употребления оказывается важным не столько поддержание прежних условий, при которых они попали в язык данного коллектива его носителей, сколько наличие достаточной компактности существования этой группы (круг семейных или родственных отношений, выходцы их одного села или общей местности), в пределах которой данное языковое состояние практически реализуется. Можно также предположить, что оказавшись в отрыве от прежней среды своего длительного пребывания в России, эти переселенцы со временем утратили потребность к использованию многих других русских слов, которые они могли употреблять по мере необходимости, при контактах с русскими соседями, однако, как можно было видеть, это не коснулось слов, которые заняли настолько прочное место в системе языка, что на это не повлияли новые условия жизни этих людей.

Напротив, там, где этнические поселенцы живут разрозненно или оказываются в условиях крупных населенных пунктов и городов, они постепенно утрачивают способность к свободному и качественному владению родным диалектом или языком и переходят со временем к использованию доминирующего языка. Такое положение особенно характерно для США, где политика “плавильного тигеля”, т.е. процесса культурной ассимиляции всех этнических групп населения страны в рамках единой американской нации, практически предопределяет такое развитие. Это в равной мере касается и этнических немцев, число которых в США за период с 1820 г. по 1974 г. составило 25,5 млн. человек. Большое число таких немецких переселенцев оказалось в штате Пенсильвания (около 500 тыс. чел.), где на основе различных диалектов которых в 17–18 вв. сложилось своеобразное пенсильвано-немецкое койне – Pennsylvania

Dutch (Pennsylvania German), остатки которого известны в германистике еще и сегодня. Немецкая германистка Х. Вакер (Helga Wacker), изучая положение немецкого языка в США, в 1964 г. писала, что он подвергается там настолько значительному воздействию господствующего английского языка, что анализируемый ею немецкий язык в его культурном слое (язык прессы) имеет черты гибридного языка ("Mischsprache"). В своей книге она приводит немецкий текст (письмо из переписки двух лиц, опубликованное в газете "Abendpost Chicago"), который наглядно показывает образец языкового высказывания, напоминающего макароническую стилизацию. Ниже мы приведем текст этого письма без перевода на русский язык, в котором английские слова и морфологически по-немецки оформленные англизмы будут даны курсивом. Весь эффект такого языкового высказывания хорошо поймут читатели, знающие эти языки, тогда как любой перевод на русский язык оказывается лишенным практического смысла. Добавим также, что письмо было написано, как это понятно из его содержания, вскоре после начала первой мировой войны:

"Jetzt war die Wekehschenteim *gepäßt*, und ich hatte es *gemänetscht*, daß die Alte daheim *gestanden* war und nicht die beiden *World Fairs* *attendet* hat, was *oridschinelli* ihre *Intenschen* war. Das *Busineß* ist noch immer verdöllt *schloh*, aber es hat doch *gestartet aufzupicken*, und in den Verein hatte ich keinen *Trubel* mehr – da haben sie in die alte *Köntri* einen neuen *War gestartet*. Ein *töffes* Glück bietet das schuhr *enöff* einiges. Zuerst wollte die Alte es nicht glauben wollen und *geklehmt*, es ist alles *Nuhspeptalk*. Als es dann aber *for schuhr riportet* wurde, hat sie zum *Kreien gestartet*, und jetzt *lissent* sie den ganzen Tag das Radio. Ich habe zu sie gesagt, sie soll das Radio ausschneiden und die *pepers* nicht lesen. Da hat sie gesagt, das ist kein Juhs nicht... *Well*, in einen Weg kann ich sie nicht dafür *blehmen*. Ich fühle mich nämlich denselben Weg" (См.: Wacker 1964, 101). Влияние английского языка оказывается, помимо выделенных в тексте заимствованных слов и оборотов, на калькировании английских оборотов, сп.: *in einen Weg*, английское – *in any way*; *ich fühle nämlich denselben Weg*, английское – ...*the same way*. Таким образом, речь здесь идет не о вовлечении в немецкое высказывание местных английских реалий или слов, важных для межэтнического общения, а о свертывании самой системы немецкого языка. Дело здесь в том, что официальная точка зрения на положение этнических языков сводится к тому, чтобы всемерно способствовать скорейшему переходу таких людей на единственно важный для страны английский язык. По этому поводу известный американский политолог Д. Ситрин прямолинейно писал: "Смысл программ двуязычного обучения в государственных школах должен заключаться в том, чтобы как можно быстрее и эффективнее обучать детей английскому языку".

Продолжая, он подчеркивал: “Сохранением этнической общности, как бы она ни была желательна, должна заниматься семья и учреждения сообщества”. Напоминая, что раздававшееся в американском обществе требование “языковых прав” было для этнических меньшинств “символическим закреплением их привязанности к родной культуре” и развивая свою общую мысль, он подчеркивал: “Политика, направленная на удовлетворение прав меньшинств, лишь тогда обретает всеобщую поддержку, когда она выражается в действиях, поддерживающих доминирующую концепцию американской общности, а не разрушающих ее”. Заканчивая свой трактат, он горделиво заявляет: “Соединенные Штаты не могут быть Швейцарией, Австро-Венгерской империей или даже Канадой” и почти патетически восклицает: “Судьба нации – это возрождение “плавильного тигеля”, в котором отдельные элементы – как местные, так и пришлые, большинство и меньшинство – перемешиваются, чтобы создать новую общность для всех (Ситрин 1991, 65). К сожалению этот пример не является единичным. Так, во Франции, где помимо основного населения – французов, проживают от 1 до 2 млн. бретонцев (кельтского происхождения), примерно 1,2 млн. алеманноязычных эльзасцев и лотарингцев, говорящих на мозельско-франкском диалекте, распространенном в основном в Германии (район Трира – Кобленца), около 1/3 млн. каталонцев, более 200 тыс. италоязычных граждан страны, включая в эту группу и корсиканцев, 0,2 млн. фламандцев, 0,1 – 0,2 млн. басков, их этнические языки не только не изучаются в школах, но и не используются ни в каких инстанциях французского государства. В стране, даже в сельской местности, где, например, живут в основном эльзасцы, нет школ, где преподавание, хотя бы в начальных классах, проводилось бы на родном языке. Французский язык является единственным средством языкового общения во всех сферах жизни общества (Наэfs 1984, 279).

Становится понятным, что при такой культурно-языковой политике нет места никаким идеям о сохранении и развитии языков этнических групп, о культурно-языковых влияниях и встречах “этнических культур в зеркале языка”, как это сформулировано инициаторами настоящего исследовательского проекта.

Возвращаясь к вопросам культурно-языковых контактов и влияний, что всегда было характерно народам во всем мире, можно слиться на пример альпийской Республики Швейцарии, где исторически в мирном сожительстве существуют четыре разновеликие по численности национальные группы: германо-швейцарцы, франко-швейцарцы, итalo-швейцарцы и рето-романцы. При этом язык самой малой группы – рето-романской (около 1% всего населения), как и другие языки страны, имеет статус национального языка. Правда, поскольку эта национальная группа не имеет отдельной го-

сударственной территории (кантон), а проживает в основном в пределах немецкоязычного кантона Граубюнден, рето-романский язык не имеет статуса государственного языка, хотя во всех других отношениях (преподавание в школе, издание книг и газет и т.д.) он пользуется правами остальных языков страны. Правда, при обращении в официальные инстанции кантона Граубюнден рето-романцам приходится прибегать к использованию немецкого языка или местного немецкого диалекта, если речь идет об устном общении с германо-швейцарскими жителями кантона. Несмотря на то, что германо-швейцарцы составляют от 65 до 70% всего населения Швейцарии, он не имеет никаких функциональных преимуществ перед другими языками и используется в качестве официального, государственного языка только в пределах своих кантонов. В границах схождения немецкого и французского языков наблюдается ситуация двуязычия, а во Фрибуре имеется университет, где обучаются группы студентов на том или ином из двух названных языков. Наблюдение показывает, что при таком положении многие швейцарцы знают и язык своих соседей, а свободная миграция людей по всей территории страны (работа, учеба и др.) способствует развитию индивидуального двуязычия. Именно по этой причине, например, в немецком языке Швейцарии мы находим многие французские слова, необходимые германо-швейцарцам в целях номинации многих предметов и явлений, характерных для Швейцарии в целом. К подобным заимствованиям из французского языка следует отнести слова: *Bonnerie* (Kurzwarenhandlung, галантерейный магазин), *Cheminée* (Kamin, камин), *Konfiserie* (Konditorei, кондиторская), *Linge* (*Wäsche*, бельё), *Papeterie* (Schreibwarenhandlung, магазин канцелярских товаров), *Patisserie* (Feinbäckerei, булочная), *large* (freigebig, reichlich, щедро) и др. (Kaiser 1969, 82–85).

Говоря о сохранении следов этнических языковых контактов и влияний, можно напомнить о многоэтническом прошлом Австро-Венгрии, существовавшей в 1867–1918 гг. в качестве дуалистической монархии во главе с австрийским императором. Она охватывала огромную территорию от Карпат до Адриатики, где жили многие народы со своей национальной культурой и языком, которые, при всем господствующем положении немецкого языка и в Праге, и в Любляне и в других городах империи, оставили свой след в немецком языке, в известной степени сохранившийся по настоящее время, несмотря на распад этой монархии еще в 1918 г. К таким заимствованиям из славянских языков следует отнести слова: *Kolatsche* (калач), *Zobel* (соболь), *Okroschka* (окрошка), *Powidel*, *Powidl* (повидло), *Gatscherln* (чешск. Каče, утка), *Tschunkerln* (Ferkel, поросенок) и многие другие слова (Домашнев 1967, 66–70). Некоторые слова и славянские названия вошли в состав австрийской фразеологии и ис-

пользуются в различных ситуациях и в настоящее время. Так, выражение “*Das ist mir Powidl*” означает : “для меня это все чепуха!”, а славянское слово “хрен” в форме “*Kren*” участвует в образовании выражения “*seinen Kren zu etwas geben*” со значением “соваться со своим (никому не нужным) мнением”.

Таким образом, подобные факты подтверждают мысль о том, что для того, чтобы оказывать какое-либо влияние одного языка на другие, нужны формы культурных контактов, в результате которых возникают новые свойства языка, длительность сохранения которых определяют соответствующие социальные условия и адекватная политика государства в отношении языков народов, населяющих эту страну.

ЛИТЕРАТУРА

Дингес Г. К изучению говоров поволжских немцев // Учен. зап. Саратовского госуд. универс. им. Н.Г. Чернышевского. Т. 4. Вып. 3. Саратов, 1925. С. 12–20.

Домашнев А.И. Очерк современного немецкого языка в Австрии. М: Высшая школа, 1967.

Маныкин В.А. Социолингвистический аспект функционирования диалектов немцев Поволжья: Автореф... канд. филолог. наук. Саратов, 1992.

Москалюк Л.И. Содержательные особенности предметной лексики в немецких говорах // Вопросы диалектологии немецкого языка. Омск [ОГПИ], 1981. С. 133–139.

Ситрин Д. Язык, политика и американская национальная общность // Диалог – США. С. 47. 1991. С. 60–65.

Шиллер Ф.П. О влиянии войны и революции на язык немцев Поволжья // Учен. зап. Института языка и литературы . Том 2. М., 1929. С. 67–87.

Bach A. Deutsche Mundartforschung, ihre Wege, Ergebnisse und Aufgaben. Eine Einführung. 2. Auflage, 1950 (1. Aufl. 1934).

Domaschnew A. Einige Bemerkungen zum Begriff ‘Sprachinsel’ und zur Erforschung der russlanddeutschen Mundarten // Sprachinselforschung. N. Berend, K.J. Mattheier (Hrsg.). Bern: Peter Lang, 1994. S. 165–177 (1994a).

Domaschnew A. Deutsche Mundarten in Russland. Zur Erforschung russischer Spracheinflüsse auf die russlanddeutschen Mundarten // Zeitschrift für germanistische Linguistik. 22. 1994. S. 320–333. (1994b).

Domaschnew A. Zur Erforschung der Kolonien der Newa-Deutschen // Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. Band 38. N.G. Elwert Verlag Marburg, 1995. S. 65–79.

Haeffs H. (Hrsg.). Der Fischer Weltalmanach 1985. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag, 1994.

Hutterer C.J. Sprachinselforschung als Prüfstand für dialektologische Arbeitsdisziplinen // Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Erster Halbband. Berlin; New York, Walter de Gruyter, 1982. S. 178–189.

Isabekow S. Systembezogene und funktionale Besonderheiten der Sprache der Sowjetdeutschen in Kasachстан // Das Wort 90'. Germanistisches Jahrbuch DDR-UdSSR. Breitung H. (Hrsg.). Moskau; Berlin, 1990. S. 182–185.

- Kaiser S.* Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache in der Schweiz. Band 1. Duden // Beiträge, Sonderreihe, Heft 30a. Mannheim/Wien/Zürich: Dudenverlag, 1969.
- Kopp T.* Deutsche Muttersprache in der Pampa Argentiniens // Muttersprache, H. 10. 1957. S. 369–379.
- Löffler H.* Germanistische Soziolinguistik. (Grundlagen der Germanistik, 28). Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1985.
- Moser H.* Annalen der deutschen Sprache. 2. Auflage, Stuttgart, 1963.
- Peters V.* Chortitza und Molotschna. Mennoniten-Siedlungen in Rußland // Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde. Bd. 35. N.G. Elwert Verlag Marburg, 1992. S. 128–149.
- Protze H.* Die Bedeutung von Mundart, Umgangssprache und der Hochsprache in deutschen Sprachinseln unter Berücksichtigung sprachlicher Interferenz // Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, 1969, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. Heft 6–7. S. 595–600.
- Voigt W.* Wörterbuch, Wörterbuchmacher, Wörterbuchprobleme. Ein Werkstattgespräch // Wort und Sprache. Beiträge zu Problemen der Lexikographie und Sprachpraxis, veröffentlicht zum 125 jährigen Bestehen des Langenscheidtsverlages. Berlin–München; Wien; Zürich, 1981. S. 24–33.
- Wacker H.* Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache in den USA. Duden – Beiträge, Sonderreihe. Heft 14. Mannheim; Wien; Zürich: Dudenverlag, 1964.
- Wiesinger P.* Deutsche Dialektgebiete außerhalb des deutschen Sprachgebiets: Mittel-Südost und Osteuropa (mit einem Anhang von Heinz Kloß) // Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Zweiter Halbband, Berlin, New York: Walter de Gruyter Verlag, 1983. S. 900–930.

II. АСПЕКТЫ ДИАЛОГА КУЛЬТУР Этнолингвистический ракурс

Нина Б. Мечковская
(Белоруссия)

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОППОЗИЦИИ В МЕНТАЛЬНОСТИ БЕЛОРУСОВ (на материале белорусских паремий и фразеологизмов с этнолингвонимами и топонимами)

1. Относительно позднее этническое самоопределение и разделение восточных славян. Процессы этнической дифференциации у восточных славян развивались позже, чем у западных и южных славян, в том числе позже взаимного обособления чехов и словаков, болгар и сербов, хорват и словенцев, сербов и хорват. Данный исторический факт отразился, в частности, в том, что все восточные славяне долгое время в той или иной мере сохраняли древнейшее общее самоназвание – Русь, *рус(с)кие*. Ср. в общем заглавии библейских книг, изданных Франтишком Скориною в Праге (1517–1522 гг.): “*Библия ръска выложенна докторомъ Францискомъ Скориною изславнаго града Полоцька [...]*”; язык своих пражских изданий Скарына последовательно называет *рускыи* (*русский*, *руський*), причем считает его родным: “*Азъ [...] нароженый врускомъ газыку [...]. А то для я того Абы братиа моа Русь люди посполитые чтучи могли лепей разумети*” [см. подробно Мечковская 1989]. Ср., далее, топоним *Україна–Русь* в значении ‘Украина’ в концепции украинских историков школы Михаила Грушевского (в том числе в его 13-томной “*Історії України–Русі*” 1898–1936 гг.).

Из трех восточнославянских народов украинцы первыми стали осознавать себя отдельным народом (20-е годы XIX в., издания Михаила Максимовича, открытие Киевского университета (1834), Кирилло-мефодиевское общество (1845–1847) в Киеве) и более решительно (чем белорусы) выступали за свое национальное самоопределение и самоуправление [см. подробно Мечковская 1998, Мечковская 1999]. У русских и белорусов осознание своей этнической различности складывалось позже, при этом вектор и “знак” развития этнического самосознания был разный. Русским пришлось как бы

“выделить” белорусов “из с е б я” (как крестьянин “отделяет” женившегося сына, разделяя собственность, т.е. становясь беднее на долю, отданную сыну)¹. Это процесс у т р а т ы, поэтому массовое имперское сознание (точнее, имперское самолюбие) народа, которому веками прививалось самоощущение “государственного народа” (формула Александра III) противится разделению. Белорусы психологически находятся в более оптимистической позиции повзрослевшего сына, который не “утрачивает”, а, напротив, “получает”: его самостоятельность, независимость, его имущественный статус распут. Однако у белорусов оптимизм национальной суверенизации существенно ослабляется психологией “младшего брата” или даже “бедного родственника”: белорусы не уверены в своих силах и далеко не в полной мере дорожат своим суверенитетом. Таково о к р а - и н о е имперское сознание, сформированное столетиями жизни в империи, когда все лучшее (даровитое, успешное, предприимчивое) сосредотачивалось в имперских столицах и теряло связь со своей географической родиной (“национальной окраиной”, по терминологии большевиков).

Великорусы, самый многочисленный славянский этнос, усвоив себе общее самоназвание восточных славян – *Русь, русские* – осознавали себя в качестве общего “корня” или “ствола” “единого русского древа”, рассматривая при этом украинцев (*Малороссия*) и белорусов (*Литовская Русь*) как ответвления, поздние “поросли” единого древа. Русские люди “в глубине души” (т.е. не всегда официально или просто эксплицитно, но на практике) склонны трактовать Украину и Беларусь как географические понятия – как регионы, автономии, со своим “местным” самоуправлением и “местным” колоритом, но в принципе как “один народ”².

Таким образом, для этнического самосознания белорусов, как и в определенном смысле для самосознания русских и в меньшей мере для самосознания украинцев, характерна недостаточная взаимная обособленность, т.е. недостаточно сильное ощущение своей отдельности от восточнославянских соседей.

¹ Точнее, русским е щ е д о с и х п о р приходится “выделять белорусов из себя”: в каких-то слоях / группах русского народа процесс осознания этнической раздельности русских и белорусов, а также русских и украинцев еще длится.

² Ср., однако, и вполне официальное проявление такого рода психологии: девиз, под которым в Москве (в помещении Малого театра) 1–2 июня 2001 г. проходил “Съезд славянских народов Беларуси, России, Украины”: “*Три страны – один народ*”. Съезд открывался молебном в Успенском соборе Московского Кремля, впрочем, как значилось в программе, “по желанию участников съезда”. Егор Строев, председатель Верхней палаты Российской парламента России, в выступлении по московскому ТВ в начале июня 2001 г. сказал: “*Русские и белорусы – это один народ*” (ср. возмущенную реакцию на это выступление в газете “Народная воля” от 07.06.2001 г. [в статья “Брыда”]).

Для истории этнического самосознания белорусов характерно не только их относительно позднее выделение из восточнославянского единства, но и поздняя внутрибелорусская консолидации народа. Указанный факт также нашел свое отражение в этнонимии. В Московском государстве и на запад от Великого княжества Литовского в XVI–XVII вв. в качестве основного обозначения жителей княжества выступал этноним *литвины* (*Литва*) – как для преобладавшего в княжестве славянского населения, так и для балтийских племен жемайтов и аукшайтов. Этноним *литвины* (*литвинник, литвак*) не стал, однако, общим самоизнанием белорусов. По данным М. Федоровского, в конце XIX в. в белорусских землях существовали разные этнонимы, причем самоизнание и внешнее название часто не совпадали: “Так, в Слонимском повете [жители. – Н.М.] зовут себя *Литвинами*, а соседей от Пинска до Пружан – *полешуками*, от Столбца и Мира – *Русинами*, а их землю *Русью*, а себя *Литвой* [...]. Полешуки своих соседей над Неманом от Свислочи до Волковыска называют *Литвинниками*” [Fed. 453].

Этноним *белорусы* (известен с XVI в.), производный от *Белая Русь* (последний применительно к белорусским землям известен с XIV в.), укреплялся в качестве самоизнания народа крайне медленно. Торможение процесса шло как от имперской власти, так и от националистов. Хотя топоним *Белая Русь* с 1654 г. входил в титул российского самодержца, имперская власть, видя в топониме сепаратистскую угрозу, вытесняла его географическими перифразами³. В свою очередь многие националисты считали (и считают) имя *белорусы* чужим, навязанным народу империей⁴. Поиски самоизнава-

³ После разделов Речи Посполитой белорусские земли именовались *губернii, от Польши возвращенные* (или *присоединенные*); *новые западные губернii и т.п.* При Екатерине II в 1772 г. было создано *Белорусское генерал-губернаторство* (объединившее восточные белорусские земли), однако после восстания 1830 г. из официального русского языка постепенно ушел термин *белорусский*. При Николае I распространился топоним *Западная Россия, Западный край* (для Украины – *Юго-Западная Россия*); в 1840 г. был издан именной указ о запрете прежних топонимов *Литва* и *Белая Россия, Белая Русь*. К концу XIX в. перифраза *Северо-Западный край* была официальным названием 6 белорусских и литовских губерний (Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, Могилевской, Витебской).

⁴ Один из видных деятелей первого белорусского возрождения (1906–1927) Вацлав Ластовский в 20-е годы настойчиво призывал отказаться от “*накінутага нам назову*” *беларусы* и принять “*стары i ўласны назоў нашага народу i краю*”, лишенный «*наменклатурнай залежнасці ад “общерусскости”*», – крыевые: «*Як “беларусы” мы – толькі абдіцё агульнарускай індыўідуальнасці, нейкі “промежуток и недоумок”, але як “крыевічы” – мы асобны індыўідуум, асобнае славянскае племя са сваёй багатай мінушчынай, сваёй асобнай мовай, тэрыторыяй и духоўнай творчасцю*» [Ластоўскі [1925] 1997, 386].

ния белорусов продолжались весь XX в.: наряду с именами *белорусы* и *кравічы*, предлагались термины *літвіны*, *літвякі*, *руснякі*, *пальшукі*, *ятвягі*.

Поздний и не вполне завершенный процесс национального самоопределения белорусов находит свое отражение в белорусской фразеологии и паремиологии – именно в крайней немногочисленности устойчивых оборотов с этнолингвонимами *белорус* / *белорусский*, *русский* и в непредставленности в рассмотренном материале лексем *украинец*, *украинский*⁵. В силу слабой выраженности оппозиций ‘белорус – русский’ и ‘белорус – украинец’, более заметными (представленными в большем количестве паремий и фразеологизмов) оказываются различия между белорусом и цыганом (п. 7), евреем (п. 8), поляком (п. 9).

В целом этнонациональные мотивы в белорусской и в русской фразеологии и паремиях представлены более чем скромно, причем они, по-видимому, не входят в так называемый паремиологический минимум (термин Г.Л. Пермякова, см. Пермяков 1982) и не являются высокочастотными. Характерно, что в словарь Леп., Як. 1996, который, по замыслу составителей, ограничен только 1000 “найбольш ужывальных прымавак” и поэтому ценен как экспертное выделение “самого частого” в многотысячном море народной афористики, включены всего 5 паремий с этнонимами (при этом одна из поговорок известна также и в варианте с заменой этнонима *полякі* на *казакі*): *За кампанію і цыган павесіўся*; *Кожны цыган сваю кабылу хваліць*; *Абыйдзеца без марцытанаў цыганськае вяселле*; *Нязваны госьць горши за татарына*; *Дажыліся казакі (полякі), ні хлеба, ні табакі*. В таком же по объему “Словаре русских пословиц и поговорок” В.П. Жукова (М., 1966) есть всего одна паремия с этнонимом: *Незваный гость хуже татарина*.

2. О принципиальной неполноте печатных источников паремий с этнонимами. В сфере слов и высказываний трудно назвать феномены, более опасные для межэтнического мира, чем поговорки о народах-соседях (близких и дальних). Поэтому в силу цензуры и самоцензуры и по тем этическим мотивам, которые сейчас называют “политкорректностью”, полный корпус белорусских паремий и фразеологизмов с этнонимами не только не напечатан, но и не представлен в изданиях в адекватных пропорциях.

Действительные пропорции паремий с разными этнонимами остаются неизвестными. Так, во всех опубликованных сборниках или подборках белорусских паремий этноним *цыган* (с дериватами) оказывается самым частым. Исключение составляет, однако, собрание

⁵ Впрочем, у Федоровского есть топоним *Украина: Нётоў ni Україна*, с tolkovанием собирателя: ‘Nie bardzo daleko’ [Fed. 318].

Михала Федоровского (записи 1877–1904 гг., издание 1935 г.; см. Fed.), в котором самым частым этнонимом является лексема *žyd* (соответствующий материал представлен в 114 словарных статьях), в то время как клише с *cūhan* (и его производными) занимают 2-е по численности место (27 словарных статей). В отличие от собрания М. Федоровского, в белорусских изданиях (особенно вышедших до 1994 г.) корпус антисемитских поговорок предстает в редуцированным виде. Достаточно сказать, что в академическом двухтомнике “Прыказкі і прымаўкі” (1976) и в сборнике 1979 г. “Выслоўі” (см. Гр. I, Гр. II, Гр. 79) нет ни одного оборота с этнонимом *жыд* или *яўрэй* – еврейская тема представлена здесь клише со словами *рабін*, *Саламон*, *Шлёма*, *Шмуйла*, *Янкель*, *лейзерава* (*карова*) и др. Издатели белорусского фольклора и фразеологии, особенно в XX в., сознательно не включали в публикуемые сборники многие десятки антисемитских пословиц и фразем: их воспроизведение было бы обидным (для евреев), стыдным (для белорусов) и опасным для межэтнического согласия граждан. В течение столетий Беларусь, по земле которой проходила “черта оседлости”, жила в атмосфере государственного и бытового антисемитизма. Поэтому не только в книгах (тем более популярных), но и в живой речи этически чутких людей, включая, разумеется, и крестьян, имела и имеет место осторожность в употреблении слов *яўрэй* и тем более *жыд*. Во многих поговорках (и в публикациях и в живой речи) этноним *цыган* выступает как эвфемистическая замена слов *жыд* или *яўрэй* (вроде *За кампанію і цыган павесіўся*).

3. Терминология. Технические замечания. Жанрово-языковой состав белорусских клише с этнолингвонимами разнообразен. Здесь есть фразеогизмы-идиомы (*цыганськае сонца* – ‘луна’) и неидиоматические фразеогизмы (*цыганскі раманс*), сообщения о выдуманных и невыдуманных событиях, “разовых” (*За кампанію і цыган павесіўся*) и повторяющихся (*Пасля ражества цыган шубу прадаваў*), сентенции-характеристики (*У цыгана дзъве душы*), поговорки-обобщения и поговорки-приметы (*Спаць не павячэралішы – цыганы будуть сніца*), пословицы с переносно-расширительным (образным) значением (*На кожным кірмашы свой цыган*, т.е. ‘В любом собрании людей есть свой странный, непредсказуемый участник’) и поговорки-императивы (*Больш бойся прыцыганкаў, чэмся цыган*); диалоги-насмешки (*Маеш, цыгане, сведкі? – А як жа – жонкі і дзеткі*), короткие анекдоты, устойчивые сравнения – с прямым (свободным) значением (*чорныя як цыган*; *таргуюцца як цыган*) и иронические (*цесна, як цыгану ў полі*); есть дразнилки, считалки, скороговорки, бранные и уничижительные обороты, в рифму и без рифмы и т.п.

В дальнейшем изложении любые клише-высказывания будут обозначаться терминами “паремия” / “поговорка”, а непредикатив-

ные клише-словосочетания – терминами “фразема” / “фразеологический оборот” / “фразеологизм”, без специального внимания к их структурно-семиотическому своеобразию. Ссылки на лексикографические источники приводятся в сокращенном виде; полное описание источников см. в конце статьи. Сохраняется орфография и пунктуация источников.

4. Этно-конфессиональный и социальный синкретизм в семантике названий лиц. В языке белорусских поговорок и фразем достаточно обычны слова, в которых значение этонима синкретически сосуществует со значением ‘название лица по социальному положению’ и/или ‘название лица по конфессиональной принадлежности’. Так, в оппозиции *мужык – пан* слиты три противопоставления: 1) социальная оппозиция ‘(бедный) крестьянин – (зажиточный) шляхтич’; 2) этническая оппозиция ‘свой, *тутэйшины*, беларус – поляк’; 3) конфессиональная оппозиция ‘православный – католик’ (ср. скороговорку [запись 1971 г.]: *Трэба сесці, скібу хлеба з’есці перад панамі, перад каталікамі* [Гр. 79, 140]. В оппозиции *каталік / католік – русак / русь / рўскі* (*Katalik da nièba tyk, a Ruś da piękła szus* [Fed. 140], *Rusák idziè da nièba jak husák* [Fed. 267]) – второй член означает ‘православный’. Лексема *маскаль* означает не только ‘русский’, но и ‘солдат’⁶, ср.: *Маскаль ня вялики пан, да у яго барабан* [Шпил. 1853, 184]. По-видимому, именно с постоеем солдат связаны такие паремии, как *Муциць у вадзе як маскаль у сяле* [Шпил. 1853, 184], *Tatū, tatū, l,ęzie czort i chàtu! Nichaj l,ęzie, abý ni maskał; Na tòje j „on maskał kab kràū* [Fed. 179]. См. также у Даля [II, 349] их великорусские параллели.

Указанный синкретизм значений отчасти сохраняется в Беларуси до сих пор – в некодифицированной речи на белорусском и русском языках: ср. такие обычные обороты, как *польская / русская / яўрэская пасха; польское / русское рождество* и т.п.

5. О степенях веротерпимости белоруса. Поскольку в народном сознании признаки вероисповедания и этничности переплетаются, то для характеристики представлений белоруса о других народах relevantны также и фольклорные клише, содержащие те или иные конфессиональные термины (или их дериваты). Для белорусской конфессиональной лексики, представленной в фольклорных клише, характерен паритет православных и католических терминов: *царква – касцёл, поп – ксёндз, русак / рускі – каталік / католік, малітвы – пацеры / мадлітвы*. Вместе с тем имеется и некоторая естественная асимметрия в обозначении лиц: *панадзя, панова дачка, панамар (и паланамар), дзяк, дзякан, дзячыха, дзякоўна* и т.д., а с ка-

⁶ *Москаль* в значении ‘солдат’ хорошо известно также украинскому языку и русскому языку XIX в. См. Даляр II, 349.

толической стороны – *ксяндоўская ахміstryня, ксяндоўскі слуга, арганіст, алтарыст*. Ср.: *Дзякоўна папоўне не роўна* [Гр. I, 337], *Што папіха, то не дзячыха* [Гр. I, 335]; *Алтарысты і арганісты не ўсе на рукі чысты; Я не арганіст – не перабіраю; Я не арганісты – пальцамі не перабіраю* [Гр. I, 337].

Отмеченный лексический паритет имеет свое соответствие и развитие на уровне суммарной (выявляемой средствами контент-анализа) семантики белорусских паремий с конфессиональными терминами: между православными и католическими концептами существуют отношения паритетности, параллелизма, в некоторых контекстах – взаимозаменимости. Последнее особенно характерно для пар *поп – ксёндз* и *царква – касцёл*, ср.: *Вяселле, хрысціны – пану (ксянду) добрыя гадзіны* [Гр. I, 328]; *Поп (ксёндз) і дохтар і ў лесе з голаду не памрэ* [Гр. I, 330]; *У чужой цэркві (чужым касцёле) свечак не папраўляй* [Гр. I, 331]; *Правіць як ксёндз з (на) казальніцы і Правіць як поп у цэркві* [Гр. 79, 367]; *У карчме, лазыні, касцеля й царкве ўсе людзі роўныя* [Акс., 102 (запись середины XX в.)]. В ряде паремий *кабак, карчма, шынок* в равной степени противостоят и *касцёлу* и *царкве*: *Да касцёла дарога крыва, а да карчмы проста; У цэркву склізка, у кабак блізка; Як да касцёла, то гразка, а як да карчмы, то хоць па загуменню; Званіцу дзярэ, карчму крье; Касцёл дзярэ, карчму крье* [Гр. I, 495], *Чалавек як чалавек: усё ў шынок чацей пададзеши, чым у царкву* [Гр. I, 494], *Чортu царква горш, як багу карчма* [Гр. I, 495]). Иногда паремия объединяет *пана* и *ксянду* в один концепт, противопоставленный мирскому человеку: *Мы не паны, не ксянды, нам не трэба спавядца* [Гр. II, 173]; *У цябе праўды, як у пана з ксяндзом* [Гр. I, 332]; *Ксёндз і поп знаюць, калі свята, бо нічога не робяць* [Гр. I, 336].

Для белорусских паремий не характерно конфликтное противопоставление католических и православных концептов, хотя и аксиоматично, что *Двум багам не служыць* [Гр. II, 151]. Относительно редки противопоставления католиков и православных в пределах одной паремии (вроде приведенного выше шутливого рифмованного двустишья: *Katalik da nièba tuk, a Rus da pièkla szuś* [Fed. 140]). 65-летний информант (Витебская область, территория бывшей Западной Беларуси, католик) припомнил детский стишок (дразнилку-читалку) *Катблік нас... на столік, / Рускі ня ведаў, / Тыム паснедаў*, однако его внуки ничего похожего уже не знают.

Е.Р. Романов приводит поговорку *С католіка ты хот'въ што доброе* (Романов 1886, 300). В записанных во второй половине XX в. паремиях есть неакцентированное противопоставление отдельного католика костелу в целом; при этом сниженная оценка конкретного человека не распространяется на католическое вероисповедание в целом, ср.: *Толькі і лік, што каталік; Толькі той лік, што каталік,*

а вера паганская, Каталічак – чалавек невялічак [Гр. II, 151 Записи 1963–1975 гг.]. Впрочем, в белорусском языке, как и в русском, встречается употребление слова *іезуіт* (вполне вероятно, с утратой его конфессионального значения) в качестве резко отрицательной характеристики: *Гэта проста езуіт, а не чалавек* [Гр. 79, 45].

Немногие паремии признают правду другой веры (*Усяк па-свойму Бога хваліць* [Акс., 290 (запись середины XX в.)], иногда, впрочем, шуточно или скептически: *Свіння не нашага бога* [Гр. 79, 103], *Мусіць, твой бог пад печчу лапці пляце* (Гр. II, 157), *Можа, калісьцы і наш бог праспіца* (Гр. II, 158), что совсем недалеко от *Яго богу не можна верыць* (Гр. II, 152). При высокой взаимной веротерпимости белорусских католиков и православных их отношение к нехристианским вероисповеданиям в основном отрицательное, в более позднее время – ироническое.

В одном устойчивом сравнении говорится, хотя и шуточно, о несовместности еврея и костела: *Убіўся як Янкель у касцёл* [Гр. 79, 403]. Впрочем, поговорки свидетельствуют, что в XIX в. у белорусов было поверье, что “соседский” Бог может помочь быстрее, чем свой, особенно при болезни близкого. Так сложились выражения *даць на яўрэйскую школу* [т.е. пожертвовать на синагогу], ср.: *Даў на трывы школы* [Гр. 79, 47]. Любопытно, что для белоруса синагога была прежде всего школой, т.е. местом, где учатся еврейские дети, а не домом молитвы, ср.: *Adwâzny žyd, то-ј й szkôlî bîdzić* (Fed. 368).

О далекой чужой вере большинство паремий говорит настороженно-враждебно, при этом чем географически отдаленее вера, тем она оценивается хуже, ср.: *Няма на свеці горшай вяры, як басурманы-татары* [Гр. I, 501]; *Чужая царква горш, як Богу карчма* [Акс., 292; запись середины XX в., из собрания священника-униата о. Льва Гарошки]. Вместе с тем *турэцкі святы* всего лишь странный: он бездействует: *як святы турэцкі* – ‘ничего не робячы’ [Леп. II, 328] и почему-то голый: *голы як святы турэцкі* [Гр. 79, 307].

6. Оккциональные заимствования и макаронизмы в белорусской фразеологии и паремиях. Живя на европейском перекрестке, в условиях постоянных межъязыковых контактов, белорусы издавна перенимали многое из языков и речи соседних этносов и этнических групп – поляков, евреев, литовцев, татар, из церковнославянского языка, а после этноязыкового обособления от русских – из русского языка. В белорусской фразеологии и паремиях интенсивные языковые контакты белорусов запечатлены в явлениях двух классов: а) в оккциональных заимствованиях (т.е. в варваризмах); б) в языковой игре – в макаронической речи и пародировании чужезычия. Впрочем, в силу внеконтекстности записанных паремий, отличить прямое, хотя бы и оккциональное, заимствование от языковой иг-

ры удается не всегда. Ср. записанное в 1971 г. [Гр. 79, 171] в Мядельском районе (бывшая Западная Беларусь) приветствие *Сэрвус!* [польск. разг. *serwus!* – ‘привет!’, от лат. *servus* – ‘слуга’]; или также польское приветствие *Нэх пахвалёны бэндзе!*, иногда в полном виде *Нэх пахвалёны бэндзе Езус Хрыстус!* [Гр. 79, 170], которое мне доводилось слышать и всерьез, и в шутку; или приветствия *Чалом вам!* – *Чалом табе!*; *Чалом здароў!* *Чалом здароў і табе!* *Чалом кланяся!* [Гр. 79, 172], в котором говорящие уже не чувствуют еврейского или татарского *Шалом!*, *Салам!* Ср. также восклицание, одобрительное, но часто ироническое, со словом *цымас*: *А ей! Там ўжо цымас* [Гр. 79, 27]. Слово *цимус* (‘сладкое блюдо европейской кухни из тушеной моркови или брюквы’) имеется в ТСБМ (V, кн. 2, 258): при этом 1-е значение – переносно-расширительное ‘Самае цікавае, істотнае; сутнасць како-н., чаго-н.’, а ко 2-му (“гастрономическому”) значению (‘салодкая страва...’) примыкает еще и расширительный смысл: ‘пра што-н. вельмі смачнае’.

В сборниках белорусских фразеологизмов и поговорок представлены клише с варваризмами из идиш (т.е. германских корней). Обычно это шутки, игра слов, иногда рифмованных. Ср. несколько примеров: 1) *Каму смех, а каму гілэхтэр* [Гр. 79, 63] (ср. нем. *lachen* – ‘смеяться’), т.е. ‘кому смех, а кому тоже смех’; у этой шутки есть еще вариант *Гэта не смех, а гілэхтэр*. 2) *Пайду на тorg, прадам жонку на борг* [Гр. 79, 91]; ср. нем. *borgen* – ‘брать в долг’. 3) *Зогтэр забычым, цо то (як тое) будзе* [Гр. 79, 58], *зогтэр* – ‘говорит он’, нем. *sagen* – говорить, *sagt er* – ‘говорит он’. 4) *Кумагéр на клёцкі* [Гр. 79, 65] – ‘иди сюда на клецки’ (нем. *komm her* – ‘иди сюда’). 5) *Ён бальшэй máхар (máхар еты)*! [Гр. 79, 252] – ‘мошенник, плут’ (нем. *Macher* – ‘делец, заправила’). 6) *Уцёк я тады; каб не ўцёк, то даў бы ім дыхту!* [Гр. 79, 118], *даці дыхту* – ‘ударить, толкнуть’, *дыхт* – ‘уплотнение, конопачение’ (ст.-бел. *дыфтоване* – ‘канопачанне’ [ГСБМ, IX, 126], нем. *dicht* – ‘густой, плотный’). Варваризмы, фигурирующие в приведенных оборотах, не удержались в литературном белорусском языке, но некоторые из них известны диалектам и старобелорусской письменности.

Что касается макаронизмов и пародирования чужезычной речи в белорусских паремиях, то здесь основным объектом насмешек была белорусско-польская шляхта, которая по достатку и образу жизни часто стояла ближе к крестьянам, чем к помещикам. Комический эффект жанра строится на контрасте между польскими “шляхетными” оборотами, часто витиеватыми и церемонными, с одной стороны, а с другой – реалиями убогого крестьянского или полукрестьянского быта, простым (“мужицким”) белорусским языком. Ср. несколько примеров. 1). *Прбша, пані, мбя пані прасіла пані, жэбы пані мбей пані пазычыла рóдля* [Гр. 79, 139] (польск. *ron-*

del – кастрюля). 2) *Iхмосця з Замосця* [Гр. 79, 61] (польск. *ichmość* – (уст. ‘его милость’). 3) [Пародийны “шляхецкий” диалог (один видит вошь на одежде второго:] *Пазволь, браце, на сваём поле звярынку паймаці!* – *Можна, бо то з вашэцінага забегла лесу* [Гр. 79, 91], (*вашэціны* (‘ваш’) – пародийная искусственная форма; ср. польск. *waszmość* – ‘ваша милость’). 4) *Не выпэндзам, але проша вон* [Гр. 79, 74] (*wypędzać* – ‘выгонять, прогонять’). 5). *Рацыя, рацыя – гатова каляцыя* [Гр. 79, 100] (пародия на звучание ученой беседы, прерванной ужином; *racja* – ‘обоснование, довод; правота’, *kolacja* – ‘ужин’). 6). *Як естам, дык естам, а ўсё каля места* [Акс., 126, запись середины ХХ в.] (в пародии на польскую речь жителей местечек обыгрывается паронимия польск. *jestem* ‘я есть’ и бел. *есci* – ‘принимать пищу’; в целом – насмешка над теми, кто мастер как следует поесть, но не хочет сменить город (*miasto*) на крестьянскую жизнь).

В многих клише польские слова и обороты употреблены не пародийно, но как общепонятные варианты – для рифмы или размера. Ср.: 1) *Каб ня дзірка ў роця, дык хадзіў бы ў злоця* [Акс., 46, запись середины ХХ в.]; 2) *У любое месца – хоць у свёнтак, хоць у пёйтак* [Гр. 79, 114] (*święto* – ‘праздник’, *piątek* – ‘пятница’); 3) *Oх, матачка найсвентшая, адна большая, другая менишая* [Гр. 79, 88].

В записях сохранились также пародии на церковнославянские тексты молитв и служб, ср.: *Отчэ наш, хлеба нямаши, іжэ еси, ідзі, прыняси* [Гр. II, 165]; *Пáкі-нáкі, дай, поп, табакі* [Гр. I, 334] и т.п.

7. Цыган. В народном сознании из всех “чужих” цыган был наиболее нейтральной фигурой; в нем соединялась и экзотика и “знакомость”; с ним были связаны беспокойства, но не конфликты такой силы, как с евреями или поляками. Отрицательные коннотации концепта ‘цыган’ умерялись положительными, в особенности в дворянской и городской культуре (ср. такие констаны XIX в., как поэма Пушкина “Цыгане”, *цыганский хор, поехать к цыганам, цыганский романс* и др.), но также и в народных представлениях. Характерны заглавие раздела в “Материалах...” П.В. Шейна: “Про цыган и других инородцев” и умолчание в заглавии одной белорусской сказки: “*Мужик, цыган и немъц*”, хотя в сказке четыре персонажа, ср. ее начало: “*Мужик, цыган, жид и немъц уговорились...*” (Шейн 1893, 331).

Из всех белорусских этнонимов (за исключением ненормативного в современном белорусском языке слова *жыд* и непопулярного (избегаемого) слова *яўрэй* (габрэй)), только лексема *цыган* образует дериваты с заметными расширительно-переносными значениями, вошедшиими в нормативный словарь, ср. *цыганиць* – ‘выпрощаваць, выманьваць’; *цыганісты* – ‘які нагадвае па выгляду і характеру цыгана’; *цыганскі* – ‘2. Такі, як у цыганаў’, с примерами речений *Цыганская натура, Цыганскае жыццё* (ТСБМ, V, кн. 2, 256).

Впрочем, ТСБМ не решается дефинировать значения, относящиеся к психологии и межличностным отношениям⁷.

Вот каким увиден цыган в белорусских поговорках и фразеологиях.

1) Цыган – завсегдатай ярмарок и особенно конных торгов; он мошеннически меняет, продает и покупает; мастер всучить больного коня; готов продать, и дешево, отца с матерью. *Без цыгана і ярмарка не бывае; На кожным кірмашы свой цыган* [Гр. I, 459]; *Няма чаго цыганіць* [Гр. 79, 86]; *Таргуецца як цыган* [Гр. 79, 398]; *Усякі цыган сваю кабылу хвала* [Акс., 105]. Цыган свайго каня хваліць; за плот валиць, але хваліць ды яичэ й кажа: “Памажы падняць, дык будзем мяняць” [Гр. I, 461]; *Выкручваецца, як цыган на кірмашу* [Гр. 79, 296]; *Мяняе як цыган коні* [Гр. 79, 348]; *Запрасіў плату, як цыган за бацьку* [Гр. I, 466].

2) Цыган – обманщик и плут, он оставляет в дураках и мужика, и судью; он удачлив в игре и своего не упустит. *Цыган цыганскую праўду гаворыць – ‘хлусіць, маніць’* [Акс., 291 (запись середины XX в.]); *Якая цяпер совесць? Совесць толькі і асталася ў Бога да ў цыгана нямнога* [Акс., 197 (запись конца XIX в.)], и это при том, что *Цыган попу не товарыш* [Акс., 218]; *Маеш, цыгане, сведкі? – А як жа – жонкі і дзеткі* [Гр. I, 509]; *Заплаціць тагды, як цыган згубіць, а ён найдзе* [Гр. I, 493]. Цыган умеет заставить других работать на себя: *Мядвѣдъ танцуець, цыгану на сало шанцуець* (Шпл. 1852, 133).

3) Цыган беден и неприхотлив, но иногда щегольством он похож на пана; зато цыган, закален, находчив, порою смел. *Увабраны як пан, а робіць, як цыган* [Гр. I, 509]; *У печы гарыць як у пана, а варыцца як у цыгана* [Гр. I, 223]; *Сшыў каўнер панскі, да боты цыганскі* [Гр. I, 272]; *Гартоўны, як цыганськае дзіця* [Гр. 79, 303]; Цыган як галея, дык съмляея [Акс., 116 (запись середины XX в.)]; *Абыйдзеца без марцыпанаў цыганськае вяселле* [Леп., Як. 1996]; *Цыгане не гардзяцца, дзе стаяць, там і садзяцца* [Гр. I, 509]; *Сагнуўся як цыганскі тата* [Гр. 79, 380]; *Цесна як цыгану на полі* [Гр. 79, 415]; *Цягні, цыган, лёгкае! – I каўбаскі не цяжкі* [Нсв., 181].

4) Все цыганское – ненадежное, неверное, обманное и обманчивое; странное, “наоборотное”, опасное, лихое, буйное. *У цыганá дзэвье душы: у абéдзvих праўды нима* [Ляц., 52]; *Цыганы будуць сніцца* [Гр. 79, 126]; *Цыганскі пот* – ‘дрыжыкі ад холаду (прабира-

⁷ В отличие от В.И. Даля, который, принципиально не включая в словник этнонимы, тем не менее приводил и толковал их дериваты, ср. *цыган* – ‘обманщик, плут, барышник, перекупщик’; *циганить* – ‘клянчить, канючить, попрашайничать’; *циганить (кого)* – ‘передразнивая насмехаться; дурачить или подымать насмех’; *циганство* – ‘мошеннический торг; глумление, насмешка’ (Даль IV, 575).

юць каго-н.)' [Леп. II, 200]; кроме того "так гавораць, калі чалавек трасеца ад страху" [Гр. 79, 455]; цыганскі дождж (то же, что сляпы дождж) – 'дождж, які ідзе пры сонцы' [ТСБМ, II, 187]; цыганська сонца – 'начное свяціла, месяц' [Леп. II, 368]; (*распусціць*) як цыганскую пугу – 'вельмі, празмерна' (неодобрительно)⁸; *Скача як цыганскі конь* [Гр. 79, 384]; *Цесна як цыгану на полі* [Гр. 79, 415]; *ісці ў цыганы* – о свадебных ритуальных бесчинствах (сейчас ради смеха), ср.: "народны вясельны абраад: прыбраўшыся "пад цыганоў", госці жаніха ідуць у хату да маладой, падкідаюць на ўра гасцей і бацькоў, а тыя адкупляюцца падарункамі". ср. диалектную запись: *Дзіўно: якое ш гэта вяселя бяс цыганоў* [Леп. 1991, 74].

Цыган недобр, опасен. *Не цыган душу улахжыў* [Гр. 79, 79]; *Такую ласку і ў цыгана знайду* [Леп. 1991, 108]; *Больш бойся прыцыганкаў, чэмся цыган* [Гр. I, 509].

8. Евреи. Антисемитизм поговорок о евреях носит полный и почти безотчетный характер. В ряде паремий о них говорится как о природном явлении: в скоплении евреев видится примета плохой погоды: *Nazwałak dłośia żydów, ðkić bùdzie* [Fed. 368; (*ðkić* – снег с дождем)]; поговорки видят в евреях неизбежное зло, большое и малое: *Na tòje żyd, kab oszùkuwaj* [Fed., 370]; *Жыд на тóя на свéци, каб дабро ни залижáла у клéци* [Ляц., 12]; как записал И.И. Носович, "если кто на белом чем сделал черное пятно", то говорят *жидзюка пасадзив* [Нсв., 42], то же у Федоровского: *żýda pasadzìj* [Fed., 371]. В отличие от цыгана, у которого, по пословице, *дзъве душы, U żýda duszý nimà* [Fed. 371].

По народным представлениям, еврей создан для торговли, как мужик для земли. Пословица видит в этом один из устоев жизни и боится перемен: *Нядобра, калі жыд пазная грунт, а мужык пазная хунт* [Акс., 73 (запись середины XX в.)]. У еврея часто есть лавка: *Кожны жыдок хваліць свой крамок* [Акс., 250 (запись конца XX в.)]. Без еврея, как и без цыгана, не бывает ярмарки: *Try bábi, dwa żydý, adzin cýhan, toj c,èly kirmàsz* [Fed., 371]. "Считаться" между близкими людьми (денегами и т.п.) присуще евреям, но приходится и мужикам-белорусам: *Жывём, як брацьця, а рахуімся, як жыды* [Акс., 40 (запись середины XX в.)].

Евреи умны. М. Федоровский приводит поверье, согласно которому *Jak żyd ròdzicsa, to haławdju krùcić, a jak mužýk, to màcaje kała siè rukàmi* и так его объясняет: "Przymówka do pracy umysłowej i fizycznej" [Fed. 369]. Его ум прошенный у Бога: *Каб Бог даў майму сыну той розум наперад, што ў мужыка ззаду, – скажаў жыд* [Акс., 249,

⁸ Ср. этимологию фраземы на основе сказки-анекдота: «Цыган напрасіў у мужыка сена "у пугу", а тады як распусціў сваю доўгую-доўгую пугу, то набраў ліха ведае колькі» [Леп. 1991, 97].

(запись конца XX в.)]. Но пословица чаще называет его ум хитростью, видит в нем опасность или говорит об уме с иронией: *Xitry, jak rabin, Xitry, jak salamonavyyя portki* [Гр., 79, 409]; *Żydōski rdzum, to szelmdōjstwo* [Fed. 372].

Евреи зажиточны, скупы, а в бедности опасны: *Hrōszej, jak ū žýda* ['dużo', Fed., 369]; *Няма горшага на свеце, як жыд бедны, свіння худая і баба п'яная* [Акс., 257 (запись конца XX в.)]; *Skupý, jak žyd* [Fed. 370]. Впрочем, есть сравнение, в котором эталоном скупости назван немец.

Евреям тоже, бывает, не везет: *Пашэнціла, як жыду з гары* [Акс., 258; ср. объяснение составителя: "Яўрэі любяць хуткую язду з гары, але часта перакульваюцца")]; *Шанцуе, як Шлёме на арэндзе* [Акс., 295: "Часта яўрэі, узяўшы зямлю ў арэнду [...], мелі невялікі прыбытак"]. Однако: *Żydōsko ni dziē ni prapadziē* [Fed., 372]; *Panà i žýda niköli czort ni wóźmie* [Fed. 370]. Евреи дружны и уж, конечно, не дерутся: *Ай, гвалт! Жъды Мэндаля б'юць!* [Акс., 18: "Кажуць, калі пачуюць нейкую незвычайную і смешную навіну" (запись середины XX в.)]. Они пугливы: *Žýdu i žába w „dýkam stannie* [Fed., 372] и боятся физического насилия: *Žýd bje i sam kryzcúć* [Fed., 371].

Пословицы говорят, что евреи лживы и продажны: *У яго праўды як у жыда* [Ляц., 52]; *прадажны, як Юды* [Янк., 398], и учат не верить еврею: *Пану верна ні служы, жонцы праўды ні кажы, з жыдам ичыра ні дружы і здольнікаў ні бяры* [Акс., 79 (запись середины XX в.)]. Впрочем, поздняя пословица признает, что *Лепі сі браваць з жыдам галапятым, як з панам багатым* [Акс., 58, (запись середины XX в.)].

Только в одной белорусской пословице встретился скупой намек на доброе в еврее: *Jak biedā, to da žydā, a jak pa biedziē, to idzi k'czòrtu žydzie* [Fed., 369]; пословица слегка осуждает антисемитизм, но скорее видит в нем как бы неискоренимую человеческую слабость, вроде тяги к шынку.

9. Па чом пазнаць ляха? Поляки, в представлении белорусской народной афористики, – это шляхта и паны, но не мужики, хотя шляхтич мог и работать на своем поле, а кроме того реально существовала православная, т.е. "русская" шляхта (см. раздел 4). Впрочем, нередко пословицы ассоциируют поляков с городом (ср. паремию *Як естам, дык естам, а ўсё каля места* [Акс., 126], о которой говорилось в разделе 6), т.е. с городской культурой, к которой крестьянин относится с недоверием, завистью и обидой, которая в пословицах обычно оборачивается насмешкой.

В белорусских пословицах живо представление о том, что у Польши, у поляков позади лежит славное прошлое и какие-то исторические утраты. Ср.: *Наша Польша была даўней шмат больша; Палякі былі гайдамакі, мала аб край дбалі і для таго прапалі; Да-*

жылісія (пражыліся) палякі: ані хлеба, ні табакі [Гр. I, 505]. Однако пословица отмечает и живые амбиции у поляков: *У нашай Польшчы кожны хоча быць большы* [Акс., 104 (запись середины XX в.)], а о мазурах сказано, что они любят драться (*Màzuru bićsie, tak jak ludziąm chłeb z mąstlam zjeść*), гулять (*Màzur to annò dla hulania zuch*) и что *Màzur bùolsz hawdrys jak röbić* [Фед., 181].

Пословичный поляк щеголеват: его узнают по *халявах* (голенища салог), по фасонной пряжке: *Знаць ляха па халявах* [Нсв., 50], *Па чом пазнаць ляха?* – *Па том, што на чэраве бляха* [Нсв., 135], однако из-за бедности он иногда превращается в карикатуру на франта и выглядит ни мужиком, ни паном: *Шляхціц ты Кабылінскі: адна на-га ў чобаце, а другая ў лапці; Шляхціц ашмянскі: адна калоша ў ха-ляве, другая апушчана* [Гр. I, 311]; *як той засцянковы шляхцюк (боты наваксаваў, а шыи не памыў)* [Гр. 79, 431]. Ср. также насмешки над бедным и межеумочным бытом шляхты: *У свінушніку жыве, ды хоча кашляць па-панску; Шляхціц, а вяроўкай рэжа хлеб;* [Гр. I, 311]; *У чом у касцелі, у том у пасцелі* [Гр., I, 267] и укор в дармоедстве: *Я вáшаць і ты вашаць, хто ж нам хлеба напашыць* [Гр., I, 297].

При всех насмешках концепт ‘шляхетность’ пока еще сохраняет в белорусском языке положительные коннотации, ср. 2-е значение прилагательного *шляхетны* по ТСБМ: “уст. Знешне вытанчаны, высакародны, з вялікім пачуццём годнасці. || Які адпавядадае існуючым нормам маралі. || Выхаваны, сумленны, высакародны” (V, кн. 2, 376).

10. Жму́йдзі. Есть две старых белорусских паремии о литовцах: *Na Žmōjdzi i kùry lùdzi* [Фед., 364] и *Жмойда жмецца, а не дасць* [Гр. 79, 253]. Приговорка *Літвін как лін* [Гр., I, 508] может относиться и к славянскому и к балтийскому населению Великого княжества Литовского.

По ГСБМ [Х, 42], *жмойдъ, жмуйдъ, жмайдинъ, жомойтингъ* – это ‘жмудзін, жыхар Жмудзі’; лексема и ее дериват приводятся также в ТСБМ [II, 257]: “Жмудзь ‘даунейшая назва літоўскага племя жэмайты’; *жмудскі* ‘які мае адносіны да жмудзі, належыць ёй’ (напр., *жмудскія землі*)”. Несомненно, в развитии значения ‘скупой, жадный’ в лексеме *жмудзь* сказалась парадония со стар.-бел. *жмин-дакъ* ‘скупы чалавек, скнара’ [ГСБМ, Х, 42], *жмінда* ‘пра скупога чалавека, скнару’ [ТСБМ, II, 257], а также с глаголами *жати* ‘давіць, душыць’ [ГСБМ, IX, 271], *съжимати*. А.Е. Супрун связывает со “старой называй балтийской группы племён” также белорусское диалектное (туровское) слово *жмодзь* ‘саранча, навала’ [ЭСБМ, III, 231]. По-видимому, с этим гнездом связаны такие деэтимологизированные бранные выражения, как *Жмінда гэтакі!, Жвінда ты!* (записи 60–70-х гг. XX в., см. Гр. 79, 253).

Разумеется, в мотивации паремии *Na Žmōjdzi i kùry lùdzi* многое от рифмы, а также от семы ‘мелкий’ и ‘многочисленный’ в белорус-

ских диалектных словах *жэмяць* ‘мелкота (о малых детях)’ и *жмойдзь* ‘малочисленная семья из малолетних, даром поедающих хлеб; вообще большое количество дармоедов’ [Лаучюте 1982, 54].

11. *Rусакі і маскалі. Рускі месяц.* Как указывалось в разделе 4, в белорусском языке XIX в. *русакі* – это православные, а *маскаль* – это прежде всего солдат, хотя в старобелорусском языке *москаль* означало ‘выходец из Московского государства; русский’ и входило в группу синонимических обозначений: *московитинъ*, *москвитинъ*, *москвичанинъ*, *москвичъ*, а также дериватов *московка* и *москаликъ* (деминутив). Топоним *Москва* был широко употребителен не только в значении ‘Московское государство’, но и в значении ‘руssкие’ [ГСБМ, XVIII, 166–169]. Поэтому в сознании белорусов паремия *Москва слязам не верыць, Maskal ślużbam ni wieryć* [Fed., 179] относилась не только к городу и государству, но и к народу.

Лексема *Москва* известна белорусской идиоматике в двух оборотах, и в обоих с ним связаны отрицательные оценочные семы. Ср.: “*Москва відаць* (Размоўна. Жарт.) Выказванне нездавальнення пры ўжыванні чаго-н. горкага або кіслага (часта суправаджаеца прыгмурам вачэй)” [Леп. II, 20] и “*Паказваць Москву* (Жарт.) Падымаць каго-н. (звычайна дзяцей) уверх, узяўшы за галаву далонямі да вушэй. *Мама, набі Сяргея, бо ён мне сёння два разы паказваў Москву*” [Леп. 1991, 57].

Какие-то не ясные отрицательные семы имеются и у оборотов *Paždžy rūski mièsiac*; *Papamiątujesz z rūski mièsiac*; [Fed., 267: второй оборот Федоровский поясняет синонимичным: *Būdziesz ty pòtnii*]. Идиома *rūski mièsiac* означала, по-видимому, время, намного превышавшее месяц.

12. *I ў Парыжу не зробяць аўса з рыжу.* Три белорусских паремии, в которых называются далекие народы или земли, построены по одной модели: они говорят о единстве человеческой природы под всеми широтами: *Ці ў Падоллю, ці ў Рasei, то дарма ніхто нікаму не робіць; I ў Парыжу не зробяць аўса з рыжу* [Гр. I, 512]; *Свіння, яна і ў Афрыцы свіння* [Акс., 260 (запись конца XX в.)]. Но для Англии пословица делает исключение: *Далікатны як панскі (ангельскі) цоцька* [Гр. 79, 310].

13. *Няхай жыве (і пасвіцца) беларуская птушка бацян!* В связи с поздней этнической самоидентификацией белорусов (см. раздел 1), этноним-самоназвание *беларусы* и соответствующий концепт представлены в белорусской фразеологии и паремиях в считанных единицах. Назову 5 из них, с учетом хронологии: первая – это строка из поэмы “Новая зямля” Якуба Коласа (1923): *Куды не трапяць беларусы!*; вторая – *Будзем сеяць, беларусы!* – это название и рефрен в стихотворении 1942 г. Петруся Броўки; третья – анонимный рифмованный пессимистический стишок: *На Беларусі ўсе Marusi* [Гр., 79,

71; запись 1977 г.]; четвертая – тоже в рифму, но не мрачно: застольная шутка о “стратегическом” белорусском продукте питания: *Без сала куса няма жыцця ў беларуса* [Гр., 79, 145; публикация 1976 г.]; пятая – это веселая пародия на предпраздничные лозунги-призызы советских времен: *Няхай жыве (і пасвіца) беларуская птушка бацян!* Юмористическая двусмысленность последней паремии создается двойным прочтением символики *бацяна-бусла*⁹. Известно, что у всех славян это особо почитаемая “божья”, “добрая” птица – она охраняет и очищает землю, оберегает дом от пожара и молнии, приносит детей. Поэтому изображение бусла-бацяна в полете используется в логотипе белорусского телевидения, в эмблеме компании БелАвиа, а также во многих менее значимых случаях (например, в качестве инварианта в дизайне интернет-сайта кандидата в президенты Семена Домаша – три летящие аисты). С другой стороны, слово *бусл* известно и в значении ‘высокая бутэлька гарэлкі’, ср. пример из классика: «*Тры “буслы” гарэлкі высока подымалі галовы над стусамі закускі*» (Я. Колас) [ТСБМ, I, 425]. Изображение двух симметрично стоящих аистов использовано на этикетке одной из белорусских водок (что дает повод щутникам прочитывать “подтекст” этикетки как “*Третым будешь?*”).

14. О релевантности стереотипов традиционной народной культуры для ментальности современных белорусов. Фольклорные представления о народах-соседях вполне живы в массовом сознании современных белорусов. Ср. фрагмент из выступления президента Беларуси Александра Лукашенко (г. Гродно, март 2001 г.): “*Беларусы ўзялі ад рускіх іхні “жалезны харектар”, ад палякаў – “гагарлівасць або гонар”, ад украінцаў – “хітрынку”, а ад габрэяў – “мазгі”*” (С. Максімовіч. Антрапалогія а'ля Лукашэнка / Наша свабода (02.04.2001 [перевод на белорусский автора корреспонденции]). Здесь замечательно не только сказанное, но и неупоминание лиловцев.

Принятые сокращения

Акс. – *Аксамітаў А.* [С.]. Прыказкі і прымаўкі: Тлумачальны слоўнік беларускіх прыказак і прымавак з архіваў, кафедральных збораў, рэдкіх выданняў XIX і XX стст. Мн., 2000.

Гр. I – Беларусская народная творчесць. Прыказкі і прымаўкі. У 2 кнігах. Складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і каментары М. Я. Грынблата. Рэд. А. С. Фядосік. Т. I. Мн., 1976.

Гр. II – Беларусская народная творчесць. Прыказкі і прымаўкі. У 2 кнігах. Складанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і каментары М. Я. Грынблата. Рэд. А. С. Фядосік. Т. II. Мн., 1976.

⁹ *БАЦЯН*. Тоё, што і *бусл*” [ТСБМ, I, 424], рус. *аист*.

- Гр. 79 – Беларуская народная творчасць. Выслойі. Складанне, сістэматызацыя текстаў, уступны артыкул і каментарыі М.Я. Грынблата. Рэд. А.С. Фядосік. Мн., 1979.
- ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Т. 1–19. Мн., 1982–2000 [издание продолжается].
- Даль – *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М., 1978 [факсимиле издания 1880–1882 гг.].
- Лауччоте 1982 – *Лауччоте Ю.А.* Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982.
- Леп. 1991 – *Лепешаў І.Я.* З народнай фразеалогіі. Дыферэнцыяльны слоўнік. Мн., 1991.
- Леп. 1993 – *Лепешаў І.Я.* Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы. У 2 т. Каля 6 тысяч фразеалагізмаў. Мн., 1993.
- Леп., Як. 1996 – *Лепешаў І.Я., Якалцэвіч М.А.* Слоўнік беларускіх прыказак. Мн., 1996.
- Ляц. – *Ляцкий Е.А.* Материалы для изучения творчества и быта белорусов. [Т.] I. Пословицы, поговорки, загадки. М., 1898.
- Нсв. – Словарь белорусских пословиц, составленный И.И. Носовичем. СПб., 1874.
- Романов 1886 – *Романов Е.Р.* Белорусский сборник. Т. I, вып. 1–2. Песни, пословицы, загадки. Киев, 1886.
- ТСБМ – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы ў пяці тамах [шасці кнігах]. Мн., 1977–1984.
- Шейн – *Шейн П.В.* Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. II. СПб., 1893.
- Шпл. 1852 – *Шпилевский П./М.* Народные пословицы с объяснением происхождения и значения их // Москвитянин. 1852. Ч. 4. № 16. Кн. 2. С. 125–136.
- Шпл. 1853 – Белорусские пословицы. Сборник П.[М.] Шпилевского // Изв. АН ОРЯС 1853. Т. II. (Приложение, с. 172–192).
- ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 1–8. Мн., 1978–1993. [издание продолжается].
- Янк. – Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. Склаў Ф.[М.] Янкоўскі. Мн., 1992.
- Fed. – *Federowski M. Lud Białoruski na Rusi Litewskiej.* Т. IV. Warszawa, 1935.

ЛИТЕРАТУРА

Ластоўскі В. Аб назовах “Крывія” і “Беларусь” // Ластоўскі В. Выбраныя творы. Мн.: [1925] 1997. С. 372–385.

Мечковская Н.Б. “Рускими словами а словенским языком” (О языковом сознании Франциска Скорины) // Russian Linguistics. 1989. 13. № 2. С. 245–256.

Мечковская Н.Б. Зачем одному народу две азбуки? (Кириллица и латинка в коллизиях белорусского возрождения) // Slavica orientalis. 1998. 47. № 2. С. 277–292.

Мечковская Н.Б. Национальное возрождение в Беларуси и Украине: социальные и лингвистические факторы сходств и различий // Беларусистыка – Belarusistyka / Zeitschrift für aktuelle Fragen der weissrussischen Sprache. Berlin, 1999, [1]. С. 67–85.

Пермяков Г.Л. К вопросу о русском паремиологическом минимуме // Словари и лингвострановедение. М., 1983. С. 131–137.

Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. II. СПб., 1893.

Е.Л. Березович, Д.П. Гулик

(Россия)

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ “ЧЕЛОВЕКА ЭТНИЧЕСКОГО”: ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Вряд ли стоит обосновывать значимость анализа семантического потенциала этнонимов для характеристики наивных представлений носителей языка о чужих этносах. Как указывает И.М. Кобозева, “задача выявления стереотипов национальных характеров может быть сведена к задаче выявления коннотаций у этнонимов..., точнее, таких их несущественных семантических признаков, которые несут информацию о чертах характера” [Кобозева 2000, 185]. В последние годы появилось несколько работ, авторы которых осуществляют концептуальный анализ этнонимов; при этом избранные для изучения носители концептуальной информации существенно разнятся по занимаемому им месту в языковой системе vs. речи. Так, одни исследователи базируют свои выводы на анализе устойчивых узальных связей этнонаима [Плунгян, Рахилина 1996], другие – свободных текстовых связей [Воробьев 1996], третьи – экспериментально смоделированных контекстов с участием этнонаима [Кобозева 2000] и т.п. Несмотря на определенную общность, полученные портреты одного и того же этноса характеризуются обилием расхождений и различной степенью актуальности некоторых стереотипов в итоговой картине. Это обстоятельство заставляет всерьез задуматься о методике анализа и о причинах – объективных и субъективных – такого разброса результатов (их анализ представлен в [Березович 1999]).

Есть смысл задуматься и о том, учтены ли в литературе все возможности концептуального изучения этненимической лексики. Думается, что мало внимания пока уделяется такому носителю концептуальной информации, как ономасиологические модели, позволяющие построить ономасиологический портрет *Homo ethnicus*. Несмотря на кажущуюся простоту сбора номинативных единиц, не требующего обращения к обширным текстовым массивам, этот вид работы осложняется тем, что набор соответствующих фактов характеризуется значительной энтропией, они рассыпаны по словарям разных форм существования языка, при этом преимущественно “внелитературных” подъязыков, лексическое богатство которых пока, к сожалению, редко подвергается концептуальному анализу. Характерно следующее суждение И.М. Кобозевой: “...возникает непро-

стой вопрос о том, что считать объективным проявлением коннотации. Если считать таковыми только те свойства лексемы, которые зафиксированы в лингвистических описаниях, в частности, в словарях, то среди этнонимов в русском языке, пожалуй, только *цыган* окажется наделенным коннотациями...” [Кобозева 2000, 185]. С этим можно согласиться только по отношению к литературному языку. В то же время диалекты, просторечие, жаргоны, а также такой совершенно не востребованный концептуалистами источник, как ономастика, дают большое приращение языкового материала, позволяющее говорить о наличии коннотаций у целого ряда этнонимов. Особое значение фактов этих подъязыков для обнаружения коннотаций этнонимов определяется тем, что в них, как известно, нет никаких нормирующих ограничений в отношении “политической корректности”; большей раскованностью отличается и сама языковая техника. Кроме того, здесь мы должны получить более разнообразный набор коннотативных этнонимов, что определяется срабатыванием внелингвистических факторов – в данном случае, факторов социохронотопа. Так, на различных территориях происходили контакты “местного значения” с представителями соседних этносов, что отразилось в диалектных отэтнонимических образованиях, но не стало актуальным для литературного языка (ср., например, в русских говорах Карелии – *венса* ‘об упрямом человеке’ [СРГК 1, 172], в русских говорах Псковщины – *латышать* ‘говорить неразборчиво, невнятно’ [СРНГ 16, 293]). Что касается жаргона, то он быстрее, чем литературный язык, реагирует на разного рода социальные процессы, а это тоже может оказаться на коннотативном спектре этнонимов, ср., к примеру, след боевых действий в Афганистане, проявившийся в семантике лексемы *афган* ‘убийца’ [БСЖ, 41]. Все это дает возможность пронаблюдать изучаемый феномен в его максимально полном проявлении.

Таким образом, в настоящей статье, базирующейся на русском и английском номинативном материале, осуществляется попытка охарактеризовать возможности такого жанра лингвокультурологического описания национальных стереотипов, как *ономасиологический портрет*. Этот портрет строится на номинативных моделях, т.е. на фактах воплощения во внутренней форме лексических единиц того или иного знания об объекте действительности. Целесообразность работы с данным источником концептуальной информации определяется тем, что заложенный в названии признак предмета отражает наиболее устоявшееся в сознании носителя языка представление об объекте. Сам факт наличия номинативной единицы в узусе ограждает от использования для получения этнокультурной информации разовых, индивидуально окрашенных словоупотреблений (подробнее см. [Березович, Рут 2000, 34]).

Итак, ономасиологическим портретом “человека этнического” – представителя отдельного этноса или псевдоэтноса¹ – мы будем называть то наивное знание о нем и о группе в целом, которое оказалось запечатленным в номинативной системе языка.

Соответствующая информация может быть выделена (экстрагирована) из языка путем *концептуального анализа следующих единиц этой системы*.

1. Собственно этноним может оказаться источником концептуальной информации в следующих случаях: а) если у него имеется прозрачная внутренняя форма, при этом само явление ее осознания и интерпретации носителями языка должно подтверждаться фактами языка (англ. *gurzu* ‘цыган’ <*gurcien*< кратк. от среднеанглийского *Egipcien* ‘египетский, египтянин’ [Webster-88, 603]), и/или б) если его трактуют с позиций народной этимологии (ср. восприятие англ. *Irish* ‘ирландский’ как имеющего отношение к слову *ire* ‘гнев’, подробнее см. ниже); в) в случае его “выразительной” – т.е. концептуализируемой – морфологической оформленности (например, собирательные этнонимы *мордва*, *весь*, *чудь*, *чухна*, *литва*. Оформление этнонаима в виде собирательного существительного возможно трактовать как отражение восприятия соответствующего этноса в виде некоего нерасчлененного, неразличимого – и потому непонятного мира. Кроме того, собирательность придает этнониму некоторую пейоративную окраску).

2. Словообразовательные производные этнонаима. Сюда относятся призванные обозначить особенности культуры и существования всей этнической группы в целом лексемы (*цыганица*, *еврейство*, англ. *gipsyish* ‘ свойственный цыганам’), а также экспрессивные словообразовательные дериваты, обозначающие отдельных представителей этноса (*татарышка* [ПССГ 4, 124], *еврейчик*, *немчик*, *арапчонок*, *цыганенок*) либо этнос в целом (*татарва*, *немчура*). Само наличие в лексических системах таких производных для одних этнонимов – при отсутствии аналогичных дериватов для других – уже свидетельствует об особом месте и роли образов соответствующих этносов в языковых картинах мира. Другое дело, насколько детализированным окажется такой образ для “среднестатистического” носителя языка, т.е. какое количество лингвистически релевантных черт будет присуще данному денотату. В любом случае, при наличии означающего в лексической системе мы вправе говорить о существовании, по крайней мере, языкового концепта-минимума, которым

¹ Псевдоэтносы являются конструктами наивного сознания, возникшими в результате ошибочной этнической классификации. Так, в обыденном сознании существует образ “индийца” = “индейца”, а любой житель Великобритании является для такого сознания “англичанином”.

является “языковое провозглашение онтологичности” определенно-го идеального либо материального объекта или явления без его дальнейшей детализации.

Особо следует выделить ситуации, когда словообразовательные производные приобретают прозвищный характер, функционируя как вторичные “неофициальные” обозначения того или иного этноса. Факты такого рода можно считать переходным явлением между словообразовательными производными этнонима и “этническими кличками” (см. далее). Словообразовательной трансформации могут подвергнуться как “внешние” этнонимы (*америкос, аш-киназик* ‘еврей’ [БСЖ, 35, 41], англ. *Jap* (< *Japanes*) ‘японец’ [Longman, 702]), так и “внутренние” (англ. *Nip* (< яп. *nippōnjin*) ‘японец’ [Partridge, 810]). Хотя у таких языковых единиц нередко отсутствует интерпретируемая в концептуальном плане внутренняя форма, можно говорить о наличии некой минимальной и самой общей концептуальной информации (как правило, это этнопейоративность) на уровне значения словообразовательной модели (ср., например, пейоративную семантику усеченных форм типа *Argie* (< *Argentinian*) ‘аргентинец’ [Longman, 51], *азер* ‘азербайджанец’, юг ‘югослав’ [БСЖ, 32, 713], а также собирательных вроде *татарва, немчура*), фоносемантики и, наконец, pragматического наполнения (его передают, в частности, словарные пометы типа *презрительно, пренебрежительно*).

3. Прозвищные этнонимы [ПЭ], “этнические клички” – неофициальные, прозвищные названия народов, сообществ и групп (*хохол, жид, бабай* ‘татарин’, *баклажан помидорович* ‘заключенный, как правило, уроженец Кавказа’ [БСЖ, 42, 45]). ПЭ, как и другие прозвища, нередко имеют прозрачную внутреннюю форму, в которой получает отражение одна из характеризующих – с точки зрения номинирующей группы – черт этноса. В связи с этим часто говорят о характеризующей функции прозвищ вообще и этнических в частности. Таким образом, во внутренней форме ПЭ отражается наивное видение того или иного народа другим народом, в силу чего внутреннюю форму ПЭ можно считать источником концептуальной информации.

В этнических кличках могут реализовываться различные модели номинации. Приведем в качестве примера некоторые из них.

1. Номинация по названию другой национальности (модель “этнос₁ → инородец/чужак → этнос₂”): киргиз ‘казах’ [СРГА 2-II, 36], *татарин* ‘представитель любой азиатской национальности’, англ. *Chinaman* (“китаец”) ‘ирландец’ [Partridge, 255].

2. Номинативный признак – место обитания: *горец* ‘представитель любой кавказской национальности’, *Froglander* (букв. “житель страны лягушек”) ‘голландец’ [Partridge, 430].

3. Номинативный признак – *особенности речи*. В основу наименований может быть положен распространенный, типичный для определенного этноса антропоним (*абрам, абрамович, хаскель ‘еврей’* [Отин, 108], *абдул ‘татарин’* [АС 1, 39], *Mick* (уменьш. от *Michael*) ‘ирландец’ [Partridge, 735; L, 838]), “слово из речи” соответствующего инородца (*амор ‘итальянец’* [БСЖ, 35], *асей* (< англ. *I say* [Фасмер 1, 93]) ‘иностраник, особенно англичанин’ [Даль 1, 26]), специфика акцента представителей номинируемой группы (англ. *Taffy* (< *Davy* + + особенности валлийского акцента) ‘валлиец’ [Partridge, 1194]).

4. Номинативный признак – *внешний вид / перцептивный образ: черномордик ‘негр, африканец’* [БСЖ, 668], *pongo* (< *pong* ‘вонять’) ‘негр’, ‘цветной’, ‘иностраник’ [Thorne, 382].

5. Номинативный признак – *особенности быта: пищевые привычки – макаронник ‘итальянец’* [БСЖ, 331], англ. *Frog* (“лягушка”) ‘француз’ [Longman, 521]; одежда – *аэродром* (< широкополая плоская кепка, популярная в южных регионах бывшего СССР) ‘грузин’ [БСЖ, 41], *towel-head* (“обмотанная полотенцем голова”) ‘араб’ [Thorne, 483]; специфика домашнего хозяйства – *kelper* (< *kelp* ‘бурая водоросль’, ‘ламинария’, используется в качестве топлива и удобрения жителями скалистых островов) ‘аргентинец, житель Фолклендских островов’ [Thorne, 304].

6. Номинативный признак – *национальный символ или эмблема: аллах ‘уроженец Средней Азии’* [БСЖ, 34], *kiwi* (“киви” – эмблема Новой Зеландии) ‘новозеландец’ [Longman, 725].

8. Номинация на основе масс-культурных аллюзий: *Анкл Бэнс* (торговая марка Uncle Ben’s, символ которой – портрет чернокожего мужчины) ‘негр’ [БСЖ, 37]; *kermit* (*Kermit the Frog* – Лягушонок Кермит из кукольного сериала “The Muppet Show”) ‘француз’ [Thorne, 305].

4. Отэтнические семантические дериваты (ОД) – этнонимы и их производные, которые в качестве самостоятельных лексических единиц либо в составе устойчивых словосочетаний имеют коннотативно “нагруженные” значения, являющиеся узуальной материализацией связанного с данным этнонимом “языкового знания”.

Можно выделить следующие сферы функционирования ОД: 1) переносные значения этнонимов (например, *мериканец* ‘изобретательный, изворотливый человек’ [СРНГ 18, 118], *грек* ‘невоздержанный в употреблении вина человек’ [СРНГ 7, 131], *еврейка* ‘о сердитом, раздражительном человеке’ [СПГ 1, 243]; 2) образная фразеология (*китайские церемонии* ‘излишние проявления вежливости’ [ССРЛЯ 5, 968], *цыганский пот* ‘озноб’ [ССРЛЯ 10, 584]); 3) производные слова с идиоматическим значением, факты морфологосемантической мотивации (*цыганиТЬ* ‘вымогать, попрошайничать’ [ССРЛЯ 14, 73], *кореляТЬ* ‘говорить лишнее’, ‘использовать боль-

шое количество диалектных слов' ← ‘говорить по-карельски’ [СРГК 2, 423]); 4) инвективные формулы (*хранцуз тя огложи* ‘чтоб ты пропал!’ [СРНГ 22, 318]).

Сюда же относятся все случаи подобного функционирования ПЭ, когда последние заменяют собой собственно этнонимы и при этом получают переносное значение (иногда это варианты одного и того же фразеологизма). В таком случае можно говорить о двойном кодировании этнокультурной информации – на уровне внутренней формы самих ПЭ и на уровне коннотаций, реализуемых в производных и фразеологически связанных значениях, которые теперь уже получает ПЭ. Например, *жид* ‘воробей’ [СОГ 3, 118], *жиди* ‘черти лесные’ [Богораз, 51], *Хохлы*, жители д. Фатьяново – “темные, необрядные мужики, ругательство такое было” [Арх], англ. *Paddy* – ПЭ со значением ‘ирландец’ – может получить переносное значение ‘ярость’, ‘гнев’ [Partridge, 847], устойчивое выражение *Paddy's apricots / Irish apricots* (“абрикосы Пэдди / ирландские абрикосы”) имеет фразеологически связанное значение ‘картофель’ [Partridge, 848].

5. Ономастические образования, включающие этноним. Особо следует выделить недостаточно изученные в этнокультурном аспекте и даже не описанные с должной степенью полноты ситуации, когда этнонимы, этнические клички либо отэтнонимические семантические дериваты функционируют во вторичных ономастических образованиях. Такого рода факты встречаются в разных разрядах ономастики: топонимии² (например, *Jewish Alpes* (“еврейские Альпы”) – горы Кэтскилл на юге штата Нью-Йорк, где расположены пансионаты, владельцами которых, как считается, были евреи [Chapman, 243], *Татарский пролив*³, *Чудские Жернова*, лощина [Влг]⁴), астронимии (Чухонский Лапоть – созвездие Плеяды), зоонимии (многочисленные клички *Цыган* для быков черного цвета), прагмонимии (*Jew's Canoe* (“каноэ еврея”)) ‘автомобиль марки “Ягуар” или любой другой большой автомобиль’ [Thorne, 287]⁵) и, конечно, антропони-

² Анализ информации о “чужаках”, которую могут дать топонимы, см., в частности, в [Березович 2000].

³ Данный топоним, как известно, демонстрирует обобщенное представление о татарах как всех тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских народах [Никонов, 410].

⁴ Здесь и далее русский ономастический материал извлечен из картотек Топонимической экспедиции Уральского университета по территории Русского Севера (Архангельская, Вологодская области), а также частично Костромской и Кировской областей. Ссылки на источник материала не приводятся, географические пометы даются на уровне области.

⁵ В данном случае наименование реализует мотив престижности, богатства (в 30–50 годы, когда это выражение было популярно, автомобиль марки “Ягуар” считался наиболее престижным).

мии, где этот материал встречается наиболее часто. Речь идет о разных разрядах прозвищной антропонимии: индивидуальных прозвищах (*Еврей* – “вредные были предки у него”⁶ [Арх]; *Татарин* – “Дед эзитот трубку изо рта не выпускал, вот и прозвали Татарином” [Арх]; *Чуваши* – “сам-то русский, а глаза маленькие” [Арх]); семейных прозвищах (*Мордовцы* – “все на роду у них были росточком маленьким” [Влг]; *Английцы* – “жилишибко хорошо” [Киров]); коллективно-территориальных прозвищах (*Турки*, жители д. Яренъга – “они как турки: слушают-слушают, а ничего не понимают” [Арх]; *Японцы*, жители д. Митинская – “митинских подергивают японцы: они народ не артельный, совместно не любят, один другого убегают” [Арх]; *Американцы*, жители д. Дьяково – “они таки чуваша были дикие, они другого приходу были, идут – не здороваются” [Костр]; *Французы*, жители д. Павловское – “у нас народ настырный, задумают, что сделать – так все наше; вот французы и прозвали” [Арх]; *Киргизы*, жители д. Бор – “бойкие все были, драчуны были, потому киргизы” [Влг]). Особо популярны отэтнонимические образования как раз среди коллективно-территориальных прозвищ (представляющих собой наименования жителей какого-либо населенного пункта или региона, не связанные с соответствующим топонимом и выполняющие характеризующую функцию) – и это вполне объяснимо, поскольку объект номинации в данном случае выбирается не из своего социума (как это имело место в случае с индивидуальными и семейными прозвищами), а из соседнего. При конструировании образов территориальных соседей в сознании носителей традиционной культуры весьма ощутима организующая роль оппозиции “свое – чужое” [Попова 1997]: люди, проживающие в соседней местности, занимают промежуточное положение между своим социумом и чужаками, инородцами, однако ближе к последним (в наибольшей степени это актуально для территорий с этнически неоднородным населением). Таким образом, образы соседей, воспринимаемых скорее как “чужие”, чем как “свои”, вполне органично могут быть “оязыковлены” путем переноса названия “большого” этноса (макроэтнонима) на микроуровень; не случайно А.Ф. Журавлев для обозначения такого феномена, как коллективно-территориальные прозвища, использует термин *микроэтнонимы* [Журавлев 1995].

При использовании ономастического материала для воссоздания системы представлений о чужом этносе следует учитывать показания метаязыкового сознания носителей ономастикона (ср. приведенные выше мотивационные контексты). Конечно, они могут отражать не первоначальный номинативный признак, а какой-то вто-

⁶ В кавычках приводятся мотивационные контексты – объяснения прозвищ носителями ономастических систем.

ричный мотив, однако это не суть важно: в любом случае мотивировка содержит некоторый фрагмент ментального образа инородца, существующий в сознании носителя языка. Мотивировка, которая является вторичной для какого-то одного ономастического факта, может стать первичной для другого. В то же время необходимо помнить, что ономастический факт имеет менее отработанную и выкристаллизовавшуюся, а также более “слабую” и ситуативно зависимую семантику, нежели апеллятивный, поэтому мотивировки онимов могут казаться случайными, отражающими далеко не сущностные характеристики, ср.: *Румынцы*, жители д. Кряж – “нет у них реки, так поэтому. Мы румынцев-то не любили” [ВлГ]; *Португальцы*, жители д. Левково – “в войну богато жили” [Арх]. Однако и в этом случае мы получаем достаточно важные сведения о способах бытования представлений об “иноплеменном мире” в сознании носителей народной культуры.

Итак, на основе выделенных источников концептуальной информации может быть воссоздан ономасиологический портрет “инородца”, который представляет собой *систематизацию мотивов, эксплицируемых из коннотативного фона этнонима*. Этот портрет есть фрагмент языковой картины мира, отражение в языке наивной мифологии, описывающей свойства и особенности отдельных “инородцев”. Подобное исследование, по определению, не может иметь отношения к “этнической реальности” как таковой, а лишь описывает реальность языковую. Причины образования определенных коннотаций у этнонимов носят экстралингвистический характер: они связаны с историческим, политическим, религиозным контекстом существования данных лексем и их референтов, а также с действием закономерностей кросс-культурной психологии. Однако внеязыковые факторы не всегда являются единственными в процессах формирования и развития коннотаций. В ряде случаев коннотации могут продолжать существовать, развиваться и “детализироваться” уже вне всякой связи с внешними причинами, однажды давшими толчок к их возникновению, только под влиянием внутриязыковых факторов и в соответствии с чисто лингвистическими закономерностями (о которых ниже).

При работе с каждым языковым (да и не только языковым) источником этнокультурной информации необходимо отдавать себе отчет в том, что какая-то доля информации содержит “помехи”, исказжающие объективную картину. Если последовательно использовать “изобразительную” метафору, то речь идет об особенностях, отличающих произведение фотографа-документалиста от фотохудожника. Допустим, при изучении свободных текстовых связей этнонима необходимо делать поправку на индивидуальный характер некоторых контекстных пар, которые не верифицируются таким со-

циально детерминированным “фильтром”, как система языка. Эта опасность снимается в ходе анализа номинативных моделей, однако здесь возникает проблема иного рода, связанная с *проявлением фактора языковой техники*. Данный фактор уводит номинатора от познания свойств объекта, подталкивая его к реализации облегченной схемы номинативного процесса: этап подготовки идеального (мыслительного) содержания к лексическому объективированию оказывается редуцированным, а новая единица формируется под ощутимым влиянием накопленного ранее номинативного материала. В результате линия *объект* → *языковая единица* оказывается прочерченной слабо – в пользу линии “старые” номинативные модели → новая языковая единица.

Достаточно наглядно описанная ситуация проявляется в фактах народноэтимологических трансформаций, базирующихся на формально-смысловых основаниях. Обилие таких трансформаций в какой-то определенной номинативной сфере само по себе показательно: та легкость, с которой номинатор идет на ослабление объектной “поддержки” номинации, свидетельствует о недостаточном знакомстве со свойствами объекта, которое компенсируется языковым мифом. Рассмотрим ситуации такого типа. Слова *мордовка*, *мордвинка* ‘некрасивая женщина’, зафиксированные в ярославских говорах [ЛК ТЭ], представляют собой, по всей видимости, результат контаминации этнонима и просторечного слова *морда* (кстати, образ морды оказывается проработанным в русских говорах, причем в его структуре выделяется соматический мотив – мотив маленького роста, ср.: *мордва* ‘различные мелкие предметы, всякая мелочь’; ‘о маленьких детях’ [СРНГ 18, 258]). Лексема *еврей* ‘постный суп’ возникла в результате “супплетивной” номинативной реакции на *жидовский суп* то же [ЛК ТЭ]. Номинативным материалом, спровоцировавшим появление этого сочетания, стала контаминация слова вроде *жидель* ‘постная похлебка’ [ЛК ТЭ], *пожида* то же [СОГ 10, 93], реализующего признак жидкой консистенции такого супа, и прозвищного этнонима *жид*. Смысловой базой для этого сближения следует, очевидно, считать представление о жадности *жидов* (которые из скучности не заправляют суп), а оно, в свою очередь, возникло в результате притяжения слова *жид* к просторечному *жадиться* ‘жадничать’; это притяжение, в частности, реализует *figura etymologica* “Чего жидишься, как *жид*?”, ср. также простореч. *жид*, *диал. жиделяга* ‘жадный человек’ [СРГК 1, 59]. Конечно, мотив скучности евреев может иметь и экстралингвистические корни, связанные, предположим, с традицией ростовщичества, однако для диалектных и просторечных фактов русского языка естественнее предполагать внутриязыковой стимул, поскольку названная внеязыковая мотивировка несет определенный отпечаток книжной культуры.

Исключительную контаминационную активность проявляет название племени чудь. Это можно пронаблюдать, к примеру, в ситуациях фольклорной ремотивации топонимов, когда практически любой звукокомплекс с начальным чу- осмыслиается в связи с пребыванием в соответствующем локусе чуди [Березович 2000, 2–3]. Чаще всего, разумеется, аттрактивными “партнерами” чуди становятся слова, однокоренные лексеме чудо. Смысловой основой для сближения этих слов становится представление о сверхъестественных свойствах инородцев, ср. замечание О.В. Беловой о том, что в отношении славян к инородцам тесно переплетаются понятия *нечистое* и *сакральное* [Белова 1995, 415–416]. В результате сближений для целого ряда номинативных фактов невозможна точная генетическая атрибуция, ср. слова, реализующие мотив отсталости, невежества (чуди ‘темные, неграмотные люди’ [СРГСУ 7, 34], чудь ‘недалекий, туповатый, недоразвитый человек’ [ЛК ТЭ], чудь ‘поносительное слово, приписываемое невеждам’ [Опыт, 259]), мотив нечистоплотности (чуди ‘о грязном человеке’ [Куликовский, 134]), мотив нечистой силы (чудаки́, чудь ‘нечистая сила’ [ЛК ТЭ]), мотив мифического дорусского населения (чудаки́ ‘первообытные жители Сибири, от которых будто бы остались курганы, так называемые бугры’ [Опыт, 259], чудеса́, чудо́ ‘мифическое племя чудь’ [ЛК ТЭ]).

Если говорить об английских примерах, то следует упомянуть причины, сформировавшие образ “гневного ирландца” в английском языке. Мотив гнева верифицируется следующими языковыми фактами: *Irish, n* (“ирландское”) ‘гнев’, *get up one’s Irish* (“разбудить в себе ирландца”) ‘разозлиться’ [Partridge, 600], *Irish confetti* (“ирландское конфетти”) ‘камни и другие тяжелые предметы, которыми бросаются во время демонстраций и беспорядков’, ‘обломки кирпичей’ [Thorne, 240], *Paddy* ‘гнев’, ‘ярость’, *paddy-whack* (“сильный, с шумом, удар Пэдди”) ‘гнев’, ‘ярость’ [Partridge, 847–848]. Несомненно, что данный мотив возник под воздействием языковой аттракции: здесь очевидно внутрисистемное влияние слова *ire* ‘гнев’ (ср. народную этимологию названия *Ireland* как ‘страна гнева’ [Shipley, 75]). Также возможно, что вторичная номинация французов при помощи слова *Frog* “лягушка” явилась следствием аттракции слов *French* и *Frog*. Наконец, интересна ситуация с образом “английского татарина” (*Tartar*): этот довольно неожиданный (во всяком случае исходя из экстраглавиристических соображений) для английской “карты этносов” образ оказался ономасиологически релевантным. Он включает, в частности, мотив *дикости, злобности* (*tartar* ‘человек дикого, необузданного либо раздражительного нрава’ [Webster-36, 2583], ‘мегера, фурия’ [Мюллер, 715], при этом фиксируется соответствующее прилагательное / наречие *tartarly* [Webster-36, 2583]). Данный мотив, очевидно, появился – помимо экстраглавиристических факто-

ров (“культурного” образа татарина) – вследствие того, что в английском языке название этноса испытывает аттракцию к мифониму *Tartarus* ‘преисподня’ (звуковой облик и графическое оформление английского этнонима обусловлено смешением с *Tartarus* [Webster-36, 2583]), а также, возможно, к прилагательному *tart* ‘кислый, едкий’, ‘резкий, колкий (об ответе, выражении и т.п.)’ [Там же].

Еще один внутриязыковой фактор, зачастую тесно связанный с предыдущим и вносящий свои коррективы в процесс создания образа инородца, – экспрессивная звукосимволика. Думается, именно яркий фоносимволический облик стал причиной появления богатого коннотативного фона этнонима *чукча* (экспрессия выразительной аффрикаты ч здесь удваивается и поддерживается гласными не переднего ряда и взрывным к). Разумеется, помимо звуковой экспрессии, при языковом выделении *чукчи* свою роль могли сыграть процессы аттракции к другим этнонимам, соотносящимся в наивном сознании с образом “северных” и “диких” народов (чудь, чухна⁷), а также к словам вроде *чушь*, простореч. *чухня* то же, *чужой* и т.п.

Показательна и ситуация с английским прилагательным *Dutch* ‘голландский’. Обилие английских языковых фактов (особенно фразеологии), рисующих образ голландца, может быть объяснено, по мнению Ю.Д. Апресяна, экстраглавиистическими факторами: негативные коннотации восходят к XVII в. – времени ожесточенного политического и военного противоборства Англии и Голландии за господство на морях [Апресян 1995, 171]. Однако факторы “вертикального контекста” не могут объяснить асимметричную ситуацию с этнонимом *Spanish* ‘испанский’, спр.: “Интересно, что аналогичное или даже еще более ожесточенное соперничество между Англией и Испанией в тех же областях и в то же время для прилагательного *Spanish* кончилось вполне благополучно” [Там же]. Думается, что причина этой асимметрии во многом состоит в том, что прилагательное *Dutch* имеет выразительные фоносемантические особенности: звукоизобразительная пейоративность вследствие наличия “условно лабиального” гласного [ʌ] усиливается экспрессией, создаваемой за счет того, что соответствующий слог относится к перифрильному для английского языка типу слогов. Конечно, фоносимволические причины активности “голландских” коннотаций могут быть дополнены причинами другого плана, в частности, семасиологическими: данный этноним имеет диффузную семантику (ср. сохранившуюся до сих пор тенденцию к обозначению с его помощью не конкретной национальности, а группы народов, в данном случае –

⁷ Ср. богатый негативной экспрессией образ “чухонца”: чухонец ‘неопрятный, неаккуратный человек, грязнуля’, ‘человек, который выделяется в своей семье или в своей среде отрицательными качествами; выродок’ [ЯОС 10, 66].

континентальных германцев). Доминирование внутриязыковых факторов при создании данного образа обуславливает своеобразие его структуры: в портрете “голландца” – в сравнении с другими языковыми образами “инородцев” – мало конкретики (лишь “скучность”, “пьянство”, “грубая сила”, полностью отсутствуют характеристики внешности, места обитания, особенностей речи, черты характера). Превалирующими в нем являются отсубъектные характеристики: мотивы “непонятный”, “ложный”, “неправильный”, общая негативная оценка. Все это максимально сближает его с архетипическим образом Чужака.

Итак, ономасиологический портрет инородца содержит значительную долю таких деталей, которые “примыслены” (точнее, “пририсованы”) языком. Кроме них, существуют детали портрета, не воссозданные или акцентированные заново, но возникшие благодаря стандартизирующему условностям самой языковой “манеры письма”. В частности, условностью такого рода можно считать существование рядов номинативных фактов, где конкретный этноним (который должен был бы стать смысловым центром образа) варьирует, но при этом совпадает логика конструирования внутренней формы и семантики языковых единиц. Факты такого рода могут встречаться как в рамках одного языка, так и на межъязыковом уровне. Например, в русском языке существует отэтнонимический ряд названий тараканов: *prusak*, *цыган* [Даль IV, 574], *француз*, *немец*, *чудак* (< чудь) [ЛК ТЭ], *киргиз* [СРНГ, 13, 219]⁸ (ср. чеш. *šváb* (“шваб”) ‘рыжий таракан’ [Фасмер IV, 390]). Толчковым в этом ряду, вероятно, было наименование *prusak*: оно является фактом общенародного русского языка и соотносится с научным названием *Blattella Germanica*. Другие члены ряда появляются в результате расширения номинативной модели, которая пополняется не только названиями “иноземных захватчиков” (*немец*, *француз*), но и инородцев вообще (*киргиз*, *цыган*). Следовательно, конкретная образная логика, согласно которой полчища тараканов, пришедшие “от соседей”, соотносятся с армией захватчиков (ср. еще усы *prusaka!*), сменяется обобщенной идеей чуждости, не позволяющей “прочитать” детали виденья того или другого инородца. Ср. другие примеры: англ. *Dutch gold* (“голландское золото”) ‘сплав меди и цинка – дешевая имитация золотого покрытия’ [Мюллер, 229] – *Gipsy gold* (“цыганское золото”) ‘отражение огня на посуде из драгоценных металлов’ [OED VIII, 524] – русск. *еврейское золото* ‘сплав меди и цинка’ [в речи уральских старателей]; русск. *татара* (*молотят*) *в голове* ‘о со-

⁸ Интересно, что представленный ряд номинирует преимущественно рыжих тараканов, в то время как черный имеет, в частности, название *русский таракан* [ЛК ТЭ].

стоянии головокружения от усталости' [Прокошева, 98] – немцы молотят / играют в брюхе 'о чувстве голода' [ЛК ТЭ] – словацк. *cigani mi v bruchu vyhrávajú (klince kujú)* ("цыгане у меня в брюхе играют /гвозди куют") 'о чувстве голода' [SSJ I, 169] и т.п. Во многих случаях такие ряды начинают захватывать иные сферы отождествления, например, образы инородцев номинативно уравниваются с образами животных: англ. *Paddy's lantern* ("светильник Пэдди-ирландца") 'луна' [Partridge, 848] – укр. *циганське сонце* 'месяц' [ФСУМ 2, 843] – русск. *медвежье солнце* 'луна' [Даль II, 312]; русск. *цыганский дождь* – блр. *жыдоўскі даждж* – укр. *циганський дощ* – болг. *магарешкия дъжд* ("ослиный дождь") – русск. *свиный дождь* – укр. *медведичий дощ* – укр. *пташний дощ* – болг. *лисица се жени* и др. 'теплый дождь в солнечную погоду' [Кондратенко 2000, 93–96, 101]. Здесь нет смысла говорить о мифологических представлениях, которые могут стоять за такого рода номинациями (ср. богатые в этом плане обозначения слепого дождя); для нас имеет значение то, что эти факты демонстрируют **неважность конкретного представления об инородце (или о животном) для носителя языка**. Они характеризуют инородца вообще – "неполноценного", "ненастоящего" и т.п. (причем эта неполноценность доходит до того, что инородец воспринимается как "противопоставленный человеку").

Если в рассмотренных выше ситуациях языковые факторы создают, корректируют или стандартизируют какую-то часть портрета, то в некоторых случаях мы сталкиваемся с тем, что связанный с этнонимом языковой факт вообще не должен рассматриваться как языковое проявление этнических коннотаций. Иногда этнонимы используются как прямая (и не связанная с коннотациями) аллюзия на дифференциальный признак, лежащий в основе вторичной номинации предмета или ситуации. Например, одно из переносных значений слова *Greek* ("грек") 'член неформального объединения студентов университета' возникло вследствие того, что эти объединения традиционно именуются по названию греческих букв *Sigma Nu* [Longman, 1266]. Данный метонимический перенос не имеет концептуальной значимости для характеристики этноса. Встречается также немало выражений с этнонимами, где вторичные номинации являются следствиями различных видов языковой игры. Такая игровая номинация может основываться на внешней схожести слов, например: *hungarian* ("венгр") 'нищий' (через игровое притяжение к *hungry* 'голодный') [Partridge, 502]. Частое явление – рифмованный сленг, например: *Germans* ("немцы") 'руки' (через сворачивание рифмы *German bands* "немецкие городские оркестры" – *hands*) [Partridge, 498]. Аналогичная техника задействуется и при формировании прозвищных этнонимов, ср.: *quarter-to-two* ("без четверти два") 'еврей' (через рифму *quarter-to-two – Jew* [Thorne, 396]); *widow*

(“вдова”) ‘американец’ (через рифму *Widow Twankey* (персонаж пантомимы “Алладин”) – *Yankee*) [Thorne, 670]. Конечно, игровые номинации потенциально могут быть переосмыслены и “семантизированы”, однако обычно этого не происходит, следовательно, эти языковые единицы не должны использоваться для “портретирования”.

Для того, чтобы иметь возможность *сопоставлять языковые портреты между собой*, следует, как представляется, соотносить выделяемые мотивы с некой общей схемой рассмотрения языкового образа человека, в которой должны быть учтены принципиально возможные аспекты такого отражения. В качестве такой единой системы координат, в которой можно было бы сопоставить различные портреты, предлагается следующий набор идеограмм, представляющих, на наш взгляд, возможные аспектные отражения “человека этнического” (этот набор выявлен индуктивным путем, на основе анализа структуры языковых образов инородцев в русском и английском языке).

“Отобъектные” характеристики: *происхождение этнической группы; речевые характеристики; место обитания; биологические характеристики* (например, внешность, физические данные, сексуальная сфера); *менталитет* (психика: черты характера, привычки; интеллект; убеждения, религиозность); *социальные характеристики* (экономическая сфера: например, бедность/богатство, род занятий, быт); отношение к окружающим: например, “гостеприимство”, “скучность”, “хитрость”); *влияние на другие культуры*.

“Отсубъектные” характеристики – общие эмоционально-оценочные характеристики типа “непонятный”, “неправильный”, “не-настоящий”, “общая негативная оценка” и т.д.

На основе этих параметров может быть произведен сопоставительный анализ портретов – выводимых как из разных языков, так и из различных форм существования одного языка (жаргон – народные говоры – литературный язык). В качестве примера приведем фрагмент *сопоставительного анализа портрета “цыгана” в русском и английском языках*.

Если говорить о конкретных чертах русского и английского портретов “цыгана”, то в обоих языках наблюдается скорее больше сходства, чем различий. Сходства проявляются в общих мотивах, выводимых в обоих языках. Отличия же сводятся к тому, что в одном портрете обнаруживаем черты, которых неходим в другом. Однако при этом оба портрета в своих конкретных чертах не противоречат друг другу, а, скорее, оказываются взаимно дополняющими.

Что касается социальных характеристик портретов, наиболее широко и определенно представлены в обоих языках мотивы *скипальчества* (*цыганская жизнь, цыганская натура, цыганствовать*

и др. [ССРЛЯ 17, 725-726]; *gipsy* ‘скитаться и жить подобно цыганам’ [OED VII, 524; Webster-88, 603]) и *обмана, плутовства, воровства* (цыган ‘обманщик, плут, барышник, перекупщик’ [Даль IV, 575] и *gipsy* почти с таким же значением, а также *gipsy away* ‘стасчить, украсть’ [OED VII, 524], *gip* ‘обманывать или отнимать посредством мошенничества; надувать, жульничать’ и *gipper* ‘тот, кто этим занимается’ [Random, 854]); в обоих языках данный этноним употребляется в качестве клички по отношению к “хитрой, лживой, непостоянной женщине” [ЛК ТЭ; OED VII, 524]).

Как в русском, так и в английском есть немалое количество связанных с данным этнонимом названий сорных и диких растений, что можно интерпретировать как некую обобщающую черту в социальном аспекте портрета, а именно – метафорическое выражение идеи *неокультуренности* и даже *контркультуры*.

К лексемам, отражающим языковое видение образа жизни “цыгана”, по-видимому, относятся в обоих языках и отэтнонимические названия приспособлений, орудий труда с общей для них чертой, которую можно было бы обозначить как *импровизированность, транспортабельность и примитивность*: *gipsy table* (“цыганский стол”) ‘легкий круглый стол, в основании которого находятся три скрещенные палки’; *gipsy winch* (“цыганская лебедка”) ‘небольшая лебедка, состоящая из барабана, храповика и собачки и прикрепляемая к столбу’ [OED VII, 524], *цыганка* ‘рычаг, связывающий подножку самопрялки с осью колеса’ [СРГА 4, 203] (ср. польск. *suwanek* ‘складной ножик’ [Warsz. I, 358], блр. *цыганок* ‘то же’ [Бялькевич, 483], польск. *cuganka* ‘почтовая бричка’ [Warsz. I, 358]). Схожий мотив – *импровизированный, сделанный на скорую руку* – присутствует и в названии *цыганка* ‘блюдо из вареного картофеля с конопляным маслом’ [СРГНО, 577].

Однако каждый из языков добавляет и свои специфические черты к социальному портрету “цыгана”. В первую очередь это касается аспекта *экономической деятельности*. В русском языке это *покупка, продажа и обмен лошадей* (*цыганить (лошадьми)* ‘барышничать, менять, покупать и продавать, не без плутовства’: У *цыгана не купи лошади, у попа не бери дочери* [Даль IV, 575]). Правда, “лошиная” тема присутствует и в английском языке в деривате *gur* (также *gyurpsy*) ‘владелец беговых лошадей, также выступающий в качестве тренера и жокея’ [Random, 854].

Русский “цыган” занимается также *вымогательством и попрошайничеством* (*цыганить, выцыганить* [Даль IV, 575; ССРЛЯ 14, 723]). В английском языке *gipsy's warning* (“предупреждение цыганки”) со значением ‘загадочное и зловещее предупреждение’ запечатлен факт занятия цыган “гаданием” (кстати, оно используется и в рифмованном сленге со значением “morning” ‘утро’ [Partridge, 466]).

В английском языке *gipsy* ассоциируется с “нелицензированной и независимой (от каких-либо объединений) индивидуальной трудовой деятельностью”, ср., например, *gypsy plumber* ‘цыганский сантехник’, *gypsy cab* ‘цыганское такси’ [Webster-88, 603], *gipsy* ‘водитель грузовика, работающий независимо/незаконно, не имея постоянного маршрута и пункта приписки’ [Webster-86, 1015; OED VII, 524] (в последнем примере, безусловно, присутствует мотив *скитальчества*). Говоря об отражении особенностей повседневной жизни “цыгана”, следует отметить английский мотив *жизнь* (и связанные с ней функции) *вне дома, на открытом воздухе*, ср. устойчивые выражения *gipsy breakfast /dinner /party* для обозначения соответствующих трапез на открытом воздухе, глагол *gipsy* ‘устраивать пикники’ [OED VII, 524], а также *gipsy's ginger* (“цыганское рыжее”) ‘человеческие экскременты на улице’ [Partridge, 466].

В том и другом языке имеется несколько устойчивых словосочетаний, обозначающих ассоциируемые с “циганами” предметы материальной культуры (*циганская иголка* [СРГП, 319], *циганские сани* [ЛК ТЭ], *gipsy-bonnet* ‘цыганский капор’, *gipsy ring* ‘цыганское кольцо’ [OED VII, 524], употребление эпитета *циганский* по отношению к яркой одежде с крупными деталями [ССРЛЯ 17, 725]). Любопытно отметить, что в словарных описаниях всех этих предметов в обоих языках присутствует сема большого размера.

Биологические характеристики (внешность, физические данные) и менталитет представлены в русском портрете гораздо более детально, чем в английском⁹.

Что касается внешности, то из английского языка мы узнаем лишь то, что “циган” *смугл* (*gipsy* как “игривое обращение к женщины, особенно если она смуглa” [Partridge, 465]), а также как обозначение особого оттенка коричневого цвета [Webster-86, 1015]). В русском же портрете к этому добавляются еще и *черные волосы, черные, как смоль, глаза, подвижное лицо* [ССРЛЯ 17, 724]. Кроме того, русский язык запечатлел еще одну специфическую черту – *выносливость по отношению к морозам: цыганский пот (прошибает)* ‘озноб, дрожь от холода, ощущение холода’ [ССРЛЯ 10, 1584], *Цыган с рождества шубу продает “поговорка, означающая, что цыган привык легко переносить холод”* [СибФр, 200] (ср. отражение

⁹ В то же время нельзя отрицать, что этот вывод может оказаться не вполне адекватным, обусловленным “субъективным словарным фактором”, а именно: в английских словарях мы находим соответствующие отэтнонимические дериваты с толкованиями типа ‘человек, чья внешность и привычки, как у цыгана’, ‘цыганский характер’, ‘цыганская внешность’ [OED VII, 524; Webster-88, 603], однако при этом нет никакой конкретизации (возможно, из соображений “политической корректности”), в то время как в русских словарях толкование подобных лексем всегда достаточно конкретно.

этого мотива в других славянских языках: укр. *циганське тепло* ‘моро́з’, чеш. *cigánská rosa* ‘сильный мороз’, ‘иней’, ‘утренний или вечерний заморозок осенью или весной’, болг. *цигански сняг* ‘первый снег’ [Кондратенко, 101].

То же самое и с характеристикой менталитета и черт характера. “Цыган” английского языка лишь артистичен и “богемен”: любить петь и танцевать (*Gypsy* ‘танцор /танцовщица в массовых сценах в музыкальных шоу’ [Webster-88, 603]), “дружит с музами” (сленговое название Британской Ассоциации литераторов *Gipsies of Science* [Partridge, 465]). Кроме того, что русский “цыган” также любит петь и танцевать, он еще и *весельчак* (‘шутник, весельчак, танцор’ [СРГЗ, 448], *циганистъ* ‘шутить, острить, плясать, балагурить’ [СРГЗ, 448], а также ‘звать, приглашать’ [СРГА 4, 203]). Более того, в русском портрете имеются такие черты, как ‘пересмешничество, передразнивание, склонность дурачить и подымать на смех’ [Даль IV, 575]. В отличие от английского языка, в русском имеются и негативные характеристики менталитета и черт характера цыгана (*циганство* ‘бестолковщина, безалаберность’, *циганица* ‘страстность, диковатость’ [ССРЛЯ 17, 726–727]).

У рассматриваемого отэтнонимического прилагательного в составе ряда названий растений, животных, предметов обихода в обоих языках с достаточной определенностью просматривается значение “дешевый заменитель, эрзац-продукт”. Так, в русских диалектах есть *циганское мыло* ‘травянистое растение’ (с мотивировкой *цигане им умываются*), *циганская пудра* /табак/ ‘дым’ ‘перезрелый гриб-дождевик’ [ЛК ТЭ], *циганские кораллы* ‘продолговатые бусы коричневого цвета’ [СРГНО, 577], а в английском имеются словосочетания, переводимые дословно как “циганские сельдь, лук, свинья/свинина” и обозначающие соответственно ‘сардины’, ‘дикий чеснок’, ‘еж/мясо ежа’, а также выражение “циганское золото” со значением ‘отражение огня на посуде из драгоценных металлов’ [OED VII, 524].

В приведенных выше лексемах заключены и **отсубъектные характеристики “цигана”, являющиеся отражением не свойств самого объекта (представителя данного этноса), а субъективного отношения к нему и оценки со стороны “отражающих” языков.** Оценка эта выражается мотивами *поддельный, дешевый, ложный, ненастоящий*¹⁰.

¹⁰ Номинативные оксюмороны, основанные на этих признаках, обнаруживаются в связи с языковым портретом цыгана в разных языках, в т.ч. славянских, ср.польск. *cygienśka woda*, *cygańskie błoto* ‘глубокие пески’ [Warsz. I, 358], болг. *циганско мляко* ‘род водки’ [ФРБЯ 2, 498], укр. *циганське сонце* ‘месяц’ [ФСУМ 2, 843] и др.

Любопытным в обоих языковых портретах (хотя и представленным единичными лексемами) является мотив, который можно было бы определить как *влияние на другую культуру*. В русском языке этот мотив прочитывается в слове *цыганица* ‘стиль русских романсов и их исполнения, созданный в подражание цыганским мелодиям и цыганской манере исполнения’ [ССРЛЯ 17, 726], а в английском – в устойчивом словосочетании *Romany rye* “цыганский господин” “человек, сам не являющийся цыганом по происхождению, но общающийся с цыганами, говорящий на их языке и т.д.” [Webster-88, 1165; Partridge, 986].

Английский и русский портреты сближает и полностью отсутствующая в них характеристика *место обитания*, что объясняется реалиями существования объекта отображения (ср., например, данную характеристику в английских языковых портретах “ирландца” – “обитатель болотистых местностей”, “еврея” – “житель определенных кварталов города”).

В отличие от русского языка, английский язык добавляет еще и **речевую характеристику** к портрету “цыгана” – в его лексическую систему вошли вторичные (прозвищные) этнонимы, образованные от одного из самоназваний данного этноса (*Romany* [Webster-88, 1165]), а также от слова из его языка (*rye*, от цыганского *rei* ‘господин’).

Наконец, в английском языке на уровне этимологии собственно этнонима закрепилось ложное представление жителей Англии XVI в. (периода, когда там появились цыгане) о египетском происхождении этого этноса [OED VII, 524] (*gypsy* < *gypcien* < кратк. от среднеанглийского *Egipcien* ‘египетский, египтянин’ [Webster-88, 1165, 603]).

При этом, что очень важно, этимологическая связь этнонима с Египтом является, по всей видимости, весьма ощутимой для носителей языка, о чем свидетельствует его употребление одновременно в двух значениях (‘цыганский’ и ‘египетский’) как в литературе (например, *W. Shakespeare. Antony and Cleopatra*, IV), так и в сленге разных периодов (*gipsy*, *gippo*, *gippy* в значении как ‘цыган’, так и ‘египетский солдат’, ‘египетская сигарета’ [Partridge, 465]. Это, в свою очередь, наводит на мысль об информативности внутренней формы данного этнонима для носителей английского языка, ее способности задавать концепцию в языковой картине мира относительно происхождения соответствующего “инородца” (в данном случае, понятно, неадекватную реальности)¹¹.

¹¹ В этом отношении небезынтересно отметить, как русское обыденное (наивное) сознание с трудом принимает научно доказанный факт индийского происхождения цыган – вследствие явной противоречивости между наивными образами “цыгана” (экстравагантность, импульсивность) и “индийца” (созерцательность,держанность, углубленность в себе).

Итак, несмотря на сходства и взаимную непротиворечивость обоих портретов, заметны и *их глубинные различия*.

Во-первых, в русском языке сильнее тенденция обобщать ассоциации, связанные с “цыганами” – через этоним или его дериват обозначается целое понятие (например, “веселье”, “плутовство”, “диковатость” вообще); другими словами, отэтнонимические дериваты наделяются **широкой обобщающей семантикой**. В то же время в английском языке “цыганские” ассоциации часто используются лишь для характеристики весьма конкретных реалий, существующих в англоязычных сообществах. Так, этонимом (или его производным), как было показано выше, обозначают не “склонность петь и танцевать” вообще, а “танцора в массовых сценах музыкального шоу”, не “независимость” вообще, а именно “нелицензированную индивидуальную трудовую деятельность” представителей определенных профессий, не “жизнь вне дома” как явление, а лишь, в частности, “трапезы на открытом воздухе”, причем в отношении к собственной традиции пикников. Все эти случаи скорее напоминают шутливые прозвища людей, в чем-то похожих на цыган, и “игровые” названия явлений, напоминающих отдельными чертами цыганскую жизнь.

Во-вторых, в русском портрете явно больше характеристик, заключающих в себе **отрицательную оценку**. Кроме общих с английским негативных мотивов *обмана и плутовства, неокультуренности*, в русском “цыгане” присутствуют *пересмешничество, бесполковость, безалаберность, диковатость*, а также *общая негативная характеристика – образ незваного гостя, нежелательного элемента (цыган, цыганенок ‘таракан’ [Даль IV, 575; ЛК ТЭ])*.

В-третьих, в английском языке отразилась идея неоднородности цыганского этноса, обусловленная фактом обитания его в различных странах: в общие словари вошли названия венгерских (*tzigane* [Webster-88, 1447]) и итальянских цыган (*zingaro* [Random, 2211]). В русской же языковой картине мира данный этнос предстает как “единий и одинаковый повсюду”. Если вспомнить, что в английском портрете дается еще и версия происхождения данного народа (пусть ложная), а также учесть детальность его социальных характеристик, то возможно охарактеризовать его – по сравнению с русским – как более “*этнографический*”. Русский же аналог данного портрета с его тенденциями к обобщению “*этнических ассоциаций*”, к общей негативной оценке всего “*этнического образа*” в целом и его абсолютизацией приближается к языковому отражению “чужака” вообще. В этом смысле русский портрет – в отличие от английского – более “*мифологичен*”.

Английский “цыган” – это один из **многих “инородцев”** в данной языковой картине мира. По количеству выводимых мотивов и по экстенсивной характеристике (количеству языковых единиц, запе-

чатлевающих этот образ) он уступает место “ирландцу”, “голландцу”, “французу”, “валлийцу”, “еврею”. Русский же “цыган” является, по-видимому, наиболее проработанным языковым портретом. К нему по детальности и экстенсивности близки “татарин”, “чудь”, “немец”. “Цыган” – один из **немногих** “иностранцев” в русском языке.

Большая проработанность портрета “цыгана” в русском языке и его большая “мифологичность” и, с другой стороны, большая “этнографичность” английского портрета вполне естественно объясняются значительными различиями между английским и русским языковыми коллективами в плане масштабов и интенсивности кросскультурных связей (знакомством с иными народами представителей англоязычных культур и, с другой стороны, объективно обусловленной ограниченностью “этнографического кругозора” русского обыденного сознания). В свою очередь, меньшее количество “иностранцев” в русской языковой картине мира могло способствовать тому, что присущий обыденному сознанию архетип “чужой” оказался более сконцентрированно выраженным в одном из них – “цыгане”.

Итак, создание ономасиологических портретов представителей тех или иных этносов является продуктивным, хоть трудоемким и методически непростым способом выявления национальных стереотипов.

ЛИТЕРАТУРА

АС – Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Пермь, 1984. Вып. 1.

Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография М., 1995.

Белова О.В. Иностранец // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М., 1999. Т. 2. С. 414–418.

Березович Е.Л. Русская национальная личность в зеркале языка: В поисках объективной методики анализа // Русский язык в контексте культуры. Екатеринбург, 1999. С. 31–42.

Березович Е.Л. “Чужаки” в зеркале фольклорной ремотивации топонимов // Живая старина. 2000. № 3. С. 2–5.

Березович Е.Л., Рут М.Э. Ономасиологический портрет реалии как жанр лингвокультурологического описания // Изв. Уральского государственного унта. № 17. Гуманитарные науки. Вып. 3: Филология. Екатеринбург, 2000. С. 33–38.

Богораз В.Г. Областной словарь колымского русского наречия // Сб. ОРЯС. СПб., 1909. Т. 68, № 4.

БСЖ – Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.

Бялькевич І.К. Країві слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск, 1970.

Воробьев В.В. Теоретические и прикладные вопросы лингвокультурологии: Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Рос. ун-т дружбы народов. М., 1996.

- Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М., 1955.
- Журавлев А.Ф.* Русская “микроэтнонимия” и этническое самосознание // Этническое и языковое самосознание: Мат-лы конф. М., 1995. С. 49–51.
- Кобозева И.М.* Конкретный пример лексико-семантического эксперимента: выявление стереотипов национальных характеров через анализ коннотаций этнонимов // Кобозева И.М. Лексическая семантика. М., 2000. С. 185–196.
- Кондратенко М.* Лексика народной метеорологии: Опыт сравнительного анализа славянских и немецких наименований природных явлений. München, 2000.
- Куликовский Г.И.* Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.
- ЛК ТЭ – Лексическая картотека топонимической экспедиции Уральского государственного университета им. А.М. Горького.
- Мюллер В.К.* Англо-русский словарь. М., 1992.
- Никонов В.А.* Краткий топонимический словарь. М., 1956.
- Опыт – Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отделением Императорской академии наук. СПб., 1852.
- Огин Е.С.* Материалы к словарю коннотаций собственных имен (буква А) // Восточноукраинский лингвистический сборник. Донецк, 2000. Вып. 6. С. 108–151.
- Плунгян В.А., Рахилина Е.В.* “С чисто русской аккуратностью...”: (К вопросу об отражении некоторых стереотипов в языке) // Московский лингвистический журнал. Т. 2. М., 1996. С. 340–351.
- Попова Ю.Б.* Русские коллективные прозвища в свете оппозиции “свое – чужое” // Традиционная культура финно-угров и соседних народов: проблемы комплексного изучения. Междунар. симпозиум: Тез. докл. Петрозаводск, 1997. С. 79–80.
- Прокошева – Материалы для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья / Сост. К.Н. Прокошева. Пермь, 1972.
- ПССГ – Полный словарь сибирского говора: В 4 т. Томск, 1992–1995.
- СибФр – Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний русских говоров Сибири. Новосибирск, 1972.
- СОГ – Словарь орловских говоров. Ярославль, 1989–. Вып. 1–.
- СПГ – Словарь пермских говоров. Пермь, 1999–. Вып. 1–.
- СРГА – Словарь русских говоров Алтая: В 4 т. Барнаул, 1993.
- СРГЗ – Элиасов Л.Е. Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
- СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994–. Вып. 1–.
- СРГНО – Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979.
- СРГП – Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.
- СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала: В 7 т. Свердловск, 1964–1987.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Л., 1966. Вып. 1.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л., 1948–1965.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1964–1973.
- ФРБЯ – Ничева К., Спасова-Михайлова С., Чолакова К. Фразеологичен речник на българския език: В 2 т. София, 1975.

- ФСУМ – Фразеологічний словник української мови: В 2 кн. Київ, 1993.
- ЯОС – Ярославский областной словарь / Ред. колл.: Г.Г. Мельниченко, Л.Е. Кругликова, Е.М. Секретова. Ярославль, 1981–1991. Вып. 1–10.
- Chapman – American Slang / Ed. by R. L. Chapman. N.Y., 1994.
- Longman – Longman dictionary of English language and culture. Harlow, Essex, England, 1992.
- OED – The Oxford English Dictionary. Second edition. Prep. by J.A. Simpson and E.S. Weiner. Oxford, 1989. Vol. I–XX.
- Random – Random House Unabridged Dictionary. N.Y., 1983.
- Partridge E. A dictionary of slang and unconventional English: colloquialisms, catch-phrases, solecisms and catachreses, nicknames and vulgarisms. N.Y., 1988.
- Shipley J.T. Dictionary of word origins. 2nd ed.
- SSJ – Slovník slovenského jazyka / Ved. red. dr. Št. Peciar. Br., 1959–1968. D. I–VI.
- Thorne T. The dictionary of contemporary slang. N. Y.
- Webster-36 – Webster's New International Dictionary of the English Language. Second Edition. Unabridged. L., Springfield, 1936.
- Webster-86 – Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Unabridged. Springfield, Massachusetts, 1986.
- Webster-88 – Webster's New World Dictionary. Cleveland & N.Y., 1988.
- Warsz. – Karłowicz J., Kryński A., Niedzwiedzki W. Słownik języka polskiego. W-wa etc., 1904–1927 (1952–1953). T. I–VIII.

А.Ф. Журавлев

(Россия)

НЕСКОЛЬКО СЛАВЯНО-НЕСЛАВЯНСКИХ
КУЛЬТУРНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ ВСТРЕЧ
(1. *Троян*. 2. 'Сорок'. 3. Русск. диал. *оплетаи*)

В предлагаемой работе рассматриваются некоторые конкретные лингвистические сюжеты, имеющие отношение к проблеме межкультурных влияний. При всем несходстве затронутых ниже явлений (время, пространство, семантика, книжный / устно-диалектный характер существования и проч.) их объединяет желание автора увидеть в некоторых частных фактах славянской культуры следы влияния разных восточных традиций.

1. *ТРОЯН*

Как славянская мифологическая фигура *Троян* отмечен в двух традициях – восточнославянской и южнославянской. Литература о нем весьма богата, основные работы, касающиеся этого образа и

его истоков, достаточно хорошо известны, и здесь мы ограничимся библиографической ссылкой к наиболее доступным из них¹.

В южнославянском фольклоре Троян обладает вполне здравыми чертами сказочного персонажа. Сербское сказание, записанное в XIX в., рисует его с козьими ушами, что сближает персонаж славянской эпической поэзии с образом фригийского царя Мидаса, который за несогласие с решением судьи, речного бога Тмола, о результатах музыкального состязания между Аполлоном и Марсием был наделен ослиными ушами. Другой сюжетный момент сближает рассказ о Трояне с мифом об Икаре: Троян, боявшийся солнца, будучи задержан хитростью родственников его сремской любовницы, расстался под утренними лучами светила.

Восточнославянская книжность (два апокрифических сказания и “Слово о полку Игореве”) дает о Трояне весьма смутные представления, что сильно затрудняет выяснение происхождения этого мифологического персонажа, как и этимологических истоков его имени. Первые издатели “Слова...” комментировать имя Трояна отказались: “Кто сей Троян, догадаться ни по чему не возможно”.

Из многочисленных попыток идентифицировать, “личность” Трояна и объяснить его имя, предпринимавшихся исследователями “Слова...”, прежде всего обращает на себя внимание мнение (в нашей науке идущее от Н.М. Карамзина), согласно которому этот образ связан с римским “наилучшим императором” (*Optimus princeps*) Марком Ульпием Траяном (53–117 гг., правил с 98 г.)².

Мифологизация реальных исторических личностей, в том числе и особенно значительных правителей, есть явление, широко распространенное как на западе: ср. европейские представления о Карле Великом, Диоклетиане (южнославянский *Дуклян*) и проч.³, – так и на востоке: в татар. *Аланкасар* ‘мифический халиф’, караим. *альян-*

¹ Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. II. М., 1868 [репринтное издание: М., 1994]. С. 643; Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. I. Харьков, 1916 [репринтное конволютное издание (“Тома первый, второй”): М., 2000]. С. 8–15; Энциклопедия “Слово о полку Игореве”. Т. 5. СПб., 1995. С. 131–137 (подробный обзор различных истолкований образа и имени Трояна с пространной, хотя и не полной, библиографией); Мифологический словарь. М., 1991. С. 551; Gieysztor A. Mitologia Słowian. Warszawa, 1982. S. 126–127.

² Ср.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1973. С. 107; Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Knj. III. Zagreb, 1973. S. 505.

³ См.: Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). М., 1965. С. 189.

гасар ‘исполин’, удмурт. алангасар ‘предок-великан’, марийск. алансар ‘народ-пришелец’ и т.д.⁴, по нашему мнению, следует слышать тюрко-финские отголоски обожествляющего культа великого завоевателя Александра Македонского.

По соображениям Любора Нидерле, Траян восточнославянских источников “не был настоящим богом, входившим в систему религиозных верований русских славян, а представлял собой обоготворенный образ императора Траяна, о котором на Руси спустя ряд столетий продолжало сохраняться предание как о существе сильнее других и обладающем сверхчеловеческой силой (предание имело, нужно заметить, истоки в реальности: Траян был чрезвычайно могуч и вынослив⁵. – А.Ж.). Основанием для такого представления послужили крупные победы Траяна; в 101–102 и 105–106 годах он завоевал древнюю Дакию и тогда как великий завоеватель, очевидно, впервые стал известен славянам”⁶.

На римского Траяна может довольно непривычным образом указывать место в “Слове о полку Игореве”: “рища (Боян) въ троупе Траяну чресть поля на горы”. *Tropa Траяня* фонетически слишком уж напоминает лат. *tropaeum Trajani* ‘трофей (памятник в честь победы) Траяна (в Добрудже, Нижний Дунай)’. Русск. *въ тропу Траяню* как бы соединяет латинские словосочетания *tropaeum Trajani* и *via Trajani* (дорога от Дуная до Карпат, пролегающая через Малую Валахию), беря от первого фонетику, а от второго – часть смысла.

Подвергать сомнению достоверность эвгемеристических версий происхождения славянского Траяна и его культа нет необходимости. В “Слове о кровании святых апостолов”, одном из русских апокрифических источников, упоминающих имя Траяна в ряду имен языческих богов, об этом говорится прямо: “Траян бяше царь в Римъ”⁷. Однако ограничиться лишь констатацией связи Траяна с Траяном было бы, на наш взгляд, упрощением ситуации и с самим персонажем, и с его именем.

Начальные истолкования имени *Траян* опирались на его допускаемую производность от числительного **tri*, **troj-*; отсюда вполне естественны попытки видеть в Траяне одно из божеств или иных (полу)мифологических персонажей, в характеристиках которых су-

⁴ См.: Ахметьянов Р.Г. Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М., 1981. С. 15.

⁵ См.: Плиний. Панегирик Траяну, 81 (Плиний Младший. Письма. Панегирик Траяну. М., 1982).

⁶ Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956. С. 281; ср. там же, с. 54.

⁷ Цит. по: Гальковский Н. Указ. соч. Т. II. Древнерусские слова и поучения, направленные против остатков язычества в народе. М., 1913. С. 52.

щественную роль играет признак троичности. Такая позиция отражена, например, в “Поэтических воззрениях славян на природу” А.Н. Афанасьева: “Имя Т р о я н образовалось из слова т р и, т р о е, и весьма вероятно, что в... свидетельствах старинных рукописей донеслось до нас воспоминание о том языческом божестве, которое известно было у поморян под именем Т р и г л а в а...”⁸.

Этимологическая выводимость имени *Траян* на собственно славянской почве из числительного **tri* отнюдь не очевидна, хотя сама его структура такому предположению не препятствует (см. ниже). Если изложенная точка зрения в духе эвгемеризма правомерна, то ассоциацию *Траян* (*Троян*) – *три* следует признать вторичной: “чи-слово” осмысление имени собственного отталкивается от его фонетической формы, а сюжетные подробности (треглавость демонического героя в южнославянском фольклоре: одна голова пожирает людей, другая – скот, третья – рыбу, в чем усматривается символика трех царств одушевленного мира) могли выслиться уже из этого осмысления. В связи с постулируемым частью исследователей отражением в имени Траян идеи троичности было выдвинуто несколько объяснительных версий, в которых упоминаются т р и б р а т а: основатели Киева Кий, Щек и Хорив; сыновья Святослава Игоревича – Ярополк, Олег и Владимир; сыновья Ярослава Мудрого – Изяслав, Святослав и Всеvolod. В качестве структурной параллели к самому имениср. праслав. **d(ъ)v-oj-apъ*: чешск. диал. *dvojani* ‘братья-близнецы, двойня’, серб.-хорв. *двојанац* ‘близнец, один из двойни’, макед. *двојанка* ‘девочка-близнец’⁹.

Кажется, не рассматривалась сколько-нибудь внимательно возможность обнаружения в мифологическом образе Траяна/Трояна иранского момента. В качестве осторожной версии можно предположить наслоения на него представлений, связанных с иранским божеством по имени *Трайтабна*, *Траэтабна* (в Авесте; в среднеиранской традиции – *Фретбн*, на языке фарси – *Фаридун* или *Феридун*).

Предпосылками для поиска в этом направлении, помимо фонетической переклички имен, может быть несколько существенных обстоятельств.

1) Наиболее общим из них является ощущимое присутствие иранских элементов в “Слове о полку Игореве” (*див, Хорс* и др.)¹⁰.

⁸ Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения... Т. II. С. 643.

⁹ Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 5. М., 1978. С. 191.

¹⁰ Менгес К.Г. Восточные элементы в “Слове о полку Игореве”. Л., 1979. С. 191–208.

2) Древнерусскими апокрифическими памятниками Троян упоминается в одном ряду с языческим богом Хорсом, иранское происхождение которого стало общим местом.

3) Признаки троичности в славянском персонаже и (вторичное) осмысление на славянской почве имени Траяна как ***trojanъ* перекликаются с этимоном имени Трайтаоны. Последнее связано с числительным ‘три’ (авест. *θrāyōd*); кроме того, мотивы троичности многократно реализуются в мифе о Трайтаоне: он трижды обезглавливает трехглавого дракона, производит трехсыновей, между которыми натрое делит царство, и т.д.¹¹

4) Важной параллелью между царем Трайтаоной и фольклорным царем Трояном являются присутствующие в их мифологии “змеиные” мотивы. Первый является божеством змееоборческого толка. На его счету – победа над мифологическим драконом Ажи-Дахакой (перс. *äzdähā* ‘змей’, в котором отразилось др.-иран. *Aji dahaka* ‘трехглавый змей, созданный божеством зла Ахра-Манью “на погибель праведности и мира”’, проникнув в тюркские, армянский и др. языки, через посредство турецкого заимствовано балканскими языками: персидская форма множественного числа *äzdärhā* рефлексирует в серб.-хорв. *äzdér*, *ažderájka* ‘обжора’ [конечный сегмент *-ždér* в духе наивной этимологии ассоциируется с глаголом *žderati* ‘жрать’] и др., болг. *аждér* [‘мифологический’ змей, хала’, *аждрахáн*, *аждерхáн* кон ‘конь, подобный мифологическому змею, сильный, буйный’, албан. *ežderha* ‘змей’¹²]. Второй сам обладает змеинymi чертами, в чем, по-видимому, можно усматривать инверсию мотивных компонентов. Ср. также именование древних (датируемых разными исследователями очень широко – от I тысячелетия до н.э. до X–XI веков н.э., правлением Владимира Святославича и его преемников) оборонительных земляных сооружений в причерноморских степных землях параллельно *Трояновыми* и *Змievыми* валами (первые – в Поднестровье, вторые – по Днепру и его притокам, ниже Киева).

5) В “Слове о полку Игореве” особую роль играет мифология в ремени, связанная с “семью веками Трояна”. Это может быть соотнесено с мифологическими пятьюстами лет, которые царствовал Фретон (среднеперсидский вариант имени Трайтаоны).

¹¹ См.: Миры народов мира. Т. 2. М., 1982. С. 523–524; Авеста в русских переводах. СПб., 1998. С. 463–464; Топоров В.Н. К семантике троичности (слав. **trizna* и др.) // Этимология 1977. М., 1979. С. 18–19.

¹² См.: Skok P. Op. cit. Knj. I. S. 80; Български этимологичен речник. Т. I. София, 1971. С. 5; Миры народов мира. Т. 1. С. 50 (*Аждарха*, *Аждахак*, *Ажи-Дахака*).

Не исключено, по-видимому, обнаружение и некоторых иных деталей, которые могут подтвердить правомерность сопоставления образов восточнославянского Трояна и иранского Трайтоны.

2. 'СОРОК'

'Сорок' в славянской системе квантитативных знаков является семантически отмеченным, хотя и заметно уступает другим сакральным числам, будучи обремененным поздними культурными смыслами. Напрашивающиеся русские примеры: *сорок* как счетная единица (*сороками* считались шкурки пушного зверя, далее *сорок сороков* московских церквей), 'сорокалетие' как возраст полной зрелости, *сорок прыйток* (*сорок недугов*) и трава *сорокоприточник* в знахарском знании, *сороконожка* (ср. названия этого насекомого в других языках, образованные от числительного 'тысяча' – лат. *mil(l)ipeda*, нем. *Tausendfüßler* и мн. под.), промысловое поверье о том, что *сороковой медведь охотника калечит*, прощение сорока грехов убившему мизгирия (паука), магическое насчитывание сорока встреченных лысых, после чего прекращаются морозы, сорокадневное ношение за пазухой сырого яйца в предупреждение выкидыша, а в христианском обиходе – *сороковины* по смерти, являющиеся проекцией временной дистанции между Воскресением и Вознесением, *сорокоуст*, праздник *Сорока мучеников* и т.д. (хороший свод примеров у В.И. Даля¹³), вплоть до сакраментальных, канонизованных Д.И. Менделеевым *сорока градусов* (небольшая подборка сербских случаев символического употребления числительного '40, четрдесет' дана Л. Раденовичем¹⁴). Основная идея, воплощаемая в этом числе, – некая очерченность, "круглость" и полнота ("статическая целостность" *четырех*, усугубленная десятичностью), что и позволило слову, его выражавшему, стать счетной единицей. Ср. еще словац. *meru* 'сорок' из венг. *mérő* 'мешок'¹⁵ (сербизм: *mérőv* 'мера', к **měza*).

Число 'сорок', можно предполагать, получило в восточнославянских языках свою отягощенность символикой в немалой степени по причинам **ф о р м а л ь н о г о** порядка: среди обозначений средних – то есть обозримых, достаточно легко представимых – ве-

¹³ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1955. С. 275.

¹⁴ Раденковић Љ. Симболика света у народној магији Јужних Словена. Београд, 1996. С. 332.

¹⁵ Грюненталь в: Фасмер М. Указ. соч. Т. III. С. 723; Machek V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. S. 293.

личин, только числительное *сорок* (и еще общеславянское *сто*) и имеет (в отличие от обозначений в остальных славянских языках, продолжающих прайзыковую конструкцию **četyre desete* – как *тридцать* от **tri desete*, *четыреста* из **četyre sъta* и т.п.) в нутренней форме, затрудняющей символические ассоциации; слово *сорок*, кроме того, по причине своей краткости имеет большие возможности для деривации, участия в словосложении и втяжения во фразеологию. В этой связи, однако, любопытны некоторые обстоятельства: по нашим наблюдениям, которые сделаны на основе компендиальных материалов А.В. Гуры, относящихся к представлениям о животном мире¹⁶, число ‘сорок’ в народных поверьях у южных славян, особенно болгар, эксплуатируется, пожалуй, не меньше, чем у славян восточных, хотя сам язык формальной стороны (болг. *четиридесет*, *четирийсет*, серб.-хорв. *четрдесет*) этого как будто не стимулирует.

В неславянских семантических системах число ‘сорок’ может характеризоваться сходной символической ‘клишируемостью’, ср. ‘Сорокоградье’ (итал. *quadraginta castella* ‘сорок зámков’, тюрк. *qyrq-yer* ‘сорок местностей’) как традиционное обозначение ‘много-градья’ и этнической пестроты в древнем Крыму¹⁷. Многочисленны примеры символизации числа ‘сорок’ в тюркских культурах¹⁸ с основной идеей ‘полноты, целостности, предела’. Для выявления именно этого символического содержания в особенности показательными оказываются клишированные обороты, где число ‘сорок’ выступает с ‘довеском’ в единицу: требование былинного царя Вахрамея Вахрамеевича, чтобы герой служил ему *сорок-то годов еще с годичком* (в былине ‘Михайло Потык’, записанной А.Ф. Гильфердингом от пудожского сказителя Никифора Прохорова); сорок одно яичко, на которое сажает клушу старик в сказке про Заморышка – сорок с сорока чужих дворов и одно со своего (см. тонкий анализ этой сказки у В. Айрапетяна¹⁹); узбек. *qirqqa čigayān qirq birga ham čida* ‘терпел сорок раз, вытерпи и сорок первый’ (поговорка); ср. ‘Тысяча и одна ночь’. Неиндоевропейские примеры подобной символики в обилии черпаются из библейских текстов, достаточно упомянуть лишь самые знаменитые эпизоды: сорок дней и ночей дождя, вызвавшего Потоп; сорок дней и ночей, проведенных Моисеем

¹⁶ Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997 (см. указатель).

¹⁷ Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье. Реконструкция реалий языка. Этимологический словарь. М., 1999. С. 233.

¹⁸ См.: Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. М., 1997. С. 591–592.

¹⁹ Айрапетян В. Русские толкования. М., 2000. С. 58–60.

на горе Синай; сорок лет скитаний евреев в пустыне; сорок дней, проведенных Христом в пустыне и т.д. (сорок дней или лет как некий испытательный срок²⁰; ср. этимологию слова *карантин* – из франц. *quarantaine* или итал. *quarantena*, букв. ‘сорокадневье’). Не исключено, что поздняя славянская символика числа ‘сорок’ во многом обязана упомянутым восточным традициям – библейской, с одной стороны, и тюркской – с другой.

3. РУССК. ДИАЛ. *ОПЛЕТАЙ*

В связи с известными у разных народов мифологическими образами “получеловеков” – людей об одном глазе, одной руке и одной ноге – А.Н. Афанасьев в “Поэтических воззрениях славян на природу”²¹ упоминает сибирских (по записям в Томской губернии) *оплетаев*, которых сопоставляет со словенскими *половайниками*, известными ему из фольклорного сборника М. Валявца²².

По данным сводного словаря русских говоров, сибирское слово *оплетаи* обозначает не только периферийных персонажей низшей мифологии, но вполне реальный вид не слишком приятных грызунов. Ср.: *оплетай* – “1. По суеверным представлениям – чудовище, похожее на человека и питающееся его кровью. ‘Питаясь человеческою кровью, они сторожат с деревьев странников и, бросаясь на них, сначала оплатают руками и ногами, а потом, прокусив шею, высасывают кровь. Вероятно, под оплетаями разумеются вампиры’ Южн.-Сиб. ... 2. Тушканчик, высасывающий у коровы молоко. [Тушканчики] оплатают своими длинными ногами заднюю ногу коровы, а передними держась за вымя, высасывают молоко на ходу и держатся так крепко, что животные не могут их с себя сбросить. (Вот почему некоторые жители Забайкалья зовут этих зверьков оплетаями). Черкасов, Зап(иски) охотн(ика) Вост(очной) Сиб(ири)”²³ (ср. “Первый [большой тушканчик. – А.Ж.], как уверяют, сосет коров в поле, держась задними ногами за ногу, а передними за вымя, за что и зовут их *оплетаями*”²⁴). Неясно направление семантической деривации слова *оплетай* – от ‘вампира’ к ‘тушканчику’ или наоборот.

Однако, скорее всего, суеверные представления об *оплетае* ‘вампире’ сложились вторично, уже позже самой внутренней формы его имени. Ср. справедливое замечание по поводу этого мифологи-

²⁰ Тресиддер Дж. Словарь символов. М., 1999. С. 353.

²¹ Афанасьев А.Н. Указ. соч. Т. II. С. 454.

²² Valjavec M. Narodne pripovedke. Varaždin, 1858.

²³ Словарь русских народных говоров. Вып. 23. СПб., 1987. С. 262–263.

²⁴ Даль В.И. Указ. соч. Т. IV. С. 446.

ческого образа: «Уточним, однако, что мотив “оплетания людей” для общерусских поверий об упырях-еретиках не характерен»²⁵. Само имя *оплетай*, по гипотезе, изложенной у Р.Г. Ахметьянова, может быть переделкой бурятск. *ороли-бээтэй* ‘половинно-тельные’ – хозяева тайги, с которыми ведет борьбу эпический герой Гэсэр²⁶.

Образ “половинника” – антропоморфного одноглазого и однорукого существа – распространен в мифологии народов Сибири и Урало-Поволжья весьма широко. Ср. татар., башкир. *ярымтык* ‘лесное существо, преимущественно женского пола’, от *ярым* ‘половина’, *яр-* ‘расколот пополам’; удмурт. *палэсмурт* ‘мифическое существо мужского пола’, от *палэс* ‘кусок, остаток; половина’ и *мурт* ‘человек’; чуваш. *ар չурри* ‘половина мужчины’, от *ар* ‘муж, мужчина’, *շուրă* ‘половина’, и *ама չурри* ‘половина женщины’, от *ама* ‘мать, женщина’; чуваш. *շурсан* ‘один из духов’, буквально ‘пол-души’; мансийск. *хумпал* ‘лесной черт’, ‘полчеловека’; ненецк. *парнэ* ‘старик-половинка’, живущий под кочками; у ноганасан *баруси*, или *сагэ, сигэ*, у энцев *баручи*, или *сихио*, – ‘однорукая, одноногая, одноглазая старуха-людоедка’; якут. *сучунаа* ‘половинники – рослье и необыкновенно ловкие охотники, женятся на обычных женщинах’ (заимствование из ноганасан. *хоро-сочэма* ‘шитолицые (с татуированным узором)’); эвенкийск. *чулугды*, *чулурэ*, эвенск. *чулокэ* ‘половинники-мастера, малые ростом, злые и коварные кузнецы’, от *чул-* ‘скакать на одной ноге’; марииск. *шур-лочо* ‘филин’, собственно ‘половина-карлик’; наконец, к этой нечисти примыкает и татар., башкир. *шурале* (*шурэле*), чуваш. *шурелле*, марииск. *шурали* ‘леший – трехпалое существо с одним рогом, одним глазом и одной ногой’²⁷. В этот круг следует включить и русск. иркут. *альбины* ‘по народному поверью, одноногие и однорукие существа, духи... они сцепляются друг с другом и получается целый человек’, которое А.Е. Аникин выводит из монгол. *албин* ‘бес, злой дух’, бурят. *альбан* ‘волшебник, чародей’, тофаларск. *аблын* ‘горный хозяин (добрый дух)’²⁸.

²⁵ Власова М. Русские суеверия. Энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 381.

²⁶ Ахметьянов Р.Г. Указ. соч. С. 48–49.

²⁷ Подробнее см.: Ахметьянов Р.Г. Указ. соч. С. 48–50; Мифы народов мира. Т. 2. С. 654.

²⁸ Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Изд. 2, испр. и доп. Новосибирск, 2000. С. 84–85.

Ю.И. Смирнов

(Россия)

Везите до Польши
Сокровищ побольше
(хор шляхтичок, опера М. Глинки
“Иван Сусанин”)

ПОЛЬСКАЯ ТЕМА В РУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Человек, взращенный в условиях определенной культуры, самым естественным образом привыкает к ее стереотипам мышления и развитым на их основе представлениям. Он превращается в их носителя, способного затем стать их разносчиком и воспроизводителем в разных формах и разными способами, включая сугубо и узко профессиональные. Стереотипы мышления и производные от них представления также естественно превращаются затем в фильтры, зачастую настолько загущенные, что сквозь них восприятие чего-либо иного, отличного от них, становится почти или вовсе невозможным именно потому, что отличное противоречит стереотипам и представлениям, принятым за извечное и непреложное.

К обширному кругу культивируемых стереотипов и представлений непременно относятся и взгляды на межэтнические отношения, главным образом на отношения с соседями или с народами, с которыми доводится сожительствовать в пределах одной территории (одного государства). При этом, однако, представления социальных низов об этнических соседях или даже врагах не всегда и отнюдь не обязательно совпадают с представлениями социальной верхушки. Единство представлений народа и господствующих классов достигается тогда, когда этнический сосед превратился во врага, грозящего покорением или идущего войной, – в этом случае всему, в чем выражается это единство, можно присвоить “национальный”. Если же этого единства не обнаруживается, то корни различий отыскиваются в культурных традициях, в народной культуре и в культуре господствующих классов, которую часто и неправомерно называют “национальной”, невзирая на то, что ее никогда не усваивала хотя бы бóльшая часть какой-либо нации (Смирнов 1994). Через свою культуру господствующие классы могут долго, даже на протяжении веков, внушать представления о каком-нибудь этническом соседе, как об исконном и вековечном враге; эти представления могут быть усвоены какой-то частью социальных низов, но в периоды мирных отношений или спокойного сожительства им не суждено стать всеобщими, всенародными. В этом отношении показательно восприятие поляков в России.

Не станем останавливаться на том, как подавались поляки официальными кругами России и обслуживавшей их культурной пропагандой на протяжении XIX–XX вв. Упомянем лишь, что каждый, кто учился в советской школе, поневоле усваивал, что поляки, на-верное, дурной народ или даже наш давний враг, судя, например, по “Тарасу Бульбе” Гоголя, по событиям Смутного времени или по 1920 г., когда “белополяки”, воспользовавшись гражданской войной у нас, ринулись к Киеву. Фактами этого рода, настойчиво повторяемыми, да еще при соответствующих пояснениях и с нужным выражением чувств, нетрудно внушить требуемое представление, которое будет только усиливаться, поскольку остаются затененными или вовсе скрытыми факты противоположного рода.

У нас нет машины времени, чтобы с ее помощью пронестись по всем столетиям и узнать по горячим следам о том, что думали и знали друг о друге русские и поляки, причем именно социальные низы, социальное большинство обоих народов. И пока такой машиной невозможно воспользоваться, надлежит обращаться к действительным источникам. К ним несомненно относится и фольклор.

Многое из фольклора былых времен до нас, конечно, просто не дошло, но и забвение – тоже показатель: следовательно, люди не считали нужным помнить впредь, не обновляли из рода в род произведения о чем-то недобром. Теперь мы можем судить об отношении русских к полякам только в пределах того фольклорного материала, который был собран в последние два-три столетия, а это означает, что мы можем судить по тому, что к этому времени, к последним столетиям сохранилось и преобразовалось в народной памяти. И, между прочим, это узнавание отношения русских к полякам будет также выяснением степени злопамятности русских.

Начнем с былины “Дунай-сват (Женитьба князя Владимира)”. В некоторых ее версиях, найденных в восточной части Русского Севера (Архангельская обл.), король, чью дочь “за боем” добывают русские богатыри, назван “ляховинским”, “лемовинским” или “ляхоминским” (ДН и АП, № 20, 21 и прим. с. 383). Кроме соответствующего названия королевства и его столицы (“Ляхов”!), этот эпитет – единственная реалия, напоминающая о чем-то польском.

Благодаря множеству записей, сделанных в разное время в одних и тех же местах, нередко от родственников предшествующих певцов, нетрудно проследить, как с течением времени понимался эпитет сказителями. В устной передаче, при произнесении “я” или “е” как “и”, эпитет “лемовинский” очень скоро зазвучал как “лиховинский” и уже по смыслу сближался со словом “лихо” в значении “черт, нечистая сила”, понимался, очевидно, как нечто нечистое, что, впрочем, не мешало певцам по-прежнему считать дочь “лиховинского” короля идеальной невестой для русского князя. Другие

сказители переосмыслили эпитет в социальном плане и принимались называть короля “лихоймским”. Следующие певцы именовали короля уже просто Лиходеем Лиходеевичем, и это решительное определение так понравилось, что его принялись переносить и в другие былины. Как видим, настоящая этническая принадлежность короля для сказителей не имела значения. Им было безразлично действительное этническое происхождение его дочери, будущей княгини на святой Руси. Достаточно было знать, что король – правитель какой-то иной страны по соседству. Налицо традиционное в русском фольклоре превращение образа короля в сугубо нарицательный персонаж.

Отношение к этнической принадлежности короля в русском фольклоре не меняется в зависимости от того, кто, русские или поляки, выступают нападающей стороной. Это подтверждается, в частности, и исторической песней “Осада Пскова Стефаном Баторием”, претендующей на описание событий 1581 г. Известны лишь две достоверные записи. Будь она популярной, ее наверняка записывали бы много чаще. В XIX в. песня несомненно выходила из бытования, отмирала, но раньше она, видимо, пользовалась спросом, иначе ее бы не записали в далеких друг от друга местах и в разных версиях.

Версия, обнаруженная в Сызрани Симбирской губ., в среднем Поволжье (Языковы 1977, № 33, беловая копия П.В. Киреевского, текст впервые опубликован в 1834 г.), построена по типу былины “Илья Муромец и Калин-царь”. Иначе говоря, былина обновлена за счет замены некоторых имен, мест действия и других реалий. Подобно Калину-царю, король часто называется “собакой”, но у него нет собственного имени, его этническая принадлежность никак не обозначена. Осада Пскова не описана, хотя в действительности она была долгой.

Все решается по-былинному, одним сражением, причем очень кратко описанным, боем войска безымянного “белого царя” и войска королевского. Исход боя предрешен. Воевода Семен Константинович Карамышев задается вопросом:

Кому у нас на бою, братцы, Божья помочь?

И тотчас, от сказителя дается ответ:

Помог Бог воеводе московскому,

...

Побил силу королевскую

(Языковы 1977, 82).

Сказано так, что можно подумать, будто сам Господь Бог побил королевскую силу.

Как и в некоторых вариантах былины “Илья Муромец и Калин-царь”, песня завершается бегством и заклинанием вражеского предводителя – король сам-третей бежит и заклинается:

Не дай Боже мне во Руси бывать,
Ни детям моим и ни внучатам,
И ни внучатам, и ни правнучатам!

(Там же)

Для этой версии исторической песни старые былинные стереотипы стали настолько густым фильтром, что они не позволили воспринять, кроме нескольких маловыразительных реалий, еще что-либо из действительных событий 1581 г.

В другой версии той же песни о защите Пскова от войска Стефана Батория, песни, записанной в Вытегорском у., на северо-западе Вологодской обл. (Майков 1885, 50–51), также заметно использование былины “Илья Муромец и Калин-царь”, однако воздействие былинных стереотипов здесь меньшее. Этому воздействию слагатели и исполнители предпочитали привлечение таких представлений, которые принимались ими за реалии. Об этом свидетельствует самое начало песни, содержащее красноречивое восклицание:

Степан, Степан земли Полоцкой,
Собака царя Крымского!
(Майков 1885, 50)

Первый из этих стихов, несомненно, искажен в устной передаче. Он, наверное, звучал примерно так:

Степан, король земли Польского.

Если для слагателей этой версии королевский статус и эпитет “польский” имели первостепенное значение, иначе они бы не начинали песню с этого стиха, то для исполнителя, от которого записан текст, более значимым оказался второй стих:

Собака царя Крымского!

Исполнитель скорее всего не знал, что стих этот – отголосок реалии: как владетель Семиградья, Стефан Баторий был данником крымского хана. Певец просто ощущал смысл самого выражения и даже сделал логический вывод: у него далее Стефан Баторий называется “самолучшим татарином”. В тексте ни разу не применен эпитет “польский” и по отношению к войску, осаждавшему Псков.

Но и в отношении тех, кто сидел в осаде, дважды употреблены странные слова-определения:

Все немцы, французы премудрые
И те же воеводы московские.

(Там же).

Воеводы к тому же между собой “три милые братцы названые”. Они все князья, а по именам – Михайло Скопин сын Васильев, Борис Петрович Шереметев, Микита Вольхонский Романович – это персонажи разных исторических песен XVI–XVIII вв. Певец, очевидно, собрал воедино известное ему по разным текстам и пошел на смешение реалий, дабы показать исключительную важность событий, описанных в этой песне.

В песне не рассказывается ни о защите города, ни о приступе врагов, ни о сражении двух войск и долгой затем осаде. Благополучный для Пскова исход описывается как чудо.

Получив отказ сдать город, король Степан – за три поприща (!) от “самой Матери Пресвятой Богородицы” (видимо, от церкви, ей посвященной) заправлял двенадцать пушек свинцовыми ядрами, на-водил по семи золотым маковицам... О выстрелах не говорится. Быть может, сама мысль о стрельбе в такую цель казалась исполнителям столь ужасной, что они старались опустить стихи о выстрелах. Сразу после того, как сказано о наводке Степаном пушек на золотые маковицы, сообщается:

Обвернулось ядерышко свинцовое
А Степану-королю в груди черныя.

(Там же, 51).

Выражением “груди черныя” отмечена принадлежность Степана к этническим противникам. Как метка этнического противника это устойчивое словосочетание – общеславянское по происхождению (Смирнов 1996).

Сказав о чудесном полете ядра, певец поспешил завершить песню еще одним чудом:

Вся сила поганая ослепнула,
И стали они промеж собой сичь и сичь,
Не осталось силы и на семена.

(Там же).

По историческим источникам, войско Стефана Батория предприняло единственный приступ 8 сентября 1581 г. Нападавшим удалось закрепиться в двух башнях и у пролома в стене. В ответ псковичи вынесли икону Пресвятой Богородицы и монцы святых угодников, отслужили молебен, после чего, воодушевленные, бросились в пролом и к башням и выбили оттуда поляков, литовцев и венгерцев (Малышев 1952; Орлов 1912).

В песне вынос иконы, молебен и контратака заменены фольклорными стереотипами, заимствованными из других произведений, преданий и песен.

Мотив поражения стрелка (стрелков) по церкви или по иконе Божьей Матери традиционен в русском фольклоре: ср., например,

новгородское предание о битве новгородцев с суздальцами 1216 г. (Смирнов 1989, 216). Традиционны и характерны для преданий мотивы ослепления врагов при нападении на церковь, – на Русском Севере речь чаще идет о чуди белоглазой или о панах (Смирнов 1972, 57). В данном случае в песню, наверное, перенесены мотивы предания о панах. Панами на Русском Севере называли те шайки, которые в Смутное время огнем и мечом прошли по тамошним местам. Уже после избрания Михаила Романова тысячи “казаков”, как их именовали на Москве, или “панов”, как их называли в народе, собрались именно на Вытегорщине, где была записана песня о Стефане Батории. Москва долго договаривалась с ними об их уходе, поскольку не имела военной силы для их изгнания.

Видимо, по сходству действий и поведения врагов и ответных действий жителей чудь в преданиях заменялась панами. Среди преданий до десятка сюжетов посвящены проводнику, который завел или завез врагов на островок, на водопад, на тонкий лед озера, в лес или в болото (Смирнов 1972, 58). Одно из таких преданий несомненно повлияло на историю Ивана Сусанина. Подчеркнем: достоверность записей фольклорного рассказа об Иване Сусанине не подтверждена, вряд ли этого можно ожидать и в будущем. Имеются только переложения его истории, идущие от поздних письменных источников.

Из песен с тематикой Смутного времени самое большое распространение в XVIII–XIX вв. получили такие, где поляки вовсе или почти совсем не упоминаются. К ним относятся построенные на старом балладном стереотипе песни об отравлении Михаила Скопина. Несколько меньше распространена песня о Гришке Отрепьеве. Известны десятки вариантов этой песни, записанные в разных местах, что свидетельствует об устойчивом интересе к ней исполнителей и слушателей.

Уже в самом начале песни раскрывается причина появления такой фигуры, как Гришка Отрепьев:

За что на нас Господь Бог прогневался?

(ИП XVII, № 4, сходно № 6, 11)

Или:

На нас, братцы, Господь разгневался

(ИП XVII, № 7, сходно № 8–10, 14, 15, 17)

Или:

К чему рано над нами прогневался –
Сослал нам Боже прелестника
Злого Расстригу Гришку Отрепьева?

(ИП XVII, № 5)

Эта причина появления Гришки названа почти во всех сравнительно полных вариантах. Она представляет собою всего лишь конкретное выражение традиционного христианского стереотипа, вполне современного событиям начала XVII в. Подобное объяснение знали не только русские люди того времени. Его разделяли и поляки. Один из них, Николай Олесницкий, посол Сигизмунда III на коронации Марины Мнишек, вскоре после убийства Лжедмитрия I и в ответ на обвинения русских бояр говорил, между прочим: “Если же на вас свалились непомерные несчастья, должны вы их отнести за счет своих грехов и Божьего гнева” (Дневник, 70). Сам автор “Дневника Марины Мнишек” спустя год с лишним после убийства Лжедмитрия I записал о себе и своих товарищах по русскому плenу: “Грешно жили и Господа Бога гневали беззакониями нашими” (Дневник, 96).

Возвращаясь к песне, скажем, что в одном из вариантов затем отмечается, что Гришка “прельстил три земли”: короля в Литве, землю Польскую и сильное царство Московское (ИП XVII, № 4). Или “прельстил три орды”: прокляту Литву, орду хана Крымского, басурманов Запорожских (ИП XVII, № 6).

Далее в песне сообщается, у кого Гришка взял дочь в жены, при этом лишь в одном варианте обнаруживается реалия с эпитетом “польский”:

...в проклятой Литве
Да у Юрия у пана орды польские

В остальных вариантах всякое упоминание о Польше отсутствует. Вместо нее настойчиво поется о Литве, проклятой, хороевой или даже земляной:

У того короля в земляной Литвы
Взял Гришка Маришку-королевичну
(ИП XVII, № 12)

Упорное отождествление русскими поляков с Литвой отмечалось и самими поляками, непосредственными участниками событий Смутного времени (Дневник, 60, 71, 83, 111, 115, 116, 117, 119; Мархоцкий 2000, 28, 85, 94, 99). В своей грамоте Лжедмитрий I заявлял: “Аз... пришел з Литовские земли в вашу отчыну в Московскую землю” (Мархоцкий 2000, 150). Судя по “Дневнику похода Сигизмунда III в Россию”, Лжедмитрий II, говорил про русских: “о поляках или, как они говорят, о Литве ничего хорошего не думают и не говорят” (Мархоцкий 2000, 169). Опираясь на такие факты, можно считать, что песня о Гришке Росстрижке сохранила подлинную реалию. Русские люди того времени прибегли к расширительному употреблению этнонима “Литва”, подобно тому, как они уже привыкли широко пользоваться этнонимами “немец” и “чудь”. Наряду с этим в рус-

ских документах Смутного времени отождествление поляков с Литвой встречается много реже, нежели употребление устойчивого выражения “польские и литовские люди” (Мархоцкий 2000, 152, 194, 199 и др.), – это, по-видимому, свидетельствует о том, что некоторая часть русских была способна вносить поправки в сложившийся стереотип о западных соседях.

Юрий Мнишек, отец Мариньи, в документах начала XVII в., русских, польских, итальянских, чаще величается воеводой Сандомирским (реже Саномирским), хотя он был воеводой не только Сандомира, но и еще нескольких городов, включая Львов (см. например, Дневник, 167, 169, 171, 172, 181, 184). Русская народная молва, очевидно, усвоила эпитет, иначе его осмысливая. Устная передача несомненно стирала былое упоминание Сандомира. В некоторых песнях отца Мнишек иногда называют паном Стредомирским, Седомирским, Сендофорским (ИП XVII, соответственно № 4, 5, 6). В вариантах западной части Русского Севера Юрий Мнишек назван паном Сердобольским, от русского названия старинного города Сердоболь (ныне Сортавала), находящегося чуть севернее Ладожского озера (ИП XVII, № 7–10, 13, 15, 17, 18). Видимо, эпитет понимался уже как указание на место жительства или на происхождение персонажа.

Никаких иных реалий, относящихся к Польше, в песне о Гришке Росстрижке более не встречается. Очевидно, что с течением времени певцов и слушателей польские реалии занимали все менее и менее. Они стирались или подменялись. Поступки и поведение Гришки, богопротивные, вызывающие, нарушающие общепринятые нормы, – вот что, судя по содержанию, сохраняло песню, обеспечивало ее бытование.

Прочие песни с тематикой о роли поляков в Смутное время представлены единичными записями, что само по себе вызывает настороженность, ибо для фольклора единичный факт – это еще не факт. Единичность этих записей вряд ли можно объяснить нерадивостью собирателей. Ведь собиратели были воспитаны, взращены современной им культурой, а в ней интерес к Смутному времени всегда поддерживался, причем активное вмешательство поляков в московские дела постоянно описывалось в самых черных красках. Влияние современной им культуры на собирателей безусловно сказывалось, иначе они не стали бы искать песни о роли поляков в Смутное время Московского государства. Однако их постигало разочарование. В народе почти не помнили тексты о поляках. К XIX в., ко времени повсеместного увлечения собиранием фольклора, подобные произведения утратили значение животрепещущих.

По письменным источникам известно, что осенью 1609 г. король Сигизмунд III осадил Смоленск, а летом 1610 г. он послал с войском

гетмана Жулковского на Москву. Между тем в народе не сохранилось каких-либо произведений о поражениях русских. Народное самолюбие, по-видимому, даже не позволяло создавать такого рода произведения.

Выступления же Сигизмунда описаны в трех песнях. В одной из них король (без имени!) подходит к г. Волоку (очевидно, Ламскому) и требует у московского воеводы Карамышина (в действительности Карамышев) сдать Москву. Заслышив грозный ответ воеводы, король взмолнился, сам боем пошел, однако описания боя нет. Может быть, оно опущено. Сразу же, вопреки сообщениям письменных источников, поется: король насилиu сам-третей ушел и заклинается не ходить на святую Русь (Языковы 1977, № 42; ср. в ином изд.: ИП XVII, № 26). Очевидным является перенесение элементов песни о походе Стефана Батория на Псков. Сквозь фильтры перенесенно-го стереотипа новая действительность почти не воспринята.

В другой песне тоже безымянный король похвалялся пойти на святую Русь и захватить города, включая Москву: только по перечислению городов можно догадаться, что речь идет о походе Сигизмунда III. Сидящие на Москве “цари-короли”(!?) готовы отдать город Белую. Но тут изыскался Сухан-мужик (имя, очевидно, заимствовано из былины о Сухане, побившем татарскую силу). Он выступил против силы шведской (единственное упоминание какого-либо этнонима!), королевской, он палицей разбил шатер королевича (но королевич Владислав не принимал в походе активного участия), убил слугу королевскую. “Все генералы удивились”, – добавил певец явно от себя (ИП XVII, № 28). И на этом песня обрывается. Подвиги Сухана либо надуманы, либо перенесены из какого-то иного произведения, до нас не дошедшего.

Третья песня, связанная с походом Сигизмунда III, почти целиком является перенесением. Когда безымянный опять же король собирается идти походом на Русь, ему приснился сон, будто он ходил на край синего моря, правой ногой в море оступился, левой рукой за крушину ухватился: спасибо тебе, крушина, что в море не пустила! И король отказывается от похода (Языковы 1977, № 41; ср. переизд.; ИП XVII, № 27). В тексте использована песня о воре Копейкине, записанной в тех же местах (Языковы 1977, № 332–335), восходящая к довольно редкой балладе о безымянном молодце, которому перед походом приснился сон о собственной грядущей гибели.

Вступление поляков в сентябре 1610 г. в Москву по тайному сговору с так называемой “семибоярщиной” фольклорная традиция не сохранила. Записаны всего две песни, в которых рассказывается о поляках на Москве, причем в обеих их предводителем назван сам король Гужмунд или Сузмунд. Обе песни вызывают большие сомнения

ния в их подлинности. Одна из них посвящена Прокофию Ляпунову, предводителю земского ополчения, убитому по польскому навету летом 1611 г. Текст будто бы доставлен из Чернского у. Тульской губ. Он начинается с констатации:

Заполонила Москву погана Литва,
Погана Литва, проклята польска сторона,

жил тут, поживал нечистивый Гужмунд, жил во святых местах, в царских русских теремах. Многие русские бояре нечестивцу отдалися, от Христовой веры отреклися, но не думный воевода (странный чин!) Прокофий Ляпунов. Он разослал письма воеводам: идите освобождать Москву, защищать веру Христа. Гужмунд узнал об этом. По его велению злые изменники убили Ляпунова. Но из больших городов Казани и Нижнего Новгорода воеводы все-таки пришли, начали

Погану Литву рубить, нечестивого Гужмунда веревкой душить,
Удушили, все нечестивое племя из Москвы повыгнали

Судя по фальшивому и стихотворному размеру, по ненародной лексике и иным стилистическим перлам, текст по меньшей мере правлен чьей-то патриотической рукой. По существу его нельзя признать фольклорным.

По меньшей мере правленым нужно признать текст "Минин и Пожарский", также не имеющий фольклорного подтверждения. Как и предыдущий текст о Ляпунове, он тоже будто бы записан от старой женщины, но уже в Боровском у. Калужской губ.

Текст начинается с рассказа о том, как богатый мещанин Кузьма Сухорукий призвал купцов распродать свое имущество, накупить оружия и пойти освобождать Москву "от нечестивых жидов, злых поляков". Это выражение затем повторяется. Первую его часть о "нечестивых жидах" можно встретить разве что в духовных стихах, но никак не в светских фольклорных произведениях. Вторая часть этого выражения традиционна тем, что у всех славян нападающие враги могут быть награждены общеславянскими эпитетами "злые", "лютые", "свирепые", "страшные". И лишь в этом тексте о Минине и Пожарском обе части соединены в единое словосочетание, в котором поляки отождествляются с иудеями.

Возвращаясь к тексту, скажем и о его продолжении. Призыв Кузьмы Сухорукого был услышен. Собралось войско, воеводой которого избрали князя Дмитрия Пожарского, после чего события переданы стремительной скороговоркой. Как и в былинах, все решается одним сражением. Русские с боем берут Кремль, избивая поляков, а самого Сузмунда-короля в полон взяли, буйную голову отрубили. Пленение предводителя врагов с последующей его казнью

иногда встречается в былинах, поэтому эти мотивы текста можно считать чьим-то перенесением из былин.

Больше внимания, чем сражению в тексте уделено выбору царя. Бояре-воеводы намерены избрать царем князя Пожарского. Однако тот убеждает всех избрать царем Михаила Романова, впрочем, без описания каких-либо заслуг последнего. Предложение Пожарского было принято, как теперь говорят, единогласно.

Уже в советское время появилась откровенная подделка под народную историческую песню, с названием “Федюшка Бас и польские ратники” (Яросл. 1938, № 3). Достаточно прочитать ее начало, чтобы убедиться в фальши ее стихового размера, изобразительных средств и самого содержания:

То не гром грохочет по долинушке,
Скачет конница удалая.
Впереди ее лихой Федюшка Бас.
Топчет конь копытами серебряными
Панов гордых, шляхтичей пронырливых...

Текст, несомненно, сочинялся в условиях политической конъюнктуры, именно в 1938 г., как злободневный отклик на официозное изображение “панской Польши”.

Военные столкновения между поляками и русскими продолжались и в царствование Алексея Михайловича. Вполне вероятно, что они получали какой-то отклик в виде песен и устных рассказов, но фольклорная традиция не сохранила ничего. Только на крайнем северо-востоке Азии, в нижнем течении Индигирки, среди русских – потомков первопоселенцев второй половины XVII в. – уцелела песня “Осада Смоленска”, записанная двумя скромными отрывками, повествующими о приступе московского войска во главе с самим Алексеем Михайловичем и его тестем И.Д. Милославским (ИП XVII, № 110 – точнее РЭПС 1991, № 197; ИП XVII, № 111). Судя по реалиям, имеются в виду события 1654 г. (РЭПС 1991, 436). Осажденные в Смоленске враги никак не названы. В конце одного отрывка упоминается, что некий паненок взбегает на стену и зажигает порох в пушке. Для создателей песни это, наверное, не имело значения, потому что все знали, кто тогда сидел в Смоленске. Последующих же исполнителей, судя по сохранившимся отрывкам, песня привлекала драматическим описанием приступа, который, по источникам, был неудачным для русских.

Из событий XVIII в., связанных с Польшей, в русском фольклоре чудом сохранились две разные песни о Станиславе Лещинском, которого польский сейм избрал королем в 1733 г. В самих песнях какие-либо польские реалии отсутствуют. В одной из них Лещинский назван “вором”, т. е. преступником, в другой – князем (ИП XVIII, со-

ответственно № 276, 277). Обе песни составлены из отрывков разных предшествующих произведений.

В первой из них вслед за жалобой солдат и драгун на службу государеву, перепевом известных с петровских времен солдатских песенных жалоб, внезапно подается похвальба Лещинского, очень похожая на угрозы былинного Калина-царя:

Соберу я себе силы да, братцы, трех земель:
Еще первую силу земли Прусские,
Еще другую силу земли Французские
Еще третью силу да земли Польские,
Еще-от Псков и Новгород во ногах стопчу,
Еще села и деревни да выжгу, вырублю,
Я и церкви, и деревни все на дым спущу
Ох я девок и баб всех на блуд возьму!

Здесь более чем странно, что такой мелкой фигуре, как Лещинский, приписаны столь великие угрозы. Причина, вероятно, кроется в перенесении. Лещинский тут скорее всего заменил какой-то иной персонаж, промежуточный, если считать изначальным Калина-царя или подобного былинного вражеского предводителя. Этим промежуточным персонажем, возможно, тоже был польский король или даже шведский военачальник первой половины XVII в. Якоб Делагарди, на что указывают упоминания Пскова, Новгорода и “сильного царства Московского” вместо более уместных здесь обеих русских столиц и современного названия империи.

Не успел Лещинский похвалиться, как его со всех сторон облегла русская сила. Сражения и здесь нет. Просто скромно отмечено, что Лещинский, как и его фольклорные предшественники (татарский предводитель, Баторий, безымянный польский король), насилиu сам-третей убежал и заклинается:

Что не дай, Боже, бывать на святой Роси,
Что да во сильном во царстве да во Московском,
Что не мне, братцы, Лещинскому, ни моим детям!

(ИП XVIII, 166).

Место записи этой песни неизвестно, тогда как бытование второй отмечено среди терских казаков. В ней казаки соединили диалог красного солнышка со светлым месяцем (вариацию общеславянского мотива) с описанием бегства князя Лещинского. Спасаясь от погони, он едет в колясочке к Дунаю, просит у реки переправы и, не дождавшись ответа, бросается в реку: заключительный мотив, по-видимому, заимствован из баллад типа “Молодец и река Смородинка”, “Перевозчик и девушка”. В действительности в 1734 г. Лещинский благополучно бежал в Пруссию из осажденного русскими войсками Гданьска.

В народной памяти не сохранились какие-либо отклики на разделя Польши во второй половине XVIII в. Даже две польские кампании самого прославленного полководца того времени В.В. Суворова не оставили следа в фольклорной традиции, кроме плохонькой песни о взятии Варшавы, описанным вопреки подлинному ходу событий. Ее бытование замечено лишь один раз. В ней упоминаются Польша и Аршава, но не описываются защитники:

Как не туча находила
И не сильны дожди льются:
Граф Суворов показался,
Полки в Польшу с ним идут.
Он имел то повеленье,
Чтобы Польшу усмирить,
И немудро угощенье
Взять Аршаву покорить...

(Лопатин – Прокунин, 243).

Корявый слог и угодничество, разумеется, исключали возможность сколько-нибудь заметного распространения этого текста.

Иной была судьба более поздней солдатской песни “Ночки темны, тучи грозны”, частью вариантов тоже откликнувшейся на взятие Варшавы, но уже в августе 1831 г. У нее, как справедливо указывали Н.М. Лопатин и В.П. Прокунин, есть непосредственная предшественница – песня о взятии Эривани в октябре 1827 г.:

Не две тучи, не две грозны
По поднебесью идут –
Наши храбрые солдаты
В барабаны марши бьют.
Они марши маршируют
Промежду собой говорят:
“Трудно, трудно нам, ребята,
Эривань-город брать...”

(Лопатин – Прокунин, 244).

Уже в предшественнице прозвучали знаменательные слова, приписанные графу И.Ф. Паскевичу:

Вы, прокляты персиане,
Покоритесь все вы нам,
Не покоритесь вы нам,
Пропадете как трава!

(Там же).

Песня еще не успела получить распространение (иначе отыскалось бы больше ее вариантов, а не один), как вспыхнуло польское восстание 1830–1831 гг. На его подавление был послан с войсками

все тот же граф И.Ф. Паскевич, между прочим, по преданию, имеющий польские корни, тот самый военачальник, который еще в 1813 г. принимал ключи у депутатии Варшавы. Песня о взятии Эривани была переделана почти сразу после взятия Варшавы. Уже в самом начале 1830 г. М. Стакович записал на Орловщине песню о взятии Варшавы:

Ночью темной тучи грозны
По поднебесью идут,
Ах да наши храбрые они ребята
Тихим маршицем идут...

(Стакович, 38).

Они между собою говорят:

[Ах да] “Завтра надобно, ребята,
Нам Варшаву-город взять,
Нам Варшаву-город взять,
Да под пушки подбежать”.

(Там же).

Под конец в ней прозвучало:

[Ах да] “Уж вы слушайте, поляки,
Покоряйтесь все вы нам.
Не покоритесь, поляки,
Всех порубим, посечем,
[Ах да] Всех порубим, посечем
И в полон всех заберем”.

(Там же).

Судя по известным нам вариантам, требование покорности от поляков последующие певцы чаще не сохраняли. Они просто не пропевали последние строфы (см., например, ИП XIX, № 329–338). При этом название города в устной передаче искажалось (Аршава, Аршаб, Маршав и т.п.), так что слушатели, да и сами певцы, уже никак не могли знать, кто защищал город, зачем надо было брать этот город и действительно ли события ограничивались по-фольклорному одним сражением.

Песня, наверное, потихоньку вышла бы из бытования, если бы солдаты – участники следующих войн – не догадывались вставлять в песню именования тех врагов, с которыми они воевали. Так, в барнаульском варианте “наши храбрые ребята” все так же должны брать Аршаву, но их предводитель граф Москвевич (!) уже призывает:

Бейте турку, агличанку
И проклятых поляков, –

и тут слышится отзвук на события Крымской войны.

Оценивая врагов по вероисповеданию, песня в конце требует и наивно угрожает:

Вы, прокляты басурманы,
Вы подите к нам в полон.
Не пойдете к нам в полон,
Мы посушим вас травой!

(Красн. 2000, 202).

В этом обращении можно усмотреть и творческое осмысление традиционной концовки. Более традиционно окончание заонежского варианта (с упоминанием Маршава-города):

Уж вы, турки и поляки,
Покоритесь-ка вы нам.
Если ж нам не покоритесь
Пропадете как трава!

(Коллакова 1927, 142).

Липоване, живущие на нижнем Дунае, внесли свою поправку:

Уж вы, турки, турки, не (!) поляки,
Покоряйтесь вы нам.
А если вы нам не покоритесь
Пропадете как трава!

(Маринеску 1978, 248).

В вологодском варианте “наши русские ребята” намереваются взять уже “турецкий город”. Соответственно подработано и обращение:

Турки злые, вы лихие,
Покоритесь вы нам!
Не покоритесь нам
Пропадете как трава.
Наша матушка Россия
Всему свету голова...

(Вологод. 1955, 91).

Предводителем русских тут назван Черняев, а имя генерала М.Г. Черняева, возглавившего русских добровольцев в сербско-турецкой войне 1876–1877 гг., знали в то время в самых широких кругах России.

Первая мировая война оживила бытование песни. В печорском варианте “наши русские командиры” еще озабочены, как Варшаву-город взять, но воюют уже с германцами, поэтому обращение в конце песни звучит иначе:

Уж вы, да злы лихи германцы,
Покоритесь вы нам.
Если вы не покоритесь,
То ложитесь как трава.

(Песни Печоры 1963, 339).

В варианте, записанном в местах, прилегающих к Южному Уралу, “наши храбрые стрелочки” уже намерены “германский город взять”. Он завершается бравой концовкой:

Уж вы, лютые германцы,
Покоряйтесь вы нам,
Покоряйтесь вы нам,
Пропадете как трава,
Пропадете как трава:
Наша матушка Россия –
Всем державам голова.

(Башк. 1957, 235).

Гражданская война кое-где побудила знатоков песни внести новые изменения. В варианте, записанном в Карелии в 1932 г., маршем выступают “наши храбрые партизаны”. Стоило им подбежать под пушку, закричав “ура”, как:

Распроклятые белюги
Разбежались кой-куда.

(Астахова 1934, 24).

Среди семейских Забайкалья текст с реалиями гражданской войны сохранился до наших дней. В нем “наши красные солдаты” воюют с “иноземцем”, никак не раскрытым. (Чит. 1996, 28).

Можно допустить, что польское восстание 1863 г. и последующие подобные события второй половины XIX – первой половины XX в. находили у русских какой-то отклик в виде фольклорных произведений, однако достоверных текстов обнаружить не удалось. Они, очевидно, были слишком малозначимыми по сравнению с другими событиями.

Завершая обзор русских фольклорных текстов, нетрудно заключить, что русские не стремились сохранять и не сохранили сколько-нибудь реальных представлений о поляках. Это, разумеется, не значит, что в конкретной исторической обстановке русские не старались узнать, кто такие поляки. Они, конечно же, старались, но восприятие поляков, по-видимому, каждый раз раздавалось. Одни впечатления – от поведения, облика, одежды, снаряжения, оружия и пр., т.е. впечатления непосредственные и обыденные откладывались в краткосрочной памяти, на случай ближайших встреч или столкновений. Такие впечатления могли откладываться и в виде фольклорных текстов хроникального характера, посвященных конкретной стычке или крупному сражению. С исчезновением общения или угрозы столкновений и с уходом из жизни непосредственных участников событий все, накопленное краткосрочной памятью, тоже уходило из бытия. В долгосрочной же памяти отложились произведения, почти исключительно основанные на предшест-

вующих фольклорных стереотипах. Польские реалии при этом оказались в лучшем случае маловыразительными и отнюдь не обязательными деталями в описании персонажей или мест действия. Они не определили повествование и пафос долго бытовавших фольклорных произведений.

ЛИТЕРАТУРА

- Астахова А.М.* Фольклор гражданской войны // Советский фольклор. Вып. 1. Л., 1934.
- Колпакова Н.П.* Песня на Шуньгском полуострове (Литературная эволюция) // Искусство Севера. Заонежье. Л., 1927.
- Лопатин Н.М., Прокунин В.П.* Русские народные лирические песни. М., 1956.
- Майков Л.Н.* Еще былины и песни из Заонежья // Русский филологический вестник. 1885. № 1. Переиздание: ИП XIII–XVI, № 275.
- Мальшев В.И.* Повесть о приходжении Стефана Батория на град Псков. М.; Л., 1952.
- Мархоцкий Н.* История Московской войны. Подготовка публикации, перевод, вводная статья, комментарий Е. Куксиной. М., 2000.
- Орлов П.А.* Походы Стефана Батория на Россию и осада Пскова в 1581 г. // Труды Псковского Археологического Общества за 1911–1912 гг. Вып. 8. Псков, 1912.
- Смирнов Ю.И.* Предания европейского севера о чуди // Проблемы изучения финно-угорского фольклора. Саранск, 1972.
- Смирнов Ю.И.* «Эрлангенская рукопись» и «Древние российские стихотворения, собранные Киршою Даниловым» // Русско-сербские литературные связи XVIII–нач. XIX в. М., 1989.
- Смирнов Ю.И.* Язык, фольклор и культура // Язык–культура–этнос. М., 1994.
- Смирнов Ю.И.* Славянские фольклорные представления о других народах. 1. Цветовое восприятие // Древняя Русь и Запад. Научная конференция. Книга резюме. М., 1996.
- Стахович М.* Русские народные песни / Предисловие, редакция и примечание Н. Владыкиной-Бачинской. М., 1964.

П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я

- Башк. 1957 – Русское народное творчество в Башкирии. Под ред. Э.В. Померанцевой. Уфа. 1957.
- Вологод. 1955 – Сказки и песни Вологодской области. Составители С.И. Минц и Н.И. Савушкина. Под ред. Э.В. Померанцевой и С.В. Викулова. Вологда, 1955.
- ДН и АП – Добрыня Никитич и Алеша Попович / Изд. подг. Ю.И. Смирнов и В.Г. Смолицкий. М., 1974.
- Дневник – Дневник Марины Мнишек. Пер. [вст. ст. и комментарии] В.Н. Козлякова. СПб., 1995.
- ИП XIII–XVI – Исторические песни XIII–XVI веков / Изд. подг. Б.Н. Путилов, Б.М. Добровольский. М.; Л., 1960.

- ИП XVII – Исторические песни XVII в. / Изд. подг. О.Б. Алексеева, Б.М. Добровольский, Л.И. Емельянов, В.В. Коргузлов, А.Н. Лозанова, Б.Н. Путилов, Л.С. Шептаев. М.; Л., 1966.
- ИП XVIII – Исторические песни XVIII в. / Изд. подг. О.Б. Алексеева, Л.И. Емельянов. М.; Л., 1971.
- ИП XIX – Исторические песни XIX в. / Изд. подг. Л.В. Домановский, О.Б. Алексеева, Э.С. Литвин. Л., 1973.
- Маринеску 1978 – Зялёныя моя вишенка: Собрание песен липован, проживающих в Румынии / Сост. М. Маринеску. Бухарест, 1978.
- Песни Печоры 1963 – Песни Печоры / Изд. подг. Н.П. Колпакова, Ф.В. Соколов, Б.М. Добровольский. М.; Л., 1963.
- РЭПС 1991 – Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. Изд. подг. Ю.И. Смирнов и Т.С. Шенталинская. Новосибирск, 1991.
- Чит. 1996. – Фольклор Читинской области. (Песни, собранные В.Н. Волковым). Чита, 1996.
- Языковы 1977 – Собрание народных песен П.В. Киреевского. Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях. Т. 1. Подготовка текстов к печати, статья и комментарии А.Д. Соймонова. Л., 1977.
- Яросл. 1938 – Ярославский фольклор. Дооктябрьский / Сост. Б.Н. Быстров, Н.Е. Новиков. Под ред. В.Ю. Крупянской и В.М. Сидельникова. Ярославль, 1938.

Б.П. Нарумов

(Россия)

ЯЗЫКОВАЯ ИСТОРИЯ ОСТРОВА САРДИНИЯ: ПОЛИФОНИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР

В каноническом списке романских языков, фигурирующем в любом введении в романскую филологию, сардинский язык занял прочное место еще в середине XIX в., после того как основатель романского языкознания Ф. Диц использовал при переиздании своей “Грамматики романских языков” материал сардинской грамматики Дж. Спано, опубликованной в 1840 г. (Spano 1840). В противоположность “большим” романским языкам, таким, как испанский или итальянский, сардинский был выделен в самостоятельный язык не в силу своего социолингвистического статуса или наличия богатой письменной традиции, а по причине некоторых особенностей внутренней структуры, поразивших лингвистов своей архаичностью. В итало-романском ареале существует достаточно идиомов, которые можно считать отдельными языками на чисто лингвистических основаниях, поскольку типологическая дистанция между ними и итальянским литературным языком достаточно велика.

ка; к тому же в прошлом некоторые из этих идиомов были языками и в социолингвистическом смысле (например, венецианский или пьемонтский). Однако сардинский оказался достойным именовать языком именно из-за своей (действительной или мнимой) архаичности, и выяснение причин этой архаичности, в числе которых прежде всего фигурируют ранняя романизация Сардинии и ее не столько географическая, сколько культурная изоляция в Средние века, стало одной из излюбленных тем романтических исследований в XIX–XX вв.

Вместе с тем “идея” архаичности сардинского языка стала важнейшей составляющей языкового сознания сардинцев. Близость к матери-латыни – действительная или объявляемая целью языкового переустройства – идея, культивируемая в самых различных романоязычных ареалах и в разные периоды времени, однако на Сардинии она превратилась в настоящий культурный топос, в некий лозунг, в подтверждение которого постоянно приводится одно и то же небольшое количество фактов, приобретших по существу символическую значимость (ставших маркерами национально-языковой идентичности). В их числе можно назвать такие особенности исторической фонетики, как сохранение качества латинских гласных *I, E, O, U* при утрате различий по долготе: *PILU* > *pilu* ‘волос’, *TEMPUS* > *tempus* ‘время’, *CRUCE* > *ruke* ‘крест’, *CORPUS* > *corpus* ‘тело’ (ср. итал. *pelo*, *tempo*, *croce*, *corpo*) и прежде всего сохранение заднеязычных смычных *C, G* перед гласным переднего ряда: *COENA PURA* > *kenapura* ‘пятница’, *CITO X CITIUS* > *kitto*, *kitto* ‘рано утром’, *GELARE* > *ghelare* ‘замерзать’, *GINGIVA* > *ghinghiba* ‘десна’. Важной в морфологическом отношении является такая особенность сардинского языка, как сохранение конечных *-s* и *-t* в формах имен и глаголов: *limbas* ‘языки’, *cantas* ‘ты поешь’, *cantat* ‘он поет’ (ср. итал. *lingue*, *canti*, *canta*). Хотя некоторые из архаизмов, присущих сардинскому языку, обнаруживаются и в других ареалах (*U* и *O* не смешиваются в румынском языке, заднеязычные согласные частично сохранялись перед передними гласными в далматинском языке, сохранение *-s* наблюдается в языках иберороманской, галло-романской и рето-романской подгрупп), тем не менее их одновременное присутствие в сардинском языке дало повод говорить об особой его архаичности; эмблемой последней вот уже несколько веков служит фраза *columba mea est in domo tuo* ‘моя голубка в твоем доме’, одинаково звучащая по-латыни и по-сардински. Даже в одном из сравнительно недавних социолингвистических обзоров сардинский язык определяется как самый архаичный и консервативный из романских наречий, наиболее близкий к латыни язык, и причиной тому объявляется почти полная историческая и географическая изолированность сардинцев –

народа, живущего на острове и в то же время известного своей неприязнью к мореплаванию и привязанностью к родной земле (Salvi 1975, 177).

Необходимо сразу оговориться, что пресловутая архаичность сардинского языка – это миф, унаследованный от сравнительно-исторического языкознания XIX в. и перешедший в подсознание многих романистов XX в., а также в паралингвистическую культуру ревнителей местной речи. Как уже было сказано, этот миф бытует и в других романских странах (особо близкими к латыни являются то итальянский, то португальский, то галисийский) и представляет собой одно из проявлений атомизма деструктурного языкознания, когда к рассмотрению привлекались лишь некоторые элементы языковой системы при забвении остальных. Между тем, стоит лишь бросить общий взгляд на систему (системы) сардинского языка, как станет ясно, что в целом ни о какой его архаичности не может быть и речи. Архаичны (разумеется, в генетическом, а не функциональном плане) лишь некоторые особенности некоторых сардинских диалектов, в то же время в других диалектах присутствуют такие необычные инновации, которые придают им чрезвычайную оригинальность на фоне других романских языков и диалектов (например, переход *-k-*, *-n-* в гортанную смычку и назализация гласных: *FALCE* > *fal?e, far?e* ‘серп’, *VINU* > *bī?u, uī?* ‘вино’).

А priori можно было бы предполагать, что сардинский языковой ареал, по причине своей изолированности, действительно окажется в высшей степени консервативным ареалом. Однако стоит только ознакомиться с социально-политической, экономической и языковой историей Сардинии, как станет ясно, что ни о какой исторической изоляции Сардинии говорить нельзя. На самом деле языковая история Сардинии по своей сложности, пожалуй, не уступает регионам Балканского полуострова, и основной чертой языковых ситуаций, сменявших друг друга на острове в известный нам исторический период (с начала I тысячелетия до н.э.) является их *многокомпонентность*. Сардинский язык никогда не был *единственным* идиомом, бытовавшим на Сардинии, и, что особенно следует подчеркнуть, никогда не был *единым*. Хотя условия романизации острова нам не известны в деталях и выдвигаются различные гипотезы относительно особенностей сардинской латыни (см. ниже), на основе многочисленных исследований можно утверждать, что, как это наблюдается и в других регионах Романии, латынь, наложившись на разнородный этнический и языковой субстрат, в той или иной степени подверглась дифференциации. Различные формы разговорной латыни, а затем развившиеся на ее основе сардинские диалекты существовали и развивались в постоянном взаимодействии сначала с

“палеосардскими” наречиями (языками илиенсов, баларов и корсов) и языком карфагенян, затем с греческим, пизанским, генуэзским, каталанским, испанским, пьемонтским и, наконец, итальянским языком Нового времени. Это взаимодействие по-разному протекало в сфере устной и письменной речи, обусловливая гетерогенность дискурсов, в которых пересекались различные языковые традиции. Поскольку процессы взаимодействия разных ареалов имели свои особенности также в зависимости от ареала, результатом явилась чрезвычайная диалектная дробность Сардинии, не позволяющая манипулировать абстрактным понятием “(единого) сардинского языка”; отсюда проистекают и возникающие ныне трудности, связанные с построением единого литературного (стандартного) языка, приемлемого для всех сардинцев.

Небольшие размеры сардинского ареала (площадь острова составляет 24 тыс. км²) и его географическая изолированность могут исподволь внушить представление о Сардинии как об этнолингвистическом целом. Однако это целое может существовать лишь как цель, которую ставят перед собой деятели регионального движения, выступающие за языковое и культурное возрождение сардинского народа; в реальной истории Сардинии такой цельности, по-видимому, не существовало никогда.

По поводу этнолингвистической ситуации на Сардинии доримской эпохи единого мнения не существует. Современный исследователь Л. Соле (Sole 1990, 24–25) постулирует существование нурагической (от слова *nuraghe* – тип крепостного сооружения) цивилизации в 1800–238 г. до н.э., политico-административная целостность которой была нарушена в X в. финикийцами, а в VI–V вв. – карфагенянами. Также сардинский историк Э. Пуцулу говорит об этническом культурном и социальном единстве представителей средиземноморской расы, населявших Сардинию (Putzulu 1960, 13). Однако, по мнению другого историка, Р. Карты Распи, в начале первого тысячелетия до н.э. можно говорить о наличии на Сардинии двух цивилизаций – нурагической на севере и шарданской на юге (Carta Raspi 1950, 25). Это мнение в целом поддерживается и российским этнологом Н.А. Красновской, в работах которой прослеживается динамика этнической ситуации доримского и послеримского периодов (Красновская 1986, 1991). Сколько бы ни были спорными гипотезы об этнических связях Сардинии с другими ареалами Средиземноморья, привлекает внимание ранняя датировка этнокультурного дуализма острова (традиционно выражаемого противопоставлением *caro di sopra* ‘верхней оконечности’ и *caro di sotto* ‘нижней оконечности’), проявившаяся затем и в языке и сохранившаяся до наших дней.

Деление острова на северную и южную половину, подтверждавшееся и современными диалектологическими исследованиями, пере-

крыается другим делением, не менее, а может быть, и более важным в лингвокультурном отношении. Это деление на горную часть острова (центрально-восточный ареал, горный массив Дженнардженту) и прибрежные и равнинные районы. Именно в горах сосредоточились племена илиенсов, баларов и корсов, оттесненные туда племенем шардана, предположительно малоазиатского происхождения; в период карфагенского господства, по мнению Н.А. Красновской, дуализм сардинской цивилизации обозначился особенно резко: пастушеский мир горной части острова vs. карфагенская цивилизация в южной и западной его части (Красновская 1986, 49). Центрально-восточный ареал (историческая область Барбаджа) и поныне характеризуется как “одна из наиболее архаичных областей Европы” (Gavino 1969, 29). Именно в этой горной области сохранились те архаизмы, которые считаются отличительными особенностями сардинского языка, хотя они и отсутствуют в других его диалектах.

Романизация Сардинии началась в 238 г. до н.э. и продолжалась в течение семи веков до середины V в. н.э. К сожалению, от этого периода остались крайне скучные свидетельства, которые не позволяют представить в деталях процесс распространения латинского языка в географическом и социальном пространстве. Об интенсивности романизации можно судить только по результату: сардинский язык, подобно другим романским языкам, – это отнюдь не креолизованная латынь, а ее непосредственное продолжение, совокупность языковых систем, сформировавшихся в относительно спокойных социально-экономических условиях и сохранивших, хотя и в преображенном виде, основные грамматические категории и лексику языка-основы.

По мнению сардинского лингвиста А. Санны (Sanna 1957, 207), уже в период романизации наметились диалектные расхождения между северной и южной половиной острова, что обусловлено как различиями в этническом субстрате, так и более тесными связями юга Сардинии с Апеннинским полуостровом, которые способствовали более быстрому усвоению инноваций, шедших в основном из Южной Италии, считающейся центром иррадиации языковых изменений. Вместе с тем распространено мнение о единстве сардинской латыни, сохранявшемся и в Средние века до начала генуэзско-пизанского влияния. Так, другой сардинский лингвист М. Питтау считает, что романизация была одинаково интенсивной и одновременной во всех частях (Pittau 1958, 72), в том числе и в центрально-восточной зоне. В противоположность ему А. Санна (Sanna 1957, 21) выдвинул тезис о поздней романизации Барбаджи, не ранее VI в. н.э.; она явилась результатом обращения в христианство жителей этой горной области, именуемых *barbaricini* (уменьшительная форма слова

barbarus ‘варвар’). Поздней романизацией и объясняется “чистота” местного языка, его архаичность. К этому следует добавить изолированность ареала, не испытавшего влияния других языков, получивших распространение на острове в Средние века (Gavino 1969, 33). По этой причине нуорский диалект как наиболее “исконный” и “чистый” ныне предстает в качестве эмблемы истинного сардинского языка (итал. *il vero sardo*) и берется за основу при создании языкового стандарта в его северном варианте.

Влияние субстратных языков на сардинскую латынь оказалось небольшим; более всего оно прослеживается в лексике, в грамматике оно ничтожно, а в фонетике, как и в иных романских ареалах, гипотетично и спорно. В частности, влиянием “нурагического” языка объясняются такие фонетические явления, как *-LL-* > *-dd-* (какуминальная или ретрофлексная гемината: *GABALLU* > *caddu* ‘лошадь’; *NULLA* > *nudda* ‘ничто’; однако тот же фонетический переход наблюдается в корсиканском, в диалектах южной Италии, в гасконских и астурийских говорах); *F-* > *H-* > *Ø* (*JPSU FILIU* > *su idzu* ‘сын’ с определенным артиклем; ср. с тем же явлением в испанских диалектах); произнесение гортанной смычки на месте *-k* и *-n-* и назализация гласных в некоторых диалектах южной Сардинии (примеры см. выше) и др. Субстратными лексемами признаются такие слова, как *tzeurra* ‘росток’, *matta* ‘растение, дерево’ (ср. исп. *mata* ‘заросли’), *neulake* ‘олеандр’, *bega* ‘плодородная равнина’ (ср. исп. *vega* с тем же значением), *sakkaiu* ‘годовалый ягненок’ и др. (Blasco Ferrer 1984, 11).

Влияние языка финикийцев и карфагенян ограничено немногочисленными лексемами; к пунизмам относят *tzikkiria* ‘разновидность укропа’, *tzippiri* ‘розмарин’, *mittsa* ‘источник’, *tzingorra* ‘молодой угорь’ и др. (Wagner 1950, 137; Blasco Ferrer 1984, 15).

Естественно предположить существование у древних жителей Сардинии двуязычия, причем в течение длительного времени, вплоть до I в. н.э., когда, по некоторым свидетельствам, исчезли последние говорящие на пунийском языке, однако сардинский язык не доставляет нам надежных свидетельств тесного взаимопроникновения латинской и местных языковых систем. Любопытным исключением является отмечаемое М.Л. Вагнером наличие уменьшительного префикса *tha-*, *ta-*, *thi-*, *ti-*, *thu-*, *tu-* (имеющего соответствия в берберском) не только в субстратной лексике, но и в некоторых словах, унаследованных от латыни: *thilikerta*, *thiligeria* ‘сарапча’ < *thi* + *LACERTA*; *thukru*, *tugu*, *thugulu*, *tzugu* ‘затылок’ < *thu* + *IUGULU*.

При описании генетической филиации романских языков большое (а зачастую и преувеличенное) значение придается влиянию не только субстратных языков, но и суперстратных, каковыми в

западной Романии явились германские, а в восточной Романии славянские языки. Сардинский резко отличается от всех других западнороманских языков тем, что не испытывал влияния германского суперстрата. Где-то в промежутке между 456 и 466 гг. Сардиния была захвачена вандалами, которые правили островом до 534 г.; в 551–553 гг. на нем побывали готы, в конце VI – начале VII в. – лангобарды, однако, кроме отдельных лексем, никаких следов германского нашествия в сардинском языке не осталось. Их отсутствие может быть объяснено как кратковременностью пребывания вандалов-арианцев на острове, так и отсутствием тесных связей между ними и местным населением.

В 534 г. Сардиния вошла в состав Восточной Римской империи; ее зависимость от Византии была большей частью номинальной, но в то же время она охраняла ее от притязаний со стороны Западной Римской империи и папского престола (Putzulu 1960, 85). В административном и церковном отношении Сардиния была присоединена к Африканской префектуре; это обстоятельство способствовало ее изоляции от Апеннинского полуострова и от Сицилии (Salvi 1975, 177). Завоевание арабами Сицилии в 827–878 гг. усилило изоляцию Сардинии от смежных ареалов и привело к еще большему ослаблению связей с Византией. В IX–X вв. архонт Сардинии стал фактически независимым от нее.

Византийское господство, равно как и греческие поселения на северо-востоке острова, существовавшие еще до прихода карфагенян, также не оставили значительных следов в сардинском языке. В качестве культурного наследия остались греческие наименования Сардинии: *Ichnussa* (от *ichnos* ‘след ноги’) и *Sandaliotin* (уменьшительная форма от *sandalion* ‘сандалия’), свидетельствующие о географических познаниях греков, хорошо представлявших себе очертания острова. Поскольку в византийскую эпоху греческий язык был официальным языком, языком канцелярии и церкви, то, естественно, в древних документах на латыни и сардинском обнаруживается большое количество византизмов – официальных терминов, титулов, религиозной лексики, семантико-синтаксических калек.

Основным результатом пребывания Сардинии в составе Византийской империи явилась ее фактическая независимость, приведшая к образованию на ее территории четырех независимых королевств, чаще называемых юдикатами, так как во главе их стоял номинально избиравшийся, а фактически получавший власть по наследству юдик (лат. *index* ‘судья’). Это юдикаты Торрес, или Логудоро, Галлура, Арборея и Кальяри. Процесс образования этих государств документально не засвидетельствован, но после 1000 г. появляются надежные сведения об их существовании.

Таким образом, до XI в. социально-политическая ситуация была такова, что сардинский язык развивался в изоляции от других романских языков и испытывал минимальное влияние языков нероманских. Подобная ситуация для Романии не типична. Независимым существованием четырех сардинских государств объясняется раннее возникновение письменной традиции на сардинском языке. Первый документ на северном (логудорском) диалекте относится к 1080–1085 гг., а первый документ на южном (кампиданском) диалекте, за-писаный греческими буквами, относится к 1089–1103 гг. Одновременно продолжала существовать и латинская письменная традиция, необходимая прежде всего для обеспечения внешних сношений сардинских государств. Взаимодействие этих двух письменных традиций, их преломление в конкретных текстах – интереснейшая тема исследований; еще в 30-х годах XX в. ей посвятил ряд исследований итальянский лингвист Б. Террачини. Как бы там ни было, Сардиния оказалась первой, после Франции, романской страной, в которой типичная для Средневековья ситуация диглоссии (латынь в письменной речи vs. сардинский язык в устной речи) изменилась в пользу народного языка, что является предметом особой гордости сардинских филологов (Pittau 1981, 350). Раз возникнув, письменная традиция на сардинском языке никогда более не прерывалась, однако, если в других романских странах народные языки, конкурируя с латынью, в конце концов вышли победителями, приобрели литературную норму и превратились в национальные языки, то сардинский язык вначале потеснил латынь, позиции которой ослабли в силу оторванности Сардинии от латинской культуры Средневековья, равно как и от византийской культуры (Putzulu 1960, 96), но в XI в. языковая ситуация претерпела коренные изменения, и, хотя сардинским продолжали пользоваться на письме, письменная традиция оказалась столь слабой и раздробленной, что единых норм литературного языка не было выработано вплоть до нашего времени.

Изменения в языковой ситуации явились результатом важных событий в политической и социально-экономической сфере. Сардиния, как и другие средиземноморские страны, в течение многих веков страдала от вторжений арабских войск. Сами по себе набеги арабов на судьбу сардинского языка никак не отразились; в нем имеется лишь незначительное количество арабизмов, причем часть из них попала в сардинский позже, через посредство испанского. Однако в 1015 г. арабам удалось завладеть всей Сардинией; сардинцам пришлось обратиться за помощью к генуэзцам и пизанцам, которые еще до этого развернули торговую деятельность на острове, и в следующем году арабы потерпели сокрушительное поражение на суше и на море от объединенных войск сардинцев, генуэзцев и пизанцев. С тех пор судьба Сардинии определяло взаимо-

действие трех основных политических сил; с одной стороны, это соперничавшие между собой морские республики Генуя и Пиза, с другой – папский престол, который преследовал собственные интересы, стремясь утвердить главенство церковной власти на Сардинии, и в этих целях использовал соперничество двух морских республик.

Поначалу папский престол поддерживал Пизу, которая к концу XII в. контролировала три из четырех юдикатов: Галлуру, Арборею и Кальяри, а юдикат Торрес пребывал под влиянием Генуи. Пиза и Генуя вели между собой постоянные войны, и, хотя после заключения мира в 1175 г. папский престол утвердил свободу торговли и равенство прав Пизы и Генуи на острове, все же Пиза продолжала контролировать большую часть территории; в 1258 г. юдикат Кальяри прекратил независимое существование, та же участь постигла и Галлуру в первой трети XIII в. Юдикат Арборея, сохраняя независимость, находился в союзнических отношениях с Пизой, а в юдикате Торрес влияние пизанцев было также велико.

“Пизанскому фактору” в сардинской лингвистике придается очень большое значение. По мнению современного исследователя В. Бласко Феррера (Blasco Ferrer 1984, 133–134), тосканизация кампиданского и галлурского ареалов (пизанцы были носителями разновидности тосканского диалекта) обусловила первичную диалектную дифференциацию Сардинии. В XII–XIII вв. под влиянием пизанского преобразился также язык Арбореи и северного Логудоро. Взаимодействием сардинских диалектов с пизанским объясняются, в частности, соноризация глухих смычных в интервокальной позиции, палатализация заднеязычных смычных перед передними гласными, многие явления морфосинтаксиса; лексические заимствования из пизанского присутствуют во всех тематических группах сардинской лексики.

Генуэзскому отводится важная роль в формировании сассарского диалекта на северо-западе Сардинии; в частности, генуэзским влиянием объясняется явление ротации: *aga* вместо *ala* ‘крыло’, *mera* вместо *mela* ‘яблоко’ (Wagner 1950, 261–262).

Как отмечает М.Л. Вагнер (Wagner 1950, 244), итальянское влияние прослеживается уже в первых письменных документах на сардинском языке, и с приходом пизанцев и генуэзцев оно лишь усилилось. Отныне присутствие итальянского языка на острове будет постоянным, его знание не исчезнет и в период арагонского, а затем испанского правления. Взаимодействие близкородственных языков проявилось в огромном количестве итальянismов, проникших в сардинскую лексику, в контаминации сардинских и итальянских лексем, сходных по звучанию и значению, в синтаксических кальках, осо-

бенно в письменной речи и речи образованных людей. Если в генетическом плане сардинские диалекты обнаруживают сходство с диалектами южной Италии, то пизанский и генуэзский суперстрат переориентировал Сардинию на центральную и северную Италию; Сардиния навсегда оказалась связанный культурно-языковыми узами с Апеннинским полуостровом.

Господству пизанцев и генуэзцев на Сардинии положил конец папский престол, который под давлением императора Фридриха II образовал королевство Сардиния и Корсики и предложил его королю Арагона в обмен на Сицилию. В 1297 г. Папа Бонифаций VIII присвоил королю Арагона Якову II звание адмирала и капитана-генерала Святой Церкви и наделил его титулом короля Сардинии и Корсики. Лишь 26 лет спустя, в 1323 г., началось завоевание Сардинии, которое завершил в 1478 г. Альфонс V Великодушный после битвы при Макомере, знаменовавшей окончательную потерю Сардинией своей независимости.

В результате этих событий языковая ситуация еще более осложнилась, ибо к ней добавился новый компонент – каталанский язык, язык арагонской королевской канцелярии. Он быстро распространялся в городах, и уже в 1337 г. на нем публиковались декреты новых правителей (Wagner 1950, 183).

Влияние каталанского языка на сардинские диалекты было не менее мощным, чем влияние итальянских диалектов. Оно подробно исследовано в трудах М.Л. Вагнера и В. Бласко Феррера. Помимо органов королевской администрации, распространению каталанского языка способствовала деятельность купцов и ремесленников, а также церкви; каталанский язык одинаково проникал во все социальные слои и во все говоры, включая говоры центральной Сардинии (Blasco Ferrer 1986, 72). В. Бласко Феррер, может быть, несколько преувеличивая роль каталанского языка, наделил его статусом “второго народного языка” сардинцев (Blasco Ferrer 1988, 885). Действительно, в лексике влияние каталанского велико, М.Л. Вагнер обнаружил около двух тысяч каталанизмов, однако морфосинтаксические явления, объясняемые каталанским влиянием, все же немногочисленны. В кампиданском диалекте это использование формы местоимения 2 л. ед. ч. *tui* вместо *te(ne)* в сочетании с предлогами: *apri biu a tui* ‘я видел тебя’ (ср. катал. *he vist a tu* и логудор. *appo bidu a tene*), относительного местоимения *kini* ‘кто, который’ (ср. катал. *quin*) вместо *ki* и некоторые другие явления. Большое значение с точки зрения общероманской типологии имеет наличие в кампиданском форме имперфекта конъюнктива на *-se* (по происхождению это латинский плюсквамперфект конъюнктива), в то время как в логудорском ей соответствует форма на *-ra* (латинский плюсквамперфект индикатива). Распространена точка зрения, что форма на *-se* стала употреб-

ляться в указанной функции под влиянием каталанского, в целом же морфологический и морфосинтаксический костяк сардинских диалектов сохранил свой первоначальный характер, несмотря на мощное влияние итальянского, каталанского, а затем и испанского в лексике.

Каталанский язык, оказав более сильное влияние на кампиданский, чем на логудорский, способствовал усилению языковой дифференциации острова, начало которой, как было отмечено выше, было положено в период господства Пизы и Генуи.

Позиции каталанского языка на Сардинии оказались очень устойчивыми. После объединения Кастилии и Арагона в 1479 г. официальным языком Сардинии стал испанский. Однако эдикты вице-королей начали публиковаться на испанском лишь в 1602 г. и только с 1643 г. официальные документы стали составляться исключительно на испанском (Wagner 1950, 185). На юге острова каталанский начал вытесняться испанским еще позже – в начале XVIII в. По мнению М.Л. Вагнера, каталанский не смог укорениться в Логудоро, однако Б. Бласко Феррер обнаружил ряд каталанизмов, специфических именно для логудорского: *issetta* < *aixeta* ‘кран винной бочки’, *nepi* < *net* ‘чистый’, *matessi* < *mateix* ‘тот же самый’, *kaente* < *calent* ‘теплый’ и др. (Blasco Ferrer 1988, 884).

Испанский язык, потеснив в свою очередь каталанский, также имел достаточно времени, чтобы прочно утвердиться в официальной и бытовой сфере. Однако декрет Филиппа II, запрещавший сардинским юношам учиться в итальянских университетах, был издан в 1572 г. все же на каталанском языке (Cossu 1968, 61). При Филиппе III (1598–1621) были основаны университеты в городах Кальяри и Сассари все с той же целью – переориентировать Сардинию в культурном отношении с Италии на Испанию. И хотя, как было отмечено выше, итальянская культурно-языковая традиция на острове никогда не исчезала полностью, все же период XIV – начала XVIII в. – это период глубокого взаимопроникновения местной и иберийской культур, нашедшего выражение в обильных лексических заимствованиях в сардинском языке и в существовании довольно значительной литературой традиции на испанском языке, в то время как литература на сардинском была представлена в основном поэзией невысокого уровня (Alziator 1954, 135). Влияние испанского языка на сардинский прослеживается только в лексике: *luego* ‘потом’, *feo* ‘некрасивый’, *iscramentare* (< *escarmentar*) ‘наказывать’ и многие другие лексемы. Основным каналом их распространения была религиозная поэзия и драматургия (Blasco Ferrer 1988, 888). Еще в XVIII в. испанский использовался в религиозной сфере – в проповедях и надгробных речах (Wagner 1950, 187). И хотя в 1764 г. в качестве официального на Сардинии был введен итальянский язык, испанский удерживал свои позиции вплоть до начала XIX в.

Война за испанское наследство и последовавшие затем перераспределения территорий по мирным договорам в очередной раз резко изменили политico-экономическую и культурно-языковую ориентацию Сардинии. По Уtrechtскому миру 1713 г. и Раштадтскому договору 1714 г. Сардиния вместе с другими испанскими владениями в Италии перешла к Австрийскому дому, однако австрийское господство длилось всего восемь лет. Хотя в 1717 г. испанский король Филипп V вновь оккупировал весь остров, по Лондонскому договору 1718 г. Испания уступила Сардинию Австрии, а та в свою очередь уступила ее Виктору Амедею II Савойскому в обмен на Сицилию. В 1720 г. Сардиния вместе с Савойским герцогством стала частью новообразованного Сардинского королевства со столицей в г. Турине (Пьемонт), а в 1861 г. вошла в состав объединенной Италии. Статус автономной области Сардиния получила только в 1948 г.

Любопытно, что контакты с Пьемонтом обусловили проникновение в сардинский язык небольшого числа североитальянских лексем, например, *drollu* ‘странный вида, неряшливый’, *lavandinu* ‘майка, раковина’, *balcone* с распространенным в северной Италии значением ‘окно’.

Итальянизация острова, начавшаяся в XVIII в., постепенно привела к упрощению социолингвистической ситуации; из устного и письменного узуса ушли латынь, каталанский и испанский языки, а распределение итальянского и сардинского по сферам общения представляет собой типичную ситуацию диглоссии: сардинские диалекты используются в быту и в традиционных сферах трудовой деятельности, а итальянский используется как в быту, так и во всех остальных сферах формального и неформального общения. Противоположность итальянского и сардинского – это также противоположность города и сельской местности (Blasco Fetter 1986, 56), однако даже в центральной Сардинии, в Нуоро, по свидетельству М. Питтау, четверть или даже треть населения не знает иностранного языка, кроме итальянского (Pittau 1972, 8). И устные, и письменные формы сардинской речи испытывают постоянное влияние итальянского языка, особенно в современных условиях, когда даже самые глухие уголки острова приобщаются к “мировой деревне”.

Сардинский язык, наряду с некоторыми другими романскими языками (фриульским, ладинским), относят к числу миноритарных языков, находящихся в стадии “разработки”. Имеется в виду, что пока эти языки не обладают единой литературной нормой, языковым стандартом, но цель языковой унификации уже поставлена и осуществляются практические шаги на пути к ее достижению. В данной статье нет места для подробного рассмотрения процесса

стандартизации сардинского языка; укажем лишь, что, пожалуй, нигде работа по стандартизации не наталкивается на столь значительные препятствия, как на Сардинии. И основная причина этому – изложенная выше (социо)лингвистическая история острова, основной итог которой – высокая степень языковой фрагментации в ареальном плане. Различия между многочисленными сардинскими идиомами значительны, они обусловлены как особенностями развития их внутренней структуры, так и разнородностью иноязычного влияния. Особенно остро стоит в сардинском языкоизнании проблема галлурского, бытующего на северо-востоке острова, и сассарского, распространенного на северо-западе. Они претерпели столь значительные изменения в результате интерференции с диалектами Италии (а также с корсиканским), что утеряли некоторые важные типологические черты, объединявшие их ранее с остальными сардинскими диалектами. В результате ставится под сомнение их принадлежность к сардинскому языку вообще, а тем самым остается неясным, должна ли распространяться на них общесардинская языковая норма, если таковая будет выработана в будущем. Однако целесообразность создания одного литературного языка для всей Сардинии также ставится под сомнение, несмотря на то что в сардинской культуре все-таки имела место “неформальная стандартизация” (Rindler Schjerve 1982, 276): имеется в виду поэтическая койне, основанная на логудорском диалекте и используемая в поэзии по всему острову. Кроме того, что этот так называемый *sardo illustre* функционально ограничен, высказывается мнение, что разработка на его (то есть логудорской) основе “сардинского национального языка” вызовет сопротивление носителей других диалектов и по существу будет означать “внутреннюю аккультурацию” сардинцев не-логудорцев (Lavinio 1979, 161). В настоящее время обозначились две позиций по данному вопросу: возможность и целесообразность стандартизации сардинского отвергается вовсе (Pittau 1991, 19) или предлагается сохранить традиционный дуализм Сардинии и кодифицировать два варианта – логудорский и кампиданский; последнюю точку зрения отстаивает в своих многочисленных работах В. Бласко Феррер. Такой подход представляется целесообразным не только с точки зрения пространственного варьирования сардинского языка, но и в аспекте традиционной стилистической прикрепленности этих двух вариантов; логудорский вариант распространен по всей Сардинии как язык устной и письменной поэзии, а кампиданский вариант употреблен в драматургии, а в последние десятилетия и в романной прозе (Sole 1990, 52).

Таким образом, если в результате деятельности сардинских филологов и политиков позиции сардинского языка будут укрепляться,

то на Сардинии сохранится в какой-то мере языковое разнообразие, однако следует учитывать, что в условиях современной цивилизации культурно-языковая полифония, столь характерная для Средневековья, хотя и стоит на повестке дня во многих странах Европы, до сих пор остается проблематичной.

ЛИТЕРАТУРА

- Красновская Н.А.* Происхождение и этническая история сардинцев. М., 1986.
- Красновская Н.А.* Этногенез и этническая история сардинцев: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1991.
- Alziator F.* Storia della letteratura di Sardegna. Cagliari, 1954.
- Blasco Ferrer E.* Storia linguistica della Sardegna. Tübingen, 1984.
- Blasco Ferrer E.* La lingua sarda contemporanea. Grammatica del logudorese e del campidanese. Norma e varietà dell'uso. Sintesi storica. Cagliari, 1986.
- Blasco Ferrer E.* Sardisch: Externe Sprachgeschichte // Lexikon der Romanistischen Linguistik. Bd. 4. Tübingen, 1988.
- Carta Raspi R.* Breve storia di Sardegna. Cagliari, 1950.
- Cossu N.* Il volgare in Sardegna e studi filologici sui testi. Cagliari, 1968.
- Gavino M.* La cultura solitaria. Tradizione e acculturazione nella Sardegna arcaica. Bologna, 1969.
- Lavinio C.* Aspetti e problemi sociolinguistici e glottodidattici nel dibattito sulla "lingua sarda" // I dialetti e le lingue delle minoranze di fronte all'italiano. Roma, 1979.
- Pittau M.* Studi sardi di linguistica e storia. Pisa, 1958.
- Pittau M.* Grammatica del sardo-nuorese, il più conservativo dei parlari neolatini. Bologna, 1972.
- Pittau M.* La lingua sarda – storia e dialetti // Logos semantikos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu 1921–1981. V. Berlin; New York; Madrid, 1981.
- Pittau M.* Grammatica della lingua sarda. Varietà logudorese. Sassari, 1991.
- Rindler Schjerve R.* Der Sprachenstreit in Sardinien und die Frage der Lingua sarda // Braga G., Monti Civelli E. (eds.). Linguistic problems and european unity. Milano, 1982.
- Salvi S.* Le lingue tagliate. Storia delle minoranze linguistiche in Italia. Milano, 1975.
- Sanna A.* Introduzione agli studi di linguistica sarda. Cagliari, 1957.
- Sole L.* Lingua e cultura in Sardegna. La situazione sociolinguistica. Milano, 1990.
- Spano G.* Ortografia sarda nazionale ossia grammatica della lingua logudorese paragonata all'italiana. Cagliari, 1840.

Лингвистический ракурс

Т.М. Николаева

(Россия)

ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ

I

1. В последние годы все увеличивается число исследований, посвященных происхождению языка и его ранней эволюции, – тема, еще недавно считавшаяся полузапретной или, во всяком случае, “дурного тона”. И все побеждающей в этом плане является идея, что именно потребность в передаче информации породила естественный язык, поскольку непосредственный контакт коммуникантов становился невозможным – расширялось пространство, а с ним и кругозор.

Известно также, что в советское время практически во всех газетах сообщалась одна и та же информация, поэтому региональные газеты практически были излишни, а разнообразие политических и социальных оценок исключалось. Не исследовались также ранее именно лингвотекстологические особенности газетного текста, то есть дистрибуция собственно лингвистических структур в пространстве текста и их взаимозависимость.

В настоящее время разнообразие типа газет воплощается не только в передаче информации в связи с полем известного/неизвестного, что давно отмечалось в лингвистике, но и с тем, что журналисты могут иметь разные установки на коммуникацию с читателем. Например, они и их постоянный читатель знают друг друга давно и создается семантическая пресуппозитивная прослойка, дающая дополнительную семантику текста. Возможен и вариант, когда читатель – новый человек, и его нужно заинтересовать непривычным ему газетным текстом.

Кроме того, в газете есть разные зоны: политика, культура, криминальные новости, экономика, медицинские и хозяйственные советы, реклама, объявления частного характера. Это коммуникативное различие также воплощается в пространстве текста по-разному: в заголовках, в введении цифровых и нелингвистических фактографических данных, в порядке слов и в самом порядке введения информации.

В случае русскоязычных газет необходимо понять, что газеты бывают диаспорические и основного государства.

Поэтому определять инновации можно по-разному – как отступление от фронтальной коммуникативной линии, регресс или стагнация, и как эволюционное продвижение.

Для нашего исследования были взяты газеты, рассчитанные на нейтрального читателя, который может быть любого возраста, любой профессии и любого места пребывания. Поэтому специально не рассматривались тексты газет с установкой на узкопрофессиональную и “высоколобую” группу вроде “Литературной газеты”. И наоборот, с другой стороны, – не рассматривались газеты с нарочито сенсационными сведениями на грани грубости и вульгарности вроде “Московского комсомольца” и под., а также газеты с очень ярко выраженной политической платформой.

Итак, исследовался текст следующих 8 газет:

- 1) “Известия”, 25 апреля 2001 г.
- 2) “Независимая газета”, 20 марта 2001 г.
- 3) “Сегодня”, 20 марта 2001 г.
- 4) “Коммерсантъ”, 20 марта 2001 г.
- 5) “Метро”, 12 апреля 2001 г.

Как видно, это российские газеты. Для сравнения были привлечены две русскоязычные газеты зарубежья.

6) “Русская мысль”, 22 марта 2001 г. Это газета, ориентирующаяся в основном на русских, проживающих во Франции.

7) “Восточный экспресс” (Германия), 21 марта – 3 апреля 2001 г. Текст этой немецкой газеты ориентируется уже не на русских, а на так называемых “этнических немцев”, остающихся русскоязычными и приехавших из советского или постсоветского пространства.

Для сравнения была привлечена и французская газета того же периода:

8) “Le monde”, 20 марта 2001 г. Здесь важно было понять, насколько относительное знание языка помогает понять аллюзии.

2. Предполагалось, что газетный текст преследует две коммуникативные цели при обращении к потенциальному читателю: а) заставить его прочитать ту или иную заметку, заинтересовав его; б) внушить ему некую редакционную установку в оценке тех или иных фактов. Разумеется, для нормальной коммуникации с читателем необходим информационный баланс этих двух установок.

Наиболее интересным для лингвотекстологического анализа показалось имеющееся во всех газетах без исключения кластерное сочетание следующих текстовых компонентов: **Заголовка, Подзаголовка, Аннотации-врезки и Абсолютного начала** текста статьи.

Как будет показано ниже, выяснилось, что собственно лингвистическое оформление этих компонентов кластера взаимообусловлено

и предопределено друг другом. Под лингвистическим оформлением понимается прежде всего порядок слов и наличие/отсутствие содержательных синтаксических элементов. А именно:

может быть представлена только одна часть речи (N или V, или Adv);

может быть представлена структура Adv + V + S;

может быть представлена структура Adv + S + V;

может быть представлена структура S + V.

Разумеется, все перечисленные структуры могут быть распространены любыми синтаксическими расширителями. Кроме того, оказалось небезразличным, какой тип обстоятельства представляет Adv – времени или места (или другой вариант из возможных).

Возвращаясь к проблеме информативной насыщенности, нужно сказать, что оптимальным решением мы считаем такое, когда читатель, ознакомившись с первыми частями кластера, захотел бы пропустить заметку в целом.

3. Рассмотрим представленные виды отдельных компонентов этого, как оказалось, необходимого для всех типов газет, содержательного кластера.

А. Заголовки

Как показал наш материал, Заголовки газетных материалов могут быть представлены следующими 5 типами¹:

1) Заголовки информационно полные

Албанские боевики могут войти в Скопье ("НГ"), Норильский никель начал игру на понижение ("Коммерсантъ"), Возможно ли включить Россию в мировое устройство? ("Русская мысль").

2) Заголовки информационно неполные

Лучше, чем у Березовского ("Известия"), Надо делиться ("Известия"), Уволены за разговорчивость ("Сегодня"), Подслушанные разговоры ("Метро").

3) Заголовки оценочного характера, заголовки-оценки

Этно, техно, занятно ("Известия"), И депутаты целы, и правительство сбито ("Русская мысль"), Начитались Достоевского ("Метро"), Неестественная госмонополия ("НГ"), Горькие будни прошлого ("Восточный экспресс").

4) Заголовки-цитаты из последующего текста

"Нам приказали совершить теракт" ("НГ"), Евгений Адамов: "Ядерный комплекс жив, хотя и перенес несколько ампутаций" ("НГ"), "Доктор, зуб болит" ("Восточный экспресс"), Рудольф Ру-

¹ Для облегчения чтения статьи на каждую ситуацию приводится лишь несколько примеров, а не все тексты данного типа.

дин: “*Моими кумирами были актеры МХАТа*” (“Восточный экспресс”).

5) Заголовки аллюзивного характера

Под аллюзивными заголовками мы понимаем такой вид текста, когда заголовок отсылает читателя к некоему “прецедентному тексту”, включая текстовые переклички самого широкого плана и включая общеизвестные паремии и расхожие фразы сегодняшнего дня². Подобные “инкорпорации” в текст фрагментов известного “чужого слова” исследовались лингвистами в последнее время основательно, в основном на материале разговорной речи и художественных текстов. Цель их введения – создать дополнительную смысловую строку, тем самым создавая особые смысловые связи между текстом и читателем. Например, см. ранее *Тень Грозного меня остановила* (о прекращении войны в Чечне Ельциным) – здесь содержится и намек на негативные коннотации, связанные с **Борисом** Годуновым, и совпадение Грозного царя и названия чеченской столицы. В целом же – ясно высказанное журналистом отношение к этой войне. Чужой текст может быть и простым показателем создаваемой социальной близости: мы свои, вы наш намек понимаете. На самом деле важно было бы проверить действенность и просто понятность подобных аллюзивных заголовков.

Жизнь стала лучше, жить стало тяжелее (“Известия”), *Их квартирный вопрос* (“Известия”), *Заклание “Тельца”* (“Сегодня”), *Движение штор не терпит суеты* (“Сегодня”), *Римейк во время чумы* (“Коммерсантъ”), *Неделя как неделя* (“Русская мысль”).

Естественно, что можно предположить наличие связи между типом газеты и предпочтаемым в ней типом заголовка.

“**Известия**” – старая газета, которую читают некие нейтральные и часто немолодые читатели. Поэтому именно в ней содержится наибольшее число аллюзивных заголовков, обращенных именно к “среднему” и старшему поколению. Так, см. в том же номере: *Разруха в головах и клозетах*; *Батюшка Рейн*; *Теорема Рема*; *Лицем местного разлива*; *Всяк сюда входящий*; *Реконкиста*.

“**Независимая газета**” рассчитана на открытого новому, либерально мыслящего и серьезного читателя. В ней доминируют заголовки двух планов – информационно полные: *ОПЕК снизил квоты на добычу нефти*; *ЦИК создает фонд “Свободные выборы”*; *Кучма начал приносить “kadровые жертвы”*; *Миноритарные акционеры поссорились с руководством крупнейшего банка страны*;

или заголовки-цитаты из последующего текста: *Станислав Ильясов: “Я не боюсь ответственности”*; *Владимир Егоров: “Ka-*

² Также – из соображений компактности основного текста – мы не считаем необходимым приводить “расшифровки” каждого аллюзивного заголовка.

лининград был, есть и будет российским”; Вячеслав Штыров: “Правительство пока не повернулось лицом к отечественному производителю” и т.д. Тем самым создается ощущение объективности и полноты информации.

“Сегодня” – газета еще более “новая” и более “либеральная”. В ней отчетливо проступает тенденция к заголовкам-оценкам: Уволены за разговорчивость; Политико-накопительные пенсии; Главный “информейкер” Кремля; Таможня пошла на попятный и т.д.

“Коммерсантъ” – газета для людей деловых, стремящихся к объективности. В ней преобладают заголовки информативно полные: Андре Агасси победил с подачи Пита Сампраса; Гарри Каспаров снова играет за FIDE; Valencia сдалась Валерию Карпину; Губернаторы разошлись с мэрами;

и заголовки-оценки: Умирать надо на рабочем месте; Банковское банкротство поправимо; Как “Газпром” продавал НТВ. Интересно, что в этой газете практически нет аллюзивных заголовков – важно не отпугнуть читателя нового типа??!

“Метро” – газета, рассчитанная на любого пассажира, она хочет быть легкой и доступной каждому. Заголовки должны быть “броксими”, но в то же время информативно неполными (чтобы читатель прочел дальше): Начитались Достоевского; “Птичка” стонет под хруст “Горбушки”; В России увеличили зряплату; Московскому телефонному справочнику “прозвонило” 100 лет; На кладбища бесплатно и с комфортом и т.д.

“Русская мысль” – газета, несколько сложная для анализа, так как ее авторами являются и живущие во Франции русские, и российские граждане, приславшие свои материалы. Однако ее установки – не принимать полностью “новояз” постсоветской России – перекликаются с общефранцузской тенденцией сохранять свой язык, избегая американских, англоязычных терминов. Кроме того, газета ориентируется на русских, стремящихся “сохранить” культуру и язык былого времени. Поэтому заголовки преобладают или информационно полные: Медленный старт кабинета Шарона; Пропавшие без вести или (вариант) “скрыто-оценочные”: Падение Парижа; Доверяй, но проверяй; В Россию вернулся бюджетный дефицит; Возможно ли включить Россию в мировое устройство?

Русскоязычная газета “Восточный экспресс”, как уже говорилось, рассчитана на “этнических немцев”, говорящих по-русски. Поэтому явная установка – не сохранять, а “приобретать”: полезные сведения, культурную информацию. Эта очень большая (48 страниц!) газета строится на оптимистическом тоне. Так, возможно просто позитивное сообщение или во всяком случае – не негативное: Реклама – это хорошо!; Учитель – актуальная профессия; Зерно в

колосьях наивысшей пробы; Заслуженный артист российских немцев; Весна снова зовет в горы; Туркмения возобновила поставки газа в Россию. Даже негативное сообщение подается как не-трагическое: Преступление, которого могло не быть. Именно в этой газете представлены заголовки-советы: С молодых ногтей немецким владей; Сделай свой выбор сам!

Б. Подзаголовки. Как можно предположить априори, именно подзаголовки должны были бы содержать оценку сообщаемого, связывать сообщаемое с прецедентными структурами (именно по такому принципу связывались подзаголовки и заголовки в названиях литератур классического периода). Однако цель заголовков – противоположная: скорее, разъяснительно-утвердительная. В подзаголовках нет ни аллюзий, ни цитат: они содержат либо полную информацию о сообщаемом событии, либо дополняют заголовок, создавая вместе с ним законченную синтаксическую структуру. Таким образом, можно выделить лишь три типа подзаголовков: 1) подзаголовок-сообщение; 2) подзаголовок-дополнение; 3) подзаголовок-оценка.

1) Подзаголовок-сообщение

Сегодня Президиум Госсовета обсудит реформу железных дорог ("Известия"); Банк направляет прибыль на развитие филиальной сети ("Известия"); Сергей Ястржембский будет отвечать за "исходящие" информационные потоки и за имидж российской власти за рубежом ("Сегодня"); Вынесен приговор по делу о взрыве жилого дома в Буйнакске ("Русская мысль"); На Пасху в Москве будут организованы дополнительные бесплатные маршруты автобусов до городских кладбищ, а также будет существенно ограничено движение автотранспорта ("Метро"); Председатель правительства Чечни призывает перевести в республику все структуры, занимающиеся ее восстановлением ("НГ"); Федеральная комиссия по гарантированию экспортных кредитов правительства Германии "Гермес" ("Hermes") готова и в дальнейшем предоставлять гарантии под кредиты, выделяемые Республике Молдова ("Восточный экспресс").

2) Подзаголовок-дополнение

В этом случае заголовок (З) и подзаголовок (П) образуют нечто вроде диалогического единства, где подзаголовок можно уподобить реплике античного хора, дополняющего событие:

З. Разбился вертолет погранвойск – П. В результате катастрофы трое военнослужащих погибли ("Сегодня"); З. "Нам приказали совершить теракт..." – П. По словам пассажирки злополучного Ту-154, об этом ей сказал террорист Сульнан Арсаев ("НГ"); З. "Газпром" запутался в своих медиапланах – П. Однако Рем Вяхирев не намерен расставаться с контролем над телекомпанией

НТВ (“НГ”)³; З. *Выжить на пенсию можно – П. Жить – нельзя; З. В поисках выхода... – П. Личное хозяйство – ненадежное подспорье; З. На Дону пенсионер вынужден работать – П. Но и в этом случае на одежду не хватает; З. Как свести концы с концами? – П. Ни компенсационные выплаты, ни аптечные льготы уже не помогают.*

З. НТВ опять не продается – П. Рем Вяхирев не велит (“Коммерсантъ”); З. Александр Любимов вернулся на ОРТ – П. Не уходя (“Коммерсантъ”); З. Пресс-служба президента поделилась информацией – П. С Сергеем Ястржембским (“Коммерсантъ”).

3) Подзаголовок-оценка

Этот вид текстового фрагмента находится где-то на грани между дополнением и сообщением.

З. Смогут ли коммунисты объединить два берега Днестра – П. Теоретические предпосылки для этого есть, но на практике такое вряд ли получится (“Независимая газета”); З. Жилье – мое – П. Все это время жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) в России реформировали с тем же успехом, что и сельское, – то есть никак (“Известия”); З. Красноярск готовится к ледниковому периоду – П. Ледоход в апреле приведет к небывалому затоплению (“Коммерсантъ”).

Классифицировать типы подзаголовков по газетам в данном случае нет необходимости. Совершенно очевидно, что выбор подзаголовков определяется типом заголовка: вместе они оставляют некую константную единицу информации, часто снабженную оценочной коннотацией. Если оценка в заголовке – подзаголовок как правило поясняющий, и наоборот. Точно так же объем подзаголовка определяется объемом заголовка.

Таково положение в российских газетах. Именно эта константность объема отсутствует в зарубежных русскоязычных газетах. В “Восточном экспрессе” подзаголовок часто бывает так велик, что его практически нельзя отличить от **Аннотации (А)**. Например, З. *Белорусские вузы борются с “липой” – П. (А?). В этом году правила поступления в вузы Белоруссии существенно изменились. Учебные заведения вправе сами разрабатывать порядок приема медалистов, вводить экзамен по иностранному языку и назначать плату за обучение. Изменен и порядок целевой подготовки специалистов* (“Восточный экспресс”). Однако объединить подзаголовок и аннотацию-врезку нельзя, поскольку в ряде газет бывает представлено и то и другое. Например, З. *Оружие второго сорта – П. Аме-*

³ Публикуемые здесь 4 связки заголовка и подзаголовка из “Независимой газеты” настолько информативны сами по себе, что, на наш взгляд, уничтожают желание читателя читать заметку целиком.

риканцы отказались от поставок современных эсминцев Тайваню – А. Правила политической игры в Америке предполагают, что где-то за сутки до принятия лидером важного решения о его содержании узнает вся нация ("Известия"); З. Умирать надо на рабочем месте – П. Принята концепция пенсионной реформы – А. Вчера в Белом доме на первом заседании Национального совета по пенсионной реформе при президенте под председательством Михаила Касьянова была принята концепция пенсионной реформы, разработанная Пенсионным фондом. Официально объявлено, что реформа начнется 1 января 2002 года. Однако реформа получилась странной: пенсии все равно будут распределяться, а не накапливаться ("Коммерсантъ").

Таким образом, газета располагает следующими возможностями: 1) заголовок + подзаголовок + аннотация (врезка), 2) заголовок + подзаголовок, 3) заголовок + аннотация (врезка).

В. Аннотации

Как уже говорилось, аннотации могут сочетаться с подзаголовками, могут прымывать непосредственно к заголовку⁴, но могут и отсутствовать. При этом они могут быть очень небольшими по объему и, напротив, по протяженности не уступать последующему тексту. Например, З. *Кем работать мне тогда?* – П. *Как выбрать вуз, чтобы через пять лет мне не остаться не у дел* – А. В апреле 2000 года эксперты Лаборатории социальных технологий попросили ответить 720 выпускников российских школ на вопрос... ("Известия"); З. *Сколько стоит мастерство* – П. *Стоит ли тратить деньги и силы на диплом MBA* – А. На Западе программы MBA (*Master of Business Administration*) называют "золотым билетом" в бизнес.

Пример достаточно большой аннотации: З. *Банку России грозят 15 суток* – П. *За валютный монополизм* – А. *Как стало известно "Ъ", вчера министр по антимонопольной политике Илья Южанов подписал приказ о возбуждении дела против Банка России. Его обвиняют в уклонении от выдачи лицензий на право торгов валютой и, как следствие, в ограничении конкуренции финансовых организаций. Это грозит ЦБ целым букетом неприятностей – от принудительного принятия порядка лицензирования валютных бирж до исправительных работ для глав его департамента*

⁴ См. сложное единство диалога (З.-П.) и А. в газете "Коммерсантъ": З. С. приветом из Багдада – П. Прилетел Геннадий Селезнев – А. Вчера спикер Госдумы России Геннадий Селезнев вернулся из Багдада. За последние десять лет он стал первым российским представителем столь высокого ранга, встретившимся с президентом Ирака Саддамом Хусейном. Западу это, разумеется, не понравится.

тов (“Коммерсантъ”). Однако самые большие аннотации представлены в немецкой газете “Восточный экспресс”. Например, З. *Осторожно, ворота закрываются – П. Землячество немцев из России реагирует на планы изменения приема российских немцев – А. В набирающей обороты дискуссии о грядущем законе об иммиграции (Zuwanderungsgesetz) то и дело мелькают сообщения об ужесточении правил приема переселенцев, требования об отмене “неоправданных привилегий”, которыми российские немцы якобы пользуются в процессе приема в Германию. Более того, по данным печати, правительственный комиссия по вопросам иммиграции намерена разработать и предложить на рассмотрение кабинета новые правила приема переселенцев. В этой связи председатель правления Землячества немцев из России Адольф Браун обратился к председателю комиссии Рите Зюссмут с письмом, в котором изложил позиции Землячества в этом вопросе. С разрешения А. Брауна печатаем его письмо с некоторыми сокращениями.* Напротив, в газете “Русская мысль”, также зарубежной, все аннотации-врезки очень небольшого размера.

Кроме того, как уже говорилось выше, границу между подзаголовком и аннотацией – в тех случаях, когда не представлены оба эти текста – определить бывает сложно. Например, З. *Начитались Достоевского? – А или П.? Два московских школьника задержаны за попытку убийства и ограбления пенсионерки, сообщили вчера в ГУВД столицы (“Метро”).*

4. Итак, все сказанное и продемонстрированное выше свидетельствует о том, что в настоящее время в газетных текстах (это же относится и к французской газете “Le monde”) возникает некий текст перед текстом, нечто вроде **авантекста**, который имеет определенную структуру как максимум трехчастную. Характерно, что из газет исчезает тот жанр, который ранее назывался *От редакции* или *Примечания редакции, По поводу...* и под.

Таким образом, основная и важная информация выносится в начало – подобно тому, как инверсия в предложении делает более важным и подчеркнутым именно начальный, вынесенный с конечной позиции член: *Печально я гляжу на наше поколенье...* Отмечалось, что именно интонационно нагруженное начало характерно для разговорной русской речи – в отличие от кодифицированного литературного устного языка. Как было показано выше на нескольких примерах, информативность этого авантекста бывает настолько самодостаточной, что собственно текст помещаемой ниже заметки желания читать уже не возникает. Газета из комбинации заголовки + тексты превращается в некое многомерное пространство с подчеркнутым (а графически весь авантекст обычно дается жирным и полужирным шрифтом) минитекстом, содержащим и основную суть

сообщения и (часто) отношение к нему редакции, и “протягивание руки” читателю в виде аллюзивных и на нечто намекающих заголовков (этим особенно отличается газета “Известия”).

Что же остается на долю самого помещаемого **текста**? В этом смысле задача журналистов становится трудной. Для нужд данного исследования мы специально исследовали четвертый текст газетного сообщения – **начала** заметок (Н). Эти начала могут быть действительно абсолютными началами по своей структуре, но могут непосредственно примыкать к предшествующему авантексту, иногда продолжая его не только содержательно, но и синтаксически. Важным является и такой параметр, как протяженность первых фраз текста. И именно здесь, на уровне текста, как мы покажем ниже, “новые” российские газеты отличаются от более консервативных и прежде всего – от газет зарубежья.

1. Начала, примыкающие к авантексту семантически

3. Надо делиться – П. Нефтяники недовольны расчетами Минфина – Н. Меры по обложению нефтяники должны были обсуждать на завтрашнем заседании правительства. Однако в повестку дня эти вопросы не включены (“Известия”); З. Албанские боевики могут войти в Скопье – П. Запад все еще не может понять, как реагировать на события в Македонии – Н. На шестой день вооруженных столкновений между албанскими сепаратистами и подразделениями македонских сил руководство Македонии решило прибегнуть к крайним мерам: объявить со вчерашнего дня комендантский час в городе Тетово, ставшем в последние дни эпицентром военных действий, мобилизовать резервистов сухопутных войск, а также выдвинуть жестокие обвинения в адрес НАТО (“НГ”).

2. Начала, раскрывающие содержание авантекста⁵

(Далее приводятся примеры из газеты “Известия”): З. Гусинский покинул Испанию – Н. Вчера стало известно, что российский медиа-магнат Владимир Гусинский вылетел из Испании в Гибралтар; З. В гостях у “Известий” – главный пожарный страны – Н. Вчера на “Прямой линии” в гостях у газеты “Известия” был начальник Государственной противопожарной службы МВД Евгений Серебренников; З. Губернатор Петербурга остыпенился – Н. Вчера губернатор Петербурга Владимир Яковлев стал доктором экономических наук...; З. Смирнов – знакомый и другой – Н. 24 апреля в овальном зале “Известий” открылась персональная выставка художника Игоря Смирнова; З. Сетевых мошенников остановили, но не нашли – Н. Вчера в пресс-центре газеты “Известия” представ-

⁵ Этот вариант комбинации авантекста и начала текста информационно представляется оптимальным.

вители инвестиционной компании “Метрополь” и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) подвели итоги разбирательства вокруг мошеннической сделки с акциями...

3. Начала, повторяющие информационно содержание авантекста⁶

3. Ошибка спецназа – П. Стюардесса Юлия Фомина погибла от огнестрельного ранения – Н. Стюардесса угнанного террористами авиалайнера ТУ-154 компании “Внуковские авиалинии” Юлия Фомина, похороненная вчера на Пыхтинском кладбище, погибла во время штурма самолета в аэропорту Медины при попытке открыть один из аварийных люков “от одиночного огнестрельного ранения в шею” (“Сегодня”); З. “Чудак” станет премьером – П. Будущий глава правительства завивает волосы и требует тотальных реформ – Н. Любитель тяжелого рока по кличке “Чудак” будет новым премьер-министром Японии вместо Иосиро Мори (“Известия”); П. Представители “Мемориала” утверждают, что под Ханкалом найдены тела людей, в разное время задержанных федералами – Н. История с массовым захоронением в дачном поселке “Здоровье” у базы федеральных войск в Ханкале получает все более скандальное развитие (“Сегодня”); З. Связник Хансена уехал? – П. Американцы подозревают, что пресс-атташе посольства России в США Владимир Фролов был шпионом – Н. Спустя примерно неделю после того, как бывший пресс-атташе российского посольства в США убыл в Москву, газета “Нью-Йорк Таймс” высказала со ссылкой на ФБР предположение, что “мистер Фролов является офицером СВР” и что “его внезапный отъезд несколько недель спустя после ареста сотрудника ФБР Роберта Хансена вызвал в Вашингтоне вопрос, а не был ли Фролов вовлечен в это дело” (“Сегодня”).

4. Начала абсолютные

3. Коммунизм и смерть – П. Прогулки по московскому Новодевичьему и киевскому Байкову кладбищу – Н. Обычаи поминания усопших на Руси трогательны и архаичны. В православной традиции дата смерти важнее даты рождения, и после смерти молебнами и поминанием отмечается только она (“Русская мысль”); З. Падение Парижа – П. Второй тур муниципальных выборов во Франции – Н. Чем, собственно, они так политически важны для страны в целом – эти муниципальные, местные, локальные выборы? (“Русская мысль”); З. Зерно в колосьях наивысшей пробы – Н. Журналисты нередко пытаются найти повод, своеобразное “оправдание” всему, что пишут. Если это информация, значит, должна

⁶ По нашему мнению, это самый неудачный вариант комбинации информации авантекста и текста.

быть веская причина. Например, фактические данные, которые еще не были известны общественности. Если репортаж – значит, нужно сыскать нечто такое, что привлечет читателя оригинальностью, а то и эпатажностью. Если очерк о человеке – значит, дата юбилейная или что-то в этом духе. Вот и на этот раз собирались поступить таким же образом. А потом рассудили: да почему же нужно искать повод, чтобы рассказать о человеке, который достоин того, чтобы о нем рассказали?! А посему, не отыскивая “официального повода” начинаем рассказ о Регинальде Александровиче Цильке, профессоре, докторе биологических наук, генетике-селекционере, ученом (“Восточный экспресс”); З. Лекарство от склероза – П. Рецензия на альманах “Диаспора” № 1 – Н. Русские водители парижских такси слыши когда-то самыми честными: они возвращали большие всего вещей, забытых пассажирами, которые иногда, кроме зонтиков и сумок, оставляют шоферу и нечто сверх того – свой мимолетный образ (“Русская мысль”); З. Возможно ли включить Россию в мировое устройство? – Н. Если возвратиться к Киевской Руси, то мы увидим ступень развития, принадлежащую к европейской “галактике”, которая тогда формировалась (“Русская мысль”). Примеры подобного рода, практически всегда характеризующие именно зарубежные газеты, легко умножить – наш материала этому способствует.

Как интерпретировать это различие? По нашему мнению, зарубежные газеты стремятся сохранить прежний стиль “вступления” в газетный текст, который сейчас кажется излишне эпическим. Параллельно же с этим они начинают вводить авантекст, который в этих газетах еще не сливаются в единое семантическое целое, порождающее еще при этом и суперсегментный “минитекст”, как это имеет место в газетах российских.

II

Все сказанное выше относилось к особенностям строения текста, в котором были выделены определенным образом взаимодействующие функциональные зоны. Но при этом не обращалось внимания на чисто лингвистическую специфику этих текстовых элементов. Между тем взаимодействие лингвистических структур с единицами текста также важно для исследования способов подачи информации. Как указывалось вначале, анализу подвергалось распределение в линейной последовательности семантико-синтаксических элементов – проще говоря, порядок членов предложения. В соответствии со сказанным выше, выявились возможные синтаксические структуры в указанных элементах текста: представлен только один член предложения: N или V, или Adv; представлена структура Adv +

V + S; представлена структура Adv + S + V; представлена структура S + V (с возможными расширителями). Важно было определить, имеет ли место некоторая логическая импликация – то есть, если есть структура А, то следует ожидать и структуру Б, или дистрибуция элементов остается свободной. Наконец, хотелось бы понять – в случае выявленных различий между типами газет, – чем именно могут быть обусловлены эти различия.

Первое, на чем хотелось бы остановиться, – это выявление общих особенностей синтаксического устройства авантекста и начала текста в российских газетах⁷.

Прежде всего – это доминирование **наречия времени** в начале синтаксической структуры – возможно Adv. temp. + V + S / Adv. temp. + S + V / Adv. temp. + O + S / Adv. temp. + V + O.

Например, “Известия”: *В мае Центризбирком представит президенту новую редакцию одного из главных избирательных законов – “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ”; Вчера был день памяти геноцида армян. Армяне всего мира поминали жертв турецкой резни 1915 года; Вчера в испанском городке Кастельон стартовал очередной турнир европейских чемпионов по мини-футболу...; В ночь на вторник по московскому времени с опережением графика завершились последние матчи первого раунда кубка Стэнли.*

“Метро”. *Во вторник вечером в квартиру на улице Корнейчука, где проживает 81-летняя женщина, ворвались одетые в черные маски подростки в возрасте 15 и 16 лет.*

“Сегодня”. *В понедельник на заседании согласительного совета групп и фракций парламента Украины глава комитета Верховной рады по оргпреступности и коррупции Юрий Кармазин сделал сенсационное заявление; Вчера в Верховном суде Дагестана был оглашен приговор по делу о взрыве жилого дома в Буйнакске 4 сентября 1999; Вчера состоялось заседание Национального совета по пенсионной реформе. Вице-премьер Валентина Матвиенко сообщила: реформа начнется с 2002 года; В начале года объединенный худрук “Табакерки” и МХАТа Олег Табаков озвучил одну из главных целей своей художественной программы – “театр по мере сил должен сам зарабатывать деньги”.*

“Независимая газета”. *Вчера хоронили бортпроводницу “Внуковских линий” Юлию Фомину, погибшую в минувшую пятницу при освобождении заложников самолета ТУ-154. Они погибли от оди-*

⁷ Разумеется, необходимо сказать сразу, что речь идет о тенденции, о ядерной части высказываний. Конечно, в газетах представлены и высказывания с иным порядком слов. Кроме того, мы не анализировали специально связь между синтаксисом текста и его тематикой.

ночного огнестрельного ранения в шею, сообщил в понедельник ИНТЕРФАКСУ прокурор Москвы Михаил Авдюков; В субботу были объявлены итоги очередного саммита организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), прошедшего в пятницу в Вене.

“Коммерсантъ”. В выходные два крупных российских города выбрали мэров: во главе Южно-Сахалинска остался Федор Сидоренко, а в Омске жители проголосовали за руководителя “Омскэнерго” Евгения Белова. В первом случае победа состоялась вопреки желанию губернатора и полпреда президента, а во втором – благодаря; Вчера председатель правления ОАО “Газпром” Рем Вяхирев неожиданно заявил, что в случае получения контроля над телекомпанией НТВ газовый концерн намерен оставить ее себе. Эти слова расходятся с прежней линией “Газпрома”: руководство концерна всегда уверяло, что собирается продать НТВ стратегическому иностранному инвестору.

Умножать подобные примеры можно практически бесконечно. Итак, первая особенность – **инициальное положение обстоятельства**.

Вторая особенность российских газет – часто встречающаяся инверсия, то есть структура V + S или O + V. Ряд примеров подобных структур можно увидеть и в перечисленных выше высказываниях с начальным обстоятельством времени. Однако они встречаются и не только в таких высказываниях.

“Известия”. Завершился десятый чемпионат России по волейболу; В Испании начался турнир лучших мини-футбольных клубов Европы.

“Сегодня”. Указом Владимира Путина в составе президентской администрации образуется информационное управление; В столицу зачастали циклоны; При заходе на посадку в аэропорту “Центральный” города Ульяновска вчера утром упал и полностью сгорел вертолет МИ-8 Федеральной пограничной службы России; В вооруженный конфликт в Македонии вовлекаются все новые силы и персонажи.

“Независимая газета”. Следующим этапом реформы избирательного законодательства должна стать подготовка избирательного кодекса; Эвенкию возглавит нефтяник; В Москве в Музее кино при анишлагах прошел фестиваль итальянского кино N.I.C.E. (New Italian Cinema Events); У России все еще остается шанс реализовать структурную реформу банковского сектора; Со страниц СМИ и экранов телевизоров сегодня не сходит обсуждение хода осуществления структурных реформ в экономике – энергетического, газового сектора и МПС; Татарских стариков спасают адресная социальная защита.

“Коммерсантъ”. Поводом для начала антимонопольного расследования в отношении ЦБ послужила жалоба Московской фон-

довой биржи (МФБ) о невозможности получить лицензию на биржевую деятельность на валютном рынке; В советские времена основной кузницей кадров для охраны высших кремлевских лиц была Высшая школа КГБ (сейчас – Академия ФСБ); Сообщение о создании информационного управления президента РФ с использованием “кадрового состава аппарата по обеспечению деятельности помощника президента РФ” (то есть сотрудников Сергея Ястребческого) передала в информагентства пресс-служба президента РФ; Каждую весну к жителям поселков Енисейского и Туруханского районов приезжают спасатели и рассказывают, что делать, если дом смоет с лица земли.

В каких именно фрагментах текста российских газет встречаются отмеченные выше особенности? Прежде всего – это Аннотации (А) и Начала (Н). Сами заголовки – в тех случаях, если это не цитаты, не аллюзии, и не информационно полные тексты, чаще всего бываюи представлены номинативными структурами – Н. “Известия”. Армянский баланс; Игра в поддавки; Шведская семья; Шумовая завеса; Лицей местного разлива; Комбинация “взлет”, комбинация “крест”.

“Сегодня”. Пожизненный компромисс; Балканский “Талибан”; Пионеры Буша; Благородные призраки.

“Метро”. Лакокрасочная увертюра весны; Подслушанные разговоры.

“Независимая газета”. Забытые успехи; Трансферты для инвестиций; Выбор для Украины; Старость с тощим кошельком; Нестественная госмонополия; Мини-кризис: несколько уроков.

“Коммерсантъ”. Коммуналка федерального масштаба; Мошенник мелкого калибра; Второстепенное кино.

Таким образом в российских газетах – в Подзаголовке или в Аннотации, или в Начале текста отмечается несомненная тенденция к компактному, “глобальному”, представлению события без его активного расчленения на тему и рему и без выделения топика. Инициальность наречия способствует этой компактности. Иначе говоря, это модель типа *В лесу родилась елочка*.

Однако необходимо заметить, что эти особенности характеризуют, как правило, основную часть газетного текста. Между тем в каждой газете и практически на каждой странице сбоку (или в виде специальной врезки) идут Новости, называемые иногда по-разному. В этой части газет порядок слов, как правило, прямой: “Известия”. Путин посетит Габон; Скотт Уодл, командир американской подводной лодки “Гринвилл”, признан виновным в гибели японского траулера; Вике-Фрейберга встретилась с Бушем и Пауэллом; (В ходе рабочего визита в США президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила...); Агенты ФБР арестовали в Сиэтле двух

граждан России; С Льюисом и Тайсоном Рахман биться не станет; Лефлер распродал награды ради хлеба насыщенного; Каспаров обыграл любителя за 100 тысяч фунтов; Ишматов хочет покинуть СКА досрочно, но его не отпускают и т.д. Такая же ситуация наблюдается и в других российских газетах.

Несмотря на разницу средства подачи информации, именно такую модель можно наблюдать и в текстах подачи Новостей в Российском ТВ. То есть – в начале кратко сообщаются основные новости с достаточно часто представленным порядком Adv. + V + ... Эта же модель может встречаться в предваряющем конкретное сообщение вводном слове телеведущего. В более конкретных репортажах корреспондентов чаще представлен прямой порядок.

Таким образом, в российских СМИ разного типа наблюдается одна и та же тенденция структурирования информации в сообщении. Вопрос о взаимовлиянии здесь остается открытым.

Иные синтаксические структуры наблюдаются в русскоязычных газетах Зарубежья.

В газете “Русская мысль” – по сравнению с российскими газетами – отмечаются следующие особенности:

1) В Заголовках, Подзаголовках и Аннотациях встречается больше **вопросительных предложений**. *Что есть и чего нет в чеченском плане Бориса Немцова?; Годится ли Арафат в качестве партнера по мирным переговорам?; Что в плане хорошо, а что спорно?; Как рождался Образ Остапа Бендера?* и т.д.

2) Структура Adv. + V/S + ... чаще начинается не с обстоятельствами времени, как в российских газетах, где особенно доминирует наречие вчера, а обстоятельство места. *В Женеве обсуждают права человека; В Татарии будут выдавать паспорта с дополнительными страницами; В Россию вернулся бюджетный дефицит; В российском руководстве нарастают разногласия по поводу концепции пенсионной реформы.*

3) В значительно большем объеме представлен **прямой порядок** слов, а не инверсионный. *Голосование по вотому недоверия правительству превратилось в бенефис Зюганова и посмешище над Грызловым; Партия власти “Единство”, так задорно поддержавшая большевиков в их иллюзиях сменить правительство, 13 марта так же бойко заявила, что голосовать на эту тему... не будет во все; Микрокризис ставит под сомнение эффективность действий правительства; Операция “вотум недоверия” провалилась.*

4) В Началах гораздо больше, чем в российских газетах, представлены **обособленные обороты и сложные предложения**. *Чтобы ответить на этот вопрос, заданный мне Жаном Бешлером, надо довольно далеко углубиться в историю России; Размысливая над темой очередной колонки, я вдруг обнаружил, что не удосужился ни*

разу представить читателю, как собственно устроен этот термометр гласности – наш фонд; Жене Катаеву было всего четырнадцать с небольшим, когда в Одессе большевики провели свою революцию.

5) В кратких Хрониках часты номинативные конструкции (в российских газетах они чаще в Заголовках, а в Хрониках, как уже упоминалось, преобладает структура S + V). *Активность сторонников Березовского; Подготовка к судебной реформе; Покушение на депутата от "Единства".*

6) Встречаются элементы того, что можно назвать “нестандартным” стилем. *14 марта в зале заседаний Государственной думы случился анишлаг. Депутатов понабежало – страсть; 13 марта в Скопье, столице Македонии, 20 тыс. албанцев по призыву Албанской демократической партии провели демонстрацию “за мир и справедливость”, скандируя: “Мы не террористы”.*

Тем временем бои в пограничных районах продолжались с нарастающей интенсивностью.

Итак, основной особенностью можно считать преобладание порядка S + V. Трудно сказать, что за этим стоит – влияние французского порядка слов, где допускается меньше функциональных вариантов⁸, или сохранение “старого” русского порядка слов, где французское влияние в свою очередь не исключалось. Во всяком случае, очевидно, что сочетание инверсии с инициальным положением обстоятельства времени больше способствует эвиденциальности, сиюминутной включенности в события.

“Восточный Экспресс”, газета этнических немцев, демонстрирует:

1) в еще большей степени прямой порядок слов (хотя немецкий язык вполне допускает структуру Adv. + V...). Этот прямой порядок слов представлен и в Подзаголовках, и в Аннотациях, и в Началах. *Достижения немецких ученых были признаны во всем мире; Зубо-врачебная практика доктора Зигмунда Альте в Кельне существует уже четверть века. Опыт его работы подтверждает: полная интеграция немцев в Германии – вполне выполнимая задача; Зигмунд Альте владеет и немецким, и русским без акцента. Конечно, секрет успеха доктора Альте кроется не только в языковой интеграции. Все годы жизни в Германии он занимается любимым де-*

⁸ Вот, например, заголовки первых страниц французской газеты “ Le Monde”: *La gauche enlève Paris et Lyon à la droite mais lui cede quarante villes; Trente-sept voix ont scellé le désamour de Blois pour Jack lang; L'opposition se proclame “majoritaire en France”; Jacques Chirac se prépare à combattre l'inversion du calendrier de 2002; Lionel Jospain est contraint de tirer les leçons de la défaite de ses principaux ministres.*

лом...; Директор Омского государственного краеведческого музея (ОГИКМ) Петр Петрович Вибе изучает историю немцев в Сибири многие годы; Центр немецкой культуры города Энгельс оправдывает свое название; Выставки бывают разными. Само по себе экспонаты, схемы, фотографии не “заговорят”, если не вдохнуть в них жизнь, не наполнить их незримым, но одухотворяющим содержанием;

2) заголовки бывают не только вопросительными, но и восклицательными предложениями: *Как распорядиться недвижимостью в России?; Хотите, что бы в вашей жизни случился праздник души?; Как мы смотрели мультифильмы?; Добро пожаловать на нашу встречу!; Да здравствуют рюкзак, палатка и костер!*

“Нестандартного стиля” здесь больше, чем в “Русской мысли”, и он иногда даже кажется трогательно-пародийным. Например, *Вдали показалась родная сторонка. Знакомец осторожно подкатил к дому, где его уже поджидала жена* (знакомцем в очерке называется человек, в первой фразе введенный как *Есть у меня один знакомый... – Т.Н.*); *Нашим пенсионерам некогда скучать – они непременно найдут чем заняться для общего блага; У Петра Крепеля и других российских немцев, активно работающих в экуменистическом направлении, таких полезных занятий всегда хватает; ...итальянец готов совершить еще одну попытку пройти траперс Лхоцзе-Эверест, а армеец, похоже, снова будет топтать снег на склоне Лхоцзе, если, конечно, ему вновь не улыбнется удача.*

В газете есть специальная рубрика “*От сердца к сердцу*”, где в тексте регулярно встречается формула-стереотип: *Ищу тебя для жизни, смеха, любви. Вот примеры объявлений в этой рубрике:*

Молодой человек, 32–173, работаю, обеспечен. Хочу познакомиться с молодой леди до 34, которая сможет заполнить мою душевную пустоту. Ребенок не помеха; Мне нужен ты – единственный, любимый! Ирина 32–168–72, воспитываю двоих детей. Сыну 14 лет, дочери 10. Хочу познакомиться с мужчиной, с которым все печали обернулись бы радостями, ураган превратился бы в ласковый бриз, и чтобы в конце концов обрести душевный покой. Если тебе не старше 40 лет, и у тебя серьезные намерения, позвони мне.

Итак, рассмотрение фрагментов газетного текста, примыкающих к его началу, синтаксических структур этих фрагментов, а также отличия российских газет от русскоязычных газет зарубежья, с одной стороны, и различий собственно российских газет – с другой, приводит к некоторым, с относительной осторожностью формулируемым, выводам.

Несомненно, во всех современных газетах намечается тенденция к семантической нагруженности начала материала, созданию некоторого авантекста (в отличие от ранее наблюдавшегося посттекста).

Этот авантекст слагается – как максимум – из Заголовка, Подзаголовка, Аннотации-врезки и Начала основного текста.

Наблюдается тенденция к содержательному слиянию элементов авантекста – так, что создается как бы некий компактный минитекст, или текст в тексте. Таким образом текст информационно становится “многомерным”. Этой многомерности способствует и нередко встречающаяся аллюзивность Заголовков (правда, иногда газеты этим несколько злоупотребляют).

Синтаксически российские газеты отличает нагруженность начал этих фрагментов (Подзаголовок или Аннотация, или Начало) обстоятельствами (чаще – обстоятельством времени).

Второй синтаксической особенностью является тенденция строить элементы авантекста с инверсионным порядком, а элементы краткой Хроники – с прямым порядком.

Эти синтаксические особенности оказываются характерными и для современной российской манеры сообщения телевизионных Новостей – при этом инверсия более характерна для перечня новостей телеведущим, а прямой порядок свойствен, скорее, конкретным корреспондентам.

В зарубежных газетах наблюдается меньшая склонность к компактности авантекста (Начала часто развернуто повторяют уже сказанное). В Подзаголовках и Аннотациях больше представлен прямой порядок слов. В Заголовках встречается больше предложений вопросительных и восклицательных, в Началах – больше обособленных оборотов и сложных синтаксических структур. То есть создается впечатление большей растянутости при подаче информации, что скорее характерно для текстов художественной литературы.

П. Сгалл

(Чехия)

ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК В ПОВСЕДНЕВНОМ РАЗГОВОРЕ

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Чешский язык существенно отличается от других славянских языков сложностью своей функциональной стратификации. По характеру внутреннего членения чешский национальный язык разнится, например, от русского или же словацкого языков, поскольку внутри его литературной нормы отсутствует целостный разговорный слой. Как уже показал Г. Кучера (Kučera 1955), для общения на чеш-

ском языке людей из разных регионов и слоев общества характерно варьирование, колебание между формами литературными и нелитературными – последние в соответствии с терминологией Б. Гавранека являются общечешскими. По мнению Б. Гавранека (Havránek 1934; 1942; 1955), общий чешский язык (*obecná čeština* – ОЧ) представляет собой языковое образование, не имеющее строгой локализации. Формы ОЧ служат живительным источником развития литературного чешского языка, они широко распространены, вытесняя формы местных диалектов. Некоторые наиболее характерные особенности ОЧ ныне используются в неофициальном разговоре на большей части территории Чешской Республики (примерно 60–70%). ОЧ является целостным языковым образованием, “родным языком в собственном смысле этого слова” (Daneš 1997, 16) для носителей языка из Чехии и западной части Моравии, поэтому позиции этого идиома гораздо прочнее, чем, например, русского “просторечия”. Существенно выше его значимость в переходной зоне между литературным и нелитературным языком. Из сказанного следует, что “литературноцентризм”, о котором пишет Г.П. Нещименко (Нещименко 1999), в богемистике играет еще более негативную роль, чем в русистике. Это делает необходимой разработку проблемы стратификации чешского языка как единого целого, как языка национального или же, пользуясь более общим термином Г.П. Нещименко, как языка этнического.

Как показал уже П. Ивич (Ivić 1980), стратификация отдельных языков существенно отличается друг от друга. Из анализа и наблюдений Б. Гавранека следует, что в своей стратификации чешский язык продвинулся довольно далеко по пути от старого членения, прежде всего территориального, к новому – стилевому, функциональному. Таким образом, в чешском языке членение на литературный язык (точнее: литературную норму) и различные территориальные диалекты, отступающие под натиском литературной нормы, уже давно не является основой языковой ситуации. В повседневном разговоре в Чехии старые диалекты уступили свои позиции не литературному чешскому языку, а так называемому чешскому языку общему (т.е. ОЧ. – Прим. пер.). В настоящее время распределение отдельных языковых форм осуществляется прежде всего в соответствии с присущими им функциями. Речь идет о шкале, которую в упрощенном виде можно охарактеризовать следующим образом (имеются в виду прежде всего грамматические формы, а также фонологические явления, являющиеся более релевантными для специфической ситуации чешского языка, чем явления синтаксические и лексические):

- 1) формы очень книжного (или же официального, архаизированного) стиля (например, *tluki*, *posecch*, *švížný*, инфинитивы на *-ti*);

2) явления, имеющие слабо выраженную книжную окраску, используемые исключительно в литературном языке (в ОČ они не употребляются), например, *malý plamének, malého, bychom, lidmi, on, méně, mohou*;

3) нейтральный слой, общий для литературной нормы и ОČ (к нему относится абсолютное большинство окончаний, а также других грамматических и фонологических явлений, например, *hradem, matce, jarních, týžou, spítm, budu spát, mít*);

4) разговорные приметы, не являющиеся полностью литературными – они прочно укоренились в ОČ, функционируя в повседневном разговоре, если следовать классификации Я. Горецкого (Horecký 1981) в определенном смысле как стандартные, например, *bystre, lidma, ty města, dýl*;

5) формы ОČ, которые часто встречаются в чередовании с формами только литературными (*velkej, velkýho, von, malý města*);

6) “низший” слой ОČ (явно не литературный: *velkejma, voperovat, strejc, ouvoz*);

7) слова и формы грубые, вульгарные, используемые преимущественно с пейоративной окраской и пр.

Данная ситуация осложняется действием целого ряда других самых разнообразных факторов, к числу которых относятся прежде всего гиперкорректные ошибки, обусловленные недостаточно умельным стремлением изъясняться литературно – это такие формы, как *pracech* или же *dvěti*. Сюда же относятся и территориальные различия в использовании некоторых форм (*starý lidi, sed si, mlejn*), которые в Чехии относятся к слою “4”, однако на территории Моравии они имеют сниженную престижность.

Как видно из приведенной шкалы, функциональная стратификация чешского языка чрезвычайно широка. Сила позиций ОČ (см. в особенности слои “4” и “5”, из которых отдельные явления проникают в литературный узус) одновременно влечет за собой ослабление позиций литературного чешского языка, не имеющего для некоторых грамматических функций соответствующих стилистически нейтральных эквивалентов. Это метко подметил А. Стих (Stich 1981b). Школа и другие институции до сих пор настаивают на употреблении таких более или менее книжных форм как *malý, malého, bychom, lidmi* во всех письменных текстах и в устных высказываниях, находящихся за пределами книжного стиля. Литературный чешский язык сможет преодолеть этот свой недостаток лишь в том случае, если лингвисты и преподаватели будут способствовать тому, чтобы оппозиция “нелитературный – литературный” не воспринималась в черно-белом цвете и чтобы школа, редакции, консультации и т.д. обращали внимание носителей языка на существование широкой переходной зоны, использование которой в повседневном разговоре не

следует отвергать даже тогда, когда речь идет о (неофициальном) публичном общении, например, в диалогах по телевидению, по радио и пр.

Напомним, что в подобных публичных разговорах очень часто – это особенно характерно для Чехии – приметы литературного чешского языка и ОС чередуются друг с другом. Чаще всего речь идет о явлениях, относящихся как раз к упомянутой переходной зоне; ср.: *opatření, které snížují; tam byly neuvěřitelné bezpečnostní opatření; ty volná místa; politiku začaly dělat média sama*. Встречаются здесь и другие явления, например, *sem byl s mladejma básníky*. Аналогичные случаи встречаются и в письменной фиксации бесед, в мемуарной литературе и т.д. Подобные высказывания и тексты, как известно, были характерны для Яна Масарика, К. Лготака, В. Комарека, для переводчиков Л. и Р. Пеллар, а также для десятков и сотен других людей. Как недавно отметил автор и ведущий программ на ТВ Ян Краус (в интервью для *Magazín Dnes* 2001, č. 14), если кто-нибудь говорит литературно, это еще не означает автоматически, что он говорит лучше, скорее всего он лишь “прячется за языковым формализмом”. Чередование примет обоих идиомов весьма распространено в самых различных коммуникативных ситуациях, на которые не распространяются предписания официального или же классически регламентированного речевого поведения (что наиболее характерно для письменной речи). Следует отметить, что позиции литературного узуса в чешском языке слабее, чем в других славянских языках.

Формы ОС широко распространены также в беллетристике, драматургии, кинофильмах, популярной музыке и т.д. Сейчас уже излишне спорить по этому поводу с официальными взглядами, как это было, например, в пятидесятые годы, когда открыто выдвигалось требование, чтобы положительные герои театральных пьес неуклонно соблюдали литературную норму. Теперь уже стал общеизвестным тот факт, что, начиная с произведений К.М. Чапека-Хода (начало 20 века), в речи персонажей, в рассказах с *ich*-формой, в кинофильмах, в текстах поп-музыки, в диалогах Й. Восковца и Я. Вериха, Й. Сухого, а также в языке самых разнообразных прозаических текстов морфологические и фонетические приметы ОС появляются все чаще и чаще. Назовем лишь такие произведения, как “*Zbabělci*” и “*Příběh inženýra lidských duší*” Й. Шкворецкого, “*Taneční hodiny pro starší a pokročilé*” В. Грабала, “*Sestra*” И. Тополя, “*Kulatý svět*” И. Пекарковой, не говоря уже о ряде других произведений. Об использовании ОС в беллетристике еще в шестидесятые годы писали К. Гаузенблаз, П. Сталл и другие. Позже эту тему разрабатывал прежде всего А. Стих (Stich 1975, 1981a), однако поскольку А. Стих долгое время имел ограниченные возможности публико-

ваться под своим именем, ему приходилось прятать высказываемые им идеи либо под видом коллективного авторства “и коллектив”, либо под псевдонимом (см. библиографию. – *Прим. пер.*). Получила известность и статья С. Утешеного (*Utěšený* 1983). В последнее время появились и другие публикации, в особенности Гамельгаард (*Gammelgaard* 1997), Бермель (*Bermel* 2000), Маглионе (*Maglione*, в печати).

Проблематика функциональной стратификации подробно рассматривалась нами в монографии (см.: *Sgall, Hronek, Stich a Horecký* 1992a); ее сокращенный вариант, адресованный широкому кругу читателей, вышел также на чешском языке (*Sgall a Hronek* 1992b).

В рамках настоящей статьи мы коротко остановимся на истории данного вопроса (раздел 2), пытаясь проанализировать причины возникновения современной сложной ситуации чешского языка (раздел 3), сравнить ее с ситуацией в других славянских и неславянских языках (раздел 4) и, наконец, рассмотреть перспективы дальнейшего развития языковой ситуации (раздел 5).

2. ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Начиная с эпохи национального возрождения, в течение длительного времени преобладала убежденность в том, что одной из основных задач богемистов является защита литературного чешского языка от угрозы, исходившей со стороны немецкого языка. Стремление искоренить лексические германизмы, которых в ОČ в 19 веке было действительно великое множество, обычно связывают с пуризмом, целью которого было ограничение как влияния немецкого языка, так и использования нелитературных форм ОČ. По мере укрепления положения чешского языка эта позиция постепенно утрачивала свою мотивировку. В свое время уже В. Матезиус (*Mathesius* 1912) отмечал, что чрезмерный консерватизм может препятствовать культурному развитию. В свою очередь К. Рохер (*Rocher* 1924) ясно понимал, что требовать абсолютного предпочтения только “правильных” форм, означало бы переводить внимание с существенных вопросов культуры на малозначительные разрозненные факты. Решающее значение для характеристики ОČ имели публикации Б. Гавранека (*Havránek* 1934; 1936).

Вскоре после основания Пражского лингвистического кружка его члены, выступая против пуризма, начали резкую, но вместе с тем хорошо аргументированную полемику – см. в особенности сборник, подготовленный Б. Гавранеком и М. Вейнгартом в 1932 г. “*Spisovná čeština a jazyková kultura*”, где была опубликована соответствующая статья Б. Гавранека (*Havránek* 1932). При этом, как пока-

зал З. Старый (Starý 1995), и В. Матезиус (Mathesius 1934, а также ряд других его статей), и Б. Трнка выступали против прескриптивизма как такового, в то время как Б. Гавранек придавал особое значение точности кодификации литературной нормы. В свою очередь Р. Якобсон подвергал критическому анализу консерватизм журнала “*Naše řeč*”. После 1945 г. дискуссия была продолжена, причем в ее основу было положено предложенное Б. Гавранеком понимание “демократизации” литературной нормы. Свое влияние оказала и монография М. Вея (Vey 1946), в которой он описал морфологическую систему ОČ, сопоставив ее с французским языком повседневного общения. С очень радикальным и слишком поспешным проектом выступила в 1950 году группа преподавателей и студентов Карлова университета. Согласно этому проекту, наряду с упрощением правописания, следовало путем лучшего информирования общественности “постепенно уравнять в правах формы ОČ, включив их и в письменный язык”. Позднее об этом проекте напомнил П. Сгалл (Sgall 1963, 245). Разумеется, это отнюдь не был призыв к “ликвидации литературного чешского языка”, как, исказяя существа дела, тогда и несколько позже говорили некоторые богемисты. В действительности же речь шла об укреплении позиций литературного чешского языка, впрочем сделать это можно было не сразу, а путем постепенного, маленькими шагами, приближения к цели. В тогдашнем проекте приводились в качестве примера формы *mladej*, *mladýho*, *s dětma*, *můžou* и *abyste*. Следовало бы напомнить, что одна из этих форм – *můžou* – уже в шестидесятые годы была признана литературной. Что касается остальных четырех форм, то они относятся к тем явлениям переходной зоны, которые и сейчас чаще всего встречаются при чередовании кодов в разговоре, в письмах и пр.

Большое значение по-прежнему имели публикации зарубежных богемистов – прежде всего это статья А.Г. Широковой (Широкова 1954), в которой было показано, что ОČ можно (в отличие от диалектов) считать составной частью ядра чешского национального языка. Несколько позже Г. Кучера (Kučera 1955) поднял богемистические исследования на новый уровень, указав на необходимость и перспективность широкого эмпирического изучения языковой ситуации, в том числе и выявления относительной частотности некоторых явлений. Тем самым он открыл путь к пониманию сути реальной ситуации устного чешского языка, отказавшись при этом от априорных односторонних суждений. Им была установлена и градация частотности употребления в устной речи основных, фонологически обусловленных черт ОČ, приближающихся к литературной норме. В состав этой шкалы входят наиболее частотный тип *velkýho*, *mlíko* (84% нелитературных форм); почти столь же часто употребляются

velkej(ch) (83%); более редкими являются *mlejn* (60%), *vokno* (42%) и, наконец, *ouvoz* (22%). См. рецензию Ф. Данеша на эту публикацию (Daneš 1957). В своей радикальной статье, давшей повод для развертывания дискуссии в журнале "Slovo a slovesnost" в 1961–1963 гг., П. Сгалл (Сгалл 1960) вновь подчеркнул, что формы ОČ отнюдь не относятся к некоей "низкой" речи и что их не следует пуритически отмечать. Выступления в дискуссии В. Скалички, М. Елинека, К. Гаузенблаза и Я. Хлоупека способствовали лучшему пониманию ситуации, сложившейся с устным чешским языком. Так, в частности, ими были приведены и другие примеры признаков, которые, хотя и не являются полностью литературными, однако часто употребляются в повседневном общении. П. Новак отметил, что поскольку пользователи чешского языка по-разному понимают сложность его стратификации, их внимание зачастую неизбежно сосредоточивается на отборе языковых средств, необходимых для отдельных коммуникативных ситуаций, а отнюдь не на более важных вопросах самого содержания, а также культуры речи. Впрочем, заключительная часть дискуссии носила уже более деловой характер, чем ее бурное начало.

В этот же период началась дискуссия о внесении некоторых изменений в кодификацию, которые позволили бы уменьшить книжность литературной нормы. Так, Я. Беличу удалось добиться признания статуса литературности за местоименной формой *ho* в вин. и род. п. мужского и среднего рода (Bělič 1961), а позднее и за формой *něj* (Bělič 1977). Он же способствовал формированию нового взгляда на разговорный литературный слой в словарном составе чешского языка. По инициативе П. Сгалла (Sgall 1961) была признана правомерность форм *tně*, *tě*, в результате чего стало возможным отказаться от обязательного употребления форм *ti* и *tne*. Дальнейшие корректизы в кодификацию вносились постепенно, при издании таких пособий, как грамматики Б. Гавранека и А. Едлички или же Правил чешского правописания (так, в новейшее издание, предназначавшееся для школ, были внесены изменения и в морфологическую кодификацию). В этой же связи следует назвать большой и удачный словарь Ф. Данеша и Й. Филиппца (Daneš a Filipec J. 1978 г.), а также второй том академической Грамматики чешского языка (1986 г.). В результате этой деятельности в кодификацию литературной нормы постепенно были включены не только формы типа *reči*, *oři*, *mistička*, вокруг которых развернулась полемика в 1932 г., но и инфинитивы без *-i* (*psát*), формы типа *říct*, *motst*, *mýti*, *pracujou*, *hokejistí*, *dotazníkách*, *hudebníkách*, *bránou*, *částím*, *sole*, *Heineho*, *zobám*, *pomož*, *klapnul*, *obejmútí*, *ohrazení*, *zbyde*, *radší*, *aniž by* (некоторые из них несут помету разговорности). К сожалению, в их число вошли и гиперкорректные *bál se jej* и *oni sází*,

которые на большой части языковой территории воспринимаются как книжные, по сути, подчеркивая книжность литературной нормы.

В 1962 г. Я. Беличем (Bělič 1962) была предложена детально обоснованная программа изучения городской речи. В русле реализации этой программы были созданы монографии Р. Брабцовой (Brabcová 1973), М. Крчмовой (Krčmová 1981) и Б. Деймека (Dejmek 1976; 1981; 1987). Проведенные исследования показали, что ОС является основной манифестацией повседневной речи не только в Праге, но и в других городах Чехии (Брандис над Лабой, Пршелоуч, Градец Кралове). Что касается Брно, то и здесь, наряду с явлениями, общими для некоторых моравских интердиалектов, укрепляются и отдельные приметы, сходные с ОС (конечное *-ej*) – впрочем, другие черты, имеющиеся в ОС, вытесняются (протетическое *uo*-).

Идеи, заложенные в трудах М. Вея и Г. Кучеры, получили свое развитие в рамках другого исследовательского направления, которое не разрабатывалось в официальных лингвистических центрах. Речь идет о математической лингвистике, а также о работах, проводимых в Институте изучения чешского языка как иностранного при философском факультете Карлова университета. Суть использовавшейся в этом случае методики (ее изложение см. в статье: Sgall, Trnková 1963), сводилась к тому, что повседневная речь здесь изучалась не только с помощью анкетирования, но и непосредственно. Результаты этих исследований, известные по публикации К. Кравчиновой и Б. Беднаржовой (Kravčíšinová, Bednářová 1968), были использованы впоследствии в монографии Й. Гронека о ОС (Hronek 1972). Данные работы, хотя и внесли некоторые уточнения и дополнения в шкалу Г. Кучеры, однако в целом они подтвердили ее правильность. В частности, было, установлено, что при более подробной детализации наибольшую фреквенцию имеет тип *velkej* (69%), в то время как формы *velkejma*, *velkejch* (36%) встречаются реже, чем некоторые другие типы (*velký kolo* – 61%, *vod vokna* 59%, *velkýho* 58%, *mlejn* 45%, *mlíko* 39%). Была установлена частотность и таких основных морфологических явлений, как: *ved* 79%, *bysme* 75%, *dohrý auta* 69%, *dobrý stoly* 68%, *pánama* 53%, *dělaj* 43%, *dobrý hráči* 39%, *prosej* 28%, *oni sází* 13%. Подобным прямым, “на местности”, магнитофонным обследованием впоследствии могли заниматься, пожалуй, лишь зарубежные богемисты.

Полученные результаты в сущности подтверждают устойчивость основных особенностей стратификации чешского языка, т.е. колебания между двумя основными его разновидностями – см. в особенности обширные исследования, проводившиеся Л. Гаммер (Hammer 1986) и совсем недавно Маглионе.

Период, наступивший после 1968 г., не благоприятствовал развертыванию дальнейших дискуссий по этому поводу, поэтому и в официальной богемистике проблемы функциональной стратификации были отодвинуты на задний план. Постепенно стали забываться слова Б. Гавранека о том, что изучение ОС является долгом богемистики. Приятным исключением стала лишь конференция о языковой культуре, организованная в 1980 г. в Усти над Лабой, на которой А. Стих напомнил в своем выступлении о слабых сторонах литературного чешского языка. Он обратил внимание, как мы уже говорили выше, на те функции, для которых в нем отсутствуют стилистически нейтральные средства выражения (творит. мн.ч. представлен либо книжными формами *želatī, domy*, либо нелитературным окончанием *-ta*; в первом лице мн.ч. условного наклонения имеется выбор только между книжным *byschom* и нелитературным *byste*, аналогичные лакуны имеются и у согласованных форм в им. мн. м.р. одушевленных, а также в среднем роде). Из моравских богемистов проблемы стратификации чешского языка и его кодификации интересовали в особенности Ф. Копечного (Кореčný 1982), М. Елинека (Jelínek 1979 и более ранние работы), М. Комарека и других. В ряде своих статей этой проблеме касался и Я. Хлоупек.

Среди зарубежных работ важное значение имеют публикации Тоунсенда (Townsend 1981; 1990), показавшего, что и для иностранных студентов знакомство с ОС имеет гораздо большое значение, чем это обычно склонны думать чешские богемисты. Разностороннее и глубокое сопоставление ситуации в чешском языке повседневного общения со стратификацией других славянских языков проводит Г.П. Нещименко (Нещименко 1999). Обширную, оригинальную характеристику нелитературной лексики дал П. Оуржедник (Ouředník 1988). Важные наблюдения и оценки содержатся в работе Й. Сука (Suk 1995), Т. Диккенса (Dickins 1997), а также в публикациях ряда славистов, особенно Т. Бергера, Н. Бермеля, И. Симон, И. Левен-Турновцовой, И. Байер и других, на некоторых из них мы еще остановимся в последующих разделах.

Из опыта преподавания чешского языка как иностранного исходит Ф. Чермак в своих содержательных статьях (ср., например, Čermák 1987; 1993; 1996), в которых автор, в частности, говорит о необходимости внесения принципиальных изменений в теорию и методику школьного обучения, делается акцент и на важности широкого систематического изучения реального узуса. Поскольку для проведения подобных исследований был необходим большой материал, одновременно с ядром Чешского национального корпуса, включающего письменные тексты, создается хорошо прокомментированный корпус устного чешского языка. Подробный ана-

лиз материалов Корпуса содержится в статье Шонковой (Šonková 2000).

После ноябрьских событий 1989 г. дискуссии по этой проблематике проходят уже без каких бы то ни было ограничений, со всей широтой и интенсивностью, чего нельзя сказать о предшествующем периоде. У нас нет возможности останавливаться на этих дискуссиях, даже в самой краткой и упрощенной форме. Напомним лишь, что проблематику стратификации чешского языка и его кодификации разрабатывают восстановленный Пражский лингвистический круг (по поводу предложенной им анкеты см.: Dokulil M., Sgall P. 1992) и Лингвистическое объединение (см.: Hoffmannová 1998). Эти вопросы рассматриваются и на многочисленных конференциях, освещаются в сборниках (назовем лишь сборник "Spisovnost a nespisovnost dnes"). Большое значение имеют публикации, созданные или же вышедшие под редакцией покойной Д. Давидовой (Davidová 1995; 1996; 1997). В них показано, что в Оломоуце, Остраве и Брно, возможно, уже возникает некоторое подобие разговорного слоя литературного чешского языка, свободного от книжных форм, который используется (хотя еще вряд ли можно говорить о его преобладании) определенными кругами носителей языка при повседневном общении. В разговорном слое, до сих пор, впрочем, еще небольшом, есть и некоторые нелитературные приметы, причем как чисто моравские (ассимиляция по звонкости типа *váz neznám*, *su*, *chci*, *mět*, *předsedem*), так и общие с чешскими (например, *-te* в *bysme* / *býzme* / *bychme*, в некоторых случаях и *lidma*, *ženata*, *jarníma*); встречаются и формы, используемые на большой части территории Чехии (*seď*). Вполне возможно, что здесь в значительной степени имеют место те колебания, о которых говорит Г. Кучера, т.е. это чередование кодов.

В дискуссиях, развертывающихся на конференциях или же на страницах журналов, принимают участие, кроме уже названных выше, Ф. Данеш, Я. Корженский, Й. Краус, М. Грепл, И. Небеска, Я. Гоффманнова, О. Мюллерова, О. Уличный и многие другие. Мы не можем здесь анализировать отдельные точки зрения, отметим лишь, что абсолютное большинство дискутирующих не стремится к вытеснению ОČ из повседневного общения. Полностью осознается и то, что ОČ используется не только в Праге или же в западной половине территории распространения чешского языка. Немаловажно и то, что ОČ функционирует (с относительно небольшим вкраплением областных вариантных явлений, морфологических и лексических) в Градце Кралове, в Находе и Литомышили, в Иглаве и в Сvitavaх; некоторые сходные явления распространены на большой части Высоčiny. Нельзя отрицать и тот факт, что влияние ОČ различными путями проникает и в другие города Моравии.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТИФИКАЦИИ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

Как известно, ОČ на ранней фазе своего существования, т.е. уже в 17 веке, занимала положение, весьма близкое к разговорному слою литературного языка. В этом нас убеждает в особенности изучение обширной грамматики В. Розы (Rosa 1672). В значительной степени это правомерно и для последующего периода, вплоть до начала 19 века. Так, в грамматиках и печатных текстах того времени (в том числе и в Моравии) в большом количестве встречаются примеры типа *mladé knížata se sešly, velkejma, ouzkýho*. Если бы чешский язык после битвы на Белой горе не подвергся гнету германизации, то вполне возможно, что и дистанция между консервативным языком Кралицкой библии и изменившейся нормой стабилизировалась бы внутри литературного языка в качестве стилистической дифференциации. Создавая свою великую Грамматику, Й. Добровский задумывал ее как описание классического языка, не надеясь на то, что когда-нибудь литературный чешский язык сможет возродиться, что он вновь обретет все богатство коммуникативных функций. Некоторые черты ОČ он, впрочем, зафиксировал: так, например, он отмечает, что письменное ý в Чехии часто произносится как *ej*.

Когда последующее поколение, поколение Юнгмана, поставило перед собой задачу начать возрождение чешского языка, у него были все основания при решении проблемы обогащения словарного состава чешского языка опереться на классическую морфологию и фонетику, описание которых с такой тщательностью было осуществлено Й. Добровским. Для решения поставленной задачи необходимо было не только сохранить языковое единство чешских земель, но и, что для того времени было очень важно, сохранить единство со Словакией. Не следует забывать о том, что не будь такой цели, мы бы сейчас вряд ли бы произносили письменное ý как í, поскольку изменение старого ý на í, произошедшее в словацком языке, в чешских диалектах не отмечается нигде, кроме восточной Моравии.

Отрицательное отношение к формам языка повседневного общения со временем стало заходить так далеко, что это уже шло вразрез с описанием Й. Добровского (см. в особенности Корецкý 1982). Дело доходило то того, что не только предавалось забвению его толерантное отношение к устным формам типа *velkej mlejn*, но и игнорировался тот факт, что сочетание типа *celé města byly zničeny* Добровским квалифицировалось как литературное (и стилистически нейтральное). Еще Божена Немцова писала, например, *byly to kol'ata májové*, что, впрочем, не мешало пурристам и “защитникам

чешского языка” еще совсем недавно править при издании ее сочинений на *byla... májová*. Я. Гебауер в своей грамматике также допускал, хотя бы в виде периферийных явлений литературной нормы, формы типа *kolám*, *kolách*, *kolami*, которые более поздняя кодификация (а вместе с ней, разумеется, и школа) отвергла.

В упоминавшихся выше статьях В. Матезиус подчеркивал, что возврат к морфологии 16–17 веков не был единственным верным решением. В отличие от деятелей английской культуры прошлого представители чешского национального возрождения не осмелились сделать живой язык повседневного общения основой нового стандарта. Вместо этого они искусственно создали другую норму. На этот факт обращала внимание и А. Широкова (Широкова 1955). Позднее, прежде всего А. Стих (Stich 1987; 1993), подробно разъяснил, что для чешского национального возрождения имелась и другая возможность, позволявшая избежать подобного расшатывания нормы повседневной чешской речи, какое наблюдается в настоящее время.

4. СРАВНЕНИЕ С СИТУАЦИЕЙ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ

В течение длительного времени чешские богемисты сравнивали дифференциацию чешского языка как языка национального только с ситуацией в других славянских языках, например, восточноевропейских, т.е. с ситуацией, которая во всяком случае до сих пор в значительной степени соответствовала традиционным лингвистическим представлениям. Поэтому не случайно в ряде работ они брали за основу стратификацию, в которой на одном полюсе находился литературный язык, все более расширяющий сферу своего употребления и базирующийся на сильном центральном опорном интердиалекте (или каком-то другом подобном образовании, настолько близком к литературному языку, что оно могло более или менее непосредственно использоваться в качестве его разговорной формы); на другом полюсе находились постепенно нивелирующиеся диалекты.

Если исходить из подобной интерпретации, то литературная норма для подавляющего большинства грамматических функций располагает средствами, которые в центральной части данной общности используются и при нерегулируемом речевом поведении (см. по этому вопросу Нещименко 1999, 38, 44). Известно, однако, что чешский язык как язык этнический в подобной ситуации уже давно не находится: большая часть его региональных диалектов в повседневном нерегулируемом общении были оттеснены не литературной нормой, а другим образованием, т.е. ОС. Известно также, что в

литературной норме имеется целый ряд лакун, в которых недостает стилистически нейтральных средств выражения. Вследствие этого в нерегулируемой речи (а зачастую и в высказываниях регулируемых) на большей части территории используются языковые средства, оцениваемые как нелитературные.

Независимо от того, примем ли мы для русского языка сторону Е.А. Земской и других и соответственно будем говорить о двух слоях литературной нормы, т.е. кодифицированной и разговорной, или же, напротив, соглашаясь с Г.П. Нещименко (Нещименко 1999, 145), не будем рассматривать разговорный слой как самостоятельную (целостную) систему, мы, наверняка, поддержим предложение исследователей о необходимости широкого и глубокого изучения повседневной городской речи (городское просторечие), признания ее значимости. Напомним в этой связи слова Б. Гавранека о долге богемистики перед ОС.

Правомерным является и утверждение о том, что “смешанные” высказывания (т.е. балансирование на грани литературности) в настоящее время распространены не только в чешском, но и в русском, а также других славянских языках (см. Нещименко 1999, 54, 62). Однако вряд ли было бы точным рассматривать чешскую и русскую ситуации как параллельные или же приравнивать ОС к русскому просторечию, так как оно по имеющимся описаниям не имеет в своей морфологии столь ярко выраженный набор нелитературных средств, как ОС.

Как показывает Г.П. Нещименко (Там же: 188–202) на материале ситуации болгарского языка, и в этом языке в литературную разновидность проникают компоненты из других форм существования. Однако в болгарском языке этот идиом достаточно тесно связан с нерегулируемой речью, в нем нет тех уязвимых мест, которые мы видим в литературном чешском языке. Несмотря на то что славянские языки существенно различаются друг от друга, тем не менее, если судить по имеющимся публикациям, вряд ли можно ожидать, что для ситуации, например, словацкого или же польского языков, будут характерны те же трудности, с которыми сталкивается чешский язык и которые обусловлены слабостью литературной нормы и силой ОС. Как пишет В. Барнет (Barnet 1977), чешский язык в этом отношении несколько сходен со словенским языком, правда, пока что эта его точка зрения не получила полного подтверждения у специалистов по словенскому языку.

Думается, что в стратификации большинства славянских языков, в отличие от чешского, в переходной зоне, т.е. на грани литературности, имеются различные специфические особенности, однако их литературные нормы не несут на себе такое бремя книжности, как чешский литературный язык. В нерегулируемом использовании

этих языков до сих пор заметна значительная региональная дифференциация, причем центральное положение занимает литературный язык (это не исключает, впрочем, того, что соответствующий слой литературной нормы в них может быть не вполне идентичен по своей величине).

Стратификация чешского языка имеет много сходного с ситуацией во французском языке: характерный для него слой “устного французского языка”, подобно ОЧ, не только занимает центральное положение, имея большое территориальное распространение, но и является не литературным. Учитывая, что морфология французского языка не столь сложна, как чешская, и что правописание не имеет столь выраженного фонологического характера, носители языка воспринимают это только “как небрежное произношение” и т.п. В центральной части Франции серьезные социологические проблемы возникают в большей степени в правописании, чем в дифференциации повседневной речи. Иные трудности связаны с положением провансальского языка, а также других языков Франции.

В немецком и английском языках территориальные различия также играют свою роль, однако они проявляются и в литературной норме обоих языков. Различия между британским и американским английским языком или же между венским, берлинским, швабским и другими вариантами немецкого языка наблюдаются в таких функциональных слоях, как литературный и нелитературный. Иными словами, внутри отдельных региональных идиомов существует дифференциация, подобная той, которой характеризуется чешский язык. Следует, однако, признать, что среди лингвистов и среди носителей этих языков глубже укоренилось осознание необходимости толерантного подхода, наличия широких переходных зон, вносящих разнообразие в черно-белую картину “литературности” или же пуристической “правильности”.

5. ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Положение литературной нормы в чешском языке в настоящее время по-прежнему остается сложным. Это особенно заметно в Чехии, где в повседневном общении довольно часто наблюдаются отклонения от нее. Здесь живо ощущается восприятие (хотя это и не всегда высказывается напрямую) отдельных форм, на которых настаивают в школе и т.д., как книжных; ощущается и наличие функциональных лакун в морфологии литературного языка. Иногда высказывается мнение о том, что литературный язык обладает всеми средствами, необходимыми для выполнения полного набора функ-

ций (в этом духе высказывается, например, Т. Диккинс – см: Dickins 1997, 71, хотя в целом он удачно описывает членение чешского языка). Вместе с тем Я. Корженский справедливо отмечает, что вряд ли можно предъявлять к литературному языку требование, чтобы он полностью удовлетворял весь спектр коммуникативных потребностей общности, “речь идет лишь о тех из них, которые связаны с официальной коммуникацией и вообще с такой коммуникацией, которая способствует интеграции общности” (Kořenský 1997, 71). Я. Корженский сомневается, что когда-нибудь придет время “и мы все будем все время говорить литературно” (Там же).

Начиная с 19 в., ОČ в определенном отношении довольно существенно приблизилась к литературной норме. На протяжении жизни ряда поколений постепенно вышли из употребления сотни лексических германизмов; в настоящее время постепенно исчезают и *ouvozy*, *vejstavy* и *vorogy*, некогда использовавшиеся в ОČ. Окончания, характерные для ОČ, широко представлены (в отличие от диалектных), например, в комбинации с основами научных терминов (это было отмечено еще в дискуссии 60-х годов в журнале “*Slovo a slovesnost*”, что явилось в своем роде сюрпризом для ее участников). В свою очередь в литературном языке отходят на задний план некоторые книжные формы. Так, исчезли, например, формы типа *oří*, *mištička*; очень редко (за пределами книжного стиля) встречаются *psáti*, *mohu*, *kiříj*, местоимение среднего рода *je*. Все чаще высказывается верное мнение о том, что, помимо литературности (“правильности”), важны и функциональные различия между явлениями, относящимися к тому же самому или иному стилю, ситуации и пр. Постепенное сближение литературной нормы и ОČ стимулируется и влиянием художественной речи, весьма разнообразной по своим языковым особенностям.

Необходимо всемерно поддерживать тенденцию к дальнейшему сближению с ОČ, однако делать это надо не с помощью предписаний, а посредством более полного информирования общественности о языковой ситуации, объясняя при этом, как можно способствовать созданию полноценного разговорного слоя, столь необходимого для национального языка.

В своем развитии литературный чешский язык все больше будет сближаться с ОČ. Подчеркнем, что этот процесс будет сопровождаться как проникновением других, до сих пор нелитературных форм в литературную норму и ее кодификацию, так и вытеснением некоторых форм из ОČ (возможно, будут вытеснены лексемы типа *tlejn*, *vomluva* и формы *dobrejm*, точно так же, как ушли в прошлое *ouvozy*, *šrajtofle*, *štruzoky*). Большую роль в этом процессе играет языковое общественное мнение, которое хотя и возникает спонтанно, однако на него могут оказывать влияние лингвисты, используя

для этого школы, языковые консультации, редакции, издательства и т.д. Имеющиеся в литературном языке лакуны могут уменьшаться и в процессе самого языкового развития. Важно, однако, чтобы мы своей деятельностью этот процесс не замедляли, а, напротив, стимулировали бы его.

Как один из недостатков ОČ иногда отмечается наличие региональных различий между ее вариантами. Подобные различия имеются и в литературной норме, в целом они не мешают общению: речь идет не только о таких явлениях, как моравское *nazhledanou*, *k Máni*, но и о “восточных” вариантах, встречающихся в морфологии литературного языка (с различной территориальной представленностью) как *dej mně to, byls, tátus potkal*. Территориальные лексические дифференциации детально анализирует (и акцентирует) Б. Фрей (Frei 1997), проводя основную границу между этими явлениями на запад от Опавы, Оломоуца, Брно и Зноймо.

К числу важнейших факторов современного развития относится и то, что типичные носители ОČ, который является самым крупным идиомом, могут уже не испытывать чувства неловкости от того, что их “родным языком” пользуются не все чехи. В этом и заключается основное отличие носителей языка в Чехии или же Моравии. Для носителя из Чехии является нормой, что он говорит, как привык. И, напротив, на большей части Моравии дифференциация на меньшие территориальные зоны до сих пор является определяющим фактором. Впрочем, это лишь усиливает тягу к использованию литературных форм.

Направленность дальнейшего развития во многом будет зависеть от того, как мы это подробно пытались показать в обеих названных книгах (см.: Sgall и др. 1992а; б), сколь деятельны будут лингвисты и какую роль будет играть школа. Немаловажно также, будет ли проходить развитие в либеральном направлении, с учетом переходной стилевой зоны, или же, наоборот, возобладает стремление к “правильности” и литературности. В зависимости от этого формирование мощного разговорного слоя может быть или более коротким, или же, напротив, более длительным. Во всяком случае в чешском языке еще долго будут сохраняться формы не совсем литературные, но распространенные в повседневном общении типа *velkýho*, *velkéjta*, *vokno*. Однако по сравнению с настоящим временем эта переходная зона (быстрее или медленнее, больше или меньше) будет сужаться, оставляя все меньше места для различного рода колебаний. Стратификация чешского языка будет сближаться с ситуацией в языках западной Европы. В конечном итоге чешский язык избавится от тех своих недостатков, которые возникли в результате его ослабления в 17 и 18 веках.

ЛИТЕРАТУРА

- Нецименко Г.П.* Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков) // *Specimina philologiae slavicae*. Band 121. Verlag "Otto Sagner". München, 1999.
- Сгалл П.* Обыкновенно-разговорный чешский язык // ВЯ. 1960. № 2.
- Широкова А.Г.* Из истории развития литературного чешского языка. ВЯ. № 4. 1955.
- Barnet V.* Vztah komunikativní sféry a různotvaru jazyka v slovanských jazycích. // Slavia. 46. 1977.
- Bělič J.* Kdo zavřel okno? Otevří ho // Naše řeč. 44. 1961.
- Bělič J.* Ke zkoumání městské mluvy // Acta Universitatis Carolinae. Slavica Pragensia. 4. 1962.
- Bělič J.* Bez něj je to těžké // Naše řeč. 60. 1970.
- Bermel N.* Register variation and language standards in Czech. Lincorn Europa, 2000.
- Brabcová R.* Městská mluva v Brandýse nad Labem. Praha, 1973.
- Čermák F.* Relations of Spoken and Written Czech (With Special Reference to the Varying Degree of Acceptability of Spoken Elements in Written Language) // Wiener Slawistischer Almanach. B. 20. 1987.
- Čermák F.* Spoken Czech // Varieties in Czech. Studies in Czech Sociolinguistics, ed. Eva Eckert. Rodopi Amsterdam. 1993.
- Čermák F.* Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie // Spisovnost a nespisovnost dnes (ed. R. Šramek). Brno, 1996.
- Daneš F.* Americká studie o mluvené češtině // Naše řeč. 40. 1957.
- Daneš F.* Situace a celkový stav dnešní češtiny // Fr. Daneš a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia. Praha, 1997.
- Daneš F., Filipc J.* Slovník spisovné češtiny. Praha, 1978.
- Davidová D.* (red.) K diferenciaci současného mluveného jazyka. Universitas Ostraviensis, Facultas philosophica. Ostrava, 1995.
- Davidová D.* Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova. Scripta Facultatis philosophicae Universitatis Ostraviensis, č. 96. Ostrava, 1996.
- Davidová D., Bogoczová I., Fic K., Hubáček J., Chloupek J., Jandová E.* Mluvená čeština na Moravě. Spisy Filosofické fakulty Ostravské university, č. 106. Ostrava, 1997.
- Dejmek B.* Běžně mluvený jazyk (městská mluva) města Přelouče. Hradec Králové, 1971.
- Dejmek B.* Mluva nejstarší generace Hradce Králové, Hradec Králové, 1981.
- Dejmek B.* Běžně mluvený jazyk nejmladší generace Hradce Králové – hláskosloví a morfologie. Hradec Králové, 1987.
- Dickins T.* Linguistic varieties of Czech: Problems of the spoken language // XXI ročenka Kruhu moderních filologů. Red. J. Hlavsová, M. Procházka. Praha, 1997.
- Dokulil M., Sgall P.* Anketa Pražského lingvistického kroužku o jazykové kultuře // Naše řeč. 75. 1992.
- Frei B.J.* Tschechisch gründlich und systematisch 1. (Sagner) München. 1997.
- Gammelgaard K.* Spoken Czech in Literature. The case of Bondy, Hrabal, Placák and Topol. Universitas Osloensis. Oslo, 1997.
- Hammer L.* Code-switching in Colloquial Czech // J.L. Mey (ed.) Language and discourse: Test and protest. Amsterdam, 1986.
- Havránek B.* Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura // Spisovná čeština a jazyková kultura. 1932.
- Havránek B.* Nářečí česká // Československá vlastivěda. 3. Praha, 1934.

- Havránek B. Vývoj spisovného jazyka českého // Československá vlastivěda. Řada II. Spisovný jazyk český a slovenský. Praha, 1936.
- Havránek B. K funkčnímu rozvrstvení spisovného jazyka // Časopis pro moderní filologii 28, 1942.
- Hoffmannová J. Zápis z konference o výsledcích ankety o poslání Grémia pro otázky české jazykové praxe // Jazykovědné aktuality. 35. 1998.
- Horecký J. K teórii spisovného jazyka // Jazykovědný časopis. 32. 1981.
- Hronek J. Obecná čeština. UK. Praha, 1972.
- Ivić P. Zusammenfassung der Ergebnisse des internationalen Symposiums "Zur Theorie des Dialekts" // Dialekt und Dialektologie. Göschel J., Ivić P., Kehr K (red.). Wiesbaden, 1980.
- Jelínek M. Posuny v stylistické charakteristice jazykových prostředků a jejich kodifikace // Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. J. Kuchař (red.). Praha, 1979.
- Kopečný F. K dobrým počátkům české gramatické tradice // Wiener slawistischer Almanach. 9. 1982.
- Koženský F. O hodnotách pražského funkcionalismu // Slovo a slovesnost. 58. 1997.
- Kravčíšinová K., Bednářová B. Z výzkumu běžně mluvené češtiny // Acta Universitatis Carolinae. Slavica Pragensia. 10. 1968.
- Krčmová M. Běžně mluvený jazyk v Brně. Brno, 1981.
- Kučera H. Phonemic variations of spoke Czech. Slavic Word. Supplement to Word. 11. N 4.
- Maglione C. Nové uplatnění obecné češtiny v literatuře // Naše řeč. 84. 2001.
- Maglione C. Remarks on new research in everyday Czech // Journal of Slavic Linguistics (в печати).
- Mathesius V. O jazykové správnosti // Přehled. 10. 1912.
- Mathesius V. O cestu k jazykové kultuře // Čin. 6. 1934.
- Mluvnice češtiny. II. Tvarosloví. Praha, 1986.
- Ouředník P. Šmírbuch jazyka českého. Paříž, 1988.
- Rocher K. O správnosti češtiny // Střední škola. 31. 1924.
- Rosa W.J. Čechofečnost seu Grammatica linguae bohemicae. Praha, 1672.
- Sgall P. K tvarům *mně*, *mě* – *mi*, *mne* // Naše řeč. 44. 1961.
- Sgall P. K diskusi o obecné a spisovné češtině // Slovo a slovesnost. XXIV. 1963.
- Sgall P., Hronek J., Stich A. A Horecký J. Variation in language: Code switching in Czech as a challenge for sociolinguistics. Amsterdam (Benjamins) 1992a.
- Sgall P., Hronek J. Čeština bez příkras. H&H. Praha, 1992b.
- Sgall P., Trnková A. K metodám zkoumání běžně mluvené češtiny // Naše řeč. 46. 1963.
- Spisovnost a nespisovnost dnes (ed. R. Šrámek). Brno, 1996.
- Starý Z. Ve jménu funkce a intervence // UK. Praha, 1995.
- Stich A. K obecné češtině v současné krásné próze (Ota Pavel) // Naše řeč. 58. 1975.
- Stich A. (M. Nedvědová a kol.) Obecná čeština v překladu // Naše řeč. 64. 1981a.
- Stich A. (Kraus J., Kuchař J., Stich A., Šticha F.) Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny // Slovo a slovesnost. 42. 1981b.
- Stich A. On the beginnings of Modern Standard Czech // Probleme und Perspektiven der Satz und Textforschung. Explizite Beschreibung der Sprache und automatische Textbearbeitung. XIV. Matematicko-fyzikální fakulta UK. Praha, 1987.
- Stich A. On the beginnings of Modern Standard Czech // Chloupek J., Nekvapil J. (red.) Studies in Functional Stylistics. (John Benjamins) Amsterdam/Philadelphia, 1993.
- Suk J. Demokracie mateřštiny // Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. 1995.

- Šonková J. Mluvená čeština a korpusová lingvistika // Slovo a slovesnost. 61. 2000.
 Townsend C.E. Czech through Russian. Columbus, Ohio. 1981.
 Townsend C.E. A description of spoken Prague Czech. Columbus, Ohio 1990.
 Utěšený S. K obrazu běžné mluvy v dnešním uměleckém překladu. Naše řeč. 66.
 1983.
 Vey M. Morphologie du tchèque parlé. Paris 1946.

Перевод Г. Нецименко

М. Крчмова

(Чехия)

УЧАСТИЕ ЗВУКОВОГО УРОВНЯ ТЕКСТА В ФОРМИРОВАНИИ СТИЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ОРАТОРСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Благодаря стремительному развитию технических возможностей фиксации и передачи звука и изображения все мы в последние десятилетия являемся свидетелями значительного возрастания роли устных высказываний в коммуникации общества в целом. Стиль этих высказываний занимает важное место в репертуаре возможностей использования национального языка, поэтому он заслуживает гораздо большего внимания и при обобщающем описании, и при изучении его отдельных компонентов.

Принято считать, что комплексный стиль публичных устных высказываний входит в состав деловых стилей, хотя в нем (особенно в торжественной речи) присутствует и эстетическое начало. В отличие от остальных объективных стилей отбор и аранжировка языковых средств в нем определяется прежде всего намерением воздействовать на слушателя, в том числе и выбором устного кода (Krčmová 1997). Средства, с помощью которых можно выразить стилевую специфику коммуниката, имеются (как и в других функциональных стилях) на всех уровнях языковой системы, свою роль играют и такие факторы, как отбор и в особенности распределение тематических элементов. Изучение и описание этих средств не всегда осуществляется с достаточной полнотой и не во всем может опереться на сложившуюся живую традицию. Об инвенционном, диспозиционном, стилизационном уровне подготовки выступления и связанным с ним факторе элокуции, т.е. воспроизведения выступления как такового (в соответствии с рекомендациями практических реторик оратор готовился к нему весьма тщательно) говорится уже с ан-

тичности (см.: Kraus 1999). С учетом сложившейся традиции все эти компоненты, а в какой-то мере и их детальная систематизация, относятся к компетенции риторики, игравшей в прошлом важную роль в воспитании образованного человека. Кстати говоря, эту свою роль она должна была выполнять и сейчас.

В чешской традиции риторика входила в состав дидактически понимаемой науки о стилизации текста, ранее преимущественно письменного. В этой связи мы можем сослаться на соответствующие фрагменты из работы Й. Юнгмана "Slowesnost" (Jungmann 1846), на множество школьных пособий, на практически ориентированные книги об ораторском искусстве первой половины прошлого века (ср.: Hurt 1934). Наконец после 1945 г. к риторике относились и различные рекомендации в связи с подготовкой публичных устных выступлений, включая материалы внутреннего пользования, предназначавшиеся для лекторов системы политпросвещения или же организаций по интересам, работников государственных обрядовых служб и т.д. Об актуальности разработки этой проблематики свидетельствует публикация в Чехословакии весьма информативной "Риторики" Й. Мистрика (Mistrík 1980), а также работы Я. Губачека (Hubáček 1983). Пособия по этой тематике появляются и после 1990 г. – назовем небольшие публикации А. Лангера (Langer 1993), Я. Когоута (Kohout 1995), фундированную работу Э. Лотко (Lotko 1997) и обширный по охвату проблематики труд "Argumentace a umění komunikovat", в которых получает дальнейшее развитие чешская и европейская традиция разработки данной проблематики. Публикации, ставящие своей целью *public relation*, отдают дань западному подходу к проблеме. Оба типа информационных материалов востребуются читателем, что является дополнительным подтверждением высокой актуальности проблематики.

Совершенно очевидно, что традиционно выделяемые четыре компонента ораторского выступления (инвенция, диспозиция, стилизация, элокуция), рассматриваются во всех публикациях этого рода; другое дело – сколько внимания им действительно уделяется и какая мотивация лежит в основе соответствующих выступлений. Сказанное обусловлено действием ряда факторов, в частности, эволюцией характера устной публичной коммуникации во времени, его значимостью в обществе, а также эволюцией самих его создателей и адресатов.

Возможности, которыми располагает языкознание при описании процесса создания высказывания, а также направленность воспитания носителя языка оказывают свое влияние на этот процесс. Это проявляется в смещении акцента с одного из называемых выше компонентов на другой; бывает и так, что некоторые из них полностью выпадают из поля зрения. Особенно заметно это по эволюции

интереса к звуковому аспекту выступления. Старые риторики, как мы уже упоминали, этому вопросу внимание уделяли, правда, трактовали они его иначе, чем это делаем мы сегодня. Так, фаза “элокуции” означала не что иное, как выучить речь наизусть, причем так, чтобы ее можно было связно и понятно воспроизвести. Что касается техники речи, то внимание уделялось (см.: Quintilianus 1985) в основном ритму дыхания, голосу, членению речи, как мы говорим сейчас, фразировке, и, наконец, тройной цели выступления, т.е. “снискать расположение, убедить и воздействовать” (Там же, 539). При этом, вполне понятно, не стоял вопрос об артикуляции как таковой, а уж тем более об уровне ее культурности, т.е. литературности. О том, что основной целью звукового строя является передача определенной, вполне конкретной информации лишь молчаливо предполагалось. Еще Й. Юнгман требовал, чтобы “голос был звучным, красноречие и воспроизведение отличными” (Jungmann 1844, 161), не оговаривалось, однако, как всего этого можно было бы достигнуть, впрочем, в этом и не было особой нужды, так как устное публичное выступление даже самого хорошего оратора, в ту пору предназначалось очень маленькой аудитории. Таким образом, представление о культурном звучании чешской речи только лишь зарождалось, поэтому региональное произношение, если слушатель вообще осознавал, что это такое, воспринималось так же, как и в повседневной коммуникации, т.е. всего лишь как индивидуальная особенность говорящего.

Проблемой звуковой культуры наше общество начинает интересоваться гораздо позже и главным образом в связи со сценической речью (Durdík 1873), при этом больше всего внимания уделяется соблюдению литературной нормы в морфологии, а также лексической отшлифованности, эвфоничности, чем произношению как таковому. Только после I мировой войны, очевидно вследствие того, что чешский язык становится языком государственного управления и дипломатического протокола, в Чехии предпринимаются первые попытки описания его звуковой структуры с тем, чтобы получить теоретически обоснованное представление о культурном звучании языка. Это имело большое значение как для публичных ораторов, так и для театральной деятельности (Trávníček 1935, 1940). По поводу звуковой культуры чешского языка высказывался в 30-е годы и М. Вейнгарт в статье, опубликованной в сборнике “*Spisovná čeština a jazyková kultura*” (Weingart 1932). К сожалению, высказанные им мысли не получили полного признания. Публичное устное высказывание по-прежнему остается лишь явлением периферийным, региональным – общенациональная аудитория устных выступлений формируется только после появления радио и звукового кино, однако и тогда круг профессионалов, владеющих устной речью, продолжает

оставаться слишком узким. Остальные же – в меру своей профессии – лишь эпизодически выступают публично, поэтому им приходится тщательно готовиться к выступлениям, в лучшем случае они лишь правильно читают свои тексты. При недостатке основных сведений об артикуляционной базе и о реальном взаимоотношении звуков связной речи (описания чешской артикуляции только лишь начинают создаваться) продолжает бытовать мнение о том, что культурное произношение полностью находится под влиянием письменной речи и что во всех случаях в чешском языке можно провести параллель между буквами написанного слова и произносимыми звуками. Одновременно получают распространение инструкции по элементарному чтению типа “ударение всегда должно ставиться на предлоге” либо “если стоит точка, голос идет вниз, если знак вопроса – голос идет вверх”, хотя в связном публичном устном высказывании это далеко не всегда так.

К сожалению, даже публикация действительно добротного описания орфоэпических норм культурного чешского произношения (*Výslovnost spisovné češtiny I, II*) не возымела действия на уровень публичной устной практики. В данном труде, наряду с характеристикой произношения, приводятся и данные о его специфике в различных стилях; при характеристике литературного произношения категорически отвергается диалектное произношение (соответствующие примеры приведены лишь в качестве иллюстрации). Излагаемые здесь орфоэпические правила адресованы в основном профессиональным ораторам, тем не менее имеется также комментарий по поводу культивирования сценической речи.

Что касается непрофессионалов, то в отличие от ситуации до 1948 г., когда в сфере публичных выступлений участвовали люди с высоким уровнем образования, чувствовавшие себя полностью ответственными как за содержание, так и за форму своей речи, после 1948 г. публичная речевая активность стала доступной (а порой это даже предписывалось) для людей не подготовленных, “трудящихся”, которым поручалось руководить рабочими совещаниями и собраниями, проводить информации в сети политического просвещения о решениях пленумов, выступать в парламенте. Подобные ораторы выступают по радио и на зарождающемся телевидении. Их речевая деятельность оказывает влияние на слушателя, искажая порой его представление о том, как же должен звучать на самом деле культурный “публичный” чешский язык. Примечательно, что в выходивших в 70–80-е годы пособиях, предназначавшихся для массово-политической деятельности, все чаще появляются сведения о характере произношения. В некоторых из них, например, Я. Губачека и М. Догальской (Hubáček 1983; Dohalská-Zichová a kol. 1988), авторы уделяют внимание даже описанию органов речи, систематизации звуков, при-

чем делают они это в гораздо большем объеме, чем это нужно специалисту. Вполне возможно, что в ту пору, когда содержательная сторона речи лимитировалась различного рода тезисами, вынужденным повторением вполне определенных идей, эти детальные описания позволяли авторам пособий избежать навязанных на зубах формулировок. Переполненный фонетическими сведениями, схемами и таблицами, текст был достаточно обширен и профессионален, тем не менее благодаря использованию чешской терминологии он был и понятен. По сути, это было не наставление о том, какой должна быть звуковая сторона речи, а сообщение определенной информации.

Фактографическое изложение не могло и даже не ставило перед собой цели оказать влияние на реальное произношение. Формальную информацию теоретического характера о культурном произношении будущего публичного деятеля взрослый человек получал одновременно с автоматически приобретенным произношением повседневной жизни, т.е. на уровне коммуникативно успешного, однако все же частного общения. При этом он не имел представления о какой бы то ни было мотивации, не имел он и возможности получить необходимые навыки и опыт тренировки под руководством специалиста, когда внимание сосредоточивалось не только на голосовой стороне, но и на образовании звуков, произношении слов и сегментов высказывания, т.е. целых комплексов, о существовании которых он не знал, оставаясь в плену доминирующего влияния письменных текстов (как известно, в письменном тексте слова отчетливо отделены друг от друга).

Будем надеяться, что это время осталось позади, и что нынешний публичный деятель заинтересован в том, чтобы его выступления действительно были ораторскими, чтобы в них не повторялись заранее известные мысли, чтобы он подходил к выступлению творчески. В этой ситуации вновь обретают свою актуальность извечные принципы риторики об инвенции, диспозиции, стилизации и, конечно же, о элокуции. Тем не менее можно наблюдать, что и сейчас, невзирая на возрастающее значение устного слова в публичной жизни, фаза реализации, т.е. собственно воспроизведения текста, вновь отходит на задний план. И дело здесь не в недооценке этой фазы: причина коренится в том, что, к сожалению, как и раньше, далеко не все имеют необходимую подготовку для этого вида деятельности. Предположим, что будущий оратор осознает необходимость культивирования собственного произношения, однако осуществить это ему совсем не просто. В отличие от письменного текста, который можно дополнительно скорректировать, устная речь характеризуется гораздо более высоким темпом, поэтому осознание допущенной ошибки может находиться ниже порога внимания: он может иметь

иллюзии о своем собственном произношении. Вполне возможно, что выступающий еще в состоянии зарегистрировать случаи своего “эканья” (имеется в виду появление у некоторых выступающих после паузы звуков, подобных *e*, *é*) или же ничем не мотивированного повторения слогов и целых слов, однако более мелкие, хотя и не менее важные дефекты речи могут остаться им незамеченными. Повторное же обращение его внимания на ошибки в произношении, которые до сих пор ему не мешали (например, неправильная ассиляция, сокращение количества гласных *i* или *í*, чрезмерное упрощение групп согласных, нелитературная постановка ударения), может даже травмировать говорящего, нарушить плавность его речи. Иными словами, желая сделать лучше, мы можем лишь затруднить его коммуникацию. Отсутствие методики быстрого и надежного орфоэпического воспитания взрослого человека, зачастую имеет своим следствием то, что человек отказывается совершенствовать свое произношение, что вряд ли правильно.

Для поднятия уровня речевой культуры важно прежде всего установить сами границы литературности, предвидеть возможность появления тех или иных отклонений. Полезными могут оказаться новейшие публикации, теперь уже, к сожалению, трудно доступные – назовем прежде всего работу И. Гурковой (Húrková 1955). Уровень различных курсов риторики в этом отношении весьма неровный.

Для того, чтобы выступление оратора достигло своей цели, т.е. действительно увлекло слушателя какой-то идеей, необходимо всегда обращаться к вполне конкретному человеку, а отнюдь не к какой-то анонимной коллективной аудитории. Прослеживая в этом случае звуковую реализацию текста, мы можем убедиться в том, что именно произношение является тем средством, которое может эту иллюзию существенно укрепить.

В целом звуковая сторона речи выполняет единственную функцию – она является звуковым рядом, который с помощью артикуляции можно модифицировать таким образом, чтобы он состоял из отдельных номинационных компонентов языка, т.е., по сути, это способ реализации фонологически релевантных речевых компонентов (на уровне сегментов и суперсегментов). Следует, однако, учитывать, что эта общая функция реализуется в конкретных условиях коммуникативного события, тем самым при известном упрощении ее можно соотнести с типами этих ситуаций. В последнем случае звуковой компонент приобретает множество самых различных функций. Вполне естественно, что эти функции особенно очевидны в спонтанной устной коммуникации. Что же касается коммуникации публичной, то здесь они могут присутствовать или непреднамеренно, или же, напротив, преднамеренно, т.е. могут быть использованы

с определенным целевым назначением. Вместе с тем звуковая сторона высказывания может служить в известном смысле и коммуникативным барьером. Так, она может сделать непонятной или же искаженной сообщаемую деловую информацию. В случае информации прагматической она может способствовать ошибочной интерпретации отношения оратора к содержанию сообщения или же к самому адресату, может влиять на степень эмоциональности высказывания и т.д. Таким образом, как будет показано ниже, звуковой аспект становится важным фактором при создании публичного высказывания, а в конечной своей фазе и средством дифференциации стилей публичных высказываний.

Звуковая сторона коммуниката, независимо от содержания сообщения, может служить источником самой разнообразной информации. Так, прежде всего она сигнализирует специфику индивидуальности говорящего. В этом отношении показательны тембр его голоса, особенности артикуляции звуков и их сочетаний, а также просодика речи. Если автором высказывания является общеизвестное лицо, тогда подобные сигналы помогают определить степень важности сообщения, облегчают идентификацию говорящего, а в случае доверия к нему усиливают достоверность как сообщаемой им информации, так и высказываемых суждений. Если же, напротив, слушатели относятся к говорящему с предубеждением, тогда те же самые особенности произношения становятся объяснительным аргументом, почему они эту точку зрения отвергают. Таким образом, имеет значение не только личность выступающего, но и опыт и позиция слушателей.

В настоящее время выступления ораторов происходят в ситуации, когда слушатель благодаря средствам массовой информации имеет, по крайней мере, общее представление о том, каким должно быть публичное выступление. Оратор, по нашим представлениям, должен быть осведомлен о норме коммуникативного средства, используемого в рамках общности в целом, т.е. литературного языка, причем это касается и его произносительных норм. Так, например, его небрежность выдает уже то, как он произносит концы слов (“глотает окончания”), выпускает некоторые звуки (зачастую это *v*, *j*, *h* в положении между гласными или же носовые согласные в конце слов), упрощает консонантные группы, не соблюдает количество высоких вокалов, “тянет” гласные перед паузой, выпускает слоги внутри контактных слов и слов, заполняющих паузы, как он, наконец, искаражает произношение относительно часто употребляемых заимствований и т.д. Подобное произношение говорит о том, что оратор плохо подготовился к публичному устному выступлению, что он пренебрежительно относится к слушателю или же недопечивает уровень его образования. Все это создает коммуникатив-

ный барьер: речь выступающего трудно понять, для этого нужны определенные усилия. И, напротив, артикуляция слишком тщательная, с произнесением абсолютно всех согласных письменного текста, с подчеркнутым отделением слов или даже слогов друг от друга также создает впечатление о том, что оратор с пренебрежением относится к личности слушателя, поскольку подобным образом мы говорим с человеком, имеющим дефект слуха, не слишком внимательным или даже со сниженным восприятием.

Важное значение в этой связи имеют и просодические средства (тоновость, динамика звука, темп речи). Так, невыразительное использование тоновых и динамических возможностей, преувеличено громкая речь, не сообразующаяся с размерами помещения, а также техническими средствами, опосредующими общение, слишком быстрый темп речи, равно как и форсированное акцентирование, замедленный темп речи – все это не только свидетельствует о нелумении оратора говорить публично, но и мешает восприятию смысла его слов. Проблемой является и адекватность использования просодических средств, поскольку до сих пор отсутствует надежная информация об их использовании в конкретной ситуации.

Звук речи сигнализирует об **эмоциональном** состоянии, в котором находится оратор в момент речи, что весьма существенно для интерпретации ее смысла. Вполне естественно, что в публичном выступлении уместны лишь управляемые и стилизованные эмоции, причем степень их использования должна соответствовать как жанру публичного выступления, так и общепринятым для данного времени меркам – так, патетическая речь сейчас, как правило, воспринимается как неискренняя, т.е. вместо убеждения получается обратный эффект.

Регулярные фонетические явления сигнализируют об **отличии одного языка от другого**. В публичных выступлениях это используется лишь отчасти, например, при цитировании иностранных текстов. Учитывая, однако, что включение подобных цитат для некоторых слушателей, особенно на больших собраниях, может служить помехой, буквальное воспроизведение произношения иностранных слов по большей части свидетельствует скорее о стремлении выступающего блеснуть своими познаниями – последнее хотя и подчеркивает его индивидуальность, однако у слушателей это может вызвать негативные коннотации.

Звуковая сторона текста отражает и **региональные отличия**. Так, разнятся между собой чешское и моравское произношение. Внутри названных регионов даже неспециалист улавливает звуковые различия в речи людей из отдельных небольших регионов на западе и юге Чехии, Валахии или же Силезии. В первую очередь речь идет о дифференциях, основывающихся на специфике артику-

ляционной базы, т.е. специфическом характере координации в произношении звуков и их групп, что в свою очередь влияет и на их вариативность. Если человек находится в привычной ему среде, его произношение является повседневным, непризнаковым. Другое дело – восприятие местной речи нездешними людьми, особенно в средствах массовой информации. Так, в языковой ситуации, например, севера Моравии явно пражское произношение вызывает негативную реакцию, поскольку ассоциируется с политическим, экономическим и культурным прагоцентризмом медийных средств.

Звуковая структура является средством дифференциации отдельных **номинационных языковых единиц, слов и их форм** (говоря это, мы отвлекаемся как от индивидуальных, так и регулярных вариантов фонетической реализации звуков). В этом случае она становится составной частью языка, а не только речи – имеется в виду уровень обобщения конкретных звуков на фонологическом уровне. Использование вариантов слов (например, тип *létat – lítat*) или форм (*Pražané – Pražani*) выходит за пределы звуковой структуры речи, хотя для стиля публичного высказывания это существенно.

Звуковые сигналы важны для сегментации более или менее континуального речевого потока на смысловые единицы типа слов, ударные такты, тактовые группы (сегменты высказывания) и высказывания. Для этой цели могут быть использованы как средства на уровне звуков, в особенности использование гортанного взрыва (жесткого звукового начала) перед гласной (тип *přípravít *usnesení, míť* f úmyslu*), так и просодические средства: членение, обусловленное ударением, интонационный рисунок фрагментов высказывания, паузы. Анализ большого корпуса текстов (Křčmová 2000) показал, что дифференции между различными типами высказываний заключаются не в средней продолжительности ритмических единиц, т.е. ударенных тактах, а в их структуре: в высказываниях контактного типа под влиянием употребления контактных частиц в начале фонации возрастает удельный вес тактов с безударным началом; в тактах, образованных исконным предлогом и последующим именем, в публичных высказываниях ударение чаще ставится на имени, в то время как предлог – в отличие от мнения создателей орфоэпической кодификации – становится проклитикой. Представители старшего поколения склонны считать такую постановку ударения ошибкой, однако по большей части им это бросается в глаза в медийной коммуникации, где взаимосвязь “говорящий – слушающие” является более слабой.

Рельефные отличия обнаруживаются в членении **высших единиц** речи. Так, в диалоге средняя длина фрагментов высказывания в целом является постоянной, независимо от отношения между коммуникантами. Значительно удлиняются эти фрагменты в публич-

ных высказываниях, характеризующихся ослабленным контактом с адресатом (публичные высказывания формального характера). Что касается высказываний, представляющих собой обращение к коллективному слушателю с элементом настойчивости, то по длине фрагментов высказывания они приближаются к обычному диалогу.

Подводя итог рассмотрению проблемы влияния звукового уровня на стиль публичного высказывания, следует отметить, что ни один из его компонентов в конкретной ситуации не может быть однозначно интерпретирован. Мы могли бы здесь сослаться на рекомендации, содержащиеся в названных выше материалах о литературном произношении и напомнить, как они формулируются и что акцентируют. Мы могли бы обнаружить, что орфоэпических изменений здесь минимальное количество и что по-прежнему остается в силе, что основу публичного устного высказывания составляет соответствующий письменный текст. Во время его реализации говорящий сосредоточивает свое внимание лишь на собственном воспроизведении, т.е. артикуляции, темпе речи, громкости и тоновости речи, что в конечном итоге приводит к продуманному звуковому членению текста как целого.

Существенные изменения произносительных норм наблюдаются лишь у иностранных слов, причем это происходит параллельно изменению их написания. Можно задаться вопросом, идет ли речь о стабильности литературного языка, или же о том, что кодификация в орфоэпии расходится с речевой практикой? Любую, даже самую совершенную и разработанную кодификацию произношения можно реализовать в практике коммуникации только в том случае, если общность пользователей литературного языка согласится с тем, что приносительный аспект публичного высказывания является делом важным и что культивировать речь столь же важно, как культивировать письменный текст или же поведение человека вообще. Именно в этом смысле новое время создает новые условия, предъявляя к говорящему совершенно иные требования, чем это было в недавно минувшее время. Дело заключается не только в том, что благодаря достижениям технического прогресса существенно расширился круг публичных устных коммуникаторов, которые уже не следуют связывать с прямым контактом говорящего и слушающего, но что изменился характер таких высказываний: задача убедить слушателя в них решается не только на содержательном уровне, но и с помощью того, что говорящий воздействует на слушателя своей естественностью, спонтанностью языковой реакции. Именно это является для адресата сигналом того, что говорящий глубоко убежден в содержании и смысле высказывания, что он лично заинтересован в затронутой теме, проявляет доброжелательное отношение к аудитории. Потребность в культивировании произношения в подобных

условиях не только не исчезает, но, напротив, ощущается все сильнее, хотя ее реализация по сравнению с предшествующими периодами значительно усложнилась.

Звуковая сторона публичного высказывания делает понятными содержащиеся в нем мысли, она не отвлекает внимания слушателя, помогая ему уже тем, что ему не приходится додумывать слова, которые при нечетком произношении являются стертыми. Вместе с тем звуковая сторона является также средством презентации личности. В этом отношении представляется существенным, чтобы публичный оратор в звуковой структуре коммуниката проявил себя как личность культурная, осознающая свою ответственность перед слушателями. Помимо этого, культурное произношение является не-признаковым в региональном и социальном отношении, поэтому оно не создает нежелательных ассоциаций – так, например, в нем не содержится косвенной информации о том, что, хотя говорящий и обращается ко всем гражданам страны, однако в действительности его корни восходят к североморавскому пограничью или же, говоря от имени всех старых жителей Праги, он на самом деле (судя по его речи) лишь недавно туда переселился. Мало того, звуковая структура речи является важным эстетическим фактором, эффективно помогающим реализовать основную цель публичного высказывания – информирование, связанное с убеждением. Подчеркнем, что речь не идет о произношении, тождественном со сценическим, невзирая на то, что при обучении оратора какие-то приемы актерского обучения все же используются.

Отдельные типы устных публичных высказываний дифференцированы в жанровом отношении, и эта дифференциация предъявляет свои требования к качеству произношения: профессиональная и судебная речь, как и ранее, в большинстве своем остается в рамках контактных высказываний; духовное ораторское искусство (проповеди) также лишь в исключительных случаях обращено к общенациональной аудитории. Существенно возросло политическое ораторское искусство, однако жанры торжественного общения с характерной для них тщательно продуманной и отработанной структурой все более сужают сферу использования. В звуковом отношении различия наблюдаются прежде всего между высказываниями читаемыми, где внимание смешается на звуковое воспроизведение текста, и спонтанными или же лишь частично подготовленными, где говорящему приходится следить за содержанием, собственным произношением, осуществлять контакт со слушателями, поэтому общей технике порождения речи он уже не успевает уделять внимание. Несомненно, однако, общим принципом остается необходимость такого произношения, которое было бы полностью понятным. Что касается торжественных высказываний, а также высказываний обрядо-

вых, то здесь мы ожидаем услышать произношение изысканное; в высказывании специальном мы удовлетворимся произношением также литературным, однако в артикуляционном отношении менее отработанным, более нейтрального характера. При эмоциональной дискуссии отмечается произношение повседневное, упрощенное (разумеется, в рамках литературности). При сильной экспрессии может услышать и небрежное произношение. Слушая публичные высказывания, мы можем убедиться в том, что при значительной заинтересованности в тематике (заинтересованность двусторонняя, т.е. как говорящего, так и слушающего) нам приходится мириться и с произношением несколько дефектным. Сказанное отнюдь не означает, что можно всегда и везде забывать о необходимости тщательного произношения. Оно является неотъемлемой составной частью ораторского искусства, а в большинстве случаев и первейшим средством, позволяющим говорящему установить контакт с аудиторией.

ЛИТЕРАТУРА

- Argumentace a umění komunikovat. Jelínek M. – Švandova B. (eds.). Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity. Brno, 1999.
- Čmejrkova S. Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice. In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Šrámek R. (ed.). Brno, 1996.
- Daneš F. Kultura mluvených projevů // Kultura českého jazyka. Liberec, 1969.
- K diferenciaci současného mluveného jazyka. Davidová D. (ed.). Ostrava, 1995.
- Dohalská-Zichová a kol. Mluvím, mluvíš, mluvíme; mluvené slovo v teorii a praxi. Svoboda. Praha, 1988.
- Durdík J. Kallilogie čili o výslovnosti. Praha, 1873, переиздано: Olomouc, 1996.
- Findra J. Stavba a prednes rečnického prejemu. Bratislava, 1989.
- Frinta A. Novočeská výslovnost. Praha, 1909.
- Hála B. a kol. Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov českých. Praha, 1955.
- Hoffmannová J. Psaný a mluvený projev ve vzájemných citacích. // Stylistika I. Opole, 1992.
- Hubáček J. 1983.
- Húrková J. Česká výslovnostní norma. Scient. Praha, 1995.
- Hurt J. Rečnicitví v teorii a praksi. Praha, 1934.
- Jungmann J. Slowesnost aneb Nauka o wýmluwnosti básnické a řecké. Praha, 1846.
- Jungmann J. 1844.
- Kohout J. Rétorika. Praha, 1995.
- Kořenský J. Komunikační úspěšnost a spisovnost v různých typech jazykových komunikátů // Spisovnost a nespisovnost dnes. Šrámek R. (ed.). Brno, 1996.
- Kram J. Zarys kultury żywego słowa. Warszawa, 1995.
- Kraus J. Rétorika v evropské kultuře. Academia. Praha, 1998.
- Krčmová M. Proměny mluvené komunikace a vývoj ortoepické normy // Języki słowiańskie 1945–1995. Gajda (ed.). Opole, 1995.
- Krčmoyá M. Persnazivní funkce jako konstituující faktor projevu funkční styl rétorický // Čechová M. A kol.: Stylistika současné češtiny. Institut sociálních vztahů. Praha, 1997.

Krčmová M. Dnešní problémy kultury mluveného projevu // Karlík P. – Krčmová M. (eds): Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Moravská univerzita. Brno, 1998.

Krčmová M. Rétorika mezi tradicí, přítomností a budoucností // Odaloš P. (ed.): Všeobecné retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica Pedagogické fakulty Univerzity, 1999.

Krčmová M. Výslovnost ve veřejném projevu // Jelínek M. – Švandová B. (eds.): Argumentace a umění komunikovat. Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity. Brno, 1999.

Krčmová M. Zvuková stavba textů // Jandová E. (ed.): Tváře češtiny. Ostravská univerzita. Ostrava, 2000.

Langer A. Úspěch veřejné promluvy. Praha, 1993.

Lotko E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc, 1997.

Mistrík J. Rétorika. Bratislava, 1980.

Palková Z. Fonetika a fonologie češtiny. Karolinum... Praha, 1998.

Quintilianus M.F. Základy rétoriky. (чешское издание). Odeon. Praha, 1985.

Romportl M. A kol. Výslovnost spisovné češtiny II. Výslovnost slov cizích. Praha, 1978.

Travnicek F. Správná česká výslovnost. Brno, 1935.

Trávníček F. Správná česká výslovnost. Brno, 1940.

Weingart M. Zvuková kultura českého jazyka // Spisovná čeština a jazyková kultura. Havránek B. – Weingart M. (eds.). Praha, 1932.

Перевод Г. Нецименко

М. Дудок

(Словакия)

КОМПРОМИССНАЯ РЕПЛИКА В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ (на примере контактов между словацким и сербским языками)

В нашей статье мы рассмотрим решающую роль межкультурных контактов при заимствовании слов из языка L_1 в L_2 . Прежде всего нас интересует первая фаза этого процесса – так наз. компромиссная реплика, т.е. тот случай, когда заимствованные элементы “некоторое время стремятся сохранить свой неустойчивый лингвистический статус” (Филипович 1986, 43), или же когда заимствованные элементы сохраняют в себе некоторые языковые особенности L_1 .

В теории языковых контактов одним из важнейших вопросов является смешивание языков, проникновение и заимствование языковых элементов из L_1 в L_2 . Собственно, современные языки не существуют в “чистом” виде. Поэтому в современном языкознании уже

давно возник интерес к проблематике смешивания языков. При этом вскоре было отмечено, что на языковом пограничье и при языковом контакте языки часто заимствуют друг у друга лексические, но не грамматические элементы, поскольку языки редко изменяют грамматическую структуру под внешним воздействием (Раск 1818). Впрочем, в зависимости от характера языкового контакта и языковой ситуации могут быть затронуты также грамматические структуры, но значительнее и раньше всего изменяется лексический план языка. Это подтверждают и языковые высказывания двуязычных говорящих (билингвов), прежде всего в генетически близких языках и языке анклава, когда вследствие переключения языкового кода и смешения кодов происходят наиболее интенсивные процессы интерференции и трансференции в рамках языка и культуры (Дудок 1999).

Так, например, тесный контакт чешского и словацкого языков повлиял на возникновение в словацком конструкции с нарушением согласования при вежливой форме обращения на “вы” типа “*Bola by ste taka laskava*”, которая из повседневного разговорного языка активно проникает и в публичные высказывания официального характера (государственные и частные средства массовой информации и т.п.). Аналогичный случай – интерференция инфинитивных конструкций с формантом *da* в хорватском и сербском языках: *Ovdje/ovde nemotje pevati <...> Ovde nemotje da pevate*. Язык в анклаве представляет много других примеров заимствования не только лексических элементов, проникавших в язык первыми, но и элементов грамматических, фонологических, стилистических и т.д. (Дудок 1997), указывающих на параллельное существование переключения и смешивания кодов.

Дж.Б. Хамерс и М.Х.А. Бланк (1989, 173) схематически выразили переключение кодов как $L_x/L_y/L_x/L_y/L_x$, а смешивание кодов – как $L_x(L_xL_y)/L_x(L_yL_x)/L_x$ и т.д. В ситуации билингвизма существуют обе возможности. Но то, как реализуется и будет реализоваться в языке L_2 , т.е. в активном, воспринимающем языке частная языковая система из исходного языка L_1 , в значительной степени будет зависеть от характера и степени интенсивности языкового контакта. С другой стороны, свою роль играют также общие параметры трансференции и интерференции. Если в результате языкового контакта формируется билингвизм “элитный” (термин Т. Скутнабб, Кангас 1991) или искусственный (этот термин Б. Килхофера и С. Джонекейт вводит в словацкое языкознание Й. Штефаник 1994), то языковые реплики будут иметь иные прагмалингвистические, социолингвистические и “чисто” языковые характеристики, чем в ситуации билингвизма в двуязычных семьях, билингвизма анклавных носителей языка, а также в ситуации спонтанного или пограничного билингвизма.

На практическую и конкретную языковую реализацию иноязычных элементов существенное влияние оказывают также некоторые другие предпосылки, определяющие характер языкового контакта. Один из наиболее релевантных факторов – территориальный: длительное (более чем двухсотпятидесятилетнее) сосуществование сербохорватского и словацкого языков на территории современной Воеводины привело к более интенсивному заимствованию сербокроатизмов, балканализмов и ориентализмов в языке югославских словаков, чем в языке говорящих по-словацки людей в Словакии, которые не входят в столь тесный контакт с сербохорватским языком (теперь уже – сербским и хорватским). Кроме того, важную роль при заимствовании элементов из другого языка играют факторы социокультурного, культурного и экономического превосходства (Ивич 1996).

Приведем сначала пример смешивания языков в регионе, для которого традиционен смешанный характер (в югославской Воеводине): наряду с официальным сербским языком, на котором говорит большинство жителей, равноправно употребляется также словацкий:

Potom zvolili aj dvoch novych členov predsedníctva: O.U. a V.S., ktorý bude zároveň pokladníkom Budušky (из прессы).

Комментарий: *Buduška* – название рыбачьего союза. Исходное апеллятивное значение слова *babuška* в сербском языке – названия вида рыб (лат. *Carassius auratus gibelio*), известное также в македонском языке (в бассейне реки Брегалница). В этом контексте словацкий термин *karas zlaty europský*¹ был бы неуместен, поскольку в данной зоне названия этих рыб различаются как в сербском языке (*babuška* – *karas*), так и в словацком разговорном языке и местных словацких говорах (*babuska* – *karas/karáš*), что, таким образом, затрагивает не только денотативный план, но и более широкую область культуры.

Далее мы приводим пример начальной фазы искусственного билингвизма (отрывок из сочинения студентки, изучающей словацкий язык как иностранный; ее родной язык – сербский, и вне факультета она почти не говорит по-словацки):

Zvlašť som mala ráda pozerať na električky a autobusy zelených a červených farieb, ktoré prichádzali a odchádzali každú chvíľu (письменная работа).

Комментарий: интерференция сербского языка заметна тут на нескольких уровнях: на грамматическом (под влиянием сербской конструкции *tramvaji i autobusi..., koji su dolazili...* нарушено согласование), фонологическом и орфографическом (в сербском языке длительность гласных не имеет дистинктивной функции, поэтому респондент еще недостаточно понимает функцию долгих гласных в

тексте), в меньшей степени – на лексическом (поскольку речь здесь идет о свободном продуцировании текста, так что его у его автора достаточно коммуникативного пространства, чтобы избегать компромиссных реплик). На уровне выражения словацкая структура проявилась не слишком последовательно. В ментальной карте просматривается психическое содержание в виде (сербского) языкового кода, от которого автор не может избавиться из-за недостаточной языковой компетентности. В рамках лексической подсистемы при этом типе билингвизма проявляется повышенная степень интерференции и смешения кодов в продуцировании текстов с определенной темой и навязанным извне (против воли автора) содержанием.

Решающую роль при включении того или иного иноязычного языкового элемента в языковую систему заимствующего языка (и при его адаптации) играет межъязыковое и межкультурное взаимодействие. Общественный и культурный дискурс обеспечивают непосредственное осуществление этого процесса. Мы документируем это лексическими заимствованиями в языке живущих в Воеводине словаков, имеющими в сравнении с параллельной дискурсивной реализацией в Словакии отличную лексическую и социокультурную перспективу. Словаки в Воеводине более двухсот пятидесяти лет живут в компактном национальном сообществе, причем доминирующим по своему общественному положению здесь был сербский (до начала девяностых годов XX в. – сербохорватский) язык. Если сравнить названную языковую субстанцию с тем, как она текстуализуется в языковой ситуации Словакии, то обнаружим много контрастирующих явлений. Первую группу приведенных заимствованных слов можно охарактеризовать как сербокроатизмы, вторую – как средиземноморские элементы, балканализмы и ориентализмы, напр., турецким, которые постепенно проникали в словацкий через посредство сербского (сербохорватского) как главного контактного языка в качестве культурой и в то же время компромиссных реплик.

(1) Некоторые компромиссные реплики и заимствованные слова из сербского, хорватского и словенского языков:

badnjak м.р. серб. *badňak* ‘дубовые корни, которые жгут в канун православного Рождества (7 января)’; *bura* ж.р. хорв., серб. метеор. ‘сильный ветер с побережья на открытое море’; *cipal* м.р. зоол. *Mugil cephalus* – ‘*mugil hlavaty*’; *četník* м.р. серб. – 1. ‘член милитаристической организации в Сербии во время 2-й мировой войны’, 2. перен. ‘член ультраправой политической партии в Сербии’; *fiera* ж.р. хорв. – ‘праздничная ярмарка’; *gavún* м.р. зоол. *Atherina hepsetus*; *girica* м.р. зоол. *Smaris alcedo*; *chobotnica* ж.р. хорв., серб. зоол. *Octopus ‘осьминог’*; *jugo* м.р. хорв., серб. метеор. *kormán/kormán* ‘велосипедный руль’ (в языке словаков в Югославии – только компромиссная

форма); *ligňa*, обычно во мн.ч. *ligňe* ж.р. зоол. *Loligo vulgaris kalamari*; *maestral/mistrál* средиземн., хорв., серб. ‘холодный ветер на Ядране’; *oslič/oslit'* м. зоол. *Matluccius vulgaris* ‘щукозуб обыкновенный’, в разговорном словацком морская щука; *papalina* ж.р. зоол.; *som* м.р. зоол. *Silurus glanis* ‘сом’ (лишь в анклавном словацком языке в Югославии, Америке, Австралии, Германии, или же в тех странах, где сербский, хорватский и словацкий языки являются анклавными и контактируют); *surka* ж.р. хорв. – ‘часть старины хорватской национальной одежды, жакет с застежкой на шнурках’; *sarac* м.р. ‘вид пулевета’; *šaran/šaram* м.р. зоол. *Cyprinus carpio* ‘карп’; *ustasovec* – ‘член хорватской военизированной организации, боровшейся в сороковые годы XX в. за образование самостоятельного хорватского государства’; *volán* м.р. ‘руль’; *vruľja* ‘пресноводный источник в море’; *zoisit* м.р. словен. ‘салер (по имени известного словенского мецената С. Зойса)’; *živio* межд. серб. – ‘да здравствует, за здоровье (ожелание здоровья и долгих лет жизни, обычно при произнесении тоста)’.

Приведенные примеры более или менее обычны в речи воеводинских словаков. Чаще всего они используются:

а) когда требуется экстренно обозначать новые вещи и понятия, еще не лексикализованные в словацком языке, или же для которых не существует словацкого наименования. Чаще всего это недолговечная компромиссная реплика, которая очень быстро перемещается в разряд заимствованных слов, сначала в данном зонолекте (речь идет о языковых явлениях, характерных для широкой полосы, включающей большое количество языков с одинаковыми или похожими языковыми формами), а позже – в конкретной коммуникационной сфере (обще)национального языка: *vruľja* (в гидрографическом дискурсе), *Šri Lanka/Sri Lanka* (в широком географическом дискурсе), *bevanda*, *cviček*, *teran*, *žilavka*, *vránac* (названия характерных сортов местного вина) и т.п. Приведенные слова в виде компромиссной реплики проникли сначала в “паннонский” регион, или же зонолект, где словацкий язык является анклавным, и лишь потом появились в словацких высказываниях в метрополии.

б) как проявление солидарности, интимности, близости говорящих: *babiška*, *bucov*, *kečiga*, *som*, *šaran* и т.п.; *nádnica* ‘ежедневная оплата’, *nápoj* ‘кухонные помои’, *podkrajina* ‘области’ и т.д.;

с) для выражения общей моциокультурной принадлежности: *cipal*, *girica*, *lignja*, *oslit'*; *bevanda*, *cviček*, *špicer*;

д) для сознательного языкового членения на более низкий и высокий уровни языковой коммуникации и осознанной стилевой дифференциации: *šaram* (низк.) – *kapor* (высок.) и т.п.;

е) из-за интеллектуальной лени, невнимания, недостаточной языковой культуры (*beráč*, *samoposluga*, *setvospremáč*) и т.п.

Социолингвистическая перспектива и ценность приведенных сербокроатизмов и словенизмов неодинакова в литературном словацком языке и разговорном языке на территории Словакии. В виде компромиссной реплики они проникают сюда только тогда, когда надо назвать новую реалию, не существовавшую ранее на словацкой социокультурной карте. Например, все приведенные примеры сербских названий пресноводных рыб, используемые в повседневной общении живущих в Воеводине словацков, в самой Словакии имеют адекватные эквиваленты (*kečiga* – осетр; *smudj* – судак; *som* – сом; *žaran* – карп и т.п.), и лишь в отдельных случаях они на недолгое время становятся компромиссными репликами. Однако компромиссные реплики этого типа, как правило, никогда не переходят в разряд заимствований, поскольку им не достает общественно-языковой энергии для того, чтобы вытеснить уже существующее соответствующее наименование.

С другой стороны, сербские и хорватские названия морской рыбы проникают в словацкую лексику в качестве компромиссной реплики, а затем и нового заимствования и без непосредственного языкового контакта, лишь на базе культурного контакта (*cipal*, *gavýn*, *girica* и т.п.). Точно так же иноязычные профессиональные термины (как, например, словенизм *zoisit*) после недолгого пребывания в виде компромиссной реплики становятся заимствованием с широкой коммуникативной компетенцией в конкретной профессиональной сфере. Сюда относятся, например, приведенные названия таких метеорологических явлений, как виды ветров (*bura*, *juga*, *kočava* и т.п.). Они не имеют адекватных эквивалентов в словацком языке, а законы языковой экономии не позволяют им долго оставаться в языке в описательной форме (*kočava* – порывистый юго-восточный ветер, дующий на Среднедунайской низменности от Дьердапа в течение одного, трех, пяти или семи дней). Поэтому на словацко-сербском периферийе возникла компромиссная реплика *kočava*. А поскольку в словацком языке нет никаких фонологических препятствий для того, чтобы это слово прижилось в словацком языке, то компромиссная реплика достаточно легко превратилась в заимствование и теперь функционирует в лексической системе словацкого языка как экзотизм.

(II) Точно так же прижились в словацком и такие эксклюзивные слова (они эксклюзивны по сравнению с живой экспансией, напр., англизмов), как ориентализмы и турецким: *ada* ж.р. серб. < тур. ‘речной остров’, *aga* м.р. серб., тур. < тур. 1. ‘дворянин’, 2. ‘высшая военная должность у турецких наемников’, 3. ‘официальная гражданская и военная должность’, *ambar*, *hambár* м.р. тур. < перс. *anbar*² ‘деревянное строение для хранения пшеницы’: *badem* серб. < тур. *bádem* < перс. *badam* < санскр. *badama*. 1. ‘миндаль’ (плод), 2. ‘миндаль-

ное дерево (вид дерева *Amygdalus*)’, *baklava* серб., тур. < армян. ‘сладкий пирог из слоеного теста’; *bakcuz* м.р. им. прил. *baksuz* < тур. *bahtsiz* (*bahtsiz*) перс. 1. ‘несчастный’, 2. ‘приносящий несчастье’; *bavta* < тур. *balta* ‘топор’; *bardák* тур. < *bardak* < перс. *bardan* ‘деревянная посуда’; *bá lem* нар. серб. *barem* < тур. *bari*, народн. *barim* ‘хотя бы’; *baš* нар. серб. < тур. *baş* ‘как раз’ (*Bas som t'a spomimnal*); *baštovan/m/* м.р. серб. < тур. *baħćivan* < перс. *bagčewan* ‘огородник’; *baták* м.р. серб. < *batak* < тур. *bacak* ‘бедро’; *ba'ár* м.р. серб. *hećar* < тур. *bekar* ‘франт’; *beg* м.р. серб. < тур. *bey* (по-арабски пишется *bek*); *bičak* м.р. < тур. *biçak* ‘ножик’; *bostan* м.р. сербр. < тур. *bostan* (‘бахча’) < перс. *bustan*, *bositan* ‘(сад)’; *bóza* ж.р. серб. < тур. *boza* < перс. *buza* ‘кисловатый освежающий напиток из кукурузной муки’; *budák* м.р. серб. < тур. *budak* ‘мотыга’; *budala* ‘дурак, глупый’; *búdža* м.р. перен. ‘главный; зажиточный’ серб. *budža* < тур. путем метатезы из *cübb* (яма) < араб. *gubb* ‘глубокая яма, колодец’; *burek* м.р. серб. < тур. *börek* < перс. *burek* ‘вид пирога из слоеного теста с творожной или мясной начинкой’; *d'uveč* м.р. < тур. *güvec* ‘глиняный противень’ > ‘запеканка из мяса, риса, лука и картофеля’.

Часть приведенных слов выступает как заимствования, часть – как компромиссные реплики. Однако, если говорить о вариативном членении словацкого языка, то однозначной границы между этими понятиями установить нельзя: некое слово, которое прижилось в языке словацкого анклава в Воеводине как иноязычное, на территории Словакии может иметь нулевую презентацию (термин Н. Джорджевич 1991, 5). В данном зонолекте оно является показателем одновременно вариативности и вариантности. Такие турцизмы, как *ada*, *bádem*, *baklava*, *bakcuz/baksuz*, *bálem*, *baš*, *baštovan/m*, *baták*, *bostan/m*, *bóza*, *budák*, *budala*, *búdža*, проникшие в речь воеводинских словаков вследствие непосредственных контактов с соседним сербским языком и оказавшиеся благодаря его посредству в активной в данном зонолекте дифференциированной лексике, участвуют в формировании когнитивной карты носителя данного языка. В местном языке они выступают в виде вариативно дифференцированных слов – так, слово *ada* встречается в устно разговорной речи, а в литературном варианте языка употребляется *sihot'*. На уровне (обще)национального языка такие слова выступают как варианты: в языковой ситуации в Словакии они имеют нулевую презентацию, здесь встречается только словацкая лексема *sihot'*.

Вместе с тем Р. Филиповичем (1986, 43) мы считаем компромиссными репликами такие заимствуемые языковые элементы, которые еще не вошли окончательно в целостную систему языка и культуры заимствующего языка. Кроме того, для них характерен неустойчивый языковый статус – они существуют в психическом содержании отдельного билингва. Они ведут себя по “закономерно-

стям частного". Говорящие в большей или меньшей степени ощущают эти слова как иноязычные, в их сознании они колеблются между двумя языковыми полюсами L_1-L_2 . Например: *Bogdanović-Bogdánović/Bogdánovit'-Bogdanovič³* – иноязычное слово–компромиссная реплика–ассимилированное слово.

Не все иноязычные элементы включаются в заимствующий язык одновременно и в одинаковой степени; кроме того, они проникают в различное языковое пространство. Таким образом, они не имеют стабильного зонолектного, социолектного и генеролектного статуса (последнее относится к членению высказываний по возрасту говорящих) и по-разному соотносятся со своей моделью. Историзмы турецкого происхождения (*aga, beg* и т.п.) встречаются в одинаковых коммуникационных сферах в различных разновидностях словацкого языка – в метрополии и отдельных анклавах и диаспорах (напр., в Воеводине). Это означает, что процесс их языковой интеграции закончился. Однако процесс культурной интеграции в зонолектном смысле может проходить по-разному. Так, турцизм *aga* в словацких текстах воеводинских словаков в Югославии благодаря сербскому культурному дискурсу имеет следующие значения: 1. дворянин, 2. высшая военная должность у турецких наемников, 3. официальная гражданская и военная должность. В Словакии языковой контакт с турецким элементом был более непосредственным, а культурный – более неопределенным, и в словацких текстах благодаря этому сохранились следующие значения: 1. титул нижнего офицерского чина в Турции, Иране и Индии, 2. господин (*Šaling-Šalingová-Maníková*, 1997, с. 37), а также вежливое обращение к пожилому мужчине (*pane*) (*Slovník cudzích slov*, 1997, с. 31). Исторический словарь словацкого языка толкует эту лексему как "должность турецкого офицера" (*Historický slovník slovenského jazyka*, 1. zv., 77).

Турцизм *beg* (из тур. *bey*, в арабском написании *bek*) имеет в словацком языке очень большой семантический объем. Однако его текстовая реализация указывает на вариативную дифференциацию языка. Так, опосредованный (сербский) контакт конкретного турцизма имеет иной фразеологический контекст, неизвестный на территории Словакии. Это фразеологизм *Alajbegova/Alaj-begova slama*, который мы расцениваем в речи воеводинских словаков как компромиссную реплику, мотивированную сербской языковой субстанцией, возможно – как сербизм, и причем как элемент интерференции, а не трансференции.

Приведенные выше турцизмы, а также балканализмы и ориентализмы практически давно утратили в словацком языке статус компромиссной реплики; они стали широко приемлемыми в общественном отношении и приобрели характер заимствования. Сюда же относятся многие другие слова из различных сфер, напр. *raša, sultán* и

т.д.; *feredža* ‘вид женской накидки, одеваемой при выходе из дома’, *turban* ‘головной убор из полосы ткани, обмотанной вокруг головы’, *šaraváry* ‘длинные широкие штаны’, *kiosk* ‘киоск’, *čibuk* ‘трубка’, *kasaha* ‘городок’ и т.д.

Характер компромиссной реплики имеют также некоторые турецким, присутствующие в разговорной речи словаков в Воеводине, где их можно расценивать как сербизмы: *ada* ж.р. < серб. < тур. ‘речной остров’; *baták* м.р. < серб. *batak* < тур. *bacak* ‘нижняя часть курицы, утиной, гусиной и под. ножки’; *karabaták* ‘верхняя часть ножки’; *budák* м.р. < серб. *budak* < тур. *budak* ‘мотыга, кирка’. Турское по происхождению слово *čakan* ассимилировалось словацкими диалектами еще в средние века, оттуда оно попало в литературный словацкий язык как немотивированное слово, а его этимология забылась. Синонимические турецкие слова (*budák* (попавшие в словацкий язык через посредство сербского) и *kramp* (германский, также через сербское посредство) указывают на различные виды языковых контактов.

Компромиссные реплики возникают чаще всего спонтанно. Поэтому их “привычная территория” – диалекты и неофициальные виды текстов. Что касается словацкого, тут, как выяснилось, существуют различия между словообразовательной системой литературного языка и диалектов, в особенности в отношении мотивированных и немотивированных слов (Buffa 1968; Furdík 1993). При заимствовании из чужой лексической системы в фазе компромиссной реплики берется “голая” лексема, часто имеющая скрытую мотивацию. Однако в процессе коммуникации этот момент отходит на второй план, и без сравнительно-этимологического анализа никак не проявляется. Такие слова в данном языковом контексте очень быстро ассимилируются. Они не всегда получают всеобщее распространение, в стандартный язык они могут не попасть, но, во всяком случае, обогатят зонолект. Так, в балканский дискурс мы включаем, например, лексическую оппозицию в речи воеводинских словаков *baták* (нижняя часть ножки птицы) – *karabaták* (верхняя часть ножки птицы). В западнославянском и восточнославянском зонолекте такой оппозиции нет. Впрочем, когда речь идет о региональной языковолексической характеристики, нельзя ожидать, что она получит общенациональный социолингвистический масштаб: названная культурэма в рамках словацкого языка демонстрирует вариативность. В разговорной и диалектной речи приведенные типы компромиссной реплики в своем первоначальном и основном значении указывают на живые процессы интерференции. Стандартный или литературный уровень языка требует их “перевода” (*ada-sihot'*).

Если речь идет о секундарном, переносном значении компромиссной реплики, напр., если она является частью инновационного

словосочетания, то это уже проявление не интерференции, а трансференции. Экзонизмы типа *Ada Ciganlija* как элемент трансференции транспонируются в язык L_2 без “минусовой” коннотации, которую содержат элементы интерференции. Это денотат без исходной коннотации. Элементы трансференции и в фазе компромиссной реплики, и в фазе ассимилированного слова интегрируются в языковую подсистему заимствующего языка L_2 с подходящей коннотацией иноязычного происхождения, при этом не используется калькирование или какая-либо иная “переводная” стратегия. Так, венгерский экзоним *Margitsziget* в профессиональном и официальном употреблении остается структурно неизменным, но в непринужденной речи может приобретать словакизованную форму *Margitin ostrov*.

Иноязычные слова зачастую невозможно просто перевести или калькировать, не обедня коннотационное поле. Например, балканализмы или турецким из области кулинарии не всегда можно заменить аналогичным словацким словом: *sárma* – это не то же, что “голубцы”, так как это оригинальный рецепт. Именно поэтому данная сфера коммуникации словацкого языка изобилует сербизмами, турецкими, балканализмами и ориентализмами.

С другой стороны, существует большая группа компромиссных реплик, имеющих вертикальную перспективу и встречающихся, например, в художественных или иных текстах непринужденного или специфического характера. В этом случае в заимствующий язык они попадают путем перевода. Например, в словацком переводе романа Иво Андрича “Мост на Дрине” в качестве экзотизмов встречается 83 турецкого (1) и 4 сербизма (2):

(1) *adžami-oglan* = дети, которые турецкие власти забирали у христиан как “дань крови”, чтобы воспитать из них янычар; *aferim* = браво; *ahmedija* = тюрбан из белого полотна, который носил ходжа; *ajlukčija* = работник с постоянным окладом; *akšam* = вечерняя молитва (четвертая по счету) и т.д.;

(2) *iguman* = православный настоятель монастыря; *kmet* = крестьянин, живущий в чужом доме и работающий на чужой земле, крепостной; *para* = сюжетная часть динара; *slava* = праздник в честь главы дома; *slavský koláč* = традиционный пирог на этом празднике.

Социолингвистический статус названных слов достаточно ограничен, они существуют лишь в литературном дискурсе. Однако перед анклавными компромиссными репликами они имеют некое преимущество: в определенном смысле они включены в общесловацкий языковой контекст, а анклавные реплики такого статуса не имеют, хотя и входят в контекст повседневной коммуникации. К тому же с ними борется языковая “самоцензура”. Это часто случается даже в тех случаях, когда они обоснованы в коннотативном смысле и представляют собой естественный вклад в язык (напр., в словацкой

редакции радио в г. Нови-Сад уже в семидесятые годы широко употреблялся восточный экзоним *Sri Lanka*, а в Словакии продолжали употреблять официальное европеизованное название *Cejlon*.

Заключение. Компромиссная реплика – это первая ступень отражения языковых контактов. Обычно в процессе заимствования лексических элементов из языка L₁ они транспонируются в заимствованное слово, которое полностью ассимилируется. Впрочем, значительная часть компромиссных реплик так и остается на лексической периферии как составная часть анклавной лексики или специфической коммуникативной сферы. Однако их существование обосновано с лингвистической и культурной точки зрения, поскольку они, в сущности, представляют собой универсальный способ обогащения лексики и самого языка*.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ По Oliva, o. – *Hrabě S., Lac J. Stavovce Slovenska I. Ryby, obojživelníky a plazy*. Red. O. Ferianc. Bratislava: Vydatelstvo SAV, 1969. S. 149.

² По техническим соображениям мы не приводим долготу гласных у слов персидского происхождения.

³ Ассимилированную форму мы цитируем по данным периодики, она встречается только в литературном словацком языке (в анклавном варианте отсутствует).

ЛИТЕРАТУРА

Biuffa F. Slovotvorná stránka nárečí a spisovného jazyka. *Jazykovedný časopis*. 19. 1968. S. 200–204.

Dudok M. Jazyková situácia a členenie slovenčiny v juhoslovanskej Vojvodine // *Sociolíngvisticke aspekty výskumu slovenčiny*. Red. S. Ondrejovič, M. Šimková. Bratislava: Veda, 1995. S. 216–226.

Dudok M. Spoločenský diskurz a kontaktové jazyky // *Zborník Spolku vojvodinských slovakistov*. 16. 1999 (v tlaci).

Djordjević N. Nulti odnos u kontrastivnoj alalizi // IV simpozijum Kontrastivna jezička istraživanja. Red. D. Dudok. Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku, 1991. S. 5–14.

Filipović R. Teorija jezika u kontaktu // *Školska knjiga*. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. 1986.

Furdík J. Slovotvorná motivácia a jej jazykové funkcie. Levoča, Modrý Peter 1993.

Hamers J.B., Blanc M.H.A. Bilinnguality and Bilingualism. Cambridge University Press, 1898.

Historický slovník slovenského jazyka I. A-J. Bratislava: Veda, 1991.

Ivić M. Opšti pogled na problem tudičica // O leksičkim pozaimljenicama. Red. J. Plankoš. Subotica; Beograd: Gradska biblioteka Subotica. Institut za srpski jezik. Srpske akademije nauka i umetnosti, 1996. S. 11–16.

Rask R.K. Undersögelse om det gamle nordiske eller islandske sprogs oprindelse. Copenhagen, 1818.

* Данная работа была выполнена в рамках научного проекта № 2/6082/99 Prevzate slova v súcasnej slovencine (руководитель Я. Босак).

Skujnabb-Kangas T. Bilingvizam da ili ne (Bilingualism or not. Stockholm, LiberForlag 1981). Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 1991.

Slovník cudzích slov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1997.

Šaling S., Ivanová-Šalingová M., Maníková Z. Veľký slovník cudzích slov. Bratislava: Veľký Šariš, 1997.

Štefánik J. Bilingvismus na pozadí dvoch morfológicky odlišných typov jazykov // Jazykovedný časopis. 45. S. 111–127.

Б.Л. Бойко

(Россия)

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖАРГОН КАК ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СУБКУЛЬТУР

В самом общем виде поставленная проблема может быть объектом исследования лингвистики, социальной лингвистики, психолингвистики. Лингвистические исследования направлены на изучение системных качеств лексики молодежного жаргона, ее особой семантики. С позиций социальной лингвистики лексика молодежного жаргона противопоставляется лексическому фонду общего языка и является следствием социальной стратификации общества по вертикали. Психолингвистика изучает наряду с прочими функциональные качества молодежного жаргона как особого средства внутригруппового общения, овладение которым обязательно для члена соответствующей социальной группы в интересах самоидентификации.

Социология определяет культуру как специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. В понятии “культура” содержатся аспекты:

а) исторический, этнический и национальный (например, античная культура, культура Древней Руси);

б) отражающий особенности поведения, сознания и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни (культура труда, быта, художественная культура);

в) фиксирующий способ жизнедеятельности отдельного индивида (личная культура), социальной группы (культура молодежи, культуры студенчества) или всего общества в целом (Межуев 1995).

В молодежной субкультуре могут быть выделены все три аспекта, характеризующие культуру в целом, – исторический, поведенческий и социально-групповой. Исторический аспект выявляет ва-

риативность номенклатуры социальных образований в рамках субкультуры в различные периоды жизни общества, поведенческий – позволяет увидеть в разнообразии форм требования нормативности применительно к различным сферам социальной активности, социально-групповой – закрепляет основные значимые способы жизнедеятельности социального индивида и социальной группы, входящей в состав субкультуры.

Необходимость постоянно демонстрировать свою принадлежность к данной субкультуре и одновременно не-принадлежность к иным субкультурам, что в различной степени характерно для представителей любых социальных образований, приводит к выработке некоторого набора идентифицирующих признаков, подлежащих демонстрации. Таковыми являются не только внешние знаки – аксессуары одежды, прическа, татуировка, пирсинг и пр., но и язык данной субкультуры. Демонстрация языковой принадлежности, по образному выражению Е.Д. Поливанова, есть предъявление языкового паспорта.

Специфика языка субкультуры обобщена в понятиях жаргон, сленг, арго. В лингвистических работах эти понятия могут применяться для именования различных пластов лексики, в социальном плане они однопорядковые, поскольку используются в символической функции как средство идентификации или самоидентификации членов данной субкультуры. Граница между “мы” и “они” проходит и в практике речи членов субкультуры в ситуациях, когда предметы речи необходимо называть именами, характеризующими их особую принадлежность к данной субкультуре. В тех случаях, когда лексика, бытующая исключительно в рамках данной субкультуры и означающая предметы или способы ее жизнедеятельности, выходит за границы этой субкультуры, например, используется в публицистике, она нуждается в интерпретации.

Одновременная принадлежность социального индивида к нескольким социальным образованиям, его перемещение из одной социальной группы в другую, например, в связи с призывом на действительную службу или изоляцией от общества в случае совершения преступления, его возвращение в гражданский мир способствует освоению им все новых пластов социально отмеченной лексики. Полнению индивидуального и социально группового идиома новыми единицами способствуют и досуговые формы общения, в рамках которых осуществляются контакты представителей социальных групп в иных условиях невозможных.

Интегративные связи языка и культуры обнаруживаются, по мнению Е.Ф. Тарасова (Тарасов 1994; 2000) (а) в коммуникативных процессах, (б) в онтогенезе, как формирование языковой способности в системе высших психических функций, передача человеческих

способностей в пространстве и времени, (в) в филогенезе, как формирование общественного, родового человека.

В качестве исходного положения принимается утверждение, что интеграция языка и культуры достигается при помощи некоторого промежуточного образования, входящего и в язык, и в культуру. В роли этого промежуточного образования выступает идеальное – мир представлений, образов сознания, находящих свое выражение в значении языковых знаков. Идеальное существует в культуре опосредованно (превращенно) в форме предметов культуры, т.е. в опредмеченной форме, и в деятельностной форме, т.е. в форме деятельности. Присвоение элементов культуры – предметов культуры и тел языковых знаков, как предметов культуры, достигается в процессе распредмечивания. Распредмечивание – деятельность, направленная от тела знака к его значению и имеющая целью установить предшествующие формированию предмета деятельности и их результаты. В одних случаях это будут деятельности, связанные с производством предмета культуры, в других – с его именованием (означиванием). Распредмечивание языковых знаков как присвоение единиц языка и культуры осуществляется в коммуникативных процессах и сопровождается формированием / совершенствованием языковой способности и социальных качеств человека в его принадлежности к той или иной социальной группе.

В процессе распредмечивания субъект соотносит полученные знания о культурном предмете с имеющимися у него знаниями, определяет их место в системе собственных образов сознания. Степень познания нового зависит от имеющихся у социального индивида знаний о предмете или той культурной области, к которой этот предмет принадлежит. Отсутствие предварительных знаний затрудняет формирование знания о предмете культуры в полном объеме (поверхностное знание) или препятствует ему (непонимание). Затруднение преодолевается по мере приобретения энциклопедических знаний о культурном предмете и возможности манипулировать им в повторяющихся актах коммуникации. В случаях заимствования “инокультурных” предметов осуществляется их адаптация к предметному миру заимствующей культуры / субкультуры. Если говорить о телах знаков, то их адаптация к новой речевой среде сопровождается перестройкой их семантического объема.

Относительно молодежного жаргона, объединяющего значительное число социально-групповых вариантов, отражающих специфику речи самых разнообразных групп молодежи – студенты, школьники, фаны, панки, скинхеды и т.п., таковыми являются единицы, заимствемые из речевой практики криминальной среды. Подтверждению данного тезиса служат экспериментальные данные, собранные в студенческой среде.

СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Эксперимент проведен в два этапа одновременно в трех группах студентов факультета иностранных языков 1, 2 и 3 курсов. Длительность эксперимента – 10–15 минут для каждого этапа. Количество участников – 32 (12, 12 и 8 соответственно).

Первый этап

Цель первого этапа – установить общий объем лексики, понимаемой участниками эксперимента, как принадлежащей молодежному жаргону, жаргону криминальной среды, военному жаргону. Отвечая на вопросы: “Что я знаю из молодежного жаргона?”, “Из общего жаргона?”, “Из военного жаргона?”, респонденты должны были не только назвать известную им жаргонную лексику, но и осознать ее принадлежность к соответствующей социальной группе. Полученный материал приводится в алфавитном порядке, арабская цифра после слова означает частотность его упоминаний в списках.

ЛЕКСИКА МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА

атас, бабки, базар, беспредел, блеф, бойфренд, бочка (катить бочку), бухать 2, в натуре 5, велик, взbledнуть/взбляднуть, вмазать, выкинуть (сделать), герла/гирла, голубь-фиолетово, даун, догонять (не догоняешь?), дринькнуть, дурак 2, дэцил, жрачка, забивать (на что-л.), забурить, зависать, завязать, задолбать, закосить, замороженный, замочить 3, замутить (тусовку), затира (классно) 2, зашибись 3, интерфейс, кайф 3, кардон, кекс, кидалово, классно, клёво 10, клевый (прикид), колбасить, колбаситься 4, колёса 2, коми, конкретно (отдыхать), крендель, круто 9, крутой, ксюшка, кумарить, курица, лавэ, лахудра, ломиться, лох 6, лымарь, мафон, мобила, морковка, наехать, нет/net, ништяк 4, обломать (кайф), откосить, отмороженный, отморозок/отморозки, отрываться, отстой 4, оттянуться, отъехавший, пальцовка, пацан, перепихнуться, перец 4, по барабану, повесить, подсесть (на гумету), полная кончита мартинес, полный абзац, полуумный, понты 3, поросенок, пофиг/пофигу, предки, препод, придурак, прикалываться 3, прикид 5, прикол 9, прилипала, припухать, продвинутый, пурга (молоть пургу), расклад, редиска 2, репа (репу щемить), рихтануть, свистеть, симпотный, сифонить, сорри, сто пудов, стрелка 3, стрематься, стрёмно 3, супер 5, сэйшн (факкинг сэйшн), тащиться, тёрка, тормоз, тормозить, торчать, трахнуться, тупить, туса 2, тусануться, тусоваться 2, тусовка 3, тухло, улет, фенечка/фенька/феня, фигня, фигово, фишка 3 (сечь фишку), хавать, халява 5, хата, хрень, хрюша, чайник 2, черепа 2, чешуя, чмырь, чувак 6, чувиха 2, шестерить, шизанутый, ширяться 3, шлецек, шлять-

ся, шмон, шнурки/шнурки в стакане 4, шняга, штука, шузы, эстет, юзер.

Наиболее частотная лексика: 10 – клево, 9 – круто, прикол, 6 – чувак, 5 – в натуре, прикид, халява.

ЛЕКСИКА ЖАРГОНА КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЫ

бабки 2, бабочки, базар 2, барабан (по барабану) 2, беспредел, бля (буду), ботать (по фене), братва 2, в натуре 3, варить, вертухай, винт, волк (тамбовский), волына, гасить (убить), губа, гулянка, дело, забацать, забивать 2, завалить, задолбать, закосить, закрыть (посадить в тюрьму), замочить 6, застучать, затира, звонок (от звонка до звонка), идиот, капуста, катала, кидалово, кидать 9, кликуха, козел, контора, котлы, крыса, легавые/легавый, лимон 2, лобызать, лопухнуться, лопухнуться 3, лохотрон, малина 5, марафет, мать, машка, мент/менты, мокруха, мотать (срок), мочить, мусор, наколоть (кого-л.), нары, опер, опустить 4, отморозки/отморозок, оторваться, отстой, параша, пахан 4, песня (не надо песен своим ребятам), перепихнуться, перец, перо 2, петух 4, повисать, подстава, подсунуть, придурак, прикалываться, пролететь, пудрить (мозги), работяга, разбор/разборки, развести (по понятиям), редиска, стрелка 4, стрематься, тусовка, туфта 2, тырять, упрыть, фраер, фуфло, хаза, хата (выставить хату), халтура, халява, ходка, шестерка 3, шмон 4, шмонать, шнырять, шухер 2.

Наиболее частотная лексика: 9 – кидать, 6 – замочить, 5 – малина, марафет, 4 – опустить, пахан, петух, шмон.

ЛЕКСИКА ВОЕННОГО ЖАРГОНА

батя, валяй, гони, груз “200” 2, губа 6, дед/деды 8, дедовщина, дембель 3, дух 5, жмурик/жмурики 6, замочить 2, зеленые, кусок, мобута, опустить, параша 4, пенек, петух, прapor 2, призыв, салага 2, самоловка 3, самоход, сапоги, слон, сосунок 2, стодневка, черпак.

Наиболее частотная лексика: 8 – дед/деды, 6 – губа, жмурик/жмурики, 5 – дух, 4 – параша.

Наиболее частотная лексика суммарно по трем категориям: 9 – кидать, 6 – в натуре, жмурик, 5 – лох, 4 – замочить, колбасить, параша, прикол, ширяться, 3 – бабки/бабочки, деды, клево, круто, по барабану, стрелка, супер, тусоваться / тусовка / тусонуться, халява, чувак/чувиха.

Выводы по первому этапу эксперимента:

1. В целом по всем трем категориям названо свыше 450 лексических единиц. Из них большая часть отнесена респондентами

к лексике молодежного жаргона и жаргона криминальной среды, меньшая часть к лексике военного жаргона.

2. Разнесение лексики по категориям с учетом ее социально-групповой принадлежности отражает специфику речи представителей названных социальных групп.

3. В списках молодежного и военного жаргона отмечается значительное количество лексики, изначально принадлежащей криминальной среде – бабки, базар, беспредел, в натуре, замочить, стрелка, параша, петух.

Второй этап

На втором этапе участникам эксперимента было предложено отметить в списке, составленном по результатам первого эксперимента – 125 единиц, только ту лексику, которую каждый из них активно использует в речи, и привести несколько примеров употребления.

АКТИВНАЯ ЛЕКСИКА

атас 1, бабки 4, бабочки 1, базар 1, беспредел 3, бойфренд 2, братва 1, бухать 3, в натуре 2, валять: валаяй 2, велик 1, вмазать 3, глухо, как в танке 4, гнать = гони 2, груз “200” 1, гулянка 1, дед 1, дедовщица 1, дембель 2, дурак 7, жрачка 2, забацать 1, забивать (на что-л.) 10, завалить 1, зависать 5, завязать 3, задолбать 2, закосить 1, замочить 1, замутить 2, зашибись 3, зеленые 3, идиот 7, интерфейс 1, кайф 3, расклад (какой расклад?) 1, капуста 1, кардон 1, кекс 2, кидалово 1, кидать/кинуть 4, классно 6, клевый 1, козел 4, колбаситься 6, колеса 1, контора 1, крендель 3, круго 8, кругой 3, крыса 3, кумарить 1, легавый 1, лимон 3, ломиться 2, лопухнуться 1, лох 8, лохотрон 2, малина 6, марафет 2, мать 1, мент/менты 5, мозги (пудрить) 5, мусор 3, мымра 1, наехать 6, не догоняешь 3, нет, нет 2, обломать (кайф) 2, опер 1, опустить 3, от звонка до звонка 1, отморозок/отморозки 5, отрываться 2, отстой 5, оттянуться 1, параша 1, перепихнуться 1, перец 4, петух 2, по барабану 3, подонок 1, полный абзац 1, понты 9, поросенок 4, пофиг/пофигу 5, предки 1, препод 5, придурок 11, прикалываться 14, прикид 4, прикол 11, продвинутый 1, пролететь 3, пургу молоть 1, работяга 1, разбор 1, разборка/разборки 3, редиска 6, салага 1, сапоги 2, сваливать 2, симпотный 3, сорри 2, сто пудов 3, стрелка 6, стрематься 2, стремно 2, супер 11, сэйшн 1, тормоз 9, тормозить 7, трахнуться 3, тупить 1, тусоваться 8, тусовка 1, туфта 2, тухло 1, улёт 2, факинг сэйшн 1, фенечка 1, фигня 3, фигово 3, фишка 6, халтура 5, халюва 8, хрен 3, чайник 5, чувак 5, шестерка 1, шляться 3, шмон 1, шняга 1, штука 1, шухер 1, эстет 1, юзер 2.

Наиболее частотная лексика: 14 – прикалываться, 11 – придурок, прикол, супер, 10 – забивать (на что-л.), 9 – тормоз, понты, 8 – круто, лох, тусоваться, халява, 7 – дурак, идиот, тормозить, 6 – классно, колбаситься, малина, наехать (на кого-л.), редиска, стрелка, 5 – зависать, мент/менты, мозги пудрить, отморозок/отморозки, отстой, пофиг/пофигу, препод, халтура, чайник, чувак.

ЖАРГОННАЯ ЛЕКСИКА В РЕЧЕВЫХ ОБРАЗАХ

бабки: Завтра заплатят бабки? Давай-ка сваливать отсюда, а то скоро придет этот лох, а я ему бабки должен.

беспредел: Препод, ваше, такой беспредел на экзамене устроил.

бойфренд: Мы вчера с бойфрендом так поколбасились.

борзата: Собралась одна борзата.

братва: Эти лохотронщики уже всю братву кумарят.

валить: Вали отсюда!

вмазать: Не тормози, давай забукаем, вмажем по маленькой и на тусу.

дурак: Он какой-то дурак. Этот дурак пришел. Дураку закон не писан.

забивать (на что-л.): Да забей ты на это! Да забей ты на эту проблему. Надо почше забивать на лекции. Забей на свою проблему!

зависать: Зависать в клубе.

задолбать: Ты меня просто задолбал (запарил) с этой песней.

закосить: Закосить под дурака.

зашибись: Зашибись как круто.

идиот: Идиот, разуй глаза, обуй ноги!

кайф обломать: Весь кайф обломали.

кардон: Крутой! Махнул за кардон.

кидалово: Этот парень кидалово.

кинуть: Кинул на 1000 зеленых.

классно/классный: Вчера мы классно потусовались. Классный прикид.

козел: Чайник, козел (за рулем).

колбаситься: Всю ночь в клубе колбасились.

контора: Быть в конторе.

кумарить: Эти лохотронщики уже всю братву кумарят.

легавый: Легавый дело говорит.

лох: Ну, ты и лох, в натуре, даже тусуешься фигово. Отстой!

мент: Ну, мент, намарафетился придурок.

мусор: Мусор мусор несет.

наехать: Начальство наехало на подчиненного. Препод на меня наехал.

отморозок/отморозки: Зашла в подъезд, а там молодые отморозки греются. По ночам на улицах ходят одни отморозки. Полные отморозки.

остстой: Отправить в отстой.

понты: Ты че понты колотишь, шестерка (шаха), твое место на параше. Он пришел весь на понтах.

поросенок: Ну, ты и поросенок! Кто так ест?

пофигу: Мне все пофигу.

препод: Наши преподы никогда не прикалываются над прикидом своих студентов.

придурок: Этот придурок прикалывается над всеми.

прикалываться: Я просто прикалываюсь. Ты прикалываешься? Хватит прикалываться.

прикид: Классный прикид. Ну, у тебя и прикид.

прикол: Вот это прикол!

продвинутый: Он такой продвинутый чувак.

пудрить мозги: Не пудри мне мозги.

разбор/разборка: Сегодня будет разбор полетов.

редиска: Он такая редиска.

сваливать: Надо сваливать.

стрелка: Забить стрелку. Все на стрелке.

супер: Юбочка просто супер. Погода просто супер. Супер!

сэйшн: Все на сэйшн! Опять эта машина не заводится, факкинг сэйшн!

тормозить: Он тормозит все время (медленно соображает). Не тормози!

тупить: Не туши, пожалуйста.

тусов...: Вчера мы классно потусовались. Мы вчера тусонулись...

Она знаменитая тусовщица. Потусуемся сегодня вечером. Колбаситься на тусовке.

тухло: Там так тухло было, делать совсем нечего.

фишка: Это фишка такая прикольная.

халтура: Мне халтуру подкинули и бабка немеренно обещали.

халява: На халяву и уксус сладкий. Он любил поесть и выпить на халяву.

чайник: Этот чайник вечно еле тащится. На дороге от чайника лучше подальше держаться. Смотри, чайник поехал. Чайник за рулём.

шмон: Наводить шмон.

Наиболее частотная лексика по речевым образцам: 5 – тусов..., 4 – забивать (на что-л.), прикалываться, чайник, 3 – стрелка, супер, дурак.

Выводы по второму этапу эксперимента:

1. Среди наиболее частотной активной лексики можно выделить две различающиеся группы.

К первой отнесем лексику, отражающую специфику общения в молодежной, в нашем случае, студенческой среде: 14 – прикалываться, 11 – прикол, супер, 10 – забивать (на что-л.), 9 – тормоз, 8 – круто, тусоваться, халява, 7 – дурак, идиот, тормозить, 6 – классно, колбаситься, наехать (на кого-л.), 5 – зависать, мозги пудрить, отморозок/отморозки, отстой, пофиг/пофигу, препод, халтура, чайник, чувак.

Ко второй – лексику, заимствованную из речевой практики криминальной среды: 11 – придурок, 9 – понты, 8 – лох, 6 – малина, редиска, стрелка, 5 – мент/менты.

2. Почти третья часть речевых образцов содержит жаргонную лексику криминальной среды – беспредел, борзата, братва, кидалово, кинуть, козел, кумарить, легавый, лох, мент, мусор, понты, придурок, разборка, редиска, стрелка, шмон.

Перестройка семантического объема заимствуемой в молодежный жаргон лексики подтверждается речевой практикой молодежной среды и лексикографическими материалами. Для оценки степени перестройки полей означивания (семантических объемов) заимствуемой в молодежный жаргон лексики обратимся к словарным статьям Большого словаря русского жаргона Мокиенко–Никитиной (Мокиенко, Никитина 2000). За отсутствием места ограничимся анализом отдельных высокочастотных единиц:

14 – прикалываться, 11 – прикол, супер, 10 – забивать (на что-л.), 9 – тормоз, 8 – круто, тусоваться, халява.

Прикалываться. В уголовном жаргоне имеет значения – *приставать к кому-л., советоваться с кем-л., смеяться над кем-л.* В молодежном жаргоне отмечаются значения – общее с уголовным – *смеяться над кем-л.* (ср. имеющееся в речевых образцах – Я просто прикалываюсь) и развиваются новые значения – получать удовольствие от чего-л., понимать что-л., разбираться в чем-л.

Прикол. В уголовном жаргоне – *рассказ, показания подследственного, шутка, розыгрыши, остроумное высказывание.* Молодежный жаргон заимствует слово в последнем значении – *шутка, розыгрыши* (Вот это прикол!) и развивает новое значение – *увлечение, объект чьего-л. интереса.*

Супер. Слово принадлежит исключительно молодежному жаргону: Погода просто супер. Супер!

Забивать (на что-л.). Слово принадлежит только молодежному жаргону, в речевых образцах используется в значениях – *начать пренебрежительно относиться к чему-л., забыть о неприятном:* Да забей ты на это! Да забей ты на эту проблему.

Тормоз. Слово отмечается как принадлежащее только молодежному жаргону – глуповатый, несообразительный человек, человек без чувства юмора.

Круто. В молодежном жаргоне имеет значения – в высшей степени, очень сильно, неординарно, слишком оригинально, слишком дорого. Субстантивированное прилагательное крутый в уголовном жаргоне означает – авторитетный заключенный-рецидивист, вооруженный грабитель, рэкетир, в молодежном жаргоне развивает значения – преуспевающий, респектабельный, удачливый, яркий, отличный, неординарный и др.

Тусоваться. В уголовном жаргоне означает – курить, быстро уходить откуда-л., собираться где-л. Молодежный жаргон развивает последнее значение – проводить время в компании друзей, в общении, приятно проводить время в ночном клубе, на вечеринке и т.п.: Вчера мы классно потусовались. Мы вчера тусонулись. Потусуемся сегодня вечером.

Халява. Слово принадлежит одновременно уголовному и молодежному жаргону в значениях – получение чего-л. за чужой счет, бесплатно, что-л. негодное, ненужное и др. В речевых образцах находим соответствующее первому значению: На халяву и уксус сладкий. Он любил поесть и выпить на халяву.

Таким образом, данные эксперимента подтверждают высказанное выше предположение, суть которого заключается в том, что присвоение “инокультурных” элементов заимствующей субкультурой в основной массе случаев осуществляется в отрыве от исконной “денотативной” среды и ведет к перестройке семантических объемов заимствований.

ЛИТЕРАТУРА

Межуев В.М. Культура // Энциклопедический социологический словарь / Под общей ред. Г.В. Осипова. М.: Институт социально-политических исследований, 1995.

Тарасов Е.Ф. Язык и культура: методологические проблемы // Язык – культура – этнос. М.: Наука, 1994.

Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры // Язык как средство трансляции культуры. М.: Наука, 2000.

Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб.: Норинт, 2000.

Культурологический ракурс

Л.А. Софронова

(Россия)

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ СОЧИНЕНИЙ Г. СКОВОРОДЫ

Г. Сковорода, создавший собственную теорию текста, с помощью которой он интерпретировал мир, человека и Библию, огромное внимание уделял языку, утверждая, что каждый язык имеет “свои обычай и свойства”¹, что существуют традиции и правила речи. Он рассуждал о фонетике, грамматике, синтаксисе, применял свои лингвистические знания на практике. Использовал фонетические особенности слова, на основе морфологии создавал множество неологизмов, обращал внимание на графику и – что самое важное – создал свою знаковую теорию слова. Оставляя в стороне эти проблемы, рассмотрим, как философ работал с естественным языком, превращая его в язык культуры. Он творил в то время, когда шел процесс секуляризации и языка, и культуры в целом. Продолжая лингвистические традиции церковной книжной литературы и обогащая их новыми веяниями, Г. Сковорода выражал свое отношение к языку, размышлял о его культурной функции.

Он писал свои сочинения на языке, который трудно определить как единственный, так как он использовал и церковнославянский, и русский литературный XVIII в. Они не противопоставлены по функции, а взаимодополняют друг друга. Между ними разворачиваются достаточно сложные отношения, в которых огромную роль играет цитирование, диалог, перевод. Рассматривая их соотношение, можно сказать, что философ находился на том самом пути “сведения русского и церковнославянского воедино”², который наметил В. Тредиаковский. Об этом по-своему пишут и украинские исследователи. Как заметил О. Мишанич, Г. Сковорода писал “ученым, книжным языком. Фактически его язык – это смесь староукраинского, церковнославянского и русского языков, которые в то время использовались на Украине”³. Церковнославянский и русский литературный дополняют русский разговорный; реже – украинский, появляющийся спорадически. Кроме того, философ обращается и к древнееврейскому, греческому и латыни. Они занимают относительно изолированную позицию и входят в славянский текст на правах вставок. Есть редкие вкрапления других языков, немецкого,

польского и однажды даже венгерского. Очень часто и древние, и новые не-славянские языки попадают не в основной текст, а в примечания, которые по правилам поэтики барокко, являются органической частью текста⁴. Следовательно, они также должны быть рассмотрены наряду с основными языками, естественно, при учете того обстоятельства, что “работающими” языками для Г. Сковороды являются только славянские. Прежде всего они “формируют языковой материал, на котором строится символическое измерение языковой деятельности”⁵.

Г. Сковорода не просто употребляет эти языки, а фиксирует свое отношение к ним, рассматривая их культурные функции прежде всего сквозь призму оппозиции *сакральное/светское*. Язык “вѣтхославенскій” – это язык сакральный. Сковорода утверждает, что этот язык через Библию ведет человека к Богу. Следовательно, этот язык находится на высшей ступени иерархии, притом такой, что и процесс его изучения, по мысли Г. Сковороды, сакрализуется: «Учись священным языкам, научись хоть одному твердо и будь в числѣ научоных для царствія Божія книжников, о коих Христос: “Всяк книжник, научившійся царствію Б[ожію] ...” Вот для чего сії книжники учатся языкам» (1, 439). Из этого следует, что язык ведет человека к сакральному ядру знаний, учит быть добрым христианином. Овладев церковнославянским и древнееврейским, человек побеседует с “отцами вселенскими”, войдет в землю израильскую и в самый Вифлеем, в “дом хлѣба и вина”, в священнейший храм Библии. Оказавшись в библейском храме, он должен вести себя соответствующим образом: “Имѣй одѣяніе. Омы руки и ноги. Потом сядь за безсмертный стол сей” (1, 440). Так метафорически задано дистанцированное отношение к сакральному тексту. Потом человеку сказано: “Не тѣснися в солонку с господином. Помни, что не твоя плотская, но Господня есть трапеза” (1, 440). Это замечание метафорически раскрывает отношение философа к тексту, содержащего в себе тайну, которую человек должен раскрыть. Г. Сковорода, известный своим пристрастием к античности, специально оговаривает, что, выучив греческий, человек “прививается” с древними “языческими” философами, Сократом, Платоном, Эпикуром. Они для него – представители отнюдь не светского знания, так как, опираясь на их труды, он строит свою Христову философию.

Задав тему изучения сакральных языков, Г. Сковорода не приветствует многоязычия и не считает необходимым овладевать решительно всеми языками, так как они не могут привести к сокровенному знанию. Так вновь оппозиция *сакральное/светское* воздействует на его лингвокультурную концепцию. Отношение к светским языкам манифестируется в диалоге “Благодарный Еродій”. Его два участника, Еродий (аист) и Пишек (обезьяна) родом из эмблематики,

где аист именуется боголюбивым и наделен христианскими добродетелями, а обезьяна – способностью к подражанию, резко осуждаемой, ибо она присуща дьяволу, который, как известно, возлюбил все светское и мирское. Еродий и Пишек ведут ученую беседу о языке. Свою точку зрения философ, не разделяющий всеобщего интереса к иностранным языкам и не считающий их знание свидетельством высокой образованности, поручает Еродию. Противоположную точку зрения выражает Пишек.

Еродий равнодушен к делению языков на “шляхетные” и “ученые”, то есть на новые и древние, и даже не видит особой нужды их изучать. При этом он цитирует латинские стихи, упоминает, что отец его знает некоторые римские и “еллинские” сентенции и слова. По-французски же, с его точки зрения, говорят только попугай. В другом диалоге, кстати, сказано, что не нужно молокососу делать двух-трех языков попугаем, побывав в знатных компаниях и презнатных городах. Для Еродия главное – познание истины; ему неважно, в какой она существует оболочке: “Коликое идолопоклонство восписывать человѣческим наукам и человѣческим языкам восприносить и воспричтать воспитаніе? Кая полза ангелскій язык без добрая мысли? Кій плод без сердца благаго?” (2, 104). Он сливает воедино знание языка и христианские добродетели, полагая, что только “от Бога же все возможна суть” (2, 104). Таким образом, утверждается идея сакральной функции языка.

Пишек отдает предпочтение языкам “шляхетным”, новым. Он гордится знанием различных языков, охотно употребляет такие слова как *rarитет*, *канзис*. Смешиает и путает языки и в доказательство своих знаний произносит только набор приветствий: “Мир тебѣ! Хаэр! Салам али кюм! (...) – Бонжур! Кали имера! День Добрый! Gehorsamer Diener! Дай Бог радоваться! Salve!” (2, 101). Эта ученая обезьяна неожиданно даже переходит на церковнославянский: “Радуяся, яко начаша глаголати многими языки” (2, 101), который воспринимает как иностранный. Когда Еродий ему объясняет, что “вѣтхославенское” глум значит “провожденіе времени”, Пишек думает, что слово это не славянское, а иностранное. Для него неважно, какова функция языка, светская или сакральная; главное, чтобы язык был чужой, которому, по его словам, обучает ученый “всезычный” попугай. Только в обучении иностранным языкам он видит благородное воспитание, как видим, лишенное нравственного начала.

Указав на определяющую роль оппозиции сакральное/светское в лингвокультурной теории Г. Сковороды, рассмотрим теперь употребление различных языков и их взаимодействие в его сочинениях. Он обращается к “вѣтхославенскому”, когда цитирует Библию.

Списки цитат обширны. Так, например, на одной странице приводятся слова пророков Исаии, Варуха, Иеремии, Моисея. Постоянно цитируются притчи царя Соломона. Когда философ говорит о Библии и интерпретирует отдельные эпизоды, стихи, слова, то использует церковнославянский в той форме, которую В.М. Живов называет упрощенной⁶. Можно предположить, что в данном случае мы имеем дело с известной риторической задачей – *Imitatio*. Таким путем философ подражает священному тексту, осознавая высокий ранг избранного им языка. Этот язык ему необходим для передачи высоких истин. Он нуждается в нем, когда ему на ум приходят священные предметы. Описывая прекрасный сад, беседку, где он сидит с друзьями, разглядывая чудесные цветы, философ вспоминает пасхальный эпизод. Он не выстраивает сложных логических переходов от описания конкретного пейзажа к евангельскому сюжету и сразу переходит к нему, так как каждый знает, что есть Пасха: “И мнѣ сії, пред нами цвѣтущіє крины селнѣ, дышущіє во обонянніє наше фіміамом своего благоуханія возвели на сердце сидящаго на гробном каменѣ Матфеева ангела” (1, 300). Зато Г. Скворода меняет язык описания, переходя от литературного языка к церковнославянскому.

С точки зрения философа, за церковнославянским не закреплена только одна-единственная позиция. На этом языке можно писать и о не сакральном. Иногда он говорит на нем о повседневном, таким образом расшатывая фиксированное употребление слова. О себе самом в одном письме, что очень важно, так как эпистолярный стиль вовсе не требует сакрального языка, он говорит следующее: «Твой сын, Григорій Скворода упивается от тока дому Божія, нашед внутрь себя со Соломоном сот вѣчности, и услаждается со отцем своим Лотом оным: “Народ мой даде воню свою”» (2, 361–362). Благодарность другу за присланное вино выражает аналогично: “Всепокорно благодарю за кровь гроздову. Мы с братом Василем аbie разрѣшили и, желая Вам и всему Вашему дому с любезною Христиною здравія, потягли в собственное наше здравіе лѣбо-лѣпо” (2, 370). Он оснащает библейскими оборотами послания к друзьям, как например: “Дал еси веселіе в сердцѣ моем” (2, 411). Используя церковнославянский, Г. Скворода понимает, что знают его далеко не все. Он даже настолько не уверен в этом, что в примечаниях переводит отдельные слова. Например, объясняет значение “вѣтхославенского гласа” – *сирище* (2, 67). Быстро проговорив, что это есть “тѣлесная внутренность”, философ размышляет о смысле плотского начала в человеке. Таким образом, перевод снабжен интерпретацией, играющей ведущей роль в работе философа со словом.

Хотя церковнославянский находится на вершине иерархической лестницы, трудно было бы ожидать, что только с его помощью фи-

философ помогает читателю проникнуть в суть священного текста. Как только он начинает его интерпретацию, то переходит на русский литературный, который, как известно, содержал множество церковнославянизмов. “Новый русский литературный язык мог с равным успехом черпать и из русского, и из церковнославянского источника”⁷. Русский литературный – это основной язык, на который философ переводит сакральные ценности, так как не только хочет представить читателю высокие истины на подобающем им языке, но и дать ему возможность проникнуть в них более простым путем. Переход с языка на язык естествен, так как все сочинения философа на самом деле – это развернутая проповедь, которую он готов говорить бесконечно, повторять и возвращаться к сказанному, используя хорошо известные ему приемы проповеднической литературы. Русский язык для него – это язык проповеди, которую и не следует произносить высоким стилем и которая требует стиля среднего: “Люди в жизни своей трудятся, мятутся, сокровиществуют, а для чего, то многие и сами не знают (...) достаем высокие чины (...) изобрѣтаем разные напитки, кушанья, закуски для услажденія вкусу; изыскиваем разные музыки, сочиняем тьму концертов, минутов, танцов и контратанцов для увеселенія слуху” (1, 324).

Переходя на литературный русский, Г. Сковорода не выделяет особо присущие ему церковнославянизмы, хотя они и остаются показателями высокого стиля. Не считает он необходимым осовременивание этого языка, хотя оно и происходит. В этом можно видеть знак свободы обращения со священным текстом, а также очевидную тенденцию приблизить его к читателю, что имеет глубокий смысл – все библейские события происходят везде и нигде, всегда и сейчас. Потому и заимствования, характерные для русского языка XVIII в., попадают в сочинения о пророках и Господе. У Г. Сковороды сам Бог говорит: “От моего парламента и совѣта посланы были, слышанныи сотворили бы словеса моя” (1, 231). Перефразируя пророка Иоиля, философ уверяет, что каждый у брата, не обижая его, займет “половинную квартеру”. Появление подобных заимствований осовременивает текст, как и высказывание “раздѣлили себѣ ризы по модѣ Пентефриевой жены” (2, 44). Не только осовременивание, но и упрощение происходит при пересказе священного текста. Так, философ может сказать, что пророк Илия носит шинель, или бурку, а Даниил дует в дудку. Сердце “златожаждное” мудрствует у него о кошельках, чемоданах и мешках. Обличая собеседника, Г. Сковорода говорит, что он может “из кота кита, а из нужника создать Сион” (1, 293). Рассуждая о языке и различая вслед за Евангелием старый и новый язык, Божий и человеческий, философ находит для этого различия на первый взгляд бытовое сравнение. Когда трактирщик подносит два стакана вина, нового и старого, их трудно разли-

чить тому, кто не знаток вин, и он по ошибке принимает старое за новое. Так смысловая оппозиция новое/старое конкретизируется.

Приводя церковнославянский и литературный русский во взаимодействие, философ мог изолировать их друг от друга. Библию цитирует по-церковнославянски, русский становится языком его различных стихотворений. Но чаще он допускает смешение двух языков на предельно малом пространстве текста. Оно происходит не потому, что Г. Сковорода не осознает их иерархии. Таким путем он решает важнейшую задачу, заставляя читателя приблизиться к сакральным истинам, а затем отдалиться от них с тем, чтобы воспринять их полностью. Трудное и легкое – категории, о которых он пишет непрестанно, цитируя без устали Эпикура, – таким образом сближались. Г. Сковорода заботится не только о том, чтобы читатель постиг трудное через легкое. Философ также стремится приблизить его к священному тексту, для чего и говорит о нем на понятном читателю языке. Он даже готов занять позицию наблюдателя по отношению к библейским событиям, и тогда уж определенно забывает о церковнославянском. Эти события происходят у него на глазах, он видит их воочию, они радуют его и даже смешают: я “сам (...) чуть ли бы от смѣха удержался, видя Давидово плясаніе о том, что втащил в крѣость свою сундучище с каменными таблицами” (1, 366).

Таким образом, специфика употребления церковнославянского и русского языков состоит в том, что они являются взаимодействующими величинами. Во всех сочинениях идет постоянный перевод с церковнославянского на русский, языки смешиваются, и эта ситуация является основным показателем отношения Г. Сковороды к языку и слову. Он не раз пишет о том, что, как ни назови вещь, она останется собою, что на разных языках одно и то же называется по-разному и с целью доказательства этой идеи выстраивает длинные списки синонимов и слов различных языков с одним значением. Г. Сковорода сопоставляет их в поисках значения, указывая на то, что внешняя оболочка – ничто по сравнению со значением: “Нѣт ничего, что один знает ἄρτος, а другой – panis, только бы в разумѣ не порознились” (1, 329–330). Хотя примеры здесь приведены из греческого и латыни, их смысл универсален. Заметим, что избранный философом принцип лежит в основе его теории перевода, на которой следует кратко остановиться, так как процедура перевода с одного языка на другой является для него одной из важнейших в познании значений всего сущего. Она содержит многие его культурно-языковые представления. Он объясняет, что переводить отдельные слова нельзя, “ибо об одном и том же предмете римлянин говорит так, а немец иначе” (2, 345). Однажды он демонстрирует непереводимость на примере одной украинской пословицы, которую нельзя передать

ни по-гречески и ни по-латыни, и объясняет эту ситуацию культурной спецификой языка. Всякий раз он отмечает, что при переводе заботится о том, чтобы передать дух произведения, но не красоты стиля, выступает против буквального перевода, за истолкование. “Переводчик ставит слово вместо слова, как зуб вместо зуба, а истолкователь, как нежная кормилица, кладет в рот своему кормильцу разжеванный хлеб и сок мудрости” (2, 469). Как видим, принципы пословного перевода были чужды Г. Сковороде. Он выше всего ставит интерпретацию, без которой, как известно, немыслим ни один барочный текст.

Г. Сковорода не останавливается на смешении церковнославянского и литературного русского и обращается к разговорному языку. Точнее, он совершает к нему рывок, что приводит к самым неожиданным столкновениям высокого и низкого. Он “вбрасывает” просторечия в церковнославянский и русский, явно любясь проделанной работой. Толкуя значение Библии и утверждая, что она “есть книга и глагол, завѣщанный от Бога”, Г. Сковорода уверен в том, что так сказать – это значит ничего не сказать. Потому он сообщает, что это “и бабушка знает (...) Знает сіе всякая дура” (2, 47). Так просторечие останавливает ровное движение высокого слова и создает разрыв. Различия в лексике огромны, они могут быть восприняты как неуважение к священному тексту, и философ это осознает, стремясь вновь возвысить только что сказанное. Такие же процедуры Г. Сковорода проделывает со словом молитвы. После процитированных слов: “Да придет царствіе твое” и призыва: “Ищи и день, и ночь вопли” – следует: “А без сего наплюй на всѣ дѣла твои, сколько ни хороши они и славны” (1, 419). Так в слове реализуется антитеза высокого и низкого, и сакральное сближается не только со светским, но и с повседневным и даже грубым, что вновь, но уже иными путями приближает к человеку священные истины.

Эта тенденция особенно резко проявляется при столкновении библейской цитаты с просторечиями. Варьируя строфы Песни Песней, аллегорическая фигура, Душа, говорит: «Но гдѣ мои дщери іерусалимскія? (...) То просит: “Воведите мя в дом вина”» (2, 157). Размышая о только что сказанном, эта фигура отрицает сказанное следующим образом: “Зачем ей в трактире ходить? Захотѣлось вина и благовонных помад?” (2, 157). Два языка, сведенные в одном высказывании – свидетельство вечности библейских истин и возможности проникнуть в них Простецу. Это высказывание, с точки зрения философа, наглядно представляет библейскую ситуацию. Аналогично построено и следующее высказывание: “Востани, пробудися, Сионе! Что ты плетешь!” (2, 169). Философ поручает Мелхоле следующие слова о пляшущем перед ковчегом Давиде: “Конечно, он спился или от меланхоліи с ума сошел” (1, 366). Таким образом, на

какой-то момент он уравнивает в правах разговорный язык и язык Библии. Высказывание о всесильном духе, уловляющем великого кита, строится на библейской цитате, но таким образом, что оно звучит не только возвышенно, но и приземленно, так как переводится в другой регистр: “Или свяжеши его, яко врабія дѣтищу?” – “Он один сім змієм, как дѣтина воробьем, играет” (1, 386). Детище становится детиной, врабие – воробьем.

Вставки разговорного языка создают в сочинениях Г. Сковороды постоянные стилистические перебивы. После высокоумных речей о противопоставлении внутреннего и внешнего следуют такие восклицания: “Вот тебе на! (...) Вот он куда выехал! (...) Что ты, пень, что ли?” (1, 293–294). После рассуждения о едином и различном – “Ты будто муравейник палкою покопал – так вдруг сим вопросом вззволновал наши желанія” (1, 325). Можно предположить, что обращение к разговорному языку, по мысли философа, должно способствовать усвоению великих истин. Они становились для человека своими, привычными; он воспринимал их смыслы на том языке, на котором говорил сам, причем о том, что его окружало в повседневной жизни. В этих высказываниях, возможно, таится указание на то, что великие истины образовывали некий мир, в котором собеседники философа, а за ними и читатели, существовали как в своем, реальном и близком. Они воспринимали их, не только трепеща перед священным, но и присваивали их себе, преднамеренно упрощая, творя из них свой круг жизни. Заметим, что аллегории, выходящие на “театр души”, также вели беседы на этом простом языке. А одном диалоге Дух так умеряет пыл Души: “Цысс-сысс-сысс! Тише, потише, голубко моя! Оглядайся, как притча учит, на заднія колеса. Не спѣши!” (2, 151). И тут же следует обращение к высокой лексике: “Ах, да не пожрет тя дракон и потоп!” (2, 151). Кроме того, в стяжении языков явно просматривается антитеза высокого и низкого, на которой строится поэтика Г. Сковороды. Он намеренно “разводняет” свой язык просторечиями, противопоставляя их высокому библейскому слогу. В этом видится имитация разговорной речи, так как философ всегда был настроен на беседу со своим читателем и вторил проповеди.

Рассмотрев, каким образом церковнославянский, литературный русский и разговорный употребляются в сочинениях Г. Сковороды, перейдем теперь к древнееврейскому языку, к которому философ испытывал большое почтение как к языку сакральному, заметив, что отношение к нему не выявлено в текстах философа в значительной степени, что несколько противоречит существующей концепции о связи учения Г. Сковороды с еврейскими мистическими учениями⁸. Существует миф о том, что у него была древнееврейская Библия и что он всегда носил ее с собой. Если это верно, то то-

гда непонятно, почему философ обходится только отдельными словами так любимого им языка. Кстати, по замечанию М. Вайскопфа, Г. Сковорода неверно переводил *Иерусалим* как *Mир-город*. «Эта этимология была издавна известна на Руси; ср. хотя бы разъяснение “Иерусалим-град” у Максима Грека: “А по-русски Мирен град”»⁹. Но все же значение древнееврейского языка было для философа велико. Примечательно, что рассматривая слова Библии: “Вначале сотворил Бог”, он, чтобы вникнуть в смысл этих слов, цитирует Книгу Бытия по-древнееврейски: “Я гиммел, къ я гарец” и тут же объясняет – “Сie небо и сю землю” (2, 18). Эти слова не пристали вселенскому миру, – считает он. Если существует только одна земля, как прежде думали, то тогда некстати говорится: “Сю землю”. Так Г. Сковорода вступает в ученый спор со священным текстом.

В основном он переводит и интерпретирует отдельные слова древнееврейского языка. Слово *возок*, полагает философ, “по-еврейски чуть ли не херувим” (1, 381). Сталкивает он древнееврейский с другими языками. Рассуждая о слове *музы*, он утверждает, что оно еврейского происхождения, так как близко к слову *музар*, означающему, по его мнению, всякое учение, или нравственную науку. Философ не только занимается этимологией, рассматривая отдельные слова этого языка, но и объясняет их через другой язык или на другом языке, как слово *кефа*: “Haec et nobis est kepha et petra gr. skala” (2, 363).

Иногда философ прослеживает путь древнееврейского слова в родной язык и вскрывает его исконное значение, как в случае со словом *Едем*. Рассуждая о высказывании “Насади Бог рай во Едемъ на востоцъх” – Г. Сковорода возражает: “Вот болтун! Сад насадил в саду. Еврейское слово Едем есть то же, что сад” (2, 149). Как видим, со священным текстом он беседует в непринужденной манере, будто не испытывая к нему питета, и делает не раз. На самом деле так он приближает его к повседневности. Доказывая его “неправильность”, философ выстраивает тавтологическую фигуру *садовый сад*. Однажды он обращается к древнееврейскому, объясняя, что значит сад Савек. Ови “рогами привязан к саду Савек. Что значит Савек? Савек значит храстіе” (2, 168). Иногда он употребляет древнееврейские слова, не объясняя их и не переводя. Так он прямо называет Пасху *шабасом*. Он вспоминает “еврейского сфинкса”, сильного князя Иефая и его слова: “Рцыте: клас (шиболет – еврейски)... Не выгласили ши-, но сиболет, сего ради погибли (Книга судей)” (2, 25), – сообщает он в примечании.

В связи с древнееврейским языком и его статусом интересно рассмотреть отношение философа к имени. Он называл себя не только собственным именем, но, архаизируя отчество *Саввич*, создал еще

одно, Варсава. Он подробно объясняет, что “Вар, правдивее же Бар, есть слово еврейское, значит сын; Сава же есть слово сирское, значит субботу, покой, праздник, мир” (2, 108). Один персонаж диалога – жаворонок – получает имя Сабаш. Г. Сковорода так интерпретирует это значимое имя, или, как он говорит, фамилию: “Сабаш значит праздный, спокойный, от сирского слова саба или сава, сиръч мир, покой, тишина” (2, 121).

Выступают, как уже говорилось, у Г. Сковороды греческий и латынь, причем гораздо чаще, чем древнееврейский. Латынь для него – это светский язык, а не сакральный, как и следовало ожидать. Только однажды Г. Сковорода заговорил о римской Библии: “Для чего же в римской Біблії читают: *in columnā nubis*, сиръчъ в столпѣ облачном, а не читают: *in turri nubis?*” (2, 159). На что следует знаменательный ответ: “Преткнулся толковник” (2, 159).

Философ использует латынь прежде всего как эпистолярный язык. На нем он пишет письма своим ученикам, что можно рассматривать как желание продемонстрировать владение древним языком и приохотить к знаниям. Латынь – это также язык учености, о чем свидетельствует множество определений, сделанных по-латыни, как например: “Емвлима, то есть вкидка, вметка, вправка. *Injectio, inseratio, tanquam. Praetiosi lapilli in loculum sive oculum annuli*” (2, 22). Также трактуя вопрос о знаке через концепт тени, Г. Сковорода делает латинское примечание: “*Id est umbra sum est figura; amplius nihilum*” (2, 27). Иногда он просто переводит только что сказанное им на латынь, создавая таким образом повтор с целью усилить сказанное и одновременно повышая ранг высказывания.

Латынь для Г. Сковороды – это и язык совершенной поэзии, которую он ценит очень высоко за краткость слога и афористичность. Сам он переводил оды Горация, Овидия, часто цитировал их и других авторов, не смешивая латынь со славянскими языками, что свидетельствует о ее изолированной позиции. Правда, латинские цитаты Г. Сковорода тут же переводил, необязательно дословно: «Оправдаясь же в пользу нам древняя притча. *Turdus, ipse sibi malum sacat* – “Погибель дроздова из внутрь его исходит”» (2, 95); “*Tolle voluntatem propriam et tolletur infernus* – Истреби волю собственную – и истребится ад” (1, 87), – приводит философ слова столь любимого им Августина; «*Festina lente* – “Поспѣшай с совѣтом” (1, 436), “*Nihil est omni parte beatum* – “есть чаша всѣм людям”» (1, 82). Перевод он считает столь необходимым, что делает его даже для известных высказываний и выражений, как например: “*Pro memoria, или припомнаніе*” (1, 87). В другой раз сказано: “*Pro memoria, т.е. записка ради памяти*” (1, 85). Следуя правилам школьной учености, приведя цитату, философ дает оценку ее достоинствам. Иногда оценка предваряет цитату: “Премудро и у римлян говоривали: *Annus pro-*

ducit, non ager" (1, 121). Обращается философ к латыни для построения этимологических фигур, для раскрытия внутренней формы слова: "Алауда – римски значит жайворонок, a lauda – хвалю, римски – laudo, лаудо; лаудон – хвалящий" (2, 125). Дает он своим стихотворениям латинские названия, как например, "Simulitudines ex Vergilio 2. Aeneidae". Если названием стихотворения служит наименование жанра, оно также дается по-латыни – "Fabula", "Carmen", "Epigramma". Он сам пишет латинские стихи, следуя правилам школьной поэтики, проявляя знание римской мифологии. Сонм античных богов населяет его сочинения. Есть у него и такие стихотворения, которые можно назвать двухчастными, как стихотворение "Quid est virtus?". Первая его часть написана по-славянски, вторая – по-латыни. К славянским стихам он обычно предпосылает латинские изречения. Латынь для Г. Сковороды – это также язык философии. Г. Шпет подчеркивает, что он был знаком с трудом Оригена "О началах", со "Строматами" Климента Александрийского, особенно с книгой пятой. Цитирует Г. Сковорода стихи Бозея, вспоминает стойков.

Порой философ стремится снизить высокий статус латыни и превратить ее в язык повседневности, в чем видятся школьные традиции. Латинское изречение *invitae Minerva* (без дозволения Минервы) он интерпретирует с помощью просторечий и пословиц: "Не пьялься к тому, что не дано от природы", "Без Бога, знаш, нелзя и до порога" (1, 436). Он охотно пересказывает и иллюстрирует сентенции, как сентенцию императора Тита: "О други мои! Погърял я день...", "(...) Не проси дождя, по пословицѣ, проси урожаю" (1, 419). Некоторые из этих сентенций становятся пословицами: "Боязливого сына мати не рыдает" (2, 411). Кроме того, он пишет по-латыни обычные просьбы в письмах: "Mitte, sodes, saltem unicum fasciculum centaurei majoris; sive cardui benedicti. Macerabimus aut vino aut sikera!" (2, 410), явно создавая игровую ситуацию.

Таким же ученым языком, как латынь, был для Г. Сковороды древнегреческий. Заявив о его высоком сакральном положении, далее он оставляет эту идею и, например, нигде ни разу не упоминает о греческом источнике священных книг, как это делал, например, А.А. Барсов¹⁰. Греческий был для него и языком совершенного искусства, может быть, даже в большей степени, чем латынь. Философ убеждает своих учеников в том, что они должны возлюбить "греческих муз", которых называет изящными, очаровательными Каменами, вспоминает небесный Геликон, переводя, таким образом, античные мифологемы в статус символов христианского мира. Отношение к греческому языку сливается с отношением к античности в целом. Г. Сковорода беспрестанно ведет разговоры о музах и Аполлоне, называет имена великих древнегреческих поэтов и фило-

софов. Для Г. Сковороды Гомер – первый пророк древних греков, главный творец троянской истории. Он упоминает о гибели Трои, о мудром Улике, которого домой “судбина приихала”, об Ахиллесе, взиравшем на “войинский театр”. Особенную симпатию у него вызывает Эзоп. Знаком Г. Сковорода с античной мифологией: Тантал, Крез, гордый Фаэтон, Циклоп, рыдающий в небесных странах, появляются на страницах его сочинений. Нарцисс становится символом самопознания человека. Таким же самостоятельным символом стал у него царь Эдип. Неоднократно ссылается на Сократа, приводит исторические анекдоты о нем; вспоминает фонарь Диогена, дни свои проживавшего в “веселии сердца”.

Г. Шпет пишет, что Г. Сковорода хотел быть “русским Сократом”, часто его называли украинским Сократом. Уподобляли философа Сократу и при жизни. Эти два имени постоянно сталкивались в культурном сознании. Существует молитва, приписываемая Г. Сковороде, в которой его творчество напрямую связывается с именем античного философа. Вслед за В.Ф. Эрном приведем ее полностью: “Отче наш, иже еси на небесех. Скоро ли ниспошлешь нам Сократа, который бы научил нас наипервее познанию себя, а когда мы себя познаем, тогда мы сами из себя вывьем науку, которая будет наша, своя, природная. Да святится имя Твое в мысли и помысле раба Твоего, который замыслил умом и пожелал волею стать Сократом на Руси”¹¹. Так сплетаются воедино знание языка и отношение к культуре.

Греческий, как и латынь, предоставляет Г. Сковороде огромный материал для создания афористических формул, которые не раз превращаются в пословицы, что слегка смягчает его изолированное положение. Цитируя греческих авторов, делая в письмах и в латинских стихах, которым иногда даются греческие названия, греческие вставки, Г. Сковорода в одном письме просит исправлять ошибки, как бы сомневаясь в своих силах. Возможно, что таким образом он вызывал своего ученика на диалог о греческом языке, который он, кстати, довольно долго преподавал. Одно небольшое письмо написано по-гречески. Также многие письма Г. Сковорода подписывал на этом языке, именуя адресата другом из Аттики. Появление греческого в письмах, которые построены как риторические упражнения или краткие проповеди, свидетельствует о его дидактической функции. Философ стремится показать свою ученость ученикам и друзьям, научить их языку, который необходимо знать. Даже сатана (даймон) в одном из его диалогов, гордясь своей ученостью, читает стихи по-гречески и по-латыни, на что в ответ сам Г. Сковорода, выведенный в этом диалоге под именем Варсава, отвечает следующим двустишием: “Когда Израиль почтет над крастели стерву, Тогда и я предпочту вепра над Минервой” (2, 87). О “на-

учном” статусе греческого свидетельствуют многочисленные примечания, толкующие смысл отдельных греческих слов, обычно с переводом на другие языки: “У еллинов піта називался тот, кто у еврей пророком. Пророческие писанія назывались у еврей п'єснями и твореніями, а у еллинов – музы, піты, сир'чъ п'єсни, творенія, створенія” (2, 204); “Адоній еллински значит п'євца, ода – п'єсня” (2, 127); “Одигітрія – слово еллинское, значит путеводница, наставница” (2, 83); “Сирен, еллински Σειρήν, сир'чъ путю, оковы. Сей урод прекрасным лицем и сладчайшим гласом привлекает к себѣ и сон наводит мореплавателям” (1, 72). Разбирая слово *гръх*, философ обращается к греческому ἄστατον, объясняя, что оно означает “быть безпутным, что же бедственнѣе, как шествовать без дороги, жить без пути, ходить без совѣта?” (1, 376). Стремясь наполнить содержанием слово *истина*, Г. Сковорода начинает поступательное движение от слова *память*. Что оно значит? – “Беззабвение”. Назвав это слово, он обращается к греческому и разъясняет: “Забвение еллинами глаголется – лифа, беззабвение же – алифія; алифія же есть истина. Кая истина? Се сія истина Господня” (2, 128). Описывая символического змея, свитого в кольцо, Г. Сковорода, чтобы объяснить его природу, обращается к греческому слову, обозначающему дракона. Как свидетельствует греческое имя, у дракона островое зрение, утверждает философ. Его занимает греческое наименование тетерева: “Салакон есть еллинское слово, значит нищаго видом, но лицемѣрствующаго богатством фастуна” (2, 120). Объясняя происхождение слова *пирамида*, он полагает, что это “слово еллинское, значит горнія комнаты и обители, воздвигнутыя по образу головы сахарныя или пламене” (2, 60). Ад – “слово еллинское, значит темницу, мѣсто преисподнее, лишенное свѣта” (1, 87). Философ, как всегда, надеется, что сказанное на другом языке слово полнее раскроет значение, и более того, в нем отыщутся те значения, которые скрыты в другом языке: “На нашем языкѣ скверное, а на еллинском лежит κοίνον, то есть общее – все то одно: общее, свѣтское, скверное” (1, 332).

Латынь и греческий как языки учености встречаются и как равноправные. Можно сказать, что греческий редко встречается без латыни, почти всегда они соседствуют. Г. Сковорода дает примечание к диалогу “Брань архистратига Михаила со Сатаною”, указывая на источник: “Сіи стихи суть из древняго трагедіографа Эурипіда” (2, 70) и приводит их по-гречески и по-латыни. Одно и то же высказывание параллельно дается на разных языках, как излюбленная сентенция философа: “Узнай себя самого”. Очевидно, что в данном случае действует принцип повтора; кроме того, таким путем философ демонстрирует распространенность этой сентенции в древнем мире, спр. “Предрѣвнейшее слово сіє” (1, 413). Одобряя своего ученика за

успехи в греческом, он пишет слова одобрения по-латыни: “Graeculus tuus per amanter est a me exceptus” (2, 276). Основываясь на сходной функции языков, философ латинские и греческие слова часто приводит последовательно, как небольшие словарные статьи: “Противный же сему Софдс, или Philosophus. А пророк – профитie, сиръчъ просвѣщатель, или звался – Пойтс, сиръчъ творец” (1, 285). Аналогично вводит философ “чистъйшій спирт небесный, нареченный у елин сұра” (1, 299). В примечании он подыскивает греческий синоним и латинский перевод *aether*. Объяснение этого слова дано по-латыни “coelum, quod supra nubes” (1, 299). Многие термины Г. Скворода приводят по-гречески и по-латыни одновременно как *emphasis*, аутитоъ. В одном случае греческий язык поставляет философу эвфемизм: “Афедрон со всяким своим лицем есть афедрон” (1, 279). В некоторых случаях философ играет созвучиями греческого и русского, добиваясь эффекта, известного народному театру, когда греческое Харá вызывает вопрос: “Что значит сія твоя харя?” (2, 110).

Выразив несколько раз пренебрежительное отношение к новым языкам и неизмеримо выше ставя языки древние, которые есть языки учености и святости, философ все-таки обращается и к ним, не обращая внимания на их статус. Он не противопоставляет их языкам высшего ранга; они нужны они ему в первую очередь для лингвистических построений, где не важны ни происхождение языка, ни значения слова, а только его звучание: “И сіе ли есть, по-германску, шпіцбуб, по-грецку – хімера, хімара, а у нас то же, что мара?” (2, 151). Г. Скворода, полагая, что мысль человека есть сердце, замечает, что “отсюду у тевтонов человѣк нарицается меньш, сиръчъ mens, то есть мысль, ум; у еллинов же нарицается муж фос, сиръчъ свѣт, то есть ум” (1, 160). Однажды философ пишет: “Баволна значит от древа рожденная волна; это есть слово немѣцкое баумволле; баум – дерево, волле – волна” (2, 132). Заметим, что слово это употребляется в рождественской песне, сочиненной философом. В одном примечании он объясняет, что *portmiez* – это слово французское, и тут же переводит его на латынь: “Портшез есть слово (думаю) французское, римски – lectica” (2, 209). Однажды философ, бывавший в “Гунгари”, вспоминает венгерский язык. Если по-венгерски Бог именуется *иштен*, то значит это только одно: Бог есть истина: “Да и теперь в нѣкоторой землѣ называет Бог иштен” (1, 146). Так вступает в действие этимологический принцип, который часто применял Г. Скворода. Отдельные слова других языков, в том числе, мертвых, чаще всего имя, возникают в тексте, поражая нас отдаленностью заимствования, а Г. Сквороду – сходством звучания: “Нынѣ египтес Исыс именем, и естеством есть то же, что павловскій Иисус” (1, 426).

Ученик Г. Сковороды, М. Ковалинский замечает, что так как философ “писал для своей стороны, то и употреблял иногда малороссійскія нарѣчія и правописаніе, употребляемое в произношенніи малороссіском: он любил всегда природный язык свой и рѣдко при нуждал себя изъясняться на иностранном”¹². Сам Г. Сковорода имеет украинский язык “здешним наречием” (2, 330) и “малороссийским діалектом”, утверждая, что именно на нем написал одну из своих песней: “Римского пророка Горатія, претолкованная малороссійским діалектом в 1765-м годѣ” (1, 82). На самом деле стихотворение написано по-русски. Достаточно привести хотя бы одну строфу: “За тобою маршируют, разоряют города, Цѣлый вѣк бомбандируют, но достанут ли когда?” (1, 82). Українізми в сочиненіях Г. Сковороды только проскальзывают, как *шибеница, простесенько, фастун хлопец, научився, сличный*. Ср.: “И сей двойцѣ отдайте от меня низесенъкій поклон” (2, 412); “Скажите мнѣ, кто у вас че ловѣк, боялся Господа? Кто? Не Ханаан отрок и хлопец, но прямой муж оный” (2, 41). Однажды Г. Сковорода завершает диалог народной “пѣсенкой”: “Соловеечку, сватку, сватку! Чѣ бывал же ты в садку, в садку? Чѣ видал же ты, как сѣют мак? Вот так, так! Сѣют мак. А ты, шпачку, дурак...” (2, 118). Приведя этот текст, явно соотносящийся со словесным рядом народной игры, он пишет, что домашние певчие пели эту песню для увеселения епископа Иосафа Горленко. Иногда Г. Сковорода вспоминает польские слова, например, объясняя, что “дроздики или польски – косики, ржащія как ко ни” (2, 95).

Итак, когда Г. Сковорода вводит в свои сочинения различные языки, то придает им статус языков культуры. Он наделяет их особыми функциями, заставляя взаимодействовать между собой, что создает особую полифоничность его текстов. Порой он выдвигает идею равноправия языков, что, может быть, отголоском барочной концепции единого, универсального языка. Церковнославянский, перемежающийся с русским литературным и разговорным и смешивающийся с ними – это комплекс языков философа, на котором он излагает свое учение о Библии, мире и человеке, сталкивая высокое и низкое, повседневное и возвышенное. Один из них – это язык сакральный, другой – светский, способный передать сакральное содержание. Древнееврейский также относится к сакральным языкам, но редко встречается и употребляется не часто и непременно с переводом. Латынь – язык учености и искусства; его употребление знаменует отношение Г. Сковороды к науке в целом и к той позиции, которую он занимает по отношению к римскому кругу славянской культуры. В отличие от многих своих предшественников, он целенаправленно нарушает границу между ним и православным кругом славянского мира культуры. Греческий язык практически выбыл из

сакрального круга, где должен был бы быть, и превратился в язык учености и искусства.

В заключение приведем три знаменательных примера. В “Песне”, открывающей “Разговор, называемый Алфавит мира, или букварь мира” после слов: “Ты, святый Боже, и въков творец, Утверди сie, что сам создал. При тебъ может все в благій конец Так попасти, как к магниту сталь” следуют аллюзии на известную притчу о спорщиках: “Вот кто-то косит!” – “Се ктось стрижет!”. Возникает просторечие *голосит*, после чего следуют латинские стихи: “Inveni portum – Jesum. Caro, munde, valete! Sat me jactastis. Nunc mihi cera quies” и четверостишие, возвращающее нас к основному языку данного текста. Очевидно, что языковые сбивы неслучайны. Чтобы проиллюстрировать основную тему “Песни”, философ показывает высокое через низкое. Но на низком нельзя остановиться и следует рывок вспять. Высоту смысла сказанного подтверждает двуязычие концовки. Можно привести еще один пример, более краткий. Вопрошая, овладел ли бы знаниями его собеседник, если бы “перезнал” все “телесные уды”, минуя голову, участник диалога Афанасий слышит ответ: “Фу! ... В то время был бы я самой изрядненькой чучел” (1, 426). И наконец, трактуя вопросы “авраамского богословия”, рассуждая о двух родах плоти и духа, участник диалога “Убогий жаворонок”, следуя правилам жанра, задает риторический вопрос: “Видиши ли сie?” и сам отвечает следующим образом: “Как не видѣть? Сie и свиня видит” (2, 126).

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Сковорода Г. Повне зібрannя творів. Т. 1–2. К., 1973. Т. 2. С. 345. В дальнем указания на сочинения Г. Сковороды даются в тексте в круглых скобках: первая цифра означает том, вторая – страницу.

² Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 277.

³ Мишанич О. Григорій Сковорода. Нарис життя і творчості. К., 1994. С. 29.

⁴ Михайлова А.В. Языки культуры. М., 1997. С. 77.

⁵ Живов В.М. Указ. соч. С. 19.

⁶ Там же. С. 381.

⁷ Там же. С. 307.

⁸ Вайсконф М. Сюжет Гоголя. М., 1993. С. 531–532.

⁹ Там же. С. 215.

¹⁰ Живов В.М. Указ. соч. С. 321.

¹¹ Цит. по: Эрн В.Ф. Борьба за Логос. Опыты философские и критические // В.Ф. Эрн. Сочинения. М. 1991. С. 116–117.

¹² Ковалинський М. Жизнь Григорія Сковороды // Сковорода Г. Повне зібрannя творів, Т. 2. С. 474.

Л.Н. Смирнов

(Россия)

ОТРАЖЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ

В современных гуманитарных науках в последнее время все большую актуальность приобретает проблема “диалога” культур как в общефилософском мировоззренческом плане, так и в плане решения задач конкретных научных дисциплин. Значительное место она занимает в новейших концепциях, с разных сторон освещающих формы, способы и процессы межкультурного взаимодействия. В настоящее время, когда в общественной жизни особую остроту приобрели межнациональные столкновения и конфликты, несомненно актуальным является изучение тех социо-культурных областей, для которых характерно сближение, взаимодействие контактирующих национальных культур при сохранении ими своей идентичности. К таким областям относится, в частности, сфера художественного перевода как особого вида межкультурной коммуникации.

При изучении истории культурных взаимосвязей, которая охватывает, в частности контакты языков и литературу, важное место должны занимать и вопросы художественного перевода. Это определяется самой сущностью художественного перевода как особого объекта исследования, а также его ролью в развитии межлитературной коммуникации.

Взаимодействие культур проявляется, как известно, в самых разных формах, в том числе и в виде взаимных художественных переводов, которые по праву рассматриваются как одна из основных форм литературных взаимосвязей между народами (см. Гачечиладзе 1972, 6). Так, например, как конкретную форму межлитературной рецепции трактует художественный перевод Д. Дюришин (*Durišin* 1976, 140). В свою очередь Ф. Мико подчеркивает, что сам феномен художественного перевода “возникает и действует как конкретное проявление межлитературных отношений” (Miko 1984, 273), а значит и межкультурных отношений.

Существует богатейшая литература по различным вопросам, связанным с изучением художественного перевода. В ней даются разные определения этого сложного многоаспектного явления, по-разному трактуются основные понятия и термины, раскрывающие его специфические черты как процесса и как результата речевой и литературной деятельности. Постепенно данная проблематика из

сферах общей теории перевода, носившей по преимуществу филологический характер (переводоведения, транслятологии), переходит в введение относительно автономной области знания – теории художественного перевода.

При возникновении науки о художественном переводе в литературе четко разграничивались и даже противопоставлялись лингвистический и литературоведческий подходы (см. об этом: Людсканов 1971, 390–394). При этом некоторые авторы считали, что лингвистический анализ в данном случае представляет собой лишь подготовительный, предварительный этап на пути к основному, литературоведческому исследованию (ср., в частности: Horálek 1966, 151). Со временем прошло осознание того, что именно в области художественного перевода такое противопоставление нецелесообразно и в своих крайних проявлениях ошибочно. Сама специфика художественного перевода как явления, с одной стороны, принадлежащего к области искусства, к творческой литературной деятельности, а с другой стороны, несомненно подчиняющегося некоторым закономерностям, свойственным процессу перевода, перекодирования информации вообще, говорит о том, что литературоведческий (литературно-эстетический) и лингвистический подходы должны дополнять друг друга, они “необходимы и равноправны в практике и теории художественного перевода” (Людсканов 1971, 393).

Характерной чертой современного состояния разработки теоретических проблем художественного перевода являются, на наш взгляд, попытки и опыты создания переводоведческих концепций комплексного, междисциплинарного плана. Они включают аспекты литературно-эстетический, лингвистический, стилистический, коммуникативный, семиотический, культурологический, психологический и др. (междисциплинарный характер новейших теорий художественного перевода ярко раскрывается, например, в книге А. Поповича: Popović 1975, ср. также перевод этой книги на русский язык: Попович 1980). И это вполне оправдано, поскольку, как показали новейшие исследования, художественный перевод представляет собой не просто перекодирование инвариантного содержания из одной языковой системы в другую языковую систему, а проявление творческой литературной деятельности специфического характера, поставленной в определенную зависимость от оригинального художественного текста (уже существующего художественного произведения), и, как было сказано выше, конкретное воплощение межлитературных и межкультурных связей. Указанная зависимость заключается в том, что переводчик должен не просто верно передать на другом (целевом) языке идеино-тематическое содержание подлинника, а создать литературное произведение, обладающее самостоятельной художественной ценностью, но вместе с тем по ряду суще-

ственных параметров уподобляющееся этому подлиннику (по теме и сюжету, по идейно-образной структуре, по стилю, по эстетическому и эмоциональному воздействию на читателя).

В процессе художественного перевода и в созданном переводчиком тексте “встречаются”, соприкасаются и взаимодействуют не только два разных языка, но и две разные национальные (этнические) культуры: культура, к которой принадлежит данное оригинальное художественное произведение, и культура, к которой относится переводное произведение. Созданное на другом (целевом) языке, оно естественным образом будет отражать соответствующую национальную культуру; ее “присутствие” в нем обязательно, что обусловлено органической связью языка и культуры. Без этого переводной текст не может войти в ряд литературных произведений принимающей культуры. Сложность миссии переводчика заключается в том, что, не отрываясь от родного языка и своей культуры, он должен донести до читателя существенные элементы и другой, “чужой” культуры, отраженные в исходном языке и оригинальном художественном тексте.

В процессе переводческой межкультурной коммуникации оригинальный и переводной тексты занимают разные позиции и имеют неодинаковый статус. Оригинал выступает как исходный, опорный художественный объект, он является своеобразным “трамплином” для творческой деятельности переводчика. Этот текст, естественно, представляет собой вполне самостоятельное, независимое от другой культуры литературное произведение. Переводной текст (имеется в виду качественный, адекватный перевод), хотя и является автономным художественным произведением, то есть имеет сам по себе художественную ценность, все же, как отмечалось выше, характеризуется определенной зависимостью от исходного, опорного текста и, следовательно, от другой культуры. В отличие от оригинала в нем имеет место своеобразный синтез элементов двух контактирующих национальных (этнических) культур (ср. Гачечиладзе 1972, 146), проявляются их сходные и отличительные черты.

Доминирующая позиция оригинала в межкультурной переводческой коммуникации сказывается также в одностороннем воздействии исходной культуры на культуру принимающую (культуры исходного языка на культуру целевого языка).

Качественный художественный перевод пополняет корпус литературных произведений на конкретном национальном языке. В принципе по языку он не должен выбиваться из их ряда. Чем меньше ощущается иноязычность художественного перевода, тем он (при соблюдении прочих параметров) лучше. Хорошие переводные художественные тексты не только способствуют ознакомлению принимающего социума с идейно-эстетическими ценностями ино-

странной литературы, но и при определенных условиях могут стать существенным фактором развития и обогащения принимающей национальной литературы и культуры, а также данного национального литературного языка. Более того, на начальных этапах истории конкретной национальной литературы переводные художественные произведения играют порой не менее важную роль, чем произведения оригинальные. Примеры такого рода можно найти, в частности, в истории многих славянских литератур.

В отличие от оригинального художественного произведения, которое в данной национальной литературе представляет собой, как правило, определенную константу, его перевод на другой язык может быть многовариантным, то есть одно и то же произведение может быть переведено на данный язык разными авторами и в разное время (иногда с довольно большим временным интервалом). В связи с этим можно говорить о специфическом ракурсе проявления взаимодействия культур в художественном переводе. В подобных случаях при сравнении вариантов друг с другом и с оригиналом обычно удается установить определенный содержательный и лингво-стилистический инвариант перевода, но наряду с этим могут быть обнаружены некоторые различия в реализации оппозиции: оригинал // перевод, в том числе обусловленные развитием принимающей национальной литературы, ее жанров и стилей; эволюцией национального литературного языка; становлением и конкуренцией разных переводческих школ; индивидуальным стилем переводчиков и т.п. Например, в плане изучения истории русско-словацких культурных, литературных и языковых связей было бы интересно проанализировать три разных перевода на словацкий язык “Капитанской дочки” А.С. Пушкина, опубликованных в 1898, 1946 и 1953 годах, которые были сделаны соответственно Ю. Маро, Й. Грончо и Я. Ференчиком. Опыт подобного сравнительного анализа трех разновременных переводов на русский язык романа словацкого писателя Св. Гурбана-Ваянского “Летящие тени”, предпринятый нами ранее (см. Смирнов 1973, 154–168), показал, что такой аспект исследования важен не только в плане лингво-стилистическом, но и в плане истории литературных и культурных взаимосвязей.

Определенный круг проблем, связанных с изучением “встречи” национальных (этнических) культур на материале художественных переводов, естественно, относится к области научных интересов сравнительного литературоведения (идеино-тематическое влияние, типология сходств и различий национальных литератур. Соотношение образных систем, национальных поэтик и т.п.). Поэтому некоторые литературоведы вполне справедливо рассматривают теорию художественного перевода как составную часть литературной компаративистики (Д. Дюришин и др.).

Вместе с тем вопрос о взаимодействии культур в художественном переводе может рассматриваться также и с позиции лингвистики. Во-первых, переводной художественный текст (как и любой текст на конкретном языке) может представлять собой объект лингвистического исследования. Лингво-стилистический сопоставительный анализ оригинального и переводного текстов помогает выявить такие особенности и нюансы в их соотношении, которые не обнаруживаются при литературно-эстетическом подходе. Во-вторых, художественные переводы могут играть (и нередко играют) заметную роль в развитии и обогащении выразительных средств, в частности, словарного состава языка – рецептора. А это ведь тоже является конкретным результатом “встречи”, контакта двух культур и языков на базе художественного перевода. Ярким примером влияния переводов русской художественной литературы на развитие словарного состава чешского литературного языка эпохи национального возрождения (особенно в первой трети XIX в.) может служить формирование в нем поэтической лексики. Многие вводимые чешскими переводчиками в литературные чешские тексты русские слова воспринимались как элементы высокого стиля, в этой функции они закреплялись в чешском языке, входя в синонимические ряды с исконно чешскими словами. При этом они выступали как яркие стилистически маркированные лексические единицы. Богатый языковой материал и ценные наблюдения в этом плане находим в книге Г.А. Лилич, в которой раскрываются различные стороны процесса влияния русского языка на лексику чешского литературного языка (Лилич 1982). Автор приводит, в частности, следующие синонимические ряды, зафиксированные в чешских литературных текстах эпохи национального возрождения, в которых заимствованное русское слово нередко выступало в качестве “поэтизма”: *blahorodny* – *urozeny*, *chrabry* – *udatný*, *ladný* – *herzký*, *pěkný*, *luh* – *louka*, *něžný* – *outlý*, *měkký*, *pěvec* – *zpevák*, *sudba* – *osud*, *vesna* – *jaro*, *vojín* – *voják*, *žertva* – *oběť* и др. (Лилич 1982, 83–94).

Конечно, при рассмотрении проблем взаимодействия культур в художественном переводе с позиции лингвистики следует учитывать общую комплексную трактовку таких важных понятий переводоведения, как адекватность, эквивалентность, инвариант перевода и др. В новейшей литературе вопроса особенно активно и детально обсуждается понятие переводческой эквивалентности. Установление верности, адекватности перевода оригиналу (особенно художественного перевода) фактически уже никто не сводит к межъязыковой эквивалентности оригинального и переводного текстов (к однородности их элементов на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях). Известно, что даже в узколингвистическом плане нельзя говорить, например, о полной, абсолютной эквивалентности

лексических единиц разных языков (учитывая расхождение синонимических слов по их лексической и синтаксической валентности, по стилистической окраске и коннотативным свойствам). Некоторые авторы в связи с этим даже утверждают, что “языковая эквивалентность – это миф” (Тер-Минасова 2000). Следует также учитывать, что в литературном произведении смысловая структура слова (закрепленная в соответствующих словарях) может видоизменяться, поскольку она «расширяется и обогащается теми художественно-изобразительными “приращениями” смысла, которые развиваются в системе целого эстетического объекта» (Виноградов 1963, 125). Поэтому именно в теории художественного перевода обретает особое значение более широкое, наполненное новым содержанием понятие переводческой эквивалентности, так или иначе связанное с общим семиотическим и культурологическим подходом к решению данной проблемы. В новейшей научной литературе приводятся разные толкования понятия “переводческая эквивалентность”. В них обычно выделяются и акцентируются те или иные стороны и аспекты этого сложного многогранного явления. Для этого используются соответствующие определения, ср., например: языковая, стилистическая, синтагматическая, смысловая, динамическая, функциональная, прагматическая, коммуникативная эквивалентность и др. Разные типы эквивалентности описывает, в частности, З. Куфнерова (Kufnerová 1985, 237–242). Отметим, что в “Словаре переводоведческой терминологии” приводится более двадцати наименований разновидностей переводческой эквивалентности (см. *Tezaurus terminologii translatoryznej* 1993–1998). В современных трактовках переводческой эквивалентности хотелось бы подчеркнуть два существенных момента. Во-первых, в них на передний план выступает соотношение текстов, а не языковых структур, ср., в частности, следующее определение: “переводческая эквивалентность традиционно обозначает своеобразные отношения между исходным текстом Т1 (или его элементами) и текстом перевода Т2 (или его элементами). Иначе говоря, переводческая эквивалентность понимается как соотношение текстов (или их частей), а не как соотношение языковых систем (в целом или на каких-то определенных уровнях)” (Урбанек 1997, 53). Во-вторых, в последнее время все более заметное внимание уделяется культурологическому аспекту художественного перевода вообще и понятия эквивалентности, в частности. В этом плане значительный интерес представляет книга О. Рихтерека (см. Richterek 1999). Ярко выраженный культурологический подход при рассмотрении данной проблемы характеризует кандидатскую диссертацию Е.Е. Бразговской (Бразговская 2000). Не останавливаясь на данном вопросе более подробно, отсылаем читателя к содержательному обзору Дануты Урбанек о развитии теории эквивалентности (Урбанек

1998, 94–104). Она отмечает и такой интересный факт, что некоторые авторы новых концепций перевода вообще отказываются от понятия эквивалентности (например, П. Куссмаль, полагая, что нельзя сравнивать функции перевода и оригинала, предлагает использовать термин когерентность, под которым он понимает согласование текста перевода с ожиданиями, потребностями и интересами получателя) (Урбанек 1998, 100). С подобными взглядами, по нашему мнению, трудно согласиться.

Возвращаясь к рассмотрению вопроса о взаимодействии культур в художественном переводе с позиции лингвистики, заметим, что в данной специфической ситуации межкультурной коммуникации может быть особенно ярко проявляется столкновение двух разных языковых и культурных “картин мира”. Выявить конкретные зоны и точки подобного столкновения, взаимопроникновения, “конфликта” и “диалога” двух культур, закодированные в переводном тексте средствами целевого языка – одна из сложнейших задач, стоящих перед лингвистом, изучающим художественные переводы. Для того чтобы выяснить, какими языковыми средствами в переводном тексте передается, воспроизводится национально-культурный колорит оригинала, необходим тщательный лингво-стилистический со-поставительный анализ двух соотносящихся текстов. Посредством такого анализа устанавливается мера, степень адекватности, верности перевода оригиналу (как текста в целом, так и отдельных компонентов его словесно-художественной структуры).

Существо лингво-стилистической адекватности применительно к художественному переводу заключается, в нашем понимании, не в формальном совпадении и семантической тождественности языковых и стилистических средств перевода и оригинала, не в механическом копировании различных сторон последнего, а в создании на целевом языке целостной словесно-художественной структуры (литературного произведения), оптимально близкой оригиналу как по содержанию, так и по стилистической и эстетической ценности (более подробно об этом понятии см. Смирнов 1973, 500–517).

Степень близости перевода оригиналу по ряду лингво-стилистических признаков свидетельствует об определенных проявлениях взаимодействия двух культур. В общем плане в зависимости от того, какие языковые средства используются в тексте перевода для передачи национально-культурного своеобразия оригинала – “чужие” или “свои”, – можно наблюдать соответственно тенденцию к экзотизации или национализации.

В первом случае переводной текст насыщается языковыми и стилистическими средствами, типичными для оригинала, отражающими национальный колорит исходной культуры, но нехарактерными, непривычными для системы целевого языка. С внешней сторо-

ны как бы происходит некоторое сближение переводного текста с исходным. Однако существенный “перебор” инонациональных слов и форм, а также сконструированных по их образцу калек, может иметь и отрицательные последствия, так как ведет к неоправданному смешению контактирующих языков, к нарушению некоторых норм целевого языка. Так, например, в XIX в. в переводах с русского языка на чешский и словацкий языки нередко проявлялась чрезмерная русификация чешских и словацких текстов, которые изобиловали непереведенными русизмами или словами, уподоблявшимися русским по звучанию и написанию. Как правило, это объяснялось не небрежностью или некомпетентностью переводчиков. Здесь свою роль играли определенные идеологические мотивы: переводчики руководствовались идеей славянской языковой и литературной общности и желанием подчеркнуть родственную близость двух контактирующих языков. В качестве иллюстрации подобного подхода приведем отрывок из “Медного всадника” А.С. Пушкина и его перевод на чешский язык, сделанный К. Кузмани и опубликованный им в альманахе “Гронка” (Hronka) в 1838 г.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво.

Prešlo sto let, a mladý hrad,
Půlnočných stran i div i krásá
Ze tmy lesův a z bařin blat
Povznesa se slávu svou hlásá.

Перед первой мировой войной чешские переводчики русской литературы, объединенные вокруг “Русской библиотеки” (Ruská knihovna), также целенаправленно стремились к русификации переводных текстов, что, как отмечает М. Грагла, имело свои корни в так называемом славянофильском переводе (Hrala 1986, 73). В стремлении передать “русское звучание”, что находило отражение главным образом в области лексики и синтаксиса, переводчики порой выходили за смысловые рамки чешских слов и словосочетаний. В ряде случаев вместо того, чтобы заменить русское выражение подходящим чешским описательным эквивалентом, при нем давалось подстрочное применение (Hrala 1986, 73). Конечно, и подобные переводы способствовали ознакомлению чехов и словаков с русской культурой и литературой, однако в результате такой переводческой практики в какой-то мере “стирались идиоматические черты целевого языка” (Popovič 1971, 45).

В оппозиции к экзотизации выступает тенденция к натурализации переводного текста. В этом случае выразительные средства целевого языка (принимающей национальной культуры) замещают некоторые языковые элементы оригинала, в результате чего недостаточно передается национально-культурный колорит исходной языковой структуры. Например, при переводе на русский язык упо-

мнянного выше романа Св. Гурбана-Ваянского “Летящие тени” иногда переделывались на русский лад словацкие топонимы (в частности, *Jablonové* – Яблоновка, *Podolie* – Подольское) и некоторые имена собственные (*Mária* – Маруся). В подобных случаях в переводном тексте наряду с элементами целевого языка в какой-то мере отражаются определенные признаки принимающей культуры.

Между указанными полюсными тенденциями в практике художественного перевода лежит широкая область переводческих решений, в которых отражается различная степень лингво-стилистической адекватности, большей или меньшей близости переводного и оригинального текстов.

Лингво-стилистическая адекватность перевода оригиналу – необходимая сторона высокого качества художественного перевода. Чем вернее перевод, тем глубже и полнее оказываются представления читателя об иной национальной культуре и литературе, об идеино-эстетических взглядах, отраженных в конкретном литературном произведении, об индивидуальном стиле автора оригинала. Меру и конкретные проявления в художественном переводе соприкосновения и взаимопроникновения двух культур и языков помогает вскрыть, как отмечалось выше, сопоставительный лингво-стилистический анализ исходного и целевого текстов.

Языковые средства, в которых отражается при переводе взаимодействие двух культур, достаточно разнообразны. В той или иной степени они охватывают элементы всех уровней языковой структуры. Но наиболее последовательно и ярко это проявляется в сфере лексики и фразеологии.

В дальнейшем на материале прозаических межславянских художественных переводов мы кратко охарактеризуем лишь некоторые языковые и стилистические факторы, играющие важную роль при “воспроизведении” национально-культурного колорита оригинала. Заметим, что подобное воспроизведение признается одной из труднейших задач практики художественного перевода (ср. Зайченко, Коваль-Костинська, Паламарчук 1998, 179–182).

1. В языке национально-культурное своеобразие проявляется прежде всего и наиболее заметно в лексике. Поэтому необходимо пристальное внимание уделять анализу значения соотносимых в оригинале и переводе слов, выявлению национально-культурного компонента в их семантике, поскольку значения слов “отражают и передают образ жизни и образ мышления, характерный для некоторого данного общества (или языковой общности)” и “представляют собой бесценные ключи к пониманию культуры” (Вежбицкая 1999, 267). В связи с этим важную роль играет перевод так называемой безэквивалентной лексики (экзотизмов) – названий реалий, обозначающих специфические черты культуры, быта, обычаяев, религии,

социального строя, общественной жизни, менталитета, национальных традиций и т.п. (например: русск. *балалайка*, *дума*, *золотник*, *матрешка* и др.; укр. *гайдук*, *кобзар*, *оселедец* и др.; словац. *bača*, *halena*, *hlasista*, *oštiepok*, *valaška* и др.). В них ярко отражается различие культур, истории и языкового сознания разных народов. Проблема их перевода постоянно привлекает внимание исследователей. В частности, она подробно освещается в книге С. Влахова и С. Флорина, которые специально занимались изучением способов передачи экзотизмов (в их терминологии “реалий”) при переводе (Влахов, Флорин 1980). Они замечают: “Приемы передачи реалий можно, обобщая, свести в основном к двум: транскрипции и переводу” (Влахов, Флорин 1980, 87). Транскрипция (транслитерация) предполагает воспроизведение данного слова в переведом тексте графическими средствами целевого языка. При этом она может сопровождаться описанием или пояснением в самом тексте перевода или в сноске. В этом случае переводчик может опираться на данные двухязычных словарей, ср., например: словац. *hološne* – “голошни” (мужские брюки из домотканного сукна, часть словацкого национального костюма) (VSRS). Перевод понимается здесь достаточно широко (не только эквивалент, но также субSTITУЦИЯ, кальки и полукальки, семантические неологизмы, функциональные аналоги и т.п.). На практике существует множество конкретных способов и приемов, позволяющих переводчику в той или иной мере передать значение данного экзотизма. При этом многое зависит от характера, жанра переведенного художественного произведения, индивидуального стиля автора, контекста употребления и коннотации данных экзотизмов. Кроме того, именно в этой сфере от переводчика требуется глубокое знание истории и культуры народов – носителей исходного и целевого языков, их менталитета. Заметим, что в поисках подходящего аналога не всегда помогают и переводные словари. Более того, иногда в них можно встретить не совсем точную интерпретацию соответствующих лексем. Приведем только один пример. Аналогом словацкого *krpec* – “крпец” (вид кожаной обуви, часть словацкого национального костюма) (VSRS) выступает болгарское *цървул* (СБР), которое тоже обозначает крестьянскую обувь из кожи. Но когда указанные слова соотносятся с русским *лапоть*, то это оказывает переводчику плохую услугу, даже несмотря на то, что в скобках отмечается дополнительный семантический признак – ‘лыковый’ (который фактически противоречит основному значению слов *krpec* и *цървул*), ср.: *лапоть* – (*lykový*) *krpec* (РСС). Поэтому, если russk. *лапти* переводится болг. *цървули*, то “русский крестьянин предстает перед читателем в одежде болгарского крестьянина” (Метева 1988, 374). Естественно, что при переводе безэквивалентной лексики возникают определенные трудности, если в целевом языке не

находится точного аналога. Иногда приходится довольствоваться неполным семантическим соответствием, используя слово с более широким значением (например, русск. *настойка* ‘водка, настоянная на ягодах, плодах, травах’ в словацком тексте заменяется словами *vodka* или *pálenka*) или с более узким специализированным значением (например, в переводе романа Л.Н. Толстого “Анна Каркнина” на польский язык русск. *травник* ‘настойка на какой-либо траве’ передается словом *żubrówka*, имеющим в русском языке эквивалент *зубровка*).

2. Важным элементом, отражающим национально-культурную специфику оригинала, являются разного рода идиоматические словосочетания, фразеологизмы, пословицы и поговорки. Их адекватный перевод имеет очень большое значение. Между тем эта проблема до сих пор является в переведоведении одной из самых дискуссионных. Некоторые ученые считают, что в данном случае надо говорить не о переводе, не о поиске эквивалентов, а о субSTITУции. В какой-то мере это верно, поскольку дословный перевод фразеологизмов, как правило, невозможен, а их калькирование далеко не всегда приносит успех, так как при этом трудно добиться сходства или близости с исходным оборотом по семантике, стилистической маркированности и эмоционально-экспрессивной окраске. Максимальное требование, выдвигаемое иногда лингвистами, – переводить фразеологическую единицу исходного языка фразеологической единицей целевого языка – представляется явно завышенным. На практике оно часто бывает невыполнимым. Даже в близкородственных славянских языках фонд фразеологизмов не совпадает, хотя в нем имеется значительная часть единиц, сходных по значению и по форме (по лексическому составу и структуре, ср., в частности: русск. *смотреть на это сквозь пальцы* и польск. *patrzeć na to przez palce*. Перевод фразеологизмов, особенно в художественном тексте, в силу объективных причин допускает разного рода “отклонения” от оригинала, в том числе описание, нафразеологические аналоги и т.п. Здесь многое зависит от компетенции переводчика, от его умения творчески решать данную проблему, добиваясь оптимальной близости перевода оригиналу, см., например, следующие удачные решения при переводе “Капитанской дочки” на словацкий язык: Семь бед – один ответ. – Aký hriech – taká odplata; Было так темно, хоть глаза выколи. – Bola tma ako v rohu; Господь не выдаст, свинья не съест! – Koho boh neopustí, toho sviňa nezožerie! Ср. также переводы со словацкого на русский: Ráno je mudrejšie než večer. – Утро вечера мудрее; или со словацкого на чешский: Každý má svojho moriaka. – Každého někde tlačí bota. В реальной переводческой практике встречаются, конечно, и неудачи, ошибки при подборе аналогов фразеологизмам оригинала. Иногда они вообще остаются непереведенными (просто про-

пущенными). Так, например, при переводе “Летящих теней” Св. Гурбана-Ваянского на русский язык словацкому фразеологизму *malá hŕiba rúta viac*, что означает ‘куча мала’, не было найдено даже приблизительного аналога ни в одном из трех опубликованных переводов. Особые трудности возникают с так называемыми преобразованными (модифицированными) фразеологизмами. Их охотно используют некоторые писатели, вводя в художественный текст сконструированные ими обороты по модели известных в данном языке фразеологизмов (ср., например, у Чехова: вместо “беги во все лопатки” – “люби во все лопатки”, у Салтыкова-Щедрина: вместо “цветы красноречия” – “пустоцветы красноречия” и т.п.). Понятно, что подобные случаи ставят перед переводчиком новые сложные задачи.

3. В плане выяснения меры лингво-стилистической активности перевода существенное значение имеет сопоставление стилистических характеристик элементов текста (слов, словосочетаний, синтаксических конструкций и т.п.). Помимо прочего, это помогает, в частности, определить, насколько переводной текст отвечает индивидуальному стилю автора оригинального произведения. Анализ конкретного материала показывает, что нередко при верной передаче значения, то есть при нахождении смыслового эквивалента не удается сохранить стилистическую информацию, заложенную в оригинале. Переводчик, как правило, легче находит смысловой эквивалент, чем стилистическое соответствие. Покажем это на примерах перевода с чешского языка на русский: *Taková děvka je v hospodářství pravé boží požehnání.* (*Němcová*) – В хозяйстве такая девка – сущий клад; ...že by dávno ležela *na svatém poli.* (*Němcová*) – ... она давно бы была в могиле. И в том, и в другом случае имеет место стилистическое “снижение” по сравнению с оригиналом. Рассмотрим еще один пример: *Ráno už byl u jednoho okresního hejtmanství a nechal vzbudit hejtmana; na štěstí se ukázalo, že toho pána už jednou vlastnoručně vykuchal a zašil a odevzdal mu na památku slepé sřevo naložené v líhu.* (*Čapek*) – Скоро он был уже у начальника управы одного из загородных районов и потребовал, чтобы его разбудили. На счастье оказалось, что начальник – пациент Гольдберга: доктор когда-то *вырезал ему аппендицис* и вручил на память в баночке со спиртом. Смысл данного отрезка текста в целом передан верно. Однако до русского читателя не доведена характерная для оригинала эмоциональная окраска. Переводчик не нашел стилистического соответствия выражению *vlastnoručně vykuchal*. Чешский глагол имеет здесь яркую экспрессивную окраску, которую можно было бы передать русским соответствием *выпотрошил*. В переводе же находим стилистически нейтральное *вырезал ему аппендицис*.

4. Определенную эмоционально-экспрессивную функцию в тексте художественного произведения могут выполнять также некото-

рые грамматические формы, словообразовательные средства и т.п. Их верный перевод помогает раскрыть и передать существенные компоненты художественной речи данного автора, иногда также определенного литературного направления. Проиллюстрируем это на примере имен существительных с деминутивными суффиксами. В словесно-художественной структуре романа Св. Гурбана-Ваянского “Летящие тени” деминутивы играют важную роль, являясь одним из средств авторского восприятия действительности, неотъемлемым элементом “поэтического языка” Ваянского. Особенно ярко это проявляется при описании внешности и окружения молодой героини романа, ср.: *hlávka, nôžky, ústočky, palčeky, tvárička, vlásiky, clalátičk, zrkadielko, poduštičky* и т.п. Поскольку в русском языке имеется аналогичное словообразовательное средство – имена существительные с уменьшительными суффиксами эмоционально-субъективной оценки, постольку, казалось бы, задача переводчика достаточно простая: неуклонно следовать за автором. Отчасти так оно и есть. В соответствующих местах переводного текста мы действительно находим аналогичные формы *головка, ножки, лицико, зеркальце, подушечки* и т.п., например: *Oblokom zasa blyslo ramienko* (Vajanský) – В окне же опять показалось плечико. С другой стороны, механическое следование за языковой формой оригинала может привлечь за собой стилистические промахи. Чрезмерное насыщение русского текста деминутивами может вызвать нежелательный эффект, например: *Ela sršala blahorodným hnevom, jej milá voňavá hlávka potriasala sa na labut'om hrdle* (Vajanský). – Элла дрожала благородным негодованием, а ее маленькая грациозная головка тряслась на лебединой шейке. В данном случае нагнетание уменьшительности в русском тексте представляется неуместным, фраза воспринимается скорее как пародийная. Поэтому не случайно в переводе иногда наблюдаются отклонения от “буквы” оригинала, на наш взгляд, вполне оправданные, например: *Ela zatvorila oblok i l'ahlia na postel'. Ručkou podoprela hlávku a hl'adela do tmy* (Vajanský) – ...она подперла рукой голову. При сохранении в русском тексте всех деминутивов (“подперев головку ручкой”) фраза воспринималась как бы иронически-насмешливая. Таким образом, как было показано, в данном случае нередко реализуется возможность формально точного, пословного перевода, обусловленная близостью словацкого и русского языков. Вместе с тем стилистически оправданы и отклонения от буквального повторения в переводе рассматриваемых элементов “поэтического языка” автора. Поэтому и здесь от переводчика требуется тонкое понимание стиля, глубокое знание принятых в целевом языке норм словоупотребления.

5. При определении степени лингво-стилистической адекватности перевода необходимо учитывать такой важный фактор, как

функциональная дифференциация национального (этнического) языка. В современной науке национальный (этнический) язык рассматривается не как гомогенное структурное образование, а как расслоенная (стратифицированная) динамичная система, состоящая из различных форм существования языка (языковых идиомов). (Вопросам функциональной дифференциации языка посвящена богатая научная литература, данная проблематика находится в центре внимания современной социолингвистики, см., например: Нецименко 1999.) Это значит, что в арсенале языковых средств, обеспечивающих разные сферы коммуникации данного социума, наряду с литературным языком определенную роль играют другие нелитературные идиомы (обычно-разговорная речь, местные диалекты, разного рода интердиалектные образования, сленг и т.п.). Функциональная дифференциация языка находит свое отражение и в художественной литературе. Хорошо известно, что в словесной структуре художественного текста заметную роль могут играть не только средства литературного идиома, но и элементы других компонентов системы данного языка. Все они могут выступать в функции манифестантов “поэтического языка” автора оригинального литературного произведения. Поэтому переводчик должен учитывать известную “неоднородность” художественной ткани переводимого текста и стремиться по возможности “воспроизвести” ее средствами целевого языка.

Прежде всего необходимо верно интерпретировать функциональную роль в переведимом тексте не только выразительных средств нормированного и кодифицированного литературного языка, но и средств различных нелитературных формаций. Это особенно важно, если автор оригинала использует последние для речевой характеристики персонажей, которая служит одним из приемов построения художественного образа. В этом отношении особые трудности связаны, в частности, с передачей в русском тексте элементов специфического чешского идиома, называемого *obecná čeština* (обычно-разговорный чешский язык). Ср. примеры из перевода рассказа К. Чапека “Исчезновение актера Бенды”, где признаки данного языка характеризуют живую непринужденную речь пани Марешовой: – *Ja znám všechny jeho vobleky*. (Čapek) – Я знаю все его *костюмы*; ...že pan mistr *celej tejden nevyšel z bytu*. (Čapek) – ...что маэстро *всю неделю* сидел дома. В данном случае перевод не передает характерные особенности речи персонажа, поскольку в русском тексте применены только литературные средства. Объективная сложность заключается в том, что в системе русского языка нет точного соответствия указанной чешской языковой формации. Возможно, здесь целесообразно было бы использовать функционально близкие элементы русского просторечия. Примечательно, что *обес-*

ná čeština иногда используется при переводе со словацкого языка на чешской для передачи прямой речи персонажей с элементами словацких диалектов, что также не всегда оправданно, поскольку при этом все же стираются некоторые характерные признаки живой словацкой речи.

Аналогичные трудности возникают при переводе с русского языка на словацкий, когда в речи персонажей встречаются элементы просторечия или диалектизмы. В системе словацкого языка нет точного аналога русского просторечия, поэтому при переводе, как правило, не удается найти необходимое стилистически адекватное словацкое соответствие. Поэтому приходится использовать стилистически нейтральные литературные слова, например: – Эка дура! Да не ты ли *пособляла* мне вчера улаживать ее похороны? (Пушкин) – Ech, ty dora! Či si mi včera *perotahala* chystat' jej pohreb. Здесь русское просторечное *пособлять* соотносится со сходным по значению, но стилистически нейтральным словацким глаголом. “*A отколе* ты? – продолжал старик (Пушкин). – “*A odkial si?* – покрачoval starec. И в этом случае просторечному *отколе* не удалось найти адекватного по стилю эквивалента, переводчик снова использует стилистически нейтральное слово.

Во всех рассмотренных примерах смысл оригинала передается правильно, но из-за стилистического несоответствия выделенных нами соотносительных слов речь персонажей, использующих элементы просторечной и диалектной лексики, приобретает в переведенном тексте несвойственную им литературно-нейтральную форму. Сходную ситуацию можно наблюдать и при переводе с русского языка на польский, ср.: – Где он? – *Нешто* вышел в сени, а то все тут ходил (Л.Н. Толстой). – Gdzież on jest? – Chyba w sieni..; – Помилуйте, по *нонешнему времю* воровать положительно невозможно (Л.Н. Толстой). – Zlituj się pan, Konstanty Dmitryczu, przecie w *dzisiejszych czasach* faktycznie niemożliwe jest kraść. Здесь в переводе также не нашли отражения специфические черты речевой характеристики персонажей.

Ввиду ограниченного объема статьи мы рассмотрели лишь некоторые языковые и стилистические факторы, которые способствуют достижению высокой меры лингво-стилистической адекватности художественного перевода, “воспроизведению” средствами цевого языка национально-культурного своеобразия оригинала и через посредство которых отражается взаимодействие двух контактирующих культур. В этом же ключе было бы интересно провести также лингво-стилистический сопоставительный анализ перевода и оригинала на материале других выразительных средств, играющих важную роль в структуре художественного текста, помогающих раскрывать характерные черты переводимой национальной литературы.

ры и индивидуального стиля данного автора, например, эпитетов; сравнительных конструкций, в частности, компаративных фразеологизмов; метафор и других тропов и т.п. Вместе с тем следует подчеркнуть, что лингво-стилистическая адекватность является лишь одним из критериев высококачественного художественного перевода. Она выступает в тесном органическом единстве с другими параметрами такого перевода: литературно-эстетическим, коммуникативным, культурологическим и т.п., которые, естественно, заслуживают специально углубленного исследования.

П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я

РСС – Русско-словацкий словарь. А–Я. Москва; Братислава, 1989.

СБР – Словашко-български речник. София, 1970.

VSRS – *Vel'ký slovensko-tuský slovník*. I. – 6. diel. Bratislava, 1979–1995.

ЛИТЕРАТУРА

Бразговская Е.Е. Лингво-стилистические аспекты художественного перевода (на материале произведений Ярослава Ивашкевича и их переводов на русский язык). Дисс. ... канд. филолог. наук. СПб., 2000.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.

Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.

Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе, М., 1980.

Гачечиладзе Г. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. М., 1979.

Зайченко Н.Ф., Коваль-Костинська О.В., Паламарчук О.Л. Національно-культурний компонент мовної семантики як перекладознавча проблема // Мовознавство. 1998. 2–3.

Лилич Г.А. Роль русского языка в развитии словарного состава чешского литературного языка. Л., 1982.

Людсканов А. О литературоведческом и лингвистическом подходе в теории художественного перевода // *Slavica Slovaca*. Roč. 6. 1971. Č. 4.

Метева Е. Проблема перевода художественных произведений фольклорного типа // *Translatologia Pragensia. II. Materiály V. konference o překladu a tlumočení. Acta Universitatis Carolinae. Philologia. 1–3.* 1986. Praha, 1988.

Нещименко Г.П. Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков). München, 1999.

Попович А. Проблемы художественного перевода. Пер. со слов. И.А. Бернштейн и И.С. Чернявской. М., 1980.

Смирнов Л.Н. К теории художественного перевода (проблемы лингво-стилистической адекватности) // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г. Доклады советской делегации. М., 1973.

Смирнов Л.Н. О переводах на русский язык романа Св. Гурбана-Ваянского "Летящие тени" // *Slovenská a ruská literatúra. Vzťahy a súvislosti*. Bratislava, 1973.

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000.

Урбанек Д. Понятие переводческой эквивалентности и переводческая типология лексики // Проблемы изучения отношений эквивалентности в славянских языках. М., 1997.

Урбанек Д. К вопросу об определении основных терминов теории перевода // Вопросы общего, сравнительно-исторического, сопоставительного языкоznания. 2. М., 1998.

Durišin D. O literárnych vzt'ahoch. Sloh, druh, preklad. Bratislava, 1976.

Horálek K. Příspěvky k teorii překladu. Praha, 1966.

Hrala M. K některým otázkám teorie překladu v současnosti // Preklad včera a dnes. Bratislava, 1986.

Kufnerová Z. K současnemu statu teorie básnického překladu // Slovo a slovesnost, 1985, č. 3.

Miko Fr. Preklad ako kategória literatúry // Slovenská literatúra, 1984, č. 4.

Popovič A. Teória umeleckého prekladu. Tatrin. [Bratislava] 1975.

Popovič A. Poetika umeleckého prekladu. [Bratislava] 1971.

Richterek O. Dialog kultúr v uměleckém překladu. Hradec Králové, 1999.

Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa, 1993–1998.

Я. Гофманнова

(Чехия)

КОНТАКТЫ И СТОЛКНОВЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В ИНТЕРТЕКСТАХ ПОСТМОДЕРНА

Мы живем в мире, наэлектризованном динамикой контактов и столкновений различных этносов, культур, политических, религиозных и других конфессий. Адекватным отражением этой “глобальной” жизненной и коммуникативной ситуации несомненно являются тексты (не только художественные), отличающиеся значительной гетерогенностью и многосторонней дифференциированностью своей структуры. Наряду с этим, эти тексты несут на себе печать различных культур, этносов, а также социальных групп (меньшинств, религиозных сект, разнообразных объединений и движений, людей различной сексуальной ориентации, мужчин или же женщин, различных поколений и т.д.). Все эти разнообразные “миры” неизбежно привносят в тексты свои “языки”, свои специальные коды. Так возникают по-разному профилированные **интертексты**, в которых друг с другом сталкиваются различные средства выражения, стили различных миров, привносящие вместе с собой в тексты и многочисленные цитаты, аллюзии и т.п. Эти миры, их стиль жизни и общения нередко становятся предметом иронии и пародии. Вследствие этого в самых различных частях и слоях текста возникают конфликты,

конфронтации, противоречия, парадоксы, интерференция, амбивалентность, приобретающие порой характер шизофрении. Нередко утверждают, что именно подобный тип тектоники характерен для текстов **постмодерна**. Не настаивая на подобной оценке, постараемся все же проиллюстрировать всю эту текстовую многосложность на примере интерпретации произведений, пожалуй, наиболее читающегося современного чешского беллетриста – **Михала Вивега** (Michal Viewegh. – Прим. перев.). Предметом анализа будет служить его творчество последних лет: речь идет о книгах “*Výchova dívek v Čechách*” (“Воспитание девушек в Чехии”. – Прим. пер.), 1994; “*Učastníci zájezdu*” (“Участники экскурсии”. – Прим. пер.), 1996; “*Zapisovatele otcovský lásky*” (“Протоколисты отцовской любви”. – Прим. пер.), 1998; “*Povídky o manželství a sexu*” (“Рассказы о супружеской жизни и сексе”. – Прим. пер.), 1999.

Что же это за различные “миры” с их кодами, стилями, специфическими средствами выражения, сталкивающиеся друг с другом в текстах Вивега? (см. по этому поводу: Стейрковá 1997). Остановимся вначале на факторе **американском**, т.е. на феномене американцев и вообще англоамериканских лекторов в Праге, столь характерном для 90-х годов, повлекшем за собой возрастание влияния **английского языка**, его притягательности, моды на него и, будем надеяться, его знания. Этот мир и этот код получает в структуре прозы Вивега самое различное воплощение. Проследим это на примере произведения “*Výchova dívek v Čechách*”.

Интересно, что американский лектор Стив, работающий так же, как и остальные главные персонажи произведения, в школе пражского района Зbraslav, по ходу развития действия на сцене напрямую не появляется. Если же и появляется, и если он к тому же участвует в диалоге с другими персонажами (собственно говоря, это происходит всего лишь два раза), то его английские реплики никогда не бывают представлены прямой речью, исключение составляет лишь одна реплика: “Hi”, – сказал Стив. Чаще же они воспроизводятся в **косвенной** речи, через повествователя, т.е. по-чешски (Стив сказал, что это жаль) или же с включением английских слов (Стив сказал, что было *absolutely great*). Подобным образом и рассказчик (он же одновременно и один из главных героев) воспроизводит свои собственные реплики в диалоге со Стивом, т.е. также в **косвенной** речи, слегка подцвеченней английскими словами, например, особенно часто повторяемым *unfortunately*: я сказал, что ... я *unfortunately very busy*; что мы *unfortunately* спешим; что сегодня *unfortunately* жара; что сейчас сильно действующие кремы для загара *unfortunately* необходимы. Причем свое участие в этих разговорах рассказчик комментирует словами о своем “зbraslavском английском языке”, об “зbraslavском акценте”, а также о “языковом комплексе неполноценности”.

Другое главное действующее лицо этого же рассказа – Беата – по крайней мере, на определенной фазе развития действия гораздо более положительно относится к английскому языку (она его даже какое-то время преподает), к Стиву и вообще к американизации нашей жизни. Поэтому в этом случае английские слова включаются в ее реплики **прямо**, причем даже в диалоге с чешским партнером (чем они еще больше обращают на себя внимание): “Ты уже видел *my new tattoo?*”; “Эта книга совершенно *free*”; “*Tam невероятно friendly*” (т.е. в Мак Доналдсе, в американской прачечной или же в редакциях американских газет Prague Post, Prognosis и Yazzo, выходящих в Праге, равно как и в других местах, которые она вместе со Стивом посещает). Реакцией на эти ее реплики является **иронический комментарий** рассказчика: “Лишь бы, ради бога, не выдать себя, что я не “*in*”!”. Его аллергия на английский язык (а заодно и на американцев, очаровывающих чешских девушек) достигает своей вершины уже вне какого бы то ни было диалогического контекста. Это выдает и его реакция на пожелание *Good morning!*, обнаруженное под крышечкой пены для бритья Пальмолов: *Fuck you!*

И вновь иной, на этот раз уже типично интертекстовый способ входления “американского мира” в текст этой чешской прозы представляет собой **цитата** из Литературной газеты (автор Вера Хазе) о том, “сколько американцев найдет себе вскоре партнершу в Праге”. Несколько иную структурную характеристику имеет небольшой раздел-словарь “Немного об английском языке” (*start up an engine* – включить мотор; *step on the gas* – нажать на газ; *let in the clutch* – отпустить педаль сцепления; *at top speed* – на полной скорости; *flyover* – эстакада; *suicide* – самоубийство). В этом шокирующем словарике рассказчик **совмещает** друг с другом **два контекста**, а именно: контекст увлеченностии Беаты всем англоамериканским и контекст ее финального самоубийства, которое в тексте тем самым как бы **предвосхищается**.

В произведении “*Účastníci zájezdu*” английский язык становится важным компонентом кода **“интеллектуалов”** (см. об этом еще ниже), акцентирующего снобизм и элитарность двух надменных студенток философского факультета – Ирмы и Денизы. Поэтому без английского языка не может обойтись даже небольшая главка под названием “Как кадрить интеллектуалку”, в ее основе находится диалог двух молодых людей с обеими студентками. Как только Дениза делает попытку пресечь заигрывание парней, обращаясь к подруге “*Don't answer, I'm sure it's just a stupid obscene joke*”, ребята козыряют тем, что также переходят на английский (“*Wait, wait... it's my turn...*”). Совершенно иное (семантическое и структурное) назначение имеет английский язык в устах Ярды, самого большого примитива и грубияна среди участников экскурсии. Так, приглашая свою

жену потанцевать под песенку “ten náš sladkej ploužák”, он громогласно напевает при этом слова: “Klouz jór ájz mejkeviš...”, не имея ни малейшего представления об английском языке. Иной является семиотика английского кода в названиях некоторых главок (например, Happy ending, Born to be wild, It was just a dream): здесь он сигнализирует некоторую отдаленность, **ироническую дистанцированность** рассказчика от некоторых эпизодов действия или же от характера персонажей.

То, как английский язык используется в произведении “*Zapisovatelé otcovský lásky*”, является для нас дальнейшим сюрпризом автора. Носительница английского языка – здесь прежде всего молодая симпатичная американка Синди, также лектор английского языка, прилетевшая в Прагу *just for fun*. Здесь она знакомится с разведенным мужчиной среднего возраста, причем для нее вообще не имеет значения, что он “слово thriller произносит как trajler”. Она быстро сближается со всей его семьей, внося оживление в семейный отпуск постоянными выкриками типа Great idea! You look really great! Let's have a picnic! Wow! Из остальных персонажей продуцирует английские высказывания главным образом молодой рассказчик (один из “протоколистов”), который, с одной стороны, с помощью этого кода приспособливается к Синди (например, он пишет ей на монитор ноутбука – чтобы его отец не видел – DON'T YOU KNOW HE WAS A COMMUNIST?); с другой стороны, с помощью английского языка он пытается упрочить свой имидж интеллектуала (быть in, выглядеть cool). К своей сестре он обращается не иначе, чем honey, sugar...

Мы намеренно несколько задержались на американском “мире”, поскольку это давало нам возможность продемонстрировать различные функции английского языка в прозе Вивега. Впрочем, мы встречаемся здесь и с другим этносом, значимость которого в жизни чешского общества 90-х годов отнюдь не следует недооценивать: в прозе “*Učastníci zájezdu*” его представителем является **украинский** инженер Олег, который зарабатывает себе на пропитание в Праге в качестве строительного рабочего. Ради него образованная, независимая, хорошо зарабатывающая Йолана активизирует остатки своего школьного русского языка (так, она, например, следующим образом объясняет ему, что такое “киви”: “Éto kak...agurcy i banány vymjéstě”). В конце концов, спустя две главки под названием “Секс по-украински” и две главки с характерным названием “Господи боже мой, почему же украинец?”, она, ко всеобщему удивлению, выбирает его в качестве партнера жизни. Таким образом, она поступает совершенно иначе, чем Виктор в произведении “*Zapisovatelé otcovský lásky*”. Тот, “хотя и не давал в обиду меньшинства... вьетнамцев, цыган, гомосексуалов, интеллектуалов, негров ... ради дискриминированных меньшинств он готов был писать петиции и целые дни про-

тестовать...”, однако, несмотря на все свои программные принципы, он не был способен проявить в повседневной жизни обычную человечность и внимательность.

Мы еще несколько задержимся на **меньшинствах** Виктора, потому что некоторые из них также относятся к тем “мирам”, которые вместе со своими кодами заселяют пространство прозы Вивега. В числе участников экскурсии находятся и Оскар с Игнацием. Эти “*dva uplně bezvýznamní homosexuálové*”, “*dva řadoví teplajzníci*”, “*hošové*” (как они называют сами себя), *homouši*, *buzeranti*, *buzíci* (так их характеризуют другие, главным образом, Ярда). Они не намерены дожидаться, пока “общество изменит к лучшему отношение к нашему четырехпроцентному меньшинству”, и хотят использовать поездку в Италию для обращения к римскому папе, “запрещающему им усыновление”. В книге “*Výchova dívek v Čechách*” мы в свою очередь встречаемся с экологистами, т.е. с людьми, жизнь которых посвящена исключительно спасению “тропических джунглей” и “уничижаемых китов”, они организуют “антиамериканские выступления”, прежде всего “манифестации перед МакДоналдсом”. По слухаю “поиска Бога” Беатой, а также вообще поиска ею самой себя здесь появляются и **религиозные секты**: йеговисты, мормоны и последователи движения кришнaitов. В произведении “*Zapisovatele otcovský lásky*” на первый план выступает другая “социальная группа”: это “люди с теми или иными отклонениями”, *devianti*, *uchyláci*, *uchylové*, т.е., например, мазохисты, педофилы, урофилы, фетишисты, наркоманы, люди, испытывающие возбуждение при виде всяческого рода помоек или же бумажных носовых платков с ментолом. Одним из главных персонажей книги (одновременно и одним из трех рассказчиков) является мальчик со специфическими отклонениями: у него страсть все записывать, протоколировать, он “неумный протоколист” (“*jak říká doktor, jak to má nutkovou povahu, tak je to úchylka*”). Он все время что-то фиксирует в своем ноутбуке (людей, предметы, ситуации), к тому же делает он все это чаще всего под столом! (эта тема явно возникла под влиянием телевизионной передачи ТВ-НОВА “Табу”, переименованной лишь здесь в “Тринадцатую комнату”).

Как мы видим, тексты М. Вивега впитывают в себя действительно актуальную общественную проблематику (особенно ту, которая широко тиражируется средствами массовой информации), пропуская ее через фильтр иронического, насмешливого отстранения. При подобном подходе не может остаться без внимания и “женский вопрос”. Совершенно естественно появляются намеки на чешских **феминисток**. Депутат Гинек в произведении “*Učastníci zájezdu*”, комментируя спорную стратегию своей жены, обобщает, что она своим поведением как раз показала, почему так мало жен-

щин преуспевает в политике: это “персонификация совершенно делового спора, во-первых; неспособность удерживать логическую нить спора, во-вторых; иррационально эмоциональная реакция во всех тех случаях, когда у них иссякают аргументы, в-третьих; вечные – как же иначе! – измышления о мужском заговоре, в-четвертых; прерывание, разумеется, речи собеседника в-пятых”. Вершиной феминистской агитации в той же книге является выходка пьяного Игнаца, который, увидев женщин, недостойно стоящих в очереди в дамский туалет, патетически к ним обращается, провозглашая, что женщинам следует взбунтоваться против такой вопиющей дискриминации (ведь перед мужскими уборными очередей никогда нет), против этого оскорбительного унижения, которому их на протяжении веков подвергают мужчины (“эти бесстыдные фаллические свиньи”), что им следовало бы основать собственную политическую партию женщин (большинство женщин, стоявших в очереди, разумеется, не смогло оценить эту иронию; возможно, за них это сделают читатели).

Поборницами феминизма в большинстве своем бывают женщины-интеллектуалки и именно им больше всего “достается на орехи” в литературе, ориентированной прежде всего на мужчин. Саркастических выпадов в их адрес не избегает и сам автор уже в книге *“Výchova dívek v Čechách”*. Его героиня Beata принадлежит к “девушкам, которые читают Джойса в метро”, она цитирует из книги Симон де Бовуар “Второй пол” целый ворох высказываний о том, что истинная женщина является бездарной, мелочной, пассивной, поддающейся влиянию, что женщины, отличающиеся чрезмерной образованностью или же обладающие слишком волевым характером, отпугивают мужчин, что интеллектуальной женщине приходится выдавать себя за безвольное наивное существо, при этом делает она это судорожно и что, наконец, глупенькая блондинка всегда возьмет верх над женшиной-интеллектуалкой. Помимо этого, в книге *“Výchova dívek v Čechách”* в качестве одного из текстовых компонентов композиции этого интертекста включен рассказ под названием *Интеллектуалка*, который повествователь, одновременно и писатель, написал для “Плейбоя”, где он также разделяется с Beatой. Героиню рассказа он характеризует как девушку, которая “запуталась в чрезмерном теоретизировании”, для которой “образование стало оружием, направленным против нее же самой” и которая смеется над остротами “лишь в том случае, если она вычитала их в книге малоизвестного, лучше всего англо-американского автора”. Обращает на себя внимание и лексика этой аффектированной, снобистской интеллектуалки: она пестрит словами типа *happening, performance, psychotronika, empatie, časoprostor, kosmické poselství, beletrizace adolescence, holé teze syžetů, rustikální kreace* и т.д., и т.д.

Интеллектуалки встречаются и в других книгах М. Вивёга. Мы уже упоминали о студентках Ирме и Денизе в книге “*Učastníci zájezdu*”, у которых к стилю их жизни относится softball, или же softik и которые, помимо того, что говорят между собой по-английски, с удовольствием употребляют такие слова как *schíza, depka, sladkej exot* и пр. Интеллектуалкой является и Йолана, героиня той же самой книги: и она не может обойтись без таких словосочетаний как *ušlechtilá humanitární akce, pubertálně flirtující sexuální loudil* и т.п.

В других книгах того же автора читателю предлагают, наоборот, мужчину-интеллектуала (ср. “*Povídky o manželství a sexu*”, где помещен рассказ под названием “Фантазии интеллектуалов после Освенцима”). В книге “*Zapisovatelé otcovský lásky*” выведен образ мужчины-интеллектуала, который изображается с немилосердным сарказмом и жестокой пародией. И у этого героя одновременно переплетаются мир интеллектуала с присущим ему кодом (мы охарактеризовали его выше) и мир политики, современная политическая ситуация Чехии, с элементами соответствующего кода. Фотограф Виктор является прототипом сnobистского интеллектуала, презирающего все “мелкое, дешевое, безвкусное”, мещанское (“*řekněte cit, on řekne kýč*”). Он без умолку твердит о “героическом переходе к надличностному”, высмеивает все *komerční*, все, *co nemá hloubku*, любому *průměru*, *tupým prasečím masám* и *prasečí evropské civilizaci*. У Виктора рука об руку с фундаментализмом индивидуальным, вышагивает и фундаментализм политический: все, что угодно, он оценивает как “*komunistický svinstvo*”, не вынося компромиссов, от которых всего лишь шаг к *doublethink*. Без тени человеческого понимания и толерантности он отвергает приглашение родителей своей подруги Ренаты на воскресный обед, на “*knedlozečověrčo*” (чешское национальное блюдо. – Прим. пер.). Считая их мещанами, он насмешливо называет их “*otec Kondelík*” и “*raigmata*”, впрочем, основная причина отказа – политическая: ведь отец Ренаты – коммунист, lampas, lampásák, soudruh kapitán (а жена его – soudružka učitelka). Чаще всего он брезгливо называет его “*ten člověk*”, “*tenhle druh lidí*”. Под его влиянием Рената стала “отвергать жизнь во лжи”, в течение двух лет не встречалась с отцом, однако потом, когда она наконец прозрела, охарактеризовала Виктора как “*intelektuálního pistolníka*”, как “*monopolního majitele Jediné Pravdy*”, как “*Samozvaného Garanta morálních a uměleckých hodnot*”, как “*Nenávistného Humanisty*”. Антиподом Виктора в этой книге является Синди, толерантная американка, для которой не важно, что ее партнер есть “*stará struktura*”, для нее имеет решающее значение лишь то, что он человек милый. В отличие от Виктора Синди убеждена в том, что “*studená válka už skončila*”.

В книге “*Výchova dívek v Čechách*” также выведен тип фундаменталиста правой ориентации, который, впрочем, находится на гораздо более низком интеллектуальном уровне. Пришедший после ноябрьских событий (“бархатная революция”. – Прим. пер.) директор зbraslavской школы Наскочил делает все возможное для прозападной и проамериканской ориентации нашей молодежи: это гротескная фигура, расхаживающая в старых мундирах американской армии (остатками обмундирования он снабдил целую школу). Этот ограниченный примитив, злая карикатура на которого выведена в книге, с трудом мирится с тем фактом, что его школа несет имя сомнительного “*levicového intelektuála*” Владислава Ванчуры. Он компенсирует это тем, что во время всех школьных торжеств (в том числе и во время траурного акта по поводу 50-летия казни Ванчуры) подчеркивает “*rozhodující význam Američanů při osvobození naší vlasti Sovětskou armádou*”. Во время всех этих торжеств распеваются, как правило, песни *Roll on the Barrels*, *It's a Long Way to Tippettary* или же *Deep in the Heart of Texas*. В этой школе, разумеется, непозволительна *indoktrinace* молодежи: к несчастной учительнице, которая по ошибке дает детям старый учебник (в котором упоминаются *lidoví milicionáři* и *sovětský ledoborec Krasin*), приклеивается ярлык *kryptokomunistka*, в результате чего она должна быть показательно наказана. Впрочем, к миру политики в этом произведении может быть в какой-то мере отнесен и мир новых богачей, представитель которых Крал гордится своим офисом, ноутбуком и мобильным телефоном, в белых носках с маркой Адиdas он играет в теннис с депутатом Петром Чермаком. Помимо прочего, он является владельцем ночного заведения, местные люди характеризуют его как члена мафии и как сотрудника государственной безопасности.

В книге “*Účastníci zájezdu*” политическая проблематика представлена главным образом фигурой депутата Гинека (депутат, разумеется, непременно должен находиться среди чехов-участников экскурсии). Вместе с ним, вполне естественно, вторгается и соответствующий код: когда жена после ссоры выгоняет его из комнаты, Гинек провозглашает, что “*právě ztratil mandát na svou postel*”, на что Игнац ему отвечает, что “*zádná z obou opozičních stran nepašla potřebný konsensus ohledně noclehů*”. Игнац также является одним из главных героев конфликта, описанного в главке под названием “*Какие люди ходят на выборы*”: он набрасывается на Ярду, характеризующего Вуди Аллена как “*tipňavýho žid'áka*”, со словами, что его следовало бы лишить избирательного права, поскольку он все равно выбирает “*nějaký fašisty*”. Однако ярче всего политическая конфронтация в этом произведении показана в рассказе (он, впрочем, воспроизводится в нескольких версиях), повествующем о судьбе некоторых бывших коммунистов после ноябрьских событий, о том,

как они сумели удержаться у власти и постепенно снова внедрили практику тоталитарного централизма, о том, как в своем безудержном карьеризме они уничтожают своих бывших друзей. Этот рассказ непосредственно продолжает линию более ранней книги Вивега "Báječná léta pod psa".

Остановимся теперь на особом типе "межкультурного" столкновения, который во всех текстах Вивега представлен весьма рельефно (включая и интересующее нас здесь использование специальных кодов) и который ничуть не менее интересен, чем все рассматриваемые выше конфронтации. Мы имеем в виду конфликт **межгенерационный**, т.е. ту самую "*generační propast*", о которой говорит Игнац с Ирмой в книге "*Účastníci zájezdu*". Эта "пропасть" здесь принимает разные обличья: мы продемонстрируем лишь некоторые из них, сопровождая соответствующим языковым материалом.

Пробным камнем поведения и черт характера отдельных персонажей этого произведения становится участие в поездке двух пенсионерок: Шарлотты и Хельги. Поведение обеих старушек с самого начала (еще до отправления автобуса) Игнац комментирует с добродушной благосклонностью, в то время как студентка Дениза чуть позже не скрывает, что "*důchodci ji vždycky strašlivě vytáčeli ... hnusili se jí – to be frank*", а ее подруга Ирма с ужасом комментирует, что они, наверное, находятся на "*zájezdu na nějaké gerontologickej kongres*". Самые различные позиции и коммуникативные стратегии проявляются в эмоциональном диалоге, возникшем после того, как пенсионерка Шарлотта сообщает о потере паспорта: Дениза и Ирма стараются от всего дистанцироваться, они не хотят, чтобы их обременяли; Ярда комментирует грубо и бесцеремонно ("*tak to teda madam DOJELA*"); экскурсовод Памела старается сохранять вежливость и профессиональную энергичность; в профессионализме ее дополняет мать Йоланы, которая ищет в путеводителе адрес, факс и телефон консульства. И только рассказчик-писатель Макс включается в дело оперативно и с пониманием, он утешает плачущую Шарлотту и находит паспорт в ее же сумочке. Тот же самый Макс, у которого впоследствии от сочувствия "сдавит горло", когда он увидит обеих старых дам на пляже: "Жизнь это борьба", – говорит он, видя "бледную, отвисшую кожу, некрасиво выступающие кости, толстые задницы, худую сморщенную грудь, многочисленные морщины и кожные складки, старческие пигментные пятна, висящие красные бородавки, черные и серебряные волоски и извивающиеся узелки расширенных вен". Позиция обеих старушек в развитии действия неоднозначна. Как уж это бывает в обычной жизни, они не только беспомощные жертвы, навлекающие на себя презрение или же вызывающие сочувствие – все это с разной степенью интенсивности проявляется у молодого поколения. Иногда они (особенно Хельга) мо-

гут быть властными и нетерпимыми, терроризирующими окружающими своим очевидным эгоизмом.

Иной характер во всех произведениях этого автора носит генерационный конфликт между **детьми и родителями**. Дениза из "*Učastníci zájezdu*" считает свою мать "naprosto neskutečnou", Ирма говорит о своем отце как о марсианине, называя его "fotr". Обе утверждают (подобно Синди из "*Zapisovatelé otcovský lásky*"), что "для поддержания нормальных отношений с родителями" им достаточно время от времени позвонить по телефону; в свою очередь родители не требуют, чтобы дети их "бог знает как любили", они хотят только покоя. Это говорят и друзья Йоланы, впрочем, сама она в этом отношении не может найти золотую середину: хотя ее отношение к родителям критическое, она за них едва ли не стыдится (например, как раз во время поездки, когда она видит, как ее подвыпивший отец "токует" и "kadrit" молодую девушку). Тем не менее ей хочется видеть родителей, ей нужно от них "jednou tejdň pochválit". У нее две линии поведения, два облика, два восприятия жизни: одна – для ее пражских друзей – сюда относятся вечеринки, курение гашиша, роковые концерты и смена партнеров; другая – для родителей, живущих в домике на Сазаве,

Таким образом, в "*Učastníci zájezdu*" на первом плане отношение детей к родителям. И, напротив, в "*Výchova dívek v Čechách*", и в "*Zapisovatelé otcovský lásky*" главное – отношение родителей к детям, прежде всего речь идет об обожествлении **отцами дочерей**. Чаще всего это разведенные отцы, которые гораздо больше страдают от разлуки, чем их дочери. Сказанное особенно заметно в последней книге, где это отношение наглядно прослеживается и в языке. С одной стороны, отцы насмешливо копируют речь своих дочерей (разумеется, в их отсутствие), они посмеиваются над их идолами типа Майкла Джексона, группы Lunetic и пр.: "Nazdar, tat'uldo, hele, můžu ti brnknot zhruba za hodinku? Sorry, ale mne zrovna v telce začíná Beverly Hills". С другой стороны, отцы, общаясь с дочерьми, стараются подделяться под их язык, для этого они даже обращаются к журналам типа "*Bravíčko*" или же "*Top dívka*". Если же им это не слишком удается, и они не имеют никаких шансов с *posíláním pusinek* или же с глубокомысленным разглагольствованием об отцовской любви и о "вкладе инвестиций в отношения", то еще более комично, насколько это вообще возможно, они выглядят в тех случаях, когда предлагают своим дочерям *nákej malej shopping*, покупку *sexy módy, strečových triček* и *skejt'áckého oblečení*. В ответ на это дочери самое большое, что они могут сделать, урезонивают своего "старика": "Zklidni hrombón!".

За этими оргиями "fotíkovský lásky" безразлично наблюдает и иронически комментирует в "*Zapisovatelé otcovský lásky*" один из рас-

сказчиков – молодой “неуемный протоколист”. Он же документирует и развитие отношения дочерей к их отцам: в период пубертальной нетерпимости его взрослая сестра Рената уже способна притворяться, стараясь угодить отцу. Позже, когда брат предупреждает ее о том, что они с отцом едут к ней в гости, она выставляет своего приятеля, наводит в квартире порядок, садится вышивать. Подражая интонациям Адины Мандловой, она бросается к ним с возгласами “Папочка!”, “Брат!”, “Какой приятный сюрприз!”. Конечно, сыну с отцом гораздо легче найти общий язык, что достаточно наглядно показано в одной из сцен книги *“Zapisovatelé otcovský lásky”*, когда они вместе уступают “tý jejich plíživý vánoční ideologii”, готовясь к сочельнику. Неприятные чувства они прикрывают грубостью: “naser na ty větve trochu toho zlatýho... to by to kurva muselo mít řáký jehličí... na jehličí se vyser... já zaím voškrábu a vobalím tohodle leklýho hajzla... pust’ aspoň telku, at’ tu doprdele není takový ticho... na co kurva telku? Stejně ty čuráci vysílaj jenom samý zasraný pohádky!”.

Задержимся еще на какое-то время у “мира дочерей” (по крайней мере, тех подрастающих): как уже было сказано, это мир модной одежды, журналов, реклам, идов кино, хитов поп-музыки, т.е. всего того, что вызывает презрение у Виктора из книги *“Zapisovatelé otcovský lásky”* как “полный идиотизм”. В концентрированном виде этот мир представлен в образе Памелы из *“Účastníci zájezdu”*, которая обожает свою работу, Моцарта и абрикосовый мармелад, все это она характеризует как “mos a mos krásně” (это высказывание любят пародировать интеллектуалы–участники поездки). Она пишет инфантильные сказочки и вообще живет в мире витаминных кондиционеров, увлажняющего молочка для тела, травяных эмульсий, муссов для закрепления прически, противопростудной помады и кремов для ослепительной свежести. К этому искусственно му миру относится и мир телесериалов: Даллас, Династия или же Beverly Hills. Герои этого произведения Гинек и Дениза все это называют “какафоническим потоком лживых упрощений, эффектных псевдо-проблем, слашевой сентиментальности и вопиющей тупости”. В заключении книги *“Výchova dívek v Čechách”* рассказчик в конце концов с сарказмом сожалеет о том, что Beata “не попыталась купить себе что-нибудь для своего удовольствия, как это сделала Мелания, не занялась планированием каких-нибудь небольших экскурсий, вроде Дебби, не приготовила себе что-нибудь вкусненькое по своему любимому рецепту, как Дафни...”. Если бы она это сделала, возможно, ей удалось бы преодолеть свою депрессию, и она бы не покончила с собой.

Теперь, практически в заключение статьи, следовало бы наконец упомянуть о семиотической функции курсива в прозе Вивега (отчетливее всего это видно в *“Výchova dívek v Čechách”*, но не толь-

ко здесь). Курсив в этих текстах играет важную роль именно в представлении различных контрастных “миров”: курсивом набраны именно те **прототипические слова, словосочетания, фразы, клише, слоганы и цитаты**, посредством которых мы имеем возможность при чтении отчетливо представить себе эти миры. О некоторых из этих “закурсивленных миров” (например, политическом, интеллектуальном, экологическом и пр.) мы здесь уже говорили, к ним, однако, можно было бы добавить и другие. Именно с помощью закурсивленных слов автор вводит эти миры очень легко, как бы одним намеком, и тем не менее вы не сможете их не заметить. Так, в прозе “*Výchova dívek v Čechách*” не составляет особого труда в тот момент, когда Беата начинает интересоваться обустройством квартиры, оперативно ввести соответствующий мир и погрузиться в *lamelové příčky, podlahové krytiny, střešní okna, varianty interiérového řešení* и *pseudorustikální kreace*, в *textilní sedáky, dvojválenty, kruhová lůžka*, чехлы *mikroplyš* и *vysoký vlas*, заниматься *tvarovým rytem* и подбором *tón v tón*. Одновременно с этой конструктивной деятельностью Беата, разумеется, подводит итог прошлому и сжигает реликвии: здесь на какое-то время удачно вводится сентиментальный мир женских романов (содержимое ящика ее буквально *zasáhlo; s pohnutím* она брала в руки пожелавшие рисунки; *láskyplně* вынимала какие-то написанные на машинке стихи; *opatrne* развязывала выцветшую ленточку, скрепляющую письма; *mlčky* смотрела на фотографии молодых людей; с выражением человека, который именно сейчас *přetrhává všechna roura*, бросила в огонь). Или же в книге “*Zapisovatelé otcovský lásky*” в семью Ренаты приходит ее поклонник, инженер-архитектор – в этом случае в его разговоре с отцом Ренаты сразу же всплывает закурсивленный мир, содержащий *ceny stavebního materiálu, subdodavatele, ceny stavebních prací, architektonické dozor, blbce památkáře, žižkovské vysílač* и т.д.

Два из закурсивленных миров, вводимых в прозе “*Výchova dívek v Čechách*”, чрезвычайно выразительны, они близки автору, поэтому мы остановимся на них особо. Первый из них, мир **школы, педагогов и учеников**, М. Вивег, в прошлом сам учитель зbraslavской школы, заполняет соответствующей лексикой с особым смаком: *třídní schůzky, ukázkové hodiny, pedagogické dozory, hloubkové inspekce, pedagogické know-how, práce s hlasem, výchovně-vzdělávací úkoly, rozvoj citové složky našeho žactva, správné příklady, zářné vzory, výchovné koncerty, pedagogické útoky, ofenzivní pedagogické předklony, mateřský jazyk jako ohromující a účinný nástroj sebepoznání*. И, наряду с этим, *učitelský kecy, pedagogický nihilismus a skepse, vědomi marnosti*. Все это обернуто цитатами – высказываниями педагогов (О. Хлуп), психологов-педагогов (З. Матейчек) и министров образования (П. Питъга), сервировано в соответствующем ироническом контексте, иногда с добав-

лением книжных титулов: Прощайте, господин профессор; Джунгли перед доской; Вверх по лестнице вниз. Впрочем, один, наиболее интересный рассказ, включенный в *"Povídky o manželství a sexu"* под названием "Эстафета человечности", основывается на диалоге педагога с его бывшей ученицей: при встрече она ему (т.е. происходит смена ролей) напоминает, что когда-то он, будучи молодым учителем-энтузиастом, старался *předávat štafetu lidství*.

Еще выразительнее другой закурсивленный мир, присутствующий во всех без исключения книгах Вивега – это мир **сочинительства, писательства, авторского творчества**. Это особенно характерно для *"Výchova dívek v Čechách"* и *"Účastníci zájezdu"*, где главный герой идентифицируется с рассказчиком, и вместе с тем он всегда является писателем, который пишет роман: его "жизнь" и творчество, "реальность" и текст незаметно переплетаются друг с другом, что открывает большой простор для фикции, для авторской мистификации, для поразительных "shifts". Во всех книгах имеется огромное количество цитат из произведений других авторов, а также аллюзий в связи с их текстами, используются и цитаты из подлинных и фiktivных литературно-критических статей (надо сказать, что с критиками автор-рассказчик расправляется самым различным образом, в большинстве своем беспардонно – он даже их убивает!). Имеются здесь бесчисленные метатекстовые рефлексии собственного процесса создания текста и размышления о предполагаемом восприятии читателя, мысли о собственном типе автора, о значимости собственных текстов, упоминаются и теоретические проблемы литературы. В силу этого в данные тексты вступает еще один код и, соответственно, набранные курсивом слова, например, *humanisticky orientovaný spisovatel, povrchní humanista, vtipkující pisálek, postmoderní román, kompoziční mistrovství, narrativní postupy, románová fiktivnost, hostitelský syndrom, příběh, styl, legitimovat se psaním, creative writing (kurs tvůrčího psaní), neukončenost, otevřenost, tradiční vypravěč a experimentátor s formou, skutečnost a text, střední a vysoká kultura (se svým kultem vážnosti), opovrhované čtivo a vysoká literatura, magický realismus* и мн.др. Появляются здесь и различные авторские конфессии, которые, впрочем, не следует воспринимать всерьез, от иронического "lidi se aspoň zasmáli a vo to počítám v literatuře jde, ne?", вплоть до более серьезного "Šiju veselé přehozy, abych jimi zakryl syrovou skutečnost bolestí".

Столько различных "миров", столько кодов (в большинстве своем выделенных курсивом), столько цитат и аллюзий в прозе Вивега переплется и сталкивается друг с другом, что зачастую мы даже не можем наверное сказать, в каком из миров мы находимся в эту минуту, который из "голосов" слышим. Мало того, аутентичные в языковом отношении высказывания, относящиеся к тем или иным мирам, непрестанно становятся объектом иронии и высмеивания.

В этой интертекстовой игре, в которой с удовольствием участвует и рассказчик-писатель, ничто нельзя воспринимать всерьез. И вообще текстам постмодерна нет ничего более чуждого, чем изобразительные приемы реализма и создание верной, социологизирующей картины действительности. И все-таки, как мы видим, чешская действительность 90-х годов XX столетия присутствует в них очень живо и своеобразно. Следует, однако, принимать во внимание тот факт, что если сама эта действительность чрезвычайно хаотична, непонятна и шизофренична, то тем самым она сама уже более, чем на полдороги, идет навстречу поэтике текстов постмодерна.

ЛИТЕРАТУРА

Čmejrková S. Jazyk literatury // Daneš F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Academia. Praha, 1997.

Hoffmann B. Michal Viewegh – autor postmoderních bestsellerů? (Pokus o portrét postmoderního prozaika) // Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií. UK. Praha, 1999.

Hoffmannová J. Heterogennost českého literárního textu (v ēfe postmoderní intertextuality) // Literatura a heterogenicznoś kultury. Poetyka i obraz świata. TRIO. Warszawa, 1996.

Viewegh M. Účastníci zájezdu. Petrov. Brno, 1996.

Viewegh M. Zapisovatelé otcovský lásky. Petrov. Brno, 1998.

Viewegh M. Povídky o manželství a sexu. Petrov. Brno, 1999.

Перевод Г. Нещименко

М.Л. Соснова

(Россия)

РЕЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР И СУБКУЛЬТУР

Функционирование этнических (и национальных) культур связано с межкультурным общением. Это общение обслуживает обмен культурными предметами, деятельностями и идеями, который осуществляется между культурами. При этом каждая этническая культура выступает одновременно в двух ролях: в роли донора и в роли реципиента. В философии и культурологии этот взаимный обмен называется диалогом культур.

В XX веке глобализация хозяйственной деятельности межнациональных промышленных объединений привела к тотальному культурному обмену между этносами: в наше время расстояния и время

не являются препятствиями. Межкультурное общение на всех этапах межъязыковых контактов обслуживается переводчиками и от их профессиональных действий на первом этапе зависит, заимствуются или не заимствуются иноязычные слова, обозначающие объекты рецепции из чужой культуры.

Для нашего дальнейшего исследования целесообразно различать следующие аспекты сложного феномена, который называется диалогом культур.

Во-первых, это обмен культурными предметами, деятельностями (точнее – технологиями) и идеями.

Во-вторых, это межкультурное общение, обслуживающее обмен.

В-третьих, это речевая деятельность переводчиков, результаты которой для всех носителей этнической культуры заметны в форме заимствований иноязычных слов и в форме процесса их адаптации в рамках своей культуры.

Обмен культурными предметами, деятельностями и идеями в наше время принял постоянный и устойчивый характер, человечество уже уже с середины XX в. начинает создавать специальные международные организации, регулирующие этот обмен, наиболее известными из них являются ООН и ЮНЕСКО.

Культурный обмен между этносами обслуживается межкультурным общением. (1). Совершенно очевидно, что культурный обмен может принимать формы как межэтнического, так и внутриэтнического обмена.

В межэтническом обмене донорство и рецепция происходят между этническими культурами, а во внутриэтническом обмене участвуют субкультуры одного этноса.

Культурный обмен между субкультурами одного этноса, по всей вероятности, есть непременное условие существования этнической культуры, т.к. он обеспечивает ее единство, развитие, обогащение. Этот субкультурный обмен четко прослеживается при наблюдении над проникновением в литературный язык слов из языка носителей других форм общенационального языка (территориальных, социальных диалектов, профессиональных языков, молодежного жаргона, арго).

В этот же ряд можно поставить обмен продуктами труда (в форме культурных предметов, деятельностей, идей) между профессиональными работниками конкретной сферы деятельности, которые выступают в качестве доноров, и профанами, которые являются реципиентами. Этот обмен сопровождается формированием новых терминов, вхождением их в профессиональный язык и распространением в отдельных случаях за пределы профессиональных текстов.

(1) В отечественной литературе фигурируют два термина – межкультурная коммуникация и межкультурное общение.

Таким образом, мы в нашем исследовании пытаемся установить типологическую общность в культурном диалоге между этносами, субкультурами одного этноса, профессионалами и профанами.

Эту типологическую общность можно установить по двум критериям:

– критерий первый – во всех формах культурного диалога происходит обмен культурными предметами, деятельностями и идеями;

– критерий второй – во всех формах культурного диалога осуществляется заимствование иноязычных слов, заимствование в литературный язык слов иных форм общенационального языка и переход терминов из специальных текстов в профанные.

Попытаемся проследить эти явления на примере создания, затем – передачи, распространения в своей профессиональной группе, в своей (русской) национальной культуре, перехода в чужие культуры такого сложного феномена, каким стала “система Станиславского”.

Забегая вперед, заметим, что существование системы Станиславского нами понимается как формирование представлений (идей) в профессиональной художественной субкультуре, мы бы назвали их методологическими театроведческими познавательными схемами, созданием новой технологии обучения актера в репетиционном процессе и распространением (передачей) этих идей и технологий в рамках своей профессиональной субкультуры, а затем и за пределы национальной культуры. Известно, что процесс передачи идей и технологий Станиславского (это и есть собственно система Станиславского) осуществляется в виде текстов и в виде живых носителей способностей реализовать эти технологии (например, М.А. Чехов, уехавший в США).

К сожалению, большая литература вокруг нее не исчерпывает проблему понимания, адаптации ее, напротив, создает подчас ложную иллюзию простоты, адекватности передачи “системы” новым поколениям как внутри театрального сообщества, так и вне его.

К.С. Станиславский оставил огромное наследие в виде рукописных трудов, но материальные свидетельства его роли реформатора театра не ограничиваются его собственными текстами. Созданные им спектакли, сыгранные им роли зафиксированы в описаниях, режиссерских экспликациях, фотографиях, воспоминаниях очевидцев. Важное значение для его идей имеет то, что творчество основанного им совместно с Вл.И. Немировичем-Данченко МХТа, а также нескольких студий представляло собой соединение усилий большого количества талантливых людей, многие из которых сами оставили книги, статьи, собственных учеников. Имя Станиславского известно

всему театральному миру нашей планеты, что неизбежно, с одной стороны, превращает его в миф, символ, а с другой – не всегда способствует серьезному постижению его идей новыми поколениями людей театра, освоению их иными субкультурами как в нашей стране, так и за ее пределами.

Хотелось бы подробнее сориентировать читателя в целях автора статьи. Рецепция системы Станиславского в межкультурном и внутрикультурном диалоге нас интересует в первую очередь как уникальный случай формирования и передачи идей, который достаточно хорошо описан и изучен, а поэтому может быть раскрыт со-держательно.

Известно, что усвоение нового слова отдельной личностью или всей этнической культурой, сопровождающее присвоение своей культуры или рецепцию чужой культуры – это только начало развития значения этого слова. С этой точки зрения развитие значений понятий и терминов системы Станиславского при усвоении ее профессионалами в рамках своей культуры и при рецепции ее носителями чужой культуры хорошо представлено и описано.

Кроме того, рецепция системы Станиславского в межкультурном и во внутрикультурном диалоге позволяет показать такие стороны рождения нового знания, которые часто ускользают от внимания исследователей. Формирование нового знания неотрывно от целей, мотивов деятельности, в которой они порождены, следовательно, новое знание всегда связано с эмоциями, которые сопровождают не только его появление, но и дальнейшую его жизнь. Так, рецепция системы Станиславского в США, сопровождаемая противоречивой позицией М.А. Чехова, который был не только ее популяризатором, но и оппонентом, протекала все же без того эмоционального напряжения, которое сопровождало жизнь системы на родине.

С целью наиболее полного понимания исследуемого феномена – “передачи” системы Станиславского – обратимся к краткому изложению пути формирования сознания и личности ее создателя.

Став актером-любителем, Станиславский серьезно вникал в театральную проблематику, хотел понять секреты актерского мастерства, обдумывал впечатления от искусства актеров Малого театра, от игры В.Ф. Комиссаржевской, Т. Сальвини, актеров итальянской оперы, позже – спектаклей мейнингенцев и др. Постепенно в его сознании складывался “идеал актера”, как он сам пишет об этом в книге “Моя жизнь в искусстве”. Входя в круг основателей “Общества литературы и искусства”, одну из своих целей видит в создании школы, в которой по-новому будут обучаться молодые актеры. Открытие МХТа способствовало реализации на практике идей Станиславского о новом театре как о сообществе творцов, актеров-интелли-

гентов, несущих со сцены глубокие мысли, облеченные в современную художественную форму.

Работа над ролями в качестве актера, над спектаклями – в качестве режиссера, постановщика и педагога, постоянный исследовательский труд подводили Станиславского к формированию идей, совокупность которых впоследствии получила название “системы Станиславского”. Принято считать, что в нее входят:

1. Этика Станиславского, представления о театральной морали, о нравственной стороне человека театра;

2. Работа актера над собой, т.е. описание сложного процесса всесторонней подготовки человека к этой профессиональной деятельности, в первую очередь с точки зрения психотехники, развития голоса, пластики и т.д.;

3. Работа актера над ролью, описание представлений автора системы о наиболее важных моментах и сторонах разработки действенной стороны роли, характера, путях перевоплощения в образ персонажа и т.п. Значимость собственных открытий для самого К.С. стала смыслообразующей, о чем говорит тот факт, что “записи по системе в годы мировой войны он хранил в сейфе Купеческого банка вместе с письмами Чехова” [Смелянский 2000, 154].

Проанализируем, используя культурологический понятийный аппарат, что именно передавал Станиславский вначале своим коллегам, соратникам, что потом воспринималось представителями других театральных коллективов.

1. Идеи, действия, способы действия актера. – Постепенно, все более увлекаясь идеей познания “органических законов жизни человеческого духа”, Станиславский стремился открыть эти законы, исходя из опыта самонаблюдений, только после этого делился со своими коллегами способами совершения действий, обычно обозначая их определенными понятиями, терминами. К примеру “Магическое “если бы” (“толчок” для работы воображения) возникло у него еще в 1906 году, а потом уточнялось, отрабатывалось. Впоследствии рождались описания и других приемов, главными из которых станут “сверхзадача”, “сквозное действие”, “предлагаемые обстоятельства”, “эмоциональная память” и др.

Таким образом, любая находка, каждое новое действие (новое, потому что раньше оно так не осмыслилось, не называлось, не находилось в связи с другими действиями) вначале проходило через этап проверки на себе, затем – через объяснение, показ, демонстрацию образца, передавалось другому. Отрабатывался сам прием (идея, способ или характер действия), подыскивалось слово или словесная формулировка для его обозначения. Иногда приходилось отказываться от некоторых терминов. Так, заимствованная из йоги “прана” не сохранилась в понятийном аппарате системы. (Возможно, от-

части ее содержание вошло в понятия “лучеиспускание” и “лучевосприятие”).

Отметим важное обстоятельство, которое отчасти объясняет непростой характер восприятия системы. Сам К.С. иногда отказывался от найденного им в пользу более новых открытий, менял их иерархию, значимость. Типичная для больших художников и исследователей постоянная неудовлетворенность собой заставляла его все искать и искать, до последних дней жизни не прекращала биться его мысль в этом направлении. Кстати, сам он не считал себя ученым, страдал от отсутствия систематического образования, сетовал, что и писатель он неважный. Все давалось с трудом, многократно переделывались тексты, даже более молодые помощники не выдерживали высочайшего уровня требовательности к себе (по свидетельству Л.Я. Гуревич).

2. Очень значимый феномен, идущий от К.С. Станиславского, это отношение к театру как к ценности, соответствующий этому ценностный ряд. Для него был аксиомой завет М.С. Щепкина “Театр – это храм. Священнодействуй или убирайся вон!” К примеру, в 1919 году, когда в голодной и холодной Москве исчезли эпементарные условия для выживания, Станиславский обратился к правительству с мыслью о том, что “театр переживания” – это национальная ценность, его нельзя отложить до лучших времен”. Общеизвестно отношение к самому К.С. как к “рыцарю искусства”, не жалеющему себя во имя Театра. Например, об этом говорит В.И. Качалов, да и практически все, кто его знал: “он действительно весь целиком горит искусством, с утра до глубокой ночи, всегда...” [Качалов, 125]. На этих ценностях основана и “этика Станиславского”, совокупность идей, которые позже получили такое название. В практике театра и театрального образования они передаются в первую очередь путем личных примеров, через непосредственные контакты с людьми театра, путем эмоционального внушения, заражения, через отношение к деятельности в театре как к служению, к миссии. В русском театре после Станиславского образовалась новая шкала нравственных норм и правил, разумеется, многими нарушающаяся, но сами нарушения воспринимаются театральным сообществом как нечто, что находится за пределами нормы. К примеру, воспитанный на этих представлениях А.Д. Попов пишет, что как бы ни было тяжело на гастролях в первые послереволюционные годы, труппа “не торговала искусством и не играли спектаклей за пшено и муку...” [1963, 160].

(2) Сложными феноменами, передаваемыми только частично, фрагментарно, являются зафиксированные в отрывках на пленке и фотографиях спектакли, поставленные Станиславским, а также отдельные репетиционные процессы, оставшиеся в записях учени-

ков. Спектакль во времени не сохраняется, т.к. необходимой составляющей его было живое общение со зрителями, сиюминутное поведение живого актера во взаимодействии со всеми остальными компонентами спектакля. Хотелось бы особенно выделить его энергетические свойства, память о которых остается лишь в душе и сознании зрителей, обозначающих свои впечатления словами “потрясение”, “нечто незабываемое”, “чудо” и т.п. Люди, видевшие самого Станиславского в ролях, говорят о его гениальной игре, глубине проникновения в образ, юморе, обаянии и т.д. Но вот О. Пыжова вспоминает, что ее подруга отнюдь не была покорена им в одной из ролей [1974], след в ее памяти, видимо, остался соответствующий (если позже она его не переосмыслила, так тоже бывает).

Ход репетиций, записанный свидетелями и учениками, также не может дать полного представления о них, т.к. помимо вербального компонента общения имели место и визуальный, и интонационный, поскольку Станиславский использовал показ, иллюстрируя свои мысли и подсказки.

“Мы не можем толковать его систему (Станиславского. – М.С.) – мы ее слишком мало знаем... Нет страны и нет театральных художников, которых не коснулось бы влияние Станиславского” [Марков 1976, 4]. Приведенные слова, сказанные на 75-летии К.С. Станиславского, свидетельствуют о том, что а) еще при жизни создателя системы осознавалась проблема понимания ее как нечто такого, что необходимо изучать, и что б) уже в 1938 г. она уже стала достоянием мировой театральной культуры.

В настоящее время система осмысливается в контексте новых открывшихся обстоятельств ее создания и функционирования в театре. Лишь в последние годы выходят книги, подобные трилогии О.А. Радищевой “Станиславский и Немирович-Данченко. История театральных отношений” Т. 1 (1898–1909), Т. 2 (1909–1917), Т. 3 (1917–1938) [М., 1997–1999], в которых на материале архивных документов обнаруживается далеко не благостная картина достижения системы ближайшим “соратником” (правда, некоторые авторы называют их “противоположниками”). Как пишет А. Смелянский в рецензии на работу О. Радищевой, “ознакомившись с системой, добровольно стараясь проникнуть в ее мудрость, Н.-Д. в конце концов стал последовательным и принципиальным ее оппонентом. Это было частью “государственной тайны” (особенно после того, как система была канонизирована [2000, 154]. Безусловно, у Немировича-Данченко были собственные представления о театре, актерской игре, режиссуре, интерпретации пьесы и т.п., он вряд ли был готов к тому, что на его глазах создается явление впоследствии пришедшее “в театральные школы мира как ничем не заменимая грамма-

тика актерского ремесла” [Там же, 155]. Затем система переживет всякое: ее воспринимали то как “универсальную отмычку”, то как “отупляющую религию” [Там же, 155], то как мифологизированный свод законов, но иногда – и как объект для шутки, гротеска (М.А. Булгаков), повод для критики, не всегда взвешенной (Ю.П. Любимов).

Итак, кому предназначалась система? Довольно долгое время Станиславским руководило стремление самому понять важнейшие закономерности создания актером “жизни человеческого духа” в роли, но затем он неизбежно стал делиться своими открытиями с актерами, учениками, а впоследствии – через текст – и с читателями.

Этот обычный факт устных бесед учителя с учениками, адептами, затем – создание текстов, понимание которых есть процесс создания читателем у себя новых знаний, указывает на фундаментальное значение текстов при “трансляции” идей: идеи не транслируются (не передаются) от создателя к адептам, они могут только воссоздаваться вновь и вновь при каждом “общении” с текстом, его понимании.

Поэтому усвоение идей системы К.С. в своей культуре и рецепция ее в культуре чужой связана с такими потерями и искажениями, т.к. первоначальная идея ее создателя существует у последователей-реципиентов не в виде самой идеи, а в виде представления о ней, с неизбежной интерпретацией.

Во МХТе его открытия некоторыми зрелыми актерами воспринимались как нечто странное, чужеродное. И это естественно, т.к. у них уже были свои собственные способы работы над ролью, внедрение новых названий, новых приемов в давно автоматизировавшийся процесс не мог их не раздражать... Однако некоторые актеры-мастера (В.И. Качалов, Л.М. Леонидов, В.В. Лужский, И.М. Москвин и др.) во многом переосмысливали свои подходы к процессу создания образа, обогащая их методами К.С. Станиславского. Качественный скачок произошел лишь при включении в работу Л.А. Сulerжицкого и с открытием 1-й студии МХТ, в которой были молодые актеры, занятия по системе стали вестись параллельно с постановкой спектаклей, что создало наиболее благоприятные условия для отработки основных идей и аспектов системы ее автором.

Тот факт, что освоение системы молодыми актерами сопровождалось меньшими искажениями, чем освоение ее опытными актерами, подтверждает механизм присвоения новой идеи (знания): переосмысление идей К.С. опытными актерами происходило более интенсивно, хотя и более субъективно и пристрастно, т.к. они обладали большими средствами (знаниями), чем молодые актеры, а следо-

вательно, и большими возможностями ее трансформации и адаптации к уже имеющимся представлениям.

Деятельность Сулержицкого также указывает на важную закономерность усвоения и рецепции новой идеи: текст, излагающий идею, должен сопровождаться метатекстами (в данном случае ими служили упомянутые выше занятия его со студийцами), понимание их реципиентами должно порождать у них новое знание, интерпретирующее новую идею.

Сам К.С. считал, что ученику “мало знать мою “систему”, надо на ее почве придумать свою” [цит. по: Кристи 1952, 174]. Это точное в психологическом смысле понимание сложных процессов присвоения “чужих” знаний, образования на их основе своего собственного, характерного для конкретной индивидуальности актера – справедливо и современно.

Чаще всего система воспринимается в единстве с эстетикой театра Станиславского, его вкусами, художественной направленностью, что отчасти затрудняет ее жизнь в процессах освоения и использования другими художниками. Однако свидетельства самых крупных из них в XX в., таких, как П. Брук, Дж. Стреллер, А. Арто, Е. Гrotovский, Г. Товstonогов, О. Ефремов и др., говорят об освоенности театральным миром наследия Станиславского, о своем, присущем только конкретному мастеру восприятию его идей, оценок, пути в искусстве. Напомним, что процесс адаптации культурных предметов (действий и идей) другими этническими культурами или другими поколениями является типологически однородным для всех видов рецепции культуры.

Анализ большой литературы с воспоминаниями об общении со Станиславским, о его личности и многоаспектной деятельности способствует пониманию сложного пути системы в сознании актеров, режиссеров, критиков и исследователей театра. Вдохновение и страсть, с которыми он делился своим знанием с авторами этих работ, заразили их и повлияли на воспитание этих людей в русле его идей и ценностей. Разумеется, все они очень разные личности, с разной степенью развития эмоциональности и интеллектуальности, с различным жизненным опытом, разной степенью близости к творческой лаборатории создателя системы. При всей глубине понимания его идей и воззрений, наблюдается не только и не столько интерпретация их, но предоставление как бы самому Станиславскому возможности высказываться по различным поводам через прямое его цитирование. Отчасти причиной этого является пиетет, доходящий до преклонения перед ним, но можно допустить и некоторое недоверие к своим возможностям адекватно передать его мысли. Факт заимствования слова (цитирование) вместе с присваиваемыми культурными предметами (идеями, знаниями, технологиями)

говорит об отсутствии эквивалентного слова в языке культуры-рецептора или о признании отсутствия эквивалентности у имеющегося слова.

Часть свидетельств принадлежит перу людей, преданных Станиславскому и сделавших ставку лишь на популяризацию его идей, однако, неизвестно, либо они сами не стремились найти свой путь в искусстве, в театральной педагогике, либо у них не было такой возможности, т.к. постепенно в них возобладала “моноидеология”. Сам Станиславский не всегда поощрял самостоятельность взглядов, к примеру, после долгого разговора с М.А. Чеховым за границей, в котором тот пытался посвятить его в свои собственные поиски, отчасти противоречащие взглядам основателя МХТа, он сказал: “Чехов погиб для искусства” [Громов 1970, 205]. К Е.Б. Вахтангову он относился с интересом и надеждой, хотя ему самому не все было близко в творчестве создателя “Принцессы Турандот”. Он уважал и поиски нового в театре В.Э. Мейерхольда, даже предложил ему в тяжелый момент помочь, хотя это, конечно, поступок скорее человека, нежели художника.

Внутри одной национальной театральной культуры, но разведенной во времени, можно наблюдать удивительные феномены “общения” со Станиславским Г.А. Товstonогова и О.Н. Ефремова, продолживших и развивавших его идеи, его эстетику, эстетику русского психологического театра. В статье, написанной в 1962 году “Станиславский сегодня”, Товstonогов признается в том, что “всю мою сознательную жизнь Станиславский был со мной рядом” [1972, 110], хотя он только несколько раз видел его на сцене и однажды был со студийцами у него дома. Автор знакомит нас со “своим” Станиславским настоящего, который помогает строить современный театр, предупреждает, что и впредь он будет, но только с теми, кто сможет быть достойным такого сотрудничества. Так использованная автором статьи публицистическая метафора помогла сказать о своем отношении к системе и ее создателю, дала образец единственно верного способа творческого освоения “чужих” великих идей, которые только и могут жить, если глубоко понимаются, используются, перерабатываются.

Рецепция системы Станиславского современниками и людьми театра более поздних поколений (например, Г.А. Товstonоговым и О.Н. Ефремовым) дает возможность внести в этот процесс рецепции представление о синхронии (освоение идей современниками) и диахронии (освоение системы потомками).

Представление о синхронном и диахронном срезе в процессе рецепции не меняет видение существа самого механизма рецепции (новые знания создаются на основе старых знаний реципиентов), но позволяет объяснить содержательные различия в синхронных и диа-

хронных рецепциях (потомки используют новые знания, которых еще не было при жизни автора системы).

Мировая театральная культура должна быть благодарна американским издателям, по заказу которых были написаны, а впоследствии и опубликованы “Моя жизнь в искусстве” и другие теоретические работы К.С. Станиславского. Однако рецепция и функционирование системы в мире не проходили просто. В первую очередь это касается языка, каким она изложена и который далеко не всегда получал свое адекватное переложение на языки других национальностей. Являясь участником международного симпозиума “Станиславский в меняющемся мире”, состоявшемся в Москве в 1989 году, могу сказать, что темы значительной части докладов касались трудностей перевода и адаптации работ Станиславского в театральном сознании нерусскоязычных стран.

Возможно, по этой же причине лишь небольшое количество терминов системы интерпретируется в “Словаре театра” П. Пави [1991]. К примеру, автор считает, что “подтекст” как понятие, “теоретически высказано Станиславским, для которого подтекст – психологический инструмент, информирующий о внутреннем состоянии персонажа, устанавливающий дистанцию между тем, что сказано в тексте, и тем, что показано на сцене” [237]. А вот слова автора системы: “Подтекст – это не явная, но внутренне ощущаемая “жизнь человеческого духа роли”, которая непрерывно течет под словами текста, все время оправдывая и оживляя их... Подтекст – это то, что заставляет нас произносить текст роли... Смысл творчества – в подтексте” [Станиславский Т. 3, 74–75]. Как видно из приведенного примера, автор часто формулировал свои идеи на стыке нескольких проблем: проблемы интерпретации текста пьесы актером, проблемы мотивирования и смыслообразования самой этой профессиональной деятельности, проблемы “выращивания” сознания образа актером и т.п. Возможно, трудности адаптации не позволили автору “Словаря театра” включить в него даже такие распространенные понятия системы, как “сверхзадача”, “сквозное действие”, “предлагаемые обстоятельства” и др.

Как уже упоминалось, рецепция (займствование) культурного предмета (идеи, действия, в нашем случае системы Станиславского) вместе со словом или без него – есть начало длительного процесса формирования значения предмета в культуре-реципиенте. Так, система К.С. была воспринята в США, а затем и в других англоязычных странах в переводе и адаптации (сокращении, что пошло отчасти на пользу и ей, и читателям) Элизабет Хэпгуд, а также – через интерпретацию Ли Страсберга, обучавшего в своей школе многих актеров, в том числе и некоторых из них, ставших впоследствии звездами мирового кино.

Е. Гrotovский писал, что “долго изучал Станиславского, и именно ему я обязан интересом к методологическим проблемам искусства актера... Именно Станиславский поставил ключевые вопросы актерской методологии. Но наши ответы на эти вопросы могут быть отличны от его ответов, а иногда и противоположны” [цит. по: Театр Гrotovского 1992, 89]. В диалоге, в полемике со Станиславским вырабатывались идеи и собственные открытия многими театральными деятелями XX в. П. Брук на себе осознал все взаимовлияния творцов: “Каждый из нас, деятелей театра, влияет на других и сам испытывает на себе их влияние. Происходит взаимодействие, взаимообмен. Останавливаться на каком-то одном методе, отвергая все прочие, по-моему неразумно. То, что в свое время принес в театр Мейерхольд, было связано с его реакцией на ряд явлений, которые вызвали у него протест. Но, будучи гением, он обратил всю свою энергию на наиболее фундаментальные и динамичные элементы театра. В то же время Станиславский, который тоже был гением, посвятил себя поиску духовной истины... Гrotovский находился под влиянием учений как Станиславского, так и Мейерхольда” [цит. по: Театр Питера Брука 2000, 172]. Знаменитый режиссер, на практике реализовавший идею “мирового театра”, ставящий спектакли с актерами разных национальностей, играющих для зрителей разных стран, Брук подтверждает мысль о том, что не надо выбирать между эстетикой, методологией художников предыдущих поколений, а на их основе следует вырабатывать свое, новое, эпигоноство же не рождает ничего, кроме “мертвого театра” (представление о котором Брук писал в своей книге “Пустое пространство”).

Какова была жизнь системы в советские годы, ярко демонстрирует эпизод, описанный М. Швыцким. На фестиваль польского театрального искусства и драматургии (Москва, 1976 г.) был приглашен “ тот самый Гrotovский, чье имя было запретно, ибо его подозревали в “сверхавангардистских” искажениях системы К.С. Станиславского. А “подозреваемый”... спешит в больницу к умирающему учителю” (Ю.А. Завадскому, у которого он учился в ГИТИСе. – М.С.). По окончании выступления Гrotovского на фестивале “по праву председательствующего” М.И. Царев после громаapplодисментов высказывает тихим голосом веское суждение: “Если бы Станиславский слышал эту речь, он был бы рад...” [1992, 113–114]. Поистине каждый театральный человек в нашей стране может перефразировать М.И. Цветаеву с ее Пушкиным (и нашим тоже) и сказать: “Мой Станиславский”, т.е. быть уверенным в приоритете своего понимания его системы. Выходили статьи и книги, даже в названии отражающие полемику вокруг его имени, к примеру, работа Вл. Прокофьева “В спорах о Станиславском! [1962, 1976]. В ней автор защищает идеи автора от нападок, отстаивает представления о “театре пере-

живания”, его преимуществах перед другими направлениями в искусстве, предостерегает от опасностей, таящихся на пути неглубокого понимания и интерпретации системы. К сожалению, одной из них автору самому избежать не удалось, когда он сближал ее с каноном “социалистического реализма”.

Вообще, тоталитаризм, в том числе и идеиный, и эстетический, сыграл важную роль в жизненном пути системы. С одной стороны, он способствовал ее распространению, с другой – упрощению, вульгаризации и препятствовал подлинной интерпретации, что невозможно без критического взгляда. Часто, не разобравшись, молодые художники смешивали понятия системы с чем-то, что узаконено, властно утверждается, т.е. ограничивает их свободу, следовательно, с этим надо бороться. В их головах эти понятия: “системы” и “свободы” были подчас противоположными. Иногда им казалось, как говорит Банионис, что “Станиславский устарел” [Режиссерский театр, кн. 2, 17], но впоследствии, более глубоко знакомясь с его наследием, они убеждаются, что “высшее в театре – живой человек на сцене” [Там же, 18], а значит, по-другому воспринимают знакомые “старые” тексты К.С.

Еще пример. Предлагая в своей книге некоторые наработанные за творческую жизнь рекомендации по работе над ролью, О.И. Борисов называет их “кирпичиками”, а их совокупность – “антисистемой”, “а еще скорее иммуносистемой. Та – каноническая – усвоена еще в Школе-студии (МХАТ. – М.С.)… “Система” – слово, конечно, неподходящее для искусства. Я это слово не люблю” [1999, 291–292]. И дальше актер вспоминает, как “впервые “изменил” “системе”, которая меня вырастила, в “Трех мешках” (“…сорной пшеницы”. – М.С.), в БДТ. Она показалась мне тесной” [Там же, 302]. Что произошло на том спектакле? Играя в полную силу, затрачивая себя, как он считал, по “системе”, актер понял, что “так долго не протянет” [Там же, 302] и обратился к собственному приему, придуманному самим, “рваному ритму”. Другими словами, как Борисов, так и большинство наших актеров, свои идеи воспринимают, как “измену” системе. И это – одна из проблем нашей театральной педагогики, для которой характерно, по нашему мнению, следующее:

1. Идеи Станиславского иногда догматируются, пропагандируются плоско, лишь на уровне словесных штампов.

2. Постепенно адаптируя систему к своим представлениям, некоторые педагоги ощущают себя ее “носителями”, “медиумами”, но в реальном художественно-педагогическом процессе работают со студентами – будущими актерами, обходя понятия системы, оставляя их наедине с непростыми для восприятия текстами Станиславского, не предоставляя им возможности творчески их интерпретировать.

А главное – у молодых актеров не вырабатывается установки: используя достижения мирового театра, стремиться к тому, чтобы на их основе начать созидать свое искусство, свой метод, который каждый день будет уточняться, меняться, совершенствоваться, осознаваться – и в этом осознании помощником (но не единственным!) станет К.С. Станиславский. Г. Яновская рассказывает, как Товстоногов, руководитель режиссерского курса, помогал им сделать для себя открытие, что значит “действенный механизм в решении сценических задач... Мы вкусили радость нахождения действенного глагола для любого куска, глагола, который был бы в жанре и был бы единственно возможным”... [Режиссерский театр, кн. 2, 2001, 486]. Если учесть, что этим практическим занятиям предшествовали теоретические задания, когда надо было изложить свое понимание системы Станиславского, можно утверждать, что в этом синтезе “трех сознаний” (ученика, педагога и автора системы), в действительности проходящем в “одной голове” – будущего режиссера – заключается квинтэссенция основного метода воспитания человека Театра.

На примере рецепции системы Станиславского мы попытались показать, что этот процесс протекает как диалог культур, так и как диалог субкультур на основе единого механизма создания новых знаний из старых, наличных знаний реципиента.

В диалоге культур, вероятно, ничего не передается, а воссоздается нечто новое из культурных предметов, технологий, идей культуры-реципиента.

Система Станиславского удобна для анализа проблем диалога культур, так как она включена в диалог и национальных культур, и субкультур одной национальной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

- Борисов О.И.* Без знаков препинания: Дневник 1974–1994. М., 1999.
Громов В.А. Михаил Чехов. М., 1970.
Кристи Г. Работа Станиславского в оперном театре. М., 1952.
Марков П.А. В Художественном театре. М., 1976.
О Станиславском: Сборник воспоминаний. М., 1948.
Пави П. Словарь театра. Пер. с фр. М., 1991.
Попов А.Д. Воспоминания и размышления о театре. М., 1963.
Прокофьев В. В спорах о Станиславском. М., 1976.
Пыжова О.И. Призвание. М., 1974.
Режиссерский театр: от Б до Я. Разговоры на рубеже веков. М., 2001.
Смелянский А.М. Противоположники // Театр. № 1. 2000.
Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1972.
Станиславский К.С. Работа актера над собой. Ч. 2 // К.С. Станиславский. Собр. соч. Т. 3. М., 1955.
Театр Гротовского. Сборник. М., 1992.
Театр Питера Брука // Взгляд из России. Сб. статей и материалов. М., 2000.
Товстоногов Г.А. “Круг мыслей”. М., 1972.

А.Е. Тарасов

(Россия)

КУЛЬТУРНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Национальные культуры находятся в процессе диалога, в ходе которого они выступают поочередно в ролях донора и реципиента. В процессе культурного диалога передаются и заимствуются:

- культурные предметы (артефакты);
- деятельности (точнее – операции);
- способы осуществления деятельности;
- идеи (знания).

Чаще всего происходит заимствование культурных предметов и деятельности в сопровождении знаний. Знания не могут быть непосредственно переданы из одной национальной культуры в другую – передаются только тексты. Смысловое восприятие этих текстов носителями чужой культуры – реципиента ведет к конструированию ими содержания этих текстов. Это содержание как раз и является новым знанием в сознании носителей культуры-реципиента.

Как показывает практика культурных заимствований, в процессе космической деятельности у носителей культуры – реципиента не всегда оказывались адекватные знания. Отсутствие таких знаний устанавливалось не умозрительным путем, а фиксировалось на основе анализа неудачных попыток построить космические аппараты на основе знаний, сконструированных при восприятии заимствованных инокультурных текстов.

ПРИЧИНЫ КУЛЬТУРНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Культурные заимствования – нередкое явление в космической деятельности. Однако их выявление и изучение является непростой задачей, ибо исследователь, работающий в этой области, кроме специфических лингвистических знаний должен иметь представления об особенностях предметной области, связанной с космосом. Данная работа и представляет собой попытку применить лингвистический и культурологический понятийный аппарат для анализа некоторых аспектов космической деятельности.

Космос привлекал внимание человечества с незапамятных времен. Писатели и поэты, политики и священнослужители уделяли

значительное внимание различным аспектам освоения космического пространства, полетам к другим планетам и контактам с внеземным разумом. В России интерес к космонавтике в XIX в. был настолько велик, что сформировалось целое философское направление, получившее впоследствии название “космизма”.

Космисты рассматривали космическую деятельность как процесс создания технических средств, способных преодолеть земное тяготение, в целях освоения околоземного пространства, а в перспективе и Вселенной¹. Согласно учениям космистов, человек является одним из элементов космоса². Наиболее выдающимися достижениями космистов были учение В.И. Вернадского о ноосфере³, работы А.Л. Чижевского о физических факторах исторического процесса⁴ и научная космонавтика К.Э. Циолковского⁵.

Следует, однако, отметить, что, несмотря на детальную разработку фундаментальных проблем космонавтики, творчество космистов за исключением некоторых наиболее известных работ не нашло отклика в обществе. Это в немалой степени было обусловлено тем, что на начальном этапе становления космонавтики, исследования в этой области велись энтузиастами, не получавшими существенной поддержки от государства.

Первые успехи в создании реактивных двигателей в 30-х годах нашего столетия и, в особенности, начало использования ракет как средства доставки боезаряда к цели вызвали большой интерес к ракетостроению и космонавтике со стороны военных. Этот интерес усилился после окончания Второй мировой войны и начала формирования ядерно-блоковой политической структуры мира. Развитие космической техники начинает восприниматься как важнейший фактор поддержания и усиления военной мощи страны.

¹ Н.Ф. Федоров “Философия общего дела”; А.В. Сухово-Кобылин. “Философия духа или социология (учение Всемира) // Русский космизм: Антология философской мысли. Сост. С.Г. Семенова, А.Г. Гачева. М., Педагогика-Пресс, 1993.

² Подробнее см.: Русский космизм: Антология философской мысли; Философия Русского космизма. М.: Фонд “Новое тысячелетие”, 1996.

³ В.И. Вернадский. Биогеохимические очерки // Русский космизм: Антология философской мысли. С. 288–303; В.И. Вернадский. Несколько слов о ноосфере // Грезы о земле и небе. СПб.: Художественная литература. 1995. С. 104–116.

⁴ А.Л. Чижевский. Физические факторы исторического процесса. Калуга, 1924.

⁵ К.Э. Циолковский оставил значительное научное наследие. Вопросы перемещения людей в космическое пространство рассмотрены: Циолковский К.Э. Исследование мировых пространств реактивными приборами // К.Э. Циолковский. Промышленное освоение космоса. Сб. науч. трудов. М.: Машиностроение, 1989. С. 103–118.

На то было несколько причин. Прежде всего, окончание Второй мировой войны изменило баланс сил на мировой арене. Признанные лидеры XIX – начала XX в. – Франция, Германия и Англия – потеряли большую часть своего политического влияния. В этих условиях стали формироваться два соперничающих блока: западный во главе с США и восточный во главе с СССР. Космическая техника стала рассматриваться как важный компонент военной мощи. Президент США Л. Джонсон заметил по этому поводу: “Британцы господствовали на море и руководили миром. Мы господствовали в воздухе и были руководителями свободного мира с тех пор, как установили это господство. Теперь это положение займет тот, кто будет господствовать в космосе”⁶.

Приведенная выше мысль Л. Джонсона отражает статусную роль космонавтики, которую она приобрела с середины 60-х годов XX в. Силовое столкновение двух блоков было невозможным: обе страны обладали военной мощью, не позволявшей противнику надеяться на быструю победу. Противоборство стало приобретать характер “холодной войны”, в которой решающими факторами стали не столько применение военной мощи, сколько демонстрация экономических возможностей страны и ее научно-технического потенциала⁷. Космонавтика как нельзя лучше отвечала этим задачам: по эмоциональному воздействию на общество достижения в области исследования и освоения космического пространства сравнимы с победой в войне. Недаром космонавтику стали называть “моральным эквивалентом войны”⁸.

Важное значение космонавтики не могло не вызвать желания у соперничающих сторон выведать технические секреты противника и, применив их в своей собственной космической деятельности, получить одностороннее преимущество. Несмотря на то что до сих пор космические технологии являются секретными, некоторая информация была доступна для изучения и для культурного заимствования.

НАЧАЛО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ: ВЕРНЕР ФОН БРАУН И РАКЕТЫ ФАУ-2

С точки зрения изучения форм и путей культурного заимствования случай с немецкими ракетами Фау является уникальным. До конца Второй мировой войны работы по созданию мощных ракетных двигателей, работающих на жидком топливе, кроме Германии

⁶ Космос: каким его видят из Вашингтона. М.: Прогресс, 1985. С. 58.

⁷ См. например: T. Karas. The New High Ground: Strategies and Weapons of Space Age War. N.Y., 1983.

⁸ Г.С. Хозин. США: космос и политика. М.: Наука, 1987. С. 15.

не велись практически нигде. После поражения немцев и захвата союзниками немецкого ракетного полигона в Пенемюнде в руки представителей антигитлеровской коалиции попали несколько баллистических ракет Фау-2. По решению союзного командования каждая из стран-союзниц получила по одному экземпляру этой ракеты в качестве трофея. Эти ракеты стали отправной точкой в создании ракетной техники в США, России, Великобритании и Франции.

Однако в силу того, что подразделения войск СС, которые охраняли базу в Пенемюнде, смогли уничтожить значительную часть документации на эти ракеты, а также потому, что большая часть немецких ракетчиков погибла, инженеры стран-союзниц вынуждены были практически заново создавать все технологии, примененные в этой ракете.

В результате были созданы несколько ракет: "Атлас" (США), "Ариан" (Франция), "Блэк эрроу" (Великобритания) и "Спутник" (СССР)⁹. Все эти ракеты напоминают сильно увеличенные в размерах ракеты Фау-2 и указывают на явное заимствование идей немецких ракетчиков. Отличия в конструкции этих ракет обусловлены национально-культурной спецификой космической деятельности, которая проявляется в своеобразии космической техники каждой страны.

Фау-2 с точки зрения боевого применения имела несколько существенных недостатков. Система наведения ракеты была весьма несовершенной, что позволяло использовать ее исключительно против площадных целей, например, городов или крупных промышленных объектов. Дальность полета ракеты позволяла использовать ее только в пределах одного театра военных действий. Двигатель ракеты имел фиксированную мощность, что не позволяло увеличить дальность полета путем создания многоступенчатой ракеты, для каждой из ступеней которой требовались двигатели разной мощности. Кроме того, для двигателя требовались три вида топлива: керосин и азотная кислота использовались для создания тяги, а перекись водорода – для работы топливного насоса и вспомогательных механизмов.

Каждая из стран, получивших экземпляры Фау-2, на основе этой ракеты начала создавать собственные ракеты, свободные от недостатков прототипа. Так, Советский Союз сосредоточил усилия на повышении дальности этой ракеты с тем, чтобы получить оружие, способное поражать цели на территории Западной Европы, Японии и США. Поэтому основное внимание было уделено созданию двигателей различной мощности. После создания ядерного оружия вста-

⁹ Эта ракета позже получила название "Восток". Военная модификация этой ракеты называлась Р-7.

ла задача разработки надежного носителя ядерного оружия, который мог бы доставить заряд на расстояние до 11 тыс. км, при этом высокой точности наведения ракеты не требовалось.

Франция была заинтересована в ракетном оружии, которое могло бы поражать малоразмерные цели, например, командные пункты и заводы в Восточной Европе и Северной Африке. В силу этого французские специалисты ограничились разработкой систем наведения и ориентации ракеты.

Великобритания проявила интерес к ракетам средней дальности, которые предполагалось использовать главным образом в английских колониях. Основным требованием к ракете была ее высокая мобильность и устойчивость к повреждениям, которые могут возникнуть при перевозке ракеты морским транспортом. Поэтому английские инженеры занимались усовершенствованием конструкции корпуса ракеты.

США, имевшие значительный парк стратегической авиации и считавшие ее основным носителем ядерного оружия, вообще длительное время не уделяли внимания созданию ракетной техники. Американские специальные подразделения захватили значительное число немецких ракетчиков, включая руководителя ракетного исследовательского центра в Пенемюнде и главу германской ракетной программы Вернера фон Брауна. Однако американские специалисты отнеслись к иностранцам враждебно и фактически не допустили их к работе. Лишь явные провалы американских ракетных проектов вынудили руководство Национального Агентства по Аэронавтике и Исследованию Космического Пространства (НАСА) назначить В. фон Брауна руководителем службы разработки вооружения, которая разработала на базе Фау-2 баллистическую ракету "Редстоун"¹⁰.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Космонавтика является частью общественного сознания и в силу этого отражает специфику бытия этого общества. Бытие каждого отдельного общества имеет свои особенности, сформировавшиеся под влиянием исторических, экономических и географических

¹⁰ Интересно что, до прихода В. фон Брауна в американскую космическую программу США не смогли создать ни одной надежной ракеты-носителя. После ухода В. фон Брауна в частный бизнес американская космическая программа переориентировалась с ракет на многоразовые корабли типа "Спейс Шаттл". Программа создания ракет, способных выводить на орбиту корабли с космонавтами на борту, была свернута.

факторов. В силу этого космическая деятельность в каждой стране имеет свои уникальные черты, присущие ей одной. Существование национально-культурного своеобразия космической деятельности признают многие исследователи, однако выявить особенности общественного сознания, наложившие свой отпечаток на космическую деятельность страны, весьма непросто.

Космическая деятельность в разных странах осуществляется в соответствии с национальной космической программой. Национальная космическая программа представляет собой набор документов, который прямо или имплицитно включает в себя основные тексты на космическую тематику, созданные в данной стране. Этими текстами являются технические описания конкретных проектов, государственные документы, научно-технические и философские работы по космосу, учебные и справочные издания и т.д.

Фундаментальные философские работы составляют космическую доктрину государства. Она представляет собой совокупность философских идей о космической деятельности. Естественно предположить, что эти идеи появились не на пустом месте, а опираются на сложившуюся в той или иной стороне практику философствования и исторический опыт народа этой страны. Это легко обнаружить анализируя понятийную систему, используемую при описании космической доктрины. Так, например, в работах русских теоретиков космонавтики, таких как К.Э. Циолковский, используются квазитермины¹¹ “прорыва”, “завоевания (освоения)”, “погони за пространством”. В России эти представления восходят к освоению Сибири и Дальнего Востока знаменитыми первопроходцами (пионерами) – Ермаком, Хабаровым, Дежневым и др. Вектор движения первопроходцев был направлен на восток.

Американские авторы, например, Томас Карас¹², д-р Салли Райд¹³, обосновывая необходимость деятельности в космическом пространстве, используют квазитермины “высокого рубежа” (high frontier) и “глобального вызова”. Квазитермин “высокий рубеж” ранее употреблялся применительно к пионерам первопроходцам Дикого Запада. Это слово обозначает скорее не “рубеж-границу”,

¹¹ Слова, употребляемые ученым, становятся терминами тогда, когда они соответствуют двум условиям: а) имеют принятное в научных кругах толкование и б) широко употребляются в научной литературе. С этой точки зрения К.Э. Циолковский создавал квазитермины, из которых лишь некоторые вошли в научный обиход.

¹² T. Karas. *The New High Ground: Strategies and Weapons of Space Age War*. New York, 1983.

¹³ S. Ride. *Leadership and America's Future in Space*. N.Y., 1987.

а “рубеж-цель”¹⁴. Сформировавшаяся легенда о героях “рубежа” пропитана идеями активной деятельности и устремлением к новому: граница, продвигаясь вперед, пожирает пространство¹⁵. Идея “глобального вызова” также относится к временам освоения Дикого Запада. Вызов (*challenge*) бросался пионерам со стороны осваиваемого ими дикого пространства. Позже эта идея была перенесена на космическое пространство¹⁶. (Кстати, слово пионер – *pioneer* – обозначает также разведчик, передовой дозорный, сапер-миноискатель). Связь описываемых исторических событий с космической доктриной США очевидна. Эта связь четко прослеживается в названиях американских космических аппаратов: “Пионер” (*Pioneer*), “Рейнджер” (*Ranger*), “Скаут” (*Scout*), названия космических кораблей типа “Спейс Шаттл” повторяют названия кораблей – знаменитых мореплавателей – Джеймса Кука, Генри Гудзона и т.д.

Американские пионеры двигались на Запад, вектор же движения русских первопроходцев был направлен на восток. Поэтому естественно появление таких названий космических кораблей как “Восток”, “Восход”. Эта тенденция проявляется и по сей день, недавно был запущен российский модуль Международной космической станции под названием “Заря”.

Анализ названий, которые присваивались различным образцам ракетной техники, показывает, что новые знания в каждой культуре на разных этапах развития национальной космической программы конструируются на основе старых знаний своей культуры или на основе знаний культуры-донора. Выбор своей культуры или культуры донора определяется тем, опережает ли страна на данном этапе другие страны, ведущие исследование в этой области.

В качестве иллюстрации можно привести термины и названия, используемые в Российской космической программе. Первые советские баллистические ракеты, ведущие свою “родословную” от Фау-2, имели обозначение Р + порядковый номер, например, Р-7, что является аббревиатурой слова “Ракета”. Советский Союз опере-

¹⁴ См. например: New Webster’s Dictionary of English Language, 1983. Р. 615.

¹⁵ Подобные идеи очень часто называются “воинственно-гуманистическими”. Являясь агрессивными по своей сути, такие идеи описывают активные наступательные действия против сил природы, а не против других народов. Воинственно-гуманистические идеи являются развитием так называемой “деятельностной парадигмы”, которая была весьма популярна в конце XX в. “Деятельностная парадигма” рассматривает человека как субъект деятельности, а природу как объект деятельности человека. См. например, Манифест коммунистической партии К. Маркса о необходимости изменить мир.

¹⁶ Очень хорошо идеи фронтъеризма описаны в статье Линды Биллингс: L. Billings. Frontier days in space: are they over // Space Policy. Vol. 13. N 3. P. 187–190.

жал другие страны по уровню развития ракетной техники. Когда СССР и США соревновались, кто первым высадится на Луне, советская ракета-носитель была обозначена как Н-1, что, вероятно, является сокращением от слова “носитель”. Носитель – это перевод английского слова “launcher”. В тот момент США опережали СССР и Советский Союз посчитал необходимым заимствовать “передовой” термин.

Примечательно, что на начальных этапах космической программы во всех странах космическая техника получает цифро-буквенное обозначение. Потом с ростом уверенности в своих силах присваиваются имена. Так Р-7 получила название “Восток”, а затем ее модификация была названа “Восход”¹⁷.

Когда космическая программа превратилась в элемент мощи страны, появились названия “Союз” и “Салют”. Причем указание на мощь могло быть и имплицитным, например, “Буран”, “Циклон”, “Энергия”. Финалом этого соревнования образов стало всеобъемлющее “Мир”. Советский Союз прекратил существование, Россия начинает новую космическую программу: вновь поднимается “Заря”.

США также заимствовали термины. Самыми яркими примерами является переход от “космической капсулы” (space capsule) к использованию термина “космический корабль” (spacecraft)¹⁸ и от “небесной лаборатории” (Skylab) к “космической станции” (Space Station). Это отражает лидерство СССР в области пилотируемых космических полетов.

Выбор между знаниями своей культуры или культуры-донора в космической деятельности определяется двумя факторами: уровнем развития космической техники на данном этапе, и наличием сформированной системы взглядов, которая могла бы лечь в основу космической доктрины. Так, в конце 1970–начале 1980-х используя космическую технику, созданную в рамках концепции, сформулированной К.Э. Циолковским, руководство Советского Союза осознало, что космическая программа СССР зашла в концептуальный тупик. Предложенный К.Э. Циолковским план межпланетных полетов оказался практически выполненным – требовалось только создать межпланетный корабль. Однако политическая значимость исследования планет Солнечной системы резко снизилась после закрытия лунной программы “Аполлон”. В этих условиях СССР заимствует новую целевую установку космической программы США, которая предусматривает хозяйственное использование космического пространства. Первым шагом на пути к реализации этого плана ста-

¹⁷ Восход и Восток имеют в русском языке положительную коннотацию, ассоциированную с идеей начала, зарождения, молодости и т.д.

¹⁸ Термин “spacecraft” образован по образцу “aircraft” – воздушное судно.

новится создание универсального, дешевого и надежного транспортного средства для выведения грузов и людей на околоземную орбиту. СССР вслед за концепцией заимствует идею и термин "Космический челнок".

Процесс создания космической техники необязательно идет по пути формирования доктрины, разработки технического задания, на основе положений доктрины, и создания конкретного образца космической техники. Очень часто процесс идет в обратном направлении. Так космическая программа СССР началась с того, что было необходимо продемонстрировать способность ракеты Р-7 достигать территории США. Нанесение демонстрационного удара могло бы спровоцировать новую войну. Чтобы этого избежать, нужно было разогнать *заведомо мирный* объект формой, размерами и массой соответствовавший по геометрическим размерам и весу ядерной боеголовке до первой космической скорости, т.е. до скорости, при которой объект становится искусственным спутником Земли. Этим объясняется необычная форма первого советского спутника – шар с антennами, расположенными вдоль касательных к поверхности сферы. Эффект, произведенный первым спутником, был оглушительным. В США заговорили о полном поражении страны в завоевании космоса. В ответ США приступили к интенсивному осуществлению программы пилотируемых полетов.

Оценив возможности ракеты Р-7 и осознав политическую значимость космических исследований, советское руководство принимает решение о подготовке полета человека в космос. В качестве космической доктрины принимаются некоторые положения учения К.Э. Циолковского в изложении писателя фантаста А. Беляева¹⁹.

Следует отметить еще одну особенность космической доктрины. Во всех случаях отправной точкой при формулировании космической доктрины становится идея, далекая от космоса. Причем эта идея может не входить в космическую программу даже имплицитно. Ярким примером в этом отношении является космическая доктрина Норвегии.

В XIX веке Норвегия входила в состав Шведского королевства. Этнические норвежцы были ограничены в правах по сравнению с этническими шведами. В частности норвежцы не могли занимать высоких государственных постов и не могли служить на офицерских должностях в армии. Однако норвежцы не были сильно ограничены в получении образования и ведении последующей научной деятельности. В этих условиях выглядит логичным тот факт, что передовая норвежская интеллигенция стала заниматься научными изысканиями

¹⁹ Подробнее о этом см. ниже раздел "Новый этап соперничества: первые космические станции".

ми и добилась в этом значительных успехов, особенно в области полярных и геофизических исследований. В среде недовольных норвежских интеллигентов особую популярность приобрели националистические идеи. Однако норвежцы, имея перед глазами исторический опыт европейских революций, справедливо опасались геноцида со стороны шведских властей в случае начала национально-освободительной войны. Поэтому была выдвинута концепция о ненасильственном сопротивлении, которая предусматривала достижение значительных результатов в отдельно взятых областях человеческой деятельности и, в частности, в сфере науки и образования. После обретения независимости от Швеции норвежцы продолжили свои геофизические исследования, которые затем легли в основу космической программы Норвегии. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на начальном этапе интерес к космическим исследованиям в Норвегии обуславливается не столько научными задачами, сколько националистическими настроениями в среде норвежской интеллигенции²⁰.

Космическая доктрина имеет дело, главным образом, с абстрактными понятиями, которые уникальны и самобытны для каждого народа²¹. Однако национально-культурная специфика космической деятельности проявляется и в конструктивных особенностях космической техники. При своей видимой одинаковости (например, двигатели ракет работают на одиних и тех же физических принципах) образцы космической техники разных стран кардинально отличаются друг от друга²². Это обусловлено тем, что в основу их создания положены различные концепции, отличие которых обусловлено неодинаковостью философских установок, принятых при формулировании этих концепций. Неодинаковость философских установок, в свою очередь, является следствием влияния специфики культурно-исторического опыта народа, представителями которого являются авторы космической программы. Так, в России с ее суровым климатом транспортная станция является убежищем от непогоды и при определенных условиях даже фактором выживания путника, отправившегося в дальнюю дорогу. Поэтому каждая станция была автономной и могла предоставить путнику достаточно надежное убежи-

²⁰ Подробнее см.: J.P. Colett. *Making sense of space: the history of Norwegian space activities*. Oslo; Stockholm; Scandinavian University Press, 1995.

²¹ В этой связи интересно сравнить значение слов, употребляемых для обозначения пространства за пределами Земной атмосферы в русском и других языках. В английском языке употребляется слово *space* (физическое пространство), во французском – *espace* (физическое пространство), в немецком – *weltraum* (мировое пространство или пространство вокруг Земли), в русском – *космос* (от греческого слова, обозначающего порядок).

²² См. например, случай с Фай-2, описанный выше.

ще. Советская космическая станция задумывалась как промежуточное убежище для путешественников к далеким планетам. Проект предусматривал создание именно “дома на орбите”²³.

Транспортное средство для полетов на космическую станцию (космический корабль “Союз”) сконструировано в соответствии с описанной выше концепцией. В конструкции корабля заложена идея универсального транспортного средства для непродолжительных путешествий – простого, пригодного для массового производства, неприхотливого в обслуживании и с небольшим сроком службы – поэтому уровень комфорта на корабле соответствует уровню рейсового автобуса. Это сравнение может показаться немного надуманным, но тщательный анализ позволяет выявить многочисленные подобные совпадения²⁴.

НОВЫЙ ЭТАП СОПЕРНИЧЕСТВА: ПЕРВЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

После высадки американских астронавтов на Луну в 1969 г. советское руководство утратило интерес к полетам на Луну и сосредоточило усилия на новом проекте – орбитальной станции. Используя накопленный опыт и технические наработки, оставшиеся от советской лунной программы, Советский Союз осуществил в 1971 году запуск первого постоянно обитаемого космического аппарата – орбитальной станции “Салют”²⁵.

Станция создавалась в рамках восходящей к работам К.Э. Циолковского концепции межпланетных полетов, предусматривавшей создание промежуточных космических станций на пути к другим планетам. Следует отметить, что идея промежуточных станций за-

²³ Во время полета экипажа первой в мире космической станции в составе Волкова, Доброловского и Пацаева телевидение вело передачи со станции, показывая быт космонавтов и подчеркивая идею “дома на орбите”.

²⁴ Фактически схема “Союз” – “Салют” повторяет радиально-кольцевую схему построения Российской транспортной сети – линии идут в радиальном направлении от центра и через определенные промежутки находятся станции. Кстати, К.Э. Циолковский также предлагал осуществлять межпланетные полеты с использованием промежуточной станции на орбите. К.Э. Циолковский. Исследование мировых пространств реактивными приборами // К.Э. Циолковский. Промышленное освоение космоса. Сб. науч. трудов. М.: Машиностроение, 1989. С. 121.

²⁵ Обитаемость станции предусматривает возможность смены экипажа на космическом аппарате. В отличие от орбитальной станции космический корабль, например, “Союз” не допускает смены экипажа и не способен к полету в автоматическом режиме без экипажа. В то же время орбитальная станция не оснащена спускаемыми аппаратами для возвращения космонавтов на Землю.

имствована не прямо у К.Э. Циолковского. Несмотря на мировую известность К.Э. Циолковского в 1920-х годах советское правительство относилось к идеям Циолковского с настороженностью. Новый всплеск интереса к К.Э. Циолковскому произошел в 1950-е годы после того, как приобрел популярность проект создания космической транспортной системы, состоящей из множества промежуточных станций. Эта система была описана в романе писателя фантаста А. Беляева "Звезда КЭЦ". Впервые этот роман был опубликован в 1936 г. и успеха не имел. Однако с 1956 по 1966 год роман неоднократно переиздавался, что свидетельствует о том, что автору удалось высказать идеи, созвучные замыслам тогдашнего руководства космической программой СССР. Роман описывает мирную колонизацию космоса людьми, живущими в условиях социалистического общества и ведущими научные исследования в космосе. Кроме того, роман описывает промышленное освоение космического пространства представителями различных народов. Таким образом, в романе есть практически все положения советской космической доктрины, которые нашли свое отражение в конструкции советских космических аппаратов и в международных документах по космосу²⁶.

Несмотря на гибель первого экипажа, проект орбитальной станции имел оглушительный успех и на долгие годы стал символом советского преимущества в космосе. Естественно такая ситуация не устраивала руководство США, которое закрыло зашедшую по сути в тупик лунную программу и переключилось на создание орбитальной станции. Заимствована была не только идея, но метод строительства станции, и в 1973 году на орбиту была выведена космическая станция "Скайлэб", собранная с использованием космической техники, оставшейся после лунной программы²⁷.

Интересно, что заимствуя концепцию орбитальной станции, руководство США по-своему поняло смысл слова "станция", которое в английском языке имеет в том числе и значение "remote scientific post" (удаленное поселение учёных). Идея же временного, но надежного пристанища на дороге в семантическом поле английского слова "station" отсутствует. Станция "Скайлэб" был создана именно как объект, предназначенный исключительно для научных исследований. Концепция, заложенная в станции "Скайлэб" оказалась не состоятельной, и США отказались от ее дальнейшего использования.

²⁶ В частности, положения о необходимости мирного освоения космоса нашли свое отражение в документах ООН.

²⁷ "Скайлэб" – "Skylab" – небесная лаборатория.

ОТ “ФРИДОМ” ДО МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

После неудачи, постигшей программу “Скайлэб”, американское руководство предпринимало еще несколько попыток адаптировать заимствованную у СССР концепцию орбитальных станций. Причем опять США стремились адаптировать технические идеи без учета их национально-культурной специфики.

В конце 1970-х годов видя успехи СССР в области создания обитаемых космических аппаратов с большим сроком использования и понимая политическую значимость орбитальной станции, руководство США сосредоточило усилия на проекте орбитальной станции “Фридом” (Freedom – Свобода)²⁸, участвовать в строительстве которой были приглашены союзники США – Европейские страны и Япония. Предполагалось, что эта станция будет своеобразным “ответом” Запада на достижения Советского Союза в космосе.

Однако в процессе строительства станции США и их партнеры по проекту столкнулись со значительными техническими трудностями и проект был приостановлен. Позднее США предприняли еще одну попытку построить орбитальную станцию. На сей раз они обратились за консультацией к российским специалистам в области космической техники. Помощь, оказанная российскими специалистами, повлияла на общую схему построения станции – она стала в значительной степени напоминать российскую станцию “Мир”. Тем не менее новая попытка культурного заимствования закончилась неудачей – США не смогли создать новую станцию на основании старой концепции.

Впоследствии США пошли по другому пути: в новой Международной космической станции (МКС) США попросту купили у России готовые блоки орбитальной станции и механически состыковали их со своими модулями. Новая станция, которая уже находится на орбите, представляет собой весьма интересный объект с культурной точки зрения. Впервые в одну конструкцию соединены элементы, созданные на базе совершенно разных концепций.

Еще одна попытка культурного заимствования в рамках проекта по строительству Международной космической станции была предпринята Францией, которая должна была сконструировать пилотируемый и транспортный корабли²⁹. Французские специалисты

²⁸ Фридом – первый американский космический аппарат, носящий название “станция”.

²⁹ Crew Transfer Vehicle – CTV: дословно, аппарат для перемещения экипажа; Automated Transfer Vehicle – ATV: дословно, автоматический транспортный корабль.

попытались построить космические корабли, используя опыт советских и американских специалистов. Спроектированный во французском центре космических исследований³⁰ космический корабль является эклектическим объединением элементов, копирующих конструкцию космических кораблей “Союз” и “Аполлон”. Вполне логично, что такое объединение оказалось неработоспособным. Это в конце концов вынудило Францию закрыть эту программу.

“СПЕЙС ШАТТЛ” И “БУРАН”

Советские специалисты также неоднократно предпринимали попытки заимствования технических идей. Особенно показательным в этом отношении является история космического самолета “Буран”.

В середине 1970-х годов у руководства космической отрасли в СССР и США приобрела популярность идея промышленного освоения космоса. Для этого было необходимо разработать простое, относительно дешевое, но в то же время надежное транспортное средство многоразового использования, которое бы пришло на смену одноразовым ракетам-носителям.

Первыми создали “космический челнок” (Space Shuttle) американцы. 12 апреля 1981 года спустя ровно 20 лет после полета Юрия Гагарина американцы запустили первый многоразовый транспортный космический корабль (МТКК). Сам корабль и его твердотопливные ускорители допускали многократное использование, однако подвесной топливный бак был одноразовым³¹. Естественно советское руководство расценило видимый успех американской космической программы как угрозу лидерству СССР в области пилотируемых полетов и приложило дополнительные условия по реализации собственной программы создания многоразового корабля, получившего название “Бор”³².

По сравнению с американским проектом “Спейс Шаттл” программа “Буран” была значительно переработана. В отсутствие двигателей, допускающих многоразовое использование, “Буран” был

³⁰ Centre National d’Etudes Spatiales – Национальный центр космических исследований.

³¹ Следует, однако, отметить, что многократно используются лишь 15% деталей ускорителя, около 20% деталей самого корабля подлежат замене после полета, а сам корабль серьезному ремонту (в основном это касается теплозащиты и шасси), так что возможность многоразового использования корабля и его экономичность являются весьма условными.

³² Позднее это название было заменено на более весомое “Буран”.

сделан как дополнительная ступень к мощной одноразовой ракете “Энергия”, имеющая только маломощные двигателя для коррекции. В отличие от “Бурана” МТКК “Спейс Шатл” использует двигатели, установленные на самом корабле. Для него были созданы уникальные двигатели, допускавшие многократный запуск при высокой мощности. В одноразовых ракетах используются мощные – маршевые – двигатели с однократным запуском (после того как двигатель отработал, ступень ракеты, на которой он установлен, отстреливается) и маломощные двигатели с многократным запуском для коррекции траектории полета и положения корабля. Маршевые двигатели ракет обычно имеют предельный срок эксплуатации в пределах 10–15 минут. Однако размещение двигателя в хвостовой части корабля создает трудности при посадке из-за того, что центр тяжести корабля сдвинут назад и кроме того отработавшие двигатели являются бесполезным балластом (около 3 т), что ограничивает полезную нагрузку.

В проекте “Буран” принцип многократного использования карабля сводится только самого корабля, ракета-носитель была одноразовой, что сводило на нет преимущества корабля перед кораблем “Союз”. Тем не менее, для программы была разработана концепция, которая предусматривала создание посещаемой космической станции³³. На станции предполагалось разместить научное и производственное оборудование, работающее в автономном режиме. А полученные научные результаты и конечный продукт космического производства доставлять на Землю в грузовом отсеке членока. Кроме того, предполагалось использовать членок для спасательных и ремонтных работ. Однако конец холодной войны и временное снижение интереса к космонавтике привели к закрытию программы “Буран”. Судьба американских членоков немногим более удачна. Американцы так и не смогли достигнуть стоимости выведения 1 кг груза на орбиту, сопоставимой с аналогичными показателями у одноразовых ракет-носителей и обеспечить безопасность полетов³⁴.

³³ Посещаемая станция принимает краткосрочные экспедиции продолжительностью до 21 суток. Срок экспедиции ограничен тем, что пилот многоразового корабля способен сохранить навыки управления кораблем в условиях невесомости в течение 21 суток. Автоматическая посадка многоразовых кораблей является трудно реализуемой задачей.

³⁴ Космический членок не может подниматься выше определенных орбит из-за отсутствия на нем необходимых средств защиты экипажа от радиации. Кроме того, в случае аварии корабля на начальном этапе полета, система аварийного спасения экипажа начинает работать после достижения кораблем определенной скорости полета, необходимой для посадки по самолетному принципу, на это уходит примерно 180 сек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные примеры показывают, что культурные заимствования в процессе космической деятельности приводят к положительным результатам только в том случае, когда заимствованные знания тщательно перерабатываются в культуре-реципиенте практически в ее собственные объекты, когда "инокультурность" знания полностью компенсируется, как это было, например, с Фау-2. Попытки заимствовать объект в чистом виде сопряжены со значительными трудностями. Эти трудности обусловлены невозможностью согласовать концептуальные идеи и технические решения из разных национальных культур.

Есть еще один путь преодоления проблемы неудачных заимствований в космической деятельности. Необходимо развивать сотрудничество в космосе и создавать мультикультурные концепции освоения космического пространства в процессе межкультурного диалога. В этом случае отпадает надобность в заимствованиях. Кроме того, важно не допускать однобокого развития космической программы, уделяя одинаковое внимание как техническим, так и гуманитарным проблемам космонавтики.

Исторический ракурс

C.A. Арутюнов

(Россия)

СУДЬБА МАЛЫХ НАРОДОВ В III ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ

Никому не ведомо точно, сколько всего народов на земле. И что считать народом, а что – частью народа? Кубачинцы, несколько тысяч людей со своим похожим на даргинский, но все же особым языком, жители всего лишь одного села, но имеющие уже двухтысячелетнюю традицию знаменитого далеко за пределами Кавказа оружейного и ювелирного мастерства, кто они – часть даргинцев или все же особый народ? Кто такие эрзя и мокша – особые народы или части единого мордовского народа? Считать ли народом кубанских и терских казаков, как того требуют многие из них? И несть числа таким вопросам.

Но даже если мы сосчитаем все эти вопросы, даже если мы решим их пусть не дискуссией, а просто подбрасыванием монетки, не исключено, что на другой же день мы не досчитаемся одного или двух имен из списка. За несколько последних лет исчезли с лица земли народы, чье прошлое существование я лично могу удостоверить, ибо был знаком с их представителями или непосредственно, или через моих друзей. Уже никто не встретит ни одного сиреникского эскимоса, ни одного индейца – эяка, ни одного убыха. Умерли люди, хранившие племенную традицию, говорившие на языках этих народов – кстати сказать, на совершенно уникальных, таящих многие научные загадки, не имеющих себе аналогов в мире языках. В убыхском языке, например, было более 80 различных согласных звуков – больше чем в любом другом языке Земли, и уже одно его исчезновение – огромная потеря для мирового языкознания. Конечно, у этих безвременно ушедших людей, последних представителей своих народов, остались внуки или внучатые племянники, но они уже не сиреникцы, не убыхи, не эяки, а чукчи, турки, просто американцы. Каково бы ни было общее число народов на земле, а разные авторитеты полагают его от двух до четырех тысяч, оно сокращается подобно шагреневой коже. Чем малочисленное народ, тем быстрее он либо вымирает, либо неразличимо сливаются с другими, более крупными, а чаще всего очень крупными народами: с американцами, китайцами, бразильцами, арабами и т.д.

Впрочем, в разных странах, в разных общественно-политических условиях отношение к этому процессу самих малых народов, их стремление сохранить свою особенность или отбросить ее бывает очень различным. В горной Грузии бацбийцы и сваны по всем этнографическим меркам должны бы считаться особыми народами, со своими особыми обычаями, совершенно обособленными языками, но и те, и другие требуют, чтобы их считали грузинами, хотя и не собираются отказываться от своего своеобразия. А в далеком уголке Бурятии несколько сот сойотов вдруг потребовали, чтобы их признали особым народом, хотя уже более полувека ни для ученых, ни для соседей, ни, в общем, даже для самих себя они уже ничем не отличались от бурят.

Вряд ли возможно в одном исследовании, даже самом фундаментальном, охватить все процессы, происходящие с малыми народами во всем мире. Каждый регион, даже каждая многонациональная страна имеют в этом отношении свою специфику. В этой статье я коснусь только одной, хотя и весьма обширной, категории народов, а именно, т.н. "народов Севера", т.е. народов, обитающих в природной среде тайги и тундры, живших в прошлом преимущественно присваивающим, охотничьим и рыболовным хозяйством, вхождение которых в современную индустриальную цивилизацию особен-

но болезненно и затруднительно. Это народы севера России, от саамов Кольского п-ова до уильта (ороков) Сахалина и ительменов Камчатки, алеуты, эскимосы и индейцы Аляски и Канады, народы северной Манчжурии в Китае, близко родственные народам соседнего российского Приамурья, наконец, айны северной Японии, о-ва Хоккайдо.

Именно с последних я и начну свой обзор, потому что из всех упомянутых стран именно Япония является наиболее индустриализованной, урбанизированной страной, и именно здесь северное меньшинство, айны, дальше всего прошли по тому пути ассимиляции и трансформации, по которому, по-видимому, идут и все другие малые северные народы.

В истории взаимоотношений малых народов Сибири с русскими, айнов с японцами, и индейцев Северной Америки с европейскими переселенцами много общего. По существу, это три конкретных случая, три варианта общего всемирно-исторического процесса развития коммерческой эксплуатации северных районов эйкумены. Характерно, что во всех трех случаях, независимо друг от друга, эти процессы начались в основном в XVI в. Америка до этого времени просто еще не была открыта. Что касается Японии и России, то здесь коммерческое освоение Хоккайдо и Сибири имело свою предысторию, начинающуюся в обеих странах примерно с VIII–IX в. В России это было постепенное расселение русских по территории Восточной Европы (“Европейской России”), сопровождавшееся покорением, ассимиляцией, интеграцией, аккультурацией исконного неславянского населения, которое в основном завершилось к концу XVI в. В Японии это было расширение японской этнической и государственной территории из южных и центральных районов страны на северную половину о-ва Хонсю. Оно сопровождалось покорением и ассимиляцией племен эбису, которых условно можно считать айнами, но которые, по-видимому, социально и культурно отличались от айнов Хоккайдо не меньше, чем чудь, югра, самоядь территории западнее Урала отличались от племен Сибири, и примерно в том же направлении (в направлении меньшей архаичности). Конечно, между Россией и Японией была значительная разница, выражавшаяся прежде всего в том, что в Европейской России, в России к западу от Урала сохранились крупные финно-угорские и тюркские анклавы, тогда как собственно в Японии, в Японии южнее Хоккайдо (по-японски “найти”, т.е. внутренняя земля) неяпонских анклавов не осталось. Но в любом случае и в России, и в Японии именно в XV–XVII вв. процесс расширения метрополии сменился процессом освоения экзотических колоний – в России с переходом за Урал, в Японии с переходом через Сангарский пролив. XVI–XVIII века и в Японии, и в России можно назвать периодом феодально-купеческой

эксплуатации новообретенных северо-восточных колоний. Уже в этот период образ жизни коренных народов претерпевает существенные изменения, в частности, все более необходимой частью быта становятся пищевые продукты (соль, чай, мука, в Японии рис), приобретаемые у приезжих купцов, покупные ткани, посуда, промысловое орудия все более вытесняют традиционные, самодельные материалы и предметы. Складывается новый образ жизни, ориентированный на коммерческие взаимоотношения северной "первобытной" периферии и метрополии. Но все же традиционный родоплеменной уклад, его обычаи и нравы в значительной мере сохраняются. Следует отметить, что в ходе открытия и освоения Северной Америки те же процессы происходят и в ее арктической и субарктической зоне.

В XIX в., и главным образом ближе к концу его, феодально-купеческая эксплуатация Севера все более сменяется деятельностью по его индустриальному освоению, и это ставит перед малыми народами Севера новую проблему: как вписаться, как существовать в этом совершенно новом окружении, которое изменяет всю среду обитания, все ресурсы, настоятельно создает новые потребности, не оставляет возможностей для адаптации путем частичной модификации привычного традиционного бытия, а требует перехода к бытию совершенно новому.

Вскоре после буржуазной революции 1868 г. в Японии начинают осуществляться планы аграрно-индустриального освоения и колонизации о-ва Хоккайдо. Сохранение традиционного образа жизни (пусть и сильно модифицированного несколькими веками тесных контактов с японцами и эксплуатации с их стороны) становится для айнов невозможным. Сначала на наиболее интенсивно колонизуемом юге, затем и на севере острова и в его внутренних районах айнские поселки один за другим должны были отказаться от прежнего типа хозяйства, основанного на речном рыболовстве и охоте в сочетании с примитивным вспомогательным возделыванием нескольких видов проса, пройти через укрупнение и редислокацию и перейти либо к наемному труду на японских предприятиях (вначале в основном лесорубных и рыболовных), либо к парцеллярному земледелию, копируя модель сельского хозяйства японских фермеров-переселенцев. Несколько позже некоторое распространение получает и животноводство, разведение преимущественно лошадей, отчасти и крупного рогатого скота.

Проблемами происхождения, истории, культуры айнов я интересовался с начала 1950-х годов со студенческих лет, и даже писал о них, основываясь на японских литературных источниках. Но приехать на Хоккайдо, увидеть айнов воочию, провести среди них, хотя бы в небольших масштабах, нормальные полевые этнографические

исследования, мне удалось только в 1960 г. К этому времени у меня уже был определенный опыт этнографической полевой работы среди малых народов Сибири, в основном чукчей и эскимосов Чукотки, а стало быть, и некоторый материал для сравнения.

Конечно, и по природным, и по социальным условиям айнские поселки Хоккайдо существенно отличались от чукотских и эскимосских, и даже от географически и этнографически наиболее близких к ним нивхских и удэгейских поселков в СССР. Однако многое черт явного сходства можно было отметить даже во внешнем виде поселков, не говоря уже об их социальной структуре, условиях жизни, психологии жителей¹.

В 1960-х годах от традиционного айнского хозяйства (охоты и рыболовства) уже почти ничего не оставалось. Большинство айнов перешло к земледелию (возделыванию риса, картофеля, овощей), но их навыки в земледелии сильно уступали японским, и соответственно урожай были невысоки. Некоторые хозяйства совмещали земледелие со скотоводством и коневодством, что было экономически не всем под силу, но давало более высокие доходы. В целом, при том, что в те годы большинство японского крестьянства жило отнюдь небогато, айны выделялись на его фоне своей бросающейся в глаза бедностью. Из общего числа айнов, по официальным данным, около 17 тыс. (на самом деле лишь айнского происхождения по крайней мере вдвое больше, но до недавнего времени многие это происхождение скрывали), более половины жили в городах и рабочих поселках, где были заняты в менее престижных и низкооплачиваемых видах неквалифицированного труда. К работе в сфере обслуживания, наиболее перспективной в Японии, их категорически не допускали. Явная и неявная дискриминация айнов, пренебрежительное отношение к ним со стороны японцев были заметны во всем, и сами айны постоянно на это жаловались. Каких-либо айнских организаций, внимания прессы и общественного мнения к проблемам айнского населения в те годы, по существу, не было вовсе. Были отдельные активисты, патриоты своего народа, которые пытались создать национальные организации, мечтали об издании айнской газеты, стремились привлечь внимание общественности к проблемам айнов, но их усилия были безрезультатны.

От айнской традиционной материальной культуры в 1960-е годы оставались лишь осколки. Отдельные традиционные черты можно было видеть в характере беднейших домов в поселках, в особенностях в устройстве соломенных крыш. Сохранились некоторые виды

¹ Более подробно о впечатлениях от этой поездки, об истории и традиционной культуре айнов см.: Арутюнов С.А., Щебеньков В.Г. Древнейший народ Японии (судьбы племени айнов). М.: Наука, 1992.

традиционной самодельной посуды и утвари, для детей продолжали делать колыбель традиционного типа. Орнаментированную посуду и утварь продолжали изготавлять, но уменьшенных размеров в качестве сувениров, для японских туристов, в большом числе приезжающих на Хоккайдо в летний сезон. Во многих домах хранились старые костюмы и украшения, иногда их делали заново, но в качестве "концертной одежды": многие айны в летний туристский сезон подрабатывали исполнением айнских песен, танцев, обрядов как зрелища для туристской публики.

В религиозном отношении почти все айны исполняли буддийскую обрядность в тех же формах, что и окружающие японцы. Несмотря на высокую активность протестантских миссионеров в конце XIX – начале XX в. на Хоккайдо, айнов, продолжавших исповедовать христианство, было немного. Но традиционные культовые предметы, связанные с почитанием духов, в особенности ряды остроганных палочек "инау", имелись почти в каждом доме. Однако их устанавливали в таких местах, где они не очень бросались бы в глаза.

Старики еще говорили между собой по-айнски, но с детьми родители говорили только по-японски, и лиц, знающих айнский язык, среди детей и молодежи были считанные единицы. По пальцам можно было пересчитать семьи патриотов-энтузиастов, где родители сознательно ориентировали детей на сохранение родной культуры и старались передать им знание родного языка.

Чисто айнских поселков уже не было на Хоккайдо. В селениях, считавшихся айнскими, от 10 до 40% домохозяйств принадлежали японцам. Многие айны были женаты на японках. Напротив, японцев, женатых на айнках, было немного. В айнских поселках японцы образовывали своего рода местную элиту. Но с точки зрения социальной структуры японского общества, это были люди, стоявшие на самых низких ступенях социального ранжирования – бедные крестьяне, мельчайшие лавочники и т.д.

Я думаю, что каждый, знакомый с жизнью поселков малых народов Сибири и Севера в СССР в те же годы, или с жизнью индейских резерваций севера США, Аляски и Канады, без труда проведут необходимые параллели. Есть, конечно, и различия: советские аборигены исповедовали не буддизм, а марксизм-ленинизм, и, наверное, в такой же странной смеси искренней веры и камуфляжного конформизма, как айны свой буддизм или индейцы и эскимосы – протестантизм и католичество. Родные шаманские культы были запрятаны еще глубже, но степень их сохранности была, наверное, наиболее высока именно в СССР, поскольку не страдала от конкуренции со стороны других религий. Возможно, бедность американских резерваций была чуть менее вопиющей, была чуть более прикрыта

некоторыми формальными символами материального благополучия, вроде автомобилей или современной кухонной утвари. В Америке большую роль играли социальные подачки типа пособий по бедности, в СССР их место занимало искусственное создание рабочих мест на зверофермах и в канцеляриях, и т.д. Однако, безусловно, черты сходства во всех трех средах преобладали. И основной такой чертой была бедность, малообразованность, инертность туземного населения, пренебрежительное отношение властей к сохранению туземных языков и культурных традиций, общая апатия, фрустрация, проистекающий отсюда алкоголизм и другие социальные пороки.

После поездки 1960 г. я не раз еще бывал в Японии, продолжал следить за литературой по айнам, побывал у многих народов Сибири, работал в индейских и эскимосских резервациях и поселках и на Аляске, и в "нижних 48", как называют на Аляске основную территорию США, но на Хоккайдо мне бывать практически не приходилось. И вот зимой и весной 1997 г. мне удалось несколько месяцев провести в Университете Хоккайдо в Саппоро и вновь посетить айнские поселки. Я спланировал свою поездку туда так, чтобы она в точности повторяла поездку 1960 г.: не только те же самые поселки, но те же самые семьи, фермы, домохозяйства. Мне удалось даже встретиться с теми же самыми людьми; однако моим ровесникам, которым было около 30 лет в 1960 г., сейчас уже было под 70, а маленькие девочки и мальчики, которых я видел тогда, сейчас уже были сорокалетними отцами и матерями семейств, домохозяевами и общественными деятелями.

И по внешнему виду, и по содержанию жизнь айнов за прошедшие 37 лет во многом изменилась неизнаваемо.

Надо сказать, что в современной Японии вообще нет бедности в нашем понимании. Есть правда, некоторое число людей, спившихся и опустившихся до типичного "бомжевания", но такие есть и в Швеции, это вопрос особый. Все дома, все фермы, почти все хозяйствственные постройки выглядели аккуратно, благополучно и ухоженно. И все люди, с которыми я встречался, конечно, имели свои проблемы, могли испытывать определенные трудности, но и речи не могло быть о "культуре нищеты", столь характерной для стран третьего мира, а в последнее десятилетие и для России (впрочем, для малых народов Севера она была достаточно характерной и ранее). В общем и целом уровень и образ жизни айнов никак не отличается сегодня от образа жизни японцев низшей категории дохода. Есть среди айнов и некоторое число вполне состоятельных людей, занятых в собственном малом бизнесе. Есть и некоторое число научных сотрудников, работающих в местных музеях, но в своей работе они опираются в основном на свое житейское знание айнской материальной

культуры и обычаев, а подлинной научной подготовкой, как правило, не обладают. Музеев, специально посвященных айнской традиционной культуре, муниципальных, корпоративных и частных, в том числе и «музеев под открытым небом», появилось немало, они служат повышению туристической привлекательности многих городов и местечек.

Резко снизилась доля айнов, занятых в сельском хозяйстве (в нем занято, и то не полностью, менее 10% всего населения Японии). Если раньше каждый житель айнского поселка трудился на своем участке земли, сейчас это делают 3–4 семьи из ста. Притом это более крупные фермы, использующие как собственную землю, так и арендованную, для какой либо одной цели – либо овощеводства, либо коневодства (разведение скаковых чистокровных лошадей). Прочие – либо заняты в сфере обслуживания (одержатели или работники небольших гостиниц, ресторанчиков, магазинчиков и т.д.), опять таки ориентированных на туристов, либо в художественных промыслах – резьбе по дереву, вышивке, аппликации. Изготавливается как мелкая сувенирная продукция, так и крупные панно и композиции на заказ.

Изготовление художественных изделий и сувениров было подсобным занятием айнов еще с начала этого века, так же, как оно играло и играет немалую роль в структуре доходов многих американских индейцев, эскимосов Канады и Аляски, а в России – на Чукотке и в некоторых других районах Сибири, хотя пока и не в столь большой степени (по разным причинам, но не в последнюю очередь из-за неразвитости северного туризма и низкой покупательной способности россиян). Но важно отметить, что в 1960-е годы айнские резчики и вышивальщицы получали за свои изделия гроши, а сбытом их занимались в основном японские дельцы-перекупщики. Сейчас торговля художественными изделиями в основном взята айнами в свои руки, а магазины сувениров можно видеть не только в курортных городах при минеральных источниках, как раньше, но и прежде всего в самих айнских поселках, где они броско оформлены с использованием традиционных фольклорных, кукольных, обрядовых мотивов.

Такая сувенирно-туристическая ориентация придает айнским поселкам известное внешнее сходство с индейскими поселками некоторых резерваций в США, но айнские поселки гораздо более опрятны и благоустроены. Дома, хлева, конюшни, виденные мною 37 лет назад, или снесены и заменены новыми, или, по крайней мере, капитально перестроены и расширены.

Еще более часто, чем прежде, молодые айны покидают родные поселки и ищут работу в городе. Они ее находят, но отнюдь не самую «непыльную», скорее как раз наоборот: большинство их рабо-

тает в строительстве или водителями грузовиков. Среди таксистов и водителей автобусов, по-моему, их нет. Видимо, все-таки негласная дискриминация сохраняется, по крайней мере, сами айны в этом убеждены, хотя в отличие от 60-х годов, ярких примеров мне привести не могли. Надо сказать, что японец, особенно если он живет не на Хоккайдо, далеко не всегда отличает айна от японца по внешности. Многие айны предпочитают уехать в Центральную Японию и искать работу там: среди сыновей из знакомых мне семей есть полицейский, пожарник, почтмейстер, работающие в разных городах Центральной Японии.

В религиозном отношении можно было заметить, что буддийская и даже синтоистская обрядность укрепила свои позиции в семьях. Алтари соответствующих культов находятся на виду, и обряды совершаются регулярно. Айнские алтари с инау тоже есть во многих домах, но помещаются в задней, интимной части дома.

Регулярных молений у айнских традиционных алтарей уже не производится, церемонии совершаются раз в несколько лет. В основном это поминование предков ("ицярупа"). Сейчас уже мало осталось стариков, которые могли бы провести их с соблюдением всех правил, а молодые люди свои познания об айнской обрядности нередко черпают из трудов японских этнографов начала XX в. Случалось, что ритуально-символический смысл находящегося на алтаре предмета (поставленного покойным дедом) мне был понятен, но молодой хозяин дома истолковать его уже не мог.

В 1960 г. мне довелось некоторое время провести в доме одного из самых больших энтузиастов сохранения айнского языка и культуры, Каяно Сигэру. Тогда это был крестьянин, с трудом зарабатывающий на жизнь своей семьи земледельческим хозяйством и изготовлением резных сувениров. Он говорил мне тогда, что хотел бы делать вещи музеиного значения, мечтал о создании айнской организации, издании айнской газеты. Тогда это все казалось несбыточным.

Сегодня г-н Каяно – признанный лидер айнского народа, депутат верхней палаты парламента от социалистической партии (сенатор). Он опубликовал несколько книг, выпустил ряд учебных роликов и дисков этнографического и лингвистического содержания. Его резные произведения действительно украшают ряд музеев, ему принадлежит небольшой, но очень интересный частный этнографический музей в его родной деревне Нибутани. Сын его, которого я знал школьником-первоклассником, стал журналистом, и под его редакцией в 1997 г. наконец начали выходить первые номера пока что ежемесячной газеты "Айну Таймуз" на айнском языке. Интересно, что газета выходит в двух графических оформлениях: на одной стороне текст набран модификацией японской слоговой азбуки "ката-

каны”, используемой при публикации айнского фольклора японскими исследователями, а на другой стороне тот же текст продублирован латинской транскрипцией, разработанной европейскими лингвистами.

На сегодня у газеты имеется несколько сот подписчиков, а читают ее, в общей сложности, наверно, около 2 тыс. чел. Но это не значит, что имеется 2.000 или даже одна тысяча айнов, владеющих айским языком. Среди читателей газеты немало японцев, изучивших или изучающих айнский язык, а главное, немалая часть (их всего несколько сотен), которые более или менее знают айнский язык, изучив его в зрелом возрасте практически как иностранный.

Не буду говорить о семьях и домохозяйствах, которые и в 60-е годы не имели особой заинтересованности в поддержании своей “айнкости”, уже тогда были нацелены на ассимиляцию. Полной ассимиляции в них не произошло, отчасти потому, что окружающие японцы продолжают считать их айнами, отчасти же потому, что быть айном, членом существующей практически как полуобщественный отдел администрации губернатора айнской ассоциации ныне означает получать существенные льготы. Но характерно, что в тех семьях, главы которых в 60-х годах были нацелены на воспитание детей в духе айских традиций, на поддержание айнского языка, эти намерения не сбылись. Сыновья и внуки моих ровесников не смогли оправдать ожидания своих родителей по простой причине: ферма, бизнес, выживание забирали и забирают все время, все силы. На поддержание традиций, обрядности, языка их просто не остается.

Во всех 12 провинциях губернаторства Хоккайдо существуют вечерние или воскресные школы айнского языка. На занятия приходят по 7–8 человек (в Нибутани больше, в силу личного авторитета Каяно Сигэру). Более половины из них не айны, а интересующиеся айнами японцы. Не для всех преподавателей айнский язык является родным. Иногда преподаватель – японец, изучивший айнский язык в студенчестве. В другом случае преподаватель – айн, но лет до сорока не говорил по-айнски, был занят в строительном, потом в сувенирном бизнесе и лишь в зрелом возрасте решил выучить язык у своей матери, сохранившей знание языка, и теперь по воскресеньям преподает его молодежи. Учебники, буквари, пособия – все это есть. Но уровень преподавания, увы, оставляет желать лучшего.

Если и в 1960-е годы людей, свободно говоривших по-айнски, обоснованно считавших его своим родным языком, были всего лишь десятки, в крайнем случае немногие сотни человек, то сейчас таких людей считанные единицы. Более того, в 1960-е годы еще были некоторые айнские “коммуникационные узлы” – отдельные семьи, где языком общения оставался айнский, небольшие родственно-при-

ятельские группы жителей одной деревни, лиц старшего возраста, которые при встрече продолжали общаться по-айнски. Сейчас уже ничего подобного нет. Отдельные старики, которые хорошо говорят по-айнски, между собой просто почти не общаются, так как живут далеко друг от друга и по возрасту из дома почти не выходят. И если они даже обращаются к своим детям либо на чистом айнском языке, либо на японском языке, но с “айнским акцентом”, то дети отвечают им в лучшем случае на айнском языке с японским акцентом.

Хотя я и пытался изучать в свое время айнский язык по литературным материалам (в основном фольклорным публикациям), все же овладеть им мне не удалось. Поэтому ценность моих наблюдений, возможно, невелика. И все же мне неизменно удавалось на слух улавливать определенные, и довольно существенные, фонетические различия в речи айнов старшего поколения (чей японский язык носил явные и фонетические, и грамматические следы айнской интерференции), и в речи айнов средних лет, изучивших язык уже в относительно зрелом возрасте, во многом искусственным путем, подобно иностранному. Говоря абсолютно безупречно по-японски, в айнской речи многие звуки они артикулируют не столько по-айнски, сколько по-японски.

Именно эти люди и преподают айнский язык в вечерних и воскресных школах. Надо сказать, что как правило, никакой специальной подготовки в области методики преподавания языка они тоже не имеют, и уроки сводятся в основном к диктовке, заучиванию и разбору довольно узкого круга прозаических фольклорных текстов (легенд, сказок и т.д.).

Хотя ситуации устного и письменного общения на айнском языке, несомненно, существуют и сегодня, очень важно уяснить, в каких функциональных сферах бытования языка реализуются эти ситуации.

Функциональных сфер употребления естественного языка может быть много, и их выделение во многом зависит от познавательных задач исследования. Для наших задач мы выделим следующие сферы: базарно-уличную (БУ), сферу трудового общения (ГО), бытовую домашнюю, которую можно определить как постельно-ясельно-кухонную (ПЯК), церемониально-обрядово-пиршественную (ЦОП), и митингово-агитационно-газетную (МАГ).

Эти сферы по-разному развиваются или, наоборот, размываются при эволюции языка от искусственного к естественному, или, наоборот, при его деволюции от полноценного естественного к ограниченному искусственно. Один из примеров эволюции – это креолизация пиджинов, таких, как ток-писин или бислама в Меланезии, или формирование индонезийского языка на основе базар-

ного малайского (“пасар-мелайю”). В этих случаях язык возникает в сфере БУ, легко переходит в сферу МАГ, но начало его креолизации, т.е. превращения в естественный язык, связанное с распространением межэтнических, межплеменных браков (в которых супругам поневоле приходится общаться между собой на пиджине), отмечено его распространением на сферу ПЯК, и лишь позже проникает в сферу ЦОП, где долго удерживаются исконные, племенные языки.

Процесс натурализации, т.е. тоже известной аналогии креолизации иврита, проходил несколько иначе: многие века язык существовал исключительно в сфере ЦОП, затем, примерно в конце XIX в., захватил сферу МАГ, в начале XX в. распространился на сферу ПЯК, где до этого доминировал идиш, наконец, на сферу БУ.

Айнский язык прошел более сложный эволюционно-деволюционный путь. Первоначально, как язык неурбанизированного общества, он бытовал, главным образом, в сферах ПЯК, ЦОП, и ряде других, преимущественно традиционно-хозяйственных, ситуаций, в ходе трудовых процессов. Несомненно, агитационные ситуации также имели место, особенно в эпоху многочисленных в XVII–XVIII вв. айских восстаний, но в племенном обществе такие ситуации более или менее вписаны в сферу ЦОП.

Сфера БУ, возникшая в это же время в связи с появлением японских торговых поселений (т.н. басё или тигё), с самого начала обслуживалась преимущественно японским языком; неизбежно возникавшие при этом зачатки айско-японского пиджина, о которых мы имеем лишь косвенные свидетельства, развития не получили. Поскольку в XX в. явно обозначилась тенденция перехода на японский язык при общении родителей с детьми, а в трудовых процессах взаимодействие с японцами стало играть все возрастающую роль, к середине XX в. айнский язык почти исчез из сфер ПЯК и ТО.

Таким образом, сегодня айнский язык бытует преимущественно в сфере ЦОП, где он всегда имел наиболее стабильную нишу, и, с развитием современных корпоративных отношений, отчасти во вновь образовавшейся сфере МАГ. Но и здесь он играет не столько реально коммуникативную, сколько демонстрационно символическую роль. Следует отметить, что как японские имена собственные, так и общественно-политические и экономические термины и словосочетания, вставляются в набранный “катаканой” айнский текст непосредственно в иероглифической форме, так что этот текст имеет вид типичного японского “кана-мадзири-бун” (текста, набранного смесью иероглифов и слоговой азбуки). В той части газеты, которая набрана латиницей, эти японские слова даны курси-

вом, по правилам “ромадзи” (японской латинизированной транскрипции).

С чем сравнить эту ситуацию? По-моему – ближайшая аналогия это санскрит в среде индийских брахманов или иврит среди верующих иудеев до расцвета сионистского движения. Иными словами, айнский язык это некий символ, язык церемониала, ритуала, фатической коммуникации, язык, подобный престижно-декоративному украшению. Язык остается живым до тех пор, пока хоть одна мать говорит на этом языке со своим ребенком. Если этого нет, язык мертв, даже если его продолжают знать, как латынь или санскрит, многие тысячи людей. В Израиле удалось воскресить иврит, сделать его из мертвого живым языком. Но это – уникальный случай. Языки малых северных народов таким потенциалом воскрешения, по-видимому, не обладают.

Я не буду касаться нового японского законодательства по защите прав айнов. Оно прогрессивно по сравнению с предшествовавшим, но главного – восстановления прав собственности на прежние угодья – не содержит. Есть айнские ассоциации, есть айнский бизнес, есть для него существенные льготы. Эти льготы порождают ряд злоупотреблений – фиктивные браки японцев на айнских женщинах, фиктивное зачисление в штат пожилых айнов, тогда как на деле их работу выполняют японцы, и многое другое.

Резюмируя, можно сказать, что айнский этнос по языку, бытовой культуре, религии, занятиям практически идентичен японскому. В этом плане как некая особая этническая сущность он фактически не существует. Но его выделяют вновь возникшие черты: современные ценности, политизированное самосознание, чувство дискриминации или виктимизации (во многом надуманное или искусственно культивируемое), наличие льгот и, следовательно, коллективное требование их сохранения и расширения, общественные организации, их символика, культивация некоторых знаковых, символических признаков. Некоторые, довольно условные, аналогии можно провести с казачеством на юге России, еще более условно – с цыганами или даже с евреями ряда европейских стран (хотя евреев отчасти продолжает выделять религия), с низкокастовыми группами ряда индийских штатов и некоторыми другими сильно ассимилированными меньшинствами.

Однако наиболее близкие и явные аналогии напрашиваются при сравнении айнов сaborигенами Северной Америки. Некоторые индейские племена, как мивоки Калифорния, могауки северо-восточной части США и Канады, пожалуй, даже дальше айнов подвинулись по пути метисации, аккультурации, урбанизации. Другие, как навахо Аризоны или кучины Аляски, еще отстают от них, и находятся на стадии, которую айны прошли в начале XX в. Еще в боль-

шай мере сохраняют остатки традиционного образа жизни, культуры и языка эскимосы (как инуиты Северной Аляски и Канады, так и еще больше юиты (юпики) Западной Аляски). В общем, разные племена аборигенов Северной Америки можно выстроить в ряд, который будет соответствовать разным этапам аккультурации и трансформации айнов.

Малые народы Севера России еще далеки от современного уровня трансформации айнов. Надо учесть, что до середины XX в. официальная политика СССР еще была в какой-то мере реально нацелена на поддержание местных языков и национального самосознания, хотя при этом целенаправленно выкорчевывала традиционную материальную и особенно духовную культуру как вредный пережиток прошлого. Однако замена анимизма атеизмом оказалась менее успешной, чем замена его буддизмом или христианством. В результате именно в России шаманские и анимистические культуры эффективно сохранялись в подполье и сейчас успешно возрождаются, тогда как в Японии и Америке мировые религии в основном их заместили. В целом ситуация малых народов Севера России скорее близка к айнской ситуации первой трети XX в. Еще раз следует отметить слабую развитость в России индустрии туризма и сувенирного ремесла и соответственно малое их воздействие на занятия, образ жизни, структуру доходов населения Севера.

Так или иначе, можно наметить определенную тенденцию в развитии, возможно, не только северных, но и вообще любых малых народов. Это постепенная, но быстрая потеря родного языка, осколки которого сохраняются, главным образом, в фатической, паремической, ритуальной коммуникации. Столь же быстро идет потеря специфики производственной и материальной культуры, остатки которой наблюдаются в основном в рекреационной, демонстрационной и символической сфере. Религиозная специфика также сохраняется в основном остаточно, во многом перекрытая все более возрастающим восприятием доминирующих мировых религий.

Параллельно с этим выклиниванием практически всех внешних этнообразующих компонентов, якобы парадоксальным, а на самом деле вполне логичным образом идет возрастание и гипертрофия национального самосознания, подчеркивания своей особости, настойчивого озвучивания комплекса собственной жертвенности (виктилизированности), а, стало быть, растущей тенденции превращения в корпорацию, требующую признания своих прав на льготы, преимущества и вообще особый статус.

Айны и некоторые индейские племена США максимально продвинулись по этому пути, другие индейские племена находятся на разных его этапах, арктические народы Америки вступили на него относительно недавно, а малые народы Севера России только начи-

нают на него вступать, но что они пойдут по нему, вряд ли можно сомневаться.

Указанный путь не есть закономерность внутреннего развития малых народов, он предопределяется не заложенными в их культуре и традициях чертами. Он является аргументом другой функции – функции современного развития общественного сознания господствующего общества, общества большинства. Именно в этом обществе, в его либеральном общественном мнении вызревает мысль о виновности эксплуатирующего большинства перед эксплуатируемыми меньшинствами, о необходимости покаяния, признания этой вины и развития усилий по ее заглаживанию и компенсации.

Очень важно при этом, относится ли данное господствующее общество преимущественно к культуре вины (как все протестантские, а отчасти и католические культуры Запада) или к культуре стыда (как большинство культур Востока). Культура вины требует открытого признания своей виновности, исповеди, публичного покаяния (желательно с битьем себя в грудь и обильным посыпанием главы пеплом) и тому подобных акций. Культура стыда делает упор на сохранение лица (битье себя в грудь – это крайняя форма потери лица и должно максимально избегаться). Желательно затушевывание своей виновности, принятие неявных поправок, сохранение внешних приличий, как если бы ничего особенного не происходило.

Разницу двух культур отчетливо можно видеть на реализации сценариев “японцы-айны” и “американцы-индейцы”. Американцы, эти типичные представители культуры вины, доходят в своем покаянии перед любыми меньшинствами, не только аборигенными, но и расовыми, сексуальными и даже гендерными (феминизм мужчин, стремление предоставить женщинам все мыслимые льготы) нередко до уровня истеричного кликушества. Соответственно поведение меньшинств, а точнее их экстремистских политиковствующих лидеров, подчас отличается крайней наглостью и распоясанностью. Это доведенный до абсурда воинствующий феминизм, черный расизм, близкое к изуверству религиозное сектантство и фундаментализм, а в аборигенном движении – воинствующий обскурантизм и гиперпротекционизм. Он выражается во введении особых, крайне антидемократических норм права на территории туземных общин и резерваций, в антинаучной политике так называемой репатриации культурных ценностей, которая ведет к разорению музеев, ритуальному захоронению и уничтожению собранных многими поколениями учебных бесценных этнографических и антропологических коллекций, в стремлении получить права вето на любые публикации, выставки, музейные экспозиции, которые не соответствуют идеологическим установкам местных мракобесных религиозных организаций или политиковствующих элитных групп нативистского движения.

Совсем иная ситуация в Японии. Японское общество с его культурой стыда, а стало быть, обязательности сохранения лица вообще не склонно открыто признавать свои грехи. Это особенно отчетливо видно в той разнице, которая наблюдается в отношении к признанию, оценке и преданию гласности военных преступлений эпохи II мировой войны в Германии и в Японии. Германия с ее преимущественно протестантской культурой вины и на словах, и на практике давно совершила достаточно эффективные акции покаяния, в Японии же признание военных преступлений и принесение извинений за них совершается с огромной неохотой и трудом и всячески затушевывается.

Тем более склонны и официальные японские круги, и общественное мнение по возможности не заострять внимание на несправедливостях по отношению к айнам. Прогрессивных этнологов, которые пытаются говорить об этом в полный голос, можно пересчитать по пальцам. Изменения вaborигенной политике в сторону ее либерализации произошли после того, как на существование национальных меньшинств Японии было обращено внимание мирового общественного мнения, в частности, после того, как премьер-министр Накасонэ вообще пытался отрицать их наличие (в 1986 г.).

В Америке общество буквально затерроризировано назойливой политкорректностью, причем распространяются ее требования только на белых, но отнюдь не на негров или индейцев, да и в самом деле смешно ожидать политкорректности от пейотистов или черных мусульман. В Японии политкорректность не акцентируется, она скорее растворена среди общих норм языковой и поведенческой корректности, равно принятых и собственно японцами, и меньшинствами.

Мероприятия по улучшению положения айнов проводятся с присущей японцам нешумной деловитостью и эффективностью, но в строго контролируемых и достаточно узко определенных властями рамках. Сами айны и их организации хотя и требуют большего, но делают это опять-таки с соблюдением норм приличий, в разумно ограниченных пределах. Наверно, именно поэтому общий успех всех мероприятий, хотя и не грандиозен, но достаточно заметен и может быть отнесен к числу наиболее успешных мероприятий в этой области в мире. Пожалуй, на сходном или более высоком уровне находятся только мероприятия по возрождению саамской (лопарской) культуры в скандинавских странах.

Каково же развитие ситуации с положением малых народов Севера, которое в свете вышеизложенного можно ожидать в России? Сложность, противоречивость, мозаичность этнокультурной картины России затрудняет формулировку простых и однозначных отве-

тов на этот вопрос. Как промежуточная цивилизация между Западом и Востоком Россия в равной мере не чужда и комплекса вины, и комплекса стыда. Однако характерно, что любые призывы к покаянию большого успеха в России пока не имели. Любая социальная, религиозная, культурная, но в наибольшей степени любая этническая группировка в России скорее склонна громогласно требовать покаяния от всех окружающих, от своих соседей, партнеров, воображаемых антагонистов, но только не от самих себя. Самих себя же все группы склонны изображать как безгрешных и безвинных жертв тяжкой судьбы и злобных происков супостатов. И едва ли не в наибольшей степени эти общероссийские настроения свойственны доминирующей нации страны – собственно русским.

Это обстоятельство несомненно будет замедлять эволюцию форм бытия, самосознания и структурного положения малых народов России. Скудность финансовых возможностей также долго будет тормозом на пути проведения каких-либо модернизационных или реабилитационных мероприятий. Соответственно и голос нативистских движений, которые уже давно формируются, и их политических лидеров в ближайшем будущем вряд ли будет услышан широким общественным мнением, а тем более элитным истэблишментом. Но надо думать, что рекреационно-туристическая (хотя бы ориентированная на иностранцев) индустрия будет продолжать развиваться повсюду, где есть для этого возможности, в том числе и не Севере. Малые народы Севера России, хотя и с запозданием, так или иначе будут все более включаться в общемировой процесс эволюции малых народов в сторону их преобразования в аккультурированные корпоративные группировки с высокой степенью осознания и стремления к реализации своих особых корпоративных интересов.

ЛИТЕРАТУРА

- Вахтин Н.* Коренное население крайнего Севера Российской Федерации. СПб.: Изд-во Европейского Дома, 1993.
- Советский Север (под ред. П.Г. Смидовича). М.: Издание Комитета Севера, 1929.
- Шишило Б.П.* Коренные народы Сибири и России: Особенности отношений.
- Stewart H.* Models for Co-existence: a view from the Canadian situation // Quest for models of coexistence. Sapporo, Hokkaido Univ. Press, 1998.
- Chichilo B.* La Tchoukotka: une autre civilisation obligatoire. "Objets et Mondes", la revue du Musee de l'Homme. N 25. Fasc. 3–4. Paris, 1988.
- Krauss M.* The world language in crisis // Endangered languages and their preservation" meeting of the linguistic society of America. Chicago, 1991.
- Tchlenov M.A.* Quel destin attend les peuples du Nord? // Questions sibériennes. Bull. 1, 1990.

В.А. Дыбо

(Россия)

ЯЗЫК – ЭТНОС – АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы)

III

Во второй части этой работы¹ я попытался популярно показать, что расхождение, на котором строятся основные противоречия между археологами и лингвистами-компаративистами, – это отношение к реконструкции. Для лингвиста-компаративиста именно осуществленная реконструкция праязыка является доказательством его бытия, очевидно просматриваемая возможность такой реконструкции – аргументом в пользу возможности родства языков, входящих в сравнение. Этот важнейший момент в нашей дискуссии в большинстве случаев не учитывают археологи. Для них (пока, во всяком случае) реконструкция такого значения не имеет.

Как же построена лингвистическая реконструкция и почему она является основным, если не единственным, аргументом в пользу существования соответствующего праязыка?

1. *О структуре сравнительно-исторической реконструкции.* Каждая сравнительно-историческая языковая реконструкция складывается из результатов компаративистской процедуры, в принципе формальной, и конкретной интерпретации этих результатов, получаемой путем внесения экстракомпаративистского знания, по большей части типологического (в широком смысле этого слова), т.е. полученного в результате сопоставления некоего корпуса различных языков. Типологический характер этого компонента реконструкции часто эксплицируется в современных работах, однако не следует упускать из виду, что имплицитно он был таковым с момента возникновения компаративистики. Уже над этой “первичной” реконструкцией надстраивается ряд научных заключений и гипотез более общего характера: причинно-следственных, телеологических и т.п., вплоть до различного рода чисто исторических и культурологических выводов. Связь между “первичной реконструкцией” и “вторичными” гипотезами, по крайней мере при современном состоянии науки о языке, односторонняя: при изменении “первичной реконструк-

¹ См.: В.А. Дыбо. Язык – этнос – археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы). II // Язык. Культура. Этнос. М., 1994.

ции” должны изменяться надстроенные над ней гипотезы; напротив, общие положения и гипотезы не имеют запретительного характера по отношению к “первичной реконструкции”. Более того, даже типологический (интерпретационный) компонент “первичной реконструкции” (в силу его вероятностного характера) не может иметь запретительного значения по отношению к результатам компаративистской процедуры, если она внутренне безупречна.

В основе любого этимологического предложения (в широком смысле, т.е. предложения о генетической идентификации) лежит, однако, далеко не формальная операция генетического отождествления элементов сравниваемых языков или элементов внутри одного языка, не отождествляемых в синхронной системе языка. Эта операция опирается на интуитивно оцениваемое “сходство” идентифицируемых элементов или иногда на другие экстракомпаративистские соображения, в том числе исторические, культурологические, этнологические и под. Уровень “научности” таких предварительных соображений не имеет существенного значения. Сама компаративистская процедура построена таким образом, что на каждом последующем этапе ее проведения уровень неформальности резко снижается: феномен внешнего сходства заменяется принципом регулярности соответствий, возможность семантического сближения подтверждается регулярностью наблюдаемых “семантических переходов”, корневые этимологии обосновываются посредством установления морфонологического, словообразовательного и морфологического механизмов порождения и т.д. Именно с этим процессом снижения неформальности связывается результативность компаративистской процедуры. Сравнительно-историческое исследование рассматривается как успешное, если оно устанавливает новые регулярности в сравниваемом материале, и, напротив, мы считаем его неудачным, если исследователь не установил никаких строгих соотношений.

Компаративистская процедура складывается из двух групп приемов, первая из которых обычно относится к приемам внутренней реконструкции, или морфонологического анализа, а вторую – называют приемами внешнего сравнения. Несколько огрубленно процесс введения этих приемов в исследование можно представить таким образом: сначала производится внутренняя реконструкция вводимых в исследование систем, затем – внешнее сравнение систем, затем исследователь устанавливает стратификацию элементов, полученных путем внешнего сравнения, повторяя, таким образом, процесс внутренней реконструкции (в расширенном виде), после чего вновь переходит к внешнему сравнению на расширенной базе и т.д. Опыт сравнительно-исторических исследований и особенно исследования таких сложных объектов, как, например, акцентуационные системы в языках с морфонологизованными акцентными и тоновыми

ми системами, показывает, что успеха достигают лишь те исследования, в которых циклично используются обе группы приемов.

Вторая сторона реконструкции – интерпретационная, – как уже говорилось, в значительной степени построена на введении в результаты компаративистской процедуры экстракомпаративистской, в основном типологической, информации. Это типологическое знание имеет по отношению к самим результатам компаративистской процедуры чисто вероятностный характер. Если сама компаративистская процедура указывает на те соотношения, которые есть, то типологическая информация – это информация о том, что бы в а – е т. Именно поэтому типологическая информация не может иметь запретительного характера по отношению к результату компаративистской процедуры. Приписывание ей такого характера в некоторых современных работах следует рассматривать скорее как неудачную формулировку. Выдвигаемые подчас возражения против той или иной реконструкции из типологических соображений могут относиться лишь к интерпретационной стороне этой реконструкции, но никак не к чисто компаративистским результатам. Хотя интерпретационная сторона реконструкции имеет большое эвристическое значение для дальнейшего сравнительно-исторического исследования, вероятностный ее характер должен учитываться исследователем и интерпретационная сторона должна как бы сниматься при включении компаративистской основы реконструкции в дальний виток компаративистской процедуры.

2. *Компаративистская процедура*. Попытаемся разобраться в характере двух групп приемов, о которых мы говорили выше, их сходстве и различии. Начнем с приемов внутренней реконструкции.

а) Внутренняя реконструкция

Представим себе, что русский язык является изолированным языком и нам нужно получить какое-то представление о его истории. Надо сказать, что чистота этого эксперимента с самого начала подвергается определенной и весьма сильной опасности. Даже если отвлечься от наличия ряда диалектов русского языка, сравнение с которыми уже будет внешним сравнением, то и сам литературный русский язык существует в двух формах: устной (произносительной) и в письменной (графической) форме. И хотя графический русский подвергался значительным и не очень удачным орфографическим реформам, он сохраняет массу черт, связывающих его с “произносительным русским” прошлого, так что сравнение устного русского с графическим русским вскрывает сразу же целый пучок исторических процессов, часть из которых почти самоочевидна, а другие – могут для своего доказательства потребовать более тщательного анализа: процессы редукции гласных, возникновение корелляции

согласных по признаку палатальность – велярность, тесно связанное с принятием последнего процесса признание первичного фонологического отличия гласных фонем, выражавшихся буквами (графемами) *ы*, *я*, *е* (ё), от фонем, выражавшихся буквами *и*, *а*, *о*, естественно вытекающее из этого же признание первично особого фонологического статуса у морфонем *о/ø* и *е/ø* (“беглых гласных”) и т.п. Однако все эти результаты мы получаем путем внешнего сравнения, не путем внутренней реконструкции. Сравнение устного языка с графическим языком часто используют для изучения истории языка с достаточно длительной письменной традицией (ср., например, “графический тибетский”, “графический бирманский”), но это все же не внутренняя реконструкция, а один из случаев внешнего сравнения.

Поэтому для чистоты эксперимента нам нужно было бы представить себе, что русский язык является не только изолированным, но и младописьменным языком, и начать наш эксперимент с русского языка в его фонетической записи. И тут мы обнаружим, что процесс внутренней реконструкции, во всяком случае, в начальной его стадии почти полностью совпадает с процессом (синхронного) описания языка.

В первую очередь это относится к звуковой (фонетической) стороне языка. Как известно, человеческая речь предстает перед нами в виде звуковых цепей, т.е. непрерывных модификаций звучания, размещенных на временной оси. При языковом восприятии речи, т.е. при восприятии высказывания, происходит, по крайней мере, три операции: 1) членение звуковой цепи на минимальные звуковые отрезки; 2) отождествление каждого такого отрезка с подобными звуковыми отрезками, которые могут занимать то же самое место в звуковой цепи, не нарушая ее связи с элементами содержания, и противопоставление этого отрезка другим минимальным звуковым отрезками, при замене его которыми связь между звуковой цепью и элементами содержания нарушается; 3) отождествление данного звукового отрезка с звуковыми отрезками, выступающими в других окружениях, но занимающими одинаковое место в системе противопоставляемых отрезков.

Наука, изучающая операции, посредством которых из непрерывно меняющейся звуковой цепи выделяются дискретные единицы, необходимые для понимания языка, называется, как известно, фонологией (в отличие от фонетики, которая изучает механику образования звуковой цепи), а минимальная единица фонологии, вычленяемая в результате указанных операций, называется фонемой. Таким образом, фонемой называется комплекс знаково существенных признаков кратчайшего звукового отрезка (способный, в принципе, определенным образом модифицироваться в различных звуковых окружениях), служащий для различения лю-

бых звуковых отрезков, с которыми связывается в языке смысловое содержание. Или, иначе говоря, фонема – это звук речи как особый знак, служащий для отождествления и различения в языке смысловых единиц (слов, морфем, предложений, – точнее, их звуковых оболочек). Фонемы, выражаемые отрезками звучания, расположеными последовательно во времени, называются с е г м е н т н ы м и. Фонологические единицы, образованные видоизменением звучания какой-либо фонемы или группы фонем, называются с у п е р с е г - м е н т н ы м и фонемами или п р о с о д е м а м и. Важнейшей из них для русского языка является ударение. Ударение – это выделение темы или иными фонетическими средствами (в русском языке – изменением длительности и напряженности) какого-либо слога из слов, расположенных рядом с ним и образующих вместе с этим ударным слогом одну тактовую или динамическую группу.

Анализ звуковой цепи показывает, как вам известно, что возможности противопоставления фонем меняются в зависимости от их окружения (или п о з и ц и и). Позиции, в которых возможно различение максимального числа фонем, называются с и л ь н ы м и; позиции, в которых возможности противопоставления фонем редуцированы, называются с л а б ы м и. Фонемы в соответствующих позициях тоже называются с и л ь н ы м и и с л а б ы м и. Слабые фонемы называют также а р х и ф о н е м а м и.

В русском языке сильной позицией для гласных фонем является позиция под ударением. В ней различается пять гласных: *a, o, e, i, i*. Безударные позиции допускают системы из меньшего числа гласных. В неприкрытых предударных слогах, а также в первом предударном слоге после твердых согласных (включая шипящие) различаются гласные: *i, u, ie, ə*. Во втором предударном слоге и в заударных слогах после твердых согласных – *i, u, ə*, после мягких – *i, u, ь*, что, в сущности, сводится к общей системе *i, u, ə*. Такая система второго предударного и заударных сохраняется лишь в отчетливом произношении, в обычной речи она представлена фонемами *ə, u*.

Аналогичная редукция систем распространяется и на первую группу позиций в икающем варианте произношения, где количество гласных фонем уменьшено на одну: в неприкрытых предударных слогах и в первом предударном после твердых – *i, u, ə*; в первом предударном после мягких – *i, u*.

Сильная позиция согласных в русском языке – перед гласными и сонорными, включая *v* (если за ним следует гласный или сонорный). Позиция перед согласным накладывает на предшествующий согласный существенное ограничение: если последующий согласный глухой, то перед ним возможен лишь глухой; перед звонким согласным также возможен только звонкий. Следовательно, противопоставление парных по звонкости-глухости согласных фонем в этой позиции

отсутствует. Здесь выступают непротивопоставленные по звонкости-глухости слабые фонемы или архифонемы *P*, *P'*, *F*, *F'*, *T*, *T'*, *S*, *S'*, *K*, *X*, *Ş*.

Примечание. Все эти системы фонем, находящиеся в различном фонологическом окружении, принципиально не могут быть отождествлены, если не выходит за пределы фонологии, которая принципиально не использует информацию о морфологическом членении данного звукового потока и о тождестве-нетождестве морфем. Такая фонология должна составить каталоги фонем и определить позиции, в которых каждый из них представлен. Объединение же фонем разных позиций возможно лишь в результате привлечения морфологической информации, т.е. информации о членении звуковых цепей на морфы (морфемы) и о тождестве-нетождестве морфем (морфов). Ясно, что такое объединение производится при помощи иных операций и единицы, полученные таким образом, относятся к иному уровню языка, а именно, к морфонологии. Такое понимание фонологии и морфонологии и их соотношения не является общепринятым. Но, с моей точки зрения, оно наиболее адекватно отражает суть предмета (во всяком случае, в той степени, в какой она доступна сравнительно-историческому языкознанию) и поэтому позволяет наилучшим образом продемонстрировать смысл и характер производимых над ним операций.

Указанные операции и полученные в результате этих операций фонологические единицы не имеют непосредственного отношения к таким структурам языка как предложение, синтагма, слово, морфема, морф. Для того чтобы связать эти единицы с указанными структурами, чтобы понять как они с ними связаны, какое место в них занимают и т.п., мы должны перейти на существенно иной уровень языка, на морфонологический уровень. А для этого нам надо привлечь смысловую, морфологическую информацию, т.е. информацию о морфологическом членении звуковых цепей и о тождестве-нетождестве морфов и (аналогично) морфологических единиц более высоких порядков. Установив тождество некоего морфа, встреченного в разных фонетических позициях, мы обнаруживаем, что состав фонем, выражющих его, в зависимости от характера позиций меняется, хотя количество и порядок обычно неизменен. Например, в словоформах [vós](воз), [улз-ɪ] (возы), [ví-үз] (вывоз), [p'əg'iə-үз-kə] (перевозка) морф *voz* выступает как блок, состоящий из трех рядов фонем: 1) *v*, 2) *o*, *ɪ*, 3) *z*, *S*, *s*. Единство фонем каждого такого ряда, занимающего определенное место в морфеме (морфе) и распределяющего свои составляющие в зависимости от фонологических и общеморфологических позиций, называется морфонемой. Так как морфонема обычно состоит из ряда, включающего в себя сильную фонему и слабые фонемы, мы можем рассматривать сильную фонему в качестве представителя морфонемы, а для слабых фонем ввести правило порождения, рассматривая их как модификации данной морфонемы в определенных фонетических (и общеморфологических) позициях. Такая запись морфонем, как *v*, *o*, *z*, с син-

хронной точки зрения, будет глубинной, а правило порождения будет правилом вывода из глубинной записи на поверхностный уровень. Но произведя такую запись и введя правила порождения, мы одновременно установили первичный (точнее, некий исторически предшествующий) фонетический вид морфов и ряд исторических фонетических процессов, а именно: 1) процесс редукции гласных, 2) процесс регрессивной ассимиляции согласных по звонкости-глухости, 3) процесс оглушения согласных в конце слова. Фактически мы произвели в данном случае внутреннюю реконструкцию некоего предшествующего состояния русского языка. Понимание того, что фонетическое развитие (изменение) языка идет таким образом, что его предшествующее состояние как бы вытесняется на некий глубинный уровень, из которого поверхностный уровень выводим посредством достаточно строгих правил порождения, является важнейшим результатом исторического языкознания, лежащим в основе внутренней реконструкции, во всяком случае, в области сравнительно-исторической фонетики. Хотя само понятие глубинного уровня (“глубинные структуры”) введено генеративистами, фактически открыт он был в результате сравнительно-исторических исследований, более того, с синхронной точки зрения пока нет строгих доказательств реального наличия такого уровня в человеческом языке, то есть нет доказательств, что язык в человеческой памяти хранится в каком-то виде, соответствующем глубинной записи и правилам порождения. И лишь наличие собственного исторического развития внутри этого уровня, наличие *морфонологических процессов*, подтверждает, по-видимому, гипотезу о глубинном (морфонологическом) уровне языка.

Здесь следует остановиться на позиции в русском языке, о которой я умолчал в предшествующем рассуждении. Это позиция конца слова, в которой происходит оглушение согласных морфонем. Данную позицию нельзя считать фонетической, так как конец слова – это граница морфологическая, которая может совпадать и не совпадать с фонетическими границами в звуковой цепи. С фонетической точки зрения наиболее убедительно объяснение этого процесса как результата антиципации (предвосхищения) безголосности паузы, однако в современном русском языке это оглушение происходит не только перед паузой, но и в отсутствие таковой и даже внутри тактовой группы: *môk-l'i ón zlbít'?* (мог ли он забыть?), *práf-l'i ón?* (*прáв ли бн?*) и т.п. По-видимому, в данном случае мы встречаемся с морфонологизацией результата первоначально фонетического процесса, который (результат) был перенесен на морфологическую границу – конец словоформы, приобретя функцию пограничного сигнала, т.е. фонологическую функцию. Таким образом, в русском языке отсутствуют звонкие согласные фонемы в конце словоформ.

И это является фактом не фонологии русского языка, а его морфонологии.

Так вот, дальнейший процесс внутренней реконструкции идет путем изучения таких морфонологизованных первично фонетических изменений и их позиций. Устанавливаются “сильные” части системы, сохраняющие соотношение изменения с его позицией, и “слабые”, в которых это соотношение было утрачено. Последнее может происходить либо 1) в результате генерализаций изменения, т.е. выхода его за пределы первичной фонетической позиции, распространения результата изменения на позиции, в которых это изменение первоначально отсутствовало (обычно возникает определенная морфологическая позиция), либо изменение устраняется в определенной части системы в результате процессов унификации морфов (что также часто создает морфологическую позицию, в которой это изменение устранено), либо, наконец, соотношение между изменением и позицией было утрачено из-за падения элементов, составлявших эту позицию, или совпадения их с элементами, не образующими данной позиции. Установив “сильные” части системы, исследователь оперирует с ними как с поверхностным уровнем, рассматривая чередующиеся морфонемы как результат порождения из морфонем как бы более глубокого уровня.

Например, известно, что мягкие и твердые согласные в конце корневого морфа служат лишь для различия морфонологических вариантов корня, но не различают сами корни. Иначе говоря, конец корня в русском языке, как правило, в словоформе находится в регулярном чередовании по твердости-мягкости. Позиции этих чередований чисто морфологические (морфонологические): *n'os'* (несу́), *n'os'-ɒ̄s* (несе́шь), *n'os'-ɒ̄t* (несе́т), *n'os-ɒ̄t* (несу́т), *n'ɒ̄s* (нёс), *n'os-lá* (несла́), *n'os'-á* (неся́), *n'os-ɒ̄m[u]j* (несомы́й); *ros-á* (роса́), *ros-ɒ̄j* (росо́й), *v ros' é* (в росé) и т.п. Рассматривая мягкие и твердые морфонемы конца корня как результат порождения из морфонем, которые не различались по твердости-мягкости, исследователь должен установить позиции этого порождения. Оценивая эти позиции уже как фонетические, он видит, что мягкий консонант появляется перед морфонемой *e*, твердый перед морфонемой – *u*, с другой стороны, перед морфонемами *a* и *o* может появиться как твердый, так и мягкий согласный. Это позволяет выдвинуть гипотезу, что в данном случае произошло совпадение элементов, составлявших ранее разные фонетические позиции. Иначе говоря, он выдвигает предположение, что в морфонеме *o* совпали первоначально различавшиеся две морфонемы: *o*, несмягчающее (которое можно обозначить как *o*), и *o*, смягчающее (которое мы можем обозначить как *ɒ̄*), и соответственно, в морфонеме *a* совпали морфонемы *a* и *ä*. Выдвинув подобную гипотезу, исследователь обязан проверить ее на большем

материале, в идеале на всем доступном ему материале изучаемого языка. Так введение реконструированных морфонем *ö* и *ä* в корневые морфы показывает наличие регулярного морфологического чередования *ö* с морфонемой *o*, а морфонемы *ä* с морфонемой *i*, параллельных аналогичным чередованиям других морфонем: *nöstí ~ nos-ít'*, *pri-nós* (нестí ~ носítъ, принóс), *vöztí ~ voz-ít'*, *vöz* (возтí ~ возítъ, вóз), *trästí ~ trus-ít'*, *trús* (trästí ~ трустí, трúс), *blästí ~ blud-ít'*, *blúd* (блястí ~ блудítъ, блúд), аналогично с *lézí', lézu ~ láz-ít'*, *láz* (лéзть, лéзу ~ лáзить, лáз), *sést' ~ sad-ít'*, *sád* (сéсть ~ садítъ, сáд), *réz-at' ~ raz-ít'* (рéзать ~ разйтъ), ср. также *bdéť' ~ bud-ít'* (бдéть ~ будйтъ), *sóx-pit' ~ suš-ít'*, *sux-ój* (сóхнуть ~ суšíть, сухóй). С другой стороны, морфонема *ä* в корневых морфах обнаруживает свое чередование с согласными морфонемами *t* и *n*: *pri-já-t'*, *pri-ná-t'* ~ *pri-jm-ý* (приять, принáть ~ приймý), *má-t' ~ mn-ý* (мять ~ мнý). Такой и подобный анализ значительно усиливает предположение о наличии в прошлом особых морфонем (и фонем) *ö* и *ä*.

Возможность дальнейшего расширения ряда и построения достаточно строгого правила порождения также в определенном отношении подтверждает правомерность такой реконструкции. Надежность реконструкции усиливается, если ее последовательное проведение, основанное на достаточно строгом правиле, позволяет увеличить строгость или фонетическую вероятность определенных смежных правил, непосредственно с первым правилом не связанных. Так реконструкция двух редуцированных *ъ* и *ь* на основании анализа морфов с “несмягчающим” и “смягчающим” “беглыми гласными” позволяет использовать их для реконструкции позиции смягчения согласных в конце слова, а последовательное проведение этой реконструкции в словах с редуцированными в корне в свою очередь позволяет значительно прояснить позиции падения и “прояснения” самих редуцированных: *sъnъ* (сон), *gъna* (сна), *gъli* (сну), *gъlpъjъ* (сонный), *sъnît'sâ* (сниться); *lъnъ* (лён), *lъna* (льна), *lъnäpъjъ* (льняной); *dъnъ* (день), *dъnъj(y)* (дней), *dъnî* (дни), *dъnъpъjъ* (денной), *dъnevъpъjъ* (дневной) и т.д. (Сильные, т.е. “проясняющиеся” беглые, отмечены в примерах точками, количество примеров почти достаточно, чтобы продемонстрировать правило Гавлика²). Следует отметить, что таким способом можно продемонстрировать правило

² Правило Гавлика – закономерность развития праславянских редуцированных, установленная А. Гавликом (1889): в последовательной цепочке слогов с редуцированными все нечетные, считая от конца фонетического слова, падают, а четные становятся гласными полного образования; редуцированный падал и перед слогом с первичным гласным полного образования и, естественно, редуцированный, стоявший в слоге перед павшим редуцированным, становился гласным полного образования.

Гавлика, но это не означает, что оставаясь в пределах материала исключительно современного русского языка, мы можем при помощи морфонологического анализа строго реконструировать правило Гавлика. Сказанное выше о наличии собственного исторического развития внутри морфонологического уровня языка подтверждается уже на этом этапе анализа. Более полная выборка русского материала показывает, что результат действия правила Гавлика был деформирован рядом чисто *морфонологических процессов*, которые мы можем назвать процессами восстановления единого вида морфемы. В первую очередь выступает процесс восстановления единого вида производящей основы. Результаты его обычно демонстрируются такими примерами, как *уголочек*, gen.sg. *уголочка* (< **qgъlъčkъ*, gen.sg. **qgъlъčka*), с констатацией факта, что в современном русском языке “беглые гласные” встречаются только в последнем слоге основы. Это не совсем точное утверждение. Оно точно, если речь идет об одной и той же основе, но если говорить о морфеме: корне или суффиксе, то “беглые гласные” могут быть в любом слоге, но эта беглость осуществляется уже не в словоизменении, а в словообразовании. Синхронный анализ распределения “беглых гласных”, проведенный в “Очерке русской морфонологии” В.Г. Чургановой, показал следующие закономерности их вокализации:

а) Субморф типа Ø С [и субморф типа СØС] перед субморфом с постоянным гласным выступает, как правило, в нулевой форме (кроме случаев, когда полная форма определяется пр. III 3, 4). (с. 145)

Это случай, очевидно, точно соответствующий правилу Гавлика:

псина (< **rъs-in-a*), *псовый* (< **rъs-ov-ъ-jъ*), *львица* (< **lъv-ic-a*),
вивый (< **vъd-iv-ъ-jъ*), *орлик* (< **or-ъl-ik-ъ*), – редуцированные падают перед гласными полного образования.

б) Субморф типа Ø С [и субморф типа СØС] перед субморфом типа ØС в нулевой [1] или чередующейся [2] форме реализуется в постоянно огласованном виде. (В правилах выбора огласовки субморф, находящийся в чередовании *o/e* || Ø, равняется нулевому субморфу.) (с. 149)

1. *сонник* (< **sъnъnikъ*), *денник* (< **dъnъnikъ*), *ложность* (< **lъžnostъ*), *темница* (< **tъmъnica*), – эти данные тоже соответствуют правилу Гавлика: редуцированные проясняются перед павшим редуцированным.

2. *пенёк*, gen.sg. *пенька* (< **rъnъkъ*, gen.sg. **rъnъka*); *денёк*, gen.sg. *денька* (< **dъnъkъ*, gen.sg. **dъnъka*); *стебелёк*, gen.sg. *стебелька* (< **stъbъlъkъ*, gen.sg. **stъbъlkа*); но в этой группе мы имеем уже отклонение от правила Гавлика: редуцированные проясняются и перед прояснившимся редуцированным.

с) Субморф типа $\emptyset C$ [и субморф типа $C\emptyset C$] перед субморфом типа $\emptyset C$ в постоянно огласованной форме может выступать как в нулевой, так и в огласованной форме. Выбор формы регулируется специальными правилами: 1) если полная огласовка последующего субморфа определяется следующим за ним субморфом, первый субморф реализуется в полной огласовке; 2) если полная огласовка второго субморфа определяется иными морфонологическими причинами, то первый субморф выступает, как правило, в неогласованной форме (кроме случаев, когда полная форма по пр. III 3, 4). (с. 152)

Первая часть этого правила – это лишь расшифровка и расширение второй части предшествующего правила. К ней относятся и примеры типа: *пенёк* (< *ръпъкъ); *денёк* (< *дъпъкъ); *стебелёк* (< *стъбълькъ), – и слова, относящиеся к следующим этапам деривации: *пенёчек*, gen.sg. *пенёчьяка* (< *ръпъчъкъ, gen.sg. *ръпъчъка); *денёчек*, gen.sg. *денёчьяка* (< *дъпъчъкъ, gen.sg. *дъпъчъка); *стебелёчек*, gen.sg. *стебелёчьяка* (< *стъбъльчъкъ, gen.sg. *стъбъльчъка) и т.д.

Таким образом, в современном русском языке как бы отсутствуют формы, свидетельствующие о падении редуцированных в позиции перед редуцированным, проясняющимся по правилу Гавлика. Если исходить из этого корпуса словоформ, редуцированный прояснился перед любым следующим за ним редуцированным. Но у нас есть еще вторая часть правила: “если полная огласовка второго субморфа определяется иными морфонологическими причинами, то первый субморф выступает, как правило, в неогласованной форме”.

Какими же иными морфонологическими причинами определяется полная огласовка второго субморфа типа $\emptyset C$, которая приводит к тому, что первый субморф выступает в неогласованной форме?

Это те же причины, которые сформулированы в правилах III 3, 4:

3) Субморфы типа $\emptyset C$, употребляющиеся как в чередующейся, так и в полной форме в зависимости от морфонологических условий.

\emptyset с. а) $\emptyset C$ выступает в полной форме в том случае, если предшествующий субморф оканчивается на сочетание согласных морфонем, в особенности таких, в которых нулевая позиция (см. § 14) заполнена (или может образовать таковое с предшествующим ему субморфом). (с. 138)

\emptyset п. а) Этот субморф имеет полную форму без чередования (*енн*), если предшествующий субморф содержит или может образовать консонантные сочетания с заполненной нулевой позицией (см. § 14). (с. 139)

4) Субморфы типа $\emptyset C$, употребляющиеся в нулевой или полной форме в зависимости от морфонологических условий.

Øsk. а) Этот субморф (в несмягченном варианте) имеет полную форму без чередований в том случае, если предшествующий субморф оканчивается на шипящий (1) или на заднеязычный и *s*, заменяемый шипящим (2). (с. 142)

Østv. а) Как и *Øsk*, данный субморф реализуется в полной форме без чередований, когда предшествующий субморф оканчивается на шипящий или на заднеязычные и *s*, замененные шипящим. (с. 143–144)

Нулевая позиция консонантных сочетаний – это конечное место консонантных сочетаний, заполняемое сонорными: *l*, *l̄*, *r*, *r̄*, *n*, *n̄*, *m*, *v*, *ń*.

Таким образом, нулевая ступень “беглого гласного” выступает перед морфами *Østv* и *Øsk*, полная ступень которых обусловлена предшествующей шипящей морфонемой: *скоп-ч-ество* (< **skop-ьč-ьstv-o*,ср. *скопец*, gen.sg. *скопца*); *стар-ч-ество* (< **star-ьč-ьstv-o*,ср. *старец*, gen.sg. *старца*), *твор-ч-ество* (< **tvor-ьč-ьstv-o*,ср. *творец*, gen.sg. *творца*) и подобные; *скоп-ч-еский* (< **skop-ьč-ьsk-ь-jъ*,ср. *скопец*, gen.sg. *скопца*); *стар-ч-еский* (< **star-ьč-ьsk-ь-jъ*,ср. *старец*, gen.sg. *старца*), *твор-ч-еский* (< **tvor-ьč-ьsk-ь-jъ*,ср. *творец*, gen.sg. *творца*) и подобные; конечно, во всей этой группе не обнаруживается никаких следов действия правила Гавлика. По-видимому, здесь невозможно предполагать и какой-то специфический фонетический процесс прояснения редуцированных, вызванный типом предшествующей согласной (но последний вывод, конечно, не является строгим: он относится к интерпретации, опирающейся на “типологическое” знание). В данной группе словообразовательных типов система вокализации построена как бы следующим образом: вместо суффиксов с чередующимся гласным **-e/ø*: *-Østv-* и *-Øsk-*, – вводятся их варианты *-estv-* и *-esk-* с постоянным гласным *-e-*.

Нулевая ступень “беглого гласного” выступает также перед морфами *Øc* и *Øn* [и *Øj*], полная ступень которых обусловлена консонантными сочетаниями предшествующего морфа, в особенности, оканчивающимися на сонорные – *l*, *l̄*, *r*, *r̄*, *n*, *n̄*, *m*, *v*, *ń*:

-Øj-. Сочетания, оканчивающимися на сонорные: *бéд-ств-ий-e*, (ино) *мы́сл-ий-e*, (шесто) *псáлм-ий-e*, *остр-ий-é*, (без) *вéтр-ий-e*,

-Øn-. Сочетания, оканчивающимися на сонорные: *чýслennyй*, *мы́слennyй*, *мáслennyй*, *бéдрennyй*, *вéтrennyй*, *бгнennyй*, *пíсьmennyй*, *бúкvennyй*, *тыíkvennyй*, *брókvennyй*, *клókvennyй*.

-Øc-. Сочетания, оканчивающимися на сонорные: *мертвéц*, gen.sg. *мертвецá*, *хитréц*, gen.sg. *хитрецá*; *храбréц*, gen.sg. *храбрецá*; *острéц*, gen.sg. *острецá*; *чернéц*, gen.sg. *чернецá*; *игréц*, gen.sg. *игрецá*; *зернéцó*, *сверлецó*, *веслецó*, *жерлецó*, *теслецó*, *мáслице*, *прáслице*, *крéслице*.

В части таких основ сочетание возникло в результате падения

“беглого гласного”: *орлéц*, gen.sg. *орлецá* (ср. *ор-éл*, gen.sg. *ор-л-á*); *швéц*, gen.sg. *швецá* (ср. *шов*, gen.sg. *шв-a*); *жнéц*, gen.sg. *жнецá*; *жрецá* (< **or-ъl-ьс-ь*, gen.sg. **or-ъl-ьс-а*; **ънъсъ*, gen. **ънъса*; **ънъсь*, gen. **ънъса*, **ънъсь*, gen. **ънъса*), *сукнецó* (и *сукбóнце*), *по-лотнецó* (и *полотéнце*).

Другой тип сочетаний: *лжéц*, gen.sg. *лжецá* (ср. *ложь*, gen.sg. *лжи*); *льстéц*, gen.sg. *льстецá* (ср. *лесть*, gen.sg. *лести*, *льстíвый*); *чтéц*, gen.sg. *четецá* (ср. *прочтú*, *прочёл*); *овсéц*, gen.sg. *овсецá* (ср. *овéс*, gen.sg. *овсá*) — во всех таких случаях соответствия с правилом Гавлика нет — морф *-ец-* выступает как морф с постоянным гласным *-е-* (< **lъзъсъ*, gen. **lъзъса*; **lъстъсъ*, gen. **lъстъса*; **չътъсъ*, gen.sg. **չътъса*; **օվչъсъ*, gen. **օվչъса*).

Однако в современном русском языке имеется несколько словообразовательных цепочек, в которых, по-видимому, сохранились первичные отношения, соответствующие правилу Гавлика:

подó-шв-a, *подó-шов-k-a*, *подó-шв-оч-k-a* (< **podè-шv-a*, **podè-шv-ъk-a*, **podè-шv-ъc-ъk-a*).

свáдь-б-a, *свáдь-еб-k-a*, *свáдь-б-оч-k-a* (< **svad-ъb-a*, **svad-ъb-ъk-a*, **svad-ъb-ъc-ъk-a*); *у-сáдь-б-a*, *у-сáдь-еб-k-a*, *у-сáдь-б-оч-k-a* (< **usad-ъb-a*, **u-sad-ъb-ъk-a*, **u-sad-ъb-ъc-ъk-a*); *тáж-б-a*, *тáж-еб-k-a*, *тáж-б-оч-k-a* (< **täž-ъb-a*, **täž-ъb-ъk-a*, **täž-ъb-ъc-ъk-a*).

бýк-в-a, *бýк-ов-k-a*, *бýк-в-оч-k-a* (< **buk-ъv-a*, **buk-ъv-ъk-a*, **buk-ъv-ъc-ъk-a*); *тык-в-a*, *тык-ов-k-a*, *тык-в-оч-k-a* (< **týk-ъv-a*, **týk-ъv-ъk-a*, **týk-ъv-ъc-ъk-a*); *клóк-в-a*, *клóк-ов-k-a*, *клóк-в-оч-k-a* (< **kl' úk-ъv-a*, **kl' úk-ъv-ъk-a*, **kl' úk-ъv-ъc-ъk-a*); и под.

Это дает возможность даже на уровне морфонологического анализа выдвинуть гипотезу об условиях падения и прояснения редуцированных (“беглых гласных”) в формулировке, тождественной или близкой к правилу Гавлика. Корпус форм, в которых наблюдается падение редуцированных перед прояснившимися редуцированными, не соответствующими условиям прояснения, предписанным правилом Гавлика, является гетерогенным, что указывает на его относительно поздний характер и на морфонологические процессы как причину его появления. Однако корпус форм, в которых наблюдается прояснение редуцированных перед редуцированными, прояснившимися в соответствии с правилом Гавлика, в силу своей однородности сохраняет свое значение в качестве серьезного препятствия для жесткой формулировки этого правила и может служить основанием для построения иных гипотез. Следует отметить, что корпус форм, в которых в современном русском языке сохраняются результаты “полного” правила Гавлика, относится к одной просодической категории.

Примечание. Уже этот очень суженный эксперимент показывает трудности, с которыми встречается внутренняя реконструкция, когда она не поддержана внешним сравнением. Она наталкивается на морфонологические процессы,

восстанавливающие системность организации языка, нарушенную фонетическими процессами, но восстанавливающими ее уже на каких-то иных основах. Эта наслойвшаяся на старые отношения новая система создает проблему выбора, которую трудно решить, оставаясь на почве одной языковой системы. Дело значительно облегчается, если удается привлечь к сравнению какие-то другие родственные языковые системы и поставить их с первой в отношение генетического тождества. Это могут быть системы диалектов этого же языка, исторически более раннее состояние того же самого языка или родственные языки. Но во всех этих случаях мы будем иметь дело не с внутренней реконструкцией, а с внешним сравнением. Так уже привлечение материалов близко родственного украинского языка подтверждает вторичность группы с нечленораздельным суфф. *-ец-*,ср. укр. *шевέць*, gen.sg. *шевіця*; жнéць, gen.sg. *жениця*; жрéць, gen.sg. *жерци*; диал. (Желеховский) *лестéць*, gen.sg. *лестіця*; диал. (Желеховский) *четéць*, gen.sg. *четіця* (литер. *читéць*, gen.sg. *читіця*); укр. *мréць*, gen.sg. *меріця*; и только введение материалов всех славянских языков позволяет надежно установить позиции славянских редуцированных в тех случаях, где чередование отсутствует: например, русск. *сосóк*, *сóска*,ср. скрв. диал. *sásak*, gen.sg. *sáska* ‘сосунок’; словен. *sásák*, gen.sg. *sáska* m. ‘die Zitze’ (< **sáškъ*, gen.sg. **sáštъka*); русск. *тóчка*,ср. серб. ц.-слав. *тъчка*; чеш. *tečka* (< **tъčьka*); русск. *тóчный*, *тóчен*,ср. ст.-слав. *тъчны* (< **tъčьny*); русск. *бóчка*, укр. *бóчка*; словен. *bæčkà*; чеш. *bečka* ‘бóчка’,польск. *beczka* ‘бóчка’ (< **bъčьka*),ср. также русск. ц.-слав. *бáчка*; болг. *бóчва*, скрв. *бáчва*, *бáквица* ‘кадка, бáдья’; словен. *bæčvà*; чеш. *bečva* ‘chan’ и под. Аналогично без полного привлечения славянского материала нельзя обойтись при анализе случаев, когда в праславянском соответствующие редуцированные отсутствовали, а в современном русском введено чередование гласного. Естественно, что даже когда исследователь (историк языка) решает вопросы, относящиеся к истории отдельного языка, он вынужден обращаться к соответствующим родственным языкам и результатам их сравнительно-исторического исследования, а часто и проводя такое исследование.

Таким образом исследователь, проводя внутреннюю реконструкцию, как бы разворачивает морфонологическую систему языка забираясь во все более глубокие его области, но эта аналогия может быть показательной и в другом отношении: чем дальше вглубь, тем меньше надежных фактов и тем менее надежной становится реконструкция. Естественно, что внутренняя реконструкция, особенно на глубинном этапе исследования, нуждается в поддержке внешним сравнением и в его контроле.

б) Внешнее сравнение

Метод внешнего генетического сравнения заключается в приемах установления генетического тождества разных языковых систем. Это – как максимум, когда речь идет о генетически родственных языках. Когда же речь идет о заимствованиях, то генетическое сравнение может не доходить до установления генетического тождества каких-то языковых систем, а останавливаться на установлении генетического тождества лексем, составляющих эти лексе-

мы, или установлении генетического тождества каких-то фрагментов языковой системы, отраженной в группе заимствований, с какими-то частями языковых систем родственных языков. Пример установления тождества лексем: русск. *революция*, французск. *révolution*, немецк. *Revolution*, англ. [revəlu:ʃn]. Первоначально устанавливается тождество лексем по сходству звучания и единства (или близости) значения. Затем устанавливается генетическое тождество всех элементов звучания, путем объяснения частей звуковой оболочки слова, сильно отличающихся в разных языках. Устанавливается регулярность этих отличий посредством подбора такого же типа тождеств: *резолюция*, *контрибуция*, *акция* и пр. Анализ этих регулярных соответствий, подкрепленный определенным историческим материалом (подробности здесь опускаем), приводит к выводу, что все эти слова являются независимыми заимствованиями из школьной латыни (из лат. *revolutio*, *-onis*). Русское слово не может быть заимствовано из французского, немецкого или английского непосредственно, так как тогда оно звучало бы аналогичным образом. С другой стороны все три формы западноевропейских языков восходят к звучанию, более близкому к русскому, чем сейчас. Как показывает определенный анализ, они являются заимствованиями из школьной латыни: франц. *révolution* не является исконным французским словом, так как исконные французские слова ставятся с латинскими в связь путем иных соотношений. Звучание этой формы в школьной латыни близко и к русскому слову *революция*. Отличие заключается лишь в том, что в западноевропейские языки это слово попадает в форме основы косвенных падежей, а в русском адаптируется из формы именительного падежа. (Есть основание думать, что оно проникает в русский через посредство близкородственного польского языка в конце XVII – начале XVIII в.: в русском впервые зафиксировано в 1710 г.)

Примечание. Это наиболее простой случай. В других случаях анализ заимствований приводит к реконструкции больших фрагментов системы языка, из которого заимствованы рассматриваемые слова. Такой прием используется для установления особенностей языка, в дальнейшем исчезнувшего, но оставившего следы в виде заимствований. Классический пример – исследования по догреческому языку (вероятно, пелазгов или, иначе, филистимлян; жили, видимо, на Пелопонессе, может быть в Аттике, на Крите, в Палестине), где вскрывается целый пласт лексики, заимствованной греками.

Греч. (гомер.) πύρος ‘городская стена, вал, лагерь ахейцев’, ‘защита, крепость – сомкнувшаяся стена’, т.е. – ‘замок, город’. Напрашивается сравнение с нем. *Burg* (гот. *bauṛgs* f. ‘πόλις, Stadt; βᾶρις, Turm’; др.-исл. *borg* f. ‘Terrasse, Wall, Burg, Stadt’, др.-англ. *burg*, *burh*, др.-фриз. *bur(i)ch*, др.-сакс. *burg*, др.-в.-нем. *burg* f. ‘befestigter Ort, Burg, Stadt’). Согласно германской сравнительно-исторической фонетике: 1) начальный согласный этого слова из и.-е. *bh-, 2) герм. *-ur- из и.-е. *-r-, 3) герм. *-g- (или точнее спирант -z-) из и.-е. *-gh- или *-gh- (менее вероятно в данном случае происхождение из и.-е. -k-, по так называемому закону

Вернера³). По фонетическим законам греческого языка и.-е. *bh отражается в греческом как φ, и.-е. *γ как греч. αρ или ρα, а и.-е. *gh (и *ǵh) как греч. χ. Поэтому при исконном характере слова нем. Burg в греческом без учета позиционных изменений должно было бы соответствовать *φαρχος или *φραχος, с учетом же закона диссимиляции придыхательных (закон Грасмана) *παρχος или *πραχος. Следовательно греч. πύργος – или случайное совпадение по звучанию и значению или заимствование.

Подобным же образом сравнивается целый ряд греч. слов с другими и.-е. языками и устанавливается, что они не выводятся непосредственно из и.-е., ср., например:

Греч. σῆγη ‘молчание’, ср.: др.-англ. *swīgian*; др.-сакс. *swīgon*, сп.-н.-нем. *swīgen*, сп.-нидерл. *swīghen*; др.-в.-нем. *swīgēn*, сп.-в.-нем. *swīgen*, нем. *schweigen* ‘молчать’ из и.-е. *suīgh-

Греч. οῖτος ‘Weizen, Getreide, Brot’: гот. *hwāiteis* gen.sg. m. ‘οῖτος, Weizen’; др.-исл. *hveite* p.; др.-англ. *hwæte*, др.-фриз. *hvēte*; др.-сакс. *hwēti*; др.-в.-нем. *weizzi*, *weizi* (< и.-е. *k'ʷidōs)

Греч. ταχύς ‘schnell, rasch, eilig’ (< *θαχύς, по закону Грасмана, ср. comp. θάσσων) : др.-инд. *tákus* ‘eilend, rasch, regsam’ (< и.-е. *tokus)

Греч. ὅμβρος m. ‘Regen, Regenguß, Gewitterregen’: лат. *imber* m. ‘Regen, Regenguß’; др.-инд. *abhrá* m. ‘trübes Wetter, Gewölk’, *abhrám* n. ‘Gewitterwolke, Gewölk, Regenwolke’; греч. ὀφρός m. ‘Schaum, Geifer’ (< и.-е. *nbhró-);

Греч. κυνέω ‘küssen’ (< *κυνέσω из атематического *κυ-νé-σ-μι с инфиксом) : др.-исл. *kyssa*; др.-англ. *cyssan*; др.-сакс. *kussian*, сп.-н.-нем. *küssen*, сп.-нидерл. *cussen*; др.-в.-нем. *kussen*, сп.-в.-нем. *küssen*, нем. *küssen* ‘целовать’ (< и.-е. *gus-);

и т.д.

Затем эта лексика отождествляется с подобной лексикой других индоевропейских языков, но определенным усложненным способом: через индоевропейскую реконструкцию: сначала устанавливаются и.-е. этимоны (в списке примеров они даны в скобках в конце каждой этимологической статьи), опираясь на ряды соответствий, устанавливающиеся на материале, не подверженном подозрению в заимствовании, а затем эти этимоны ставят в регулярное соответствие с морфемами слов, подозреваемых как заимствования из пелазгского. Оказывается, что фонетическая форма этих пелазгских слов мо-

³ В сущности мы имеем здесь дело с “бродячим” культурным термином, имевшим, по-видимому, первоначально значение ‘сторожевая башня’, в и.-е. оно, вероятно, было из севернокавказского *rōtqwl ‘крепость, замок, огороженное место для скота’ (см. Дыбо В.А., Терентьев В.А. Ностратическая макросемья и проблема ее временной локализации // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Тезисы и доклады конференции. Ч. 5. М., 1984. С. 18, цит. по: Николаев С.Л., Старостин С.А. Севернокавказский этимологический словарь[рукопись] и Дьяконов И.М., Старостин С.А. Хуррито-урартские и восточнокавказские языки // Древний Восток. Этнокультурные связи. М., 1988. С. 171.). Об отражении в индоевропейском севернокавказских заимствований см. Старостин С.А. Индоевропейско-севернокавказские изоглоссы // Там же. С. 112–163.

жет быть посредством системы регулярных операций сведена к фонетической форме индоевропейских реконструкций, т.е., например:

пелазг. $\theta (lh) <$ и.-е. **t*; пелазг. *t* < и.-е. **d*; пелазг. *p* < и.-е. **b*; пелазг. *b* < и.-е. **bh*; пелазг. *χ (kh)* < и.-е. **k*; пелазг. *k* < и.-е. **g*; пелазг. *g* < и.-е. **gh*, аналогичные правила устанавливаются и для слогообразующих отрезков.

Что касается исконной части системы языка, то обычно установление тождества, начинаясь с установления тождества лексем (точнее – корневых морфем), ведет к установлению генетического тождества двух или нескольких языковых систем в целом. Т.е. в идеале задачей сравнительно-исторического метода является доказательство того, что две или несколько языковых систем являются результатом различных эволюций одной и той же языковой системы.

русск.	<i>m'at'</i>	<i>mat'</i>	<i>m'agok</i>	<i>mak</i>	<i>l'on</i>	<i>lono</i>	<i>l'ub</i>	<i>tub</i>
укр.	<i>mjáti/mn'ati</i>	<i>mati</i>	<i>mjahkij</i>	<i>mak</i>	<i>ten</i>	<i>tono</i>	<i>l'ub-ij</i>	<i>tub</i>
србв.	<i>meti</i>	<i>mati</i>	<i>mek</i>	<i>mak</i>	<i>lan</i>			<i>lub</i>
слов.	<i>meti</i>	<i>mati</i>	<i>mekak</i>	<i>mak</i>	<i>lan</i>		<i>l'uby</i>	<i>lub</i>
др.-чеш.	<i>mieti</i>	<i>mati</i>	<i>měkký</i>	<i>mak</i>	<i>len</i>	<i>luno</i>	<i>l'uby</i>	<i>lub</i>
слвц.	<i>mát'</i>	<i>mat'</i>	<i>mäkky</i>	<i>mak</i>	<i>l'an</i>	<i>lono</i>		
польск.	<i>míqś</i>	<i>mać</i>	<i>mękki</i>	<i>mak</i>	<i>len</i>	<i>lono</i>	<i>luby</i>	<i>lub</i>
ст.-слав.	<i>мати</i>	<i>мати</i>	<i>макъ</i>	<i>макъ</i>	<i>льн-тънъ</i>	<i>лоно</i>	<i>льбъ</i>	
условная	<i>мати</i>	<i>мати</i>	<i>маχ-</i>	<i>makə</i>	<i>λε̚n</i>	<i>lono</i>	<i>l'ub-</i>	<i>lub</i>
запись рядов ответствий								

Мы начали с отождествления лексем, близких по звучанию и значению. Следующий этап – отождествление фонетических элементов этих лексем (точнее корневых морфем, так как суффиксы пока не включаются в рассмотрение). Каждая морфонема (или определенная группа морфонем одного языка) ставится в соответствие к морфонемам или группам морфонем другого языка. Получаются цепочки соответствий: русск. *m'*: укр. *mj* (*mñ*): серб. *m*: словен. *m* и т.д. При достаточно большом количестве лексем, поставленных в соответствие, видна регулярность соответствий морфонем. Т.е. цепочка типа выше приведенной встречается не в одном, а в целом ряде слов. (Такая регулярность объясняется регулярным характером фонетических законов, по которым изменялись языки).

Чтобы каждый раз не записывать цепочки в целом, их можно как-то обозначить: можно записать буквой, можно и цифрами, чтобы совершенно не смешивать их с определенными звуками.

В данном случае ряды символов: *мати*, *mati*, *maχ-*, *makə* и т.д. яв-

ляются лишь сокращенными формулами генетических тождеств – это буквенное выражение пучков соответствий:

μ = русск. m' : укр. mj : схрв. m : слов. m : чеш. m : слвц. $m...$

α = русск. a : укр. a : схрв. e : слов. e : чеш. ie : слвц. $\ddot{a}...$

τ = русск. t' : укр. t : схрв. t : слов. t : чеш. t : слвц. $t'...$

i = русск. \emptyset : укр. i : схрв. i : слов. i : чеш. i : слвц. $\emptyset...$

Процесс установления генетического тождества представляется, таким образом, как бы процессом отвлечения от материального тождества. В действительности, конечно, такого “отвлечения” нет, вводимые в соответствия единицы представлены в их полной реальности, но так называемая реконструированная единица сравнительно-исторического анализа является всего-навсего значком того, что определенные реально засвидетельствованные единицы одного и того же уровня (фонетического, морфонологического и т.д.) в языках, признаваемых нами родственными, занимающие определенное место в единицах другого уровня, могут быть сведены в ряды регулярных соответствий, регулярность же этих соответствий заключается в том, что целый ряд единиц второго уровня одного языка может быть поставлен в соответствие с подобными единицами других родственных языков таким образом, что единицы первого уровня образуют те же ряды соответствий. При этом “определенное” место значит лишь то, что размещение единиц первого уровня по отношению друг к другу в единицах второго уровня в одном языке может быть поставлено к размещению их соответствий в других родственных языках в регулярное соответствие. Все эти наши μ , α , τ , i и под. в ходе этой процедуры не приобретают никакого фонетического содержания, придать им это содержание – задача совсем другой операции, а именно фонетической интерпретации, которая осуществляется посредством привлечения иного вида знания, а именно знания, которое мы можем назвать общетипологическим знанием. Это знание значительно превышает тот круг проблем, которым занимается так называемая лингвистическая типология, хотя и включает их. Так как оно получено в результате наблюдения над корпусом множества различных языков и сопоставления их, его можно назвать сопоставительным языкознанием или общей типологией языков. Оно включает в себя знание о механизме порождения речи, о различиях этого механизма у носителей разных языков, о наблюдавшихся изменениях этого механизма, об установленных типах морфонологических изменений и под. Это знание постоянно увеличивается, так как все время описываются новые языки и, соответственно, новые объекты вводятся в компаративистскую процедуру и становятся объектами исторического и сравнительно-исторического исследования.

Получив большое количество таких пучков, исследователь опе-

рирует ими как реальными языковыми единицами морфонологического, морфологического или иного языкового уровня. Безусловно при подобных операциях наши фонетические интерпретации реконструированных единиц имеют большое эвристическое значение. Однако необходимо во всех таких случаях учитывать существенно иной способ получения интерпретации в отличие от способа получения самой единицы.

Этот анализ также напоминает обычный синхронический анализ языка.

Рассматривая распределение цепочек в пучках, исследователь устанавливает, что некоторые из этих цепочек дополнительно распределены по отношению к типу других цепочек. Они, следовательно, не могут отражать отдельные морфонемы праязыка. Они отражают, таким образом, лишь позиционно распределенные варианты каких-либо морфонем праязыка. Так, в наших примерах цепочка μ , цепочка λ не могут встречаться перед цепочками a , o , u , а встречаются перед цепочками a , a_1 , ε_1 и др. Наоборот, цепочки m и l не встречаются перед цепочками a , a_1 , ε_1 , а встречаются перед цепочками a , o , u . Таким образом, цепочки μ и m являются вариантами типа соответствий M , который можно рассматривать в качестве представителя какой-то морфонемы праязыка, а цепочки λ и l – представители морфонемы L . Напротив, цепочка l' и цепочка l не являются дополнительно распределенными, а встречаются в одинаковом окружении – перед u и i , по-видимому, являются представителями разных морфонем праязыка. Подобным же образом устанавливается факт дополнительного распределения a и a_1 , которые дополнительно распределяются в зависимости от просодических условий (морфонема a обнаруживается в акцентологических условиях, сохраняющих долготу первичных долгих гласных праславянского языка, морфонема a_1 встречается лишь в акцентологических условиях, в которых происходит сокращение первичных долгих гласных⁴).

⁴ Естественно, что установление этих условий происходит в результате очень сложного исследования, включающего морфонологический анализ и внешнее сравнение всех славянских языков, особенно языков, сохранивших акцентологические различия (разноместное ударение, слоговые интонации или их рефлексы); результаты этого исследования (praslawjanskaja akcentologicheskaja rekonstrukcija) ставятся в соответствие с корпусом словоформ славянских языков, которые не сохранили акцентологических различий, но сохранили количественные различия или их рефлексы. Установленный корпус соответствий подвергается морфонологическому анализу, в ходе которого устанавливается рефлексия, отражающая праславянское состояние, рефлексия, отражающая инновации, которые можно отнести к западнославянскому периоду, к лехитскому или исключительно к прапольским процессам. В данном случае приведенный в таблице польский пример *mφć* отражает уже долготу, проникшую в данный глагол в результате польского процесса генерализации долготы в этом типе инфинитивов.

Они оказываются представителями одной морфонемы пражзыка, которая соответствует морфонеме *ä*, полученной нами выше путем внутренней реконструкции, и интерпретируется, исходя из южно-македонских и лехитских данных, подтверждающих ее первично на-зализованный характер, как *ē*.

Таким образом, получив ряды соответствий, исследователь оперирует ими как с реальными единицами фонологического, морфонологического, морфологического или иного языкового уровня.

Но хотя исследователь проводит обычный дистрибутивный анализ, нельзя забывать, что материалом этого анализа является не реально засвидетельствованный язык, а пучки рядов соответствий, образованные в результате постановки в отношение генетического тождества единиц высшего уровня⁵.

Таким образом, повторяю, в результате дистрибутивного анализа ряда таких пучков устанавливается, что некоторые из рядов соответствий находятся к другим рядам соответствий (которыми, кстати сказать, могут быть и ряды соответствий морфонем, и ряды соответствий просодем, и, наконец, ряды соответствий позиций, например, конец слова, если речь идет о фонологическом уровне) в отношении дополнительного распределения. Это позволяет дополнительно распределенные ряды, или цепочки соответствий объединить в классы (типы), подобно тому как объединяются в классы варианты морфонем, просодем, морфем. Но естественно, что это не одно и то же. Ведь когда мы проводим дистрибутивный анализ в фонологической системе реально засвидетельствованного языка, то дополнительное распределение устанавливается по отношению к позициям, существующим синхронно. Когда же мы устанавливаем дополнительное распределение двух рядов соответствий к каким-нибудь еще двум рядам соответствий, то мы должны учитывать, что вторые два ряда соответствий вовсе не обязательно являются результатом синхронных процессов. В большинстве случаев напротив, элементы одного ряда соответствий возникали совсем в другое время, чем определенные элементы другого ряда соответствий.

Возьмем следующий пример:

⁵ Таким образом, форма под звездочкой **vozъ* – это лишь сокращенное обозначение пучка из четырех рядов соответствий: 1) *v* = русск. *v*: ст.-слав. *v*: болг. *v*: скрв. *v*: словен. *v*: чеш. *v*: слвц. *v*:польск. *w* и т.д.; 2) *o* = русск. *o*: ст.-слав. *o*: болг. *o*: скрв. *o*: словен. *o*: чеш. *o*: слвц. *o*:польск. *ø* и т.д.; 3) *z* = русск. *z* (*s* | *z*): ст.-слав. *z*; болг. *z*: скрв. *z*: словен. *z*: чеш. *z*: слвц. *z*:польск. *z* и т.д.; 4) *ъ* = русск. *ъ* (*l o*): ст.-слав. *ъ*; болг. *ъ* (*l ſ*): скрв. *ъ*: словен. *ъ*: чеш. *ъ*: слвц. *ъ*:польск. *ѳ* и т.д.;

**makъ*, **rěćь*, **kličь*. В данном случае приводятся праславянские реконструкции, т.е., согласно вышесказанному, условные формулы отождествления славянских слов – пучки типов соответствий.

Рассмотрение такого рода реконструкций показывает, что тип **k* и тип **č* были дополнительно распределены по отношению к следующей за ними цепочке соответствий, т.е. **k* могло стоять перед рядами соответствий, обозначаемыми символами **a*, **o*, **ъ*, **y*, **oi* и т.п., а **č* – перед **ě*, **i*, **ь*, **ei* и под. Таким образом, их можно рассматривать как представителей общего типа **K*. Но можно ли считать **K* представителем единой праславянской морфонемы? Обозначим **č* в слове **rěćь* как **č*₁, а в слове **kličь* как **č*₂. Для этого есть основания, так как эти два слова относятся к разному типу основ: **rěćь* – *i*-основа, **kličь* – мягкий вариант *o*-основ (*jo*-, *ju*-основы). Два этих типа основ дают существенно разные типы соответствий согласных звуков, завершающих основы. *i*-основы дают ряды соответствий, которые можно охарактеризовать как μ , λ , τ , δ – смягченные варианты “твёрдых” фонем *M*, *L*, *T*, *D*. Мягкий вариант основ мужского рода завершается звуками, дающими ряды соответствий, обозначаемые *m'*, *l'*, *n'*, *t'*, *d'*. И лишь в тех случаях, когда корень в других позициях показывает завершитель, образующий ряд соответствий, обозначаемый символом *k* (**rěćь*: **rekъ*, **kličь*: **kluka*), ряды соответствий *č*₁ и *č*₂ оказываются тождественными. В соответствии с данными выше рядами, *č*₁ можно интерпретировать как *χ* (мягкий вариант фонемы *K*), а *č*₂ – как *k'*. Но тем не менее вряд ли в какой-либо сравнительной грамматике встречается такая реконструкция. Все упирается в хронологию языковых процессов: ь в слове **rěćь* возник в другое время и в результате других процессов, чем ь в слове **kličь*. Обозначим их *ь*₁ и *ь*₂. **ь*₁ = слав. ь; лит. *i*; греч. *i*; лат. *i*.... **ь*₂ = слав. ь; лит. *iu*; прагреч. *iu(s)*, *io(s)* : лат. *iu(s)*. Таким образом, *ь*₂ может быть интерпретирован как результат развития не одной морфонемы, а блока из двух морфонем, которые можно обозначить символами *jъ*. Поэтому вопрос о том, была ли *č*₂ отдельной фонемой *k'* или вариантом фонемы *K*, зависит от того, происходило ли слияние *K* + *j* одновременно с процессом палatalизации *K* перед *ь*, *i* и т.д., или же предшествовало ему. Во втором случае мы, очевидно, должны предполагать период, когда существовала фонема *k'* наряду с фонемой *K*. В первом случае вопрос будет решаться в зависимости от решения ряда других вопросов, например, времени монофтонгизации дифтонга *eu* (*кую* – *чую*).

Следовательно, все типы реконструкции являются, в сущности, проекцией на одну временную плоскость явлений, которые могут быть разновременными. Но таковыми проекциями они бывают тогда, когда забывают об их операциональном характере, и пытаются непосредственно (не учитывая как особую проблему хро-

нологизации) придать не свойственное им фонологическое значение.

Иначе говоря, реконструированная единица на этом этапе анализа не может иметь не только фонетического, но даже и того фонологического содержания, которое ей часто приписывают⁶.

Путем такого рода операций устанавливаются типы соответствий, каждый из которых отражает какой-то элемент фонологической системы, имевший дифференцирующее значение в какой-то период развития прайзыка. Этот элемент чаще всего может быть связан с фонемой (а может быть там была на самом деле и группа фонем, но мы ее интерпретируем как одну фонему – в зависимости от того, как она отразилась, а также в зависимости от глубины проникновения в язык, от успеха исследования).

Реконструкции праформ, с которыми вы встречаетесь в сравнительных грамматиках, представляют собой уже не пучки соответствий, которые выше представлены, а пучки типов соответствий, отражающих с большей или меньшей точностью фонологическую структуру морфем прайзыка.

Таким образом, установление системы соответствий лишь вскрывает в зафиксированных состояниях языка отождествившиеся (слившиеся, потерянные) различия или разделившиеся тождества старых фонологических структур (если речь идет о фонологическом уровне). Что касается вторых, то их разделение вызвано в свою очередь отождествлением ранее различных единиц окружения (*mat'* < **mati*, *máti'* < **mēti*; *put* < **pqtъ*, *put'* < **pqtъ*; *T* > *t* и *t'* в результате отождествления *ɛ* и *a* > *a*, *a* ɿ и *ъ* в *o*; *dh* и *d* в *d*). В первом случае можно установить цепочку (порядок) операций, посредством которых система различий, установленная путем дистрибутивного анализа пучков соответствий, должна перейти в систему различий современного языка. Эти операции обладают свойством непереставляемости. И только по отношению к такого рода операциям может идти речь об относительной хронологии. Но даже если определенные члены двух цепочек операций входят в хронологически связанныю цепочку преобразований, то взаимные отношения

⁶ Для того чтобы доказать, хотя бы что данная реконструированная единица была, например, если речь идет о единице фонологического уровня, единой фонемой, нужно прежде установить, что для этого хронологического среза уже или еще существовали две четко определенные позиции, характеризуемые двумя рядами соответствий, по отношению к которым дополнительно распределены первые два ряда соответствий.

между остальными членами этих двух цепочек часто остаются неопределенными, не говоря уже о том, что в определенных частях системы операции отождествления не могут быть связаны с какими-либо другими операциями подобной связью и могут быть отнесены к любому хронологическому уровню.

Из сказанного вытекает, что для определенного хронологического уровня можно построить не одну, а несколько моделей структуры языка (число таких возможных моделей может быть довольно большим). Выбор наиболее вероятных моделей определяется и всегда определялся соображениями, уже не имеющими отношения к методу, а вытекающими из общефонетических фонологических представлений. Таким образом, следует отличать результат сравнительно-исторического анализа, состоящий из сложной системы различий и отождествлений, связывающей генетически родственные части структур родственных языков, от его хронологически определенной интерпретации, которая в большой степени зависит от развития смежных дисциплин, таких как: фонология, общая фонетика, типология языков. Исторически эти две части сравнительно-исторического языкознания развиваются в известной степени независимо друг от друга, и если какая-либо интерпретация может быть отменена результатами сравнительного языкознания, то понятия сравнительного плана не зависят от ревизии той или иной интерпретации и заменяются новыми лишь в случае потери ими операционности. В этом смысле развитие аппарата сравнительно-исторической грамматики не зависит от развития смежных дисциплин.

С этой точки зрения всякая критика так называемых “фикций” сравнительного языкознания, исходящая из фонологического анализа той или иной модели состояния языка на определенном синхронном срезе, в лучшем случае может затронуть лишь некоторые представления, связанные с этими “фикциями”, но являющиеся результатом перцепции различного рода общелингвистических представлений. Лишь установление, что определенное понятие, ввиду коренных структурных изменений в группировке материала потеряло свою операционность и должно быть заменено более операционным понятием (ср., напр., вопрос о законе Фортунатова), может быть достаточным основанием для замены такого понятия.

Некоторые лингвисты опасаются при сравнительно-историческом исследовании давать реконструкции на том основании, что они сейчас не могут дать точную реконструкцию. Вышесказанное показывает беспочвенность таких опасений. Сравнительно-историческая реконструкция, возможно, никогда и не будет такой “точной”, чтобы ее непосредственно можно было наполнить фонологическим или фонетическим содержанием. А в ряде случаев она и не должна стремиться к отображению фонологической ситуации в какой-то

хронологической плоскости. Часто, когда исследователь пытается создать такую плоскостную реконструкцию, это, правда, способствует фонологической интерпретации системы соответствий на данном хронологическом срезе, но мешает чисто исторической работе.

Таким образом, внутренняя реконструкция и внешнее сравнение работают очень близким способом, но идут как бы с двух противоположных концов. Этот характер их направленностей и дополнительности достаточно хорошо подтверждается всем материалом сравнительно-исторического языкознания. В сущности нет отдельных методов – внутренней реконструкции и внешнего сравнения, имеется один сравнительно-исторический метод, который включает две основных группы способов обработки материала: внутреннюю реконструкцию и внешнее сравнение.

Введение внешнего сравнения в компаративистскую процедуру сразу значительно увеличивает материал, с которым может оперировать внутренняя реконструкция; введение языкового материала во внешнее сравнение без предварительной обработки его при помощи приемов морфонологического анализа (т.е. внутренней реконструкции) чаще всего не продуктивно. Новые результаты, полученные внешним сравнением, как правило, требуют возвращения к внутренней реконструкции, а новые результаты, полученные в ходе внутренней реконструкции, чаще всего приводят к необходимости нового внешнего сравнения.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакторов	3
I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР И ЯЗЫКОВ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ	
<i>Ешич М.Б.</i> (Россия). Этничность и Этнос	7
<i>Корженский Я.</i> (Чехия). Чешский язык как язык национальный	71
<i>Тарасов Е.Ф.</i> (Россия). Диалог культур в зеркале языка	110
<i>Нещименко Г.П.</i> (Россия). Заимствования как проявление культурно-языковых контактов и их функционирование в языке-реципиенте	121
<i>Уфимцева Н.В.</i> (Россия). Культура и проблема заимствования	152
<i>Крысин Л.П.</i> (Россия). Лингвистический аспект изучения этностереотипов (постановка проблемы)	171
<i>Крупа В., Ондрейович С.</i> (Словакия). Язык и возможности его регулирования	175
<i>Качала Я.</i> (Словакия). Словацкий язык в межкультурных контактах	186
<i>Домашнев А.И., Буюклян М.</i> (Россия, Армения). Влияние на островной язык (диалект) инонационального языка окружения	201
II. АСПЕКТЫ ДИАЛОГА КУЛЬТУР	
Этнолингвистический ракурс	
<i>Мечковская Н.Б.</i> (Белоруссия). Национально-культурные оппозиции в ментальности белорусов (на материале белорусских паремий и фразеологизмов с этнолигвонимами и топонимами)	215
<i>Березович Е.Л., Гулик Д.П.</i> (Россия). Ономасиологический портрет “человека этнического”: принципы построения и интерпретации	232
<i>Журавлев А.Ф.</i> (Россия). Несколько славяно-неславянских культурных и языковых встреч (1. Троян. 2. ‘Сорок’. 3. Русск. диал. <i>Оппетай</i>)	253
<i>Смирнов Ю.И.</i> (Россия). Польская тема в русском фольклоре	262
<i>Нарумов Б.П.</i> (Россия). Языковая история острова Сардиния: полифония языков и культур	279

Лингвистический ракурс

<i>Т.М. Николаева</i> (Россия). Лингвотекстологические особенности подачи информации в русскоязычных газетах	293
<i>Сгалл П.</i> (Чехия). Чешский язык в повседневном разговоре	311
<i>Крчмова М.</i> (Чехия). Участие звукового уровня текста в формировании стиля современных ораторских выступлений	329
<i>Дудок М.</i> (Словакия). Компромиссная реплика в контексте межкультурных контактов (на примере контактов между словацким и сербским языками)	341
<i>Бойко Б.Л.</i> (Россия). Молодежный жаргон как отражение взаимодействующих субкультур	352

Культурологический ракурс

<i>Софронова Л.А.</i> (Россия). Культурно-языковой аспект сочинений Г. Сковороды	362
<i>Смирнов Л.Н.</i> (Россия). Отражение взаимодействия культур в художественном переводе	378
<i>Гоффманнова Я.</i> (Чехия). Контакты и столкновения различных культур в интертекстах постмодерна	394
<i>Соснова М.Л.</i> (Россия). Рецепция системы К.С. Станиславского в диалоге культур и субкультур	407
<i>Тарасов А.Е.</i> (Россия). Культурные заимствования в процессе космической деятельности	421

Исторический ракурс

<i>Арутюнов С.А.</i> (Россия). Судьба малых народов в III тысячелетии Христианской эры	436
<i>Дыбо В.А.</i> (Россия). Язык – этнос – археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы). III.	453

Научное издание

ВСТРЕЧИ
ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА

в сопоставительном
лингвокультурном
аспекте

Утверждено к печати
Научным советом
по истории мировой культуры РАН

Зав. редакцией *А.И. Кучинская*
Редактор *Т.М. Скрипова*
Художник *И.В. Яковлева*
Художественный редактор *Е.А. Быкова*
Технический редактор *З.Б. Павлюк*
Корректоры *З.Д. Алексеева,
Г.В. Дубовицкая, Р.В. Молоканова*

ЛР № 020297 от 23.06.1997
Подписано к печати 24.06.2002
Формат 60 × 90 1/16. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 30,0. Усл.кр -отт. 30,0. Уч.-изд.л. 33,4
Тираж 700 экз. Тип. зак. 3398

Издательство "Наука"
117997 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
Internet: www.naukaran.ru

Санкт-Петербургская типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12